ISSN 0130 – 6545

7.1981

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

**Д. АМГАЛАН.**
**Красный вихрь**

*Цветные иллюстрации номера — работы современных художников Монголии*

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

7 *июль* *1981*


## *Содержание*


ДАМБЫН ЦЭМБЭЛ — Мелодии четырех времен года *(Новелла. Перевод с монгольского Джангара Пюрвеева. Вступление автора)* 3

**Из монгольской поэзии**

Ц. ГАЙТАВ, Ч. ЧИМИД, Д. ЦЭДЭВ *(Перевод с монгольского Марка Сергеева)* 15

ЛУИЗА РИНЗЕР — Черный осел *(Роман. Перевод с немецкого Л. Симонян)* 22

МИРЧА ДИНЕСКУ — Стихи *(Перевод с румынского Льва Беринского. Вступление Кирилла Ковальджи)* 91

СЕМБЕН УСМАН — Порча *(Роман. Перевод с французского А. Карлова. Вступление Ю. Рытхэу)* 96

**Критика**

**США и Англия — драма в 70-х годах**

М. КОРЕНЕВА — Пьесы последних лет и кризис американского духа 160

Н. СОЛОВЬЕВА — Раздумья и надежды английских драматургов 168

**Литературные портреты**

К. ЯЦКОВСКАЯ — Цэндийн Дамдинсурэн — писатель и ученый 175

**Заметки писателя**

ЛАСЛО НАДЬ — Посылаю вам ветвь золотую... *(Вступительное слово и перевод с венгерского Елены Малыхиной)* 180

**Культура и современность**

**Заметки на полях**

Ю. Кашлев, В. Петровский — От Хельсинки до Мадрида ✦ М. С.— Чертова дюжина гитлеров, или Насколько забавен фашизм 192

**Советская литература за рубежом** 198, 242

**Публицистика**

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Морские записи 199

**К нашим иллюстрациям**

Д. П.— Современная монгольская живопись 229

**Антирубрика**

**Фантазии на американские темы**

РЭЙ РАССЕЛ. МЭГГИ НЭДЛЕР. ДЭННИ ПЛАКТА. АЙЗЕК АЗИМОВ. ГЕНРИ СЛЕЗАР *(Перевод с английского Анатолия Мельникова)* 230

ДЖЕЙН ОСТИН — Три сестры *(Перевод с английского Евгении Шварц)* 237

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ — Афоризмы, высказывания, шутки *(Перевод с английского Людмилы Биндеман)* 241

**Из нашей почты** 243

**Среди книг**

**Издано в СССР**

И. Попов — Пионеры ✦ Ю. Каграманов — Тысяча и один «безумный день» ✦ Б. Рифтин — Жизнь в осажденной крепости 247

**Издано за рубежом**

Ласло Иллеш — Книга, увенчавшая трилогию ✦ Ц. Кин — На всю жизнь ✦ Никита Разговоров — В лучах волчьего солнца 255

**Из месяца в месяц** 261

*На 1-й странице обложки: О. МЯГМАР (МНР). «В Ханын тале».*

*На 4-й странице обложки: Б. ЧОГСОМ (МНР). «В пустыне Гоби».*

© «Иностранная литература», 1981.

# ДАМБЫН ЦЭМБЭЛ

# *Мелодии четырех времен года*

НОВЕЛЛА

*Перевод с монгольского ДЖАНГАРА ПЮРВЕЕВА*

## От автора

*Дорогой читатель великой Страны Советов!*

*Именно так тепло и торжественно хочется обратиться к тебе, представителю великого народа, столько раз за время одной человеческой жизни подтверждавшему бескорыстие и преданность в дружбе с моим народом.*

*У нас говорят: путь к вершине горы начинается с ее подножия, когда же смотришь с вершины вниз, всегда осмысливаешь пройденный путь и думаешь о том, что впереди. Так и сегодня, стоя на шестидесятилетней вершине моей свободной страны, я вижу мысленно у ее подножия красных всадников, уверенно скачущих к высокой цели, а у ее вершины — устремленного в будущее космического всадника. Поистине путь от коновязи до стартовой площадки!*

*Без прошлого нет будущего, так же как будущее представляется ярче и отчетливее в сравнении с прошлым. Между ними живая связь, как между солнцем и цветком. Монгольская пословица гласит: из корней прошлого вырастает цветок настоящего, в бутоне которого зреют плоды будущего.*

*В эти дни, когда в космос вместе с советским гражданином взлетел сын простого монгольского арата, как нам не вспомнить о чудесных сказках детства, о крылатом коне, о ковре-самолете, о Гэлэгбаторе, который в эпоху мрачного средневековья совершил, подобно Икару, свой дерзкий прыжок с Хубсугульской скалы?*

*Профессия журналиста заносила меня во многие чудесные уголки земли — на седой Кавказ и солнечные Балканы, в необъятную Сибирь и во Вьетнам, как будто нарисованный акварельными красками. Как много неповторимо прекрасных мест на нашей земле!*

*Осмысливая увиденное, я пришел к твердому убеждению: человека смелым, сильным, целеустремленным делают на земле любовь к родному уголку своей страны, а в космосе — любовь к родной планете, частичкой которой он является.*

*Когда 30 марта этого года на Байконуре я спросил Ж. Гуррагчу, только что вернувшегося из космоса, о чем он думал, глядя на нашу землю с космической высоты, он ответил: «Как мал и как велик человек, крохотная частица одной из многочисленных звезд великой вселенной...»*

*Эта небольшая новелла, дорогой читатель, была написана вдали от моей Монголии и задолго до полета в космос Гуррагчи. В ней ничего не выдумано, это просто зарисовки моего детства, типичного для монгола моего поколения, родившегося под мирным, свободным небом и смотрящего ночью в звездное пространство с мечтою, надеждой, без той тревоги, с которой жили наши деды.*

*8 апреля 1981 года*

---

**ДАМБЫН ЦЭМБЭЛ** (род. в 1945 г.).

Монгольский поэт и прозаик. Дебютировал в начале 70-х годов как поэт-переводчик и новеллист. Автор романа «Зеленый цветок» (1979). Перевел на монгольский язык стихи Р. Гамзатова, Е. Евтушенко, Д. Кугультинова. Стихи и рассказы Д. Цэмбэла в переводе на русский язык печатались в периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе» (1979, № 11). Новелла «Мелодии четырех времен года» получена редакцией в рукописи.

## ПРОЛОГ

В детстве я считал, что на свете нет ничего прекраснее снежной вершины моего родного Цаган-Хайрхана и нет красивее речки, чем моя маленькая Давхар-Усан. Оказывается, я правильно считал. Все самое прекрасное, что есть на земле, для меня было сосредоточено в том краю, где я родился, и без него мир, какие бы изумительные красоты в нем ни встречались, будет для меня ущербным.

С детства мне глубоко запали в душу слова, сказанные моим дядей, взявшим меня на воспитание, что вся красота мира начинается с горы Цаган-Хайрхан, и все реки, ручьи и аршаны [1] берут начало здесь, у горы Цаган-Хайрхан, и через речку Давхар-Усан впадают в мировой океан.

«Запомни, сынок, для тебя родина начинается с вершины Цаган-Хайрхана, здесь начало твоей жизни».

С вершины Цаган-Хайрхана — его в народе у нас еще называют «Пуп земли» — я в моем далеком детстве затаив дыхание любил оглядывать окрестности пяти наших соседних аймаков [2] и голубые дали для меня тогда еще неведомого Советского Алтая. На вершине горы возвышалось обо [3] — молчаливый свидетель прошлого моего края.

Отсюда же, с вершины Цаган-Хайрхана, в ветреную погоду я любил наблюдать, как волнуется у подножия горы голубое сокровище этих мест — озеро Хяргас-Нуур. А тихим, прозрачным утром, когда на вершине горы не шевельнутся даже полы моего дээли [4], можно было увидеть, как яркое солнце медленно поднимается из глубин озера, а ночное огромное небо с бледною луною и жемчужинами звезд, одна за другой таявшими в озере, опускается на его дно. Мне всегда казалось, что небосклон исчерчен невидимыми для нас изречениями великих мудрецов, а звезды — это золотые точки в конце фраз. И надо только найти главную золотую точку, и тогда человек сможет прочесть одно за другим все великие изречения и станет от этого мудрее и добрее. Мне казалось, что, приставив к одной уни [5] другую, я смогу, если очень захочу, дотянуться до главной золотой точки и тогда прочту все, что скрывается за ней и другими золотыми точками.

Мое детство — это тысячи вопросов «почему?». На эти вопросы жизнь отвечала легендами, сказками, былью и незабываемыми радостными и грустными эпизодами жизни. Не каждая из этих историй войдет в книгу, которую я, быть может, со временем напишу, не каждая навсегда останется в памяти. Но мою книгу жизни я открыл здесь, на вершине горы моего родного Цаган-Хайрхана. И сколько на земле живет людей — у каждого есть свой, неповторимый Цаган-Хайрхан.

## 1. ЗИМНЯЯ СКАЗКА

В моем детстве у меня было два мира, один мир — в котором я жил, другой — мир сказки. Первый мир был дневной, реальный, с белоснежными полянами, окруженными громадными кедрами и лиственницами с гордо возвышавшейся на голубом небе вершиной Цаган-Хайрхана, а второй мир — ночной, мир сказок, я отправлялся туда, когда вечером в очаге потрескивал огонь и по всему телу раз-

---

[1] Целебный источник *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Административное деление, равное области.

[3] Жертвенная пирамида, сложенная из камней, костей, веток деревьев.

[4] Монгольская национальная верхняя одежда.

[5] Узенькие жердочки, поддерживающие свод юрты.

ливались тепло и нега. Сопровождал меня в мир сказок мой дядя, он же днем уводил меня за стадом к подножью Цаган-Хайрхана. Я очень любил ходить в горы с дядей, который многому меня научил, и прежде всего мечтать.

Каждый вечер, как стемнеет, мы загоняли своих овец в хашан [1], ужинали, рассаживались в юрте у очага. Дядя не спеша вытаскивал из шелкового кисета халцедоновую табакерку с затейливой вязью по бокам, доставал оттуда серебряными щипчиками щепоть нюхательного табака, насыпал на подушечку указательного пальца, потом глубоко втягивал в нос табак и начинал сказку. Пожалуй, у меня не было ни одного вечера без дядиной сказки. У нас в народе говорят: кто слушает сказку, у того будет долгая жизнь.

Сказки были разные — о храбром Джангаре, который победил пятнадцатиглавого дракона, о смелой ласточке, перехитрившей змею, о веселом и остроумном страннике, который бродил по хотонам [2] и и рассказывал всякие были и небылицы, и конца им не было.

В один из вечеров поведал мне дядя историю пещеры на горе Цаган-Хайрхан, расположенной неподалеку от нашего зимника.

Говорят, в этой пещере долгое время жил отшельник-монах. Но и после его смерти ходили слухи, что в пещере кто-то живет. Однажды зимой, когда снегу выпало по колено, жители хотона увидели на снегу следы босых человеческих ног, которые вели к пещере. Никто не мог сказать, чьи это следы, люди решили, что это следы хозяина горы Цаган-Хайрхан. Увидеть его следы считалось хорошим предзнаменованием. А человек, увидевший самого хозяина горы, говорили у нас, будет счастлив всю жизнь. Первым довелось увидеть хозяина горы охотнику Ормоодою. Но счастьем для него это не обернулось. А было все вот как. Однажды возвращался Ормоодой после неудачной охоты и вдруг видит: за грудой больших камней, наваленных у входа в пещеру, мелькнула чья-то тень. Он быстро вскинул ружье, прицелился. И тут же изумленно опустил ружье. Из-за камней вышло странное существо и направилось прямо к Ормоодою. Ростом и обликом оно напоминало человека, но было покрыто густыми, длинными, темно-коричневыми волосами.

Ормоодой, который всю жизнь промышлял охотой и на своем веку повидал немало всяких страшных зверей, первый раз в жизни испугался. Попятившись от неожиданности, он поскользнулся и, падая, ударился головой о камень. А когда пришел в сознание, увидел, что лежит в пещере и странное существо зализывает ему раны. Это был хозяин горы Цаган-Хайрхан, которого люди называли Алмас — снежный человек.

Уходя днем из пещеры за пропитанием, Алмас закрывал вход огромным камнем. Ормоодой жил пленником в пещере довольно долго. Однажды Алмас забыл закрыть вход, и охотнику удалось бежать. Но судьба его не сделалась от этого счастливее. Он так долго жил в пещере, что весь оброс волосами, от одежды остались одни отрепья, он уже и на человека не был похож. Подойдя к родной юрте, Ормоодой заговорил через дверь:

«Жена моя и дети, не пугайтесь, это я, ваш отец и муж, но я страшно изменился, и вы не узнаете меня...»

Из юрты выбежала жена, за ней с радостным визгом высыпали дети. Но, увидев Ормоодоя, жена в ужасе отпрянула, дети с криком кинулись к матери, прижались к ней. Не только люди, но и овцы шарахались от Ормоодоя, одни собаки смело кидались на него с лаем. С того дня Ормоодоя в этих краях никто не видел. Говорят, разъяренный Алмас долго еще бродил, разыскивая его, даже подходил вплотную к крайним юртам. Но потом и он исчез. Осталась

[1] Загон для скота.

[2] Поселок животноводов-кочевников.

только эта история о хозяине Цаган-Хайрхана. Не знаю, сказка это или быль, но мне ее поведал мой дядя в один из долгих зимних вечеров. И я помню, как слушал его, глядя на тлеющие в очаге угли, и все теснее прижимался к нему, пока не заснул...

Дядя мне много раз говорил, что настоящий мужчина всегда встает на заре. Чуть забрезжит холодный зимний рассвет, едва первые лучи света проникнут через тоно — верхнее отверстие юрты, я быстро вскакивал, надевал длинное, из козлиной шкуры дээли, на ноги натягивал сшитые из крепкой кожи старого козла гуталы [1] с загнутыми носками — для прочности и блеска гуталы смазывали смолой, смешанной с корой лиственницы. Крепко подпоясавшись оранжевым поясом, глубоко надвинув на глаза лисью шапку, а потом, сунув за пазуху несколько кусочков арула[2] и прихватив таяг[3], я выбегал на улицу, где меня уже ожидал дядя с отарой овец. И мы с ним отгоняли скот к подножью горы Цаган-Хайрхан, которая в предрассветных сумерках мрачно темнела впереди, напоминая мне Алмаса — снежного человека.

Зимой в горах человеку очень холодно. Снежная пурга валит его с ног, иногда она беснуется несколько дней, окутывая все вокруг серо-белой пеленой. Ни дороги, ни гор — ничего не видно. В такие дни мы с дядей загоняли стадо в ущелье между скалами, разводили огонь. Овцы сбивались в кучу, согревая друг друга, мы же с дядей, грызя твердый, кислый арул, попеременно грелись у костра — надо было еще и следить за стадом, стеречь его от волков. Их жуткий вой и глаза, блестевшие в ночи, приводили меня в ужас. Так длилось порою двое-трое суток.

...Но вот пурга утихала, и мы, уставшие, голодные, но все же не побежденные стихией, возвращались домой.

На вершину горы толщина льда и снега давит, на мужчину — тяжесть возраста, говорят у нас в народе. Так было и с моим дядей, преклонный возраст которого все чаще давал о себе знать. Он хоть и прихрамывал на одну ногу, но выполнял всю тяжелую работу. Я же следил за тем, чтобы не разбегались и не отставали от стада овцы и козы, собирал хворост и кизяк для костра. Монгольская пословица гласит: «Крепость дерева в его корнях, счастье человека в его детях».

Однажды, собирая разбредшийся по скалам Цаган-Хайрхана скот, я оказался у самой пещеры снежного человека. Вспомнив рассказ дяди о хозяине Цаган-Хайрхана, я, движимый мальчишеским любопытством и вместе с тем с опаской, заглянул в пещеру. Она была пуста, на полу — слой овечьего помета, да еще кости белели в углу. На стене пещеры я заметил какие-то таинственные надписи и рисунки. Кое-где они стерлись. О чем хотели они поведать людям? На той же стене, освещенной лучами зимнего солнца, можно было увидеть силуэт животного, нарисованного темно-коричневой краской и похожего на яка. Из глубины пещеры веяло холодом, мне вдруг стало жутко от зловещей тишины, и я поспешил выбраться наружу.

Спускаясь вниз, я пытался увидеть следы снежного человека, но тщетно — только бесчисленные отпечатки волчьих лап на снегу, хотя в наших краях водятся не одни только волки. Сбегая с горы, я невольно спугнул стайку уларов[4], которые пригрелись у большого гранитного валуна. Неожиданно из-под самых ног выскочил заяц и длинными прыжками умчался прочь. А уже в долине, где начинался лес со стройными лиственницами и где обычно летом, привстав на задние лапы, мелодично перекликаются — мяг-маг, мяг-маг, мяг-

---

[1] Монгольские самодельные сапоги.
[2] Сушеный творог.
[3] Чабанская палка с крючком на конце.
[4] Горные куропатки.

маг — любопытные тарбаганы, я увидел огненно-рыжую лису, осторожно пробиравшуюся между камнями. В любое время года у нас в лесах можно увидеть умноглазых оленей и осторожных лосей, но особенно часто они встречались мне почему-то зимой. Да и всякие необычные происшествия в нашем хотоне тоже, насколько я помню, всегда случались зимой.

Вот какой, например, произошел случай в один из зимних вечеров у нас в хотоне. В юрту, где находилась беременная женщина, через тоно пробрался снежный барс. Шестнадцатилетний юноша, проходивший мимо, услышал женский крик, вбежал в юрту и, вступив в единоборство с хищником, одолел его.

А однажды ночью сидели мы с мамой — она тогда была беременна — у очага. На улице поднялась сильная пурга, ветер бешено трепал края войлочного ёркё [1]. Разгоревшийся огонь очага освещал мамино грустное лицо, покрытое ранними морщинами. Я, как пугливый ягненок, прижимался к ней при каждом порыве ветра. Ее теплые и ласковые руки нежно гладили меня по голове, я слышал ее ровный, успокаивающий голос: «Зимняя ночь, сынок, длинная, но как бы ни бесновалась пурга, она рано или поздно кончится». Потом вдруг она прислушалась к чему-то, и я явственно почувствовал, как учащенно забилось ее сердце. В то же мгновение я услышал протяжный жуткий вой, который перекрывал все звуки пурги.

«Слышишь, сынок, это на вершине Боохоя воет горная собака». «А что это за горная собака?» — спрашиваю я маму. «Имя этой собаки называть нельзя»,— встревоженно отвечает мне мама. «А почему нельзя называть и почему нельзя ее прогнать?» — допытываюсь я. «Сынок мой,— понизив голос и уже почти шепотом говорит мне мама,— если эта собака услышит женский окрик, то вся затрясется от смеха, даже будет слышно, как весело постукивают ее ребра. А если она услышит мужской окрик, то вся задрожит от страха, даже будет слышно, как с перепугу стучат ее ребра».— «Но я же мужчина!» — говорю я, пытаясь пересилить страх. Мама благодарно и нежно прижала мою голову к своей груди. Лицо у нее спокойное, но только немного озабоченное и грустное. Не переставая время от времени поглаживать меня по голове, она достала хорошо обработанную шкурку трехмесячного ягненка и несколько кусков войлока — из чистой белой шерсти.

Неожиданно дверь распахнулась, в юрту ворвались клубы холодного воздуха и снега. На пороге появилась соседка, добрая бабушка Буувэй. Она направилась в правую сторону юрты, которая по традиции считается женской половиной, к задернутой пологом кровати. Раздвинув полог, насыпала перед кроватью тонкий слой сухого овечьего помета. На эту утепленную основу бабушка Буувэй уложила несколько слоев войлока, сверху постелила шкуру ягненка, потом задернула полог, обошла по обычаю вокруг очага, держа на вытянутых руках принесенный с собой тулга[2], уложила в кровать маму и сказала: «Иди, сынок, погуляй во дворе». Я, стараясь не думать о волках, накинул дээли и вышел за порог. В эту зимнюю холодную ночь нашу старенькую решетчатую юрту огласил звонкий крик новорожденного. Мне даже показалось, что он перекрыл вой пурги и волков. Это случилось накануне Цаган-Сара[3].

А в Цаган-Сар, ранним утром, жители нашего хотона, одетые в праздничные дээли, подпоясанные яркими оранжевыми поясами, направлялись к вершине горы, торжественно неся на вытянутых

[1] Покрытие, закрывающее во время непогоды верхнее отверстие юрты.
[2] Металлический треножник, который ставят над очагом.
[3] Монгольский Новый год, начало которого празднуют в конце зимы, в феврале.

руках подносы с вареной бараньей грудинкой, сочными боорцоками[1] и молочной водкой.

Когда народ собирался вокруг обо, из толпы выходил самый старый и уважаемый житель хотона. Согласно древней традиции, передаваемой из поколения в поколение, он, держа на вытянутых руках жертвенные подношения, начинал произносить благопожелания в честь хозяина горы: «О почтенный, седобородый, великий дух Цаган-Хайрхана! Будь милосерден и справедлив! Пусть люди под твоим покровительством не знают лютых холодов, пусть не ведают летнего зноя! Пусть ветер колыханьем будет, пусть дождь благоуханьем станет! Да будут люди в благополучии и благоденствии, да будет большой приплод и зеленая трава, да будет вода аршаном!».

А потом старейшина хотона восклицал: «Хурай! Хурай! Хурай!», обходил обо слева направо по ходу солнца и клал жертвенные подношения на вершину обо.

Весь этот день и еще целый месяц животноводы празднуют Цаган-Сар, радуясь тому, что благополучно пережили зиму, сохранив скот от бескормицы, зимних холодов и невзгод, готовясь к наступающей весне, к окоту, к хлопотам с молодняком, ожидая трудовое лето с его перекочевками, поисками хороших пастбищ и водопоев для скота.

Вечером праздничного первого дня жители собираются в юрте старейшины хотона, играют в шагай[2], отгадывают загадки и головоломки, слушают сказителей, поют длинные протяжные народные песни, исполняют традиционные танцы под морин-хуур.

Для монгола овцы, козы, верблюды, коровы и лошади — основа жизни и благополучия. Поэтому вся жизнь монгола, все, что окружает его, и все, чем он пользуется, тесно связано с животноводством. Этим объясняется исключительная любовь монгола ко всем животным. Лошадь же он просто боготворит.

Рассказывают, жил в одном хотоне молодой и красивый юноша Коко-Намжил. Он горячо любил девушку, жившую в отдаленном хотоне, и та тоже нежно любила его. Для влюбленного юноши большое расстояние, разделявшее его с любимой, не было преградой, так как у него был преданный ему крылатый конь, доставлявший его к любимой днем и ночью, в холод и зной.

И вот дочь местного богача, которой Коко-Намжил тоже пришелся по сердцу, решила разлучить влюбленных и однажды вечером, тихонько подкравшись к коню, подрезала ему крылья. Конь умер. Горе Коко-Намжила, потерявшего коня и разлученного навсегда огромным расстоянием с любимой, было беспредельным. В память о своем четвероногом помощнике и друге Коко-Намжил вырезал из дерева голову своего коня, нежную шкуру коня натянул на корпус музыкального инструмента, а из конского хвоста и гривы сделал струны. Так, говорят, и появился на свет монгольский национальный инструмент морин-хуур, с грустным мелодичным звуком.

И если вам когда-нибудь доведется побывать в наших краях и в зимний долгий вечер вы услышите монгольскую народную протяжную песню под сопровождение морин-хуура, знайте: в словах и звуках песни, в мелодиях инструмента звучат пережитое прошлое и счастливое настоящее моего народа. Мелодичные звуки морин-хуура, вечные мелодии моего музыкального народа, уверен, будут звучать и в будущем.

## 2. ВЕСЕННЕЕ КОЧЕВЬЕ

Жизнь не стоит на месте. Когда началось весеннее кочевье, мой дядя умер. Находясь при смерти, положив уже плохо повиновав-

[1] Вид печенья.

[2] Бабки.

шуюся руку мне на голову, он сказал: «Сынок, ты теперь не семенишь позади, а выравниваешь свои шаги с отцовскими...»

Ранней весной по единственной утоптанной тропе караваны верблюжьих кочевий потянулись к озеру Хяргас-Нуур. Когда караван с нашим кочевьем достиг хребта Тогтохын-Шил, подул сильный, сбивающий с ног ветер. Холодный и пронзительный, он швырял в лицо снег с песком, как будто испытывал мою волю. «Ты ку-у-да, мальчуган, воротись назад, тебе здесь ма-а-а-ленькому и слабому не место, вперед идут только си-и-ильные, только мужчи-и-ны!» — казалось, завывая, говорил ветер. От холода, голода и отчаяния у меня слезы выступили на глазах, хотелось повернуться и бежать назад в спасительную тишь долины. Но я, сжав зубы, упорно шел вперед, только вперед вместе с караваном.

И вот уже остался позади тяжелый переход, мой первый в жизни перевал. За этим горным хребтом и осталось мое детство. Я перешагнул его порог, может быть, раньше времени. Но в Монголии говорят: «Мужчиной становятся тогда, когда рука дотягивается до луки седла, а нога до стремени».

Как сейчас помню, голодные и уставшие, мы вместе с караваном спустились в долину Хяргас-Нуура, и тут нас встретил запах дыма и домашнего очага.

Нам навстречу вышла старая женщина в красном цэгдэге[1]. Она поднесла путникам горячий монгольский чай в большом медном кувшине, обернутом, чтобы не остыл, войлоком.

«С благополучной перекочевкой! Да будет вам белая дорога!» — говорила она, разливая чай по деревянным пиалам, вырезанным из корней березы. Это был старинный обычай гостеприимства. Так издревле встречали всех, кто перекочевывал на весенние пастбища. Перекочевка — очень тяжелое для животноводов дело, сопряженное со многими трудностями и опасностями. От чашки горячего чая, поднесенного путнику незнакомыми людьми, нега и тепло разливаются по замерзшему и усталому телу и волна любви и благодарности к этим людям захлестывает твое сердце. А для меня, ребенка, одолевшего свой первый трудный перевал, пожелание белой дороги показалось благословением на всю жизнь.

У нас в народе говорят: «Когда караван в пути, помни, что ты не один!»

Однажды я шел, погруженный в свои думы, и не заметил, как отстал от каравана. Я испуганно озирался вокруг. Из-под моих ног, змеясь между холмами и хребтами, убегали несколько дорог — по какой из них ушел мой караван? Я закричал, мне вторило только эхо. Мне стало жутко, и я вспомнил, как однажды в наших краях при весенней перекочевке женщина потеряла четырехлетнего сынишку. Весь караван искал мальчика, обшарили все ущелья и горы — но тщетно... Прошло несколько месяцев, мальчика уже считали погибшим. Во время осенней перекочевки, когда караван, перевалив через Тогтохын-Шил, опустился в долину Залин-Кодоо, у родника, прозрачного, как верблюжий глаз, кочевники увидели на песке четкие следы детской ступни. Сразу же вспомнили о пропавшем ребенке и начали поиски. В густых зарослях ивняка увидели убегающего мальчугана. Трудно себе представить, чем он питался и как он жил эти несколько месяцев. За это время он совсем одичал и превратился в маленького зверька. Оставшись наедине с природой, мальчик все же сумел приспособиться к ней, выжить. Возможно, все живое, обитающее на земле, незаметными узами связано с природой-матерью, и, чем крепче эти узы, тем более живуче ее детище. Народ удивительно точно подметил это. У нас говорят: «Едва у жеребенка кула-

[1] Старинная верхняя одежда женщины.

на[1] и тахи[2] появятся роговицы на ногах, он уже может обежать три пустыни Гоби». У янгиров[3] козленок выпадает из чрева матери на землю сразу на четыре ноги. И не успевают обсохнуть копытца, как козленок уже стрелой несется по камням.

...Ребенка догнали и окружили всадники. Он озирался, как дикий зверек, пугался людей, не подпускал к себе никого. Тогда один из стариков привез его родную мать. Мать плача кинулась к своему сыну с протянутыми руками. Тот, испуганно озираясь, стал пятиться. Тогда мать опустилась на колени, обнажила грудь и запричитала: «Целых десять месяцев[4] я носила тебя, мое дитя! Белым молоком моих грудей вскормила тебя, мое дитя! Груди наполнились молоком и болят без тебя, мое дитя!»

Мать встала с колен и пошла навстречу сыну. Белые капли молока, падавшие на землю, словно заворожили мальчика, и он подошел к ней.

Вспомнив этот случай, я, одинокий и голодный, затерявшийся среди холмов и гор, верил, что и меня найдут и обогреют люди. И меня действительно отыскали мои хотонцы, они привезли меня как будто в сказку, которую рассказывал мой дядя,— в красивый хотон с большими белыми домами, со светлыми сверкающими окнами. Хотон этот, в котором началась моя новая жизнь, назывался Хяргас-Нуурво.

Старики говорили, что этой весной будет большой приплод и высокая сочная трава, довольствие и благополучие войдут в каждую семью. Об этом они слышали собственными ушами от самого Араажава, который встает очень рано и за день успевает обойти весь мир и ложится спать лишь поздней ночью.

«Что же это за человек, который все знает и все всем объясняет?» — думал я. Оказалось, что Араажав — небольшой ящик величиной с плитку зеленого чая. Когда крутили за ухо этот ящик, он гремел во всю мощь, и я поражался, как великан Араажав мог поместиться в нем. Так через радио в мою детскую жизнь ворвался весь мир... Эта была первая прочитанная мной страница книги мудрости, приоткрывшаяся за первой золотой точкой.

А потом началась пахота. Я думал, люди, как и прежде, начнут пахать старым деревянным плугом, в который они впрягут верблюда или вола. Но на поля вышел железный бык, и сил у него было больше, чем у пятидесяти пяти быков, вместе взятых. Да и выглядел он странно, и голос у него был чересчур громкий, а два больших ярких глаза могли увидеть, как сказали бы старые люди, расстояние в три перекочевки[5]. Огромные, словно у дикого кабана, металлические зубы быстро вспахивали землю, которую несколько десятков деревянных плугов смогли бы обработать лишь за несколько дней.

Услышав громкий, властный голос железного быка, пробудились от вековой спячки окрестные степи, горы, холмы. Звери и птицы в страхе разлетались и разбегались от него. Только три юрты, как белоснежные лебеди, отставшие от стаи, встали на пути железного быка. Всадник, оседлавший железного быка, крикнул хозяевам трех юрт, чтобы они перекочевали на другое место. Но обитатели их отвечали: «Большой грех будет, если ты тронешь эту степь. Веками так было, никто не смел ничего на этой земле выращивать. Не гневи бога! Оставь нас и степь в покое!»

Но железный бык смело вторгся в степную целину, и вот уже только небольшой островок с тремя юртами остался нераспаханным. Так в мир моего детства вошла техника. Это была вторая страница

[1] Дикий осел, обитающий в Гоби.

[2] Дикая ослица.

[3] Дикий горный козел.

[4] Народное поверье гласит: если мать будет носить в своем чреве ребенка десять месяцев, он не будет знать ни болезней ни несчастий.

[5] Одна перекочевка равнялась приблизительно 30 км.

книги знаний, которая скрывалась еще за одной золотой точкой моего звездного небосклона.

Теперь уже каждый день открывал мне тайну очередной золотой точки, и я прочитывал новую страницу великой книги мудрости.



## 3. ИГРЫ В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Когда окрестности Цаган-Хайрхана' одевались в зеленый наряд, кочевники гнали скот на сочные пастбища к его подножию. У нас говорят: «Если выберешь удачное солнечное место для летней стоянки, то три месяца никаких забот знать не будешь!»

На зеленом дээли пастбищ — юрты, словно белые пуговицы, тут и там по склонам гор — овцы, как рассыпавшиеся жемчужины. Весь мир казался мне прекрасным и нарядным. Надел свой новый дээли и я. Когда человек надевает новый дээли, люди связывают это с обрядом очищения, все поздравляют того, кто в обновке, а если это ребенок, еще и стараются обласкать его. Наша соседка, добрая тетушка Кокоо налила из бурдюка, сделанного из верблюжьей шкуры, сочный пенистый айраг [1] в деревянную чашу из сандалового дерева и протянула мне с такими словами: «Делай добро, ненавидь зло! Будь искренним с людьми! И душа твоя пусть будет белой, как этот айраг!» А потом дотронулась мизинцем до краев чаши и окропила воротник моего дээли, освящая обновку.

В освященном дээли мне стало еще радостнее. Вот, думаю я, была бы у меня тысяча дээли — я каждый день надевал бы новый, все бы меня поздравляли, говорили ласковые слова, я всегда был бы счастлив!

Для меня не было большего счастья, чем в новом дээли пойти играть в цаган-модон. Лунной светлой ночью, в самом начале лета, молодые парни и девушки, одевшись в свои лучшие наряды, собираются на красивой полянке подальше от хотона и играют в цаган-модон. Один из играющих громко кричит: «Раз, два, три!» — и бросает небольшую палочку куда-нибудь подальше — в темноту. А все остальные кидаются искать цаган-модон — палочку счастья.

Тот, кто находит ее в густой траве, кричит: «Палочка счастья у меня!» — и бежит к тому, кто ее бросил. Все остальные пытаются настичь того, кто нашел палочку счастья, отобрать ее. Если же тот, кто ее нашел, добежал до ведущего, ему почести и слава. Бывает, игра продолжается до рассвета. Бывает, старики и старухи, слыша радостные, возбужденные крики играющих, тоже приходят на поляну, приносят кумыс, айраг и сочные боорцоки. Поздравив детей с началом лета, произнеся всякие благопожелания, они уходят спать. А молодежь, словно получив новый заряд бодрости, продолжает веселиться.

В эту короткую изумительную летнюю ночь получает выход накопившаяся радость и энергия. Этой праздничной ночи юноши и девушки ждут целый год, и она как бы вознаграждает их за долгое ожидание. В эти лунные ночи дети вступают в свою юность, а юноши и девушки познают таинственную сладость первой любви. Эта летняя ночь с ее чистым лунным светом, и эта красивая поляна, вместившая в себя столько искреннего молодого счастья, навсегда остаются в памяти тех, кто был на ней. Недаром старики говорят: сказки детям надо рассказывать долгими зимними вечерами, а в короткие летние ночи молодежь должна веселиться.

В каждом времени года есть своя неповторимая красота. А красота лета еще и в трех мужских забавах — стрельбе из лука, скачках, монгольской национальной борьбе. Ни один праздник монголов не проходит без этих трех главных забав.

Нет ни одного мужчины в нашем сомоне, который хотя бы раз

[1] Кислый молочный продукт.

не завоевал победу в национальной борьбе. Я помню юношу из нашего хотона, который одолел барса, пробравшегося через верхнее отверстие юрты. Этот юноша славился среди нас, сверстников, удивительной — не по возрасту — силой. Победив в национальной борьбе в нашем сомоне всех соперников, даже взрослых, он получил почетное прозвище Могучего слона. Благословляя его, старейшина хотона, который помимо мудрости обладал еще и огромной физической силой — в молодости он даже поднимал верблюда,— сказал: «Баянмунк, ты всегда будешь наверху, пусть твои лопатки никогда не коснутся земли!» Забегая вперед, скажу, что слова дедушки Оршиха сбылись, Баянмунка действительно никто не мог победить не только у нас в хотоне, но и по всей стране. Он стал самым сильным борцом в мире и завоевал золотые медали в далекой заморской стране.

Наш сомон славился сильными борцами, но долгое время у нас не было хороших скаковых лошадей. И вот каждая семья сомона решила подарить сельхозобъединению по одному резвому жеребенку. На одном из летних праздников, на скачках, наш сомонный гнедой, которого я знал и любил, еще когда он был длинноногим забавным жеребенком, занял первое место. В седле сидел шестилетний Батэрдэнэ.

Как и заведено, старейшина хотона, он же почетный судья, взял под уздцы лошадь с седоком и подвел ее к нарядному шатру. Там торжественно снял уздечку, показал ее всем присутствующим и начал петь: «О, славный конь! Твои уши, чутки, как у кулана, твои ноги резвы, как у зайца, твое тело гибко, как у змеи, ты смел и силен, как снежный барс! Не успели обсохнуть твои копытца, а ты уже показал миру свою резвость! И ты не обманул ожиданий своего седока, не подвел своих земляков! Отныне питайся травой, которая сочнее самых сочных трав, пей из источников, которые прозрачнее самых прозрачных!» Пропев этот традиционный гимн коню-победителю, старик обмакнул пальцы в серебряную, наполненную кумысом чашу и окропил им голову лошади.

Из толпы вышел гордый и счастливый отец наездника, он торжественно подвел лошадь к председателю сельхозобъединения, поцеловал ее в нос и сказал: «Пусть мой любимец, даривший радость нашей семье, будет дарить радость всему сомону. И пусть он принесет сомону резвых жеребят, которые прославят наш сомон!»

Бадан, председатель сельхозобъединения, высокий, по-юношески стройный, несмотря на свои шестьдесят лет, принимая подарок, ответил: «Большое спасибо всем вам за заботу о нашем сомоне, мы будем идти вперед, к новой жизни, со скоростью нашего чемпиона!»

## 4. ОСЕННИЙ СОЛНЕЧНЫЙ РОДНИК

Осенью озеро Хяргас-Нуур бывает особенно красиво. Воды его темнеют, и в глубине становятся отчетливо видны светлые стаи всевозможных рыб. Рыбы у нас в народе — символ бдительности, ведь большие рыбьи глаза никогда не закрываются, вечно бодрствуют. Поэтому, наверное, рыб у нас не ели, считая это святотатством.

Над черной гладью озера собирались и одновременно взмывали вверх стаи гусей и уток. Сделав круг над озером, они улетали в теплые края, куда-то далеко на юг.

На берегу озера возвышается большая черная скала, из-под которой круглый год, не замерзая, бьет родник. О нем в народе сложили много разных легенд. Сейчас возле скалы, из-под которой продолжает бить хрустальной струей родник, построен дом отдыха для чабанов. Он всегда бывает переполнен в начале лета, а осенью пустует, так как чабаны уходят с кочевьем в горы.

Я любил бегать по берегу, заросшему высокими травами. Особенно мне нравились травы с высоким стеблем, у цветка которых всегда

кружили пчелы. Бывало, сорвешь зонтик цветка, сунешь в рот и долго потом ощущаешь сладость меда и терпкую горечь травы.

«Этот цветок напоен солнечным соком,— говорила мне мама.— Все, что растет и живет под солнцем,— это все его дети!»

На южном берегу озера, в густых зарослях моих любимых трав с медовыми зонтиками, в приятной прохладе светился ручеек, его у нас прозывали «солнечным», так как он весь был пронизан солнцем до самого золотистого песчаного дна. И нет ни одного человека в нашей округе, который бы не знал его, не пил из него студеной, прозрачной воды.

Неподалеку от этого ручейка рос густой кустарник облепихи. В зеленых зарослях кустарника осенью оранжевым пожаром светились сочные ягоды. При первых же заморозках жители кладут под куст облепихи полотно и начинают палкой трясти ветки. Ягоды падают на полотно. Их собирают и приготавливают из них различные сладости и соки. Особенно славится облепиховое масло, о чудодейственных целебных свойствах которого рассказывают легенды.

«Мое далекое детство, связанное с Монголией, ассоциируется с гроздьями золотисто-оранжевых ягод облепихи, в зарослях которой нас прятали от банд барона Унгерна монгольские патриоты в далекие двадцатые годы»,— сказала на вечере монголо-советской дружбы Таисия Алексеевна Бурдукова, ленинградский ученый, дочь известного русского монголоведа Алексея Борисовича Бурдукова. С кустарниками облепихи связан и один курьезный случай в моем детстве.

Как-то летом представитель отдела народного просвещения стал объезжать верхом юрты животноводов, разбросанные по пастбищам. Он составлял списки детей дошкольного возраста — близился учебный год. Старый набожный Гатив, живший в одиночестве в отдаленной от всех хотонцев юрте, сказал мне, что если я пойду в школу, то кормить меня там будут одной зеленой травой, а поить одной водой, и от этого я стану легким как пушинка. Слова Гатива так напугали меня, что, едва завидев на горизонте всадника, я сломя голову кидался в заросли облепихи и прятался там.

В один из последних дней августа я как обычно загнал овец в хашан, и тут отец позвал меня в юрту. Мама стояла в ее левой стороне и, держа руки за спиной, многозначительно поглядывала на отца. «Ну, сынок, с завтрашнего дня у тебя начинается новая жизнь. Хорошенько учись, сынок, и ничего на земле не будешь бояться!» Сияя от радости, мама протянула мне новенький, пахнущий магазином портфель.

В ту ночь я долго ворочался и не мог заснуть. «Мама, дай мне попить»,— просил я, ворочаясь. «Перед смертью не наговоришься, перед сном не напьешься»,— добродушно сказал отец. «Спи, сынок, как только заснешь, мышонок принесет тебе холодного чаю!» — сонным голосом ответила мама.

«Когда принесет?» — уже засыпая, спросил я.

«Во сне-е-е, в золото-о-ой чаше... мышонок»,— уже сквозь дрему слышал я. У нас в народе говорят: если человек перетерпит жажду — он будет пить потом из золотой чаши.

Ранним утром, когда огромный диск солнца стал подниматься над озером, мама благословила меня в дорогу. Удобно усевшись позади отца, крепко обхватив его за пояс и прижав к себе новенький портфель, я отправился навстречу новой жизни.

## ЭПИЛОГ

И вот я снова, много лет спустя, встретился с моим далеким детством. Окончив школу, а затем Монгольский государственный университет, я стал работать. По роду своей деятельности мне часто

приходится бывать в разных уголках моей страны, и везде я вижу кипучую созидательную деятельность моего трудолюбивого народа.

Побывал я и в моем родном крае. Природа как будто не подвластна времени, она такая же, как в моем далеком детстве. Все так же величественно и гордо высится Цаган-Хайрхан, а маленькая Давхар-Усан, как и прежде, шумно несет с ледников свои прозрачные воды, все так же таинственно мерцает озеро Хяргас-Нуур, в прибрежьях которого — еще одно воспоминание детства—светятся оранжевым пламенем кусты облепихи и кружат пчелы над зонтиками медовых трав.

Да, много веков несла в мировой океан свои воды маленькая речка Давхар-Усан, тысячелетиями молчаливо взирала на мир вершина Цаган-Хайрхана и постоянно перекочевывал через его перевалы, оставляя следы караванов, мой народ. Он продолжает свой путь и сегодня, только в великое кочевье новой жизни.

Как преобразили черты нового до боли знакомый мне с детства Хяргас-Нуур. Нарядные одноэтажные и двухэтажные здания выросли в поселке. Глядя на новую больницу, я вспомнил, в каких условиях рожала моя мама. На месте маленького, с подслеповатыми окнами саманного домика, в котором находилась наша школа, стоит красивое двухэтажное здание с большими светлыми окнами.

Но самое главное, иными стали люди, изменилась их жизнь. В поведении, манере разговаривать чувствуется уверенность людей в завтрашнем дне.

Когда я приезжаю в свой поселок Хяргас-Нуур, я всегда с грустью вспоминаю нашу старую решетчатую юрту, в которой я родился. В студенческие годы в Улан-Баторе я каждый день с нежностью думал о моем облепиховом крае, где прошли мое детство и юность. Бывая за рубежом, я со щемящей тоской размышляю о Монголии, о ее вечно синем небе, о моем добродушном и трудолюбивом народе.

Когда я ночью смотрю на золотые точки звезд, светящиеся на небосклоне, невольно задаюсь вопросом — а о чем бы думал я там, находясь в бесконечном звездном пространстве?

Очевидно, вся наша планета с ее обитателями была бы для меня такой же родной и близкой, как мой далекий, но близкий моему сердцу поселок у подножия горы Цаган-Хайрхан. И я желал бы всем людям, живущим на земле, представляющим единый человеческий поселок нашей планеты, вечного мира и согласия. Пусть у них будет много мудрых книг, пусть будут деяния и были, которые станут потом чудесными легендами для грядущих поколений, пусть в душе у каждого человека будет своя горящая, неповторимая облепиховая радость, пусть люди будут сильны и выносливы, пусть у каждого из них будет резвый скакун, способный домчать своего всадника к высокой цели, пусть они бескорыстно и весело делают друг другу добро.

Пусть руки, которые бывают нежными, как руки матери, мозолистыми, как руки пахаря, обветренными, как руки чабана, творят добро, сеют хлеб, твердо сжимают таяг, благодарно гладят животных, пусть никогда не придется этим рукам, движимым ненавистью к другим людям, нажимать на курок ружья.

И все же, открывая новые планеты вселенной, прокладывая пути в неизвестное, я всегда буду помнить: самый близкий и дорогой мне уголок земли — мой маленький, затерявшийся в горах поселок, откуда я сделал свой первый шаг в большой мир!

# *Из монгольской поэзии*

*Перевод с монгольского МАРКА СЕРГЕЕВА*

## Ц. ГАЙТАВ

### *Да здравствует коммунизм!*

Издалека
о нем летела весть,
Через века
его гремела поступь,
Маркс, Энгельс, Ленин
яростно и просто
Твердили людям:
он придет!
Он есть!
И над землей забрезжил он лучом,
Потом зарей,
объявшей неба своды.
И юный мир
дал дерзостные всходы,—
Доверием народов облечен.
Никто ладонью
солнца не затмит,

---

**ЦЭГМЭЙДИЙН ГАЙТАВ** (1929—1979).

Монгольский поэт. Лауреат Государственной премии МНР. Начал печататься с 1948 г. Автор сборников стихов «Красное знамя», «Новый год поэзии», «Лучезарный памятник», «Строки, пронизанные светом», поэм «Дамдин Сухэ-Батор», «Сын из местечка Гун Галуутайн» и др. В Советском Союзе стихи и поэмы Ц. Гайтава публиковались в сборниках монгольской поэзии, в периодической печати.

И коммунизму
не закрыть дороги:
Его влечет
истории магнит,
В руках —
мандаты поколений многих.
И Марксом он, и Лениным влеком,
К монгольской юрте
подошел с доверьем,
Мы — души настежь,
настежь наши двери,
Чтоб встретить гостя
чашей с молоком.
И каждый хочет
дар достойный свой
Преподнести ему.
Желанье это
В сердцах у нас,
как половодье света,
Как пламень жизни
вечный и живой.
Как родственника,
что вернулся в дом,
Как много лет не виденного
друга,
Готова встретить
каждая округа,
И стар и мал беседуют о нем.
Он в глубине истории рожден,
Но к нам
его летели позывные,
Его узнаем,
увидав впервые,
И встретим
буйством радостных знамен.
Войдет в сердца он,
как в надежный дом,
Он станет гражданином
всей планеты.
Его таким
предвидели поэты,
И приближали мы —
своим трудом.
Чтоб в каждом деле
прорастали снова
Надежды наши,
наш патриотизм,
Пусть словно заповедь звучат
в душе четыре слова:
«Да здравствует грядущий коммунизм!»
С ним оживут
все,
кто погиб в бою
За торжество
великого рассвета,
Я славлю сердце
и перо поэта,
Что отдал коммунизму
песнь свою!

## *Комната на двоих*

Два стихотворца, два отпускника,
В своем народе оба знамениты,
Снимали комнату вдали от шумной свиты,—
Где только лес, да горы, да река.
Один был стар — он поступал хитро:
Он замыкал свои покрепче двери,
И, только в тайный голос сердца веря,
Он осторожно брался за перо.
Другой, веселой жаждою влеком,
Он комнатой своей считал, пожалуй,
Лишь только землю, что ковром лежала,
Да небо, что синело потолком.
Ему был креслом краешек скалы,
К нему сбегались горные потоки,
Ему друзья-кусты шептали строки
И пели птицы средь вечерней мглы.
Да, он был юн и поступал хитро:
Выслушивал деревья, ветры, воды,
И, напитавшись гомоном природы,
Он дерзновенно брался за перо.

## Ч. ЧИМИД

## *В актовом зале лицея*

Старинный зал торжественно затих:
Звучат стихи, воспламеняя взоры,
И возникают чистые узоры,
И солнце Пушкина пронизывает их.
Из разных стран пришли мы в сей чертог,
Где утро гения горит бессмертным светом,
И я вплетаю свой монгольский слог —
Орнамент древний современных строк
В разноплеменный разговор поэтов.

---

**ЧОЙЖИЛИН ЧИМИД** (1927—1980).

Монгольский поэт, прозаик, драматург, переводчик. Лауреат Государственной премии МНР и премии им. М. Горького. Автор поэтических сборников «Я — монгол», «Эпоха», «Песни всадника». «Стихи и поэмы», романа «Весна — осень», повестей «Где прошел Магеллан». «Монгольская легенда». На сценах монгольских театров было поставлено девять пьес писателя. Ч. Чимид перевел на монгольский язык «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, «Войну и мир» (I том) Л. Н. Толстого, «Отелло» и «Гамлета» В. Шекспира

На русский язык переведена повесть Ч. Чимида «Монгольская легенда» («Знамя», 1976, № 12), пьеса «Совершенно секретно» («Театр», 1979), его стихи печатались в периодике и в сборниках монгольской поэзии.

И вдалеке мы знали этот зал
Как горизонт, откуда восходило
Поэзии бессмертное светило,
Чей ясный блеск Державин предсказал
Все было здесь — томление в груди,
Восторга слезы, напряженья токи,
В груди горели будущие строки
И говорили мальчику: иди!
Как строй солдат, покинув бивуак,
Уже те строки шли сквозь лихолетья
Из сердца мальчика — в кипение атак,
Из сердца Пушкина — сквозь страны и столетья.

Мне видится тот день сквозь толщу лет:
Ряды вельмож; чей стан и взгляд — державен,
Но лицеисту виден лишь Державин,
Согбенный старец, дерзостный поэт.
Нет, не царю и не его двору
Сдает экзамен лицеист курчавый,
Державину, овеянному славой,—
Соперник по таланту и перу.
И в такт старик качает головой,
Он видит: не мальчишеская шалость —
Любовь и ярость, жизнь и смерть смешались
В поэзии беспечной и живой.

Сегодня мы экзамен здесь сдаем,
И ощущаем: Пушкин где-то рядом —
Вот так его пронзал когда-то взглядом
Старик Державин, сидя за столом.
И благодарны мы сейчас судьбе.
Звучат стихи, летит за словом слово,
Так он читал в изгнанье «Годунова»
И сам же аплодировал себе.

■ ■ ■

К морю Добра я пришел —
Показалась мне малой посуда,
Все же из моря Добра
Налил я ее до краев.

К морю Зла я пришел —
Оказалась посуда закрытой.
Спорить с крышкой упрямой не стал,
Возвратился я с моря ни с чем.

К морю Любви я пришел —
Оказалась бездонной посуда,
Сколько ни черпал воды —
Вся возвращалась волне.

Вечною жаждой томлюсь
С тех пор у моря Любви,
Видно, посуде моей
Не наполниться никогда.

## Д. ЦЭДЭВ

### *Песня о лесах*

Чтоб не упасть от ветра — откуда б ни ринулся враг —
Она раскинула корни и землю прошила прочно,
И, к солнцу выметав хвою, дышит настоем сочным
Могучая ель и под небом крепко стоит на ногах.
Хвойных сестер миллионы выстроены в ряды,
Поддерживая друг друга, они взбегают по склонам,
И вот уже лес веселый густым нарядом зеленым
Покрыл полночные скаты каменистой гряды.
Каждая — особняком, в кольце своей тишины,
Но общим воздухом дышат, одним обласканы светом,
И общим огненным жаром летнего солнца согреты,
И общим соком земли те ели напоены.
Дружны они потому, что связаны жизнью всей.
Страх и волнения — общие, радость и счастье — тоже.
Коль ветер бьет по верхушкам — их повалить не сможет,
Деревья, как люди, держат друг друга руками ветвей.
Деревья напряжены, шлют тотчас тревожную весть
Своим сородичам дальним, заслышав сигнал разведки,
И от удара сильного по одной-единственной ветке
Сто тысяч верхушек вздрогнет — и лес растревожен весь.
Их каждую поодиночке легко бы свалить смогли,
Когда бы вдруг разлучить хотя бы на миг сумели,
Но, слыша удар по корню одной-единственной ели,
Вздрогнут тыщи корней и вцепятся в толщь земли.

Время течет бесконечно, нрав его крут и лих,
И ели все же седеют. Старость свою почуя,
Они выдирают корни, сами себя корчуя,
И падают осторожно, чтоб не задеть других.
В миг этот безвозвратный птичья смолкает трель,
Девственный лес обнимает потерю свою корнями,
И, восполняя ее, дерзостно меж камнями,
Как волос ребенка, нежная возникает новая ель.
Солнце встает над лесом, бросая пучками лучи,
Деревья их подбирают и дарят ленты друг дружке,
На каждой лапчатой ветке место дают пичужке,

---

**ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ** (род. в 1940 г.).

Монгольский поэт, прозаик, критик, кандидат филологических наук, председатель Союза монгольских писателей. Автор книг «Сын Ундрал» (1965), «Добрый человек земли» (1970), «Вкус кумыса» (1970), «Традиции и новаторство монгольской поэзии» (1973), «Мастерство писателя» (1978), «Размышления» (1979). В Советском Союзе стихи Д. Цэдэва печатались в периодике.

Чтоб песни окрест звенели — беспечны и горячи.
Горный ручей-мальчишка свою убавляет прыть,
Он взбудоражен этим птичьим серебряным гамом,
И, отражая деревья, растущие по берегам, он
Сверкает, туго натянутый, как золотая нить.

Туман, и вода, и снег — все вместе живут в лесу,
Весна свою юрту ставит, и лето, и осень с зимою,
И запах каждого месяца мешается с запахом хвои,
И каждое время года приносит свою красу.
Здесь людские сердца открываются, слово чистое ищет душа,
Ковер, что цветами заткан, лес постелет влюбленным,
И от горячего солнца их прикроет крылом зеленым,
И нежное их воркованье слушает не дыша.
Жизни людской не хватит выслушать всех пичуг,
Шелест запомнить и слово, и чистый звон паутинки,
Но в каждом таежном дереве, как на диске пластинки,
Камбиевые дорожки ложатся за кругом круг.
Быть может, хранят они звуки давно ушедших эпох;
Быть может, они записали, чтоб передать потомству,
Всех птиц озорные песни, всех летних гроз вероломство,
И стон любви человечьей, и ветра рассветный вздох?
О девственный лес, скажи мне, кто так еще щедр, как ты?
Кто столько черпал, природа, как я у тебя надежды:
Дышу — это вы мой воздух, одет — вы моя одежда,
А мир захочу возвысить — вы песней во мне разлиты.
Когда я гляжу на дым, что идет из юртовых труб,—
Я вижу: поленья еловые жаром в печах исходят,
Заслышу фабричный шум — и вижу: дома возводят,
Еловые доски — для двери, еловые бревна — на сруб.
Когда смотрю на мосты над белым ревом стремнин,
Когда смотрю на столбы, что идут к городам и весям,
Я думаю о тебе — родном, бескорыстном лесе,
В дворцах тебя узнаю и в крепости ягодных вин.
О, дерево может менять свой облик и форму, и цвет,
Его не всегда узнаешь в метаморфозах сложных,
И жить на земле без дерева попросту невозможно:
Вещей, сотворенных без дерева, на свете почти что нет.
Как все мы не бережливы, лесной мы не ценим дар,
Как часто без толку губим все то, что лелеять надо,
А если леса погибнут — пустыня нам будет награда,
Ручьи пересохнут, и реки и очи иссушит жар.
Так будет нам не хватать обыкновенных чудес!
Я помню рощу, где с милой свиданья мы назначали,
Теперь эта роща исчезла, напрасно ищу в печали,
И рясный кустарник напрасно ищу — он тоже исчез.
Сказали мне: кто-то жадный оставил здесь только пни,
Сказали: язык пожара вылизал остальное...
Думают самоубийцы, что безбрежно чудо лесное,
Что природа неиссякаема! О, как близоруки они!

Стою под громадным деревом, вверх устремляя взор:
Ветки переплетаются, стараясь с другими свиться,
Как будто на чистом облаке безвестная мастерица
Вышила вдохновенно трепетный свой узор.
И, может быть, оттого, что, ветви лучами связав,
И солнце, и воздух тянут их все выше и выше,
Деревья стремятся к небу и синим простором дышат,

И кроны крыльями машут, птичий усвоив нрав.
Но корни за землю держатся — им летать не дано,
Их узловатые жилы живые вбирают соки,
А ствол — точно столб, который землю с небом высоким,
Цепкие травы и тучи соединил в одно.
Деревья зря не теряют хвоинок нарядный груз,
Ни корень, ни семя летучее — будущего ребенка.
Нас всех спеленала планета одною общей пеленкой,
В общей борьбе за жизнь — связала тысячей уз.

Защита природы — не фраза, не притча у всех на устах,
Деревья растут и падают — и смена идет за сменой,
Их нет — значит, мы без легких, и кровь наша стала пеной,
Их нет — значит, мы без сердца, как мертвый, бесплодный прах
И человек и дерево так схожи между собой,
И человек и дерево одинаково стонут в печали
И веселятся похоже — вы разве не замечали?
И одинаково твердо стоят перед жесткой судьбой.
Смотришь на лес с вершины — подножия не видать,
А снизу смотришь — тоже: лес заслонил вершину.
Я песню пою природе, как подобает сыну,
Который лелеет, и любит, и славит родную мать.

## *Одно лишь слово...*

Едва-едва я тяжесть превозмог:
Я нес свой груз, а сила исчезала,
Но милая словечко мне сказала —
И я окреп, и стал могучим дух,
А груз стал невесомым, точно пух.
Вселенную б взвалить на плечи мог!
Одно лишь слово — а каков итог!

Я целый день трудился точно бог.
Ко мне соседка злая подскочила,
Сказала слово — радость омрачила,
И сила вдруг из рук моих ушла,
И груз мой стал тяжелым, как скала,
Упал и землю он пробил у ног!
Одно лишь слово — а каков итог!

**СЕРГЕЕВ МАРК ДАВИДОВИЧ** (род. в 1926 г.).

Советский поэт, прозаик, кинодраматург, переводчик. Автор книг о Пушкине — «Перо поэта», «Вся жизнь — один чудесный миг», о декабристах — «Подвиг любви бескорыстной», «Несчастью верная сестра», десяти поэтических книг, многих повестей-сказок для детей — «Волшебная калоша», «Олень-драчун» и др. В его переводе вышли книги для детей Миры Алечкович (Югославия), Нади Кехлибаревой (Болгария), стихи монгольских поэтов.

# ЛУИЗА РИНЗЕР

# *Черный осел*

РОМАН

*Перевод с немецкого* **Л. СИМОНЯН**

Среди прочей корреспонденции письмо с черной каймой. Мгновенный испуг, мимолетное ощущение предстоящей потери, решимость распечатать конверт и жестокое чувство облегчения: умер кто-то незнакомый. Вилли Каунигер, почивший в бозе 2 сентября 1973 г. после непродолжительной болезни на девяносто третьем году жизни. Кто он, этот человек, какое он имеет ко мне отношение, отчего меня извещают о его смерти, кто они, те, что сочли необходимым известить меня о его смерти? Родные покойного: Берти Каунигер, Кл. и Стефания Мартин. Какое-то странное сокращение: «Кл.» Мне извещение ни к чему, приличия ради желаю, чтобы господь даровал незнакомцу вечный покой, пусть это означает для него что угодно, потом бросаю письмо в корзину для бумаг и забываю о нем.

Однако оно не забывает меня, ночью оно возвращается ко мне с поблекшей фотографией приземистого дома, с откуда-то взявшейся водой, которая уносит текст письма и приносит образы, чем-то знакомые, но, несмотря на все мои усилия, не поддающиеся определению, и вдруг немой фильм прекращается, словно его оборвали, остается и отчетливо смотрится один-единственный кадр: ребенок, горбатая девочка, она оборачивается и бросает через плечо и через горб взгляд, от которого я просыпаюсь.

Горбатая девочка — откуда я знаю ее? Мучаюсь, пытаюсь отыскать ее в моих воспоминаниях, но все напрасно. В конце концов поступаю так, как принято поступать при ловле кротов: нельзя ни докапываться, ни продвигаться, нельзя даже пристально вглядываться — ведь явное ожидание спугнет крота.

Несколько часов спустя хлынули воспоминания: вода из моего сна — это ручей, вяло текущий, чуть зеленоватый ручей с бревенчатыми мостками у берега, скользкими от мыла и щелока, над ними благоухание

© S. Fischer Verlag. 1974.

---

**ЛУИЗА РИНЗЕР — LUISE RINSER** (род в 1911 г.).

Немецкая писательница (ФРГ). Автор многих романов, повестей, сборников рассказов, эссе, переведенных более чем на 20 языков. В 1941 г. вышла ее первая повесть «Стеклянные кольца» («Die gläsernen Ringe»). Нацисты запретили ей заниматься писательской деятельностью, а в 1944 г. она была заключена в тюрьму; поражение Германии спасло ее от смертной казни. Об этом периоде повествует «Тюремный дневник» («Gefängnistagebuch», 1946). Выходившие впоследствии романы «Ян Лобель из Варшавы» («Jan Lobel aus Warschau», 1948), «Середина жизни» («Mitte des Lebens», 1950), «Приключение добродетели» («Abenteüer der Tugend», 1957), «Я — Тобиас» («Ich bin Tobias», 1966) и др. принесли ей широкую известность. В последние годы она выпустила книги «Стройплощадка. Нечто вроде дневника. 1967—1970» («Baustelle. Eine Art Tagebuch. 1967—1970», 1970), «Военная игрушка. Дневник 1972—1978» («Kriegsspielzeug. Ein Tagebuch 1972—1978», 1978), автобиография «Обнять волка» («Den Wolf umarmen», 1981). Мы знакомим читателей с творчеством Луизы Ринзер, публикуя роман «Черный осел» («Der schwarze Esel». Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1974).

цветущей липы и бузины и много зелени с красными крапинками — огненно-красные бобы на обвитых зеленью и склоненных друг к другу жердях; они образуют беседки, высокие, но узкие, в них можно спрятаться, а чей-то голос зовет: «Клара, Стефания!» («Кл.» — это, стало быть, Клара.) Зовущий голос мягок, он слегка дребезжит, в нем нет повелительной интонации. Но этот голос не имеет никакого отношения к лицу, которое всплывает в памяти так же безмолвно, как луна поднимается из глубины вод,— белое лицо, высоко зачесанные и искусно уложенные светлые волосы, кудряшки на лбу, кто эта женщина, она стоит передо мной в серебристо-сером шелковом платье, в ажурных перчатках до локтей, в одной руке раскрытый зонтик с длинным тонким стержнем, с кисточкой из шелковинок, зонт блестяще-серый, в крупных белых цветах, она его закрывает, прислоняет к стене дома и неторопливо прогуливается между шпалерами огненно-красных бобов, проходит сквозь них, то появляется, то исчезает, то вновь появляется, она словно проплывает зелень с красными крапинками, потом подходит к замшелой деревянной дождевой бочке под водосточной трубой, медленно-медленно стягивает ажурные перчатки, вешает их на куст смородины, роняет белые, очень белые руки, надолго погружает их в воду, глядит, склонившись над бочкой, на свое отражение (на что же еще, иначе зачем бы ей склоняться над бочкой) и, наконец, вынимает, еще медленнее, руки из воды, выпрямляется и поднимает их, будто собираясь сушить на солнце, но когда она стоит с простертыми ввысь руками, кажется, что она взывает к небесам над ручьем, вода стекает каплями по ее белой коже, задерживается на округлых локтях, увлажняет траву: фрау Мартин. Мать двух девочек — Клары и Стефании. Стефания красивая, Клара горбатая, Клара старше, у нее туго заплетенные черные косы и очки в стальной оправе, она — почтенная особа, не играет с нами, но всегда тут, жует кончик косы, наблюдает за нами и говорит: «Играйте же!» — так взрослые говорят детям.

Идет война. Мои родители отправили меня «в деревню». «Деревня» — маленький провинциальный городок, немногим больше крупного полустанка, и все же это «деревня»: ведь уже на окраине городка начинаются крестьянские поля, где растут и картофель и зерно, здесь всегда найдется что-нибудь поесть. Я живу у одной женщины, зову ее тетей, но она мне вовсе не тетя. У нее неподалеку от ручья маленький дом, а в соседнем, точно таком же доме живут наши родственники Мартины, и старуха с дребезжащим голосом — это бабушка Клары и Стефании, «настоящая бабушка» в отличие от другой, обитающей где-то еще. Девочка Стефания вспоминается с трудом, Стефания — светлая безмолвная тень, но она вдруг становится осязаемой, вскрикивает или делает что-нибудь неожиданное и непозволительное, быть может, бросается в ручей, и ее относит течением к плотине, а она едва умеет плавать.

Все это вместе взятое — мое детство. Оно пахнет липовым цветом, мылом и щелоком, ржавым железом (это еще откуда?) и духами. Духи принадлежат фрау Мартин. Однажды я нашла в саду ее длинную перчатку, эта перчатка благоухала как ничто другое, обе мои руки скользнули в нее, но «тетя» сказала: «Брось сейчас же, брось туда!» И мне пришлось перебросить перчатку через дощатый забор в сад Мартинов. «Вымой руки!» — сказала тетя. Мои руки не были грязными. «Вымой руки, сейчас же!» Почему? Никакого ответа. Я сделала вид, будто вымыла руки, но постаралась не мочить их; ведь от них пахло так же чудесно, как от фрау Мартин.

Четыре военных лета провела я у «тети». Другие дети оставались там на целый год и навсегда, у них была настоящая бабушка, а у меня только мнимая тетя, у них была красивая мать, а моя мать не была красивая, и там ее вообще не было. Их мать звали Мина; тетя говорила «Минна», она выговаривала ненавистное имя жестче, она выплевывала

его. Мне бы хотелось назвать фрау Мартин протяжнее: «Ми-и-на», но до этого так и не дошло никогда.

Вот он, семейный портрет крупным планом. Недостает лишь того самого Вилли Каунигера. Он никак не приходит мне на память. Он для меня мертвее мертвых, завтра зароют в землю его тело, и я никогда не узнаю, кем он был, кем он был для меня, если я... да, если я завтра не поеду на его похороны. А почему бы мне и не поехать? Прекрасным сентябрьским утром провести часок в поезде, чтобы не упустить последнюю возможность встретиться с ветхими призраками моего детства до того, как они окончательно рассыплются в прах; ехать или не ехать? Я все еще колеблюсь. Почему, собственно, родные покойного вдруг вспомнили обо мне после стольких лет — ведь миновали десятилетия, и почему они предполагают, что смерть господина Каунигера небезразлична мне, почему из-за этой смерти они коснулись белого пятна в моей памяти? Вильгельм Каунигер, нет, не знаю я его. Но Клару я вспоминаю, горбатую девочку. А действительно ли она горбатая? Чего только не воображают и не внушают себе дети!

Итак, я еду на похороны. Когда я сажусь в поезд, у меня такое же состояние, как при въезде в «туннель с привидениями» в дни мюнхенского октябрьского празднества: понимаешь, что ничего не случится, но чувствуешь, как тебя начинает познабливать, хочется спрыгнуть в последнюю минуту, но уже поздно, а потом, проваливаясь куда-то, думаешь — пусть уж что-нибудь случится, чтоб страх оказался не напрасным и чтоб затея имела смысл. И стоят вокруг в открытых гробах скелеты, светясь фосфорическим светом, слегка постукивая костями, и грозят тени огромных узловатых пальцев, хлеща мокрыми полотнищами по лицу, и веет могильным холодом, а когда — раз-два-три — опять выскочишь наружу, смущенно засмеешься и быстро, не оборачиваясь, уйдешь — что ж, может и так быть.

Слепо, хотя и по собственному желанию — так мне, по крайней мере, кажется — отправляюсь я в глубь затхлого прошлого. Но ведь там же липы на привокзальной аллее, да, конечно, липы! Первое разочарование: нет, это не прежние липы, те были толще, с потрескавшейся корой и глубокими дуплами, в них гнездились филины и другие птицы, иногда в сумерках долетавшие до наших садов. Этим же липам не более двадцати лет, они еще ничего не пережили, да и город уже не тот, что прежде,— прежний был зеленый и сырой, и от него пахло мокрой древесиной, под мостками журчала вода, и низенькие дома теснились к ручью (в моей памяти осталась только одна улица, эта самая, с рядом домов у ручья), и на стенах домов виднелись пятна плесени, и внутри устоялся домашний гниловатый запах лаванды и свежевымытых дощатых полов. Теперешние дома — они высокие, ребристые, обесцвеченные иссушающим центральным отоплением, в них что-то не то, а где ручей — никому не известно, говорят, нет ручья, но когда впереди зажигается красный огонек светофора и пока еще нельзя повернуть в другую сторону, тогда в наступившей на миг тишине слышится глубоко внизу слабое журчанье — вода не исчезла, она струится по подземным каналам к электростанции, а там, где был ручей (какой-то старик помнит его), проложили улицу, домишки сносят один за другим, как только умрет очередной владелец, там живут преимущественно старики, и они отказываются продавать свои дома городу, они (это старик говорит) выиграли процесс, когда судились с городом, но и город выиграл процесс: ведь старики дали расписку, что после их смерти дома пойдут на слом, земельные участки, таким образом, принадлежат государству, а люди живут там как съемщики или как арендаторы, город платит им, и (это старик говорит) они довольны, у них никаких забот и никаких неприятностей, в том числе и с наследниками, но (говорит он) некоторым даже нет и семидесяти, и городу еще долго придется ждать и платить (говорит он со злорадством). Он показывает мне дорогу, он провожает меня, и я спрашиваю его, не знает ли он случайно

господина Каунигера, кто он такой или кем он был. Он отвечает, что знает его, конечно; ведь они — товарищи по войне и по игре в кегли, но давно не виделись. Я сообщаю ему, что господин Каунигер умер. Это приводит его в смятение, он крестится, он говорит: «Да будет ему земля пухом», а потом ругает родных, что они ему не сказали об этом: «Всякую чепуху городят, а тут...»; он, разумеется, пойдет на похороны. Кем же он был, господин Каунигер, я имею в виду — по профессии? Прежде он был хозяином кафе на Марктплац, но в кафе попала бомба, а он после этого не стал начинать сначала, он отошел от дел и поселился в доме для престарелых. Но если похороны скоро, надо спешить, нужно успеть переодеться по случаю такого события. Старик оставляет меня одну.

Кафе на Марктплац. Шоколадный торт в середине войны. И прохладные мраморные столики — я припадаю к ним руками и лицом, когда на дворе жара, но строгий голос требует: «Сядь прилично!» Рыхлый двойной подбородок, над ним малюсенький круглый рот, а под столом чьи-то башмаки толкают меня в ногу, и кто-то говорит: «Она лжет», но это как раз и есть ложь. Однако из отдельных деталей пока не складывается целое.

До похорон еще далеко, вот почему я направляюсь на Залиненштрассе — это указанный в извещении адрес родных покойного, это улица у ручья, там не больше шести маленьких старых домов, их как будто нарочно выставили, чтобы пробуждать воспоминания, или нарочно сохранили, как маленький уютный краеведческий музей посреди нового, сухого, процветающего экономически, пережившего подъем благодаря беглецам из Силезии и местным кредитам, распланированного вдоль и поперек, отличающегося высокой рождаемостью, готового вот-вот шагнуть за пределы пятидесяти тысяч населения, упрямо консервативного, католического города, в прошлом резиденции епископа, столетия назад уступившего право называться так другому городу и с той поры при каждом удобном случае враждующего с ним. Прежде всего это благоденствующий город — от полноты благоденствия он вот-вот лопнет. Но его жителям все же приходится умирать, несмотря на новенькие, с иголочки, больницы и на пять преуспевающих аптек. Старого кладбища давно уже недостаточно, город прикупил соседние земельные участки, там раньше были пшеничные и картофельные поля (те, урожаем с которых мы жили в первую мировую войну), а теперь стоят памятники, мраморные, чванливо воздвигаемые во славу родственников покойного. Там лежит и крестьянин (Клара позднее рассказала мне о нем), которым после продажи земельного участка овладело разумное чувство раскаяния, и он захотел снова купить то, что продал, но было уже поздно, и он попал в заведение для душевнобольных, называл себя Иудой-предателем и в один прекрасный день повесился,— там лежит и он, в своей земле, которую пахали, удобряли и с которой снимали урожай его предки, может, это его утешит; ведь он лежит в своей собственной земле. О том, что там, в освященной земле, лежит и другой самоубийца, хотя место, где его закопали, в свое время совсем не освященное, находилось за кладбищенской стеной и только в силу обстоятельств, когда город прикупил земельный участок, очутилось в пределах освященной территории,— об этом я узнаю позднее.

Я брожу по старому тенистому кладбищу. С главной аллеи меня спугнула похоронная процессия. Это длинная похоронная процессия. Усопшего или усопшую везут на низенькой тележке с обтянутыми резиной колесами, чтобы он или она не проснулись, иначе зачем так подкрадываться к могиле. За тележкой следуют трое священников и шестеро причетников с кадильницами, ладаном и святой водой, а потом снова тележка, переполненная венками, горы венков и букетов, позолоченные надписи на бумажных лентах, которым надлежит выглядеть шелковыми. Процессия настолько длинна, что передние ряды

уже кончают «Богородица, дева, радуйся», когда средние ряды только еще начинают: «Ты, кого распяли за нас» (они читают заупокойную молитву), а в задних рядах прекращают попытки приноровиться к тем или другим и просто болтают между собой, лишь время от времени отдавая дань благочестию и снова пытаясь включиться в чтение молитвы.

Я спрашиваю кого-то, не господина ли Каунигера хоронят. Но нет, это господин аптекарь такой-то. Вот оно что! А погребение господина Каунигера будет следующим.

Перед мертвецкой стоит, вся в черном, худая и строгая, как восклицательный знак после memento mori [1], женщина, обряжающая покойников; она молча, вытянутым указательным пальцем определяет мне место у входа, хотя пока еще никого нет, кроме нескольких старичков и старушек, обычных любителей похорон и профессиональных плакальщиков. Старик, который решил переодеться, еще не пришел. Появляются три женщины в черном — сомнения нет, это «родные покойного». Вот «Кл.», и она горбатая, она в самом деле очень горбатая, ее как будто переломило пополам, и она идет, наклонившись вперед, так что кажется, будто она вот-вот упадет лицом вниз, но она не падает, она шагает бодро, словно спешит на работу. Даже круглая плоская шапочка не спадает с ее головы. А рядом с Кларой низкорослая, очень полная женщина, укутанная в черную вуаль, изо всех сил старается идти в ногу и оттого по-детски семенит, что производит смешное впечатление. Позади обеих, на расстоянии — дама; она явно не из провинции и выглядит так, словно оказалась здесь случайно, она движется невозмутимо, время от времени останавливается и читает какую-нибудь надпись на памятнике. Она без шляпы, волосы ее едва прикрыты легким, в мелкий горошек, шарфом. Это, очевидно, прекрасная Стефания. Клара замечает меня первая, хотя, казалось бы, она смотрит только перед собой, в землю.— Вот она!—говорит Клара так спокойно, словно мы встречались лишь вчера, а не десятилетия назад. Она подает мне руку снизу вверх. Я забыла, как хороши ее темно-карие глаза. Ее голос тоже хорош — глубокий, немного хриплый, но совсем не старческий.— А это Берти,— говорит она и указывает на толстуху рядом с собой. Берти устрашающе громко всхлипывает и долгим цепким рукопожатием выражает мне сочувствие, как будто не она, а я должна оплакивать покойного. Стефания кажется отсутствующей, она сдержанна почти до неприличия.

— Клара,— говорю я тихо,— кем он нам приходится, этот господин Каунигер?

Клара смеется, она не может удержаться от смеха.— Ты приезжаешь на его похороны и не знаешь, кто он такой. Дядя Вилли, пирожник.— Она так и говорит: «пирожник». И потом добавляет: — Тот, которому принадлежало кафе на Марктплац, муж тети Берты, злосчастный отец близнецов, ведь Берти — одна из двух, остальное я тебе расскажу позже. А кафе ты хоть помнишь?

Кафе я вспоминаю, а дядю Вилли — нет, позже я узнаю, что на это имелись особые причины: дядя Вилли был невидимкой. Так говорит Клара. Дядя Вилли никогда не появлялся в кафе, его не видно было и в пекарне, он сидел в «конторе», как гласила вывеска над дверью в заднюю комнату, куда никто, кроме него, не входил; считалось, что там он занимается бухгалтерией, но это занятие давно уже отняли у него и передали кондитеру Карлу, подозрительной личности, а почему так случилось, я узнаю позднее. Дядя Вилли читал оккультные книги и тайком составлял гороскопы. Ему был ведом собственный гороскоп и гороскоп его ближних, и потому он переносил все издевательства и унижения и пребывал в бодром расположении духа. Он-то ведь знал, что на много лет благополучно переживет всех, кроме

[1] Помни о смерти! *(лат.)*

Берти, а она изводила его меньше других и без матери бывала так глупа, что ему каждый раз удавалось ее перехитрить, когда требовалось.

Наконец появляется священнослужитель — только один и притом молодой; Клара комментирует это так: когда клиентура не из важных, посылают мальчика на побегушках, в лучшем случае подмастерье. И причетников всего двое, и венков совсем немного, но дядю Вилли тоже отвозят к могиле на обтянутых резиной колесах, быстро и бесшумно, и он получает сполна все благословения и все утешения своей религии, хотя, вопреки настояниям начальницы приюта, вежливо, но непреклонно отказывался ходить в церковь — Клара рассказывает об этом с почтительной нежностью. Оттого, что дядя Вилли отказывался ходить в церковь, никто из приютских сестер не пришел на его похороны. А может быть, не успели.— Предадим это забвению,— говорит Клара.

Церемония короткая. Берти рыдает, но не продолжительно, а так, словно на нее налетает шквал — то утихомирится, то разбушуется. Стефания следит за полетом ласточек, они — черно-белые в сентябрьской голубизне над кладбищем — снуют взад и вперед; Кларе приходится слегка толкнуть сестру рукояткой лопаты, чтобы та выполнила свой долг, и бросила горсть земли на гроб дяди Вилли, и окропила его святой водой.

Молодой священник старается сделать приличествующее случаю печальное лицо, но он еще не научился этому, он слишком честен, чтобы притворяться, что скорбит со скорбящими, тем более что у двоих на лицах не заметно признаков скорби (а того, что Клара в самом деле горюет, он не замечает, потому что она этого не показывает). Пожимая руку Стефании, священник немного теряется, оттого что красота у нее уж очень светская. Берти недопустимо долго держит обе его руки в своих, он смущенно позволяет ей это, но переминается с ноги на ногу. Клара не тратит времени зря. Наконец все позади. Берти откидывает вуаль и говорит удивительно буднично:

— Ну вот, теперь они все вместе.

— Да,— говорит Клара,— теперь недостает только тебя.

Берти не находит в этих словах ничего предосудительного, она кивает. Имена тех, кто «все вместе», начертаны золотыми буквами на черном мраморном памятнике в виде высокой остроугольной пирамиды. «Зигфрид Каунигер, 1940—1941, Амалия Каунигер, 1904—1943 (это, наверно, сестра Берти, ее близнец, но кто такой Зигфрид?), Берта Каунигер, урожденная Мартин, 1884—1943».

— Обе в сорок третьем?

— Бомба,— говорит Клара и указывает на Берти.— Она, объяснял дядя Вилли, родилась двумя часами позже Амалии, и благодаря этому у нее другой гороскоп, благодаря этому она осталась в живых. Но в этой могиле нет ни Амалии, ни тети Берты, там лежит только ребенок, обеих будто бы не нашли под развалинами.

— Почему «будто бы», Клара?

— Про это я тебе расскажу позже.

Женщина, обряжающая покойников, все еще стоит как столб у могилы.

— Ах да,— говорит Клара, достает из сумочки кошелек, вынимает из него бумажку и кладет женщине в руку, которую та открывает и закрывает, как крышку почтового ящика.

— Дай вам бог, желаю вам всего хорошего,— говорит женщина.

— Вам также,— отвечает Клара совершенно серьезно,— и долголетия, и многочисленного потомства, и милостивого божьего суда, аминь.

Женщина недоумевает, но повторяет «аминь», уж это во всяком случае подходит к окончанию похорон.

— Идемте,— говорит Клара,— пойдем домой, я мигом что-нибудь сварю, у меня все приготовлено.

— Кушать? — ликует Берти.— О да!

Теперь, когда все кончено, появляется старик, который решил быстро переодеться, и с ним кучка других, одетых в черное, стариков.

— Мы опоздали,— говорит он,— но это ничего, Вилли Каунигер не прогневается на нас, он был добрый.

— Гм,— говорит Клара,— и это тоже, помимо всего прочего.

Ее слов никто не понимает, надо полагать. Клара еще раз открывает сумочку и кошелек:

— Вот, господин Мюльбауэр (или как там его звали?), возьмите и выпейте с друзьями в память дяди Каунигера.

Эта Клара, у нее благородные манеры провинциалки, она делает то, чего от нее ожидают, то, что положено.

Берти вдруг говорит громко: — Они живут, а бедный папа умер,— и снова начинает бурно всхлипывать.

— Ах, оставь,— говорит Клара,— будто ты его так уж любила, прекрати, слышишь, не нарушай его заслуженного покоя.

Испуганная Берти мгновенно перестает плакать.

Дом, домик, последний в ряду приговоренных к смерти,— это дом Клары, унаследованный от бабушки; Стефании дано лишь право проживать в нем. Соседнего дома, принадлежавшего тете, дома моих детских каникул, уже нет; где он стоял — там заросшая кустами терновника и бузины лужайка, в розовом цветении шиповника, с несмолкаемым щебетом разных пичужек, с норками диких кроликов.

— Это потомки наших домашних, выпущенных на свободу,— говорит Клара.

В доме никаких перемен, он мог бы быть и домом тети: то же расположение комнат, тот же привычный затхлый запах, те же герани в выкрашенных зеленой краской деревянных ящиках на окнах, те же льняные, с ручной вышивкой занавеси, все еще те самые, старинные, вековечные.

— Тебе мы отведем угловую комнату наверху,— говорит Клара,— ты ведь останешься ночевать у нас, раз уж ты здесь.

Я говорю, что не останусь ночевать, и она не возражает, принимается готовить еду.

Стефания бродит по саду. За домом, как и прежде, беседки из жердей с сухими пожелтевшими стручками. На одном кусте — зеленая, невпопад зацветшая ветка: огненно-красные бобы, огненно-красные бобы, Мина Мартин... Но недостает ручья, его очень недостает саду, сад уже не живой, не такой, каким был когда-то. Я выхожу в сад и говорю это Стефании.

— Бумажные кораблики уже не плывут,— говорит она, и это ее первая законченная фраза, обращенная ко мне.

Бумажные кораблики: Клара делала их из газетной бумаги, я с мостков пускала их по воде, они плыли по течению ручья, а Стефания на следующих мостках ловила их. Это могли быть не кораблики, а цветы и щепочки, это была не требовавшая слов послеобеденная игра — тетя и бабушка в эту пору спали. Благодаря воспоминанию Стефания становится более расположенной к разговору, но она предпочитает, чтобы ее спрашивали, и отвечает не сразу, как будто к ней обратились на незнакомом языке и она нуждается в переводе. Мне приходится постепенно привыкать к такой манере разговора.

— Ты всегда здесь живешь, Стефания?

Поскольку она не отвечает, я повторяю мой вопрос.

— Нет,— говорит она,— я живу в Лондоне.

— В Лондоне? Почему в Лондоне, что ты там делаешь?

Стефания опять уносится мыслями куда-то, она неохотно отвечает на прямо поставленные вопросы.

— Я живу у Бернхаймеров.

Она убеждена, что я сразу все пойму, а мне непонятно, кто такие Бернхаймеры.

На этот раз она реагирует мгновенно — взглядом, полным упрека. А я все-таки ничего не могу вспомнить и признаюсь ей в этом. Она насильно заставляет себя объяснить мне: — У Бернхаймеров была здесь большая фабрика сукна, им пришлось бежать от Гитлера, они уехали в Лондон, они евреи, их единственного сына нацисты убили в Освенциме, он не уехал вовремя, я живу вместе с его сестрами, а раньше я работала.

— Кем же?

Она снова бросает мне удивленный взгляд, говорящий: как, ты этого не знаешь? Мое незнание, видимо, причиняет ей боль, но ненадолго, потом она отвечает с холодной вежливостью: — Я пианистка, точнее, я играю на чембало, с концертами я уже не выступаю, я даю уроки — от случая к случаю.

Теперь она улыбается. Улыбка такая, что я почти готова назвать ее «Ми-и-на»: ведь это грустная улыбка ее матери. Я и в самом деле говорю: — Ми-и-на.— Но Стефания меня не слышит, она уже снова как во сне и бродит по обледенелой поверхности прудов. Сколько ей лет? Больше, чем мне. Но она как девушка. У нее густые светлые волосы, почти без седины, она собрала их на затылке в большой узел, такой тяжелый, что он немного оттягивает ее голову назад, это вынуждает ее держаться очень прямо и создает видимость высокомерия, быть может, она и в самом деле высокомерна. Так или иначе она — прекрасная девушка шестидесяти пяти лет, годы не в счет.

— Стефания, а кто такие... Стефания?!

— Что тебе?

— Кто такие, собственно говоря, Каунигеры, кто такая эта Берти?

— Ах, Берти, так ведь она — одна из близнецов, разве ты не помнишь, за столом близнецы изображали примерных девочек, а сами под столом толкали нас башмаками, когда же мы жаловались, говорили: они лгут.

Мои смелые догадки: кафе на Марктплац и шоколадный торт в середине войны — значит, они верны?

— Да, но торт полагался не нам, а только привилегированным посетителям.

— А были прохладные мраморные столы?

— Да, ты всегда клала на мрамор руки и прижималась к нему лицом, а тетя Берта говорила: «Сядь прилично, как ты дурно воспитана!»

— Тетя Берта, кто она? — Память не обманула меня: рыхлый двойной подбородок и малюсенький круглый рот, от которого можно было ожидать приятно округлых слов и который изрыгал только колкости, всегда целясь в Мину Мартин. Мне вспоминаются еще и жирные белые пальцы, лежавшие на мраморной плите как мертвые рыбы или как куски телячьей колбасы, дважды перешнурованной телячьей колбасы; тетя Берта внезапно всплескивала ими и с треском обрушивала их на стол так, что чашки дребезжали, верно?

— Верно. Тетя Берта была ужасающе толстая: когда она сидела на стуле, зад у нее свисал справа и слева, и мы без конца таращили на нее глаза, это было завораживающе-отвратительно.

Стефания сказала: «зад». Клара уточнила потом, что применительно к тете Берте следует говорить: «задница».

— А ее муж, дядя Вилли, отчего же я совсем его не помню?

— Он никогда не появлялся в кафе, он всегда сидел в своей комнате и выходил только раз в неделю — в клуб игроков в кегли.

Еще одна смелая догадка: ведь в кафе был мужчина помоложе, кто он?

— Это Карл, хозяином в доме был он, ведал пекарней, кем он

был для тети Берты, можно судить только по слухам, но все это было так давно, так давно.

— Стефания, кто... ты меня слышишь?.. Кто этот Зигфрид, умерший младенцем?

— Пожалуйста, не говори о нем с Берти!

— Почему?

— Это ребенок Берти, внебрачный, его отец был эсэсовцем.

— Отчего же он умер младенцем?

— Ах, это... Видишь ли, в маленьком городке болтают очень злобно, от скуки сочиняют зловещие истории. Но история Берти скорее всего достоверна, в ней есть своя логика, так сказать: она не хотела ребенка, они потихоньку уморили его голодом, так, чтоб никто ничего не узнал, но вдруг подозрение все же возникло — какая-то служанка; сначала ей заткнули рот деньгами, потом она что-то сказала, но слишком поздно, все уже быльем поросло.

— Стефания, а Макс — он, собственно, кто такой?

— Макс — откуда тебе это пришло в голову?

— Из обрывков воспоминаний, из звуков, я слышу, как ваша бабушка кричит: «Ма-акс!»

— Наверно, это Макс Бредель, он ребенком иногда играл с нами, сын рабочего, после войны он повесился у ручья, там, где ивы, под конец он был у нацистов ортсгруппенлейтером, но сам он не нацист, он — из рабочей семьи, его отца в тридцать четвертом загубили в Дахау, пусть Клара расскажет тебе, я забыла подробности, помню только, что он был рыжий, с веснушками, мы дразнили его лисом, но он был славный парень, очень смышленый, хотел учиться, а денег не было, ему рано пришлось зарабатывать, еще ребенком он разносил газеты и лишь изредка приходил туда поиграть с нами.— Она показывает на заросшую лужайку: — Там был тупик, мертвая колея возле старой солеварни, ты помнишь?

Тупик, мертвая колея. Я ощущаю запах ржавого железа, на моих зубах болезненно-неприятная, отдающая металлом оскомина. Тупик, мертвая колея, для меня это великая печаль, обида, бессильный гнев, непреодолимое влечение, безумная тоска по недостижимому.

— Вы никогда не разрешали мне играть с вами,— говорю я, и поистине это звучит, столько десятилетий спустя, горьким упреком.

— Но ведь ты была еще совсем маленькая,— говорит Стефания и вновь обижает меня даже сегодня.

— Совсем маленькая, совсем маленькая — всего на три года младше тебя!

— Да,— говорит Стефания,— но тогда три года много значили.

— А кто были другие дети?

— Клара, но она не играла с нами, она только присутствовала, и Макс, и Анна — она тоже из рабочей семьи, потом она вышла замуж за Макса, а еще позже стала кухаркой у крейслейтера, и Эрих Бернхаймер, а иногда и Георг — он сделался священником и сгорел вместе со своей церковью в бомбежку.

— Кушать! — зовет Клара, и Стефания, по-видимому, рада, что может оборвать разговор.

Клара — как только она стоит у плиты, такая согнутая, а как она подает еду, ловко и уверенно! Волосы с сильной проседью, коротко остриженные, мальчишеская прическа. Клара не уродка и не старуха, я еще на кладбище это заметила, а теперь снова в этом убеждаюсь. Горб почти не бросается в глаза — он такой большой, что неотделим от нее, как у других неправильный выговор, который находишь симпатичным. Она с детства носит кожаный корсет, он причиняет ей боль, но тут уж ничего не поделаешь, и она не говорит об этом. Берти набрасывается на еду, перестает видеть, слышать, разговаривать, она поглощает то, что Клара накладывает ей на тарелку. Стефания почти

ничего не ест, она в мечтах за окном, она катается на коньках по зеленому льду, зеленый лед отражается в ее глазах.

— Ми-и-на! — говорю я, и она с удивлением поворачивается ко мне.— Мне хотелось так называть вашу мать: «Ми-и-на», с очень протяжным «и».

Стефания чуть-чуть улыбается, потом вдруг живо спрашивает: — Похожа я на нее?

— По-моему, да, очень, насколько я помню.

— Да что вы,— говорит Клара,— она была гораздо красивее.

Клара говорит это в своей суховатой манере, она устанавливает, что было и чего не было, от нее, судя по всему, не дождешься ничего, кроме «голой правды».

Стефания, вовсе не обидевшись, говорит с тихим восторгом: — Да, она была неповторимо прекрасна, прекраснее всего в старости, особенно прекрасна на смертном одре, почему никто не догадался снять с нее маску, даже фотографию не сделали, мы не в состоянии были думать ни о чем, кроме того, что она умерла. Но как жаль, что не осталось ее портрета.

— Ничего,— говорит Клара,— зато она с течением времени становится все прекраснее.

Клара говорит иронически, она не терпит восторгов, и если что-либо подобное проскальзывает, она тут же на это обрушивается, даже в ущерб самой себе.

— А теперь вернемся к еде,— говорит Клара,— и если ты (она поворачивается ко мне) захочешь услыхать побольше о нашей сумасшедшей семье, мы к твоим услугам.

Рассказ о семье начался за кофе и кончился через неделю, за это время он перестал быть только рассказом о сумасшедшей семье, он стал неполной, но полновесной хроникой города, который на карте Европы обозначен маленькой точкой, на карте мира не обозначен совсем, но который тем не менее нельзя сбрасывать со счетов; ведь он — крохотное зеркало, отразившее историю нашего века и сам по себе маленький мир, судьба которого что-то значит.

— Вот, например, полная средняя школа,— говорит Клара,— когда я училась в ней, она называлась неполной средней женской школой с обучением домоводству, принадлежала барышням-англичанкам, нас воспитывали в духе добродетели и многому научили, но вдруг в тридцать третьем году школу переименовали в Гуманитарную гимназию, славных барышень-англичанок прогнали, их заменили бравыми учителями с нацистскими значками в петлицах, мы занимались гимнастикой, и пели, и устраивали спектакли, которые передавались через громкоговорители, и прыгали через костры на праздниках солнцестояния — все это во имя народа и фюрера, а когда с началом войны учителей призвали умирать за народ и фюрера, на смену им пришли учительницы, немножко менее правоверные, потом здание школы разбомбили, от него осталось только одно крыло, там сделали лазарет, а в один прекрасный день барышни-англичанки появились снова, восстановили разрушенный дом, опять начали учить, теперь школа именуется полной средней, и граждане нашего города усматривают в ее наличии гарантию христианского воспитания своих детей, а тем самым и гарантию незыблемого мира в будущем столетии. То, что среди барышень-англичанок есть парочка явно левых, всем известно и никого не смущает, напротив, это поднимает престиж, почему бы и не позволить себе кое-что модное.

— Или,— говорит Стефания,— вот, например, газета — провинциальный листок, но как-никак местный, а не просто копия окружной газеты, и, следовательно, независимый, так принято говорить, погляди, как часто он менял название, владельца, формат, шрифты, направление и качество.

— А знамена,— говорит Клара,— флаги, флажки, штандарты, стяги, вымпелы, всегда что-нибудь вывешивали, чем-то размахивали, что-то приветствовали и повсюду таскали, и срывали, и сжигали, и заново шили, и поднимали, и носили: расшитые золотом стяги на праздниках тела господня вместе с бледно-голубыми флагами божьей матери и возлюбленного Иисуса, у пожарников — алые флаги, у дев — белые, в Союзе ветеранов — черно-белые и всякие другие, и вдруг черно-бело-красное знамя, и вдруг знамя со свастикой, а потом черно-красно-золотое, знамен всегда хватает, без знамен не обойтись.

— Не забудь о белых флагах, которые несли навстречу американцам в дни капитуляции.

— Нет,— говорит Клара,— я их не забыла и тот, с кровавым пятном, помню.

Прежде чем я успеваю спросить, что это за флаг, Клара продолжает: — Я вообще ничего не забываю, ни мертвую колею, ни мертвых людей, тех, что выволакивали из груды развалин и, не разглядев как следует, закапывали снова, топили в грунтовых водах или утрамбовывали в фундаменты банков, новых церквей, новых магазинов. Я не забываю и других мертвецов, так нигде никем и не найденных.

— Перестань,— говорит Стефания, прижимая ко лбу белый носовой платок: у нее мигрень.

После обеда к кофе с печеньем всегда приходит Берти, и оказывается, что в ее обызвествленном воробьином умишке удержалось нечто такое, что громоздко, но неотвратимо втискивается в нарисованную другими картину. Именно Берти вводит в обиход новую фигуру, еще никем не упомянутую: доктора Флекмана. Она вводит его в обиход с первого же дня, не доставляя этим удовольствия сестрам, но что поделаешь — вот он.

— Почему,— спросила я однажды,— вы жили только с матерью, вы росли сиротами, без отца?

— Он умер,— говорит Стефания.

— Теперь умер,— говорит Клара,— а тогда он еще жил.

— Да,— говорит Берти,— но он жил с другой, впрочем, к тому времени ваша мать уже сбежала от него.

— Нет,— говорит Клара,— откуда ты знаешь, что когда было.

— Мама не ушла бы от него без причины,— говорит Стефания, она в гневе, лицо ее побелело от гнева.

— Без причины, без причины,— говорит Берти,— конечно, не без причины, у вашего отца не было ни кола ни двора, ученый, а должности никакой, его книг никто никогда не читал.

— Что ты в этом смыслишь, что ты вообще понимаешь, деревенщина, ты вообще когда-нибудь держала в руках книгу, ты вообще представляешь себе, что такое философия? — говорит Клара.

— Уж это-то я понимаю: если за книги не платят денег, значит, они ничего не стоят.

— Берти,— говорит Клара,— ты — гусыня.

— Ладно,— говорит Берти,— пусть я гусыня, но у Флекмана было больше денег для вашей матери с ее прихотями.

— Ладно,— говорит Клара,— а теперь хватит, а теперь помолчи, поняла?

Берти трудно держать язык за зубами, но взгляд Стефании заставляет ее умолкнуть, под этим взглядом она съеживается, как собака, готовая укусить, но боящаяся пинка.

— Теперь,— говорит Клара,— тебе уже известно кое-что из нашей скандальной хроники, но с точки зрения Берти, то есть в фальшивом освещении. Молчи, Берти, говорю тебе. Кто такой доктор Флекман, я расскажу в другой раз. Берти, тебе пора идти домой.

Однако Берти делает вид, будто ничего не слыхала, и продолжает сидеть, как сидела.

— Причина того, что нас прислали сюда, очень проста: мы были

голодными детьми большого города, шла война, а здесь можно было прокормиться,— говорит Стефания.

Клара говорит: — Да, пожалуй.

Стефания останавливает ее на полуслове, и то, что ей не по душе, она знает, что именно, остается недосказанным. Клара сдается.

— Я помню, как мы приехали сюда,— говорит она,— в июле, было жарко и пыльно, ни одна живая душа не встретила нас на вокзале, письмо или телеграмма отца не дошли, а может, их и не отправляли, и нам пришлось самим тащить наши вещи, я несла тяжелый чемодан, а Стефания — саквояж, руки у нее были слишком для него длинные, он волочился по земле и оставлял на песке след, этот след я вижу и сегодня, я впервые надела очки, я близорукая, очки были в стальной оправе, дешевые, конечно, и слишком большие для меня, они сползали с носа, и мне каждый раз приходилось ставить чемодан на землю, чтобы водрузить на нос дурацкие очки, и Стефания тогда тоже останавливалась и не желала идти дальше.

— Так ведь я останавливалась вот отчего: я слушала музыку, она доносилась сверху, будто с неба.

— С третьего этажа, из квартиры Доры Лилиенталь, и ты не двигалась с места, и у меня в конце концов лопнуло терпение, и я сказала, что брошу тебя здесь и ты никогда не отыщешь бабушку, но тебе было все равно, хотя обычно ты всего боялась.

— Я не всего боялась, ты это знаешь.

— Да, да, но ты всегда боялась, что тебя оставят одну. А тогда ты стояла как вкопанная и тебе не было страшно. Только когда звуки рояля замолкли, ты пришла в себя и наконец пошла дальше, и мы все же добрались до бабушки, мы остановились вон там, у садовой калитки, потные и грязные, и бабушка схватилась руками за голову — так нас встретили.

— Вашей матери не было,— говорит Берти, а Клара ей опять: — Ты молчи, поняла?

— Мама вскоре пришла,— говорит Стефания,— с какой стати ей дома сидеть: она ведь не знала о нашем приезде.

— Она была,— говорит Клара,— прекрасно одета, слишком элегантно для такого небольшого городка.

— Серый шелк,— говорю я,— и ажурные перчатки до локтей, и зонт, серый, в белых цветах, с кисточкой из шелковинок.

— Уж будто ты это помнишь,— говорит Клара,— ты же была еще совсем маленькая.

— Совсем маленькая? Как-никак мне было три года, а когда война кончилась — восемь лет, четырех-, пяти- и шестилетние очень хорошо помнят то, что бросалось им в глаза. Шелк был серебристо-серый, с кружевом у шеи — жабо или как это называлось.

— А ведь верно, Клара,— говорит Стефания,— у мамы в самом деле было такое платье и такой летний зонт.

— Да,— говорит Берти,— и все это от доктора Флекмана.

— Оса старая,— говорит Клара.

Но теперь уже доктор Флекман появился окончательно, и его присутствие больше нельзя замалчивать. Берти злорадно улыбается, она омерзительна, я не понимаю, почему сестры терпят ее. Мне еще незнакомы ни хмурое, всеобъемлющее терпение трезво мыслящей Клары, ни столь же безграничное равнодушие Стефании ко всему, что выходит за пределы ее воображаемого мира.

— Когда мама пришла и увидела нас,— говорит Клара,— она расплакалась, обняла тебя — обнять меня она не решилась, только взглянула на мои очки и спросила: «А без них никак нельзя?» — и потом поглядела на мое плечо и спросила: «Ты больше не ходишь на массаж?», и я сказала: «Чего уж там, никакой массаж не поможет, горб растет, я рахитичная, ты ведь знаешь», а она снова ухватилась за старую ложь: «Зачем ты так говоришь, какой рахит, ничего подобного, ты

совсем маленькая упала с лестницы, это пройдет». И потом тихо спросила: «Как поживает папа?» И тогда я сказала: «Хорошо, ему наконец никто не мешает работать с тех пор, как тебя нет, так он говорит». Боже мой, какой я была жестокой и даже не подозревала этого. Она вышла — наверно, она заплакала.

— А потом,— говорит Берти,— потом их развели, и вас суд присудил ей, это ни у кого в голове не умещалось, но все думали: теперь на ней женится...

— Молчи,— говорит Клара,— если нужно будет упомянуть про Флекмана, это сделаю я, а не ты.

— Нет, прошу тебя, не сейчас,— говорит Стефания.

— Сейчас или в другой раз, не все ли равно,— говорит Клара.

Лицо у Берти распухло и покраснело, Клара тоже замечает это, она говорит:— Берти, тебе пора домой, я переведу тебя через дорогу.

Берти перестает сопротивляться. Клара ведет ее по улице и через дорогу — там безопасно, надо идти напрямик, никаких перекрестков и совсем недалеко до приюта.

Пока Клары нет, Стефания говорит:— Какое представление создается у тебя о маме, она была чудесная, но ей не место было в этом городишке, ей надо было как-то прожить здесь, среди этих... среди этих крыс.

— Стефания, пожалуйста, прежде чем я услышу от других что-нибудь не то, скажи мне, кто он был, этот доктор Флекман.

— Трудно сказать. Он был моим врагом.

— Из-за матери?

— Нет, не из-за нее.

— Разве вы тогда что-нибудь знали об этих... ну, об этих отношениях?

— Так, как знают дети, кое-что слышат, кое-что видят и стараются связать одно с другим. Клара знала больше: ведь она была старше.

— Так отчего же он был твоим врагом?

— Политическим врагом. Он был фашист.

— Ах, вот что, понимаю.

— Нет, не понимаешь.

Я жду объяснения этой фразы, но тщетно. И я спрашиваю: — А ваша мать, она была против?

— Все мы были против. А мама зажмурила глаза, вслепую прошла по высоко натянутому канату и не упала.

— А каким он был в остальном, этот доктор Флекман, какая у него была профессия, расскажи мне хоть что-нибудь про него.

— Он был химиком и как химик получил ученую степень, одно время работал у Бернхаймеров по специальности, ему приходилось много разъезжать, особенно за границей, и оттуда он всегда что-нибудь привозил маме. Потом он на несколько лет исчез, мама так и не узнала, где он пропадал, а когда вернулся, на нем была отвратительная коричневая форма, он был ортсгруппенлейтером, вскоре стал крейслейтером — так это тогда называлось...—Я знаю, Стефания!—...А в тридцать восьмом, когда Бернхаймеров лишили собственности, Флекман стал директором фабрики, там изготовляли партийную форму, позднее — форму вермахта; ведь началась война, я хочу сказать, нацисты начали войну, и Флекман вдруг стал бургомистром, а потом, когда пришли американцы, он как бургомистр должен был без боя сдать им город, ему принесли белый флаг, но он швырнул его на землю, сказал только: «Трусы вы!» И застрелился, и упал на белый флаг, после его обернули этим флагом и повесили на фонарном столбе, три дня он висел, пока кто-то ночью тайком не снял его со столба и не похоронил за кладбищенской стеной.

— Итак, фигура из романа, театральный герой?

— Смеяться тут нечего, он был моим врагом, политическим, но

он был в своем роде великолепен, в его последовательности чувствовался стиль.

— Надо полагать.

— И он никогда ни с кем не расправлялся, даже наоборот.

— То есть как это?

И я снова напрасно ожидаю продолжения начатой истории: Стефании не хочется говорить, она срывает травинку и покусывает ее. Мы ходим по саду взад и вперед, я пытаюсь представить себе этого самого доктора Флекмана, но он ускользает от меня, и, я думаю, мне следует подождать комментариев Клары, слова Стефании, вероятно, не что иное, как попытка охранить и обелить любовь матери. Стефания — теперь я уже это знаю — никогда не придерживается реальности, она всегда дышит на зеркало, чтоб оно затуманилось и не давало четкого изображения,— четкие изображения кажутся Стефании искаженными.

Наконец возвращается Клара.

— С Берти просто беда,— говорит она,— у нее склероз, это становится заметно все больше и больше, когда-нибудь она попадет под машину, зато она хорошо помнит давно прошедшее, в особенности скандальное, она глупая и злая. Но и несчастная, это я знаю.

— А кем она вам приходится?

— К сожалению, близкой родственницей: она — наша двоюродная сестра, тетя Берта была маминой родной сестрой.

— Но,— говорит Стефания,— никто этому не верил. Тетя Берта такая некрасивая и вульгарная, а мама могла бы быть графиней, возможно, они от разных отцов.

— Опять выдумываешь,— говорит Клара,— ты уже состарилась, а фантазии у тебя все еще ребяческие: украденное цыганами дитя, подкидыш, внебрачный ребенок какого-нибудь Габсбурга или Виттельсбаха[1], оставь, пожалуйста, в нашем мире это делается куда прозаичнее.

Она смеется, это бывает редко и звучит так, будто она смеется в погребе, под сводами, но это вовсе не значит, что она предлагает посмеяться вместе с нею,— наоборот, чувствуется, что ее смех вызван тем, что пережито ею одной и над чем дозволено смеяться ей одной. Стефания знает это, она даже не улыбается, она, напротив, говорит, что у нее мигрень.

— У меня моя мигрень,— говорит она и обозначает этим нечто такое, что случается только с нею и что составляет ее личное достояние, тут она права, это я пойму позже.

— Так,— говорит Клара, когда Стефания уходит наверх,— теперь мы сварим кофе, а потом я еще расскажу тебе про нашу семью, правда, я спрашиваю себя, зачем, собственно, рассказывать, почему бы не забыть про все это, но тут же я говорю себе: о жизни никогда не знаешь достаточно, чем больше фактов, тем больше взаимосвязей, а суть — в них.

Она ставит кипятить воду и начинает молоть кофе в старой, еще от бабушки унаследованной кофейной мельнице, держа ее между колен, я хочу сменить ее, но она не пускает, у нее резкая манера отстраняться локтем, она делает это так, что, пожалуй, можно обидеться, но я понимаю: кто всю жизнь вынужден был все делать сам, тот в помощи по пустякам не нуждается.

Я смотрю, как она крутит деревянную мельницу, как насыпает размолотый кофе в фильтр, заливает его кипятком, она делает все это сосредоточенно и с минимумом движений, вероятно, потому, что движения причиняют ей боль. Я вижу, как она ставит на стол третью чашку — для Стефании.

---

[1] Виттельсбахи — старинная династия правителей Баварии. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

— Только,— говорит она,— Стефания спустится не скоро, вечно эта мигрень, Стефания слишком много думает и всегда одно и то же, она в мать, верность подобного рода — вроде болезни и даже греховна, но что поделаешь, каждый человек такой, каков он есть. И все же я была бы рада, если бы Стефания избавилась от этого, но боюсь, теперь уже слишком поздно.

— Кому же хранит Стефания верность?

— То была любовь с детства, любовь с юности, он участвовал в Сопротивлении и погиб, его застрелили при попытке к бегству, насколько нам известно, Стефания тоже знает, что он умер, но она не верит этому, то есть не верит в его смерть и в смерть вообще, такое трудно объяснить.

— Этого человека звали Эрих Бернхаймер?

Клара ошеломлена: она поднимает голову, но таким рывком, как вскидывает и устремляет вперед голову разъяренный бык, ее взгляд пугает меня.

— Ты-то что о нем знаешь? — Она произносит это недружелюбно, даже диковато, я понятия не имею, чем вызвала ее гнев. Она тут же справляется со своим гневом и спрашивает, уже опять спокойно, но словно обессилев: — Стефания сказала тебе про Эриха?

— Она сказала, что живет у его сестер в Лондоне, что Бернхаймерам пришлось бежать отсюда, что все они спаслись, кроме Эриха, это все.

— Да, да, это все,— говорит Клара и повторяет: — Да, это все.

То, как она это произнесла, выдает тайну, незаживающую рану, которой я, разумеется, не решаюсь коснуться, но Клара угадывает мой невысказанный вопрос и торопится окутать тайну еще более густым покровом, преуменьшая ее значение и создавая видимость полной откровенности.

— Память о мертвых — я хочу сказать: об этих мертвых — вечно жива,— говорит она.— Эрих был одним из тех, кто в детстве играл там, на мертвой колее.

— Стефания говорила об этом.

— О ком? Чьи имена она называла?

— Анну, и Макса, и Эриха, и Георга.

— И больше никого?

— А был еще кто-то?

— Был и есть, но если Стефания сама не говорит об этом, то и мы не станем. Только для того, чтобы ты, если она упомянет о нем, не задала ей неуместного вопроса, я объясню тебе, кто это был и есть: Петер Нильс, они были обручены, ему пришлось бежать, и он погиб при побеге, в котором ему помог доктор Флекман.

— Флекман? Я думала, он нацист! Как же он помог бежать антифашисту? Это абсурд.

— Да, это так, этот человек был воплощением абсурда и чего-то зловещего. По крайней мере мне он представлялся зловещим, потому что был нацистом, а зла не делал. Я его с детства терпеть не могла. В моих воспоминаниях о нем почти столько же злости, как и в воспоминаниях Берти, недаром она мне родня.

— Что же это за воспоминания?

— Их много. Вот самое раннее: мы со Стефанией всего несколько дней здесь, в городе, и мама забрала себе в голову принарядить нас для первого визита к Каунигерам, она хотела, чтоб мы выглядели куколками, она надела бы на нас красивые платья, но у нас не было ничего красивого, мама пришла в полное отчаянье, и тогда она вплела нам ленты в косы, зеленые, я выглядела разукрашенным дикобразом, можешь мне поверить, я тотчас же выдернула их, но Стефания носила их с удовольствием, и вот мы вышли на улицу, наша элегантная мама и мы, дети из бедной семьи, и вдруг мама разволновалась и сказала: «Идите как следует, девочки, давайте я вас поведу», и еще она ска-

зала: «Иди лучше, Клара, держись прямее». Как будто я могла держаться прямее. Я спросила: «А зачем, собственно?» — но тут уже появился он, тот, ради кого устраивалось все это представление: импозантный господин в светлом костюме, никто, кроме него, так не одевался, с тросточкой для прогулки, ему было лет двадцать пять, на пять лет меньше, чем маме, он был полный, тогда он был полный, он подал маме руку, нас он вообще не замечал, в руке он держал газету и сказал, что это экстренный выпуск, время тревожное, о войне говорят все больше и больше, наверно, она скоро разразится.

— Но, Клара, я думала, вас прислали сюда, когда война уже началась.

Клара в восторге от моего пристрастия к точности, она говорит: — Нет, еще до войны. Наш отец предвидел, что война скоро начнется, вот почему в том, что сказал доктор Флекман о войне, для меня не было ничего нового, меня только раздражало, что он так важничает, все в нем раздражало меня и прежде всего то, как он вдруг спросил, кого это мама ведет, нас то есть, и мама объяснила ему, кто мы, и сказала, чтоб мы подали ему руку. Конечно, Стефания сделала это сразу же, а я — нет, и доктор Флекман сказал: «Ну, что ж, нет так нет». Потом он взял Стефанию за подбородок, приподнял ее лицо и сказал: «Вылитая мать, станет со временем очень красивой». И потом он сказал маме будто невзначай: «Значит, сегодня вечером», и она ответила: «Да». Потом он ушел, и я спросила: «Что ему от тебя надо?», а она сказала: «Что ему может быть от меня надо? Какие вопросы ты задаешь!»

— Клара, ты не можешь помнить все это в таких подробностях.

— Да, с такими подробностями я бы все это не запомнила, но мама потом рассказывала Стефании, а Стефания — мне, вероятно, так оно и было, и уж наверняка было то, что я сказала: «Этот человек — разжиревший олень». Мама рассердилась, а потом она сказала, и ты можешь не сомневаться, что это осталось у меня в памяти — ребенок в моем положении никогда не забудет такого,— мама сказала: «Если бы такой человек, как он, женился на тебе, ты могла бы быть счастлива». Это была сама по себе совершенно нелепая фраза; ведь она говорилась восьмилетней девочке, но позднее, исходя из маминого положения, я все поняла. Точно помню, как я ответила: «Такого мне не надо, и я вообще никогда не выйду замуж, я становлюсь горбатой, а горбатые никогда не выходят замуж, ты это прекрасно знаешь». Да, так оно потом и получилось.

Клара опять смеется своим словно в погребе звучащим смехом, его отзвук как будто доносится из-под невидимых сводов, мне от этого смеха не по себе, хотя, по-видимому, он безобиден, как любой другой.

— Разжиревший олень,— продолжает она,— вот что такое был доктор Флекман, он был ловкий и изящный, точно без костей — так легко он двигался, не то что наши провинциалы с их мужицкой походкой враскачку или с их претендующими на изящество семенящими шажками, в том-то и дело, что доктор Флекман был чем-то особенным, чем-то другим.

Клара говорит это без иронии, что́ меня удивляет, она говорит это и без ненависти, она просто констатирует: да, Флекман был какой-то особенный.

— Для мамы,— говорит Клара,— в этом городе мог существовать только он, вот черный осел и свел друг с другом эти две странные фигуры, тут уж ничего не поделаешь.

— Как ты сказала — кто?

— Это особая история,— говорит Клара.— Впрочем, когда Бернхаймеров лишили собственности, Флекман позаботился о том, чтоб они могли взять с собой гораздо больше денег, чем разрешалось обычно. Почему он делал такие вещи, понять нелегко.

— Может быть,— говорю я,— он хотел приобрести друзей на всякий случай, на те времена, которые наступят после поражения.

Клара оскорбляется.

— Расчет? — говорит она.— Нет, Флекман не был способен на расчет, с чего ты взяла, к тому же он верил в победу, а может, и не верил, кто знает, но спекулировать, имея в виду времена, которые настанут «потом», так или иначе, нет, это было не в его духе. Он был нацистом, да, но по явному недоразумению, быть может, по осознанному недоразумению.

— Это как же?

— Он придавал значение большим идеям, и он поверил, что фашизм — большая идея, он нуждался в чем-то большом, потому что хотел делать большие дела, а для того, чтобы делать большие дела, ему надо было сделать карьеру, понимаешь? Он мечтал, что окажет людям большую помощь, защитит их. Но кто знает, возможно, я его выдумала таким, а он был совсем другой. Мама его понимала. Потом, когда ее уже считали слабоумной, она часто говорила со Стефанией о нем. Может, Стефания сама расскажет тебе про это.

— А тебя угнетало сознание, что твоя мать...

— Что именно? Что у нее был любовник? Или что у нее был такой любовник?

— И ты ребенком уже знала, какой он и кто он для твоей матери?

— Конечно. С самых первых дней. Мама уложила нас спать — иногда у нее случались приступы материнского долга, а долг требовал, чтоб детей укладывали спать. Мы к этому не привыкли; ведь она этого никогда не делала, даже когда жила с нами и с отцом. Стефании это понравилось, она жаждала таких доказательств материнской любви, мне же это пришлось не по вкусу, сентиментальности во мне и в помине нет, и меня не купишь, я не ханжа, я всегда вижу в точности то, что есть, я всегда была такая, у горбатых детей обостренное восприятие и они недоверчивые. Так вот, мы лежали в постели, и мама сидела возле Стефании, было темно, но через жалюзи пробивался блеск зарниц — что только не запоминается, чем только не обрастает какая-нибудь ситуация, вот почему долгие годы спустя помнятся всякие подробности, от ситуации неотделимые; тогда надвигалась гроза, пахло жимолостью, у нас в саду была беседка, увитая жимолостью, которая цвела и благоухала очень сладко. Потом в саду зазвучали шаги, и мама исчезла. «Спите спокойно, дети!» Это было все. Но я не спала. Я услышала разговор в саду под окном, мужской голос произнес: «И все это из-за детей. Зачем же ты их вызвала сюда?» Мама ответила: «Я их сюда не вызывала, он прислал их». И мужчина — конечно же, это был доктор Флекман — спросил: «Раньше тебя не заботило, что подумают другие, почему же это тебя заботит теперь? Только из-за детей?» И мама сказала: «Да, из-за детей». Он сказал: «Ну что ж, я не стану бегать за женщиной, даже за тобой». Тогда я услышала, как мама заплакала, а он, вместо того чтобы утешить ее, сказал: «Нет, жениться на тебе я не могу, ты даже еще и не разведена, а мое положение шаткое, к тому же я пойду добровольцем на войну, и кто знает, возвращусь ли». Тогда мама заплакала навзрыд, а он сказал: «Принеси свою шаль, становится прохладно». И так он это сказал, что я догадалась: его жестокие слова выражали вовсе не то, что ему хотелось сказать ей. Я это поняла, хотя была еще очень маленькая. Потом мама поднялась наверх, взяла свою шаль, но не сразу спустилась вниз, а присела на кровать к Стефании и, заметив, что мы обе не спим, спросила: «Неужели вы меня совсем не любите?» В ответ Стефания, разумеется, тихо сказала: «Конечно, любим», я не ответила ничего, зато громко сказала: «Иди, а то опоздаешь». Ей бы спросить меня, о чем я говорю, куда она опоздает, но мама ни о чем не спросила, она была достаточно честна, чтобы не лгать в такую минуту, это было для меня важно, и это нравилось мне в ней, и теперь

я даже могла бы сказать ей: «Конечно, я люблю тебя, что бы ты ни делала». Но, разумеется, я этого не сказала, и она ушла, и тогда разразилась гроза, и я очень тревожилась за маму, всегда, всю жизнь я тревожилась за нее, мы с ней поменялись ролями. А ведь, в сущности, за нее нечего было тревожиться, она шла, как говорится в Библии, среди змей и скорпионов, я теперь думаю, что она была очень сильной, она только играла роль слабой, чтобы от нее не требовали того, что было не по ней. Под конец она годами играла роль склеротички и впавшей в детство, но только для того, чтобы муж оставил ее в покое.

— Муж? Разве она опять жила с вашим отцом?

— Вовсе не обязательно, чтоб это был один и тот же человек: ее муж и наш отец. Наш отец умер в путешествии по Ближнему Востоку, для меня он не умер, а как бы находится в отъезде: похорон ведь не было, его сожгли в каком-то арабском местечке.

— И ваша мать снова вышла замуж? И не за доктора Флекмана?

— Нет, не за него, он пошел на войну и пропал без вести, а тут у нас был один жилец — жиличек, очевидно, не бывало,— мы вынуждены были сдавать комнату, мы нуждались в деньгах, нам приходилось туго, а этот жилец был судебный заседатель и к тому же барон, он женился на ней.

— Но ведь она любила доктора Флекмана?

— Ну и что же?

— Но, Клара!

— Что это значит: «Но, Клара!»? Если тебя захлестнуло водой по горло, и у тебя маленькие дети, и ты не знаешь, как их прокормить, а тут появляется кто-то и предлагает твоим детям обеспеченное существование, разве ты, любовь — любовью, не выйдешь за него замуж? Жизнь очень проста: когда нет денег, тогда есть только одна проблема и только одно решение, если ты не собираешься покончить с собой и с детьми; другие так поступали, тогда много самоубийств было от нищеты, а не как сегодня — от скуки и от неврастении.

— О какой неврастении вы говорите?

Стефания вернулась, прижимая ко лбу белый влажный платок.

— О чьей?

— Не о твоей,— отрезает Клара,— мы обсуждаем мамино замужество.

— Но у мамы не было неврастении,— Стефания говорит это неожиданно громко, словно под влиянием гнева.

— Никто и не предполагает этого, я только сказала, что у нее был выбор между самоубийством и замужеством и она выбрала замужество.

— То был всего лишь вариант самоубийства,— говорит Стефания.

— Пей кофе,— говорит Клара,— он помогает при головной боли.

Стефания улыбается вымученной улыбкой, потом говорит мне:— То, что утверждает Клара, почти всегда верно.

— Почти? Почему почти? — говорит Клара.— У меня хорошая память и никаких фантазий. Кофе достаточно крепкий?

— Спасибо, да. Но отчего ты смеешься, Клара?

— Мне вдруг вспомнилась дурацкая присказка, которую неизменно повторял доктор Флекман, когда просил у тети Берты кофе: «Фрау Каунигер, кофе, но настоящего, вы знаете, какой он должен быть — черный, как ночь, сладкий, как любовь, горячий, как ад». Глупая тетя Берта каждый раз хохотала и грозила ему пальцем. А вот мне, как это ни странно, вдруг вспомнилось начало первой мировой войны. Может быть, я перепутала дни и это было вовсе не второго августа четырнадцатого года, но для меня катастрофы, всеобщая и личная, слились воедино. Мы были в кафе на Марктплац, Стефанию и меня усадили за столик, чтоб мы выпили по стакану молока или еще чего-то, и нам принесли газеты, нас хотели чем-нибудь занять или,

скорее, чем-нибудь отвлечь, потому что сзади, в темном углу за стойкой, разгорался спор, что случалось нередко, там шептались и бормотали, и вдруг я услышала, как тетя Берта сказала: «Перестань воображать, что он на тебе женится, порви с ним, вернись домой к мужу — вот где твое место, в таком городе, как наш, нельзя вести себя скандально, о тебе говорят, да еще как, это вредит нашему доброму имени, ты меня разоряешь». Мама сказала: «У всех кто-то есть, только я должна жить одна». И тетя Берта сказала: «У тебя есть муж, но, конечно, приличное существование не по тебе, ты — позорное пятно, ты, скажу я тебе, катишься в пропасть, чем ты кончишь, авантюристка; а уж если ты возьмешь себе другого мужа, то не такого, как прежний, ты возьмешь денежного, чтоб он тебя содержал,— вот что тебе нужно, вот чего ты ищешь». Почему мама не встала и не ушла или не дала своей сестре пощечину, я не знаю, я и сегодня не прощаю себе, что я не сделала этого за нее, но я, наверно, не сразу все поняла, я только чувствовала, как ужасно то, что сказала тетя Берта. Однако в это мгновение как будто вихрь налетел — дверь распахнулась и кто-то кинул в кафе охапку экстренных выпусков; мне показалось, что вихрь взметнул их и накрыл сидевших в кафе, люди хватали листки, и кричали, и кудахтали, и трепыхались, как потревоженные куры, но посреди всей этой сумятицы появился доктор Флекман, пробежал взглядом листок, некоторое время постоял молча, а потом громким голосом прочитал текст, все затихли, а он сказал, что бояться нечего, что мы — народ храбрецов, у нас храбрые мужчины и храбрые женщины, что нам надо защищать свою честь, война нужна, мы ее выиграем. Так оно прозвучало, это слово: война. Мы и раньше слышали его, но тогда оно не означало ничего, кроме неприятности, в предвидении которой приходилось увозить детей из города в деревню. А теперь это было что-то на самом деле случившееся и непосредственно касавшееся нас, и ты, Стефания, заплакала, а мама увела нас из кафе, но до этого тетя Берта попробовала снова завести «приятный» разговор, она сказала маме: «Надо полагать, ты скоро станешь овдовевшей солдаткой, хорошо бы — дважды вдовой». Мама потом рассказывала мне об этом.

— Да,— сказала Стефания,— и еще она рассказывала, что мы прошли мимо «Тагеблат», и там на ступеньках стоял господин Нильс и держал речь, он говорил, что теперь войны не избежать, но народ не хочет ее, народ хочет только мира. Тогда кто-то швырнул в него камнем, попал в оконное стекло, оно разбилось вдребезги. Это я и сейчас помню, и еще помню, как мама потом ходила в церковь и плакала, а мы обе совсем растерялись.

— Точно, я это помню и еще помню улицы с возбужденными людьми и как бабушка сказала: нужно паломничество, нужно молить бога о мире, и ты спросила, что это такое — паломничество, и тебе объяснили как сумели, так я полагаю, и когда на следующий день мы пришли поиграть на мертвой колее, ты все это объяснила остальным и вдруг начала кричать: «Не надо войны, не надо войны», и ты бегала и бегала и кричала, и другие бегали за тобой и кричали — даже я, и мы выбежали из города — почему из города, может, нам хотелось спастись бегством? — но тут ты вдруг повернула обратно.

— Нет, не я, это был Петер, это он повернул обратно и повел нас в город, мы бежали и криком сзывали людей, и многие бежали с нами, взрослые, удивительно, что дети не бежали с нами, обычно они сбегаются, когда случается что-то, может быть, они почувствовали, что это не игра. Но зачем мы копаемся в прошлом?

— Кто копается-то,— спрашивает Клара,— у кого мигрень от этого копания, у тебя или у меня? Кто заболевает от этого копания?

— Ах, оставь, что значит — больной, здоровый. Выздороветь благодаря забвению — хуже всего на свете.

— Если ты это знаешь, почему же ты ругаешь меня за то, что я копаюсь в прошлом?

— Копанье копанью рознь.

— Правильно,— говорит Клара и смеется, ее смех кажется неуместным, но она тут же объясняет, что засмеялась, вспомнив про другие раскопки, безобидные, сказала она, хотя со стороны они казались какими угодно, только не безобидными. Стефания понимает ее сразу, она говорит:

— Кто видел, как он копал, ты или я?

— Хорошо, расскажи ты,— миролюбиво соглашается Клара.

— Но ведь эта история произошла гораздо позже, в сорок пятом году, мы, таким образом, перепутаем времена.

— Рассказывай!

— Осенью сорок пятого я вернулась сюда в товарном поезде, в вагоне для угля, тогда это была единственная возможность приехать, война совсем недавно кончилась, все было разрушено, поезд остановился, и мы подумали, что это остановка в пути, но оказалось, что мы прибыли на место, только не было ни вокзала, ни города, ни липовой аллеи — одни черные пни, и женщина, приехавшая тем же поездом, расплакалась и повторяла снова и снова: «Липы ведь ни в чем не виноваты». И не было ни Марктплац, ни церкви, ни кафе на Марктплац — одни развалины, развалины.

Клара говорит:— Да, это мы сами знаем.

Однако Стефания не позволяет прервать себя, она почти отсутствует, она проходит, как когда-то в действительности, по развалинам города, она не узнает его, но вдруг видит что-то знакомое: ворота у входа на фабрику, въезд такой, как был, а больше от бернхаймеровского предприятия ничего не осталось. И «Тагеблат» в развалинах — сохранилась только часть здания, в ней разместились американцы, военная полиция, перед которой дрожат люди, люди всегда чего-то боятся, сначала боялись нацистов, теперь — американцев, государственной полиции, военной полиции, уголовной полиции, вечно над их головой висит угроза.

— Да, но рассказывай дальше, доберись до дяди Вилли.

— Я еще раз пошла на Марктплац, там я увидела мужчину, копавшего землю.

— Вот она наконец, эта история,— говорит мне Клара.

— Я не знала, кто этот мужчина, вокруг него стояло несколько женщин, я стала рядом, и одна сказала мне: «У него в голове помутилось, еще бы — такой удар, вот уже сколько месяцев он копает, хотя наверняка знает, что они умерли».—«Кто — они?» — спрашиваю я. «Его жена и одна из дочек». — «А кто этот человек?» — «Каунигер, тот, которому принадлежало кафе, в него попала бомба, и оно сгорело, жена и дочь остались под развалинами, они сгорели, а он не верит, копает и копает». Так, значит, это был дядя Вилли, только теперь я узнала его по очкам с зелеными стеклами — он всегда носил их, но в остальном он был неузнаваем.

— Все мы переменились,— говорит Клара.

— Он одичал, а не переменился, лицо заросло щетиной. Казалось, будто он приклеил бороду, как приклеивают актеры, играющие разбойников, он выглядел каким-то ненастоящим, я подошла к нему, стою, смотрю, а он даже не взглянул на меня, я тогда говорю: «Дядя Вилли!» Он сделал вид, что не слышит. Я слегка толкнула его и говорю: «Дядя Вилли, ты же узнаешь меня»; тут он окинул меня взглядом, очень быстрым, но ничего не ответил и не перестал копать, и я подумала, наверно, он в самом деле сошел с ума, я чуточку подождала, а потом говорю: «Может, тебе перестать копать — ведь они мертвы, а быть погребенным здесь ничуть не хуже, чем в любом другом месте, зачем ты хочешь снова их увидеть, тебе бы радоваться, что ты от них избавился». Тогда он перестал копать и засмеялся, он смеялся и сме-

ялся, и этот смех нагонял страх, женщины разбежались, а когда все убежали и мы остались одни, он сказал: «Пойди сюда, приложи ухо к земле». Я послушалась его, но неохотно, я подумала, он может ударить меня в спину лопатой и убить, как собаку, но, конечно, он этого не сделал, у него совсем другое было на уме, он сказал: «А теперь постучи посильнее по камню, что ты слышишь?» Звук был глухой. «Да,— сказал он,— звучит как пустота, там и есть пустота, а знаешь почему? Если ты помнишь наш дом, то тебе известно, что тут был винный погреб, а за ним еще один маленький погребок, там и замуровали шкатулку, о которой мне знать не полагалось; ты всегда умела держать язык за зубами, и я скажу тебе, что было в шкатулке: деньги! Все украденные у меня деньги».— «Кто же их украл?» — спросила я и подумала: а он говорит как безумный; ведь если у него украли деньги, то как же они могут лежать там, внизу? Но он говорил вовсе не как безумный. Он сказал: «Кто, спрашиваешь ты? Разве ты недостаточно знала свою тетю Берту и ее доченек, зачем же ты спрашиваешь, кто украл мои деньги? Разумеется, они. Они тайком выкачивали их из нашего предприятия, воровали, мошеннически ведя бухгалтерию,— меня они давно уже не подпускали к конторским книгам, а я думал: ладно, делайте свое дело, долго это не продлится, я умел ждать, я знал, что скоро они перемрут и что моя пропажа ко мне вернется, так оно и случилось, в точности так, вот еще день-два — и конец, и она опять будет у меня в руках, моя пропажа. Я должен притворяться сумасшедшим, а то люди почуют, что пахнет жареным, понимаешь, они думают, я хочу откопать тех двоих, поначалу я в самом деле их откапывал, места себе не находил, мне надо было собственными глазами увидеть их трупы, и я увидел их, они не сгорели, как люди думают, они прекрасно сохранились в известке — там, под грудой камней, они и лежат, и красавец Карл по старой привычке лежит рядом, и я каждый день снова и снова забрасываю их камнями, чтоб им никогда больше не подняться,— должна же быть справедливость,— и ты видишь,— обратился он ко мне,— ты видишь, справедливость есть».

Клара говорит:— Время от времени справедливость торжествует, но чаще — нет, а может быть, мы не замечаем, когда это бывает, не исключено, что так; ведь от черного осла всего можно ожидать.

— От кого? — спрашиваю я. Но Клара говорит только:

— Ах, ничего!

И я спрашиваю: — Дядя нашел деньги?

— Этого мы не знаем, об этом он молчал, а если мы напрямик его спрашивали, он усмехался и прятал глаза за большими зелеными очками.

Пока мы разговаривали, мне еще несколько минут назад послышались шаги под окном, мне показалось, будто кто-то подкрадывается к нам,— теперь и сестры услышали шаги, Стефания выходит посмотреть и приводит Берти.

— Я никак не найду дороги домой,— говорит Берти жалобно,— я так боюсь.

— Чего же ты боишься?

— Откуда я знаю чего,— говорит Берти укоризненно.

— Ладно, раз уж ты здесь, выпей с нами кофе, старая проныра.

— С радостью,— мгновенно откликается Берти,— а печенье у вас есть?

— Ох, Берти,— говорит Клара,— дожрешься ты до смерти, ты уже почти такая же толстая, как была твоя мать.

— Не беда,— говорит Берти,— теперь уже все равно. А какое у вас печенье? И о чем вы говорили? Вы говорили о папе.

— Зачем ты спрашиваешь, если сама знаешь,— говорит Клара.— И откуда ты это знаешь? Опять подслушивала. Разве это прилично, разве так делают?

— Вот еще — подслушивала, подслушивала, с меня хватит двух слов, и я уже знаю, о чем речь.

— Так. И какие же слова ты слышала?

— Я слышала: груда камней, дяди Вилли, погреб, шкатулка, деньги, чтоб им никогда больше не подняться, справедливость, и вы думаете, я не поняла, о чем речь? Только не воображайте, что вы что-то знаете. Если кто-то что-то и знает, так это я, одна я. Вы знаете лишь то, что папа вам рассказал, а он никогда не говорил всерьез. Уж будто вам известно, нашел он деньги или нет.

— Вот ты нам и скажи.

— Еще чего не хватало, чтоб вы ждали наследства, нет уж, ничего вы не узнаете.

Клара смеется миролюбиво; ей лучше Берти известно, как обстоит дело с деньгами, но она об этом расскажет мне позже,— сейчас она только смеется.

— Вот как, ты смеешься,— говорит Берти задиристо,— а почему ты смеешься? Или ты уверена, что доберешься до наследства? Смотри не просчитайся!

— Послушай, Берти, доедай свое печенье и отправляйся домой, я тебя отведу.

— До самого дома? Прямо в мою комнату?

— Можно и так. Но зачем?

— Я очень боюсь,— говорит Берти вдруг опять совсем испуганно.

Когда я смотрю, как она пытается проглотить свой страх вместе с печеньем, я думаю, что, наверно, было бы любопытно услышать от Берти те истории, которые мне уже рассказывали и еще расскажут Стефания и Клара, поэтому я вызываюсь проводить Берти домой. Между сестрами происходит короткая непонятная перепалка, прежде чем они разрешают мне пойти с Берти. Стефания — вот кто не хочет этого.

Берти требует, чтобы я дала ей руку, и, получив ее, повисает на мне всей своей тяжестью, и, как только мы удаляемся от дома метра на два, начинает говорить: я, мол, не должна им верить, Стефания только и знает, что выдумывает разные истории, она всегда жила фантазиями; ведь она, ну да, она — человек искусства (Берти почти заикается на этом слове), а у Клары дурной глаз, как у всех горбатых, у всех меченых, ее надо остерегаться, бедная тетя Мина (вдруг она стала «бедной») боялась глаза и языка Клары больше, чем всего города.

— Почему боялась?

— Конечно, из-за связи с Флекманом.

Мы быстрее, чем я предполагала, оказались там, куда я рассчитывала направить наш разговор.— А каким, собственно, он был, этот Флекман?

— Каким он был?

— Он был злой человек, страшный нацист?

— Какой там нацист. Кто тогда не был нацистом, все были нацистами, что еще оставалось делать, если ты хотел жить.

— Нет, не все были нацистами, Берти! Клара не была, и Стефания, и бабушка, и Георг, и Петер Нильс не был, и Эрих Бернхаймер не был...

— Так он же был еврей, как же он мог быть нацистом, правда, говорят, были евреи, которые с удовольствием стали бы нацистами, но Бернхаймеры не из таких, они переправили в Англию все свои денежки, а что касается Нильса, так их старик давным-давно был красным, а Петер — тот даже в коммунистах состоял, уж кто-кто, а эти добропорядочными немцами никогда не были.

— Берти, Берти, что ты такое плетешь, неужели ты ничему не научилась с той поры?

— А чему я должна была научиться? Тебя здесь не было, ты не знаешь, весь город вступил в партию, все добропорядочные люди, мы сотрудничали, мы приносили жертвы.

— А Георг не был добропорядочным человеком?

— Какой Георг?

— Георг Мак, пастор.

— Раз он был пастором, значит, не мог быть нацистом.

— Почему же?

— А потому: пасторам нельзя было — распоряжение Рима.

— Отчего же? Или одно с другим не сочетается: быть нацистом и быть пастором? Ты же говоришь, что все добропорядочные люди были нацистами.

Берти в смятении злобно молчит, она не поняла моего вопроса, а я забыла, что у нее склероз, что в мозгу ее сохранились лишь обызвествленные воспоминания о былом, окаменелые, неизменные. Часы Берти остановились в тысяча девятьсот сорок пятом году. Я уже не пыталась завести их. Мне оставалось только воспользоваться ее воспоминаниями, чтобы узнать кое-что о Флекмане.

— Ладно, значит, этот Флекман был симпатичный, он вам нравился, ты его хорошо знала?

Этот Флекман. То, что вытекает из пространной речи Берти на заданную тему, вовсе не создает пусть одностороннего, но хоть сколько-нибудь ясного представления, это беспорядочное нагромождение отдельных, противоречащих друг другу подробностей. Флекман — «аристократ» («элегантный был и с хорошими манерами, первый класс, можешь себе представить, он целовал женщинам ручки!»); Флекман — «прирожденный оратор» («тебе бы его послушать, он умел говорить, после него ни один бургомистр так не говорил, он же был образованный, с дипломом, единственный бургомистр со званием доктора, а не какой-нибудь там торговец, или владелец типографии, или, как этот наш нынешний, из рабочих, подумать только: из рабочих!»); Флекман — «карьерист» («он даже не из здешних, пришлый, никто не знал, кто его родители, у него, кажется, вообще не было родни, и вот такой обскакал всех — сначала у Бернхаймеров, потом в партии, он стал бургомистром города, из которого и родом-то не был, он даже местного наречия не знал, всегда говорил на литературном языке»); Флекман — «юбочник» («за всеми он ухаживал, мог сделать самые блестящие партии, так нет, ему требовалась тетя Мина, ему было наплевать, что он потерял доброе имя, ему было все равно, что говорят о нем люди»); Флекман — «герой среди сплошных трусов» («это было потрясающе, он вырвал из рук белый флаг и крикнул: «Никогда я не предам этот город и моего фюрера, никогда я не сдам город врагу, скорее умру!» И он швырнул белый флаг на пол и стал топтать его ногами, а потом выхватил револьвер и застрелился на глазах у американцев, он-то показал им, что такое немец, и упал на флаг, и истек на нем кровью, и этот флаг, весь окровавленный, уже никуда не годился — так Флекман победил»).

— Ох, Берти,— говорю я, изо всех сил стараясь не забывать, что она — не собеседница, что я только использую ее, как используют старый фильм; неважно, кто его смотрит и когда и с какими намерениями,— пленка крутится. Впрочем, на пленке появляется и другой Флекман, например, Флекман, подвластный женщине («ты себе представить не можешь, как Мина злоупотребляла своим влиянием на него, она добилась того, чтобы он позволил этим евреям, этим Бернхаймерам, вывезти свой капитал за границу, евреям ведь это запрещалось, и Флекман жизнью рисковал только потому, что прекрасная Мина попросила его, но ты никогда не догадаешься, зачем она это сделала, какое ей было дело до того, вывезут евреи за границу свой капитал или не вывезут. Нет, ты только вообрази, что она надумала: красивый и богатый Эрих Бернхаймер и Клара — вот что

она затеяла, деньги надо было сохранить для будущей фрау Бернхаймер, для Клары то есть, вот почему она впутала Флекмана в эту историю, но ничего у нее не вышло, и из другого брака — между Петером Нильсом и Стефанией — тоже ничего не вышло, тогда она втянула Флекмана в такое, что могло стоить ему головы: она заставила его изготовить фальшивый паспорт Петеру, вот до чего она пеклась о своих дочках, и ее нисколько не тревожило, какой опасности она подвергает Флекмана, но все же справедливость позаботилась о том, чтобы из всех ее хитро задуманных планов ничего не вышло; Эриха забрали, и он больше не вернулся, а что касается Петера, то я абсолютно уверена, что он со своим фальшивым паспортом не перешел границы, Флекман только сделал вид, что хотел помочь Мине, но уж он постарался, чтобы Петер, этот коммунист, не перешел границы, ведь иначе, ты только представь себе, Флекман стал бы пособником побега и изменил бы родине, а ты думаешь, такой, как Флекман, мог стать изменником родины?»)

Это уже совсем другой Флекман, двуличный, дважды предавший из трусости. Не знаю отчего, но я не верю в такого Флекмана, придуманного Берти, хотя не столь уж это неправдоподобно: ведь я очень мало о нем знаю. Однако я догадываюсь, что именно такого Флекмана с трудом приспособила Берти к своему неистребимо-правоверному сердцу, дабы хоть как-то привести в порядок смятенные мысли и чувства, что только такой Флекман мог стать предметом ее тайного поклонения. И как еще и сегодня она восхищается им. И как еще и сегодня не хочет отдавать его тете Мине. И как, став на место всех тогдашних девушек и женщин города, она ненавидит тетю Мину еще и сегодня: ведь та увела из-под носа желанного мужчину, холостяка, за которым охотилось все женское население города, пытаясь его заарканить, сотнями расставляя ему западни и сети, тайно и ожесточенно соперничая друг с другом, а он всем девицам города, добродетельным, состоятельным, хранившим свою девственность и верность партии, робко или дерзко предлагавшим себя, предпочел эту разведенную, эту женщину на несколько лет старше его, да еще и с двумя детьми, неимущую и обесчещенную молвой всего города, эту ведьму, черт знает как околдовавшую его и удерживавшую его тридцать с лишним лет, невзирая на все скандалы, можете вы представить себе что-либо подобное!

— Она была очень хороша собой,— вставляю я.

Берти взрывается: — Хороша, как же! Хороша! Да таких, как она, в городе не меньше сотни было. А хороша она была только потому, что Флекман тратил на нее деньги. Поглядела бы ты на ее платья! А как от нее пахло французскими духами! Как от шлюхи.

— Берти, хоть ты и сказала «как от шлюхи», я считаю, что это слово совсем не подходит к Мине Мартин.

— Вот как, это ты так считаешь.

— Да, я так считаю. Тетя Мина любила человека, а не подарки, только его, и никого другого на протяжении всей своей жизни — разве такая верность не ценится?

— Ну и верность, нечего сказать, хороша верность, не смеши меня! Верность! Не успел верно и преданно любимый пропасть без вести на войне, как она сдала комнату какому-то господину, разумеется благородного происхождения — ведь ей обязательно нужно было что-то особенное, а потом она и замуж за него вышла. Хороша верность, хороша любовь! Но бог наказал Мину: этот участковый судья не был мужчиной, трудно поверить, что он сделал ей ребенка, правда, ребенок родился мертвым, больше их ни на что не хватило, только на неудачные роды, судья смахивал на привидение, худой как щепка, длинный, в стоячем воротничке, такой богобоязненный и такой ревнивый, он держал бедную Мину за семью замками до самых своих похорон, и тогда она, как Лазарь, восстала из гроба.

Берти потирает руки, толстые, грубые, в старческих пятнах — будто кожу ей посыпали песком. Ненависть к Мине у нее пожизненная — об этом я догадываюсь, но она стала автоматической; пластинка отыграла свое, яд высох, жало выпало. Однако ненависть, когда-то такую живую и такую ядовитую, нужно беречь: ведь ее можно отлично применить в разговорах — разве то, что было потом, сопоставимо с тогдашними, возбуждающе мрачными происшествиями и ощущениями, как хорошо, что обызвествленный мозг Берти законсервировал эту ненависть и всегда готов выставить ее в целости и сохранности на обозрение.

Мы дошли до дома для престарелых, и я хочу подняться с Берти по ступенькам, ведущим к воротам, но она упирается: мул не желает возвращаться в стойло. Причина, слезливо объясненная: — Теперь мне уже не дадут ужина, они ничего не дают тому, кто опаздывает, а я голодная.

Я совсем недавно видела, как она у Клары впихивала в себя кучу печенья, так что она не может быть голодной, но бог с ней, пусть поест еще.

— Пойдем,— говорю я,— посидим в ресторане.

Она в восторге. Мое предложение включает в себя расчет: я надеюсь побольше узнать от Берти, я даже намерена угостить ее вином, чтобы язык ее совсем развязался. Однако мой план оказывается ошибочным: Берти не в состоянии много перенести, она быстро устает и мысли у нее начинают путаться, но все же, прежде чем глаза ее стекленеют, а рот начинает молча пережевывать пищу, я узнаю кое-какие неожиданные подробности. У Мины Мартин в самом деле был ребенок от судьи, зачатый, разумеется, в супружестве, но родившийся мертвым — то была кара господня.

— За что, Берти?

— За прежнюю жизнь Мины.

— А за что бог покарал судью?

— Уж он знал, за что; как бы там ни было, а с той поры судья больше не прикасался к Мине.

— Тебе это откуда известно, Берти?

— Знаю — и все, а потом бедная Мина спятила, она только и делала, что играла обрезками материи, в лучшем случае шила платья для детей Клары.

— Для детей Клары?

— Для ее ребенка и для тех, которых она подбирала в войну и после войны.

— У Клары был ребенок?

— Ты удивляешься? Еще бы! Мы тоже удивлялись: горбатая Клара, старая дева, и вдруг ребенок, внебрачный, конечно.

— А почему «конечно», Берти?

— Потому что никто не хотел на ней жениться, это же ясно. А отец ребенка был генералом «люфтваффе», из именитых.

— Погоди, Берти: никто ее не хотел, и вдруг появился такой высокопоставленный и захотел ее?

— Так уж было, а о вкусах не спорят.

— Но откуда все это известно? Клара об этом говорила?

— Она? Ни словечка. А мой папа знал все.

— Вот как, твой папа — откуда же?

— Ну, это понятно само собой. Ты сообрази: когда Клара родила ребенка? В середине войны. Разве детям тогда хватало еды, разве были у них шубки и сапожки? У ребенка Клары все это было. Спрашивается — откуда? Вот и выходит, что о нем заботился кто-то, имевший доступ ко всему этому. А кто имел доступ ко всему этому? Офицер в больших чинах. Ясно?

— Вполне.

— Но у Клары хватило наглости назвать своего ребенка Эрихом.

— Почему же это наглость?

— А кого звали Эрихом, скажи на милость? Эриха Бернхаймера, еврея, за которого Клара с удовольствием вышла бы замуж. Но стать отцом ее ребенка он не мог: ведь его давно уже не было.

— А где он был?

— Как где? Конечно, в лагере.

— И ты об этом знала?

Берти не менее хитра, чем глупа, ее трудно поймать, она чует ловушку, хоть и не понимает, что это ловушка. Она говорит упрямо: — Ничего мы не знали.

— Чего — ничего?

— Что их уничтожали, евреев.

— Кто их уничтожал, Берти?

— Ах, оставь свои расспросы, откуда я знаю, это было так давно, все это надо наконец забыть.

— Да, да, это надо забыть.

Берти чувствует мое негодование и, возможно боясь, как бы ее пиршеству не пришел конец, пробует уклониться: — У каждого из нас свое горе. Вот, к примеру, Клара: имела ребенка и потеряла.

— Потеряла?

— Он утонул. В ручье. Трех лет от роду.

— Боже мой! Бедная Клара.

— Ах, да что там! В наши времена дети — только бремя.

В голосе Берти зазвучало что-то истерическое, она вдруг заговорила на чистом литературном языке, она произнесла заученную фразу, ничего при этом не думая,— фразу со старой пластинки. Я думаю о том, что́ она подразумевает под «нашими временами» — наверно, первые послевоенные годы, когда дети в самом деле были бременем. А еще скорее: военные годы, точнее говоря, те годы, когда кто-то (тетя Берта, Карл, а может быть, и кто-нибудь еще) внушал Берти, что ее собственный ребенок «в наши времена» — только бремя. Во всяком случае для Берти «наши времена» — это насыщенные событиями, жаркие, под знаком свастики протекавшие и истекавшие времена, которые потом постепенно, уже не столь обильно подкармливаясь злом, выцвели до известковой бледности, высохли, окаменели и сохранились в виде остаточных следов, побуждающих Берти думать, что не может быть других «наших времен», кроме тех, что навеки заполнили ее умишко, не оставив места для нового времени.

Когда в разговоре мы подошли к этому, нам после густого супа, который выбрала Берти, принесли жаркое, и искусственная, уже не очень хорошо держащаяся челюсть полностью завладела ее вниманием. Берти волей-неволей молчала и пила. Она ела, она пила. В конце концов она, как мне показалось, дошла до такого состояния, в котором каждому хочется исповедаться. Черт меня дернул сказать: — Жаль, что никто из обоих детей не остался в живых, был бы у тебя ребенок, знала бы ты, для кого существуешь на свете.

Но у Берти черт знает откуда взялась хитрость. Уже достаточно опьяневшая, она сказала: — Я и без ребенка знала, для кого я существую на свете — для моего папы, вот для кого.

— Но теперь, когда папа умер, разве ребенок, сын, не был бы опорой для тебя? Кажется, у твоей сестры был сын по имени Зигфрид?

Ее дьявол-хранитель принял облик официанта, принесшего третье блюдо — розовый пудинг. Для Берти пространство и время сосредоточились в пудинге, ни о каком ответе не могло быть и речи. Мне розовый пудинг напомнил тетю Берту, ее рыхлый двойной или, точнее, тройной подбородок, ее обвисшие груди. Берти пожирала тетю Берту, я смотрела на это как зачарованная и с отвращением; потом Берти выпила стакан вина, положила руки на стол и захрапела; мне пришлось вызвать такси, двое официантов доволокли Берти до машины, в доме для престарелых нас встретила строгая и справедливо разгне-

ванная настоятельница и потащила Берти в дом без моей помощи и не слушая моих объяснений,— она наверняка была деревенская и очень сильная, она управлялась с отяжелевшей и опьяневшей Берти, как с заартачившейся коровой.

Когда я в этот вечер вернулась к Кларе и Стефании, разумеется с намерением остаться еще на один день, город уже не казался мне таким чужим. Теперь это был город, населенный призрачными людьми, которые вспоминались мне, как фигуры из детской книжки с картинками, долго пролежавшей под дождем: страницы ее покорежились, просвечивают насквозь, поблекли, но кое-где размытые подписи к картинкам еще можно разобрать, а то, чего не разберешь, можно угадать, если знаешь, о чем речь. Теперь я с любопытством ждала новых картинок и подписей.

Когда Клара отводит меня в верхнюю угловую комнату, где мне предстоит переночевать, она не говорит: «Вот видишь, я с самого начала знала, что ты останешься». Клара никогда не говорит ничего подобного, она далека от желания насладиться торжеством, значительным или незначительным, она, по-видимому, вообще не торжествует. Она наводит для меня порядок в комнате, задергивает льняные, с ручной вышивкой, занавеси («да, это старые, вышивала их бабушка, а ткала прабабушка, когда это было? — примерно в тысяча восемьсот семидесятом году, значит, им сто лет»), она готовит мне постель, застилает ее свежим бельем, тоже из старинного полотна. Я смотрю на Клару и думаю о ее ребенке, нет, я не верю россказням Берти; Берти наврала, в ее перевернутых мозгах все перепуталось, вот она и подсунула Кларе своего внебрачного и умершего ребенка. Сейчас я могла бы задать вопрос самой Кларе, я убеждена, она ответила бы мне, она сказала бы «да» или «нет», но у меня не поворачивается язык, хотя Клара еще некоторое время остается в комнате и не отказалась бы от разговора; мы с нею говорим о пустяках, а потом ложимся спать. Однако я собираюсь завтра утром спросить ее, как обстояло дело с безумием или слабоумием Мины Мартин, Ми-и-ны.

Утром я не встречаю в доме никого, но на кухонном столе лежит записка: «Скоро вернусь. Кл.»

Стефания еще спит, мне не хочется готовить завтрак себе одной, я иду в сад и обнаруживаю между беседками из сухих жердей с увядшими красными бобами узкую тропинку, которая ведет меня в мое собственное детство.

Этот ли сад или соседний, принадлежавший моей «тете», или другой — любой из многих садов на улице у ручья, все они были одинаковые, это был всегда один и тот же сад, благоухающий флоксами и петрушкой, луком и щелоком, липовым цветом и мокрой древесиной, и всюду была одна и та же стыдящаяся самой себя бедность, и везде был один и тот же молчаливый заговор красных бобов, вьющегося шиповника, жимолости и воды, ограждавших эти сады от злого духа времени. Благодаря этому здесь можно было укрыться и предаться робким надеждам вопреки режущей по сердцу действительности. Так это было в моих воспоминаниях. И я затосковала по всему, что было, и мне, сидевшей в саду и вдыхавшей знакомые запахи, захотелось вновь обрести все это.

На первом этаже открылось окно, раздвинулись занавески, ветер надул широкий белый рукав, Стефания кивнула мне: — Я сейчас спущусь.

Но я чувствую, что она, еще говоря, уже забывает, о чем говорит, она стоит — ночная сорочка и занавеси развеваются на ветру, Стефанию саму унесло ветром, и она стала недосягаемой для моего вопроса, я хотела спросить, где же Клара и не приготовить ли мне завтрак. Я остаюсь сидеть и жду былого. Старых мостков уже нет, никто теперь не стирает белье в ручье, здесь это, как и всюду, запрещено, это означало бы «загрязнение окружающей среды», но даже

если б и не было запрета, кому сегодня захотелось бы публично стирать свое грязное белье, у кого вообще еще хранится грязное белье, то, что грязно, выбрасывается и забывается, или его отдают кому-то и отправляют далеко и получают чистым, за деньги отстирывается любое грязное белье. И кто сегодня согласился бы публично признать, что у него нет электрической стиральной машины, кто захотел бы унизиться, показав рваные полотенца и изношенные простыни, кому охота заработать боль в пояснице на низменных домашних работах. Разве кто-нибудь решился бы на такое заведомое смирение? Уже нет дней стирки, нет покрасневших от стирки рук с размякшими и стертыми на кончиках пальцами, нет ни бревенчатых мостков, ни разговора, перекидывающегося с мостка на мосток. Ручей, лишь тут, быть может на протяжении ста метров, еще не загнанный под землю в бетонные и железные трубы, но ставший узким, превращенный в канальчик, лишившийся своего характерного облика, бежит, тихий и зеленый, отражая сентябрьское небо, тоже уже не слишком чистое, загрязненное испарениями и газами небо,— бежит к плотине, старая плотина еще существует, он бежит, как и прежде бежал, в западню, а за плотиной он исчезает, его просто больше нет, только тремя километрами севернее ему разрешается показаться снова, но показаться лишь инженерам и немногим рабочим новой большой электростанции, которую ему приходится питать, снабжая город деньгами, кто его поблагодарит за это, кто знает что-нибудь из биографии ручья, откуда он, где он после проделанной работы вновь выходит на свет божий, где его устье, никто из двухсот человек, опрошенных мною в течение последующих дней, ничего не знал про этот ручей, и только один умный школьник сказал: — Ручей — это вовсе не ручей, а канал, купаться в нем запрещено, теперь он создает электричество, а раньше создавал наводнения, и в нем тонули люди.

Это клевета, ручей сделали пугалом, никогда никто в нем не тонул, но школьник более осведомлен, чем я: — Нет, в нем тонули дети.

Один ребенок, ребенок Клары, это верно.

Когда-то этот ручей был главной артерией города, когда-то в пустынных окрестностях ручья за окраиной города начинались все любовные истории, все обольщения имели место здесь, в камышах, под прикрытием развесистых ив, ночами или в полдень, в обеденные перерывы ткачей и красильщиков и курьерш с фабрики Бернхаймера, типографщиков и секретарш из «Тагеблат», в жаркие часы, когда зеленая вода отражала белые объятья. След скольких супружеских измен уводил сюда, в камышовую чащу, что тогда простиралась вдоль ручья за городом и где стоны влюбленных пар обманчиво походили на клекот болотных птиц, не ведавших о том, что они укрывают известных городу грешников. Сколько сплетен, перемывая косточки одновременно с бельем, передавали от мостков к мосткам, вверх по ручью, вниз по ручью — система передачи вестей, функционировавшая так же быстро и так же надежно, как барабанная сигнализация бушменов. Сколько грязных делишек замышляли у ручья хорошо одетые бюргеры в соломенных шляпах, с сигарами и тросточками. И тот же ручей — я еще не знала этого (я еще многого не знала) — однажды унес долой с глаз Стефании старую, очень старую облезлую кошку, завещанную ей скрывавшимся от нацистов, погибшим Петером Нильсом и избавленную от жизни милосердным выстрелом отца Петера, и Стефания не плакала, но провожала кошку взглядом до тех пор, пока ее еще можно было видеть. Вблизи этого ручья была скамья, возле которой Клара забеременела, возвращаясь с вокзала, где она во время войны возглавляла санитарную службу и где стоял санитарный поезд с тяжелоранеными и умирающими, откуда доносился запах лизола и соломенных подстилок и откуда Клара принесла этот запах в своей накрахмаленной, но пропотевшей и измятой одежде сестры милосердия и на своих сильно продезинфици-

рованных руках. У этого ручья или неподалеку от него Петер Нильс надел Стефании на палец кольцо в знак помолвки, но он перепутал руки и вместо левой надел на правую, и кольцо, таким образом, стало обручальным, и Стефания носит его с той поры, носит по праву. Над этими водами днями и ночами болталось тело Макса Бределя, повесившегося из-за невыносимого ужаса перед самим собой, посреди зимы, в мороз и снег,— повесившегося в уверенности, что быстро его не найдут, живым наверняка не найдут и спасти не смогут, выбравшего такое время, когда никакой прохожий сюда не забредет, никого и не было, так долго никого не было, что воронье успело исклевать его лицо. В этом ручье, подальше за городом, во времена нацизма хотела утопиться Дора Лилиенталь, она повесила себе на спину мешок с тяжелым камнем и привязала мешок крепкими веревками крестнакрест, но Дору Лилиенталь нашли и против ее воли спасли.

— Если б мы дали ей умереть тогда и здесь,— говорит Стефания,— если б мы дали ей мирно утонуть, камень сразу же увлек бы ее в глубину, она потеряла бы сознание, в ушах у нее шумело бы и она слышала бы музыку, какая прекрасная смерть, какая — ведь все познается в сравнении — достойная человека смерть, добровольная и своевременная.

Из этого ручья (при условии, что рассказ Берти достоверен) выудили мертвого ребенка Клары. Через несколько лет ручья вообще не будет, ни один ребенок не утонет в нем, даже ни одна кошка, здесь человека смогут переехать, разрезать острым железом, ударить о камень, но все это на поверхности земли, там, где пройдет кольцевая магистраль, соединяющая город с автострадой и с широким миром, который не шире, и не больше, и не лучше, чем этот город, потому что человек приходит в мир со своими, из дурного провинциального опыта взятыми, жалкими мерками. Не годится мне сидеть у этого ручья, не пуская бумажные кораблики, чтоб они плыли от мостков к мосткам, от меня к Стефании, от меня к какому-нибудь дружелюбно настроенному существу, которое могло бы меня утешить. Я встаю и срываю несколько спутавших времена года красных бобов и разбрасываю их по зеленой воде, я не передаю никакой вести, потому что некому ее принять, и никто не знает моего когда, и никто бы не расшифровал ее, это была бы весть о моей печали, такой же преходящей и такой же постоянной, как текущая мимо вода, печали о чем, смешанной с торжеством, торжеством чего — наверно, жизни, живой, той, что прекращается и возобновляется, существует всегда и дается нам.

Стук садовой калитки заставляет меня встрепенуться.

— Меня задержали,— говорит Клара, она задыхается, но тут же мчится на кухню, снимая на бегу свою неизменную шапочку и — тоже на бегу — забрасывая ее с размаху на крючок вешалки; оглянуться не успеваешь, как уже на плите стоит котелок с водой.— Где же Стефания, неужели все еще спит, Стефа-а-ния!

— Да, да, я иду.

— Тебе не обязательно наводить красоту, слышишь?

А мне Клара говорит: — Она может час простоять перед зеркалом, при этом она ничего не делает, только смотрит на себя, но мне кажется, она смотрит сквозь себя, бог знает, кого или что она видит, иногда я думаю, что у нее, как у мамы, в голове не все в порядке. Но так уж повелось, что мы подыскиваем банальные объяснения тому, чего не понимаем, если бы мне нужно было объяснить самое себя, я бы, наверно, сказала: Клара сама бог весть что воображает, ее тоже не назовешь нормальным человеком, горбатые никогда не бывают нормальными, они живут всю жизнь в осажденном городе, где объявлено чрезвычайное положение.

Она смеется своим, словно из погреба доносящимся смехом, она

смеется над собой и над тем, что говорит о себе и принимает себя всерьез хотя бы на минуту.

— Но,— спрашивает она,— почему ты сразу так уставилась на ручей?

Фраза безобидная, быть может, а быть может, и нет, однако я из-за этой фразы сама себе кажусь подозрительной, даже уличенной — только в чем же?

Но тут по скрипящим ступенькам спускается Стефания, она приходит, тихая и скромная, и, однако же, в ее приходе есть что-то от нисхождения с высших сфер в наши, обыденные и реальные. Она совсем не «наводила красоту», она даже не причесана, ее длинные волосы схвачены, как у школьницы, на затылке ленточкой, на ней старая бабушкина кофта, но как она ее носит! Сознает ли она производимое ею впечатление или ей все равно?

— Наконец-то,— говорит Клара со строгой снисходительностью,— почему тебе всегда требуется столько времени, хотела бы я знать, сколько же времени требовалось тебе перед твоими концертами?

— Тебя долго не было,— говорит Стефания, как будто это связный и все объясняющий ответ. Мне начинает казаться, что сестры понимают друг друга каким-то абсурдным образом, что у них своего рода тайный язык.

Клара льет горячую воду в бумажный фильтр, она делает это с сосредоточенным вниманием, как будто несет ответственность за исход важного эксперимента. Лишь после этого она сообщает о причине своего долгого отсутствия: ей встретилась Анна Бредель.

— Она скверно выглядит, ее надо послать отдохнуть, я уже дала знать в благотворительное общество, там обещали.

— Ах, вот как, Анна, значит, она жива еще,— говорит Стефания.

— Но помилуй, ведь по возрасту она где-то посредине между тобой и мной, с чего бы ей не быть в живых, или ты сбрасываешь людей нашего возраста со счетов и зачисляешь их в покойники? Кстати, я была на могиле дяди Вилли, подумай, кто-то положил на могилу букет цветов, огромный букет махровых георгин — кто бы это мог быть?

— Я рада за дядю Вилли,— говорит Стефания, а потом вдруг, как при частном солнечном затмении, возникает атмосфера печали и холода, но ненадолго, и Стефания бросает: — Я попозже пойду на кладбище, ты пойдешь со мной? (Это она говорит мне.)

Я надеюсь, что по дороге узна́ю что-то новое, и поэтому готова пойти с ней. Мне бы, например, хотелось услышать что-нибудь более конкретное о ребенке Клары, о слабоумии Мины Мартин, о Петере Нильсе, но на то, что Стефания заговорит о нем, я не смею надеяться.

Однако произошло именно это, хотя Петер Нильс лишь от случая к случаю появлялся на изгибах путей, избранных кроткой, но своевольной фантазией Стефании в ее нескончаемом, сходном с лабиринтом сне наяву. Сама история касалась исключительно Доры Лилиенталь, но рассказ о ней должен был привести к встречам с Петером Нильсом — как бы между прочим, незаметно, без предварительного сговора с памятью.

— Там, наверху, жила бедная Дора Лилиенталь,— говорит Стефания и указывает на новый дом, в нижнем этаже которого разместился черно-белый мраморный филиал Немецкого банка.— Прежде,— говорит Стефания,— тут находился дом в стиле модерн, но запущенный, там снимали комнаты люди, не желавшие показывать, что они бедны. Там, наверху, я взяла свой первый урок музыки, оттуда, сверху, пришла музыка, которую я услышала, когда четырех лет от роду впервые оказалась в этом городе, туда, наверх, я поднималась в течение десяти лет, каждый субботний вечер, потом бедной

Доре пришлось переехать, в тридцать шестом году, с той поры она жила далеко за городом, у железнодорожной насыпи, в бараке, вместе с плетельщиками корзин, пока ее не забрали. За городом, у железнодорожной насыпи.

Почему она это повторяет и почему ею потом надолго овладевает молчание, я пойму лишь позднее. А сейчас мне приходится ждать, пока она обводит взглядом ряды окон.

— Пойдем,— вдруг нетерпеливо говорит она, как будто это я ее задерживаю. По пути она продолжает разговор: — И Эрих Бернхаймер брал у нее уроки, и Петер Нильс тоже, самый одаренный из нас троих был он.

Я предчувствую, что внезапно появившаяся, словно вызванная заклинанием фигура скоро исчезнет снова, и как нищий просовывает ногу в приоткрывшуюся дверь, чтоб ее не захлопнули перед его носом, так я подсовываю Стефании вопрос, ответ на который должен гласить: «Петер Нильс». Вопрос звучит так: — Кто из вас, детей, игравших на мертвой колее, стал нацистом, а кто нет?

— Георг — нет, Эрих, само собой, нет, Клара — нет, я, конечно, нет, только Макс, но тот был несчастный и его Анна тоже. Георг мертв, Эрих мертв.

Петера она не называет, и я рискую задать ей прямой вопрос: — А Петер Нильс?

Ответ приходит длинным, чрезвычайно извилистым, запутывающим, кружным путем, когда я его уже и не ожидаю; к тому времени я давно угадала его. История, рассказанная Стефанией по дороге на кладбище, пестрит отпечатками пальцев Петера Нильса в таком количестве, что уже нет нужды устанавливать причину, время и характер его смерти.

Сначала я вижу Петера Нильса семнадцатилетним, в запущенном, поблекшем, стародевичьем жилище Доры Лилиенталь — он сидит за роялем, унаследованным ею «Блютнером», который заполняет всю комнату своим беззастенчивым черным блеском и громко спорит с бедностью, невзирая на расстеленный под педалями и под вертящейся табуреткой рваный до ниток, но настоящий персидский ковер (Дора была из богатого рода, но дедовское богатство иссякло в обширной и расточительной семье Лилиенталей, не дойдя до Доры). Петер, сидя там, играет Баха, что-то из «Хорошо темперированного клавира», Стефания не забыла этого, конечно же, нет, и Дора говорит раньше времени пришедшей Стефании: «Слушай внимательно, Петер играет это правильнее, он исполняет это музыкальнее, чем ты». И тут Стефания, разразившись слезами ярости, молча бросается вон из комнаты, Петер — за ней, он забывает об уроке музыки, об учительнице, о Бахе, он догоняет Стефанию на лестничной клетке, еще миг — и он полетел бы с отлогих ступенек, он нечаянно и невольно хватается за нее, а она стоит — прямая, твердая, высокомерная, неприступная и, не обращая внимания на ее выразительную позу, говорит, что она глупышка, а потом произносит слова, навеки связавшие ее с ним: «Ты же выйдешь за меня замуж». Это не вопрос, это констатация факта, имеющая ценность документа, это официальный акт, венчание на лестничной клетке у стены с облетающей желтой масляной краской, возле никогда не мытого окна с никогда не поливаемым и таинственно выжившим комнатным растением, по всей вероятности кактусом, потому что никакое другое растение не вынесло бы такого полного забвения.

— Зато,— говорит Стефания теперь,— оно осталось для меня незабываемым.

— И ты сказала «да»? — спрашиваю я, но этого мне делать не следовало, мой вопрос спугнул Стефанию, увел ее с лестничной клетки далеко-далеко, и я вновь нахожу ее в четырнадцатом году, на пути к бабушке с вокзала, она бредет следом за Кларой, тащит

тяжелый саквояж и вдруг останавливается, околдованная музыкой, доносящейся сверху, не с третьего этажа обветшалого дома, а прямо с июльского неба.

— В это мгновение началась моя жизнь,— говорит Стефания,— только я тогда еще не знала об этом, не то чтобы я решила учиться музыке, нет, но я почувствовала: это мое дело. Собственно говоря, мне следовало бы после такого начала, после такого потрясения стать большой, очень большой пианисткой, а я стала всего лишь хорошей средней, мне потом недоставало веры в себя, мне потом все было безразлично.

«Потом», по-видимому, означало: после смерти Петера. Тихая и покорная, Стефания возвращается в лето четырнадцатого года, она ясно помнит, как впервые увидела Дору Лилиенталь: на улице, в длинном платье из фиолетового шелка, с волочившимся по уличной пыли подолом — такое оно было длинное, и оно шуршало, и волосы Доры блестели, такие они были черные, и она поздоровалась с мамой Стефании и сказала: «Никто из девчурок не хочет брать у меня уроки игры на рояле?» Клара от негодования шмыгнула носом: девчурки! А мама не знала, что сказать, она не могла открыто признаться, что у нее нет денег, в этом стыдно признаваться, и потому она сказала: «Я не знаю, есть ли у них способности к музыке, мне кажется, нет».

Единственный раз за всю жизнь Стефании захотелось сделать матери больно из-за этой ее безобидной фразы, но где уж там — Стефания никогда не была способна никому причинить боль, сказала однажды Клара впоследствии, хотя, сказала Клара, она бывает и злой.

Дора ответила смиренно: «Ну что ж, значит, нет».

У нее было мало учеников, и все были бездарные, она мучилась с ними, она нуждалась в деньгах. Только позже к ней пришли Эрих, и Стефания, и Петер Нильс, и даже близнецы из кафе — из зависти, оттого, что их кузина брала у нее уроки, а то, что могут позволить себе Мартины, должны позволить себе и Каунигеры (они не знали, что уроки Стефании оплачивает господин Нильс, что это он открыл у нее талант), но ни явная заинтересованность Доры в каждой марке, ни ее стыдливое смирение и ожесточенное терпение не смогли выжать из близнецов ничего, кроме двух-трех детских вещичек, которые они исполняли, упорно повторяя одни и те же ошибки, а через несколько для обеих сторон мучительных лет они отказались от уроков, и тетя Берта распространяла слухи, будто Дора Лилиенталь — скверная учительница и будто она отбила у ее дочерей охоту к игре на рояле. Однако эта ядовитая ложь опровергалась большими успехами Эриха, Стефании и Петера — все думали, что Петер станет пианистом.

Наконец-то тень Петера мелькает снова, но тут же ее опять оттесняет, в шуршании фиолетового шелка, фигура Доры.

Стефания — словно я усомнилась в таланте и успехе Доры — произносит слегка истерическим тоном, отчего голос ее звучит еще выше обычного: — Но Дора когда-то была очень хорошей пианисткой, и если б она не застряла в этой проклятой провинции... («Проклятая» — слово, не принадлежащее к ее лексикону, вот почему оно прозвучало так, будто ударили в литавры.)

— Я сама,— говорит Стефания,— читала отзывы о ее игре в прошлом, блестящие, в особенности она славилась как аккомпаниатор, и, если бы не вбила себе в голову, что будет аккомпанировать только одному-единственному певцу, все было бы по-иному, она не погибла бы в лагере. Бедная Дора!

— Как,— не понимаю я,— что значит— она хотела аккомпанировать только одному-единственному певцу? Ей это не удалось или это плохо кончилось?

— Ждать всегда плохо,— говорит Стефания и тотчас поправляет

сама себя? — Ждать имеет смысл в известной степени и в определенных случаях, но для Доры это было равносильно самоубийству — ведь после той поездки стало ясно, что ей больше нечего ждать, по крайней мере нечего ждать с этой стороны.

Прежде чем Стефания ускользнет от меня в немой разговор с самой собой, я должна удержать ее вопросом: — Какой поездки? Расскажи мне.

Стефания занималась с Дорой, когда Доре принесли почту, это было большим событием — ведь Дора годами не получала никакой почты. Пришло письмо от концертного агентства с предложением явиться, приглашение было послано по просьбе певца такого-то. То, что после стольких лет ожидания надежда вдруг сбылась или могла сбыться, было чересчур для Доры, уже сжившейся со своими разочарованиями, как сживаются с адом, который более или менее можно вынести. Дора уже больше не желала, чтоб ее вытаскивали или выманивали; осуществление слишком долго ожидаемого, каким бы оно ни оказалось, само по себе было ударом судьбы, это Дора понимала и потому подыскивала убедительные доводы для отказа от поездки. «Мне нечего надеть», — сказала она. Смехотворнейший и неопровержимейший из всех доводов. Стефания спорит с нею. Дора тащит ее к шкафу, выбрасывает оттуда платье за платьем и заявляет, что все они в пятнах, изъедены молью, разлезлись, так оно и есть, платья старые и никуда не годные, — зачем она вообще их все еще хранит? Стефания, преисполняющаяся в такие минуты неукротимой энергии и внезапно становящаяся похожей на Клару, говорит: «У мамы куча очень красивых платьев, и у вас с ней примерно одинаковый размер». Однако Дора, которая вовсе не хочет, чтоб у нее выбили из-под ног пригодную для отказа почву, заявляет, что в чужих платьях она играть не станет. Тогда Стефания кидается вон из комнаты; на лестнице она встречает Петера (самое время снова вывести его на сцену) и кричит ему, что урока у него не будет, Дора едет в Мюнхен играть, и Петер говорит, что это должно тотчас же попасть в газету; заметка в самом деле появилась и имела непредвиденные последствия, побудившие господина Нильса, Петера, Стефанию и Бернхаймеров годами совместно плести милосердную ложь, делая это упорно, интеллигентно и с молчаливой преданностью, ибо то обстоятельство, что игра Доры не привела ни к чему, кроме бесславного возвращения в третьем классе пассажирского поезда, тогда как уезжала она, окрыленная надеждой, во втором классе скорого поезда, — никогда не должно было выйти на свет божий.

— Значит, она все-таки поехала?

— В мамином лучшем синем шерстяном костюме, с маминым самым дорогим шелковым платьем в чемодане — парижская модель. Но подвигнуть маму на то, чтобы она одолжила свои платья, было нелегко: ведь мама узнала, что письмо получено не от давно уже ставшего мифом знаменитого певца (которого она основательно или безосновательно считала бывшим, неизменным и вечным возлюбленным Доры), а всего лишь от концертного агентства, письмо профессионально-делового содержания, посланное по ходатайству певца и никак не вязавшееся с представлением о мире, в центре которого у Ми-и-ны Мартин стояла любовь.

В тайном сообществе с Дорой Лилиенталь она быстро находила отговорки: платья у нее отличные, но они вышли из моды, и ужасно пахнут нафталином, и не годятся Доре — Дора слишком толста, и тому подобное. Она потащила Стефанию на третий этаж в чердачную каморку, где никто никогда не жил, и отворила шкаф, замаскированный под стену. (Кто соорудил для нее этот тайник? Ведь ясно, что это был тайник.) Платья действительно пахли нафталином, но еще больше — французскими духами Ми-и-ны Мартин, запах ко-

торых, угнездившийся в тяжелых материях, продержался годы. Стефания сразу видит подходящее платье: темно-серый шелк. Ми-и-на Мартин перебрасывает платье ей через руку, однако тут же говорит: «Нет, только не это».— «Но, мама, ты же получишь его обратно».— «Нет, это я не отдам».— «Мама, на карту поставлено будущее Доры». Такой аргумент неотразим, Ми-и-на выпускает платье из рук и восторженно принимается отбирать и предлагать: «Это для дороги, это для выступления, вот это — если она пойдет с певцом прогуляться... («Но, мама, ведь сам он не приедет, как же она сможет пойти с ним прогуляться?» Мама и слушать ничего не желает, это не укладывается в придуманную ею историю.) ...Вон то — на следующий день перед обедом...» — «Нет, мама, двух платьев достаточно, только давай их поскорее, надо торопиться, поезд отходит в двенадцать, уже половина одиннадцатого». Но мама уже забыла про Дору Лилиенталь, она заново обретает в шкафу свое прошлое: «Это зеленое — его первый подарок, а вон тот жакет сделан из самой дорогой материи, какая была у Бернхаймеров, а белое он привез из Италии, шифоновое, посмотри, какое оно легкое, как свадебное, я хочу, чтобы его надели на меня, когда я буду лежать в гробу». (Она и в самом деле лежала в нем в гробу и была такая красивая.) Внезапно она вырывает у Стефании уже пожертвованные платья, держит их на руках, как спеленутого ребенка, которого пытается спасти от убийц. «Нет,— говорит она и не может расстаться с платьями,— нельзя совершать святотатство». В этот момент внизу хлопает калитка и слышатся приближающиеся шаги. Как будто прозвучал сигнал, призывая ее к порядку (или к приличию), она вручает Стефании платья, дает еще и чемодан и выталкивает ее за дверь: «Подожди, пока я спущусь и кашляну, тогда выйди через подвал». Сама она берет стопку белья для глажения и быстро спускается вниз. Стефания слышит резкий голос судьи, потом условленный кашель; тогда, унося с собой, как добычу, чемодан с платьями, она тихонько выбирается из дому, красная от стыда и гнева за свою столь унизительно порабощенную мать.

Она застает Дору Лилиенталь в отчаянии, среди вороха нотных тетрадей: «Я не знаю, что играть, я не в форме, я мало упражнялась, я уже ничего не умею, я не поеду, это не имеет смысла, теперь меня постигнет кара за то, что я не стремилась вперед,— человека за все всегда постигает кара».

Но час спустя она уже сидит в поезде и даже, обменявшись взглядом со Стефанией и заручившись ее согласием, в вагоне-ресторане, остановившемся как раз перед ними,— достигнутая несмотря ни на что вершина ее вызова судьбе. Стефания видит, как Дора усаживается за накрытый стол — совсем великосветская дама, но взгляд выдает, что ей хотелось бы остаться не замеченной официантом; ведь у нее в сумочке очень мало денег, ее билет означает вряд ли оправданное расточительство, он означает две недели мятного чая с хлебом и дешевой колбасой. Но воодушевленный заговорщический взгляд Стефании подбадривает ее. Итак, она уезжает. По пути с вокзала Стефания встречает близнецов из кафе и — не в силах поступить иначе — окликает их и намеренно преподносит грубейшую ложь: «Дора Лилиенталь дает в Мюнхене концерт!» Она оставляет близнецов с разинутыми ртами, торопясь сообщить весть Кларе и Эриху в более скромном и соответствующем правде виде. Но она недооценивает любопытство и хитрость Каунигеров, а также то, что их путь идет через Марктплац и что дорогу можно сократить, пройдя по маленькой Кирхгассе, чем близнецы и пользуются: они приходят раньше Стефании. Тетя Берта, уже осведомленная, стоит на пороге кафе, подняв руку, как сигнальную мачту,— спасения нет. Но в конце концов Стефанию это устраивает; не дожидаясь расспросов, она возглашает: «Фрейлейн Лилиенталь дает в Мюнхене

концерт, она только что уехала скорым поездом». (Однозначный символ благосостояния во времена, когда даже у Бруно Вальтера[1] не было собственного самолета.) Как ни глупа тетя Берта, она все же достаточно хитра и недоверчиво спрашивает: «Как же это вдруг так сразу, после того как столько времени ею никто не интересовался?» Стефания говорит, что пришло письмо из концертного агентства. «И что там написано?» («Отвислые щеки тети Берты дрожали, как у морской свинки»,— вспоминает Стефания.) «Об этом не трудно догадаться»,— отвечает Стефания. Но тетя Берта хочет знать, читала ли Стефания письмо, и Стефания говорит: «Нет», этого ей не следовало говорить, потому что это тотчас дает тете Берте повод к большим сомнениям: «Если ты сама не читала письма...» Однако Стефания легко отметает всякие сомнения, приведя довод настолько убедительный, что необходимость в каком бы то ни было дальнейшем дознании отпадает: «Но ведь я видела адрес отправителя: концертное агентство Бауэра». Тетя Берта, на мгновение удовлетворившись, испытывая благодарность за срочную передачу новости и нетерпеливо ожидая продолжения, чувствует себя обязанной совершить необычный поступок: пригласить Стефанию на порцию шоколадного торта. Стефания отказывается. Тетя Берта, обескураженная и разобиженная отклонением столь великодушного предложения, тотчас наносит удар в спину: «Была ведь когда-то история с каким-то певцом, которого любила Дора и который потом бесследно исчез,— может, это он вдруг о ней вспомнил, может, в нем совесть заговорила, он тоже был еврей, уж что-нибудь за этим да кроется, без протекции тут не обошлось».

Восстановленная таким образом тетей Бертой цепь событий не лишена логики, но насколько это соответствует действительности, так и останется невыясненным. Однако Стефания ничего больше не желает слушать и, не обращая внимания на отравленные стрелы, которые после короткого перемирия посылает ей вдогонку злобствующая троица, оставляет Каунигеров на пороге их опустевшего к обеденному часу кафе. Стефания хочет наконец сообщить новость Клаpe. Правда, она, зная Клару, не ожидает, что та по такому случаю или из-за такой случайности изменит скорбно-мрачному, исключающему всякую фантазию мировосприятию, но она все же рассчитывает хотя бы на небольшое впечатление, когда с этой новостью входит в зал бернхаймеровской фабрики, где Клара работает закройщицей,— на несколько большее впечатление, чем то не столь уж недоброжелательное, но слишком краткое: «Вот как!», которое мгновенно разрывает в мелкие клочья переполнявшее Стефанию чувство радости. «Эх ты,— говорит она,— тебя не интересует ничего, кроме твоей работы, но почему же ты не работаешь, ты только торчишь тут».

«Я не работаю? Ты-то что знаешь о настоящей работе?»

Это удар, но Стефанию, которая в свою очередь не очень-то высоко ценит «настоящую работу», такую, например, какой занимается Клара, это не задевает, и на нее не производят особого впечатления слова Клары: «Я торчу тут, как ты изволила выразиться, потому что с некоторого времени состою здесь в должности мастера, что ты могла бы заметить дома за обеденным столом, если бы ты вообще что-нибудь замечала, так, а теперь иди, ты мешаешь там, где работают». Клара умеет быть невыносимой, «но,— говорит мне Стефания,— и я бывала для Клары невыносимой сплошь да рядом, а может, и всегда».

Стефания после разговора с Кларой покидает фабрику в куда менее оптимистическом настроении. Как хорошо, что она встречает Петера, как хорошо для продолжения той истории, которую она рассказывает мне. Петер — в отличие от Клары — не говорит только

[1] Немецкий дирижер с мировым именем.

лишь «Вот как!», он уже знает новость, откуда? — от Каунигеров, у него в свою очередь есть новость, он разговаривал с отцом (у него стóящий отец), и тот, со свойственным ему пониманием жизни, сказал: «Если с концертом ничего не получится, нам придется ей помочь, нового разочарования она не вынесет, мы тогда устроим домашний концерт».

Снова бесконечно обрадовавшись, Стефания делает нечто неожиданное: она бросается Петеру на шею и целует его, не глядя, куда попало, между носом и ухом; Петер так же ошарашен, как и она, они смотрят друг на друга и краснеют, а потом разбегаются в разные стороны, при этом Стефания, в смятении от первого поцелуя, едва не сбивает с ног Эриха, которому она сообщает новость о поездке Доры в укороченном и исковерканном виде: «У тебя сегодня не будет урока. Дора сейчас в вагоне-ресторане, она едет в Мюнхен на прослушивание и будет давать концерты».

— Боже мой,— говорит Стефания,— какие это были события и как скоро наступила развязка: ровно двенадцать лет спустя гестапо отправило Дору в вагоне для скота в Терезиенштадт, и, представь себе, когда я пять-шесть лет назад рассказала об этом моим ученикам, они спросили меня — что такое Терезиенштадт, что такое концентрационный лагерь, почему, собственно, Дора там оказалась, а одна девочка даже добавила: почему, спрашивается, Дора не уехала, как другие деятели искусства, например театральные, в Швейцарию, и когда я сказала, что швейцарцы тоже не хотели принимать евреев, она обвинила меня в антишвейцарской пропаганде. Для того чтобы через тридцать лет говорили такие вещи, боже мой, для этого люди умирали.

— Но, Стефания,— говорю я,— подобные вопросы доказывают только одно: мы плохо разъясняли молодежи, что тогда делалось.

— Ах, что там,— говорит Стефания,— разве кто-нибудь хочет слышать об этом; Бернхаймеры были в Израиле и в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке и в Техасе, и там тоже никто не хочет слышать об этом. Я говорю тебе: все эти люди умерли зря.

— Стефания, это неправда, они помогли тому, что мы сейчас живем на воле и в мире.

Стефания смотрит на меня с гневом и произносит оскорбительно-резко: — Ты не потеряла Петера Нильса.

— Так,— говорю я, теперь в свою очередь ожесточаясь,— а мой муж, он, значит, не в счет — разве нацисты не убили его?

— А что это меняет — все равно они умерли зря!

Мы молчим, это враждебное молчание, к тому же и бессмысленное, ибо ни к чему не приводит, а вдобавок я не разделяю пессимизма Стефании. Я иду на уступку: — Рассказывай дальше — расскажи, как Дора вернулась из Мюнхена.

— В вагоне третьего класса, на другой день. Я ходила к каждому поезду, я стояла там с букетом роз, она вышла из вагона последней и сказала: «Ах ты, милое дитя!» Я дала ей розы, но она не взяла их, она сказала, что они подходят больше мне, а не ей. Это было просто непонятно. По дороге домой она весело рассказывала о великолепном «Стейнвее», на котором играла Бетховена и Шопена, и о том, что поначалу она была утомлена, «а вот после тебе бы послушать меня, Стефания!» Впрочем, еще ничего не решено, концерты надо еще устраивать, это потребует времени, «а до тех пор я буду по-прежнему давать уроки, как ты полагаешь?» Позже, наверху, в своей комнате, она сказала: «Эта комната, этот город, эти люди до самой моей смерти останутся со мной». Она говорила с таким отчаянием, что я боялась оставить ее одну, но она велела мне уходить. Она сорвала с себя мамин костюм и сунула его в чемодан вместе с серым шелковым платьем; стояла растрепанная, в одном нижнем белье у окна и, не глядя на меня, говорила: «Все кончено, я больше

ничего не могу, я слишком стара, они мне это сказали. Сейчас слишком много молодых конкурентов». Она говорила это так, точно имела в виду меня и ненавидела меня, но на самом деле она вовсе не испытывала ненависти — даже для этого она была слишком подавлена, она только сказала: «Знаешь, что самое страшное? Не иметь судьбы. А я хотела бы, чтоб у меня была судьба, пусть бы случилась какая-нибудь катастрофа, что-нибудь ужасное, я хочу, чтобы этот город погиб вместе со мной, этот город, я на его совести, пусть он сгорит!» Она говорила это, стоя у окна, я бы не удивилась, если бы пламя охватило город тогда, а не пятнадцать лет спустя, но тогда ничего не случилось, и конец сцены был жалкий; Дора спросила, не могу ли я заплатить ей за два-три урока вперед, у нее не осталось ни пфеннига, или я после ее позора вообще не буду брать у нее уроки, или я (тут она и в самом деле стала от отчаяния злобной) оповещу и остальных о ее провале, чтобы они больше не брали уроков у нее,— она ведь оказалась несостоятельной; я могу так поступить, у меня есть на это право, это даже мой долг, и к тому же у нее больше нет охоты собственными руками выращивать юных соперников, юных противников, губителей ее карьеры, нет, она больше не будет давать уроки, она вообще не знает, будет ли жить дальше! Много позже она призналась мне, что в ту ночь открыла кран газовой горелки, но потом закрыла его; слишком она любила жизнь — это ее слова. Для того, чтобы такой человек, как Дора, лишил себя жизни, которую так любил, для этого потребовались другие причины, более общие: она хотела покончить с собой, когда Гитлер издал законы о евреях, хотя под эти законы, как поначалу казалось, она не подпадала, потому что ее бабушка была арийкой, не еврейкой, но тогда собственная судьба уже не имела для Доры значения, и она решила утопиться, она не желала жить дальше в этой стране, но и покинуть ее тоже не желала; Бернхаймеры добились для нее разрешения эмигрировать, но в последнюю минуту она отказалась, точнее говоря, попыталась утопиться в ручье, положив тяжелый камень в мешок, но ее вытащили, к сожалению, а лучше бы дали умереть, когда она этого хотела, пусть бы им всем сказали, чтоб они покончили с собой по своей воле и таким способом, который подходил бы каждому, тогда у них сохранилось бы человеческое достоинство, я предпочла бы, чтобы все они сами покончили с собой, тогда я по крайней мере знала бы, где они, и мне не приходилось бы снова и снова представлять себе, как их замучили до смерти или как их расстреляли, словно шелудивых бешеных псов.

— Стефания, это давно миновало.

— Миновало? Миновало?

Она смотрит на меня сумрачно и строго.

— А как складывались дела у Доры после ее поездки?

— Как хотел Петер и как устроил его отец: они вместе с Бернхаймерами организовали домашний концерт, многих людей пригласили, и многие пришли; ведь в нашем городе не часто происходили какие-либо события, и Дора имела успех, а потом господин Нильс время от времени публиковал в «Тагеблат» сообщения, что Дора Лилиенталь выступает с концертами в том или другом городе, города эти были далеко, нередко даже за границей, никто ничего проверить не мог, и Петер писал отзывы, и у Доры было все больше и больше учеников, никогда ей не жилось так хорошо, как после ее неудачи в Мюнхене. Тогда же решилась и моя судьба: для меня с Петером и Эрихом тоже устроили домашний концерт, и после этого господин Нильс сказал, что оплатит мое музыкальное образование — ведь Петер собирался быть не музыкантом, а политиком, а со мною музыка останется в семье, так я узнала, что он видит во мне будущую невестку, но в тот же вечер Эрих сказал, что хотел бы на мне жениться; это было тяжело, некоторое время они с Петером

были врагами из-за меня, а потом все улеглось. Понимаешь, я — невеста мертвецов, погляди на меня — это видно, может быть, это ощущается даже по запаху; ведь ни один живой человек не пожелал меня с той поры. (Тем самым она не говорит правды, но для нее правда в том, что она говорит.)

— Я думаю, это ты не пожелала никого другого.

Помолчав немного, она продолжает: — Страшно то, что Клара любила Эриха безнадежной любовью, она никогда об этом не говорила и никогда ему в этом не признавалась, но мне это было известно, а я ничем не могла ей помочь.

— Тебе это было известно, Стефания?

— Клара назвала своего ребенка Эрихом.

— Я знаю.

— Ты? Откуда?

— Откуда же, как не от одной из каунигеровских близняшек, от уцелевшей?

— Неудачный расчет тети Берты: она была бы рада, если бы одна из близняшек стала фрау Бернхаймер, и при этом без труда похоронила бы свой врожденный антисемитизм, водрузив бернхаймеровские деньги в качестве надгробной плиты и начертав на ней: «Отныне, согласно моей воле, Бернхаймеры объявляются неевреями». Однако Эрих даже не смотрел в сторону близняшек, хотя они девочками были довольно красивы, только какой-то глупой и пустопорожней красотой. Ты видишь, у Берти достаточно оснований для ненависти к нам, хотя и мы, Клара и я, тоже не получили тех, кого хотели, все мы остались незамужними, а дети умерли, таким образом, наша семья вымрет, ну и пусть — ведь есть и другие места.

Я не поняла этой фразы, я спросила об этом Стефанию, но она молчала, как будто ничего не слышала,— она упорно молчала до самого кладбища.

На могильном холме дяди Каунигера в самом деле лежал скандально большой букет рыжих махровых георгин, из-за него даже отодвинули венки с бумажными лентами («Дорогому отцу от твоей глубоко скорбящей, любящей тебя дочери Берты», «Нашему незабвенному товарищу по войне 1914—1918 годов», «Дяде Вилли от Клары и Стефании»). Букет, пламенно-рыжий, был без ленты, безымянный, поэтому он стал поводом, как выяснилось позже, для дикого разгула слухов: будто у дяди Вилли была любовница, никто не знал ее имени, иные, как Берти, говорили о женщине из дома для престарелых, которая намеревалась выйти за него замуж и сделаться его наследницей, а ее дочерей, хотя сама она умерла, часто видели вместе с дядей Вилли — словом, множество шатких предположений, провинциальных домыслов. Стефания не имела представления, от кого букет, так это и осталось невыясненным.

— Стефания, где похоронена моя тетя?

— Не здесь, ее перевезли в деревню.

— А ваша мать?

— Тоже в деревне, там, где остальные Мартины.

— А судья?

— В фамильном склепе.— Стефания неопределенно указывает вдаль, ее рука описывает кривую, склоняющуюся к кривизне земной поверхности, где-то там внизу судья погребен и забыт.

— А доктор Флекман?

— Пойдем.

На могиле камень без имени, без креста, без всякой надписи — каменная глыба, такая, какую вырубают из скалы.

— Мама позаботилась о том, чтобы ему тайком поставили памятник, когда его могила еще находилась за кладбищенской оградой, но этот памятник разбили — должно быть, новоиспеченные антинацисты из самых оголтелых. Не забудь: Флекман ведь был старым

членом национал-социалистской партии, крейслейтером, бургомистром при нацистах, и он не согласился сдать город американцам без боя, он слыл преступником. Мама некоторое время не ухаживала за могилой, пока не забыли, кто в ней похоронен, а потом положила этот камень, теперь его никто не трогает; счастье еще, что неофашисты не поставили ему памятника и не объявили национальным героем.

А цветы? Не букет и не рассада, а куча маленьких цветений, рассыпанные на могиле поздние розы, еще свежие.

— Это дело рук Клары.

— Клары? Она делает это для Флекмана?

— Для мамы. Мама оставила на это деньги. Кларе совсем не легко каждое утро вышагивать сюда, но она вышагивает. А теперь я поведу тебя к другой могиле.

В старую кладбищенскую стену вставлена большая, из черного гранита, плита, на ней два имени, вырезанные глубоко и выкрашенные черным, так что они почти не отличаются от черноты могильной плиты и прячутся от любопытных глаз, эта весть — только для посвященных:

РАЙНХАРТ НИЛЬС
1883—1956
ПЕТЕР НИЛЬС
1908

— Дата смерти Петера не указана?

— Я не знаю ее,— говорит Стефания,— это может быть год тысяча девятьсот тридцать восьмой или какой-нибудь другой, как же я укажу дату, если она мне неизвестна?

Чутье подсказывает мне, что причина не в этом, причина скорее в другом: указать год смерти означало бы для Стефании подтвердить смерть Петера. А она не верит в эту смерть, хотя, разумеется, давно знает, что это случилось, вероятнее всего, еще тогда, во время побега Петера через горы, с паспортом, нелегально выданным ему Флекманом. Но Стефания хочет сейчас говорить не о Петере, ведь он не лежит здесь, это место принадлежит его отцу, господину Нильсу,— так она говорит, и так говорят все: господин Нильс. Но как Стефании говорить о господине Нильсе, не упоминая при этом Петера? Она некоторое время пытается не говорить ни о том, ни о другом, усаживается на гранитный цоколь: — Это хорошее место, ты тоже сядь — правда, это хорошее место, однажды на деревенском кладбище я увидела могилу, над которой высился развесистый бук, а рядом стояла кухонная табуретка; на ней сидела старая женщина и перебирала четки, она сидела там с утра до вечера, если погода не была слишком плохая, часто она сидела под зонтом, люди говорили, что она сумасшедшая, но я с ней разговаривала, она вовсе не сумасшедшая; в той могиле — все, кого она любила, и ей хотелось быть с ними, разве это сумасшествие? Клара говорит, пусть мертвые остаются мертвыми, надо отделять то, что живо, от того, что мертво, но что это значит — быть живым и что значит — быть мертвым, кто знает, в чем разница? Клара воображает, что она знает разницу, она просто-напросто закрывает дверь и заявляет: те, что там, за дверью, мертвы. Я думаю по-другому, совсем по-другому, и мы ведь слышим в церкви, и нам положено верить, что мы будем жить и после смерти. И я не только верю в это, я знаю это, а Клара говорит: те, которые утверждают, что знают это,— сумасшедшие, и в глубине души она в самом деле считает меня сумасшедшей, но не кажется ли тебе, что с таким же успехом я могла бы считать сумасшедшей ее, потому что она думает, будто мертвые просто-напросто превращаются в ничто, а ведь ей известно, что ничто в мире не исчезает, но когда я хочу серьезно поговорить с нею об этом, она отвечает: «В этом я ни-

чего не смыслю». В действительности же она боится размышлять об этом и боится жить, такое трудно понять, она любит жизнь, но только эту, известную ей, а то, что ей неизвестно, для нее не существует. Теперь она оставляет меня в покое, она считает, что мое сумасшествие безобидно и поэтично и что оно лучше, чем иные виды безумия. Но она ничего в этом не смыслит. Куда же деваться тем, кто умирает? Куда делось такое совершенное сознание, какое было у Петера? От этого будто бы ничего не осталось? А почему бы этому не остаться как чему-то действительному, как чему-то, что можно видеть и слышать, осязать и обонять, если чувства для этого достаточно обострены?

Она не ждет от меня ответа, она больше ни от кого не ждет ответа, потому что она больше не спрашивает — с той поры, как знает.

Я могу понять ее, но мне хотелось бы, чтобы она вернулась к реально существовавшей жизни этого города, например, к фактам биографии господина Нильса. Я спрашиваю: — Когда ты в последний раз видела господина Нильса?

Ответ обескураживает меня меньше, чем мог бы обескуражить, если бы я не так хорошо понимала Стефанию. Этот ответ гласит:— Ты спрашиваешь, когда я его видела в последний раз перед смертью? За два дня до того, как он умер. Кроме меня, у него никого уже не было. Он, между прочим, сделал меня своей единственной наследницей, я, собственно говоря, очень богата, мне кажется.

— Что значит: «собственно говоря» и «мне кажется»? Одно из двух: либо ты богата, либо ты не богата, об этом ведь человек всегда знает.

— Вот как? — рассеянно говорит Стефания, как будто мое утверждение выше ее понимания и она не берется оспаривать его.

— Ты хочешь сказать, что у тебя много денег, но ты много тратишь?

Она как будто задумывается, однако ее ответ не может быть плодом размышлений, это унесенный ветром вопрос к отсутствующим: — Я много трачу?

Она продолжает думать.— Я много трачу? — повторяет она.— Ах, денег столько, что я не могу их истратить, их так много, что не хочется к ним притрагиваться, они лежат в банке, и — это получается само собой — их становится все больше и больше, как будто тесто всходит на дрожжах: каждый раз, когда из банка приходит письмо, сумма увеличивается, не знаю, какая она сейчас.

— И ты, Стефания, просто оставляешь деньги лежать, когда в мире столько нужды, от которой ты могла бы помочь избавиться?

Я говорю это с невольной резкостью, но ответ Стефании, безрассудный и потрясающий, лишает мое обвинение силы. Она просто говорит: — Хочешь, я тебе их отдам? — Это ответ безумной, над такими, думаю я, следует устанавливать опеку: ведь каждый авантюрист может обманом завладеть ее деньгами. Меня так и подмывает сказать ей: «Сделай меня управляющей твоим состоянием». Но то, что она говорит, разумно почти до разочарования: — Если ты представляешь себе лучшую возможность распорядиться деньгами, пожалуйста, скажи мне, а я думаю, пусть мое состояние растет, пока я не умру, тогда Клара получит свою долю, если она переживет меня, остальное или все получит фонд помощи нуждающимся престарелым деятелям искусства, музыкантам — ты не считаешь это правильным? Я сказала об этом господину Нильсу, когда мы составляли завещание, и он отнесся к этому одобрительно, и Петер, по его мнению, тоже одобрил бы это.

Уж эта Стефания, всегда она представляется нам этаким воздушным, наполовину реальным созданием, таким, на которое нельзя положиться и с которым не следует спорить, и вдруг проявляет

упорно стоящую на своем рассудительность, которая опрокидывает нашу вверх дном и оказывается куда лучше.

Позже я узнала, что Стефания имела точное представление о своих банковских делах, что она очень удачно покупала прибыльные акции, но осуществляла она все это, только когда ее вдруг осеняло под влиянием звезд; а потом она уже снова не имела даже приблизительного понятия о величине своего состояния. Ей стоило невероятного напряжения выбраться из серебристых туманов, в которых она видела своих мертвых, но если уж она выбиралась, то без труда поступала правильно и можно было предположить, что она прекрасно жила бы в нормальных условиях, если бы нашелся мужчина, который сумел бы в этих пределах ее удержать. Я спрашиваю себя, мог ли бы Петер Нильс быть таким. После всего, что мне о нем рассказывали, я сомневаюсь. Мне кажется, он тоже из породы тех, кто всегда ставит на ту карту, которая бывает козырной только в стране Утопии, на карту с немыслимым сочетанием фигур на фоне восходящего солнца с крестом и терновым венцом. Имея такую карту в руке, можно с отчаянным великолепием умереть, но жить с нею нельзя, весь мир будет против. Кем стал бы Петер Нильс сегодня? Что сталось бы с героем Сопротивления? Был ли бы он издателем социал-демократической газеты, заголовки в которой зависят от того, нахмурены или не нахмурены брови партийных, индустриальных, церковных бонз, которых не следует раздражать? Петер Нильс с обрубленными крыльями, с жирным брюшком и инфарктом миокарда, богатый человек, удобно устроившийся в нашем мире компромиссов, делающий не облагаемые налогами пожертвования, чтобы заглушить угрызения остатков совести, раздающий литературные премии провинциальным писателям и с высоты своего величия ругающий собственных сыновей за то, что они как две капли воды похожи на него, такого, каким он был и каким уже не может быть? Или же он стал бы одним из профессиональных крикливых оппозиционеров, надоедливых разбойников с большой дороги, нападающих на каждого, кто руководствуется обыкновенными, к чему-то обязывающими реальностями, а не мистическими предсказаниями великих бунтарей? Или же он был бы жалким, вечно сетующим старым обывателем, который проводит последние годы жизни, рассылая полные упреков письма профессиональным политикам с абсурдными предложениями каких-то реформ? Или же он стал бы министром-социалистом, который, руководствуясь неподкупной и незыблемой партийной или правительственной моралью, стоит как камень на пути убывающего прогресса и сквозь платок, которым ему завязали рот, глухо напоминает о великих и чистых идеях, «тогда» тесно сплачивавших их, левых, перед лицом фашистского зла? Блажен, кто умирает молодым.

— Стефания,— говорю я, не считаясь ни с чем оттого, что считаюсь со многим,— не думается ли тебе иногда: хорошо, что Петер тогда умер, молодой, и безупречный, и отважный.

Я жду, что она с ожесточением набросится на меня, но она опять поступает неожиданно. Она говорит: — Конечно, я так думаю, беда только в том, что он не взял меня с собой.

— Ты полагаешь, он бы остался жив, если бы перешел границу вместе с тобой?

— Он остался жив и без меня, но он бросил меня здесь.

Я начинаю понимать ее, и все же скорее всего она, по-видимому, не верит в смерть Петера; однако ответ на вопрос о том, жив Петер или нет, зависит для Стефании, по-видимому, только от нее самой: до тех пор, пока у нее хватает сил отказываться скрепить подписью и печатью свидетельство о его смерти,— до тех пор он жив.

Я говорю: — Хорошо, что по крайней мере ты осталась в живых.

Это вызов, но она не принимает его, она только спрашивает устало: — Хорошо для кого?

— Для господина Нильса, к примеру, для него уж во всяком случае.

Она указывает на вырезанную черным по черному дату: 1956. Вот точка отсчета, начиная с которой она почувствовала себя лишней и исхлопотала разрешение переходить от живых к мертвым так же естественно, как звери переходят с одной стороны леса на другую.

— Но до этого времени ты была совершенно необходима: ведь у господина Нильса, как ты говорила, не было никого, кроме тебя.

Стефания вновь пользуется своим правом не давать ответа на заданный вопрос. Она встает и указывает на пустое место на могильной плите, там, где полагалось бы вырезать дату смерти Петера.

— Теперь,— говорит она,— смотри внимательно, запомни это, если ты переживешь Клару, что вполне возможно, тебе придется позаботиться о том, чтобы все было так, как я сейчас скажу: здесь, в промежутке между именами Петера и моим, должна стоять дата моей смерти, она будет относиться к нам обоим, понимаешь, обещай мне, что ты об этом позаботишься.

Она протягивает мне руку и требует торжественного обещания, сцена получается несколько чересчур возвышенная, в ней есть оттенок истерии, я такого не люблю, но уклониться нельзя, мне приходится встать и протянуть Стефании руку, таким образом я стоя даю ей обещание — и рукопожатием и словами; потом она садится снова и показывает знаком, чтобы я тоже села, у меня такое ощущение, будто я побывала в суде и приняла присягу.

Стефания исчерпала свой запас потребности в разговоре, она начинает вырывать сорняки из щебня, но их почти нет; за могилой тщательно ухаживают, это делает Клара, так же, как она заботится обо всем остальном.

Только теперь мне приходит в голову, что Стефания хочет лежать здесь, а не в фамильной усыпальнице Мартинов.

— Конечно, здесь,— говорит она удивленно,— где же еще!

— Но эта выдумка с датой — из нее ведь ничего не выйдет, Стефания.

— Почему?

Моя ссылка на государственные и кладбищенские правила, согласно которым даты на могильных плитах должны быть указаны точно, ей непонятна.— А что же в этом неточного?

Она меня совсем запутала.— Но ведь дата твоей смерти — это не дата смерти Петера!

— Если кто-нибудь,— говорит она властно,— не считает это правильным, пусть осмелится притронуться к тому, что здесь будет стоять. Что стоит, то стоит, и ты об этом позаботишься.

Теперь в ее глазах появился блеск безумия, и я опять готова думать, что в этом мозгу есть трещина, тончайшая, как царапина на пластинке, в остальном не поврежденной,— царапина, которая становится заметной, когда игольчатый кристалл касается определенной бороздки. Мне не хотелось бы еще раз прикоснуться к месту повреждения, я ищу другую тему, по возможности отвлеченную, я спрашиваю о ребенке Берти, которого звали Зигфридом.

Но мысли Стефании идут по прежнему следу.

— Здесь,— говорит она, поднимаясь на цоколь и указательным пальцем рисуя невидимые знаки на могильной плите,— здесь, под именем господина Нильса, должно было бы стоять еще кое-что, и я спрашиваю себя, не распорядиться ли мне, чтобы это тоже вырезали на граните, вот что, по меньшей мере, должно было бы здесь стоять: с тысяча девятьсот сорокового по тысяча девятьсот сорок пятый год — в концентрационном лагере Бухенвальд, с тысяча девятьсот сорок пятого по тысяча девятьсот пятьдесят шестой год — бургомистр, восстанавливавший город, основавший в помощь людям множество уч-

реждений. Все, что ты видишь, когда идешь по Банхофштрассе и по городскому центру, все это его рук дело, школы и детские сады, больница — тоже. Подумай, ведь это был тот самый город, который с ледяным хладнокровием выдал его гестаповцам и который допустил, чтобы в газете, им основанной, его называли подстрекателем народа, левым преступником, изменником родины. А после войны черви повылезали из своих дыр, стали выклянчивать у него отбеливающие справки.

— Выклянчивать что?

— Отбеливающие справки. Раз ты не знаешь, что это такое, значит, ты уже многого не знаешь. Как говорится, и на старуху бывает проруха... Отбеливающие справки — это свидетельства, которые после войны антифашисты выдавали бывшим фашистам, там, к примеру, писалось: «Я подтверждаю, что такой-то вступил в национал-социалистскую партию только по принуждению, но втайне оставался антифашистом». Ты понимаешь? Если поверить им, так всех их насильно заставили надеть коричневую или черную форму. Но добровольно или насильно, а коричневое и черное окрашивало и характер — тут уж не помогали никакие моющие средства. Впрочем, господин Нильс, этот неисправимый друг человечества, частенько говорил: все они — одержимые дьяволом бедняги, надо поскорее изгнать из них беса, нужно их перевоспитать, то было его великое слово — «перевоспитать». Я сказала ему: ты прощаешь этих людей, ты снова доверяешь им, убийцам Доры Лилиенталь и Эриха Бернхаймера, а разве не они прогнали твоего сына, как шелудивого пса, а с тобой как они обращались в лагере, разве не они избивали тебя железными прутьями, так что ты с тех пор не можешь ни спать, ни бодрствовать без болеутоляющих лекарств, и все-таки ты прощаешь этим подонкам, ты помогаешь им? Тут мы поссорились в первый и в последний раз, он сказал, что я мстительная, он придумал для меня страшное прозвище, он назвал меня некрофилкой.

Я невольно расхохоталась, но Стефании это не понравилось, она мгновенно наказала меня за это: ее головная боль дает себя знать, ей надо поскорее домой, в затемненную комнату, там она пролежит час или четыре-пять часов со смоченным в разведенном уксусе платком на лбу и на глазах, неподвижно, «как на смертном одре»,— скажет Клара, и она знает, что говорит; в эти часы Стефания лежит белая, с заострившимися чертами лица, руки у нее ледяные, она дышит так редко и так тихо, что можно подумать, будто она вообще перестала дышать, это пугает.

— Клара,— говорю я,— может быть, она все же немного душевнобольная?

— Немного? Но оставим ее в покое — это просто-напросто ее способ справляться с судьбой, он у каждого свой собственный.

Клара готовит обед, она режет зеленые стручки фасоли, она не разрешает мне помочь ей, она делает свое дело быстро и ловко, я смотрю, как она вынимает стручки из корзинки, кладет их на левую ладонь и, почти не глядя, режет острым ножичком на небольшие продолговатые кусочки.

— Клара, когда стало известно, что Петер Нильс погиб?

— Ну вот, опять начинается. Пусть мертвые остаются мертвыми.

— Клара!

— Ну что?

— Ты можешь перестать о них думать?

Она молча продолжает резать стручки.

— Скажи мне, как это случилось с Петером?

— Что ты хочешь об этом знать?

— Хочу знать, как он умер.

— Ты же знаешь: нам ничего об этом не известно. Он ушел и не вернулся.

— Но почему, когда, как?

— Когда? Первый раз в тридцать шестом, тогда он уехал в Испанию, где шла гражданская война, все молодые левые считали, что они должны отправиться туда и сражаться там, это ни к чему не привело, но, конечно, Петер был в Испании; вернулся он оттуда хромой — его ранили, но тогда еще все это удалось скрыть, и некоторое время он жил здесь, и помогал своему отцу, и писал под чужим именем статьи для газеты, такие статьи — только самые хитроумные могли догадаться, что они против гитлеровского режима. А потом на его след все же напали, и он бежал, хотя и не за границу, тогда он еще мог бы это сделать, но не захотел, он ушел в подполье, в Сопротивление, он бывал то тут, то там, а иногда появлялся и здесь, это были для Стефании страшные времена, они встречались у Доры Лилиенталь, в бараке возле железнодорожной насыпи, то было место, где его вряд ли стали бы искать, а однажды, в ноябре тридцать восьмого, они встретились в самый последний раз, за Петером шли по пятам, и ему не оставалось ничего другого, как попытаться тайком перейти границу.

— С фальшивым паспортом, выданным доктором Флекманом?

— Да.

— Но скажи, пожалуйста, отчего нацистский крейслейтер дал ему фальшивый паспорт, это же противоречит разуму.

— А он делал такие вещи. Впрочем, он сделал это не для Петера, он сделал это для мамы, она пошла к нему, надо полагать, она сказала: «У жениха Стефании, которого она любит, нет паспорта, ты понимаешь, сделай это для меня, я прошу тебя», вероятно, она сказала: «Я умоляю тебя во имя нашей любви», и тогда он не смог ей отказать, короче говоря, мама пришла с фальшивым паспортом к Доре, где прятался Петер и где в эту ночь была Стефания, а позже Стефания проводила Петера до автовокзала, там он сел в грузовик, который шел к границе.

— А потом?

— Не было никакого «потом».

— Берти утверждает, будто Флекман дал ему паспорт, желая оказать услугу маме, но одновременно постарался, чтобы изменник родины не перешел границы; ведь иначе получилось бы, что он сам способствовал измене родине.

— Ерунда. Зачем ты говоришь о таких вещах с этой злобной придурковатой коровой из кафе? Она ненавидела маму, и ненавидела Стефанию, и ненавидела Флекмана, его она ненавидела за то, что он на ней не женился, чего бы ей очень хотелось. Так вот, в том, что она наговорила, нет ни капли правды, ни капли.

— Откуда ты это знаешь, Клара?

— Думаешь, я утверждала бы это, если б не была уверена? Я знала Флекмана — до такой низости он никогда не опустился бы.

— Я замечаю, ты защищаешь этого Флекмана; вчера ты говорила, что всегда терпеть его не могла, даже ребенком, а сегодня ты так хорошо о нем отзываешься.

— Так ведь это разные вещи. Нацист или не нацист, но что было, то было; Флекман был по-своему великолепен, думаешь, иначе наша мама так любила бы его, а она любила его, потому что он был таким же грандиозным сумасбродом, как она сама. Приглядись к его смерти: в нужный момент нужным образом умереть — это стиль. Конечно, то была комедия безумства, как назвал это господин Нильс, но именно господин Нильс сказал, что Флекман был трагической фигурой, а Стефании господин Нильс говорил: «Ему я выдал бы отбеливающую справку вопреки всем правилам и вопреки всей видимости, он был нацистом по недоразумению, его заблуждение определило его судьбу. Национал-социалистская партия понадобилась ему потому, что толь-

ко в ее рядах он мог изжить свои фантастические безумные идеи о сверхчеловеке». Однажды господин Нильс сказал еще: «Флекмана я перевоспитал бы», «перевоспитание» — то было словечко, пущенное в ход американцами, «reeducation» — так они это называли, весь немецкий народ подлежал перевоспитанию, так вот, господин Нильс сказал, что, с другой стороны, было бы жаль, если бы удалось ввести этого Флекмана в рамки буржуазных приличий, превратив его в добропорядочную посредственность; ему требовалась его собственная, ни в какие рамки не вмещавшаяся, безумная судьба. Но оставим его, он умер, и это во всяком случае хорошо для всех.

— Клара, а что было с кошкой?

— Ах, ты еще и с этой историей пристаешь ко мне.

— Значит, это история?

— Что тебе об этом рассказывала Стефания?

— Что после войны господин Нильс и она убили старую кошку, которая однажды приблудилась.

— Да, приблудилась в тот момент, когда Стефания и Петер расстались, когда Петер ушел навсегда.

— Я понимаю.

— Ничего ты не понимаешь. Мама ухаживала за этой кошкой, ведь Стефания уехала — сначала учиться, потом давать концерты, мама, таким образом, ухаживала за этой кошкой, пока она не состарилась до того, что у нее вылезла шерсть, это была самая старая кошка из всех, мною виденных.

— И что же? Чего я не понимаю?

Кларе не удалось ответить мне потому, что мы вдруг слышим, как кто-то нажимает на дверную ручку, хотя мы не слышали, чтобы садовая калитка захлопнулась или чтобы щебень зашуршал под ногами. Это в духе Берти — так подкрадываться, это ее давнишняя привычка, от которой она никак не может отделаться, хотя ей заранее известно, что Клара будет ее ругать, и она этого боится.— Ты — старая проныра,— говорит Клара, вероятно, в тысячный раз,— неужели ты не можешь ходить как другие люди? (Ко мне:— Погляди на ее туфли, у них стоптаны носки, а у добрых людей стоптаны каблуки.) Но достойны внимания не туфли Берти, а сама Берти, этого Клара не заметила, у Берти очень красное лицо, она выглядит совсем растерянной, пудра (она со времен девичества всегда употребляет один и тот же сорт розовой пудры) смыта потоками пота, желтая соломенная шляпка криво сидит на голове, в левой руке у нее конверт, в правой — вынутое оттуда письмо, листок колышется, как флаг на ветру, но никакого ветра нет, просто у Берти трясутся руки. Вот так, с распечатанным письмом, она бежала из дома для престарелых сюда; какое же она принесла роковое известие? Клара берет из ее руки письмо: это счет от похоронного бюро, обычный счет на обычно высокую сумму.

— Ну и что же?

— Я должна это оплатить? Так много? А чем, скажите, пожалуйста? Где мне взять деньги, папе следовало бы приготовить для этого деньги, а не предоставлять это мне, теперь я должна платить за то, что его похоронили, а у меня нет денег, они лежат в банке, если там вообще что-нибудь есть, ведь я ни одной бумажки в руках не держала, приют получает плату прямо из банка, а у меня только немножко карманных денег.

Она дрожащими руками роется в сумочке, извлекает из нее старый вышитый кошелек, а из кошелька — несколько купюр, не так уж это мало.

Клара пересчитывает деньги, засовывает их в кошелек, а кошелек в сумочку и говорит: — Ты и в самом деле дура дурой, Берти, чего ты так разволновалась, конечно же, деньги есть — на похороны и на все остальное. Скажи, пожалуйста: тебе правда ничего не известно о ваших финансовых делах? — Берти не имеет об этом ни малейшего пред-

ставления и о тексте завещания, составленного в присутствии нотариуса ее отцом вместе с Кларой,— тоже, а там сказано, что Берти не может распоряжаться деньгами, что Клара — опекунша, а в случае ее смерти — Стефания (по-видимому, дядя Каунигер знал, что Стефания хоть и витает в облаках, но при серьезных обстоятельствах очень хорошо умеет распоряжаться деньгами), оставленная сумма не так уж велика, но она больше, чем могла подумать Берти. Клара тихо говорит мне, что в завещании есть удивительная фраза: «Если моя дочь переживет меня...» «Если». Дяде Вилли было за девяносто, когда он это писал, он всегда надеялся пережить и Берти, хотя ему и полагалось знать из гороскопа, что Берти доживет до ста лет, или до ста пятидесяти, или вообще никогда не умрет. Он презирал и ненавидел свою семью, это понятно каждому.

Клара говорит Берти: — Ты спокойно можешь отправляться домой, оставь счет здесь, я позабочусь обо всем.

Но Берти, вместо того чтобы уйти, усаживается, снимает желтую соломенную шляпку и кладет ее на стол — у нее еще что-то на душе, и она это выкладывает: она не хочет возвращаться в дом для престарелых, без папы она там не выдержит и с папой тоже — ночью он стучал ей в стену, очень отчетливо.

— Ты выдумываешь,— говорит Клара,— или ты лжешь, твой папа не станет стучаться в стены, а уж в твою ни за что. (Ко мне: — С него может статься, что он сыграет с ней такую штуку.)

— Нет,— говорит Берти,— он блуждает как привидение.

— Перестань болтать ерунду,— говорит Клара,— лучше объясни, какую цель ты преследуешь этой выдумкой, ведь чего-нибудь ты хочешь добиться?

Выясняется, что Берти забрала себе в голову навсегда поселиться у Клары. Но Клара говорит прямо: — Этому не бывать, я хочу покоя, я заслужила его.

Берти соображает, что это решение бесповоротное.

— Ну, хорошо,— строптиво говорит она,— я умру покинутой, ты так хочешь, у тебя нет родственных чувств, ты засела в этом доме, принадлежавшем моей бабушке, и отказываешься пустить меня.

Клара нахлобучивает на голову Берти ее соломенную шляпку и совершенно спокойно говорит: — А теперь ты уйдешь.

Берти поднимается, но у нее в запасе еще один козырь:— Ладно, а кто же будет ухаживать за тобой, когда ты заболеешь, твоя родная сестра живет за границей, она не сможет позаботиться о тебе, кто же будет с тобой в час твоей смерти?

— Не ты,— говорит Клара и выставляет ее за дверь. Нам видно, как Берти некоторое время стоит на улице и сморкается.

— Она плачет,— говорю я. Но Клара не проявляет интереса к ревущей Берти, у нее и без того хватает дел, она чистит картошку и всецело поглощена этим занятием. В конце концов Берти исчезает, бесшумно, даже не слышно, как захлопывается калитка.

— Клара, позвать мне Стефанию к обеду?

— Бога ради, оставь ее, она сейчас отсутствует.

— Что это значит: отсутствует? Она спит?

— И да и нет.

— Она без сознания?

— И да и нет.

— Говори разумно.

— Я говорю настолько разумно, насколько можно говорить разумно о подобных вещах, я говорю то, что есть, поднимись наверх и посмотри сама, только не зажигай света, и не произноси ни слова, и долго не оставайся там.

Комната так темна, что я почти ничего не вижу, я приоткрываю дверь, оставляя щель. Стефания — светлое пятно посреди сумерек. Я тихо подхожу поближе, я не слышу, чтоб она дышала, мне страшно,

я в конце концов прикасаюсь к ее свисающей руке, она холодна. Если бы Клара не подготовила меня, я подумала бы, что притронулась к мертвой. Вопреки предостережению Клары я говорю: — Стефания! — Я не жду ответа, но говорю еще раз, немного громче: — Стефания! — Потом я тихо ухожу. Позже, когда Стефания сама спускается вниз, выясняется, что она меня и видела и слышала. Отчего же тогда она не ответила? Стефания говорит в высшей степени загадочно: «Ты бы меня не поняла».

— Ну как? — спрашивает Клара, когда я возвращаюсь на кухню.— Она спит? Она без сознания?

— Не знаю, но разве ее состояние не опасно?

— Откуда мне знать? Раньше я думала, что она играет, чтобы ее оставили в покое,— так поступала мама, Стефания рассказывала тебе об этом? Когда Флекман умер, мама разрéзала на куски все платья, которые он в разное время дарил ей,— разрезала на мелкие лоскуточки величиной с ладонь, перед нею всегда лежала гора лоскутков, она делала из них узоры, и так она сидела и ничего не говорила, и судья сидел в той же комнате в шезлонге, кресла на колесиках он не признавал; с ним ведь случился удар, его разбил паралич, он худел все больше и больше, под конец он стал как скелет, и к тому же он почти ослеп, вот так они сидели, и он считал, что она слабоумная, ей хотелось, чтобы все в это верили, но у нее была такая же ясная голова, как у тебя и у меня, она просто хотела, чтобы ее оставили в покое, она хотела думать о Флекмане; то же, как мне кажется, происходит и со Стефанией; ведь она во многом похожа на мать. Но все же у нее это происходит иначе, она в самом деле холодеет и коченеет, с мамой такого не бывало, не бывало также, чтобы она, как бы это сказать, отсутствовала присутствуя.

— Ты никогда не консультировалась с психиатром?

— Ты всерьез полагаешь, что он поймет в этом больше, чем я? Ведь я в общем-то знаю, что это такое: она уходит в себя, как если бы уходила куда-то, где она находит своих мертвых. Реальность ли это, такая, как, например, стол, мне, конечно, неизвестно. Я делаю то, что сделал бы и психиатр: устанавливаю наличие определенного состояния и считаю его реальным. Но психиатр назначил бы ей уколы и таблетки, чтобы вернуть ее к общепринятому виду реальности, тем самым он, если бы ему это удалось, отнял бы у нее все, что у нее есть и чем она живет.

— Ты имеешь в виду ее воспоминания.

— Что означают эти слова, воспоминание, что оно, собственно, означает, может быть, почтовую открытку или имя, ах, то был тот-то и тот-то. для Стефании же в этом вся суть, она, вспоминая, встречает своих мертвых, где и как это происходит, мне неизвестно, это не то, о чем можно говорить.

Я уважаю мнение Клары, но все же считаю, что должна найти возможность поговорить со Стефанией об этом, а именно — о стране мертвых. Клара, словно угадав мое намерение, добавляет: — Только не думай, что кто-нибудь может ее от этого отговорить, это было бы то же самое, как если бы ты пыталась убедить меня, что в кастрюле не фасоль, и что это не стол, и что вообще не существует ни фасоли, ни столов, что я все это только вообразила себе. У каждого своя действительность, и каждый считает свою единственно существующей.

— Клара, предпринимались ли попытки выяснить обстоятельства смерти Петера?

— Господин Нильс наверняка что-нибудь предпринимал, но если он и узнал что-то достоверное, Стефании он ничего об этом не говорил. Он оставил его жить для нее, но, конечно, не в буквальном смысле слова, надолго она этому не поверила бы, а так где-то между «да» и «нет» Петер остался жить. Представь себе, что нашелся бы труп Петера! Это была бы ясность, а к нашей Стефании с ясностями не

подступишься, она их не любит, она их не выносит. Я в этом смысле ее противоположность, я не выношу сомнения, я тревожусь до тех пор, пока не обрету ясность, тогда, с этой ясностью, я могу жить, как бы плоха она ни была.

У меня на языке вопрос об Эрихе Бернхаймере: существовала ли ясность относительно его смерти? Но я лучше расспрошу Стефанию об этом. Клару же я спрашиваю: может быть, Стефания втайне ожидает возвращения Петера?

— Но разве ты не поняла? Такой род возвращения ей больше не нужен.

Этим Клара заканчивает разговор, ее интересует только приготовление пищи и накрывание стола. Ей безусловно пришлось преодолеть себя, чтобы, такой здравомыслящей, какова она есть, говорить на столь туманную тему. Только лишь доведенное до предела чувство справедливости и правдивости побудило ее к этому объективному сообщению. Клара — релятивистка чистой воды. Скептическая по натуре, как все горбатые, одаренная острой наблюдательностью, глядящая в оба и не косоглазая, длительным жизненным опытом наученная тому, насколько ненадежна дистанция, соблюдаемая по отношению к самой себе, она разработала методику мышления, с помощью которой без труда усматривала в любом виде чужих убеждений правду среди миллионов правд. И в конце концов она стала скромной, не ведающей славы победительницей всяких предубеждений. Если она, в пылу спора, все же иногда осуждала кого-то, это случалось только от рассеянности, так же как бывает с опытной вязальщицей, иногда пропускающей петлю: она тотчас же это замечает и исправляет. Клара грешила по небрежности и искренне каялась в грехах, смеясь сама над собой. Зато ее мнения были так же прочны и неизменны и так же пригодны к измерению реального, как стальная рулетка, но Клара никогда не настаивала на том, что существует только ее измерительная аппаратура и ее рулетка, она признавала любые. Однако она впадала в ярость и становилась грубой, если замечала (а она замечала это всегда), что у кого-то два масштаба, в правой руке выверенный, в левой руке фальшивый, тогда она громко именовала фальсификатора фальсификатором и представляла, по спросу или без спроса, кстати или некстати, доказательства, и никто не находил нужным требовать доказательств ее доказательств, в таких случаях Клара была высшей моральной инстанцией. Даже Берти, у которой иногда хватало наглости утверждать, что и Клара сочиняет истории, не верила собственному утверждению. Клара не сочиняла истории, она их наблюдала. Волей-неволей глядя вниз, на тротуар, она, казалось, видела их там — город кишмя ими кишел. Она находила их еще ребенком и сохраняла в одном из ящиков своей упорядоченной памяти, чтобы потом использовать, например, для корректировки сообщений, которые у Стефании размыты грезами, а у одной из каунигеровских близняшек искажены ненавистью. Клара могла бы написать скандальную хронику города, если бы ей не были так противны сплетни.

Берти, выдворенная Кларой из дома, вскоре возвращается, на этот раз явно стараясь избавиться от привычки прокрадываться, она мрачно с шумом захлопнула калитку. А потом она робко остановилась у порога.

— Что тебе опять нужно? — спрашивает Клара, скорее скучая, чем проявляя недружелюбие.

— Я опоздала к обеду,— говорит Берти жалобно,— они мне ничего не дадут.

Клара кидает взгляд на часы:— Зачем ты лжешь, сейчас без двадцати двенадцать, вы едите только в двенадцать. Если уж ты пришла, оставайся, но я могу тебе заранее сказать, что ничего особенного на обед не предвидится и на две порции не рассчитывай.— Берти с чувст-

вом облегчения, однако же смирившись, садится; она даже говорит:— Я пришла не ради еды.

— А ради чего?

— После смерти папы я так одинока, я больше не хочу в приют, я останусь здесь.

— Об этом мы уже говорили, но если тебе охота, чтоб я повторила еще раз, пожалуйста: ничего из этого не выйдет, я всю мою жизнь не могла делать то, чего мне хотелось, а теперь, в последние мои годы, ты, как раз ты, будешь всегда возле меня? Если бы ты была бедна и не имела пристанища, тогда — да, а так — нет. Даже мне наконец-то хочется покоя. Ты можешь приходить раз в два дня после обеда к кофе, ведь это уже кое-что, не так ли?

— Да,— говорит неутешная Берти,— но ночами, когда папа стучится!

— А он, если ему охота стучаться, во что бы то ни стало стучался бы и здесь.

— Но здесь была бы ты.

— Ага, и ты полагаешь, я позволила бы твоему дурацкому духу, колотящему в стены, будить меня по ночам? Больше не приставай ко мне с этими глупостями. Твой папа не постучится к тебе, он рад, что наконец-то избавился от тебя и от всех вас. Если что-то стучится, так это твоя совесть, ведь вы обращались с дядей Вилли как с кукольным петрушкой, для того и существующим, чтобы его высмеивали, наставляли ему рога и старались его угробить, так ведь оно и было, не прикидывайся, со мною этот номер не пройдет.

Берти в ужасе таращит на нее глаза, рот Берти открывается, но тут же опять закрывается. Осколки от глыбы чистейшей правды, по которой Клара бьет молотом, проникают в ее обызвествленный мозг и, касаясь ветхих потайных замков, с треском отмыкают их.

Да, это правда, папе наставлял рога Карл, кондитер, зависевший от мамы и спавший с нею, пока папа составлял свои гороскопы, да, это правда, они вчетвером лгали папе, будто кафе приносит всего лишь столько-то.

Да, это правда, они откладывали деньги и прятали их в маленьком погребе, много денег, Карл и мама рассчитывали открыть на них, когда их накопится достаточно, свое собственное кафе, без папы, его они принудили бы к разводу, причины они уж как-нибудь придумали бы, в гитлеровском государстве долго думать не пришлось бы, за составление гороскопов полагалось тяжкое наказание.

Да, это правда, они, слишком трусливые, чтобы своими руками отравить папу, сидели и дожидались, как стервятники, его естественной или ускоренной гестаповцами смерти.

Да, это правда, они были нацистами, все четверо, даже записались в партию из страха лишиться клиентуры среди нацистской элиты города.

Да, это правда, они не носили партийных значков из страха, чтобы горожане, которые не были нацистами, не перестали посещать их кафе.

Да, это правда, она, Берти, стала в эсэсовской школе помощницей секретаря в надежде, что на ней женится офицер из высшего командного состава.

Да, это правда, она забеременела от эсэсовца, который не хотел на ней жениться, нет, не мог, потому что был женат, и он вынудил ее скрыть его имя.

Да, это правда, все то, что было потом с ребенком.

Берти соскользнула на самый край стула, она таращит глаза на Клару, она ждет продолжения обвинительного акта, неотвратимого, беспощадного, не принимающего во внимание ее возраст, ее глупость и ее склероз,— ждет, чтобы ее, невменяемую, привлекли к ответу еще раз, чтобы воззвали к искрошившимся остаткам ее окаменевшей со-

вести, чтобы от нее, невзирая на ее закоснелость, с таким опозданием потребовали осознать свою вину и покаяться. Но ангел божьего суда вновь принял облик горбатой Клары и занялся выполнением других обязанностей: ему еще надо было накрыть стол, нарезать хлеб, принести воду. В конце концов Берти встает и молча покидает кухню, она делает вид, будто выходит на минутку, мы следим за нею, но садовая калитка хлопает, и вот уже Берти собирается переходить дорогу, она внимательно смотрит налево и направо, ловко обходит велосипедиста и несколько машин и, невредимая, достигает противоположного берега, противоположной стороны улицы.

— Клара, Берти ушла.

Клара молчит.

— Клара, не была ли ты с нею все же излишне жестокой?

Клара говорит, не оборачиваясь: — А кто, если не я, проколет ее катаракту?

— Не поздно ли при ее склерозе?

— Не такой уж у нее склероз, чтоб нельзя было таким образом предъявить ей счет.

— Но в этих расчетах она — всего лишь конечная сумма.

— То есть как?

— Так ведь исходные позиции, оказавшиеся ложными, заняли другие: время, мать, этот Карл, эсэсовец и бог знает кто еще.

— Я как раз и хочу ткнуть ее носом в эти ложные позиции. Я должна помочь ей умереть приличной смертью. С ложью на устах и в уме границу не перейти. А если ты полагаешь, что я была слишком жестока с ней, так вот: я могла бы сказать Берти еще многое другое, мне только не хотелось перед тобой раздевать ее догола, я могла бы припомнить, что отцом ребенка она назвала не своего эсэсовца, а безупречного человека, торговца, однажды переночевавшего у них,— в ту пору они еще сдавали комнаты проезжим; тот человек был из Берлина, они думали, это достаточно далеко и можно без риска выдать чужака за отца ребенка, но через опекунский совет все, конечно, вышло наружу, берлинец подал в суд и выиграл процесс; у него была не та группа крови, что у ребенка, и у него никогда ничего не было с Берти, но даже выигранный процесс не восстановил его брака, распавшегося из-за этой истории,— вот что я могла бы сказать Берти, и еще я могла бы сказать ей, что она прятала ребенка и никогда не выносила его на воздух, окна с двойными рамами всегда были закрыты, и он потихоньку угасал, только еле слышно попискивал, и однажды этот писк услышал внизу посетитель кафе, и он сказал, что где-то плачет ребенок, а тетя Берта ответила, что это кошка, она окотилась, и наступил день, когда и писк прекратился: ребенок умер с голоду, пока внизу в кафе нацистские бонзы и их приспешники дружно пожирали шоколадные торты, специальность Карла, торты делали из припасов, которые покупали у солдат, это была добыча, привозимая из Голландии, и Франции, и Украины, но как-то ночью, тогда еще ребенок был жив, Берти приснился страшный сон, и она побежала к Георгу, тот пришел тайком и окрестил бедного малыша, а когда малыш умер, он же и похоронил его, все это делалось втихую, только год спустя служанка проговорилась, хотя ей заплатили за молчание много денег, но это случилось, когда в городе уже подсчитывали первые жертвы бомбежек, когда мы потеряли Сталинград и война в России была проиграна, кого тогда интересовал какой-то давно похороненный, истлевший младенец и скандальное дело, в которое, так как в нем был замешан эсэсовский майор, никто не желал впутываться? Некоторое время люди избегали заходить в кафе на Марктплац — тут они вдруг зловещим образом объединились, нацисты и ненацисты, проповедницы фальшивой морали, и несостоявшиеся священнослужители, и весь этот благочестивый сброд, но, как обычно бывает, скандал затих и все осталось по-старому. Только я, я нарушаю дремотную ти-

шину, я заставляю Берти снова и снова вспоминать об этом, она должна учиться думать, и она еще научится этому, в ее обызвествленном мозгу функционирует еще многое, в особенности если речь заходит о давно прошедшем. Когда она сейчас говорит, что отец приходит к ней по ночам,— это верный признак того, что я пробудила что-то в ней, это ее собственные мысли стучатся в покрытые известкой стены.

В том и заключается почти трагическое недоразумение, характерное для миропонимания Клары, что она верит в неограниченную пригодность разума так же, как в наличие и съедобность зеленых стручков, хлеба и соли. Надо только захотеть думать, тогда сможешь думать, а думая, установишь безошибочно, что́ верно и что́ неверно, а что возможно в сфере познания, то, по убеждению Клары, возможно и в сфере морали: думая, осознаешь, что́ правдиво и хорошо и что́ лживо и плохо. Ведь это так просто, куда проще, чем переносить последствия ничегонедумания. Разум Клары — это ее совесть, а совесть Клары — это ее разум, это пара испытанных, неуязвимых для бичей и пуль боевых коней, с которыми она отважно устремляется на любое поле битвы, где бьются за правду, но тут же, пренебрегая победой, поворачивает этих коней обратно, если замечает, что противник честно борется за свою собственную правду, а не так, как Берти,— всего лишь за сохранность грубейшей лжи.

— Берти не просто лжет, она,— говорит Клара,— изолгалась, весь этот род — род изолгавшихся, даже у мамы был ее собственный вариант хитрости, поэтичный и безобидный, если хочешь, и от нужды, а это главное. Зато все остальные сплошные лгуны.

— А дядя Вилли?

— Он ведь только из-за женитьбы угодил в эту семейку, но все же лживость заразительна, и можно лгать молчанием. Он делал вид, будто не видит, и не слышит, и не знает ни о чем, происходившем вокруг.

— Но, быть может, безмолвная ложь была для него чем-то вроде фальшивой бороды, наклеенной для того, чтобы по губам нельзя было прочесть правду.

— Ладно, оставим его, он и так большей частью жил потусторонней жизнью, он блуждал по Млечному Пути и перепрыгивал с планеты на планету, он высчитывал, и высчитывал, и высчитывал, и составлял для всех нас гороскопы, он почти никогда не говорил о том, что знает, но мне он кое-что сказал.

— Что именно?

Неизвестно, ответила ли бы Клара на мой вопрос, если бы нас не прервали. Стефания, одетая и причесанная, спускается с лестницы, прижимая ко лбу смоченный в уксусной воде платочек. Еще на половине лестницы она строго спрашивает меня:

— Зачем ты заговорила со мной?

Клара бросает на меня наказующий взгляд.

— Извини, я хотела позвать тебя к обеду.

Больше об этом не говорят. Стефания спускается вниз, Клара подает еду на стол, Стефания из вежливости раза два притрагивается к еде вилкой, потом без особого интереса спрашивает, о чем мы беседовали.

— О Каунигерах,— говорит Клара,— о том, как они изолгались, а я, собственно, только что хотела начать рассказ о похоронах бабушки, вот когда собрались вместе всяческие разновидности лжи, то был великолепный спектакль, помнишь, Стефания?

Безобидность этого вопроса, как мне кажется, не находится ни в каком соответствии с мрачной враждебностью взгляда, брошенного Стефанией на сестру. Клара мгновенно защищается, вздох снисходительного нетерпения служит ей щитом:

— Я ведь не спрашиваю, помнишь ли ты тот день, я спрашиваю только: помнишь ли ты спектакль в доме судьи?

Из взгляда Стефании постепенно исчезает недоверие.

— Разумеется, помню.

Лишь позднее я пойму, что означал этот инцидент: в тот день Петера Нильса искало гестапо, в доме судьи тоже произвели обыск, как раз в день похорон, никто не понимал, почему именно тогда, разве только предположение Стефании было верным: Флекман, который, конечно, знал, что Стефания придет на бабушкины похороны, хотел таким способом послать ей предупреждение, чтобы она передала его Петеру.

— Разумеется, помню,— говорит Стефания,— я вижу всех вас в доме судьи, я опоздала, всем вам пришлось ждать меня.

— Нет,— говорит Клара,— мы ждали не тебя, просто было еще рано идти на кладбище.

— Пусть так, но все же меня ждали, вы все перестали разговаривать, когда я вошла, и воззрились на меня, ты это знаешь, и ты знаешь почему. Глаза, уставившиеся на меня, почти вылезали из орбит от желания разглядеть меня получше.— Ко мне: — В большой комнате было темновато, там всегда бывало сумеречно, окна в доме были высокие и узкие, с закругленными, утолщенными посередине зелеными стеклами, представь себе, а перед окнами вился плющ и дикий виноград, весь дом зарос зеленью, при входе в него создавалось ощущение, будто окунаешься в полный водорослей аквариум, вдобавок там была еще и черная, дубовая, тяжеловесная мебель, всегда напоминавшая мне гробы, судья унаследовал эту мебель вместе с домом от какого-то дяди, отвратительный старый дом, его разбомбили одним из первых, до основания, но тогда, на бабушкиных похоронах, он стоял в полном цвету, зеленом и черном, со всеми черными платьями, и черными шляпками, и черными вуалями внутри него, там была куча людей, большинства из них я не знала.

— Зато я знала,— говорит Клара,— там были три категории родни, из которых две, Мартины и Каунигеры, в виде исключения и по необходимости сплотились против третьей, против родичей, чья фамилия начиналась с приставки «фон», против баронского рода фон Радвиц, этой компании подонков; если бы кому-нибудь чужому пришлось разыскивать «фонов» среди прочих, он указал бы на маму, и на тебя, и на парочку старых кузенов из крестьян, то были господа, хотя и бедняки, а «фоны» были ничтожными людишками, лицемерными и скаредными, чего ради они явились, я, право, не знаю, с нашей бабушкой у них не было ничего общего.

Это фраза, которую могла бы произнести Стефания; ведь ее привилегия — совершенно не считаться с обстоятельствами, законно удостоверенными государством. От Клары следовало бы ожидать, что она посчитается с подобными обстоятельствами, но, очевидно, в ее системе правды имеется пункт, в пределах которого она разрешает себе нарушать объективность и предавать реальность.

Я осмеливаюсь возразить, что «фоны» как-никак были ближайшими родственниками законного супруга их мамы. Но тут я попадаю в густо населенное осиное гнездо. Сестры накидываются на меня, словно я сотворила или изобрела фатальные родственные отношения.

— Мамин законный супруг? Еще недостает, чтобы ты заговорила о нем как о нашем отце

— или отчиме

— нам до него дела нет

— он принудил маму к замужеству, такой брак вообще недействителен («Как принудил?» — спрашиваю я, но мой вопрос тонет в потоке гневных причитаний)

— он обращался с мамой как с арестанткой

— он был и остался для мамы чужим

— а к его родне мы не имели ни малейшего отношения

— он пригласил родню для того, чтобы похвастаться красивой женой, старый хрыч, он хотел, чтоб ему завидовали

— он был ничтожеством, жадный, глупый, жестокий — мразь да и только.

На этом ругань кончается, и сестры, запас ненависти которых на этот раз исчерпан, смотрят друг на друга в растерянности и с удовлетворением: этому мы еще разок задали перцу, этому мы выложили всю правду. Они выложили ее давно умершему, для судьи тление — давнишнее состояние, но для них двоих он, еще при жизни превратившийся в скелет, и теперь сидит на скамье подсудимых, слепой и беспомощный, впрочем, как тотчас же выясняется, не без защитника.

— Но,— говорит Клара, чья потребность в справедливости ослабевает не дольше, чем на пять минут,— одним он все же был хорош: он не был нацистом.— Однако именно присущее ей чувство справедливости заставляет ее добавить: — Но он был против Гитлера лишь постольку, поскольку Гитлер был против католической церкви, дело в том, что он был омерзительным ханжой, вечно околачивался в исповедальне и у алтаря, он даже заменял причетника, если не находилось для этого какого-нибудь мальчишки — ведь мальчишки вступали в гитлерюгенд и не могли прислуживать во время мессы, вот судья и старался вместо них и делал при этом благочестивейшее лицо. Когда Гитлер еще не показывал, что у него, как у дьявола, конское копыто, и когда казалось, что он старается сохранить с церковью хорошие отношения, тогда судья ничего не имел против Гитлера, я не знаю, был ли он членом партии — партийного значка он не носил, но ведь он вообще не носил ничего такого, что достаточно ясно указывало бы, за что он или против чего, в лучшем случае молитвенник, вот что он выставлял напоказ, когда ходил в церковь, но тем самым он все же проявлял храбрость, это я должна признать, и еще я должна признать, что он боялся ада больше, чем гестапо, да, так. (Непременная объективность не позволяет Кларе допустить ни малейшей нечестности в воспоминаниях и в суждениях.) Правда, одно хождение в церковь с молитвенником в руке даже в те времена не могло послужить серьезной уликой, но, с другой стороны (снова корректив, призванный гарантировать неподкупную точность сообщения), это не означало, что он был вне зоны попадания: ведь, в конце концов, он был врагом Флекмана, его соперником из-за мамы, а этот всемогущий Флекман без труда мог найти повод устранить назойливую навозную муху, даже удивительно, что он этого не сделал.

— Нет, нет,— говорит Стефания живо,— удивляться тут совсем не приходится, Флекман не был мстительным самцом, он был незаурядён, и к тому же он знал, что мама после неудачных родов не имела никаких отношений с судьей, да и ребенка тот сделал ей только благодаря своего рода насилию и шантажу. Флекман был настолько уверен в ней, что у него не могло возникнуть желание избавиться от навозной мухи при помощи мухоловки, а уж тем более раздавить ее. Но я, когда гестапо пришло с обыском, я изо всех сил желала, чтобы его забрали насовсем.

— Я тоже,— говорит Клара,— и мама, наверно, тоже, а уж дядя Вилли — наверняка, хотя он знал из гороскопа, что судье со стороны политики ничего не угрожает и что он будет умирать очень долго.

Мне кажется, мы слишком удалились от рассказа о похоронах, и я вообще теряю надежду на его продолжение, когда Стефания уходит, чтобы вновь окунуть свой платочек в воду с уксусом, зато я слы-

шу, как говорит Клара, исторически точный отчет о маленьком спектакле, разыгранном лжецами.

— Пришло так много народу, что забили всю комнату, в нее снесли стулья со всего дома, даже кухонные табуретки и садовые кресла, и когда появилась Стефания, не оставалось ни одного свободного места и никто не предложил ей сесть — на диване еще был свободный уголок, но там восседали тетя Берта и близнецы, они играли роль наиболее пострадавших, хотя в самом деле пострадавшими они оказались только тогда, когда было оглашено завещание, они рассчитывали, что окажутся сонаследниками бабушкиного дома и что я откуплюсь от них чистоганом, однако из этого ничего не вышло, у них зря разгорелись глаза на дом. Судья стоял у столика и отсчитывал миниатюрные фотокарточки умершей, при каждой третьей он слюнявил пальцы, указательный и большой, и он был единственным, кто не обратил внимания на приход Стефании, он его не заметил. Мама сидела в углу.

— Да,— говорит возвратившаяся Стефания,— и когда я с нею поздоровалась, она шепнула мне на ухо: «Будь осторожна, не говори ничего про политику, не позволяй, чтоб тебя выспрашивали и вызывали на разговор». То был совет, в те времена пригодный для каждого и для любого случая, и я не очень над ним задумалась, я ведь всегда была начеку. Потом кто-то бросил в тишину: «Бедная Мария! — Это была наша бабушка.— Бедная Мария». А потом заговорил кто-то другой, это был мужчина, но не дядя Вилли, который тоже мог бы сказать такое. «Бедная Мария? — переспросил мужчина.— Почему бедная? У нее все позади, она может радоваться, что не доживет до тех времен, которые наступают».

Клара говорит мне:

— Когда ты слышишь это сегодня, тебе это кажется совершенно безобидным, такая фраза, какую обычно произносят старики, они не ждут ничего хорошего от будущего, потому что будущее, становясь для них настоящим, приносит им все те же тяготы. Но тогда каждый понимал, что́ это означает, и каждый принимал это за политическое пророчество и за вызов, поэтому все рывком, как будто их дернули за одну и ту же веревку, обернулись на голос, но он раздался откуда-то с границы между Мартинами и «фонами», так что нельзя было установить, кто говорил, это был неприятный момент.

— Не единственный,— добавляет Стефания,— ты помнишь, как один из наших кузенов-крестьян сказал: «Бедная Мария, трудно ей было, сначала она так рано потеряла мужа, а потом это несчастье с зятем». Кто-то сказал ему: «Молчи!» Но старика нельзя было остановить, и что он должен был сказать, то́ сказал: «А потом еще другое несчастье». Какое именно имелось в виду, он все же не сказал, он мог думать про несчастье с дочерью, сошедшейся с другим, с нацистом, мог думать и о несчастье иметь такого зятя, как судья, тощее злое привидение, быть может, он имел в виду и то, и другое. Второй кузен сказал: «А в старости еще и бедность». Но тут судья подскочил, как будто его укусила бешеная собака. «Бедность? Кто тут говорит о бедности, она не была бедна, и ей бы еще лучше жилось, если бы она переехала к нам, я ей предлагал, но она была упряма, а тот, кто здесь рассуждает по поводу ее мнимой бедности, дает основание предполагать, что это я ее оставил в бедности, но у меня есть свидетели, что я ей неоднократно предлагал, чтобы она переехала сюда».

— Да,— говорит Клара,— вот только я не знаю, кто бы мог это засвидетельствовать, мама во всяком случае нет, потому что ей он коротко и ясно запретил брать кого-нибудь к себе в дом, это относилось ко мне и к бабушке тоже, и даже если бы бабушка переехала к нему, то осталась бы бедной и стала бы еще беднее, это знали все родные, но они сидели, словно оглушенные его голосом, он звучал так

резко, что в самом деле запугивал, никто не решился ему возразить.

— Нет,— сказала Стефания,— ведь за этим последовала сцена, в которой Клара играла главную роль, Клара была единственной, не испытывавшей страха перед ним, она была храбра, как кролик перед ястребом.

— Почему как кролик? — спрашивает Клара недовольно, но Стефания не дает объяснений.

— Вдруг, представь себе, посреди этой черной тишины Клара говорит громко и сухо: «Удивительно, когда кто-то умирает, все сбегаются и твердят: бедняга, мы помогли бы ему, если бы он позволил себе помочь и если бы мы знали, что он нуждается в помощи. А пока этот человек живет, никто им не интересуется, никто из вас ничего не дал бабушке, бедной Марии, и вы, Мартины, тоже не составляли исключения, только за плату вы приносили ей продукты, а кто платил за них, скажите сами: моя мать и я, а позднее Стефания, когда она начала зарабатывать,— вот она, правда. Вы все знаете ее, а теперь сидите здесь и еще хотите что-нибудь унаследовать от бедной Марии,— вот так, а сейчас пусть кто-нибудь встанет и скажет, что это неправда, пусть наберется храбрости и солжет».

Клара смеется своим будто из погреба доносящимся смехом.

— Я в самом деле сказала так или это одна из твоих хорошо сочиненных легенд?

— Но, Клара, ты же помнишь, это подействовало сокрушающе. Если бы я с удовольствием что-то присочинила, то разве только вот что: будто вся компания святош, понурив головы, признала свою вину, согласилась с твоим судебным приговором, и удалилась, и исправилась.

— Вместо этого,— сказала Клара, которая, конечно, все помнила и лишь желала отклонить похвалу Стефании,— вместо этого у тети Берты случился приступ астмы, и она умело прокашляла всю обвинительную проповедь. А потом настало время идти, хотя было еще рано, сразу вдруг настало время идти, судья спрятал фотокарточки умершей, «фоны» надели цилиндры, кузены из крестьян — шляпы, женщины обоих военных лагерей опустили вуали, и мы пошли, а дождь все лил и лил.

— Почему мы не взяли такси, Клара?

— Почему? Одни, а именно мы, были бережливы из принципа, другим — «фонам» — помешали бедность и скупость, судья был слишком жаден, а Каунигеры, богачи, боялись, как бы им не пришлось подвозить бедняков, вот они и предпочли сами промокнуть под дождем.

— Я шла с тобой и с мамой, но на перекрестке вы пошли дальше, а я пропустила несколько машин и очутилась рядом с тетей Бертой — ни от чего я не была избавлена в тот день; она взяла меня под руку — у Каунигеров всегда была потребность брать под руку кого-то и прижиматься к кому-то,— она вынудила меня закрыть зонтик и идти под ее зонтом, тем самым она заставила меня идти медленно, она не могла идти быстрее из-за астмы, она пыхтела при ходьбе, но говорила и говорила, она пускала в ход все средства, рассчитывая вытянуть из меня что-нибудь. Она, например, спросила, долго ли мне еще учиться, я ответила, что закончила учение, она сказала, что это хорошо; ведь деньги, наверно, кончились, мне не надо было спрашивать, какие и чьи деньги она имела в виду, но я все же спросила, и она ответила сразу и с торжеством: «Деньги Нильса — ведь его типография опечатана, газету забирает партия». То была новость, мне известная, но эта новость еще не распространилась. Откуда тетя Берта знала ее? Тут выяснилось, что Берти в курсе дела, а откуда, так ведь она в партии секретаршей. «В какой партии?» — спросила я, и тетя Берта ответила гордо: «В национал-социалистской, ей достался счастливый жребий, она хорошо зарабатывает, знакомится с интересными людьми и нахо-

дится возле самой кормушки». Так она и сказала: «возле самой кормушки». Я вспомнила предостережение мамы и спросила только: «Значит, вы одобряете все это?» Хотя тетя Берта и была глупа, но она сразу поняла меня и ответила: «Что общего между должностью Берти и политикой, это такая же работа, как любая другая». И тут я не могла иначе, я должна была сказать: «Ты знаешь, что лжешь». Но это было сказано слишком сильно, это было опасно, а тетя Берта ответила ударом на удар. «Вот как,— сказала она,— я лгу, что же это значит или ты, может быть, против?» (Ко мне: — «Против» и «за» — то были слова, которые не нуждались в дополнительных разъяснениях.)

— Я знаю, Стефания, ты всегда делаешь вид, будто все это происходило в столетии, в котором я еще не родилась, а я родилась, я была не так уж мала, чтобы ничего не понимать, мне известно, что эти слова были ножами, разрезавшими пополам дружбы и семьи.

— То были слова,— говорит Клара,— которые и произносить не требовалось, они были написаны у каждого на лбу, и какой-нибудь бравый нацист прочитывал их, и если там стояло «против», он, сохраняя душевное спокойствие и пребывая в счастливом сознании выполненного долга перед родиной, отправлялся в гестапо, придумывал какую-нибудь ложь, обходился без доказательств, и вот ты в тюрьме или в лагере.

— Поэтому я и сказала, что опасный вопрос тети Берты загнал меня в ловушку. «Ты против того, что Берти — секретарша в партийной организации?» — это, в сущности, означало: «Ты что-то имеешь против?» И я, вместо того чтобы промолчать, ответила: «Да, безусловно, я что-то имею против, я против» — и вырвала у нее руку и пошла дальше, я просто-напросто оставила ее с ее астмой и с ее злобой. Но на кладбище, перед входом в зал, она опять оказалась возле меня и выложила еще два своих козыря, один маленький и один большой; маленьким было известие о том, что Анна, ребенком игравшая с нами на мертвой колее, стала кухаркой «господина крейслейтера», а большим был вопрос, наверняка заранее, заботливо и со сладострастием подготовленный в ожидании моего прихода, из многих злобных и коварных вопросов выбранный в качестве того, который затронет меня глубже других,— вопрос, когда, наконец, состоится моя свадьба с Петером Нильсом. Я, вообще совсем не находчивая, в свою очередь нашла ответ, вызвавший у нее приступ астмы: «Тогда, когда состоится свадьба Берти или Мали с господином крейслейтером».

На этот раз Клара звонко рассмеялась. Дело в том, что тетя Берта перепробовала все, чтобы свести одну из близняшек с Флекманом после того, как с Эрихом Бернхаймером ничего не вышло. Так что Стефания задала ей жару, старой злой лисе, тетя Берта кашляла, пока из ее глаз не потекли слезы, она тотчас же использовала их, выдав за слезы скорби по «бедной Марии». Потом, во время погребения, она стояла с сухими глазами, держала платок у носа, сморкалась, а блестящие глаза ее так и рыскали вокруг — только бы ничего не упустить.

— А дождь шел и шел,— говорит Стефания,— и когда гроб засыпали землей, у Клары единственный раз в жизни вырвались слова отчаяния.

— Что уж такое я сказала? Что за слова отчаяния?

— Ты сказала: «Теперь я совсем одна». Ты как будто сказала это самой себе, эти слова сорвались с твоего языка, а я возразила: «Клара, ведь у тебя есть мама и я», но ты не ответила, ты перешла на другую сторону могилы, ты хотела побыть одна, ты всегда любила бабушку больше, чем нас.

— Ах, что там,— говорит Клара,— просто я почти всю жизнь прожила с нею.

— Тогда я предложила тебе жить у меня, я уже хорошо зарабатывала концертами и уроками.

— Да,— говорит Клара,— ты предложила мне это, и тебе даже не нужно, уподобляясь судье, призывать свидетелей, но я была и буду упрямой, как бабушка, я хотела остаться одна, и я осталась одна, и это хорошо.

— Если ты так считаешь,— покорно говорит Стефания.

— Продолжай рассказывать,— говорит Клара.

— После похорон судья сказал, что в его доме (он всегда говорил «в моем», а не «в нашем») приготовлена легкая закуска для ближайших родственников. Это приглашение всех смутило, почти никто не знал, может ли он причислить себя к ближайшим родственникам, и поэтому все, один за другим, разошлись.

— Я тоже хотела уйти,— говорит Клара,— но мама остановила меня и тебя, нас было примерно человек десять, четверо Каунигеров, то, что дядя Вилли тоже пошел с нами, удивило меня, но, быть может, он заранее обдумал, чем досадить шайке, кроме Каунигеров были мы двое, и мама, и, разумеется, хозяин дома, и еще пара любопытных кузенов или кузин из семьи Мартинов, стол был накрыт на двадцать персон, еды едва хватало на десятерых, пустые стулья стояли так печально, и все было так скудно и так грустно, и вдруг дядя Вилли сказал: «Пусть Стефания поиграет».

— Там стоял рояль, но какой, старый черный ящик, никогда не бывший в употреблении и невероятно расстроенный, несколько басовых струн были порваны, правая педаль отвисла, мне приходилось наступать на нее, как наступает на перекладину точильщик ножей, и я это делала, я вовсю нажимала на эту педаль!

— Судья сказал дяде Вилли: «Но прошу тебя, в доме траур, ты, очевидно, забыл, что мы только что предали земле твою тещу». И дядя Вилли ответил: «Твоей тещей она тоже была, но ты ешь с аппетитом, а тот, кто ест с таким аппетитом, может и музыку послушать». Судья что-то еще говорил о том, что это, в конце концов, его дом, и его рояль, и его еда, но ты уже была у рояля и начала играть.

— Я в самом деле играла, я играла назло всем, и всему нашему времени, и всему миру, сначала Дебюсси, потом Бартока, потом Стравинского, но всегда только около тридцати тактов, я играла сплошь бравурные вещи, я играла их быстрее, чем положено, в меня бес вселился, я сделала из музыки бич и хлестала им, в особенности после того, как тетя Берта сказала: «Это Бетховен».

Клара громко смеется, она хохочет во все горло:

— И ты, не прерывая игры, крикнула: «О нет, это Крибицли».

— Но, Клара, я сказала: «Это Скрябин», а он на самом деле существовал.

— Ладно, а тетя Берта сказала: «Он, однако, очень похож на Бетховена», и ты закричала: «Совсем не похож, даже на самого себя», и тут дядя Вилли рассмеялся, он хохотал как одержимый, это была сцена, разыгранная безумцами.

— И вдруг посреди комнаты встала служанка, она стояла совершенно одеревенелая, как черный карандаш, лицо ее побледнело и заострилось, и я мгновенно угадала, что она скажет, я перестала играть, и она сказала: «Там, за дверью, мужчины». Никто не спросил, какие мужчины. Судья ушел с негнущимися коленями и негнущейся шеей и не вернулся.

— О, нет, он, к сожалению, вернулся, но не сразу.

— А теперь вы должны меня извинить,— говорит Стефания неожиданно и, как на первый взгляд кажется, без причины. Она прижимает ко лбу белый платочек, у нее «ее» мигрень, она уходит в свою комнату, мы не скоро увидим ее.

Клара обеспокоенно глядит ей вслед, и я замечаю, что она в самом деле беспокоится, хотя и говорит, что она к этому привыкла и что после всего пережитого немудрено стать немного истеричной.

— Я полагаю, это невроз, Клара.

— Можно назвать это так или иначе, можно назвать это даже грехом, если задумаешься над тем, как она отказывается от жизни. Двадцать раз могла она выйти замуж, такая красивая, и как пианистка она тоже некоторое время была знаменитой, но она всегда делала что-то из ничего, она злила всех своих поклонников, концертные агентства тоже, ведь она забывала назначенные сроки, отказывалась в последнюю минуту, ссылаясь на мигрень, у нее и в самом деле бывала мигрень, она страдает от настоящих приступов, прежде я посылала ее к врачам, и те выписывали ей таблетки, она принимала эти таблетки недели три, они не помогали, и она выбрасывала их, а однажды я послала ее к психиатру, и она послушно сидела и смотрела на него двенадцать сеансов подряд, мигрени продолжались, ничего не выяснилось, кроме того, что мы сами знали, все осталось по-старому. Что ты хочешь, у медиков нет воображения, они представляют себе только больных и здоровых, люди с фантазиями кажутся им подозрительными, охотнее всего они оперативным путем удалили бы их фантазии, как удаляют зоб.

— Мне уже почти ясно, что мигрень Стефании начинается тогда, когда она заговаривает о Петере Нильсе. Когда она только что сказала, что служанка доложила о приходе мужчин, я сразу подумала, что дело было в Петере и поэтому у Стефании должна была начаться мигрень.

— Угадала. Стефания в этом смысле словно заколдованная, она не хочет говорить о Петере, но что-то в ней все время говорит о нем, и если только не наступают длительные периоды ее молчания, а они могут длиться неделями, то она неминуемо говорит о Петере — тогда и мигрени ее тоже неминуемы.

— Что же произошло, когда пришли мужчины, то есть гестапо?

— Стефания на минуту перестала играть, а потом она заиграла снова, вальс «На прекрасном голубом Дунае», можешь себе представить, тетя Берта закричала: «Да перестань же!» — а она играла и играла, и дядя Вилли хлопал в ладоши и подпевал, и тогда я встала, мне хотелось выйти и посмотреть, что там такое, но у дверей стоял эсэсовец, он не выпустил меня и даже опять втолкнул в комнату, мне удалось заставить себя промолчать и опять сесть; через некоторое время дверь открылась и судья сказал: «Пожалуйста, вот столовая». Мужчины быстро заглянули туда, и один из них сказал: «Спасибо», в самом деле, он так сказал, потом они ушли, все кончилось, судья проводил их, а когда он вернулся, то ударил кулаком по столу и закричал: «Обыск, у меня, у высокопоставленного государственного чиновника, у дававшего присягу юриста, у добропорядочного бюргера, вот до чего дошло, я преступник, я заговорщик, я подам жалобу на нарушение неприкосновенности жилища». Тут дядя Вилли расхохотался совершенно неприлично и сказал: «Ты подашь жалобу на нарушение неприкосновенности жилища, да, подавай, подавай, вот будет потеха, они объявят тебя сумасшедшим, упрячут в сумасшедший дом, сделают тебе малюсенький укол — и нет тебя, паралич сердца, а жене пришлют твой прах; тебя пришлось срочно кремировать, потому что ты болел заразной болезнью,— так что действуй, шурин, действуй!» Не знаю, как это взбрело ему в голову, ведь тогда, в тридцать седьмом, еще не бывало того, что впоследствии получило наименование эвтаназии, может быть, это было пророчеством, может быть, ему это было известно из его астрологии, а может быть, эта штука уже применялась, и только мы, остальные, ничего об этом не знали и оттого не поняли, что́ он, собственно, имеет в виду, лишь через несколько лет мы вспомнили его слова, и тогда нас охватил ужас: говорить об этом считалось государственной изменой. Тогда же мы услышали только сравнительно безобидный крик судьи: «И кому я обязан тем, что меня заподозрили?» Он шагнул сначала к Стефании, потом к маме, посмотрел на маму так, словно хотел ударить, но тут я заслонила ее собой и толь-

ко взглянула на него, и тогда он ушел — все уходили, один за другим, комната пустела, как пустеют песочные часы, когда из них высыпается пёсок, под конец остались мама, Стефания и я, и Стефания сказала: «Значит, они опять искали Петера — разве он здесь?» Мама шепнула ей на ухо, где его найти, а именно — у Доры, та тогда уже жила в бараке возле железнодорожной насыпи, среди плетельщиков корзин, там никто не искал ни ее, ни его. Стефания тотчас же ушла, страха у нее уже не было, иногда у меня возникало подозрение — не предпочла ли бы она, чтоб ее арестовали вместе с ним.

— И она нашла его тогда?

— Она всегда находила его, но однажды его уже нельзя было найти, это случилось в тридцать восьмом, года через два после похорон бабушки.

Клара считает нужным оборвать разговор, она встает и убирает со стола и начинает мыть посуду, она не переносит, чтобы я ей помогала, она отстраняет меня локтем.

— Ты пойди погуляй,— говорит она мне,— и, если хочешь, зайди за мной к пяти в городскую библиотеку, я там работаю у них часа два, иди, пока солнце светит.

Это приказ, я выполняю его, я иду гулять, это значит, что я бесцельно блуждаю по городу, не более уродливому, чем другие разбомбленные в войну и отстроенные снова города средней величины, он, пожалуй, даже красивее других, чувствуется, что он отстраивался по какому-то плану. Время послеобеденное, стоит сентябрь, единственный в году месяц с устойчивой погодой, он, с его сухостью и ясностью, вызывает своего рода эйфорию у собирающихся лететь на юг ласточек, у сидящих на скамейках в городском парке стариков и у детей, вопреки правилам уличного движения катающихся по тротуару на велосипедах и роликах. Я тоже готова впасть в это состояние, я нуждаюсь в нем после стремительного погружения в семейное прошлое, но мне не удается по-настоящему приобщиться к нему, так же как это не удается другим взрослым, моим современникам, в очках, защищающих от солнца боящиеся света глаза, со снабженными фильтром сигаретами во рту, с тремя по меньшей мере пакетиками пилюль в кармане — для взбадривания, для успокоения и против беременности или против импотенции, с роскошными искусственными челюстями во рту, которые иногда трут десны, со стимулятором для изнуренного сердца в разрезанной и снова зашитой грудной клетке, только с третью желудка, со скрытно и бурно разрастающимися опухолями предстательной железы и матки, со страхом перед люэсом, с никогда не признаваемой неврастенией, с тайными и явными преступлениями против правды и любви,— они ходят туда-сюда, занимаются делами, для успеха которых погода имеет меньшее значение, чем биржевые бюллетени, вывешенные на стенах шести банков (я пересчитала их во время прогулки). Утомленная участием в этой возне, я усаживаюсь на Маркплац в одном из бело-зелено-розовых «кафе-мороженых», там, где когда-то находилось призрачно-уютное заведение Каунигеров, то есть приблизительно в восьми или десяти метрах от утрамбованных в земле, будто бы никогда не найденных останков Мали и тети Берты. Я заказываю пломбир и тем самым покупаю себе неотъемлемое право сидеть под оранжевым зонтом на тротуаре, в первых рядах партера, у самой сцены, на которой разыгрывается «жизнь»: развозящие товары грузовики с ревущими, неправильно установленными моторами вперемежку с громко тарахтящими мотоциклами; мотороллеры с сидящими на них прямыми, как жерди, длинноволосыми и плоскогрудыми девицами; личные автомобили с мужчинами за рулем, небрежно свесившими локоть из окна; нервно и враждебно настроенные пешеходы, избегающие встреч друг с другом, судорожно старающиеся не смотреть друг другу в лицо, откуда и куда они все, откуда-то изгнанные, куда-то гонимые, вовлеченные в круговорот, снова и

снова обещающий повороты и проезды, но не сдерживающий своего обещания — ведь это кольцевая магистраль, где нет ни права на остановку, ни автомобильных стоянок, где водитель окружен синими стрелками, неумолимо требующими, чтобы он ехал дальше; это заколдованная езда на месте, статика, имитирующая динамику, мотор, давно уже работающий на холостом ходу, двигатель, сделанный из листового железа и человеческих мускулов, стальных лент и живых нервных волокон, это напоминает анатомический атлас, грубый его набросок, но есть тут и что-то истерическое, все это готово вот-вот превратиться в обломки, все это уже отжило, но принуждено еще пережить апокалипсические отрезки времени, это абсурдный игральный автомат, на котором каждый проигрывает, снова и снова проигрывает, к чему же все это, пусть вертится, пока с треском не взлетит на воздух или, разъеденное химическими ядами, не распадется до окрашенной в отвратительный цвет навеки ни к чему не пригодной пыли, не пытайтесь спасти обреченное, его не стоит спасать.

Но что это за дешевые мысли, нашептанные местным чертом, посредственным искусителем, дьяволом из среднего сословия, не рассчитывавшим встретить здесь кого-то, кто в состоянии обратить его в бегство взглядом, брошенным на него и вокруг, взглядом, исполненным безумной нежности к этой безымянной неразберихе, диаметрально противоположным по внутреннему смыслу взглядом, благодаря которому этот отработавший свое железный механизм преобразуется в оснастку парусного судна размером с земной шар, которое, споря с волнами, все же идет по курсу,— оно даже наверняка достигнет места назначения, наверняка.

Но моя влюбленность в жизнь и моя надежда плохо держатся на ногах, в этот час они скорее стоят на ходулях, и одного-единственного глупо-самонадеянного взгляда какого-нибудь прохожего, одного-единственного лживого заголовка какой-нибудь газеты в ближнем киоске, одного-единственного воспоминания о прошлом этого города достаточно, чтобы опрокинуть их. Этот город питается мертвечиной надежд его жителей, сегодня, как и тогда, во времена Ми-и-ны Мартин и Доры Лилиенталь, он душит и пожирает надежды так же равнодушно, как свиноматка неугодный ей выводок поросят; здесь, в этот послеобеденный час, город разлегся и пережевывает минувшие десятилетия, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести, ни малейшего раскаяния. Я чувствую, что тотчас же должна сделать выбор между безграничной тоской и безболезненной скукой, и я из трусости выбираю скуку. Я плачу за мое мороженое, поднимаюсь, ухожу. Хорошо, но что же дальше, я останавливаюсь перед витринами и ставлю перед собой серьезную задачу найти что-то, что я могла бы преподнести Кларе, но я ничего не нахожу, все мне не по вкусу, лучше я пойду в кино, но самый ранний сеанс в шесть часов, через два часа, и какой там вообще показывают фильм, итальянский вестерн, разумеется, на афишах актеры с глупыми лицами суперменов хладнокровно убивают друг друга, почему ни одно государство мира не запрещает это воспитание убийц? Чем идти на это убийственное зрелище, лучше отправиться на кладбище к тем, для кого все это позади и кто знает всему этому цену.

Вдруг мне приходит в голову, что есть ведь еще Анна, игравшая на мертвой колее со Стефанией, и Кларой, и Эрихом, и Петером, и Максом, и Георгом, потом она сделалась кухаркой у «господина крейслейтера» и вышла замуж за ставшего фашистом Макса Бределя, который повесился в ивовой роще после проигранной Петером и выигранной господином Нильсом войны. Я двумя руками хватаюсь за эту мысль и намереваюсь отыскать эту Анну. Я буду действовать методически: сначала установлю, где ее искать: среди живущих или среди умерших (что Клара говорила о какой-то Анне, которую благотворительным организациям следует послать на отдых, я вспоминаю позднее), я

должна, таким образом, обратиться сначала к спискам мертвых в бюро записи актов гражданского состояния, а потом к картотеке адресного стола. В списке мертвых находятся двое Бределей — Ганс, должно быть, отец Макса, коммунист, умерший в тысяча девятьсот тридцать пятом году в Дахау (там не указано, что это случилось в концентрационном лагере), и Макс, умерший в декабре тысяча девятьсот сорок пятого года (повесился в ивовой роще, это там тоже не указано). Никакой Анны Бредель нет среди мертвых. Среди живых, зарегистрированных адресным столом, есть Анна Бредель, она родилась в тысяча девятьсот тридцать пятом году, она не может быть той, которую я ищу, но, вероятно, это ее дочь или какая-нибудь другая родственница, наверняка из местных, она сможет рассказать мне что-нибудь о прошлом этого города, за которым я не признаю права ни на действительное настоящее, ни на будущее, но который волочит за собой пугающе большой груз прошлого. Этой Анны Бредель, чей адрес я беру, нет дома; ее соседка отсылает меня в один из больших торговых рядов, где продают готовое платье и где Анна работает кассиршей в уютно обставленном отделе «Детские моды»; она принимает деньги, чаще всего крупные купюры, матери отдают их, не хмурясь, не бросая озабоченного взгляда в бумажник,— отдают, так сказать, не глядя, чтобы показать ничтожной кассирше, что деньги есть и что им не придают значения, но горе этой кассирше, если она обсчитается на марку, одна из покупающих, задирающих нос матерей даже зовет заведующего отделом и в ожидании его стоит с полученной сдачей на вытянутой ладони, «вот что эта мне дала», но выясняется, что «эта» дала правильно, дама удаляется не извинившись, кассирша, Анна, только пожимает плечами.

Я некоторое время стою в стороне и тем самым возбуждаю подозрение у одной из продавщиц, она описывает вокруг меня круги, потом недружелюбно спрашивает, чего мне надо, я отвечаю: «Ничего». Это ее обескураживает, на это она не знает ответа, она уходит.

Анна Бредель, тысяча девятьсот тридцать пятого года рождения, то есть всего лишь тридцативосьмилетняя, выглядит посеревшей, удрученной, как будто потертой от частого употребления, почти изношенной среди других, более молодых и не более молодых, но свежеотлакированных продавщиц. Она меня уже заинтересовала. Воспользовавшись кратким перерывом в работе (она устало облокачивается на кассу и смотрит в пустоту), я заговариваю с ней, я без обиняков спрашиваю ее, звали ли ее родителей Максом и Анной, она озадачена и, захваченная врасплох, говорит: «Да», но тут же ее взгляд становится испуганным. Я спрашиваю дальше, жива ли ее мать.

— Да, жива.

— А где она живет?

— В деревне, но она каждую пятницу приезжает в город и остается до конца недели, она тут работает.

— Кем?

— Уборщицей в общественной уборной, что в привокзальной гостинице.

Однако теперь Анна наконец-то желает знать, кто же я такая, что так ее расспрашиваю. Я говорю: старая знакомая ее родителей.

— Мой отец,— говорит Анна,— уже очень давно умер.

— Я знаю, он умер в сорок пятом году.

— Да, значит, это вам известно. Он умер от истощения, когда вернулся из русского плена.

Я спрашиваю себя, неужели она ничего не знает о его самоубийстве или же не хочет ничего говорить мне об этом, кто я такая, в конце концов, я чужая, она не доверяет мне, она не доверяет всему миру, она рада, что к кассе подходят клиенты, я чувствую, что она распрощалась со мной, но тут она делает мне знак подождать, чего она хочет

теперь? Она хочет выяснить, хорошо ли я знала ее отца, я говорю: — Нет, но мои родственники, Мартины, хорошо знали его.— О,— говорит она,— Мартины! Клара так помогла нам после войны, без нее моей матери и меня не было бы в живых, после того как отец, вы же знаете, как это было, лишился жизни, и еще господин Нильс, вам известно, кто он такой, он тоже помог нам.— К кассе опять подходят покупатели. Я должна подождать ее, но разговора больше не получается, заведующий отделом уже неодобрительно косится на нас, мы можем встретиться позднее, в пять, да, у главного выхода.

Что же вдруг заставило ее так разговориться? Пароль: «Клара». Тот факт, что я — родственница Клары, делает мне честь и внушает ко мне доверие. Эта Клара, сама она считает себя горбатым ничто, она не признает за собой никаких прав, даже никаких обязанностей, но она всегда поступает так, как нужно, не устанавливая различий между ближними и более дальними. Клара, которая не ходит в церковь с той поры, как церковники и пальцем не пошевелили, чтобы спасти еврея Эриха Бернхаймера и других евреев, и с той поры, как американские бомбы разрушили и сожгли городскую католическую церковь и превратили в остроконечное пламя товарища детских игр на мертвой колее, взрывной волной вынесенного из портала и катапультированного через Марктплац,— этого Клара не прощает богу, здесь граница, здесь кончается ее почти бесконечная способность понимать и терпеть, здесь она наталкивается на что-то, по меньшей мере непонятное. Каждый раз, когда Клара идет в городскую библиотеку, где помогает в работе, она делает крюк, чтобы миновать новую церковь, для Клары не существует новая церковь и вообще церковь, ее отношение к богу — это отношение глубоко и несправедливо обиженной и обделенной, ждущей, что бог торжественно попросит прощения у нее и у всех и восстановит справедливость, как он этого требует от людей. Отношения Клары с богом, по-видимому, уже не наладятся.

Остается еще час до того, когда мне надо зайти за Анной. Я отыскиваю городскую библиотеку, надо сказать Кларе, что я не смогу, как условлено, зайти за ней. Через витрину мне удается понаблюдать за Кларой, она сидит за столом и выдает книги, она окружена молодыми людьми, судя по типу, старшеклассниками, длинноволосыми детьми богатых родителей в нищенской, разлохмаченной одежде, они что-то доказывают Кларе, и Клара внимательно слушает их, взглядывая на них снизу вверх, а когда говорит она, все внимательно слушают ее, идет дискуссия, молодые люди кажутся чрезвычайно заинтересованными мнением Клары, мне бы хотелось услышать, что она говорит им, разговаривает ли она их языком, социологическим немецким, которому мальчишки обучаются, как обезьяны гимнастике, школьное образование Клары ограничено тремя годами неполной средней женской школы, потом больше не было денег, и ей быстро пришлось зарабатывать самой, она обучилась шитью и стала портнихой на бернхаймеровской фабрике, я дорого отдала бы за то, чтобы послушать ее, но я была бы только помехой и привела бы Клару в смущение, поэтому я передаю с собирающейся войти девушкой записку: «Приду домой только вечером».

Остается еще три четверти часа. Я прохожу мимо церковного портала. Настало время осмотреть мемориальную доску, которую они (кто?) недавно установили в честь пастора Георга, через тридцать лет после того, как он погиб в огне. Церковь построена архитектором, навязавшим модные в послевоенные годы представления о функциональном значении провинции, уродливая ее простота — это бедность замыслов и веры, она и пахнет не так, как ей полагалось бы пахнуть, в этих серых, мертвых, цементных стенах не удерживается никакой запах, ни чистоты, ни ладана, ни молитв, там пахнет только душным подвалом и сырой известкой, с помощью которой вмазали в стену ме-

мориальную доску, ее поместили слишком высоко, можно вывихнуть шею, разбирая надпись:

ПАМЯТИ
НАШЕГО НЕЗАБВЕННОГО
ДОСТОЧТИМОГО ПАСТОРА
ГЕОРГА МАКА,
15 МАРТА 1943 ГОДА
УБИТОГО АМЕРИКАНСКИМИ БОМБАМИ,
КОГДА ОН МОЛИЛСЯ У АЛТАРЯ
О СПАСЕНИИ ГОРОДА

Это читается так, если вообще читается, это принимается за простую информацию, кто в этом усомнится? Но почему мой детектор лжи заработал, почему меня ударило в солнечное сплетение, или в этой благочестивой надписи не все соответствует истине, или неверно то, что его убили американские бомбы? О, эти американские дьяволы, они убили ни в чем не повинного человека, их даже не остановило убийство священнослужителя, опять «Murder in the Cathedral»[1]. Убит американскими бомбами. Не забывайте этого, вы, немцы, не забывайте американских военных преступников! А где же в этой церкви мемориальная доска для Петера Нильса, борца Сопротивления, где доска для Эриха Бернхаймера, еврея, и для еврейки Доры Лилиенталь, где доска для всех людей, нами, немецкими католиками, нашими немецкими протестантскими братьями во Христе расстрелянных, убитых, удушенных газом, сожженных? Я вырываю листок из блокнота и пишу на нем:

«Вы лжете! Не американцы убили вашего пастора, а вы все, те, кто не поднялись против фашистов, начавших войну, а кончить ее можно было только с помощью американских бомб, иначе Германия стала бы пустыней. И где у вас мемориальная доска для антифашистов и где для евреев, из племени которых происходил ваш Иисус?»

Это не блестящее достижение писательского или пропагандистского искусства, но в данную минуту мне ничего лучше не приходит в голову, я прикрепляю записку под настенным светильником, она отчетливо видна, кто ее обнаружит, кто ее прочитает, кто-то ее снимет, сомнет, выбросит и скажет: «Конечно, опять проделка молодых левых, этих дебоширов, для них и церковь не священна, даже здесь они занимаются коммунистической пропагандой».

Как бы мне хотелось начертать мои слова черной краской огромными буквами во всю ширь церковной стены — краской, ничем не смываемой и проступающей сквозь все подмалевки, такой, чтобы надпись, даже если бы церковь снесли, осталась в воздухе, вот какая это должна быть краска, но, насколько я знаю мой народ, первый попавшийся химик изобрел бы пятновыводитель, который без помех удалил бы даже «Мене, текел, упарсин» со стены дворца Навуходоносора[2]. Я ожесточена, и я не стыжусь моей ожесточенности.

Я еще раз присматриваюсь к мемориальной доске. «Когда он молился о спасении города». Это звучит трогательно — но скажите, пожалуйста, откуда известно, о чем молился Георг Мак? Не мог ли он молиться о том, чтобы город НЕ БЫЛ спасен, чтобы огонь пал с неба и дочиста пожрал все грехи вместе с грешниками, всю трусливую ложь его паствы, все ее политическое двуличие в присутствии блоквартов, ортсгруппенлейтеров, крейслейтера Флекмана, собственных бравых сыновей и дочерей в форме гитлерюгенда, всех доносчиков, а это значит, чтобы огонь пожрал и все подстрекательство к убийст-

[1] «Убийство в соборе» *(англ.)* — драма Т. С. Элиота, изданная в 1935 году.

[2] «Мене, текел, упарсин» — эта предвещающая гибель надпись появилась, согласно легенде, на одной из стен дворца во время Валтасарова пира.

вам и все пособничество в убийствах, то, в чем признавались на исповеди, перенося ответственность на обязанного молчать исповедника, превращая его, таким образом, в соучастника вины, все укрывательство преступников, которым занимались, когда отворачивались от угоняемых евреев и левых, да еще втайне одобряли их угон, одобряли в особенности в том случае, если угоняемые были конкурентами,— не мог ли пастор молиться о том, чтобы огонь (все равно, из чьей руки) поглотил все отбросы? Не мог ли он молиться о том, чтобы огонь пожрал и его самого, чтобы ему больше не приходилось видеть эти отбросы? Что, если спасение, о котором он молился, было погибелью? Кого и что мог хотеть спасти Георг Мак — нагромождение убогой посредственности и подлости? Затруднять этим бога? Или он спас бы хоть часть города? Но какую? Добился ли он, чтобы немногие праведники были пощажены? Или спасение совершалось, как всегда и всюду, без выбора? Разве те, кто умер, все были злые? Или просто-напросто около сотни людей, случайно оказавшихся вблизи церкви и Маркт-плац, расплатились за тридцать тысяч остальных, не по доброй воле, их убило рухнувшей колокольней и шестью медными колоколами, они задохнулись в абсолютно бомбоустойчивых убежищах, в которые через поврежденные трубы потек газ, они заживо сгорели на площади, когда не оставалось выхода из огня, сгорели, как и сам молящийся, который полыхающим факелом (говорит Анна) вылетел из объятой пламенем церкви, Анна это видела, она была среди детей, еще успевших убежать, на ее голову упало лишь горящее стропило от алтаря, она поднимает волосы и показывает шрам, там никогда уже не вырастет ни один волосок, но, говорит она, пастор — тот погиб, стоя во весь рост и не крича, однако это легенда, действительность была иной, о ней я узнаю позже.

Пока я, пережевывая горечь, стою перед мемориальной доской, кто-то шаркает ногами поблизости, старик, он берет свечу с бокового алтаря и сдирает с нее восковые слезы, он — ризничий, я упрямо остаюсь стоять перед доской с моим листком протеста, мне хочется, чтобы он прочитал его. Он подходит ближе, но он, это выясняется сразу, очень близорук, он принимает меня за какую-то знакомую и должен подойти ко мне вплотную, чтобы понять свою ошибку. Не беда, я вижу в нем возможного летописца. Я спрашиваю его, знал ли он пастора Мака.

— А как же, ведь я уже тогда был ризничим.

— А каким был пастор Мак?

— Слишком молодым.

— То есть как это слишком молодым?

— Для тогдашних времен.

— Для каких «тогдашних» времен?

— Для нацистских, он был так молод, что не умел держать язык за зубами.

— А нужно было держать язык за зубами?

— И да и нет, если вы меня правильно понимаете, но вы этого не поймете, вы слишком молоды, вы не знаете, как тогда все было. (Опять «слишком молода»!)

— Я не слишком молода, я очень хорошо знаю, как тогда все было.

— Может быть,— говорит он,— но вы не знаете, как все тогда было для духовенства.

— А как?

— Если священнослужитель был против нацистов и он высказывал свое мнение, его отправляли в концентрационный лагерь, тогда община оставалась без священника, а если он не высказывался против, тогда считалось, что он трус или что он за нацистов, что же делать, говорить или молчать, одно было так же неверно, как и другое, но для паствы все же было лучше, если пастырь держал язык за зуба-

ми, он сохранял ей возможность опираться на него, и это была сильная опора, если же он не держал язык за зубами, тогда выходило, что он подстрекает католиков, что все они — враги государства и народа, и вот по воскресеньям в церковь являлась пара нацистов, шпиков, и они стенографировали проповеди, в ту пору еще не было магнитофонов и лент для этой цели, в ту пору просто записывали сказанное, и потом, на допросе, никто не мог проверить, говорилось ли что-либо подобное. Наш пастор был слишком молод и неосторожен, он признавал только «да» или «нет», конечно, это хорошо, это прекрасно для нормальных времен, но в те времена это было плохо, он и капелланов подзадоривал, и всех нас ставил в трудное положение.

— Чем, например?

— Например, проповедью о свиньях, в которых вселился злой дух, это было из воскресного Евангелия. «Умолкни и изыди»,— сказал Иисус бесноватому, и бес вышел из него и вошел в свиней; пастор Мак объяснил, что бывает злой дух, кричащий не только одним-единственным ртом и вселяющийся не только в одно-единственное тело, а по крайней мере в пятьдесят миллионов тел, и он из них кричит, он кричит всегда одно и то же, как все бесноватые, и тут уж не поможет никакое изгнание беса, сказал он, но у бога есть время для ожидания, и поэтому мы тоже должны ждать, сказал он, все его поняли, шпики, конечно, тоже, и потом его забрали, но крейслейтер допросил его сам и отпустил на свободу, он сказал: «Впредь до дальнейшего», в гестапо он сообщил, что за пастором надо установить более длительное наблюдение и это он берет на себя, однако Флекман не причинил пастору вреда. Пастор Мак сказал тогда: «Если б я не думал о моей пастве, я молил бы бога, чтоб меня тотчас же отправили в Дахау, к моим находящимся в узилище собратьям».

— Почему же крейслейтер его, так сказать, взял под свою опеку?

— Почему, почему? От Флекмана можно было ждать чего угодно, он был всемогущ, он делал то, что находил нужным, он носил золотой значок старого члена партии, он уже в тридцать третьем участвовал в движении, к его словам прислушивались павлины...

— Кто, повторите, пожалуйста? Павлины?

— Те, у кого было много золотых нашивок, нацисты высшего разряда, их прозвали павлинами. Вообще говоря, жаль, что Флекман покончил с собой. Если бы он выждал пару лет, если бы он скрылся в Южном Тироле или в Аргентине, а потом вернулся сюда, никто его пальцем не тронул бы, он снова был бы важной птицей, как другие старые нацисты, среди них бывали и очень разумные люди, например, один бывший федеральный канцлер, человек что надо и христианин, а Флекман слишком поторопился, ну что ж, пусть господь дарует и ему вечный покой.

— Аминь,— говорю я и справляюсь с моим гневом, чтобы получить еще больше информации.— А как, собственно, обстояло дело со смертью пастора Мака?

— Как обстояло дело? Мы были в церкви, он и я, я убирал ризницу, пастор готовился к занятию с первопричастниками, он стоял в церкви у алтаря, тут объявили воздушную тревогу и сразу же налетели первые бомбардировщики, по ним открыли зенитный огонь, я крикнул: «Бегите, пастор!» И он крикнул: «Беги, ризничий, бегите, дети!» — но он не побежал с нами, я еще успел увидеть, как он бросился на ступени алтаря, а потом с неба обрушилось пламя, а когда я оглянулся, что-то полыхающее бежало из церкви и взывало о помощи, но кто мог помочь, потом я перестал видеть и слышать, а когда занялись расчисткой развалин, нашли на площади нечто, это, вероятно, был пастор, обугленный, но если вы хотите иметь точные сведения, сходите к его матери, она еще жива, живет в доме для престарелых.

Однако теперь он все же хочет знать, кто я такая, и я говорю ему,

что я — родственница Клары Мартин и ребенком играла вместе с Георгом Маком.

Ожидаемого действия не происходит, слово «Клара» не служит здесь волшебной отмычкой.

— Так,— говорит старик,— значит, родственница Клары Мартин.

Это все, что он говорит, но то, как он это говорит, свидетельствует о почтительном осуждении. Клара ему не по душе, и тема разговора ему тоже не по душе, он начинает возиться с литургическими тетрадками, которые неровной стопкой лежат на скамье для молящихся. Потом он говорит вдруг: — Клара Мартин отреклась от церкви.

Он говорит это озабоченно. Я оставляю прежнюю тему и начинаю новую: господин Нильс, знал ли он его?

— А как же, ведь он был бургомистром и владельцем газеты.

Опять этот тон, указывающий на почтительное соблюдение дистанции. Что этот старик может иметь против господина Нильса, разве не был он отважным борцом Сопротивления, разве нет у него больших заслуг в восстановлении города, разве не он восстановил церковь?

— Да, но с той поры в муниципалитете засели красные, и мы никак не можем выгнать их оттуда.

— Они делают что-нибудь скверное?

— Что значит «скверное»? Левые остаются левыми, им нельзя доверять, а сегодня меньше, чем когда-либо, мы еще увидим, до чего доводит эта дружба со странами коммунизма, вот посмотрите, они рано или поздно придут и к нам. А сын старого Нильса сам был настоящим коммунистом, вам это известно? Нацисты расстреляли его.

Он говорит это без сожаления, я убеждена, он воспринимает эту смерть с удовлетворением, не зависящим от личности погибшего, ведь эта смерть была божьей карой, предостережением всем левым, которые, это же известно, все безбожники, а бог не позволяет шутить с собой, в особенности коммунистам.

— Но ведь господин Нильс был социал-демократом?

— Невелика разница!

— А молодой Нильс, ведь он был его единственным сыном?

— Да, и если бы отец хорошо воспитал его и если бы его мать не умерла так рано, Петер и сегодня был бы жив.

Вот как все просто для старика. Я опять начинаю новую тему. Знал ли он Бернхаймеров?

— Евреев с фабрики сукна? Конечно, те вовремя убрались в Америку со всеми своими денежками, таким все удается.

— Но их сын, Эрих, ведь он попал в концентрационный лагерь, его убили нацисты.

— Может, и так, но кто знает, как оно было.

И эта тема тоже не устраивает старика, его вообще не устраивают все мои расспросы, я ему вообще подозрительна, быть может, он сказал мне слишком много, или слишком мало, или что-нибудь не так, он хочет убежать от моих вопросов, он начинает бег на месте, переступает с ноги на ногу, сейчас он прошаркает куда-нибудь, мне надо поскорее набросить ему петлю на шею, ту петлю, которой удавился Макс Бредель.

— Бедняга, говорили, что у него не все дома с той поры, как он вернулся из русского плена, а на самом деле он просто не вынес позора.

— Какого позора? Что Германия проиграла войну или что уничтожили национал-социалистскую партию?

— Какое там, своего собственного, личного позора: его жена была американской девкой.

— Как это?

— Девкой, путавшейся с американскими солдатами.

— Вот оно что, и это было известно?

— Она это делала за сигареты и нейлоновые чулки, за шоколад и мыло. Хорошо, что пастор Мак до этого не дожил.

— Может быть, он понял бы ее лучше, чем вы.

— А что там понимать, разврат остается развратом.

Я молча указываю на крест, висящий за его спиной, и говорю:

— Вон тот даровал прощение девкам, но не лицемерам.

Старик смотрит на меня так тупо, что я понимаю: он ничего не соображает. Но я не берусь быть судьей над ним, даже и присяжным заседателем, я даю себе отвод прежде, чем ко мне начнут взывать мертвые, я молча ухожу, я оказываюсь повинной в грехе бездействия, но каждый мой шаг — это крик протеста. Однако чем, собственно, виноват старик, если в детстве магнитную стрелку его компаса раз и навсегда закрепили в ложном направлении, так что она уже не может сдвинуться, когда сходят с правильного курса, чем виноваты такие люди, вот в чем вопрос, чем виноват человек? Это вопрос, на который имеется много ответов, штурмующих вопрошающего, как радиоволны сотен радиостанций, их нельзя разделить, одна волна находит на другую, остается лишь сумятица шумов. Я отключаю мой мозг, мне из опыта известно, что только в молчании, когда радиостанции смолкают, находится правильный ответ.

Теперь часы бьют пять, время зайти за Анной, Анной, дочерью висельника и проститутки. Она мне уже нравится, и это назло городскому ханжеству. В течение последующего времени выясняется, что никто, кроме старого ризничего, не интересуется родителями Анны и их нравственностью. Мы стали намного великодушнее, мы не отстаем от времени, что, в конце концов, такое «девка», бедной Анне Бредель нужно было прокормить своего ребенка, а потом еще и мужа, бывшего нациста, ничего не зарабатывавшего, скажите, пожалуйста, что ей оставалось делать и девка ли та, которая делает это от нужды и только в течение некоторого времени? А Анна, дочь, придерживается ли она того же мнения?

Анна выходит из ворот, ставит штемпель на свой пропуск, она идет медленнее, чем остальные, она — серое пятно среди пестроты других, но и она приукрасила себя к вечеру губной помадой и слишком большим количеством румян, однако даже и густые румяна не скрывают пепельную серость ее кожи. Анну не радует встреча, она уже успела пожалеть, что пошла на это, чего можно ждать от разговора с совершенно неизвестной особой, утверждающей, будто она знала ее родителей, это наверняка какое-нибудь преднамеренное выспрашивание, лучше промолчать или сказать что-либо второстепенное. Слова этого угрюмого внутреннего монолога написаны на ее лице и выражаются в нерешительной, преодолевающей внутреннее противодействие походке. Дверца в клетке, перед этим — благодаря паролю «Клара» — приоткрывшаяся было, закрылась опять, птица забилась в самый дальний угол.

Анна протягивает мне сквозь прутья решетки руку, совершенно холодную, и тут же убирает ее обратно.

— Может быть, мы выпьем кофе или поедим мороженого?

Нет, ей не хочется, после долгого сидения за кассой лучше немного пройтись. Куда-нибудь. Вблизи находится парк, а в нем пруд, туда и ведет меня Анна, нарочно или нет, но она ведет меня прямиком к месту, где между увядшими рододендроновыми кустами сооружен гранитный памятник. Где я недавно видела такой же гранит? На памятнике, не черным по черному, как на кладбище, а золотом по черному написано:

ОСНОВАТЕЛЮ ЭТОГО ПАРКА
РАЙНХАРТУ НИЛЬСУ,
БУРГОМИСТРУ ГОРОДА
С 1945 ГОДА ПО 1956 ГОД

Что там внизу, в правом углу, кажется, вырезанный на камне рисунок? Углубления в нем вновь заполнены гипсом и закрашены, но непогода и время на стороне рисунка, гипс разъеден, сегодня контуры рисунка опять видны: это голубь, оспоренный и оспариваемый, но устоявший. Анна прослеживает за моим взглядом и отвечает на мой незаданный вопрос:

— Теперь они не трогают его, они привыкли к нему.

— А вы?

— Что вы хотите этим сказать?

— Относитесь ли вы к голубю с одобрением?

Она молчит, она чует ловушку. Оставим голубя в стороне. Господин Нильс может оказаться лучшим предметом разговора, она ведь знала его, каким он был?

— Дельным бургомистром.

— Он помогал вам и вашей матери?

— Да, это так.

— Вы что-нибудь слышали о смерти его сына?

— Об этом никто не знает ничего достоверного.

— Вы помните своего дедушку?

— Как?

— Верно, что он погиб в концентрационном лагере Дахау?

— Да.

— Почему он туда попал?

— Туда легко было попасть, для этого не требовалось определенной причины.

— Ваш дедушка был коммунистом.

— Может быть. Я тогда еще не родилась. Я вообще ничего не знаю о том времени.

— Фрейлейн Анна, я не политический агент, и мы теперь живем не при диктатуре, просто меня лично интересует, что сталось с детьми, когда-то игравшими друг с другом. Почему вы ничего не хотите рассказать мне об этом?

— Моя мать сделает это гораздо лучше меня, она говорит о прошлом охотнее, чем я. Я такая же, как мой отец.

— Если память мне не изменяет, он был тихий и грустный.

— Верно. Тихий и грустный. Но он был хороший, и тот, кто утверждает иное, лжет. (Она говорит это очень громко, даже угрожающе.)

— Кто же утверждает, что он не был хорошим?

Она очерчивает рукой по воздуху круг, этот круг охватывает весь город.

— И что они говорят, фрейлейн Анна?

Теперь она борется со слезами и едва может говорить:

— Его назвали бесхребетной свиньей.

— Это как же?

— В молодости он был коммунистом, как и его отец, а потом пришли нацисты, и моего дедушку одним из первых бросили в лагерь. Моему отцу тогда было двадцать пять лет. Ему сказали, что он следующий на очереди и пусть он призадумается и станет нацистом, это даст ему надежду на спасение отца. Вот он в конце концов и вступил в национал-социалистскую партию, а дедушку они не выпустили, он все равно умер, естественной смертью, как они уверяли, и тут мой отец вышел из партии, его вызвали на допрос, и он сказал им, почему он пошел в партию и почему он вышел из партии. Он все бросил им в лицо, ему было безразлично, арестуют они его или нет, но тогда состоял в партии и находился при допросе один человек, который потом стал крейслейтером и бургомистром, ему удалось сделать так, что с отцом ничего не случилось, только отцу пришлось опять вступить в партию, там он и остался, хотя всегда был коммунистом и до смерти ненавидел нацистов, они ему никогда и не доверяли, в свою

безопасность он более или менее поверил только тогда, когда женился на маме и она стала кухаркой у крейслейтера Флекмана, с той поры Флекман лично оберегал нас; после войны мой отец, конечно, пожелал вернуться в свою прежнюю партию, но не смог, а потом повесился — вот теперь вы знаете все.

Это еще вопрос, знаю ли я все, но я знаю кое-что важное, а от матери Анны я узнаю еще больше.

У Анны теперь лоб в поту, и от нее пахнет потом, это пот, от которого не отделаться никакими надушенными подмышниками, Анна потеет изнутри, она потеет от страха, страх в ее внутренностях и в ее мозгу, он окрашивает ее кожу и ее волосы в пепельно-серый цвет. Я чувствую, что она хочет сказать еще кое-что, теперь, когда дверь в клетку открыта настежь. Я стараюсь, чтоб она оставалась открытой.

— Как ваша мать пережила все это?

— Так, как вообще переносят такое: каждый день думаешь, что не переживешь, а потом проходит день за днем, уходит время и остаешься жить. Мать привыкла к суровой жизни, она тоже была дочерью рабочего и из семьи коммунистов, ее отец тоже был в лагере, в Дахау, он болел туберкулезом, его выпустили, и он умер дома, но семья всегда была под подозрением, до тех пор, пока мать не стала работать у Флекмана, это, с одной стороны, было спасением, но это, с другой стороны, было адом, подумайте только: находиться в зависимости от нацистского крейслейтера им, старым коммунистам, что это для них означало, однажды они дошли до того, что открыли газ, а потом им стало жаль меня, я была маленьким ребенком, они не захотели взять меня с собой на тот свет, а оставить одну тоже не решились, вот они и продолжали жить.

— А после войны?

— Тогда нам жилось как всем жилось в ту пору: каморка в бараке у железнодорожной насыпи, и есть нечего, и отец, вернувшийся из плена, он день за днем сидел и говорил: «Лучше бы мне не возвращаться домой, почему меня никто не расстрелял, расстреляйте меня, я сам слишком труслив», и так постепенно он сошел с ума, обезумел, и тогда он повесился, это было понятно.

— А мать?

— Мать заботилась обо мне, а поначалу и об отце, когда он еще жил.

— Была у нее работа?

— Работа? По расчистке развалин. А потом нам помог господин Нильс, он дал нам приличную комнату и устроил мать уборщицей к американцам, тогда у нас было что поесть, мать всегда приносила домой еду, ведь американцы просто-напросто выбрасывали недоеденное. Но к тому времени мой отец был уже мертв. А обо всем остальном моя мать расскажет вам сама. Я отведу вас в привокзальную гостиницу, мать, вероятно, уже там.

*(Окончание следует)*

■

---

**СИМОНЯН ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА** (1919—1980).

Советский критик, литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с немецкого. Автор критических статей о В. Борхерте, Г. Вайзенборне, К. Вольф, З. Ленце, Э. М. Ремарке, С. Цвейге, П. Шаллюке, Э. Штриттматтере и других немецких писателях. В ее переводе вышел роман Герберта Иобста «Подкидыш». В журнале «Иностранная литература», в котором она сотрудничала начиная со дня его основания, публиковались ее статьи, посвященные литературе ГДР и ФРГ,— «Люди и книги. Проза ГДР о молодом современнике» (1964, № 1), «Главным образом о чудаках, немного о хэппенингах» (1968, № 12) и другие работы.

# МИРЧА ДИНЕСКУ

*Перевод с румынского ЛЬВА БЕРИНСКОГО*

Много воды утекло с тех пор, как на страницах «Иностранной литературы» в статье, рассказывавшей о тогдашнем молодом поколении румынских поэтов, я называл имена Никиты Стэнеску, Марина Сореску, Аны Бландианы, Иона Александру. Прошло десять лет, они стали видными поэтами, их известность шагнула далеко за пределы страны... Помню, тогда, в 1971 году, я задавался вопросом — в каком направлении будут развиваться дальнейшие поиски молодых, и — любопытное совпадение! — как раз в том году вышел первый сборник стихотворений поэта, которому суждено было стать одним из самых интересных представителей следующего поколения молодых. Имя этого поэта — Мирча Динеску.

Серьезное признание началось, пожалуй, в 1976 году, после третьего сборника, «Владелец мостов», вышедшего двумя изданиями подряд. Критики заговорили о поэте, дружно сошлись на том, что перед ними — незаурядное явление в поэзии, и каждый по-своему пытался определить свойства его дарования и отличия от остальных...

Известно, что нельзя объять необъятное, а Мирча Динеску именно к этому стремится в каждом из своих стихотворений. Ему нужно, чтобы разом стихотворение было и лиричным, и саркастичным, и философским, и конкретным. Более того — он хочет такого многостороннего сплава, чтобы современное мировосприятие выражалось нерасчлененно во всей своей жизненной сложности. Обостренно чувствуя, горячо отзываясь, скептически отстраняясь — так его вдохновение с разных, даже противоположных сторон охватывает явление и воплощает его в слове. «Если б ты заснула, любимая, на рельсах железной дороги, зардевшиеся поезда на цыпочках обходили б тебя... прилетел бы ангел из-под высоких вокзальных сводов разглаживать твой сон павлиньими перьями... на площадях раздавали бы даром мыльные пузыри...». В этом стихотворении нежность с улыбкой, но без иронии, а вот в стихотворении «Современная коза» из цикла «Европейские эстампы», которое я попытался перевести, ирония не без горечи и печали:

Коза поедает розы муниципальных парков
грызет как свежую морковь мотоциклеты
не спешит рано утром в контору
не читает вечерней газеты
нагло пренебрегает светофорами
не назначает под часами рандеву
не грезит о лимузине и еще
не заявила патент на искусственную траву
хотя имеет некоторое представление
о том как выглядят леса

памятник в центре площади заменен другим
горожан на качелях качает дым
только настырная эта коза
дает молоко и даже вопросом не задается
как это ей удается

Почти детская непосредственность и ранимость, почти снобистская интеллектуальность — вот неразрывные крайности поэтического мира Мирчи Динеску. Потому он одновременно и поэт и антипоэт, он стремится к поэзии и чурается ее, боясь литературщины, ложной поэтичности. Он неистощим в ассоциациях, искусен в метафорах,

---

**МИРЧА ДИНЕСКУ — MIRCEA DINESCU** (род. в 1950 г.).

Румынский поэт. Начал печататься в 1967 г. Первую книгу стихов «Воззвание к никому» («Invocaţie nimănui») опубликовал в 1971 г. Затем вышли поэтические книги «Элегии той поры, когда я был помоложе» («Elegii de cînd eram mai tînăr», 1973), «Владелец мостов» («Proprietarul de poduri», 1976), «К вашим услугам» («La dispoziţia dumneavoastră», 1979), «Демократия природы» («Democraţia naturii», 1981).

Стихи, составляющие подборку, взяты из перечисленных книг и из еженедельника «Ромыния литерарэ».

и одновременно ему совестно и противно быть искусным. Он создает и разрушает, он тревожит, тормошит, побуждает трезво и требовательно оглядеться вокруг, защищать простые человеческие ценности в сегодняшнем сложнейшем техническом мире, защищать саму человеческую жизнь от нависшей над ней угрозы уничтожения.

Что может быть отвратительнее для поэта, чем те люди, кто, как куры (из одноименного стихотворения), умудряются «закрывать глаза на происходящее» и «кудахтать под сурдинку»? Это те, «кто перед страшным ликом войны полощут горло настоем ромашки» или «ищут в отбросах зерна новых религий» (см. стих. «Компьютер»). К активности, к гражданской ответственности искусства стремится поэт и хочет «разбить огромной кувалдой забор» литературных условностей, чтобы говорить с читателем, с человеком сегодняшнего дня в полную силу и начистоту.

**КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ**

## *Обет*

Любовь моя останется все та же —
пусть хоть земля прольется к облакам,
пусть хоть угаснет солнце или даже
падет, как плод надкушенный, к ногам.

Твое рожденье в мире — это песня.
Ох, как разорена твоя звезда,
ох, как летит слеза, сверкая в бездне,
в ту даль, где ты не будешь никогда.

Бичом приучен к славе и злословью,
поэзии ты жизнь свою отдай
с ее лазурною дрейфующею кровью
и веками, взлетающими в рай,—

с ее лазурною дрейфующею кровью
и веками, взлетающими в рай.

## *Кувшинки слез*

Слезы мои — золотые кувшинки,
может — зажженные в зорях слова,
может, любимую — стебли, травинки
всю исхлестали, покуда звала?

Кровь у тебя — зарешечена туго,
я — угасаю, в бездну летя,
ангелы, может, терзая друг друга,
в Вечность заманивают дитя.

Песней измучен и голову свеся,
слышу — в груди будто пчелы гудят,
мед собирая тебе с разноцветья,
вдаль унося его, может быть, в ад...

## *Благовещение*

Бросай свой камень, ангел, тяжкий камень,
снижающийся медленной звездой,
еще ночной не разгорелся пламень,
как птица, улетает свет дневной.

Быть может, голубиной смуты полон,
не отразишься в мутных зеркалах

в тот час, когда в цари крадется клоун
и время, как свинец, течет в слезах.

И чудотворцы пиршествуют в блуде,
и не видать огней в иных мирах,
и тернии вплели в венец твой люди,
свои скрывая раны в кружевах.

Быть может, только женщинам и кстати
ты был бы, среди прочих молодцов,
и свой пропел бы гимн о благодати,
но не для них — а для бродячих псов.

## *Творчество*

Долгое время я полагал что поэзия спит
у аиста под крылом
что нужно искать ее где-нибудь в темных лесах.
Но как бедный пророк изгнанный из пустыни
громким хлюпаньем нефтенасосов
я согласен теперь примириться с действительностью
и признаю
что был я неправ:
разбиваю огромной кувалдой забор
и в пролом вам даю заглянуть.

## *К вашим услугам*

По улицам ходит несчастье в моей оранжевой яркой рубашке
и друзья ему машут небрежно рукой
и я — доильщик больших цеппелинов поднявшихся в небо
между первой войной и второй —
отвечаю им на приветствие звякая ведрами над разъяренной
толпой
голосящей и тычущей пальцами и дружно бранящей меня:
«этот тип убежал от реальности»
«эй господин куда это ты взобрался
и на что намекаешь
своим цеппелиновым молоком?»
«врача бы сюда
пусть наложит гипс ему на воображение»
«тьфу да и только»
«а разрешение имеется?»
В конце концов пришлось к ним спуститься.
Наскучило быть молодым.
В больнице пять докторов пялились на мою смерть
как сквозь мутные стекла.
Один постучал мне в грудь.
Я сказал пусть заходит хотя я в себе
с некоторых пор
больше не проживаю.
«Тем лучше — ответил он — мы снимем тебя внаем»
И вот я — пожалуйста! — к вашим услугам:
недорог
удобен
и жду не дождусь когда вы продуете в кости мою
оранжевую рубашку.

## *Демократия природы*

В марте
взрывается наст лежалого мусора
обдавая кошками красными как пламя
неореалистический сумрак.
Город вскипает от фосфора их сладострастья
поцелуй отдает сладковатою серой;
беременные так и всплыли бы под потолок
будь они не такими грузными
и брюзжащими
над их вечной тарелкою супа
перед телеэкраном.
Рои мотыльков порхают по девичьим юбкам
и у меня опускаются руки
отяжелев от пыльцы;
небольшая теплоцентраль
установленная в горлышке лейки
могла бы сейчас работать на полную мощь...
Без дела без денег — сейчас ничего мне не страшно:
мальчик пи́сает на колокольне
и сам господь бог
принимает его подношение утишая
страданья босых ревматических ног;
гнилая картошка выброшенная на свалку
и та понемногу пускает росток за ростком
как свидетельства демократии в мире природы.

## *Куры*

В старом замке
переоборудованном в птицефабрику
мы до зари кутили с птичником
и сторожем
пили красное свекловичное — и ничего
пили белое перекисшее — и ничего
куры были не слишком уж интеллектуальны
и утонченны
под сурдинку кудахтали и закрывали глаза
на происходящее
поклевывали штукатурку с расписанных стен
царапали Брейгеля Старшего
тыкались клювом в рояль
клали яйца на мебель — Бидермейер!—
(из их пышных зобов Савонарола мог бы сшить себе
чудо-сутану)
мы были счастливы
и готовы уже отправиться на охоту
на львов
с липкой лентой для мух
бунт созрел уже и отдавал печеной картошкой
мегафоны сменяли искусство
появились лампы производящие тьму
появились шкатулки для писем которых никто не читал
мы тоже кудахтали под сурдинку и закрывали глаза
на происходящее.

## *Близорукий художник*

Ах сколько безумцев считало себя генералами
а некоторые из них добивались и впрямь своего
близорукий художник раскрашивающий яйца
нарисует когда-нибудь церковь
и не исключено
что однажды в ее колокольню ударит комета
и чей-нибудь возглас раздастся: «Христос воскрес!»
так что и ты
ты кто денно и нощно клянется мне в страстной любви
может быть
может быть когда-нибудь
и вправду полюбишь меня.

## *Компьютер*

Те кто перед страшным ликом войны полощут горло настоем ромашки
те кто гоняются с суповой ложкой за мотыльком
те кто отламывают кусочки от ореола мучеников
те кто приходят в церковь со своим в животе орга́ном
те кто в носу ковыряют пока другие роют себе могилы
те кто пускают воду в клозете чтобы никто не услышал
как они плачут
те кто ищут в отбросах зерна новой религии
те кто грезят о лимузине отобедав сушеной картошкой
те кто с помощью операции избавляются от навязчивого
ангела
те кто знать ничего не хотят о насилии
робкие музыкальные идеалисты
чистильщики слов
не замечают как город поднимается в воздух
и мочится в море
как из паров опускаются Гималайские горы
с чемоданами полными парашютистов
как распаленный от страсти утюг
нападает на тихую мышь
как невротические леса отправляются в санаторий
в час мелкой торговли счастьем народов
когда денежная купюра дожевывает песню
когда мы умираем аплодируя

---

**БЕРИНСКИЙ ЛЕВ САМУИЛОВИЧ** (род. в 1939 г.).

Советский поэт-переводчик. «Иностранная литература» печатала его переводы с румынского (З. Станку, В. Теодореску, М. Сореску, Г. Хаджиу и др.) и с испанского (Омар Лара).

# СЕМБЕН УСМАН

# *Порча*

РОМАН

*Перевод с французского А. КАРЛОВА*

Недавно на глаза мне попался географический атлас, изданный в конце сороковых годов. Возраст для книги не так уж велик. Но как безнадежно устарела в ней политическая карта целого континента — Африки! В этом атласе вся она так и пестрит цветами европейских государств. Тогда мало кто в мире знал, что за этими цветами скрывались десятки народов со своей самобытной историей и древней культурой.

Перед молодыми творческими силами новой Африки вставали нелегкие задачи. Среди тех писателей, кто пришел в литературу в самый разгар борьбы против колониализма, был сенегалец Сембен Усман. Сегодня он один из самых известных писателей современной Африки, лауреат Международной литературной премии «Лотос».

Во время второй мировой войны Сембен Усман служил во французской армии, потом познал тяжелый труд докера в марсельском порту. Приобщение к труду и лишениям рабочего класса логически привело его в ряды тех, кто понял, что без борьбы за свои права, за права рабочего человека, невозможно выжить. Он начал принимать активное участие в профсоюзном движении французских докеров. Когда Сенегал обрел независимость, Сембен Усман вернулся на родину. Вернулся уже человеком, искушенным в литературе, его книги издавались во Франции, но не были известны широкому читателю родной страны — по словам самого писателя, только очень небольшой процент сенегальцев в состоянии читать художественную литературу на французском языке.

Впервые я встретился с Сембеном Усманом в Алма-Ате на V конференции писателей стран Азии и Африки в 1973 году. К тому времени его литературные произведения уже были хорошо знакомы советским людям, он стал одним из пионеров молодого кино Африки.

— Наш народ почти совершенно неграмотен,— говорил он.— Единственный способ донести сегодня до него идеи и образы моих произведений — это начать разговор с экрана.

И еще помню сказанное им в тех же коротких беседах:

— Если писатель хочет быть вместе со своим народом, он не должен ждать будущего признания, он должен быть понят сегодня, в тот час, когда вышла его книга, когда появился его кинофильм. Мы не можем себе позволить ждать, мы должны идти вперед сегодня, чтобы наверстать упущенное...

Читая книги Сембена Усмана, прежде всего ощущаешь заложенный в них огромный пласт жизненного опыта, прекрасное знание действительности, проникновение в мельчайшие детали быта, что создает удивительную достоверность повествования.

Борьба за лучшую долю простого человека Африки не кончается с получением и провозглашением формальной независимости. Именно с этого момента и начинается борьба за подлинную независимость — политическую и экономическую. Империализм так легко не расстается со своими позициями. Неоколониализм многолик, уверт-

© Présence Africaine, 1973.

**СЕМБЕН УСМАН — SEMBÈNE OUSMANE** (род. в 1923 г.).

Сенегальский писатель — поэт, прозаик, сценарист, кинорежиссер. Лауреат премии Ассоциации афро-азиатских писателей «Лотос». Автор многих романов, повестей, рассказов. В «Иностранной литературе» напечатаны его романы «Тростинки господа бога» (1962, № 5, 6), «Горячий ветер» (1964, № 11, 12), повесть «Почтовый перевод» (1966, № 8). На русском языке вышел также роман «Родина моя, прекрасный мой народ!». По некоторым своим романам и повестям Сембен Усман поставил кинофильмы, за которые ему неоднократно присуждались премии международных кинофестивалей, в том числе Московского и Ташкентского.

Роман «Порча», предлагаемый вниманию читателей, вышел в 1973 г. («Hala». Paris, Présence Africaine, 1973).

лив и всепроникающ. И роман Сембена Усмана «Порча», который журнал «Иностранная литература» предлагает читателям,— это роман-предостережение, роман откровенно публицистический. За грустными и комическими злоключениями своего «антигероя» Сембен Усман видит главное зло — разлагающее, растлевающее влияние стяжательства, стремление африканских нуворишей построить свое благополучие на несчастье других.

В одном из своих интервью Сембен Усман так сказал об этом произведении:

«В моем представлении «хала» (порча) постигла не только моего главного персонажа Эль Хаджи Абду Кадер Бея, но и всю социальную прослойку, которую он представляет. Эти люди, которые часто удерживают ключевые посты в обществе, поражены культурным, политическим, экономическим бессилием, поражены бессилием духовным. Эти люди, занимая привилегированное положение, играют в обществе отрицательную роль. Они подрывают, тормозят стремление народа к прогрессу, его стремление улучшить свою жизнь, используют тяжкие плоды народных усилий исключительно для своей собственной пользы. Являясь всего-навсего порождением империализма, его проводниками, эти выскочки не способны двигать страну по пути прогресса, не способны дать ей будущее. Они обрекают на временное бессилие, которым поражены они сами, всю нацию...»

**Ю. РЫТХЭУ**



«Деловые люди» собрались, чтобы торжественно отметить выдающееся событие. Такого в истории Сенегала еще не бывало. Впервые в кресло президента Торгово-промышленной палаты сел африканец. Это была их победа. Вот уже лет десять эти предприимчивые мужи, выходцы из самых различных кругов, боролись за то, чтобы отбить у своих противников последний бастион колониальной эпохи.

Чтобы дать отпор иностранному капиталу, они организовали «Союз деловых людей». Амбиции их простирались весьма далеко — не больше не меньше как взять в свои руки экономику страны. Желание стать новой социальной силой настроило их на воинственный лад. За несколько лет им удалось, пользуясь политической конъюнктурой, под прикрытием патриотических лозунгов поглотить розничную и мелкую оптовую торговлю, кое-что из импорта и экспорта. Они зарились на ведущие посты в банковской администрации, мечтали добиться хотя бы участия в руководстве банками. В многочисленных заявлениях «деловые люди» прямо перечисляли те ключевые, по их мнению, области экономической жизни страны, на которые они претендовали «по праву»: оптовая торговля, коммунальное хозяйство, аптеки, частные клиники, хлебопекарни, швейные мастерские, книжные магазины, кинозалы и так далее. Не хватало малого — крупных счетов в банке, и это еще сильней разжигало их пылкие патриотические чувства, в которых неизвестно чего было больше — заботы о благе отечества или желания разбогатеть.

Назначение своего человека президентом Торгово-промышленной палаты преисполняло их надеждой. Это были уже не пустые посулы, а прямой путь к обогащению. Доступ к большому бизнесу, верная зацепка в финансовых кругах. Теперь наконец, можно было ходить с высоко поднятой головой. То, что вчера было лишь мечтой, претворялось в жизнь. Сегодняшнее событие имело огромное значение для будущего. И конечно, заслуживало самых пышных празднеств...

Президент «Союза» умолк. Сияющий взгляд его останавливался на каждом из десяти сидевших перед ним богато одетых «деловых людей». Об их амбициях красноречиво говорили и покрой сшитых на заказ костюмов из английского сукна, и безукоризненно отглаженные сорочки.

— Дорогие коллеги,— снова заговорил улыбающийся президент.— Дорогие коллеги, это поистине выдающееся событие! Со времен иностранной оккупации никто из наших отцов и дедов не стоял во главе Палаты (эти господа, вероятно, из тщеславия никогда не говорили «Торгово-промышленная палата» — для них она была просто

Палатой). Наше правительство, назначая меня на этот весьма ответственный пост, делает решительный шаг. В то время как нынешняя экономическая структура пришла в негодность, оно демонстрирует стремление к подлинной независимости. Мы переживаем исторический момент. И должны быть признательны нашему правительству и человеку, стоящему во главе его...

Раздались аплодисменты, присутствующие ликовали, поздравляли друг друга с победой. Потом опять наступила тишина, стих кашель, прекратился скрип стульев.

— Мы первые настоящие деловые люди этой страны. Ответственность наша велика. Поистине велика! И мы должны оправдать высокое доверие, оказанное нам правительством. Ну, а теперь давайте достойно завершим день нашего торжества. Я напоминаю: мы все приглашены на свадьбу нашего брата Эль Хаджи Абду Кадер Бея.

Да, мы за прогресс, но это вовсе не значит, что мы отказались от наших африканских традиций. Я передаю слово Эль Хаджи.

Сидевший по правую руку от президента Эль Хаджи Абду Кадер Бей встал.

Для своих пятидесяти с гаком лет выглядел он прекрасно. В отрастающих на его бритой голове волосах лишь кое-где поблескивала седина.

— Дорогие коллеги,— он глянул на часы с золотым браслетом,— брачная церемония в мечети уже закончилась. Я женат...

— И в который же раз? — раздался голос Лая, признанного в их кругу насмешника.

— Не стану скрывать, Лай! Это моя третья жена. «Капитан», как говорят в народе. Мы африканцы. Я прошу всех оказать мне честь и быть моими гостями, господин президент.

— Итак, мы завершим этот день свадебным торжеством... Дорогие коллеги, жены нас ждут. Идемте!

Собрание закончилось.

На улице их поджидала колонна шикарных автомобилей. Эль Хаджи Абду Кадер Бей взял президента под руку:

— Поезжай впереди! Я должен заехать за женами.

— Хорошо.

— До скорого,— сказал Эль Хаджи, садясь в свой черный «мерседес».

Шофер Моду включил зажигание.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей по образованию был учителем. В колониальное время ему за профсоюзную деятельность запретили работать в школе. После увольнения он занялся перепродажей продовольственных товаров, потом стал посредничать в сделках по продаже недвижимости. Заведя связи среди арабских торговцев, он нашел себе компаньона. В считанные месяцы они монополизировали торговлю рисом — главным продуктом питания. Дело было прибыльное, и он вышел в первый ряд перекупщиков, которыми город кишмя кишел.

А когда пришла независимость, Эль Хаджи Абду Кадер Бей с небольшим капиталом и связями стал действовать в одиночку. Он проложил дорогу на юг, к берегам Конго, занялся импортом сушеной рыбы. Это была золотая жила! Он буквально парил меж берегами Сенегала и Конго. Но тут конкуренты — у них и судов было побольше, и знакомства посолиднее — заставили его отступиться. Однако человек он был предприимчивый и тотчас обратил взор к Европе — стал возить туда креветок, лангустов, крабов. Потом, не имея широкого кредита и покровителей, вынужден был отказаться и от этого. Но зато он приобрел известность. Репутация у него была хорошая, и промышленники стали использовать его как подставное лицо в различных аферах. Он был пешкой в чужой игре. Кроме того, его держали членом административного совета трех-четырех местных акционерных обществ. По

завершении года он не глядя подмахивал отчетные документы. С точки зрения закона придраться было не к чему. Но все знали правду.

На визитной карточке из дорогой бристольской бумаги перечислялись заслуги и занятия этого «достойного человека». Как только у него появились существенные доходы, он как добрый мусульманин свозил свою первую жену в Мекку. После этого он хотя и не слишком ретиво соблюдал религиозные обряды, но добавил к своему имени почетный титул «Эль Хаджи», а жена его стала «Аджей». От нее у него было шестеро детей, старшая, Рама, училась в университете.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей состоял как бы из двух отдельных половинок. Одна — европейское буржуазное образование, вторая — африканское феодальное воспитание. И он, как и прочие люди его круга, умел очень ловко этим пользоваться — вел себя то так, то этак.

Вторая жена, Уми Ндой, родила ему пятерых детей. К этому дню у Эль Хаджи Абду Кадер Бея было две жены и куча ребятишек — одиннадцать. Каждая семья жила на отдельной вилле. Будучи практичным африканцем, он держал фургончик для домашних нужд. Шофер ежедневно развозил детей в разные школы города.

Третий брак придавал ему солидность. Эль Хаджи как бы поднимался в обществе еще на одну ступеньку.

Традиционные свадебные церемонии совершались у родителей невесты. Здесь воздавали должное обычаям, скрупулезно соблюдали старинные обряды. Дом с раннего утра был битком набит людьми: у входа священнодействовали, встречая гостей, подруг, близких и дальних родичей, нанятые по такому случаю гриоты и гриотки[1]. Беспрерывно разносили закуски, прохладительные напитки. Гости кичились знатностью, древностью рода, чуть ли не королевской кровью, швырялись, стараясь превзойти друг друга в щедрости, крупными купюрами, выставляли напоказ наряды, прически, драгоценности. В лучах солнца сверкали расшитые серебром и золотом бубу[2], серебряные и золотые ожерелья и браслеты. В больших вырезах бубу, словно глянцевитые баклажаны, блестели женские плечи. Смех, щелканье пальцев, нежные и мягкие голоса женщин, жирные басы мужчин — все это сливалось в веселый шум, звучный, словно гул в глубине морской раковины.

В центре дома на особом столе красовались подарки мужа. Всего их было около дюжины: женское белье, несессер с туалетными принадлежностями, модельные туфли разных цветов, парики от светло-русого до черного, как ночь, тончайшие носовые платки, душистое мыло. Посреди стола в красном футляре покоился главный подарок — ключи от машины.

Вокруг этой выставки неоспоримых доказательств любви, восторженно переговариваясь, толпились люди. Молодая женщина с золотой «недолькой» на запястье говорила соседке:

— К машине Эль Хаджи обещал ей десять тысяч литров бензина «супер».

— Это было оговорено заранее, дорогая,— подлила та масла в огонь, плавным жестом подняв широкий рукав расшитого шелкового бубу.

— Оговорено или не оговорено, а я сама готова выйти замуж за этого Эль Хаджи, будь у него даже крокодилья шкура.

— Ха! Ты уже не девственница, дорогая!

— Ты так думаешь?

— А твои дети?

— А дева Мария?..

[1] Исполнители народных сказаний и песен. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Национальная африканская одежда.

— Не богохульствуй! — сказала другая, помахав перед носом соседки указательным пальцем.

Они пристально посмотрели друг на друга.

— Я пошутила,— извинилась первая.

— То-то же,— произнесла обиженная с победоносной улыбкой. Она была католичкой.— А вот я не хотела бы быть одной из жен Эль Хаджи,— кивнула она на подарки.

— Чтобы суп был вкусен, его варят в старой кастрюле,— бурчала первая, щупая ткань на юбке подруги — шелк это или тергаль.

— Уж конечно не из молодых бататов!

Обе прыснули со смеху и направились к стоявшим неподалеку женщинам.

Всей свадьбой распоряжалась тетка новобрачной бадиен[1] Яй Бинета. Коротконогая, плотная, с очень темным, мясистым лицом и хитрющими глазами, бадиен следила, чтобы в этом людском скопище каждому воздавалось по его чинам и заслугам. По обычаям дочь брата считается также дочерью сестры, поэтому она была свахой своей «дочки».

За много месяцев до этого лучезарного дня на семейном совете мать невесты поделилась с золовкой (бадиен для нее была как бы приравнена к мужу) своими волнениями. Восемнадцатилетняя девушка уже второй раз провалилась на экзамене в начальной школе. И родители, люди бедные, не могли больше платить за ее учение.

— Если девочка не найдет работы,— сказала мать (в глубине души она считала, что ее дочь достаточно образованна, чтобы стать хорошей секретаршей),— значит, такова воля аллаха. Тогда надо выдать ее замуж, найти ей мужа. Она уже взрослая. У нас в роду никогда еще не было матерей-одиночек. А безотцовщина в наше время... Нет, я не хочу злословить — но разве не справедливо назвать ее нынешней модой?

Глава семьи, вышедший на пенсию старый Бабакар, был согласен с женой. Содержать свой многочисленный выводок, семерых детей, на грошовое пособие он не мог.

— Есть у вас кто-нибудь на примете? — осведомилась бадиен Яй Бинета, уставясь на брата глазами-горошинами.

Старый Бабакар, как и подобает набожному человеку, потупил взор. Нет, никого не было... Власть жены над ним была безгранична. Сверстники Бабакара говорили, что штаны у него в семье носит жена. Впрочем, для насмешек над ним было довольно и того, что у него никогда не было второй жены.

— Аллах свидетель, если наша Нгоне выйдет замуж, я буду счастлив. Тут все дело в удаче. А уж удачу человеку может послать только аллах,— сказал он осторожно.

— Аллах! Аллах! Надо возделывать его поле,— резко перебила жена и повернулась к Яй Бинете. Так она затыкала рот мужу.— Я совершенно не собираюсь скрывать от тебя, кто у нас бывает. До сих пор, до этого самого дня еще ни один достойный, серьезный, из хорошей семьи человек не переступил порог нашего дома. Около нее крутятся парни без носового платка в кармане, а штаны на них — такие увидишь разве что на огородном пугале. Нгоне без конца шляется с ними в кино и на танцы. Все они бездельники. Безработные. Я с ужасом жду того дня, когда выяснится, что ей больше не нужно стирать по ночам свое белье[2].

— Все ясно,— произнесла Яй Бинета.— Если девиц, ищущих мужа, построить в один ряд, то он протянется до самого Бамако[3]. А еще говорят, первыми там стоят хромоножки.

Шутка рассмешила Бабакара, а смех разозлил Мам Фату.

---

[1] Сестра отца *(волоф)*.

[2] Женщины стирают по ночам белье во время месячных.

[3] Столица соседней с Сенегалом Республики Мали.

— У нас женский разговор,— сурово сказала она мужу. Подбородок ее поджался, в глазах засверкали молнии. Под предлогом приближения молитвы старый Бабакар послушно удалился. Оставшись с Яй Бинетой наедине, Мам Фату взмолилась:

— Яй Бинета, тебя знает весь Дакар, Нгоне твоя дочь. Ты хорошо знакома с людьми — такими, что могут протянуть нам руку, помочь нам. Посмотри, как мы живем — как скотина в хлеву. А если Нгоне или ее младшая сестра принесут в подолах ублюдков, что с нами станет? Надо немедля, не теряя ни дня ловить счастливый случай.

Шли дни, недели, месяцы. Однажды утром Яй Бинета тщательно одела Нгоне. Они пришли в магазин Эль Хаджи Абду Кадер Бея. Яй Бинета и Эль Хаджи давно знали друг друга. Без особых предисловий Яй Бинета прощупала почву:

— Эль Хаджи, это моя дочь Нгоне. Посмотри на нее хорошенько. Рис-то у нас проварился. И на вид хорош, и на вкус.

— Да, и мягок, и нежен. Медлить нечего, пора есть. Глазам одно отдохновенье,— отвечал Эль Хаджи, понимавший этот язык еще со времен посвящения в мужчины.

— Ты говоришь «глазам»? Нам один глаз нужен.

— Кривой, значит,— рассмеялся он.

— А кривому не надо закрывать свой единственный глаз.

— Так ведь и руке не надо дорогу ко рту показывать.

— То, что рука ко рту понесет, в нее еще положить нужно.

Опытная в таких словопрениях Яй Бинета намеренно заговорила с мужчиной на этом известном лишь посвященным старинном языке. Нгоне, выросшая уже в эпоху национальных знамен и гимнов, почти не прислушивалась к странному диалогу. Тут раздался телефонный звонок, и Эль Хаджи вышел из игры. Бадиен хитрила, она искала работу для «дочери». Мужчина обещал что-нибудь сделать. Заботясь о своей репутации щедрого человека, он дал им тысячу франков К. Ф. А.[1] на такси.

Они приходили к нему еще. Вели безобидные, похожие один на другой разговоры. Бадиен подтрунивала над мужчиной, дразнила его: «Ты боишься своих жен! Они все решают за тебя, это они в твоем доме носят штаны. Почему ты не приедешь навестить нас? А? Почему?» Задетый за живое, обиженный за свою честь истинного африканца, Эль Хаджи Абду Кадер Бей вынужден был принять вызов. «Никогда,— сказал он себе,— никогда мной не будет командовать женщина». И чтобы доказать, что он хозяин в своем доме, проводил девушку к родителям.

Что было потом? Нгоне стала приходить одна, обычно после обеда. Она являлась узнать, не нашел ли ей Эль Хаджи работу. Для бадиен это было предлогом. Завоевание мужчины — дело нескорое. Тут все играло свою роль: эмоции, укоренившаяся привычка. Со временем он все больше возбуждался, желание сорвать этот цветок росло. Визиты между тем продолжались, Эль Хаджи ездил с Нгоне на прогулки, водил ее в кондитерские, иногда в рестораны. Раза два они ходили на коктейли «Союза деловых людей».

В Нгоне его привлекала прелесть только что созревшего плода, которую жены его давно утратили, упругое, гладкое тело, свежесть дыхания. Посреди суматошной жизни — две жены, вечно неотложные дела — Нгоне была как тихий оазис на долгом пути через пустыню. Он уже заранее гордился собой. Еще бы, заполучить в любовницы молоденькую девочку!..

А бадиен Яй Бинета, притаившись в тени, плела сети. Эль Хаджи Абду Кадер Бея пышно приняли в доме девушки: стол был обильным,

[1] Франк К. Ф. А. (Африканское финансовое общество) равен 0,02 французского франка.

комнатка Нгоне благоухала фимиамом. Все было тонко рассчитано, чтобы угодить мужчине. Бадиен тщательно, как паук, опутывала жертву паутиной. В квартале уже всем было известно — узнавали эту новость у водопроводной колонки,— что Эль Хаджи Абду Кадер Бей, «деловой человек», богатый, благородный, имеет виды на Нгоне и намерения у него самые серьезные. Бадиен ловко отшила от девушки всех молодых людей.

Наконец дело дошло до официальной помолвки. Эль Хаджи созрел. Бадиен собиралась сорвать плод.

В тот день Эль Хаджи должен был идти с Нгоне на большой прием. Накануне он накупил ей нарядов, одел девушку с головы до ног. Его встретили отец, мать и бадиен. Пока Нгоне одевалась, Яй Бинета завела разговор:

— Ты, Эль Хаджи Абду Кадер Бей, побывал в Мекке, в доме пророка Мухаммеда, мир ему и всем людям, человек ты уважаемый, и все мы, родители Нгоне, знаем твои благородные намерения по отношению к ней. Со своей стороны мы можем тебя заверить: дочь наша смотрит на мир лишь твоими глазами, слушает лишь твоими ушами. А ты ведь знаешь, она молода, очень молода. В квартале уже идет молва. Конечно, мы люди не богатые, но зато честные. Наше богатство — это доброе имя. Можешь быть спокоен: в нашем роду, ищи до какого хочешь колена, нет ни больных, ни увечных. И вот сегодня мы хотим, чтобы ты знал: от тебя, от тебя одного зависит, станет ли Нгоне до конца ее дней твоей.

Эль Хаджи попался. Жениться?! До сих пор у него и мысли такой не было. Застигнутый врасплох, он отвечал туманно, бессвязно бормотал что-то про своих жен. Яй Бинета, войдя в роль и чуя его слабость, напирала: или он не мусульманин? Почему он отвергает то, что угодно аллаху? Что он, тубаб [1], чтобы спрашивать совета у жен?! Неужто в стране не осталось настоящих мужчин? Мужчин, в жилах которых течет горячая кровь.

Как это всегда бывает, победил тот, кто был настырнее и циничнее. Эль Хаджи Абду Кадер Бей уступил. Оправдывал ли он себя законами Корана, кто знает? Что до его жен, он не обязан был ничего объяснять, только поставить в известность.

В последующие недели Яй Бинета ускорила приготовления. Мам Фату, мать девушки, видя такой поворот событий, спешку и рвение бадиен, иногда высказывала сомнения. В глубине души она была против многоженства. Пускай Эль Хаджи разведется со своими женами.

— Да пойми ты, Мам Фату,— сказала ей бадиен, страшно раздосадованная нерешительностью золовки,— пойми, пусть Эль Хаджи многоженец, зато у каждой жены свой дом и в самом шикарном районе города. И любой из этих домов раз в пятьдесят-шестьдесят дороже вашей хибары. Для нас это прекрасная партия. А для Нгоне обеспеченное будущее — ее и ее будущих детей.

— Об этом я, признаться, не думала,— пошла на попятный мать.

Ко дню свадьбы стараниями бадиен все было готово.

Хлопая в ладоши и славословя, гриотки окружили гостью, раздававшую деньги.

— Самая лучшая свадьба года,— сказала одна из них. К бубу на ее пышной груди были пришпилены полученные в подарок ассигнации.

Стоявшая рядом подруга с завистью подсчитала ее богатую добычу:

— А мне сегодня не везет! Одни голодранцы попадаются.

---

[1] Европеец.

— Ну, свадьба еще не кончилась,— подбодрила ее первая, устремляясь к очередной жертве.

Над головами, украшенными затейливыми прическами, под пение гриотов плыли подносы с пончиками, пластмассовые миски с пахучим имбирем и пряной, свежей травкой; гости, сбившись в кучки, лакомились у блюд с мясом и рисом.

В дом торжественно вошли сваты, вернувшиеся из мечети, на брачной церемонии там обошлись без жениха и невесты.

Бадиен встретила празднично одетых стариков, их было около десятка, усадила и, поставив рядом с ними напитки, кокосовые орехи, различные яства, вручила каждому по большому пакету пончиков.

— Слава аллаху, слава аллаху,— твердил старик, казавшийся самым благочестивым.— Воля аллаха свершилась. Их соединил аллах.

— Теперь брачный обряд в мечети становится редкостью,— нравоучительно произнес его сосед.

Сидя поодаль от прочих гостей, старики ругали нынешние времена и нравы.

В маленькой комнате собрались друзья и подруги невесты, одетые все как один по-европейски. Они не скрывали своего намерения поскорее покинуть этот дом.

— Церемония состоялась, чего мы ждем? — спрашивала сидевшая у двери девушка.

— Здесь тошно! Пора уходить! — кричал юноша, поправляя узел своей черной бабочки.

— А диски?

— Я тебе еще раз говорю, что будет оркестр.

— А где новобрачная?

— С матерью, марабуты дают ей гри-гри.

Они принялись барабанить в стены, свистеть, орать.

Отец, мать, бадиен и старики после последних наставлений, молитв и пожеланий счастливой семейной жизни вывели одетую в белое крепдешиновое платье, с диадемой и в белой шапочке Нгоне и поставили во главе процессии взявшихся за руки ее друзей и подруг. И тут же, словно вырвавшись из единой груди, раздался общий восторженный крик. Ликующая бадиен громко славословила будущее потомство. Ей вторили, разнося ее слова, гриоты. От порога комнаты до входной двери были расстелены дорогие покрывала. Невеста и ее длинная свита прошли по этой дороге почета.

На улице их ждали десятка полтора машин, а с края на прицепе с похожим на пасхальное яйцо бантом из белой ленты стоял свадебный подарок — двухместный автомобиль. Клаксоны возвестили об отбытии процессии.

Автопоезд, наигрывая механические серенады, двинулся по улицам Дакара. На перекрестках главных магистралей города зеваки аплодировали новобрачной, желая ей счастья. Замыкал кортеж прицеп, на котором, как трофей, возвышался двухместный автомобиль.

Каждая вилла называлась по имени жившей в ней супруги. Первая — «Аджа Ава Асту» — находилась у восточного выезда из аристократического жилого квартала. Вдоль асфальтированных улиц росли фламбояны. Этот уголок города, где парочками лениво прохаживались полицейские, окутывало спокойствие первого утра мира. Виллу окаймляла прекрасно ухоженная изгородь из ярко-красных бугенвиллей, а на калитке из кованого железа белела никелированная табличка с надписью «Вилла Аджа Ава Асту». Вместо звонка был прилажен — на азиатский манер — глуховатый гонг.

В заставленной мебелью гостиной ждали первая жена и двое ее старших детей. Аджа Ава Асту, несмотря на свой возраст, лет тридцать шесть — сорок, и шестерых детей, сохраняла прежнюю стройность. Нежный цвет лица, большой лоб, чуть расширяющийся книзу тонко очерченный нос, сдержанная улыбка, ясный взгляд ее миндалевидных глаз — все в этой хрупкой на вид женщине говорило о сильной воле и стойкости. После возвращения из святых мест она одевалась только в белое. Уроженка острова Горэ [1], она ради любви, ради того, чтобы целиком отдаться семейным радостям, отреклась в свое время от христианства. В ту пору Эль Хаджи Абду Кадер Бей был простым учителем начальной школы.

Ровным голосом Аджа Ава Асту прервала молчание и повторила:

— Мы со второй женой должны присутствовать на этой церемонии. Этого хочет ваш отец. А потом...

— Мать, не станешь же ты утверждать, будто ты дала отцу согласие на его третий брак?

Рама, старшая дочь, высоко подняла голову, волосы ее были скручены в коротенькие, торчащие вверх косички. Она чувствовала, как жжет ее гнев.

— Ты еще молода. Придет и твой день, если будет угодно аллаху. Тогда ты поймешь...

— Мать, я не девочка. Мне уже двадцать. Я никогда не соглашусь делить мужа с другой женщиной. Лучше развод...

Разговор оборвался снова.

Мальчик, всегда восхищавшийся старшей сестрой, повернулся к окну, взгляд его словно блуждал далеко за цветочной изгородью. Он старался не встречаться глазами с матерью. На душе у него было нехорошо. Рама, несмотря на свою резкость, жалела мать. Девушка росла в годы битв за независимость; отец в ее глазах был тогда героем — он с друзьями боролся за свободу народа. Она участвовала в уличных стычках, расклеивала по ночам листовки. Потом была членом различных демократических организаций. Поступив в университет, Рама примкнула к группе по изучению языка волоф. Третий брак отца удивил ее и расстроил.

— Легко сказать — разойтись, Рама,— медленно начала мать. То, что она собиралась говорить, было итогом долгих и давних раздумий.— Ты советуешь мне разойтись? А куда я пойду в мои годы? Где я найду мужа? Мужчину моих лет, такого, чтоб был холост? Да если бы я ушла от вашего отца и, будь на то случай и воля аллаха, нашла себе другого мужа, я стала бы его третьей или четвертой женой. А вы, что было бы с вами?

Тронувшая губы легкая улыбка смягчила выражение ее лица. Убедила ли она Раму? Она не задавалась этим вопросом. У Авы Аджи Асту не было секретов от старших детей.

Рама бушевала, возмущенная и бессильная:

— Мать, ты понимаешь, что этот дом твой? Ты хозяйка всего, что здесь есть. Отцу здесь ничего не принадлежит.

— Это я знаю сама Рама. Но этот дом мне подарил ваш отец. Могу ли я выгнать его отсюда?

— Я не пойду на свадьбу.

— А я пойду... Мне нужно появиться там. Иначе начнут болтать, будто я ревнива.

— Мать, эта Нгоне, новая жена отца, моя ровесница. Она шлюха. Ты идешь туда только из-за людей, боишься, что они будут злословить.

— Не смей говорить так! — прервала ее мать.— Нгоне твоя ровесница, это верно! Но она жертва...

Прозвенел гонг

[1] Горэ — остров в Атлантическом океане вблизи Дакара, в прошлом крупный перевалочный пункт работорговли.

— Это ваш отец...

В гостиную стремительно вошел Эль Хаджи Абду Кадер Бей.

— Приветствую вас,— сказал он, обращаясь к детям, и повернулся к жене:— Ты готова?

— Да.

— А ты, Рама?

— Я не пойду.

— Это почему?

— Отец, подкинь мне пять тысяч франков, нужно заплатить за школу,— вмешался в разговор мальчик. Эль Хаджи достал пачку денег, отсчитал пять бумажек и протянул ему.

Рама встала, посмотрела на мать и сказала:

— Я против этого брака. Многоженец не может быть честным человеком.

Правую щеку Рамы обожгла пощечина. Девушка пошатнулась и упала.

— Ты посмеешь сказать, что я нечестен? — прорычал отец.

Он снова рванулся к Раме, но брат быстро встал между ними.

— Революцию можешь устраивать в университете, на улице, но только не в моем доме.

— Это не твой дом. Здесь твоего ничего нет,— ответила Рама.

Изо рта у нее текла струйка крови.

— Поехали! Пойдем отсюда, Эль Хаджи,— говорила мать, увлекая мужа к двери.

— Получше бы дочь воспитывала! — бросил Эль Хаджи жене.

— Ты прав!.. Но ведь тебя ждут. Сегодня твоя свадьба.

Когда родители вышли, брат сказал сестре:

— Патер все больше и больше становится реакционером...

Рама встала и пошла к себе.

Сидя в медленно двигавшемся «мерседесе», Эль Хаджи и его первая жена смотрели в разные стороны и молчали, каждый наедине со своими тревожными мыслями.

Вилла второй супруги отличалась от виллы Аджи Авы Асту только оградой. На калитке была никелированная табличка с готической надписью «Вилла Уми Ндой».

Моду остановил машину прямо у входа, распахнул перед хозяином дверцу. Эль Хаджи Абду Кадер Бей, выйдя из машины на тротуар, помедлил секунду, потом, наклонясь к раскрытой дверце, сказал Адже Аве Асту:

— Что же ты, выходи!

Аджа Ава Асту бросила на мужа взгляд и отрицательно покачала головой. В глазах ее не было и тени враждебности. Они светились такой бездонной невозмутимостью, что ее можно было принять за равнодушие. Но то было равнодушие пламени, за видимым покоем таилась сила.

Эль Хаджи не выдержал ее взгляда. Он отвел глаза. Потом, будто обращаясь не к ней, а к кому-то еще, взмолился:

— Аджа, ты зайдешь и тут же выйдешь! Что о тебе подумает Уми Ндой?

Аджа Ава Асту не опустила глаз. Приличия? Она едва сдерживалась, чтобы не вспылить, в сердце у нее росла горечь, она умоляла аллаха помочь ей. Медленно, взвешивая каждое слово, она сказала:

— Эль Хаджи, я заранее прошу у тебя прощения! Но ты, кажется, забыл, что я твоя *ава*[1]. Я не переступлю порог этого дома. Буду ждать тебя здесь.

Умолкнув, она выпрямилась и отвернулась. Эль Хаджи Абду Кадер Бей хорошо знал свою первую жену. Он толкнул калитку.

[1] Первая жена, имя первой женщины на земле *(арабск.)*

Пройдя через садик, Эль Хаджи вошел в дом и оказался в богато обставленной гостиной. На мебели можно было заметить французские клейма. Повсюду стояли искусственные цветы. Не успел он войти, как на шею ему весело бросилась Мариэм, его пятнадцатилетняя дочь, очень крупная для своих лет девочка, одетая в платье «мини».

— Ты не в школе? — спросил отец.

— Нет! Мне разрешили сегодня не приходить. Я иду с подружками на свадьбу. Папа, подкинь тысчонку.

— О'кэй. А где твоя мать?

Мариэм шаловливо указала пальцем на спальню. Отец двинулся туда, на ходу протянув девочке три тысячефранковых билета. Уми Ндой увидела Эль Хаджи в зеркале. Она закрепляла шпильками черный парик.

— Еще минуту, и я буду готова,— сказала она по-французски.— Кто с тобой в «мерседесе»?

— Аджа Ава. Она осталась в машине.

— Почему она не заходит? — встрепенулась Уми Ндой, повернувшись к мужу.— Мариэм! Мариэм! — позвала она.

Мариэм открыла дверь и остановилась на пороге:

— Что, мама?

— Приведи Аджу Аву. Она в машине. Скажи ей, что я принимаю душ.

Мариэм убежала.

— Она сердится?

— Кто? — спросил Эль Хаджи, садясь на кровать.

— Аджа Ава Асту.

— Да нет, я не заметил,— ответил он, перелистывая журнал.

— Это она тебя надоумила взять третью жену! И все из ревности. Я ведь помоложе этой старой карги.— Уми Ндой цедила слова сквозь зубы, голос ее скрипел. Она посмотрела на мужа: возымели ли действие ее слова? Эль Хаджи никак на них не реагировал. Не слыша ответа, она продолжала: — Теперь небось радуется, хрычовка. Ждет на улице, чтобы увидеть, как я себя поведу? И я должна соперничать с твоей облезлой каргой. Уж конечно, она сговорится с этой Нгоне делать мне гадости. Но мы еще посмотрим!..

— Вот что, Уми! Я не желаю скандалов ни тут, ни там. Не хочешь ехать, дело твое. Но язык свой попридержи, понятно?..

— А что я такого сказала! Теперь ты мне угрожаешь! Скажи тогда сам, что не хочешь, чтобы я ехала туда. Может, это твоя Аджа не желает. Сказала она тебе это, да? А ведь Нгоне, твоя третья, сделана из того же теста, что и мы.

Она подошла к мужу вплотную, в голосе ее послышались угрожающие нотки:

— Можешь поверить мне, я иду туда, к твоей *третьей*, не затем, чтоб скандалить. Не волнуйся...

— Дай мне попить! В горле пересохло,— сказал Эль Хаджи, чтобы покончить с этим разговором.

— «Эвиана» в доме нет. (Эль Хаджи пил только минеральную воду «эвиан».) Хочешь воды из-под крана? — спросила насмешливо Уми Ндой, сложив губы в вызывающую улыбку.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей вышел во двор и позвал шофера.

— Да, патрон?

— Принеси мне «эвиан».

Около «мерседеса» Мариэм расточала очарование своего голоска, уговаривая Аджу Аву Асту выйти из машины.

— Нет, Мариэм, скажи своей маме, что я лучше подожду здесь.

— Послушай, мама Аджа, ты разве не знаешь, как медленно собирается моя мама. Она принимает душ,— повторяла девочка.

В конце концов Мариэм, обескураженная улыбкой Аджи Авы Асту, понурясь пошла назад. Следом за ней с переносным холодильником в руке шел Моду.

Выходя из дома, Уми Ндой на пороге шепотом спросила Эль Хаджи:

— Кто из нас двоих, она или я, сядет с тобой сзади?

Эль Хаджи не успел ответить, как она решила этот вопрос сама:

— Ну ладно, сядем втроем. Сейчас ведь не ее муме[1].

В машине Уми Ндой сразу справилась у Аджи Авы Асту о здоровье ее детей. Женщины разговаривали уважительно, без фамильярностей. Каждая сделала другой комплимент по поводу ее туалета.

— Значит, ты не хочешь переступать порог моего дома!

— Поверь мне, здесь не нужно искать задних мыслей! Мне было хорошо в машине. Я ведь не выхожу из-за постоянных головокружений,— извинилась Аджа Ава Асту.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей, сидя между своими женами, то слушал их, то уносился мыслью куда-то вдаль.

Они еще издалека услыхали оркестр, игравший современные мелодии. На тротуаре танцевали подростки. У входа стояли суровые церберы, гости предъявляли приглашения. По цементированному двору прогуливались парочки. Когда оркестр отдыхал, под навесом громкими голосами усердствовали мужчина, аккомпанировавший себе на коре[2], и две женщины.

Третья вилла, построенная недавно, была расположена далеко от районов, где жила беднота,— в совершенно новом, очень дорогом квартале.

«Мерседес» остановился. Эль Хаджи впереди своих жен прошествовал через двор под крики и неистовый грохот оркестра; старался вовсю и мужчина, игравший на коре, но звуки ее тонули в оглушительном шуме. Приехавшая сюда первой, опередив новобрачную, бадиен Яй Бинета встретила их вместо хозяйки дома и проводила женщин в комнату, где собрались самые почетные гостьи. Бадиен — само радушие — осыпала жен Эль Хаджи любезностями:

— Вы подаете пример молодым! Хорошие жены всегда должны быть вместе.

— Не беспокойся за нас, мы привыкли. Мы ведь одна семья, одна кровь в жилах наших детей,— тотчас, не дав Адже Аве Асту и рта раскрыть, отвечала Уми Ндой.— Я беру пример с нашей старшей, с Аджи. Благодаренье аллаху, он подверг меня испытанию, с тем чтобы я и сама смогла доказать, что не ревнивица и не эгоистка.

— Ваше присутствие здесь говорит в вашу пользу. Вас знает весь Н'Дакарру![3] Вам ли тревожиться о своем добром имени!

Яй Бинета, как и обе женщины, понимала, что все это говорится только ради чужих ушей. Расточая улыбки, они готовились к непримиримой вражде. Затем бадиен покинула их и повела Эль Хаджи в брачные покои. Это была пустая свежевыбеленная комната, в углу ее была разостлана циновка, на ней стояла перевернутая ступа, а на ступе лежало топорище.

— Тебе пора переодеться, Эль Хаджи,— сказала бадиен мужчине.

— Переодеться... Зачем?

— Тебе надо надеть халат, снять брюки, сесть на ступу, сжать между ног топорище и ждать, покуда объявят о приезде твоей жены.

— И ты туда же, Яй Бинета. Думаешь, я в это верю? У меня две жены, и я никогда не выставлял себя на посмешище с этакой ерундой. И сегодня не буду!

— Ты ведь не тубаб! Меня, например, разбирают сомнения. Уж очень любезны обе твои жены. Нгоне еще совсем девочка. Не в том она возрасте, чтобы соперничать. Сними хотя бы брюки и сядь. Я вернусь предупредить тебя, когда привезут Нгоне.

---

[1] Муме или айе — несколько дней, которые многоженец проводит поочередно у каждой жены *(волоф)*.

[2] Щипковый музыкальный инструмент.

[3] Н'Дакарру — Дакар *(волоф)*.

Эль Хаджи не понравился категорический тон женщины. Он считал себя достаточно образованным человеком, чтобы не обращать внимания на подобные суеверия.

— Нет,— сухо ответил он и вышел.

Две его жены, Аджа Ава Асту и Уми Ндой, видели, как бадиен уводила их мужа. В голову им пришла одна и та же мысль.

— Что мы здесь делаем, в этом доме? — задумчиво, нерешительно спросила Уми Ндой.

Аджа Ава Асту, не разобрав слов, нагнулась:

— Что ты сказала?

Уми Ндой огляделась — не следят ли за ними любопытные глаза и уши.

— Что мы здесь делаем, ты и я?

— Ждем нашу третью жену,— ответила Ава, невольно разглядывая шею Уми Ндой.

— Ты — ава и ничего не сделала. Значит, ты за этот брак. Ты дала Эль Хаджи свое благословение?

Лицо Уми Ндой было совсем близко. Дневной свет, проникавший в дверь, освещал его искаженные ревностью черты, поджатые губы.

— Ты хочешь, чтобы мы ушли? — тихо спросила Аджа.

— Да! Пойдем отсюда,— отвечала Уми Ндой, готовая тут же подняться.

Аджа Ава Асту положила руку ей на колено, будто желая ей помешать. Уми Ндой глянула на нее, потом вслед за ней на дверь. С порога за ними зорко следили глазки Яй Бинеты. Бадиен чувствовала, что жены говорят о ее племяннице. Поймав на себе их взгляд, она скрылась.

Спустя мгновение Аджа Ава Асту заговорила снова:

— Это с Яй Бинетой ты соперничаешь. А я что? Я никогда и не шла в счет. Я не умею бороться, соперничать. Ты сама это знаешь. Став молодой женой, ты вовсе забыла о моем существовании. Вот уже больше двадцати лет, как я ава. Сколько лет ты его вторая жена?

— Думаю, лет семнадцать.

— А знаешь, сколько раз мы с тобой виделись?

— Клянусь тебе, не знаю,— призналась Уми Ндой.

— Семь раз. А ты уже семнадцать лет вторая жена, и через каждые три дня этот мужчина, один и тот же мужчина уходит от меня и проводит три ночи с тобой, через каждые три дня он путешествует из твоей спальни в мою и обратно. Думала ли ты об этом?

— Нет...

— И ты ни разу не зашла ко мне!

— А ты ведь приходила не раз. Честно скажу, сама не знаю, почему не заходила к тебе.

— Да потому, что считала меня своей соперницей...

— Вы ничего не едите, не пьете! Угощайтесь! Вы здесь у себя дома,— прервала их разговор бадиен, ставя у ног их поднос с напитками.

Аджа Ава Асту взяла стакан и отпила из него немного. Уми Ндой, прежде чем поднести стакан ко рту, окунула туда мизинец и смахнула капли на пол. Шокированная Яй Бинета поспешно ретировалась.

— Новобрачная! Новобрачная...

Следующие слова потонули в общем шуме. Перекликались автомобильные клаксоны. Полная женщина с туфлями в руках бросилась к дверям. Ее толкнули, она упала, узкое в бедрах платье лопнуло. Поднявшись с помощью двух женщин, она стала поносить невоспитанных, грубых мужчин.

Бадиен Яй Бинета энергично прокладывала дорогу в толпе. Следом за ней президент «Союза деловых людей» вел под руку Эль Хаджи Абду Кадер Бея навстречу молодой жене. Голова Эль Хаджи была по обычаю обмотана повязкой.

Старшие жены вышли на крыльцо. Отсюда они следили за церемонией встречи новобрачных. В свое время, на заре семейной жизни, и они пережили это мгновение, тогда сердца их были полны надежд и счастья. Теперь, когда они стали свидетельницами счастья их общей соперницы, воспоминания о собственном медовом месяце отдавали горечью. Так они и молчали рядышком — одинокие, жалкие.

Эль Хаджи уже танцевал с новобрачной, подав тем самым знак к началу празднества, которое должно было длиться всю ночь. Оркестр играл неизменную компарситу. За танго последовал джерк, и площадку захватила молодежь. Начало было многообещающим. Появились двенадцать мужчин с мешуи[1]. Гости, хватая с подносов куски мяса, радостно кричали. Те, у кого были свободны руки, громко хлопали.

Аджа Ава Асту с большим трудом прятала свое настроение за вымученными улыбками.

— Уми,— позвала она шепотом,— я потихоньку пойду.

— Побудь еще немного... Я ведь останусь совсем одна...

— У меня дома дети без присмотра.

Аджа пожала ей руку, спустилась с крыльца, обошла площадку, где танцевали гости, и вышла на улицу. Около виллы было полно машин. Моду, заметив ее, открыл перед ней дверцу.

— Отвези меня домой.

Вернувшись к себе, Аджа Ава Асту почувствовала недомогание. Она ничем не показала этого детям, набросившимся на нее с расспросами о том, как прошла свадьба. А она-то надеялась, что навсегда изгнала ревность из своего сердца. Когда муж взял вторую жену — это случилось так давно,—ей удалось скрыть свое горе. Боль ее облегчило и то, что как раз в тот год она совершила паломничество в Мекку. Новообращенная мусульманка, она глубоко прониклась догмами новой религии и убеждала себя, что должна изгнать из своего сердца любую ненависть, любое недоброжелательство,— она хотела, чтобы душа ее была чистой, незапятнанной. Она гасила малейшую искорку злобы к молодой жене Эль Хаджи. Хотела стать образцовой супругой: пять молитв в день, полная покорность мужу. Религия, воспитание детей сделались смыслом ее жизни. Немногие оставшиеся у нее подруги, друзья мужа говорили о ней как об идеальной жене.

Накормив детей ужином, она взяла четки. Почему-то ей вспомнились вдруг родители. Она мечтала повидать отца — он до сих пор жил на Горэ. С тех пор как она приняла мусульманскую веру, она все реже и реже навещала свою семью. А после похорон матери порвала с роднею совсем.

Ее отец, Папа Жан, как звали его на острове, был убежденным христианином, католиком уже в третьем колене. Вместе с семьей он очень прилежно посещал мессы, имел репутацию весьма набожного человека и пользовался в приходе большим уважением. При французах его из года в год выбирали членом муниципального совета. Узнав, что его дочь встречается с мусульманином, он решил все выяснить сразу. Во время обычной ежедневной прогулки он вместе с дочерью вскарабкался по крутой тропинке на высокий береговой уступ. Под ногами у них билось о скалы свирепое, пенистое море.

— Рене,— позвал он.

— Да, отец?

— Этот мусульманин на тебе женится?

Рене, так звали тогда Аджу Аву, опустила глаза.

Папа Жан был уверен: ответа не будет. Он многое знал об этом мусульманине, о его профсоюзной деятельности. Папе Жану рассказали о его выступлениях на митингах против французского господства, рассказали о его дружках, которым, как и ему, несмотря на все их кра-

[1] Жареное мясо.

сивые слова, на народ было наплевать. Он не представлял этого человека своим зятем.

— Ты примешь мусульманство?

Слова отца звучали отрывисто, точно удары молота.

Рене флиртовала с этим учителем, героем ее грез, ни о чем не задумываясь. Ей и в голову не приходила мысль о несовместимости их вероисповеданий.

— Ты его любишь?

Папа Жан смотрел на дочь и ждал. Он очень хотел, чтобы ответ был отрицательным.

— Отвечай, Рене!

Появление Рамы оборвало нить воспоминаний.

— Я думала, ты спишь,— сказала Рама, садясь на стул.

— Ты поела? — спросила мать.

— Да. Что, на свадьбе было много народу?

— Еще бы, он так потратился! Ты ведь знаешь, что за народ в нашем городе.

— Уми Ндой была?

— Да, я оставила ее там.

— Она, наверно, очень злилась?

— Нет. Мы были вместе.

По неприметным вроде бы мелочам Рама видела, как тяжело матери. Этот вечер вовсе не располагал к разговору. В свете, падавшем от висевшего на стене бра, лицо матери, затененное белым шарфом, казалось еще тоньше. Зрачки ее мерцали. Раме показалось, что у матери на ресницах слезы.

— Пойду немного поработаю перед сном,— сказала она вставая.

— Что у тебя за работа?

— Нужно закончить перевод на волоф. Спокойной ночи, мама.

— Спокойной и тебе ночи.

Закрывшаяся дверь отгородила Аджу Аву Асту от мира. Аджа Ава Асту, словно наркоманка, приняла свою ежедневную дозу религии.

Джерк и пачанга сменяли друг друга. Танцующие, одна молодежь, не покидали площадку. Оркестр из кожи вон лез, поддерживая веселье. Свадьба утратила свою первоначальную торжественность и превратилась в пьяную гулянку.

«Союз деловых людей» веселился отдельно. Оживленный разговор перескакивал с одной темы на другую: от политики к ограничению рождаемости, от коммунизма к капитализму. На столе для почетных гостей стояло множество бутылок самой различной формы, остатки свадебного торта, мешуи.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей, бодрый, веселый, порхал меж гостями. Новобрачная танцевала с каким-то молодым человеком. Эль Хаджи, смеясь, подошел к столу почетных гостей.

— Ты нас покидаешь? Ступай займись своей курочкой,— лукаво сказал ему президент «Союза»; дыша перегаром, пошатываясь, он взял Эль Хаджи под руку и заплетающимся языком обратился к восседавшим за столом: — Дорогие коллеги, наш брат Эль Хаджи через несколько минут распечатает свою красотку.

— О-о, это дело тонкое,— подхватил депутат Национальной Ассамблеи, с трудом вставая со стула. Рыгая Эль Хаджи в лицо, он продолжал: — Поверь, Эль Хаджи, мы все готовы тебе помочь!

— Да! Да! — закричали остальные.

Со всех сторон сыпались шутки, одна соленей другой.

— Ты принял эту штуку, Эль Хаджи? — спросил, подходя к ним, Лай. Его похотливый взгляд не отрывался от округлых форм молоденькой девочки, еще подростка, танцевавшей джерк. Наклонившись к

Эль Хаджи, он сказал ему на ухо: — Уверяю тебя, очень эффективное средство. Твой петушок будет кукарекать всю ночь. Я привез ее тебе из Гамбии.

Разговор, само собой, перешел на тонизирующие средства. Каждый выказывал большие познания в этой области, у каждого были свои приемы. Кавалер подвел к столу новобрачную. С появлением Нгоне дискуссия заглохла. Вдруг погас свет. Поднялся шум, раздались крики «Свет!», «Верните деньги!» Пока было темно, молодожены исчезли.

В брачных покоях неутомимая бадиен Яй Бинета завершала свои труды. Она дожидалась финала. Постель сверкала белыми простынями.

— Как я счастлива, дети мои,— сказала она.— Вся семья: братья, сестры, родные, двоюродные, племянники, племянницы, дяди, тети, свояки со свояченицами — все тут. Великий день для нас. Вы, наверно, устали?

— Я нет,— ответила Нгоне.

— Я помогу тебе раздеться,— сказала бадиен племяннице. Она сняла с нее шапочку и водрузила ее на голову манекена. Словно мать, она нашептывала девушке: — Ничего не бойся! Это немного больно, но будь в руках мужа покорна. Слушайся...

То ли от стыда, то ли от робости Нгоне плакала. Эль Хаджи Абду Кадер Бей удалился в ванную комнату. Приняв душ, он проглотил таблетки, чтобы придать себе сил. Засунув руки в карманы пижамы, надушенный, он вернулся в комнату. Нгоне, доступная, в прозрачной ночной рубашке, вытянулась на постели. Бадиен поспешила к двери. Мужчина созерцал лежащую перед ним девушку с обстоятельностью гурмана.

Со стороны старого города дул легкий, свежий утренний ветер. Слышны были призывы муэдзинов к утренней молитве. На востоке между зданиями, над верхушками баобабов и бавольников широкой полосой светлел горизонт.

Скользя меж последними тенями ночи, к вилле подошла закутанная с головы до пят старуха. Уже давно поджидавшая ее бадиен открыла калитку. Они обменялись короткими фразами и направились к комнате молодоженов.

Яй Бинета постучала в дверь. Ответа не было. Она постучала еще раз. Ничего... Женщины переглянулись. В глазах у них появилась смутная тревога. Бадиен повернула ручку, очень осторожно, чтобы не скрипнуть, толкнула дверь, нерешительно сунула в щель нос. Ее встретила голубая ясность рассвета. Спрятавшиеся под нахмуренными бровями глаза молнией облетели комнату.

На кровати в ночной рубашке сидела Нгоне, в ногах кровати, зажав ладонями опущенную голову, ссутулившись,— Эль Хаджи Абду Кадер Бей.

Яй Бинета вошла. Следом за ней с петухом в руках старуха. Бадиен взяла петуха и подошла к кровати.

— Нет! Нет!.. — пыталась увернуться Нгоне, сжимая ноги, словно лезвия громадных ножниц. Плача навзрыд, она махала руками и отпихивала петуха.

— Что случилось? — спросила бадиен резким голосом.

В тишине слышались только рыдания Нгоне.

— Эль Хаджи, я к тебе обращаюсь! Что случилось?

— У меня ничего не вышло, Яй Бинета!

Нгоне издала истошный, утробный крик. Обе женщины как по команде поднесли руки ко рту и остолбенели. Петух, оказавшись на свободе, закукарекал.

— О, аллах!.. У тебя хала [1].

[1] По народным поверьям, порча, насылаемая на мужчину *(волоф)*.

Бадиен причитала. Старуха, ползая по комнате на четвереньках, пыталась поймать петуха. Тот спасался бегством. Бадиен распалялась все больше:

— Что я говорила! Вы, образованные, ведете себя как тубабы. Если бы ты вчера меня послушал, этого бы не случилось. Какой стыд! Убыло бы тебя, что ли, от сиденья на ступе?! — Она махнула рукой в угол.— Что теперь будешь делать, когда с тобой такая беда приключилась? Теперь тебе надо лечиться, искать марабута.

Старуха, схватив наконец забравшуюся за ступу, под манекен со свадебным платьем птицу, подошла к Эль Хаджи.

— Хала — это не страшно. Одна рука наслала, другая снимет... Вставай! Тут нечего стыдиться.

Хала! Эль Хаджи Абду Кадер Бей растерялся. Он не мог поверить в случившееся. Когда о таких вещах говорили в мужской компании, он смеялся. И вот теперь это обрушилось на него.

Бадиен утешала новобрачную:

— Перестань реветь! Тебе не в чем себя винить. Это муж твой пусть думает, как ему быть дальше. Я не сомневаюсь, что ты девушка.

— Эль Хаджи, встряхнись! Вставай! Ну чего ты расселся? Надо же что-то делать! Ты должен лечиться,— говорила старуха, крепко держа в руках петуха.

Эль Хаджи встал и направился в ванную. Пока его не было, Яй Бинета пошарила под подушкой. Убедившись, что ключи от машины и документы на нее на месте, она принялась поносить старших жен.

Когда Эль Хаджи, одетый, вернулся в комнату, за окном уже было светло. На дворе валялись пустые бутылки, битые стаканы, перевернутые столы, стулья. Роями носились мухи.

Шофер Моду поджидал хозяина. Увидев его, он погасил сигарету. Помятый вид Эль Хаджи он объяснил по-своему — хозяин провел изнурительную ночь.

Эль Хаджи сел в машину и задумался, куда деваться. Ему хотелось поехать к Адже Аве Асту. Вот уже дважды он прогонял эту мысль. Что он скажет Адже? В голове у него все спуталось. Конечно, тут приложили руку его жены, это они наслали на него порчу... Но за что? И которая из двух? Аджа Ава Асту?.. Нет, быть не может. Она никогда слова против не скажет! Значит, вторая, Уми Ндой? Хала идет от нее. Она всегда была страшно ревнивой, завистливой. С тех пор как Уми Ндой узнала об этом браке, муме у нее превратились в сплошной кошмар. И все-таки в глубине души он сомневался. Нет, Уми Ндой не настолько коварна. Мысли его метались от одной жены к другой.

Моду остановил машину перед конторой. Секретарша-продавщица, увидев хозяина, прекратила пшикать «Флайтоксом» [1] и бросилась его поздравлять.

— Свадьба была великолепная! Поздравляю!

— Спасибо, мадам Дьюф,— ответил Эль Хаджи, плотно закрывая дверь клетушки, которую он называл кабинетом.

А мадам Дьюф возобновила жестокую битву с мухами, тараканами, а также ящерицами, которые упорно вторгались в помещение.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей был ужасно подавлен. Он тупо смотрел на дверь своего «кабинета», не замечал даже того, как плохо она покрашена. С улицы, прерывая его размышления, доносился шум, раздражавшие его заунывные рулады нищего, сидевшего на противоположном тротуаре, как раз напротив его окна. Они долетали до Эль Хаджи, словно вопли утопающего, которому на мгновенье удалось всплыть на поверхность. Он ловил себя на том, что уже сожалеет о своем третьем браке. Развестись... Развестись сегодня же утром? Он отогнал эту мысль. Он мог бы расстаться с Нгоне без всякой боли. Но бросить ее просто так, после таких затрат, было бы нелепо. А маши-

[1] Средство для борьбы с насекомыми.

на?.. Вилла?.. Прогнать ее — значило бы нанести ущерб своему мужскому достоинству. Это было совершенно неприемлемо. Что стали бы говорить о нем? Что делать?!

Моду, сидя на табурете прислонившись к стене, смотрел, как мальчишка моет машину. Мальчишка, голый по пояс, старательно протирал «мерседес» ветошью. Моду он считал хорошим клиентом — тот работал у важного господина. Справа, на углу этой очень людной и шумной улочки, сидя скрестив ноги на потертой овечьей шкуре, причитал нищий. Иногда его пронзительный голос даже перекрывал уличный шум. Между колен его скапливались дары прохожих — никелевые и бронзовые монетки.

Моду наслаждался, как истинный эстет. Голос нищего то поднимался спиралью вверх, то, будто аккомпанируя шагам прохожих, опускался на землю. Нищий был неотъемлемой частью этого перекрестка, такой же, как грязные стены домов, старые грузовики для перевозки товаров. Его здесь очень хорошо знали. Единственным человеком, кого он раздражал, был Эль Хаджи. Много раз по просьбе Эль Хаджи его забирала полиция. Однако через несколько недель он появлялся опять. Казалось, он питал к этому месту особую симпатию.

Алассан, шофер домашнего фургона, в обязанности которого входило развозить детей по школам и забирать их оттуда, в это утро опоздал. Он вчера тоже гулял, опился пивом. Его утренний маршрут начался, как обычно, с виллы Уми Ндой.

Как только Алассан дал сигнал, дети поспешили к машине со своими портфелями.

— Алассан! — окликнула его Уми Ндой, вышедшая в халате на веранду.

— Да, мадам?

— Ты видел сегодня утром месье?

— Нет, мадам,— отозвался Алассан, помогая детям залезть в фургон.

— Алассан, после школы возвращайся сюда, и побыстрее.

— Хорошо, мадам,— сказал он, отъезжая.

Чада Уми Ндой заняли свои места. В задней части фургона было две скамейки, у каждой семьи своя. Эту сегрегацию дети сразу ввели сами, матери тут были ни при чем.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей в своем «кабинете» возмущался нищим, «этим оборванцем». Он попросил секретаршу позвонить президенту «Союза» и теперь томился в ожидании. Время будто остановилось. Он сидел и ощущал тяжесть собственной шеи. Наконец раздался звонок. Он схватил трубку:

— Алло! Да. Он самый, Эль Хаджи! Ты мне нужен, президент. Да, очень срочно! Просто очень! У себя в конторе. Через час? О'кэй.

Он положил трубку и крикнул:

— Войдите.

Это была мадам Дьюф.

— Звонит ваша вторая жена.

— Спасибо, сейчас возьму.

Когда секретарша вышла, он взял трубку:

— Уми! Слушаю. Да, я. У меня были утром дела Очень много работы. Что? Приехать к тебе? Сейчас? Я не могу. Что? Денег? Ты переходишь всякие границы...

Эль Хаджи отнял трубку от уха. На другом конце Уми Ндой метала громы и молнии:

— Я не Аджа Ава. После того, как ты столько истратил на эту свадьбу, ты можешь подумать и о детях. Я посылаю Алассана!..

— Бесполезно,— прорычал Эль Хаджи.— Я заеду после обеда. Да, обещаю. Да, да.

Эль Хаджи нервно положил трубку на место, вытащил платок, вытер вспотевшее лицо. Уми Ндой выводила его из себя. Эта женщина была страшно расточительна. Только позавчера он дал ей крупную сумму. Куда она ее дела? Его подозрения снова обратились к ней. Не она ли наслала эту халу? Зачем она звонила ему в контору?

В дверь снова постучали.

— Войдите!

Это был президент. На лице у него цвела улыбка.

— А я думал, ты без сил! Значит, «средство» Лая на самом деле эффективно? — спросил он, удобно устраиваясь в потертом, купленном на распродаже кресле.

— Вовсе нет, старина! — произнес Эль Хаджи, вставая из-за стола.— У меня неприятности. Я говорю это только тебе. У меня хала.

Президент подскочил и поднял глаза на стоявшего над ним Эль Хаджи.

— Скажу тебе откровенно, я оскандалился с этой крошкой. Когда я выходил из душа, я был в норме. Но как только подошел... Ничего... Нуль.

Президент сидел неподвижно, с открытым ртом, и молчал. Песня нищего звучала так пронзительно, что казалось, будто он был где-то совсем рядом.

— Бадиен посоветовала мне обратиться к марабуту.

— Ты не принимал никаких мер предосторожности?

— Каких мер? Я никогда не верил в этот вздор,— нервно сказал Эль Хаджи. Потом голос его стал мягче: — Бадиен хотела заставить меня сесть верхом на ступу.

— Когда у тебя в последний раз была женщина?

— Позавчера, вторая жена.

— Ты никого не подозреваешь? Одну из своих жен?

«Которую?» — подумал Эль Хаджи, подходя к окну и закрывая его.

— Всех этих нищих нужно сажать за решетку пожизненно.

— Аджу Аву Асту, например?

Эль Хаджи повернулся к президенту. Лицо его было неподвижным, только зрачки бегали.

— Аджу Аву Асту? — произнес он. Он не мог себе представить такое, он не мог даже подумать о том, что эта женщина повинна в его неудаче.— Нет! — ответил он убежденно.— Я очень редко сплю с ней. И она никогда на это не жалуется.

— Тогда вторая?!

Эль Хаджи наморщил лоб:

— Зачем это Уми Ндой? Я балую ее больше, чем Аджу.

— Тем более у нее есть причина наслать на тебя порчу. Пока ты отдавал ей предпочтение, она была согласна на многоженство, на соперничество. Теперь она теряет свое преимущество молодой жены. Она не первая женщина, которая ведет себя таким образом, устраивает своему мужу халу.

Аргументы президента подействовали.

— Ты хочешь сказать, что это Уми Ндой?

— Нет! Нет! Я не обвиняю твою вторую жену. Но я знаю, что все они способны на это.

— Я мусульманин! Я имею право иметь четырех жен. Я не обещал своим женам, что больше не женюсь.

Президент понял, что его приятель говорит уже сам с собой.

— Что сейчас нужно сделать — так это сходить к марабуту.

— Именно поэтому я попросил тебя приехать,— сразу отозвался Эль Хаджи.

— Есть у меня один марабут! Но он очень дорогой...

— Я готов на все.

— Поехали...

На улице президент сказал несколько слов своему шоферу, толстому человеку с красно-рыжими от хронического конъюнктивита глазами, который не переставая согласно кивал головой. Потом он сел рядом с Эль Хаджи в «мерседес» Моду.



В тот момент, когда президент и Эль Хаджи выезжали на главную улицу города, соединявшую центр с окраиной, бадиен Яй Бинета выходила из дома молодой семьи. Настроение у нее было как у обманутой самки. Если Эль Хаджи страдал от халы физически, то она терпела моральный урон. Рассеялась ее мечта. «Я сумею постоять за себя. Жены Эль Хаджи хотят нас выгнать! Унизить! Клянусь душами моих предков, что через три месяца они сами будут отвергнуты, выброшены, как изношенные тряпки. Или придут и станут на колени перед моей Нгоне, как рабыни»,— говорила она про себя. Она прошла мимо свадебного подарка — стоявшего на прицепе двухместного автомобиля с белой лентой. Ключи от машины и документы на нее были спрятаны у нее под одеждой. Она не верила в порядочность мужчин. Перейдя через улицу, она позвала такси.

Чтобы понять эту женщину, нужно знать ее прошлое. Яй Бинету преследовали неудачи, она была ай гааф[1]. Она уже была дважды вдовой, двух мужей похоронила. А как говорит народная молва, двумя мужьями такую женщину не насытишь, ей нужно загнать в могилу и третьего. Никто не хотел связываться с ней из страха стать ее жертвой. Редко какой женщине в ее положении удается найти третьего мужа. На Яй Бинету смотрели как на пожирательницу мужчин, как на символ скорой смерти, мужчины бежали от нее как от чумы, а замужние женщины ее возраста предпочитали развестись с мужем, чем вместе с ней стать вдовой. Яй Бинета очень мучилась от такой безысходности. Она понимала, что обречена оставаться вдовой до конца дней своих. Родственники, чтобы избавить Яй Бинету от дурной славы, наладить ей жизнь, откровенно предлагали ее мужчинам. Но те неизменно отвергали такой подарок. Поэтому свадьба Нгоне была ее свадьбой.

После обычных приветствий она вошла в комнату, где жили дети и внуки ее брата. Бабакар, сидя на циновке, читал Коран. Мать Нгоне, Мам Фату, бросилась к бадиен. Ей не терпелось узнать, сберегла ли себя до свадьбы ее дочь. Мам Фату не спала всю ночь.

— Я могу говорить? — произнесла бадиен.

— Да,— сказала мать Нгоне, встревоженная таким вопросом.

— Нас опозорили! Эль Хаджи не смог сделать Нгоне своей женой.

— Что? Что ты говоришь?

Бабакар перестал читать.

— Что есть, то и говорю. У Эль Хаджи хала.

Все трое молча уставились друг на друга.

— Бабакар, ты слышал? — произнесла Мам Фату, прерывая молчание.

Старик под впечатлением такой новости, ничего не говоря, мотал головой.

— Что делать? — спросила Мам Фату.

— Эль Хаджи поехал разузнать насчет знахаря,— сказала Яй Бинета.— Это все злые старшие жены, они страшнее, чем коклюш для взрослого.

— Недаром эта женитьба мне никогда не нравилась, слишком лег-

[1] Женщина, приносящая мужчинам несчастье *(волоф)*.

ко она досталась, слишком хорошо это по нынешним временам,— сказала Мам Фату, глядя на мужа.

Наступила зловещая тишина.

— Повтори! — прорычала бадиен, готовая броситься как тигрица.— Надо было это сказать вовремя и открыто! Эль Хаджи Абду Кадер Бей за руку нас не тянул!

Бадиен говорила отрывистым голосом, лицо ее стало жестким, она в упор, зло смотрела на золовку.

— Ты меня неправильно поняла. Я беспокоюсь за нашу Нгоне,— снова заговорила мать, не желая ссориться с бадиен.

Яй Бинета ненавидела жену своего брата, не могла она простить ей того, что эта женщина превратила мужа в бессловесное животное.

— Бабакар, ты должен сходить к Эль Хаджи, поговорить с ним, помочь,— распорядилась Мам Фату.

— Где его искать? — спросил старик.

— В его конторе. Женщине неудобно говорить с мужчиной о таких вещах,— сказала мать Нгоне.

— Она права,— подтвердила Яй Бинета.

Старик закрыл Коран, свернул циновку и встал.

— А где машина?

— Перед домом. Вот ключи и документы на нее. Это его свадебный подарок. Машина принадлежит Нгоне,— сказала бадиен.

Бабакар сунул ноги в бабуши[1] и ушел. Оставшись вдвоем, женщины поладили меж собой. Они уняли свою вражду и стали думать, как дать отпор козням старших жен Эль Хаджи.

В пустом небе не было и облачка, воздух словно замер от удушливой жары. Одежда липла к потной коже. Улицы были оживленными — начиналась вторая половина рабочего дня. Мотоциклы, велосипеды, пешеходы — все это двигалось в одном направлении, к торговым кварталам.

Бабакар пришел сюда опять в надежде застать Эль Хаджи Абду Кадер Бея. Утром он прождал его напрасно. После полуденной молитвы Мам Фату настояла на своем. «В конце концов, он твой зять»,— сказала она ему. Старик шел, прячась от солнца под навесами витрин, под балконами.

Секретарша-продавщица узнала его. Она принимала его за человека, который был нанят на свадьбу и теперь пришел получить деньги. Она предложила ему сесть и принялась за работу. Ей нужно было отпустить товар трем клиентам. Потом появились и другие покупатели.

Час шел за часом. Бабакар прислушивался к пению нищего. Он был очарован. «Какой великолепный голос»,— думал он.

Вошла вторая жена Эль Хаджи и, не поздоровавшись, властным тоном обратилась по-французски к секретарше:

— «Он» там?

Мадам Дьюф подняла голову. Непокорная прядь черного парика закрывала ее низкий лоб. Она узнала вошедшую, поправила прядь указательным пальцем.

— Нет, мадам.

— Он ничего для меня не передавал?

— Нет, мадам. Подождите его. Этот господин тоже ждет.

Уми Ндой уселась, закинула ногу за ногу, открыла только что купленный женский журнал. Секретарша заученным жестом повернула к ней вентилятор. Почувствовав струю свежего воздуха, Уми Ндой одарила мадам Дьюф кисло-сладкой улыбкой.

Вторая жена Эль Хаджи обладала обширными познаниями по части европейской женской моды, знаменитых портных и кинозвезд. Ее повседневным чтением были фотороманы. Она их пожирала, в них верила, мечтала о таких же трепетных страстях. Со вчерашнего дня ей

[1] Туфли без каблуков и задников.

было не по себе. Третий брак мужа был ей невыносим, не давал покоя. Сознание того, что она вторая, необязательная, приводило ее в ярость. Это положение — посередине — было крайне невыгодным. Первая жена — это первая, избранница сердца, третья — желанная. А вторая — необязательна... Ее муме — как пересадка. Уми Ндой обдумала свое положение в этом цикле переходов мужчины и поняла, что попала в немилость.

Она не могла унять свою злость на Аджу Аву Асту. «Почему та не воспротивилась этому браку? Теперь она, наверное, радуется, эта дряблая обезьяна»,— возмущалась Уми. До сих пор она, Уми Ндой, была любимой женой Эль Хаджи. Она удерживала мужа дольше, чем позволяли правила. Она, будучи фавориткой, крала у Аджи Авы Асту дни и ночи. И никогда первая жена не позволяла себе жаловаться, требовать свое, законное. В конце концов Уми Ндой стала считать себя единственной женой. Она, не стесняясь, ходила с Эль Хаджи на все праздники, даже не в свой муме. С Аджей Авой Асту она терпела полигамию, однако появление третьей разбередило в ней старинную рану мусульманских женщин нашей страны. Ее будто обокрали. У нее даже мелькнула мысль о разводе.

— Да ты что?! Одинокая женщина без поддержки мужчины не сможет прожить, не сможет прокормить своих детей, разве что будет торговать собой. Так уж в нашей стране заведено. Это участь всех женщин,— оттоваривала ее мать.— Если бы у тебя была работа, я бы еще поняла, что ты не желаешь терпеть третью жену. Твоя старшая жена из католиков, и то молчит, как же ты, мусульманка от рождения, смеешь протестовать? Посмотри получше вокруг...

Уми Ндой, охлажденная этими доводами, больше не ходила к родителям жаловаться. Но она не желала сидеть, покинутая, взаперти и видеться с мужем только для того, чтобы переспать.

Зазвонил телефон.

— Алло! Да... Нет,— сказала секретарша.— Я записываю. Я не знаю, когда патрон вернется. Хорошо. Да. Да.

Мадам Дьюф положила трубку, посмотрела на свои часы.

— Мадам, мне надо закрывать. Уже поздно,— сказала она подошедшей к ней Уми Ндой.

— Где Эль Хаджи?

— Мне трудно ответить на ваш вопрос, мадам. Патрон уехал еще утром вместе с президентом.

Бабакар тоже встал, но держался поодаль:

— Дочь моя, я отец Нгоне, его третьей жены! Когда увидишь его, скажи, что я жду его дома.

Уми Ндой выскочила, словно ужаленная, даже не попрощавшись. Взгляды ее и Бабакара встретились. В ее глазах была враждебность. Старик, не понимая, в чем дело, почувствовал себя неловко. Он посмотрел женщине вслед.

— Кто это?

— Это вторая супруга Эль Хаджи.

— О, аллах! Мне очень хотелось бы с ней познакомиться,— воскликнул Бабакар и заторопился, пытаясь догнать Уми Ндой.

Был конец дня. Магазины и учреждения закрывались. Людской поток двигался к Медине [1], к жилым кварталам окраин. Бабакар вглядывался в уличную толпу. Он увидел Уми Ндой уже далеко, она садилась в такси. Потом его внимание привлек нищий. Он бросил на овечью шкуру монетку и поплелся восвояси.

Алассан отвез ребят Аджи Авы Асту и теперь, остановившись перед виллой Уми Ндой, помогал вылезти из машины ее детям. Мать как

[1] Мусульманская часть африканского города. В настоящее время слово «Медина» стало обозначать бедные кварталы.

раз в этот момент подъезжала к дому на такси. Она еще издалека замахала рукой.

— Алассан! Алассан! Подожди! — кричала она шоферу.

Расплатившись с таксистом, она окликнула дочь:

— Мариэм! Мариэм! Иди сюда!

Девочка подошла.

— Поезжай за отцом. Он у своей третьей жены. Скажи, что он мне нужен.

— Мама, подожди, я умоюсь.

— Делай, что тебе говорят. Алассан, отвези ее.

— Хорошо, мадам.

Алассан с девочкой уехали.

Войдя в дом, она включила радиоприемник. Слушала Уми Ндой исключительно международную программу на французском языке. Она спросила у служанки, не приезжал ли «месье» в ее отсутствие. Нет, не приезжал.

Вернулась Мариэм:

— Папы там нет! Его с утра никто не видел.

— Ты сказала, что я его разыскиваю?

— Ага,— ответила дочь, протягивая руку к тарелке.

Служанка поставила перед ребятами полдник: хлеб с маслом, джем и печенье.

Старший мальчик, Мактар, поперхнулся. Он повалился на диван, задрав ноги и натужно кашляя. Мать позвонила серебряным колокольчиком. Вошла служанка.

— Принеси Мактару стакан воды.

— Он слишком быстро ест, этот обжора,— сказала Мариэм, доедая свой бутерброд.

Служанка вернулась со стаканом воды и протянула его подростку.

— Не пей большими глотками,— советовала мать, нежно глядя на сына.

Мактар наконец отдышался. Он глубоко вздохнул, шумно выдохнул, вытер невольные слезы.

— Что ты хотел сказать? — ласково спросила Уми Ндой.

— Отец должен нам тоже купить машину. У мамы Аджи Авы Асту есть машина, у третьей жены отца новая. А мы...

— Этот господин видел Раму в ее «фиате», а теперь считает, что он как старший сын тоже имеет право на машину,— издевалась Мариэм, раскрывая журнал.

— А что? Я мужчина!

— Ну и что? Женщины тоже водят машину. Это матери нужна машина, чтобы ездить по делам.

— Спасибо, дочь, что подумала обо мне. Ты прав, Мактар. Мне это раньше в голову не приходило. Я трачу на такси все свои деньги.

Уми Ндой замолчала. Идея была для нее новой. «Действительно,— рассуждала она про себя,— у Аджи Авы Асту есть машина, у третьей жены тоже. А у меня ничего?!»

— Я первый сказал про машину,— опять открыл рот Мактар.

— Верно, сынок! Я скажу об этом вашему отцу. Вы тоже будете ездить в школу на собственной машине. У меня и для тебя есть поручение. Ступай к Адже Аве Асту. Если твой отец там, скажи ему, что он мне нужен. Быстренько.

— Ты обещаешь давать мне машину?

— Обещаю.

Довольный Мактар убежал.

Он тоже не нашел отца. Уми Ндой забеспокоилась. Эль Хаджи Абду Кадер Бей сказал, что придет. Обычно он держал слово. Вот он и начал ее забывать. Поужинав с детьми без него, она взяла свое чтиво

и, все еще полная надежд, пошла в спальню. Переоделась, причесалась, надушилась. Уми Ндой рассчитывала продержать у себя мужа добрую половину ночи. Она выключила лампу дневного света, зажгла ночник. Томная, соблазнительная, она возлежала, прислушиваясь к малейшему шуму. Все было тихо... Она погрузилась в чтение. Иногда ей казалось, что она слышит шум мотора. Машина приближалась, шум нарастал, потом, к ее великому огорчению, стихал. Будильник показывал второй час ночи. Сон не приходил. Она почувствовала, что над ее семейной жизнью нависла опасность.

Поздно ночью Эль Хаджи Абду Кадер Бей возвратился к третьей жене. Во дворе виллы все было тихо и спокойно. Из-под дверей просачивался свет. Эль Хаджи постучал.

— Кто там?

— Это я, Эль Хаджи,— ответил он, узнав голос бадиен Яй Бинеты.

Она открыла.

— С миром ли вы провели день? — спросил он.

— Спасибо, с миром,— ответила бадиен. И добавила: — Нгоне еще не спит.

Эль Хаджи понял, что его ждали.

— Ты ужинал?

— Да.

— Если захочешь есть, вот твоя доля. Ты что-нибудь сделал?

— Да. Я был у марабута.

— Слава аллаху!

Эль Хаджи вошел в брачные покои. Там ничего не было тронуто — кровать на том же месте, в углу манекен, одетый в свадебное платье. Нгоне, как и накануне, лежала в ночной рубашке и ждала. Расплывчатый свет ночника падал на нежные округлости ее тела. Он мечтал об этом мгновении в постелях своих жен: остаться наедине с Нгоне. Он добился своего, как хищная птица, принес жертву в свое гнездо... А насладиться добычей не мог...

Хала, о которой вчера говорили на ухо по секрету, с течением дней, а потом и недель стала темой общих пересудов. Не счесть факкаттов[1], у которых побывал Эль Хаджи Абду Кадер Бей. Каждый предписывал ему свое средство. Его обмывали магической водой, заставляли ее пить; ему давали хатимы[2], которые он должен был носить привязанными на поясе; его натирали разными мазями; от него требовали, чтобы он сам зарезал совершенно красного петуха. В надежде на излечение он делал что угодно. При виде его «мерседеса», останавливавшегося перед соломенными хижинами и шаткими хибарами, его европейской одежды каждый фак-катт понимал, что пациент обладает большим достатком. С него запрашивали очень круглые суммы. Он платил не споря.

У каждого из лекарей была своя версия. Многие говорили, что он стал жертвой ревности одной из жен. Один даже, правда очень неясно, описал виновницу: женщина среднего роста, скорее маленькая. Издерганный уже Эль Хаджи отбросил сомнения: Уми Ндой. Другой шарлатан в большом тюрбане, с похожей на рыбий хвост бородой, которую он беспрестанно поглаживал, с угловатым лицом и слезящимися бараньими глазками, все время поминавший аллаха и сопровождавший каждую фразу угодливой улыбкой, глядя в черноватую воду, налитую в бутылку из-под шампанского, заявил, что это дело рук его сообщника, мнимого друга, который хотел ему зла. Эль Хаджи мысленно пере-

[1] Лекарь *(волоф)*.

[2] Магические слова, надписи *(волоф)*.

брал в голове «деловых людей» — нелепо. Тип непристойным жестом почесал грудь, потом снова приник глазом к горлышку бутылки. Нет сомнений, он видел виновника халы: мужчина высокого роста, темнокожий, но не очень.

Шли дни, недели. Эль Хаджи Абду Кадер Бей подолгу сидел в своей «конторе», отсутствующий, погруженный в себя. Он больше не следил за своей секретаршей-продавщицей. Раньше он подстерегал, когда она повернется к нему спиной, и внимательно рассматривал ее бедра, пару пышных, как щеки, ягодиц. В кругу его друзей бедра мадам Дьюф были предметом веселых шуток.

Эль Хаджи думал о своей хале денно и нощно. У него появился комплекс неполноценности перед коллегами. Он считал, что привлекает всеобщее внимание, что все о нем говорят, не переносил теперь смеха у себя за спиной, шепота в своем присутствии, пристальных взглядов. Хала до того его довела, что он словно разговаривать разучился. Ему трудно стало общаться со служащими, женами, детьми, деловыми знакомыми.

Его охватывала, слепила черная злоба. Он сразу постарел. От подглазий к подбородку, огибая рот, расширяясь книзу, пролегли две глубокие складки. Подбородок стал массивнее. Из-за недосыпания запали глаза, белки их стали красноватыми, и на них проступила паутина кровеносных сосудов, которые временами окрашивались в цвет застоявшегося пальмового масла.

Единственным человеком, которого Эль Хаджи Абду Кадер Бей не стеснялся, был президент «Союза деловых людей». Тот не жалел времени на разговоры с Эль Хаджи, утешал его своим грудным, участливым голосом.

— Мы найдем хорошего марабута,— не унывал президент после очередной их неудачи.

Он подыскивал все новых и новых лекарей. Эль Хаджи, сникший, чуть не плачущий, полностью положился на него. В голове у Эль Хаджи стоял сплошной туман, все мерцало, одни и те же мысли не давали ему покоя. Он совсем помешался на своей хале.

Перед печально знаменитой брачной ночью Эль Хаджи добился от Аджи Авы Асту и Уми Ндой разрешения провести с молодой женой месяц. Тридцать ночей блаженства... Теперь для него снова наставали обычные муме. Каждой три дня, по очереди. Первая — Аджа Ава Асту. Яй Бинета благословила его: «Может быть, муме помогут узнать, которая из них наслала порчу?»

Посрамленный Эль Хаджи вернулся к кочевой жизни. Первая жена, как и предписывают догмы ислама, держалась скромно. Темы их разговоров не выходили за стены дома. Дети в его отсутствие вели себя хорошо. Женщина она была выдержанная, ни о чем и не заикнулась. Дошли ли до нее слухи? Муж тем более молчал. Две следующие ночи были похожи на первую. Без ласк. Айе кончился, и на шесть следующих ночей муж уехал от Аджи Авы Асту к другим женам.

У Аджи Авы Асту не было подруг. Жила она очень одиноко, как затворница. Когда ей и хотелось выговорить то, что накопилось на сердце, рядом ни одной живой души не было. Она вновь и вновь думала об отце. Ей страшно не хватало Папы Жана. Раньше она каждую пятницу после большой мессы приезжала на католическое кладбище на могилу матери. Сторож терялся в догадках, пораженный постоянством этой женщины, всегда одинаково одетой, с закутанной белым шарфом головой. Человек он был подозрительный и издалека следил за ней. Кто она? Сумасшедшая? Отлученная от церкви? Воровка? В одно из воскресений Папа Жан, которого он хорошо знал, разыскал его с могилы исчезли бессмертники.

— Дама в белом посадила их вон там, за плитой,— ответил ему сторож, показывая цветы.

— Рене...— вполголоса произнес Папа Жан. Потом спросил: — Эта дама приходит сюда в воскресенье утром?

— Нет. В пятницу во второй половине дня. Ее шофер сказал мне, что это ее мать.

Папа Жан возвратился на остров. Ему тоже очень бы хотелось увидеть дочь, поговорить с ней.

В одну из пятниц рамадана[1] сторож дождался, когда Аджа собралась уходить, и подошел к ней:

— Мадам, я больше не вижу здесь вашего отца. Надеюсь, ничего серьезного?

Аджа Ава Асту подняла на него полные тревоги глаза:

— Давно он перестал приходить?

— Я не скажу точно, мадам, но вот уже несколько воскресений.

— Спасибо,— сказала она, давая ему несколько монеток.

Вернувшись домой, она предложила старшей дочери проведать дедушку. Рама была у них связной, привозила новости друг о друге.

Аджа Ава Асту, женщина целомудренная, никому не говорила о хале мужа. Она сблизилась с дочерью. Мать отметила, что по вечерам Рама стала больше бывать дома. По вечерам дочь возвращалась рано, чтобы побыть с ней. Ей было не так одиноко.

В этот вечер мать пришла к девушке в комнату. Ей хотелось выговориться.

— Мама!.. Садись,— сказала Рама, откладывая книгу.— Я совсем не вижу отца.

— Твой отец сейчас очень занят! — ответила мать, беря книгу. С книгой в руках она чувствовала себя увереннее. Она не решалась начать разговор. Но какой она ни была примерной женой и матерью, она не могла скрыть свою боль. Скороговоркой, словно боясь запнуться, она задала вопрос, который ее так мучил:

— Что говорят в квартале?

Рама повернулась к матери. С трудом подбирая слова, заранее взвешивая их, она медленно произнесла:

— Говорят, что у отца хала.

Аджа Ава Асту поджала губы, опустила глаза на книгу. Наступила тишина. «Значит, все знают»,— подумала женщина. Она медленно подняла голову, посмотрела на дочь:

— Что мне делать?

Мольба матери была искренней. Рама молчала. В душе ее шла борьба: она была против полигамии, но знала, почему мать так держится за свое положение — из-за них, из-за детей. Она прощала ей слабость, но не могла ее оправдать.

Два-три дня назад Рама, как обычно, приехала в клинику за Патэ, своим женихом. Патэ год назад получил диплом психиатра Теперь он практиковал. Был конец дня. В кабинет к Патэ забежал санитар:

— Доктор, тебя зовет шеф. Срочно.

Патэ вышел в коридор. На пороге приемной он нос к носу столкнулся с Эль Хаджи Абду Кадер Беем. Они были знакомы.

— Что-нибудь случилось? — тут же задал профессиональный вопрос обеспокоенный Патэ.

— Нет! Ничего,— поспешил ответить Эль Хаджи. Потом сказал: —

[1] Девятый месяц мусульманского лунного календаря, в течение которого мусульмане соблюдают строгий пост.

Доктор, я больше не вижу тебя у Аджи. Надеюсь, ты не поссорился с Рамой?

Врач улыбнулся. Внешне он выглядел очень юным, поэтому зрелость этого совсем молодого человека вызывала симпатию старших.

— Нет. Просто много работы.

— Ну, тогда до встречи.

Патэ толкнул дверь кабинета главного врача.

— Ты его видел? — спросил главный, приводя в порядок стол.

— Кого?

— Эль Хаджи Абду Кадер Бея?

— Да. Он сделал пожертвование для больных?

— Если бы. Он явился совсем по другой причине — из-за своей третьей жены.

— Уже беременна?

— Увы, нет. Ты чересчур ироничен! Уже много ночей он ни на что не способен. Он считает, что на него наслали порчу. На волоф это называется хала. Он хочет, чтобы мы вернули ему мужскую силу. Так и сказал.

Оба врача рассмеялись.

— Обычный случай психического расстройства,— заявил Патэ.

— Может быть! До свадьбы у него все было в порядке. А во время брачной ночи выяснилось, что он ничего не может. Он уверен, что это хала. Ты знаешь, что это такое?

— Слышал.

— Так вот! Перед тобой случай халы.

— Что я могу сделать? Он ведь не ко мне пришел на прием. Если ты думаешь, что наука бессильна...

— Ты слишком торопишься, Патэ. Наука никогда не бывает бессильна. У нее есть неисследованные зоны. Мы с тобой к тому же находимся в Африке, здесь нельзя все объяснить и вылечить с помощью биохимической терапии. Здесь у нас царство иррационального. Не хочешь заняться им, поговорить, расспросить о попытках вылечиться у знахарей?

— Мы не настолько близки. Правда, я встречаюсь с его дочерью...

— Уже неплохо! Ты проник в его цитадель. Это все, зачем я звал тебя, спасибо. До завтра....

Патэ вышел от главного врача в раздумье. Разговор его разозлил. Голова у него шла кругом — как отнестись к такой новости? Рассказать Раме или не надо?..

Рама ждала его у входа в клинику. Она заметила, как из здания вышел отец.

— Я здесь, красавчик... Я тебя жду, а ты опаздываешь,— сказала она Патэ, успевшему переодеться в тергалевые брюки и рубашку с короткими рукавами и вышитым воротом.

— Прости.

— С тебя штраф. Ты говоришь по-французски.

Патэ часто забывал это правило их группы языка волоф. Каждый, кто начинал говорить по-французски, наказывался штрафом.

— Что ты с меня потребуешь?

— Потом узнаешь.

Рама отпустила рычаг ручного тормоза. Она обожала быструю езду. «Фиат» сорвался с места как смерч. У перехода они едва не наехали на пешехода, машину вынесло на тротуар. К ним подошел регулировщик. Очень вежливо он попросил по-французски:

— Пожалуйста, мадам, ваши документы!

Рама взглянула на Патэ, грациозно повернулась к полицейскому и сказала на волоф:

— Что ты хочешь, брат мой?

— Ваши документы,— повторил полицейский по-французски.

— Прости меня, брат мой, но я не понимаю, что ты говоришь.

— Ты не понимаешь по-французски? — спросил тот на волоф.

— Я не понимаю по-французски, брат мой.

— Каким образом тебе удалось получить права?

Рама украдкой бросила взгляд на Патэ. Тот предпочитал не открывать рта, чтобы не расхохотаться.

— Давай документы,— сурово произнес полицейский на волоф.

Рама порылась в сумочке и протянула ему документы. Полицейский, нагнувшись, вгляделся в лицо Патэ и вдруг радостно закричал:

— Доктор! Вы меня не узнаете? Вы вылечили мою вторую жену. Очень хорошо вылечили.

— Может быть,— скромно сказал Патэ.

— А я вас узнал. Не знаю, как вас и благодарить. Моя жена теперь очень хорошо себя чувствует.

— Вы знаете, к нам в клинику приходит много народу.

Рама повернулась к Патэ и жестом напомнила ему, что он опять говорит по-французски.

— Это ваша дама, доктор? — спросил полицейский.

— Нет... Родственница. Я еду посмотреть ее мать.

Рама ткнула его локтем в бок.

— Я надеюсь, муж научит ее, как себя вести!

— Я тоже надеюсь и желаю ей этого,— добавил с серьезным видом Патэ.

— Благодари доктора за то, что он согласился поехать с тобой лечить твою больную мать. Если бы не он, я бы забрал у тебя права. Можешь ехать,— сказал на волоф полицейский Раме.

Он эффектным жестом остановил малолитражку, ехавшую в противоположном направлении, и сделал Раме знак проезжать. Когда он скрылся из виду, они расхохотались.

Они приехали в Сумбедьюн[1].

Желтые лучи сумеречно-бледного в это время года солнца под острым углом падали в море. На веранде бара сидели несколько человек, наслаждаясь редкими дуновениями ветерка.

— Зачем ты наговорил столько небылиц? — спросила Рама, садясь за стол.

— Я думал, ты не понимаешь по-французски.

— Хороший ответ, красавчик.

На них снова накатил приступ безумного смеха.

Гарсон, вышколенный в училище официантов, ждал, прямой и невозмутимый. Рама заказала кока-колу, Патэ — пиво.

— Привозного, месье?

— Местного,— ответил Патэ.

— Как ты думаешь, мы когда-нибудь поженимся?

Патэ, заинтригованный, застигнутый врасплох этим вопросом, не видя связи между ним и происшедшим инцидентом, молчал. Потом спросил:

— А кто против?

— Это не ответ. Я хочу знать, собираешься ли ты еще на мне жениться, да или нет?

Официант принес кока-колу и пиво.

— Да, собираюсь.

— Имей в виду, я против многоженства.

— Что случилось?

— Ты знаешь про третий брак моего отца?

— Да.

— Помимо того что это стоило ему огромных денег, ты знаешь, что было потом?

[1] Местечко на берегу океана в окрестностях Дакара.

— Нет,— ответил доктор, вспоминая недавний разговор с главным врачом.

— Ради этой женитьбы мой отец истратил целое состояние, он купил своей дульцинее машину при условии, что она окажется девушкой. Нетронутой... Я убеждена в ее невинности так же, как в своей собственной.

Она замолчала, выпила кока-колу. Патэ, не зная, какой будет реакция девушки, если он проговорится о визите Эль Хаджи в клинику, ждал, что она скажет дальше. Правой рукой он прогнал кружившуюся около его стакана пчелу Рама поманила его указательным пальцем. Он наклонился к ней. Локоть ее лежал на стуле, она подняла вверх ладонь и стала безвольно покачивать ею.

— Что это? — в недоумении спросил Патэ.

Рама в свою очередь с недоумением посмотрела на него.

— Что это? У моего отца хала,— ответила она, выпрямляясь.

— Как ты об этом узнала?

Разве она не видела, как отец выходил из клиники? Это еще раз подтверждало то, что она слышала и раньше. С усмешкой в глазах, улыбаясь краешками рта, она снова наклонилась к нему:

— Как я узнала? Родитель пришел ко мне как к фак-катту и сказал: «Рама, моя дорогая дочь, на меня наслали порчу».

— Все-таки как ты об этом узнала?

— Значит, ты тоже знаешь!

Патэ, попавшись, смешался.

— Я видела, как отец выходил из клиники,— сказала Рама.— Об этой свадьбе говорил весь Дакар, теперь знают и ее подноготную.

— Твой отец на самом деле приходил на прием к главному! Но что говорит твоя мать?

— Красавчик, я начинаю сомневаться в твоих умственных способностях. Моя мать? Она живет в прошлом веке. Разве она не смирилась со второй женой?

— А отец?

Она показала ему на щеку, по которой ее ударил отец.

— ...Последний раз, когда я видела отца, он приложился своей рукой вот сюда... Это было в день его свадьбы.

— Достойный подарок.

— Ты очень остроумен, красавчик. В качестве штрафа я хочу еще кока-колы.

Патэ позвал гарсона и попросил повторить заказ.

— Я очень нервничаю из-за матери. Ее раздирает чувство вины. Когда мы поженимся, я сделаю все, чтобы она развелась и стала жить с нами.

Свежий ветер приносил с океана запах йода. В тот день они говорили только о хале. Рама волновалась за мать.

«Что мне делать?» Слова матери звенели у нее в голове, как детская погремушка. Рама вспомнила разговор с Патэ. Может быть, медицина поможет отцу? Сомнительно. Она сама не понимала, почему она в это не верит. Раме очень хотелось ответить так, чтобы не огорчать мать, дать ей хоть какую-то надежду. А если это неправда? Из-за ее великодушия надежда взойдет, как тесто на дрожжах... Разочаровываться еще хуже, терять надежду больнее.

Рама наблюдала за матерью. В глазах женщины отражалось крайнее замешательство. Она перекладывала книгу из одной руки в другую. Ладони ее были влажными.

— Тебе ничего не нужно делать, мама...

Рама говорила очень осторожно. Она хотела успокоить мать.

— Я даже выйти не могу. На меня смотрят, как на...

Конец фразы захлебнулся в приглушенном рыдании.

— Мама, это ты наслала порчу?

И без того худое лицо Аджи Авы Асту вытянулось, изогнутые щели глаз стали еще уже, по левой щеке покатились серебристые капли величиной с булавочную головку, нижняя губа отвисла и задрожала.

— Клянусь аллахом, это не я.

— Почему же ты чувствуешь себя виноватой?

— Просто потому, что я его жена. Старшая. В таких случаях всегда обвиняют первую жену.

— Надо было поговорить с отцом во время твоего айе.

— Я не могу говорить с ним об этом.

— Если хочешь, я с ним поговорю.

— Стыда у тебя нет,— воскликнула Аджа Ава Асту. Она встала, книга упала на пол.— Как ты можешь говорить о таких вещах с отцом?

Мать вышла из комнаты, хлопнув дверью. Рама, оцепенев, смотрела на закрывшуюся дверь.



Эль Хаджи Абду Кадер Бей выполнял предписания знахарей, пил отвары, натирался мазями, носил на поясе хатимы. Однако, несмотря на все ухищрения, никаких признаков улучшения не было. Он опять поехал в психиатрическую клинику. Ничего не утаивая, дрожащим голосом он открылся главному врачу. Главный врач сделал себе пометки и велел прийти еще раз.

Дни сменяли ночи, он ни о чем, кроме халы, не думал, а дела его покрывались ржавчиной. Словно ствол дерева, затопленный разлившейся речкой и пропитавшийся влагой, Эль Хаджи погружался в ил, отдалялся от того круга, в котором завязывались и скреплялись сделки. Он тяжелел, ловкость, с которой он раньше устраивал свои делишки, пропала. Магазин его мало-помалу хирел.

А надо было поддерживать привычный широкий образ жизни: три дома, целый парк машин, жены, дети, слуги, служащие. Привыкший ради удобства и экономии в домашнем хозяйстве за все расплачиваться чеками, Эль Хаджи подписывал их один за одним. Он тратил и тратил. А прежних доходов, увы, уже не было.

Его тесть, отец третьей жены старый Бабакар, знал одного сит-катта[1], который жил в пригороде. Они поехали туда.

На «мерседесе» до жилища провидца добраться было невозможно — всюду песчаные улочки. По колено увязая в песке, они шли пешком. Жилища здесь были деревянные, времянки, крытые толем, просмоленной мешковиной, листами картона. Все это крепилось булыжниками, железными балками, осями и ободами колес от машин самых разных марок. Босоногие мальчишки гоняли самодельный мяч. По склону пустыря с другого конца квартала, оттуда, где был настоящий город, возвращалась от водопроводной колонки длинная цепочка женщин с тазами и пластмассовыми ведрами на голове.

Сит-катт, жуликоватого вида старичок с шершавой, морщинистой кожей, карими глазами и нечесаными волосами, в коротких, сшитых на турецкий манер широких штанах и с голым торсом, ввел их, неуклюже шагая, в помещение, приспособленное для консультаций такого рода. Дверью в него служила джутовая циновка. С внутренней стороны эта циновка была красной, и к ней были пришиты зубы животных, лапы кошек, птичьи клювы, высохшие шкурки, амулеты. По стенам висели рога самых причудливых форм. Под ногами был чистый мелкий песок.

Этого таинственного отшельника окружал ореол славы. Слухи о его «работе» вышли далеко за границы квартала. Жестом сухонькой ручонки он предложил им садиться на козью шкуру. Одетый

[1] Провидец *(волоф)*.

по-европейски, Эль Хаджи несколько замялся, но все-таки кое-как сел. Бабакар опустился на корточки, как чистильщик обуви. Сит-катт разложил между ними квадратный ярко-красный лоскут, вытащил из плетеной сумочки маленькие продолговатые ракушки. Перед тем как приступить к священнодействию, он произнес заклинание, потом резким движением бросил ракушки на лоскут. Ловко сгреб их одной рукой. Напряженный, с прямой спиной, сит-катт буравил глазами клиентов. Вдруг он протянул им кулак с ракушками. Худая рука со сжатой в кулак, похожей на неровный шар кистью медленно, как цветок, раскрылась. Бабакар — у него от этих манипуляций захватило дух — показал пальцем на Эль Хаджи.

— Возьми ракушки и подуй на них. Расскажи им о том, что привело тебя сюда,— приказал провидец, впервые раскрывший рот.

Эль Хаджи шептал, держа ракушки на ладони. Потом он дунул на них и вернул. Закрыв глаза, шевеля губами, сит-катт ушел в себя. Потом с гортанным рыком он бросил ракушки на лоскут.

Внезапно перед Эль Хаджи замерцал, словно искорки в темноте, забытый, ушедший в небытие мир его раннего детства. Он оторопел: его существо было заполнено злыми духами, крошечными волшебными человечками, джиннами.

Сит-катт пересчитывал ракушки. Один раз... Другой... Третий... Что? Он поднял на посетителя глаза-буравчики цвета табачных листьев. Эль Хаджи стало страшно. Почему он так на него смотрит? Провидец опять сгреб ракушки, потом опять их раскинул.

— Странно,— прошептал он сквозь зубы.

Эль Хаджи и Бабакар не осмеливались слова вымолвить. Перед тем как в очередной раз бросить ракушки, провидец достал завернутую в красную тряпицу петушиную шпору и смешал ее с ракушками. Лицо его помрачнело, взгляд сделался пронзительным, зрачки не двигались. Он нагнулся, потом снова выпрямился. Лицо его озаряла довольная улыбка.

— Странная это хала,— произнес он.

Эль Хаджи млел. В душе у него разливалось благодатное тепло, на теле выступила испарина. Он с благодарностью смотрел на тестя. Он никогда раньше не слышал об этом сит-катте.

— Кто наслал на него порчу? — спросил Бабакар.

Провидец был погружен в размышления. Издалека доносился топот ребячьих ног, ближе звучала музыка: кто-то, не подвластный совершавшемуся здесь таинству, проходил мимо с транзистором.

— Я не могу различить его! Мужчина?.. Женщина?.. Очень трудно сказать. Вот тебя я вижу хорошо. Ты здесь есть.

— Я хочу вылечиться,— вырвалось у Эль Хаджи. Как ребенок, он смотрел в рот провидцу, ожидая ответа.

— Я не врачеватель, я сит-катт. Мое дело видеть.

— Кто это сделал? Кто? — вопрошал Эль Хаджи.

Выражение его состарившегося лица напоминало маску бауле[1].

— Кто?..— повторил сит-катт.

Его пальцы, нависшие над веером ракушек, казалось, щиплют струны гитары. Глаза его, как и пальцы, следили за невидимой линией. Он повторил еще раз:

— Кто?.. Очень плохо видно... Но я могу тебя заверить, что это кто-то из твоего окружения. Халу на тебя наслали вечером.

— Скажи мне, кто это, и я дам тебе все, что захочешь. Я хочу вылечиться! Снова стать мужчиной! Скажи мне, сколько ты хочешь,— уже не сдерживаясь, вопил Эль Хаджи. Он вытащил бумажник.

— Я возьму только то, что ты мне должен,— ответил ему сит-катт очень надменно. Он посмотрел Эль Хаджи в глаза и добавил: — Ты спрашивал у меня только, кто наслал порчу?

---

[1] Африканская народность, живущая в Республике Берег Слоновой Кости.

— Да, я именно это шептал на ракушки,— с сожалением признал Эль Хаджи.— Но ты можешь меня вылечить, сделать меня здоровым? Я прошу тебя,— умолял Эль Хаджи с деньгами в руках.

Сит-катт аккуратно сложил свои приспособления, свернул лоскут, уже не обращая на них внимания. От былой почтительности не осталось и следа.

— Сколько мы тебе должны? — спросил Бабакар.

— Пятьсот франков К. Ф. А.!

Эль Хаджи вручил ему тысячефранковую бумажку. Сдачи у провидца не было, и Эль Хаджи оставил ему пятьсот франков в подарок.

Они вышли на улицу. Эль Хаджи повторял про себя: «Это кто-то из твоего окружения». В голове его сквозь придирчивое сито подозрений несся поток имен, рисовались силуэты, неотчетливые контуры лиц. Слова «провидца» не давали ему покоя.



Был муме Уми Ндой. Он оттягивал момент возвращения. Он заранее был уверен, что с ней ему не удастся увильнуть от исполнения супружеских обязанностей. Он приехал к ней поздно вечером. Позже уже нельзя было.

Уми Ндой подготовилась к своему айе в лучших традициях соперничества между женами. Раскошный ужин, меню взято из французского журнала. Она хотела заставить его забыть последнюю трапезу у другой жены. Стол сиял буржуазным благополучием: закуски, телячья вырезка, розовое провансальское вино в ведерке со льдом. Рядом бутылка «эвиана», на другом конце пирамида яблок и груш, около суповой миски сыры в обертках. Для Уми Ндой это было поле битвы за потерянный плацдарм. Она отвоевывала мужчину. Одна из подруг, щедрая на советы, нашептала ей утром:

— Чтобы добиться расположения мужа, женщина, которая вступает в соперничество с другими женами, должна знать два слабых места каждого мужчины: желудок и постель. Надо уметь будить желание, быть женственной и чуть-чуть стыдливой. Ну, а в постели стыд долой, он вызывает только досаду.

Уми Ндой скрутила на лбу косички на манер хасонке[1], посередине головы вплела в волосы крученый золотой шнурок, который спускался к затылку. От ушей ниспадали веером еще по пять косичек с плоскими перламутровыми украшениями в форме сердец. Тонкая полоска сурьмы подчеркивала брови и ресницы.

Сидя напротив мужа, она болтала, пытаясь выжать из этого тет-а-тета максимум выгоды. Время от времени она звала колокольчиком служанку.

— Я уже и не надеялась тебя увидеть! — говорила она смеясь. — А ведь я тоже твоя жена! Разве нет?.. Я, конечно, немного постарше твоей Нгоне... Но заметь, рядом мы могли бы показаться сестрами,— заключила она весело.

Ресницы ее хлопали, как две собирающиеся взлететь бабочки. Эль Хаджи заставлял себя улыбаться. Ел он неохотно. У него было такое ощущение, будто комната очень узкая, и это действовало ему на нервы.

— Ты уже начал меня обманывать. Водишь меня за нос?! Мог бы и позвонить. Не ради меня! Я свое место знаю. Ради детей. Вдруг кто-то заболел. Подержимся за дерево! Всякое ведь может случиться. А я?! Я знаю, когда мой айе. Я ничего не требую. Просто хочется, чтобы ты вспоминал обо мне иногда. Это ведь тебе ничего не стоит. А мне приятно.

У Эль Хаджи Абду Кадер Бея словно заноза засела в голове —

[1] Племя, живущее в Западном Сенегале.

она это сделала или нет? А Уми Ндой не закрывала рта. Ей так повезло, что она достала это мясо. Телячья вырезка из Франции. Местные мясники не умеют разделывать туши. «Ты не думаешь? У лавочника были недозрелые авокадо. Хороши только для тубабов. Да что теперь за тубабы!»

Эль Хаджи встал из-за стола, опустился в кресло, вытянул ноги, ослабил галстук, откинулся головой на спинку. Яркий свет лампы огрублял черты его постаревшего лица. Его короткие, седые волосы блестели, как ворсинки льна.

— Конечно, когда кормят в разных местах, выбираешь ту кухню, которая нравится больше,— обиженно бросила Уми Ндой, еще сидевшая за столом. Потом, немного помолчав, снова начала вкрадчивым, сладким голосом: — Ты должен понять, что, когда я говорю с тобой о чем-нибудь, это ведь еще и из-за детей. Тебе надо быть справедливым, как того требует Коран. В каждом твоем доме, кроме этого, есть машина. Почему?

Эль Хаджи не слушал. Он думал о своей хале. Сейчас он мог оценить молчаливость Аджи Авы Асту. Он сидел как человек, совершивший какой-то постыдный поступок, и с ужасом ждал той минуты, когда надо будет ложиться спать. Сердце его учащенно билось. У него было острое желание сорвать Уми Ндой ее муме. переночевать где угодно, только бы подальше от нее. Но он знал заранее, что эта женщина перевернет весь мир, но заставит его вернуться.

— Отвечай!

— Я не слышал. Что ты говорила?

Она смотрела на мужа, руки на бедрах.

— Самый глухой тот, кто не хочет слышать. Я повторяю тебе, что моим детям тоже нужна машина. Одна у Аджи, другая у твоей третьей. Я не хочу быть запасным колесом. Ты развиваешь в моих детях комплекс неполноценности.

— Что ты орешь! Детей разбудишь.

— Признай, что я права. Все для других. Ничего для меня и моих детей.

— Дай мне «эвиан»!

Гнев ее прогорел, словно соломинка. Она принесла бутылку и стакан.

— Я приготовлю тебе ванну.

Она только сегодня прочитала про это в журнале. Эль Хаджи не верил своим ушам. Он смотрел на женщину, приятно удивленный.

— Хорошо. Спасибо.

Она вышла.

После ванны Эль Хаджи лег в постель. Она не заставила его долго ждать. В комнате запахло ее духами. Она прижалась к нему, расстегнула пижаму. Ее требовательные пальцы скользили по его телу. Эль Хаджи Абду Кадер Бей стоически терпел эту пытку. Он чувствовал, как спина его становится влажной. Было время, когда такие прикосновения немедленно его возбуждали. Сегодня вечером эта рука доставляла ему только мучения. Он лежал подавленный, чуть не плача.

Уми Ндой восприняла такое поведение мужа как начало своей опалы. Она метала громы и молнии. Сочные, хлесткие, пересыпанные ядовитыми намеками фразы били в самую точку:

— Это старуха Аджа выжала из тебя все соки? Или Нгоне? Надо быть молодым и хорошим наездником, чтобы кататься на двух кобылах сразу, да еще так подолгу,— заявила она в конце концов, повернулась спиной и оставила его в покое.

Разбитый, ничего не соображая, Эль Хаджи медленно засыпал. Задремав, он тут же просыпался, и каждый раз в ушах у него звенела витиеватая песня нищего.

На следующий день, когда он, гладко выбритый, переодевшийся, завтракал после ухода детей в школу, Уми Ндой села с ним рядом. Глаза ее после такой неудачной ночи были блеклыми. Между ними выросла стена неловкости. Эль Хаджи мучительно хотелось оправдаться. Он ссылался на возросшую занятость. Чтобы получить прощение за свое поведение ночью, он оставил жене крупную сумму. При виде нескольких пачек кредиток Уми Ндой сделалась снисходительной.

— В полдень меня не жди...

— Где ты будешь обедать?

— С президентом. Мы должны встретиться с несколькими предпринимателями-тубабами и провести день с ними.

Говоря это, Эль Хаджи смотрел на дверь. Ложь его утешала.

— Тогда возвращайся пораньше вечером. Мы уже давно не были в кино.

— О'кэй,— согласился он, уходя.

Шофер Моду прекрасно видел, что хозяин в депрессии: тихий голос, бегающий взгляд, тяжелая, нерешительная походка. Раньше Эль Хаджи напоминал ему его деда, шутил, смеялся, теперь, после своего третьего брака, стал малообщительным, замкнутым. Моду привез его в контору и уселся на своем табурете, слушая нищего. Мальчишка, как обычно, возился с тряпкой около машины.

Шли часы. Входили и выходили клиенты. В сопровождении старухи, на сей раз без петуха, появилась бадиен Яй Бинета. Зайдя в «кабинет» Эль Хаджи, бадиен тут же стала задавать вопросы:

— Как ты себя чувствуешь эти дни?

— Слава аллаху, хорошо. Спасибо.

— Хорошо, хорошо? — не унималась она.

Эль Хаджи не хотелось отвечать при незнакомой женщине.

— Ты не узнал ее? Не узнал? Что с тобой сегодня, сам здесь сидишь, а голова где-то бродит? Ведь она приходила тогда утром, с петухом.

Эль Хаджи вспыхнул от злости. Ему было очень неловко. Бесцеремонность бадиен переходила всякие границы.

— А как с другими женами?

— Так же.

Бадиен открыла рот. Переглянулась со старухой.

— Ну и ну! — произнесла та.

Богатая фантазия бадиен не дремала: «Если жены не жалуются, значит, это они подстроили ему халу. Они не просто ревнивы, они страшно опасны для моей Нгоне».

И вдруг у нее появилось новое подозрение. Житейский опыт подсказывал ей, что мужчинам не очень-то можно верить. «А не всегда ли он был такой? Да он ли настоящий отец своих детей? В наше время женщины ради денег готовы на все. Не из тряпок они сделаны, живые люди. Надо узнать правду. Истинную правду...» И Яй Бинета перевела разговор на другую тему, показав, насколько она деликатна:

— Я видела Бабакара. Тебе надо к нему заехать. Он знает одного хорошего сит-катта.

— Мы у него были.

— Да-а! — протянула она с простодушным видом, изобразив на лице удивление.

В глазах ее поблескивало лукавство. Эль Хаджи Абду Кадер Бей был уверен, что старик Бабакар подробно пересказал сестре и жене их визит к провидцу. Что эта баба так меня изводит? «Это кто-то из твоего окружения»,— повторял он про себя. А почему бы и не

она? Эта женщина бесцеремонна до крайности. Что, она собралась им командовать? Ждет, что он будет ей рассказывать подробности своей интимной жизни?

— Тебе нельзя терять времени! Надо лечиться, пока не поздно! Мы с нетерпением ждем наш муме.

— С такими делами тянуть нельзя,— подала голос старуха.

Эль Хаджи слышал намек, но угрозы, которая была в нем, не почувствовал.

— Ты не должен забывать нас, пренебрегать нами,— снова заговорила бадиен.— Молодая жена не может без мужа. От разлуки любовь сохнет.

Они поднялись. Эль Хаджи велел Моду отвезти их.

— Тебе надо заехать к нам сегодня вечером... Просто навестить... Ждать шесть дней — это ведь долго.

— Хорошо,— пообещал он.

Машина отъехала. Зачем она явилась напоминать ему о муме Нгоне? Разве он не муж? «Тебе нельзя терять времени!» Что она хотела сказать? А ее угрожающий тон? Эта женщина внушала ему отвращение.

Плачевное состояние Эль Хаджи Абду Кадер Бея весьма чувствительно отражалось на его делах. Последний раз он пополнял товарами свой склад накануне свадьбы. А справедливости ради надо сказать, что все эти люди, присвоившие себе право помпезно называться «деловыми», были просто-напросто посредниками, коммивояжерами нового типа. Товары для перепродажи мелочным торговцам им поставляли старинные колониальные фирмы, приспособившиеся к новой ситуации. Склад импорта-экспорта, его «контора», был расположен в центре коммерческого района Дакара. Большое помещение, которое он снимал у одного араба. В лучшие дни оно было переполнено мешками риса из Сиама, Камбоджи, Южной Каролины, Бразилии, хозяйственными и продовольственными товарами из Франции, Голландии, Бельгии, Италии, Люксембурга, Англии, Марокко, до самого потолка забито домашней утварью из пластмассы, алюминия, никелированного железа. Сладости, консервированные помидоры, перец, сгущенное молоко, лук... Секретарша-продавщица расходовала по два баллона дезодорана в неделю. В углу Эль Хаджи отгородил себе небольшой «кабинет», заставленный металлическими шкафами. На выдвижных ящиках были проставлены месяцы и годы.

Вошла мадам Дьюф и сообщила, что уже полдень. Мысли его по-прежнему были заняты бадиен. Ни с кем он не должен был обедать. Просто ему хотелось остаться одному. Один он чувствовал себя спокойно. Он поехал в «свой» ресторан, где бывал по случаю деловых обедов или с девицами. Хозяин-француз, хороший его знакомый, встретил его с угодливой улыбкой, поздравил с женитьбой, предложил аперитив. Провожая Эль Хаджи к столу, он нашептывал ему:

— Европе никогда не угнаться за Африкой. Вы можете брать себе столько жен, сколько вам нужно.

Трапеза была простой: жареное мясо с салатом, бутылка розового анжуйского и сыр «канталь». После кофе ему захотелось отдохнуть. Но где? У третьей? Второй? Хорошо ему было только в одном месте — у первой жены. Однако, подумав, он решил, что лучше всего будет в отеле.

Моду уехал к себе домой. Идти пешком?! Очень жарко, да к тому же по дороге можно наткнуться на знакомых. Он взял такси.

— Эль Хаджи! — встретил его управляющий-сириец, протягивая по-мусульмански обе руки.— У меня для тебя та же комната с кондиционером. Если тебя будут спрашивать, то как ее звать?

Эль Хаджи приезжал сюда, когда хотел поразвлечься.

— Я сегодня один,— ответил он, заходя в лифт.

— Заболел?

— Да нет. Нужно подумать в спокойной обстановке.

— Этот дом — твой дом.

Он включил в комнате кондиционер. Помещение наполнилось прохладным воздухом, и он быстро заснул.

Сколько времени он спал? Он посмотрел на часы — семь часов вечера. Ну и ну! В холле его ждал Моду. Поведение хозяина удивляло Моду. Как можно спать в отеле, когда у тебя три дома, три жены? Если бы у Эль Хаджи было свидание с какой-нибудь девочкой, он знал бы. К тому же ему было известно, что у хозяина хала. Около деревни, где Моду родился, жил хороший марабут. Как ему об этом сказать?!

— Контора закрыта, патрон.— Моду хотел выяснить, куда ехать.

Они посмотрели друг на друга. Моду со своей крестьянской проницательностью хорошо видел в глазах Эль Хаджи скорбь. Веки были в морщинках — явный признак усталости; зрачки желтые, как старинная слоновая кость. Шофер посторонился, открыл перед хозяином дверцу.

«Мерседес» двинулся к Нгору [1].

Они подъехали к подножию холмов. Эль Хаджи попросил шофера подняться к маяку, машина по спиральной дорожке въехала наверх. Эль Хаджи вышел, сделал несколько шагов по тропинке.

Он стоял ссутулившийся, с обрюзгшим лицом и смотрел вдаль, туда, где искрилась поверхность океана. Водяная пыль, словно занавеска из воздушного тюля, морщилась по мановению невидимых пальцев солнечными бликами. Океан ревел. Эль Хаджи медленно повернул назад, обошел домик смотрителя маяка, снова остановился. Вдалеке виднелся Дакар: современные здания, крыши, зелень. Отсюда казалось, будто все эти тени, освещенные лучами солнца фасады выщерблены в одной огромной беловатой скале. Вдоль центральной артерии города длинной цепочкой светящихся точек блестели стеклянные колпаки фонарей. В синем небе парили грифы.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей остановился именно здесь случайно. А сидящий в машине Моду испугался: «Не собрался ли он покончить с собой?» Мысль была настолько навязчива, что заставила его подойти к хозяину поближе и следить за ним, чтобы успеть вмешаться, если тот вздумает прыгнуть в бездну.

Время шло. В городе зажглись огни. Над головами у них то в одну, то в другую сторону проплывал пучок лучей маяка. Эль Хаджи вспомнил, что обещал бадиен заехать, и повернулся к шоферу:

— Отвези меня к Нгоне.

На освещенной веранде сидели люди. Он хотел пройти мимо, ему было безразлично, кто там, но бадиен поспешила представить ему мальчика двенадцати лет и его девятилетнюю сестру. Брат и сестра Нгоне, которые будут теперь жить здесь. Нгоне будет их воспитывать. Так ведь и должно быть, Нгоне избавит родителей от этих ртов, объясняла Яй Бинета, не давая ему вставить слово. Она заранее благодарила его. Так, под дождем комплиментов за щедрость, отзывчивость и понимание, он и прошел в спальню. Сиявшее белизной брачное ложе, символ чистоты, продолжало ждать своего часа. Как и раньше, в комнате ничего не было, кроме манекена со свадебным нарядом.

Сидевшая на постели Нгоне попыталась разрядить обстановку:

— С того самого дня я все ждала, что ты придешь. Как поживают твои жены? Дети...

[1] Деревня в окрестностях Дакара, расположенная на двух холмах. На одном находится крупный, известный на побережье Западной Африки маяк.

Эль Хаджи слушал эту никчемную болтовню и молчал. У него тем более не было ни слов, ни мыслей для разговора с ней.

Этот тип людей в нашей стране, эти «джентльмены», кичащиеся тем, как они выполняют мужской долг — мужской долг сводится к тому, что они обеспечивают женщину и спят с ней,— не испытывают ни малейшей потребности в духовном общении со своими женами. Они появляются в доме, словно племенные жеребцы в конюшне. Эль Хаджи был не лучше других. Только его теперешнее состояние мешало ему ответить Нгоне несколькими пустыми, пошлыми фразами и тут же лечь с ней в постель. Приход бадиен положил конец болтовне новобрачной.

— Надеюсь, я вам не помешала? Эль Хаджи, наверно, мучит жажда. Мужчин всегда мучит жажда, когда они приходят с работы,— заявила Яй Бинета, ставя около кровати поднос с двумя стаканами и бутылкой лимонада.

Она властно сказала Нгоне:

— Поухаживай за мужем. Молодые женщины теперь совсем забыли свой долг.

Нгоне наполнила стаканы.

— Твое здоровье, дорогой,— сказала она по-французски.

Эль Хаджи отпил лимонада.

— Мне пора идти.

Его стесняла и эта тяжелая тишина, и бадиен. Стыд прилипал к коже, сковывал его движения.

— Уже? — удивилась Нгоне, все крепче и крепче прижимавшаяся к плечу мужчины.

— Нгоне, напомни Эль Хаджи про машину,— раздался игривый голос бадиен. Поскольку в комнате, кроме как на кровати, сидеть было негде, она стояла около манекена.

— Я и забыла про это,— сказала Нгоне по-французски.

— Я не понимаю твоего жаргона,— огрызнулась на волоф Яй Бинета и с прежним лукавством добавила:— Вот увидишь, твой муж со мной согласится. Разве не так, Эль Хаджи?

— Да, конечно,— подтвердил тот, даже не зная, о чем идет речь, только чтобы не перечить этой женщине и побыстрее уйти.

— Что я говорила? Тебе повезло — такой хороший человек в мужья достался.— Яй Бинета, не сводя глаз с мужчины, остановилась, будто забыла, о чем они говорили.— Так вот! Нгоне еще не умеет водить машину. Ей нужен шофер. Столько всяких дел... К тому же теперь с ней живут ее брат и сестра. Их школа на другом конце города, ходить далеко...

— Я хочу научиться водить машину.

— Шофер, которого наймет твой муж, научит тебя водить. Многие молодые жещины сами водят машину,— прервала ее бадиен. Потом ласково, ни дать ни взять мать родная, обратилась к мужчине: — Эль Хаджи, рассуди нас!

— Завтра я найму шофера. С ним ты сможешь учиться.

— Я хочу в автошколу. Это серьезней.

— Слушайся! Жена должна слушаться,— нежным голосом ворчала Яй Бинета, на цыпочках выходя из комнаты.

Когда они остались одни, Нгоне стала обсуждать достоинства разных марок машин.

Раньше, бывая наедине с этой девушкой, ставшей теперь его супругой, Эль Хаджи с трудом сдерживался, так ему хотелось обладать ею. Теперь Нгоне сама себя предлагала. Неловко, словно повторяя плохо усвоенный урок, она, тяжело дыша, прижималась к нему, повалила его на постель, обняла...

Эль Хаджи осторожно высвободился, встал, подтянул узел галстука, оглянулся на Нгоне. «Я пропал»,— подумал он. В голове у не-

го что-то оборвалось, закружилось и понеслось в неизвестность. Ощущение было такое, будто он падает в пропасть.

— Я должен идти. Уже поздно,— глухо произнес Эль Хаджи.

Нгоне лежала, свернувшись в клубок, охватив голову руками. Потом резко перевернулась на спину, рубашка ее задралась. Она с вызовом смотрела в глаза Эль Хаджи.

— Я вернусь,— пробормотал он, отводя взгляд.

Нгоне не двигалась, только закрыла лицо руками. Постояв немного, Эль Хаджи вышел в тягостной тишине.

Уми Ндой, нарядно одетая, ждала его, чтобы идти в кино. Она была весела, шаловлива, шутила. Они поехали в один из лучших кинотеатров города. Посещали его в основном европейцы. Уми Ндой заговаривала с немногими бывшими там африканцами. Знакомыми или нет, какая разница! Для нее кино было лишь поводом. Она демонстрировала своего мужчину, показывала, что с ней считаются, что она не брошена. Появление ее в зале не прошло незамеченным. Как только потух свет, Эль Хаджи Абду Кадер Бей удобно устроился в кресле, вытянул ноги. Фильм ничего для него не значил. Ему было покойно и хотелось, чтобы сеанс никогда не кончался.

После кино Уми Ндой пожелала танцевать. Они давно уже не были в ночном клубе, сказала она.

Они поехали в тот бар, в котором часто бывали в лучшие для Уми Ндой годы. У Эль Хаджи там была «своя» початая бутылка виски. В полутьме парочки казались размытыми тенями, двигавшимися в пьянящих афро-американских ритмах. Счастливая, Уми Ндой не пропустила ни одного танца. Видно было, как изголодалась она по мужскому вниманию. Вернулись они очень поздно, немного навеселе.

Эль Хаджи думал, что теперь его оставят в покое, что жена выдохлась. Приняв душ, он лег первый, погасил свет. В темноте, один, он надеялся забыть свою халу и спать.

Эль Хаджи не слышал, как она ложилась. Он уже спал сном праведника, когда его разбудила жадно блуждавшая по его телу рука. Мужчина не реагировал.

— Что с тобой?

Эль Хаджи, съежившись от стыда, молчал. Его лицо обдувало прерывистое, горячее дыхание жены.

— Скажи мне, что с тобой? — опять прошептала она. Рука ее требовательно повторила вопрос.

— Я не в форме.

— А вчера? — пылко сказала женщина.— Я ведь не деревянная, как говорят французы. Предупреждаю тебя, я тоже пойду на сторону.

Эль Хаджи знал, что его вторая жена никогда не пропускала подряд две ночи, что в постели она как бешеная. Уми Ндой убрала руку и разразилась гневной речью об обязанностях супругов.

На следующий день, в четверг, уроков у детей утром не было. За завтраком собралась вся семья. Чада, видевшие отца только эпизодически, немедленно этим воспользовались. Старший, Мактар, вернулся к вопросу о машине. Мать подзуживала сына, разжигала обиду:

— Должно быть равенство между семьями и детьми. Почему у нас нет машины? Может быть, я незаконная жена? Может быть, мои дети внебрачные?

Мариэм, осмелев от услышанного, заявила, что будет ходить в школу голая, потому что порвала в фургоне все свои платья. Каж-

дый предъявлял свои требования. Эль Хаджи, осаждаемый со всех сторон, обещал. Чтобы дети оставили его в покое, он дал им денег на кино.

Вошла служанка: его ждал Моду. Уми Ндой стремилась заглянуть мужу в глаза. Лицо женщины было мрачным. Она стояла скрестив руки на груди и внимательно следила за мужем.

— Проводите день с миром,— сказал Эль Хаджи, поднимая голову, и встретился взглядом с женой.

Внезапно ему захотелось объясниться. До самой двери он надеялся, что она хоть что-нибудь скажет, все равно что — пусть даже злое. Он бы вернулся, увел ее в спальню. Он бы сказал ей тихим, смиренным голосом:

«Уми, на меня наслали порчу! Я прошу тебя, если это ты, освободи меня. Я куплю тебе машину. Я разведусь с Нгоне, если это то, чего ты хочешь. Ради аллаха, сжалься, освободи меня».

На пороге он остановился и посмотрел на жену. Уми молчала, надменная, с высоко поднятой головой, белки ее глаз отливали маслянистым глянцем. Эль Хаджи вздохнул и вышел.

Моду относился к неприятностям хозяина с большим сочувствием. Но, боясь его обидеть, он никак не мог решиться заговорить о хале первый. В этот день, набравшись храбрости, он по дороге в контору торопливо рассказал ему о марабуте, который жил в его родных местах. Он ручался головой за этого марабута, за его ученость...

Прошло три дня. Мимо мелькали приземистые, с толстенными голыми ветвями баобабы; стройные, прямые, тонкие пальмы с широкополыми шляпами кроны; красные можжевельники, раскрывшие зонты своей пожухлой хвои,— пристанища зверей, пастухов, землепашцев, места отдыха птиц; пожелтевшая, сухая, изломанная у корневищ трава; заброшенные поля с торчащими стеблями миля и маиса; обугленные бесконечными пожарами стволы деревьев, стоявшие словно привидения. Под палящим гнетом летнего солнца природа покрылась тонкой пленкой сероватой пыли. Шершавыми языками обдирали землю ветры. Пейзаж был исполнен суровости и величавой гармонии.

Моду быстро вел машину, почти не снижая скорости. «Мерседес» мчался вперед, на поворотах только шины взвизгивали.

Потом пейзаж изменился: сероватая почва была усеяна холмиками термитников различной формы, поражавших на заре и в сумерках воображение и наивные души местных жителей. Ощетинившиеся колючками кустарники огораживали поля. Переплетались, соединялись, расходились к деревням и источникам тропинки. Величественные бавольники разбросали прямо по земле свои буйные корни.

Машина покинула асфальт и свернула на пыльную дорогу. Эль Хаджи поднял стекла. Дорога петляла в зарослях кустарника. К полудню они въехали в деревушку. Под невысоким бавольником спали люди. Услышав шум мотора, некоторые вопросительно подняли голову. Кто посмелее, подошел; машину, восхищенно переговариваясь, обступили мальчишки.

Моду обратился к пожилому, по пояс обнаженному крестьянину с пятнами на лице. Крестьянин, разговаривая с ним, размахивал длинными руками, будто искал что-то в темноте. Потом к ним подошел еще один крестьянин, очень высокий человек со сморщенным лицом. Моду вернулся к машине:

— Серинь [1] Мада теперь живет в другой деревне. Чтобы добраться туда, нам надо нанять телегу.

[1] Марабут *(волоф)*.

— Как это? — спросил сидевший в машине Эль Хаджи.

— Деревня в самом сердце равнины. Машина туда не проедет.

— О'кэй,— согласился Эль Хаджи, вылезая из машины и осматриваясь.

Он обменялся с людьми приветствиями. Все пристально оглядывали его. «Важный человек»,— слышал он, как перешептывались вокруг. Его пригласили садиться на служившее скамейкой бревно.

Мужчина с пятнистым лицом вернулся с телегой. Лошадь была рыжей масти, необычайной худобы, кожу ее покрывали язвы с синевато-бурыми разводами. Он усадил Эль Хаджи рядом с собой. Моду сел сзади, к ним спиной. Они не проехали и нескольких метров, а возница уже разговорился с Моду — у них нашлись общие знакомые. Крестьянин терпеть не мог город из-за «всех этих механизмов». «Сумасшедшая жизнь»,— говорил он. Серинь Мада был гордостью здешних мест. Ученый человек. Он имел дело только с господами. Один даже хотел увезти его в город и поселить там, чтобы только самому пользоваться его услугами. «Что ты на это скажешь? Надо вконец потерять совесть».

У Эль Хаджи Абду Кадер Бея стучало в висках. Он обливался потом. Солнце было в зените и светило прямо на голову. Он без конца вытирал лицо своим тонким шелковым платком. Глаза слезились от испарений, поднимавшихся в чистое, безоблачное небо. Животное шло шагом, подгоняемое возницей, который в такт стуку копыт приговаривал:

— Тут недалеко... Тут недалеко...

Наконец на выезде из лощины они разглядели в пустынной равнине серые, потемневшие от времени соломенные конические крыши, надвое делившие горизонт. Тощие быки, угрожая друг другу рогами, спорили из-за невесть откуда взявшейся здесь травы. Вдалеке виднелись силуэты; несколько человек копошились вокруг единственного колодца.

Будучи человеком местным, возница приветствовал всех, кто шел навстречу. Жилище серинь Мады, самое большое по размерам, по своей конструкции было точно таким же, как и все остальные. Оно располагалось в центре деревни. Хижины стояли во дворах полукругом, вход во двор был один. Здесь не было ни лавки, ни школы, ни врача — никаких признаков современной цивилизации. Жили старинной общиной.

Их встретили с вежливостью, естественной для такой глуши, тем более что наряд тубаба делал Эль Хаджи в глазах местных жителей иностранцем и богачом. Их провели в хижину. Там было совсем пусто, только очень чистые циновки прямо на земляном полу. Другая дверь выходила во внутренний дворик, огороженный заборчиком из стеблей миля. Дальше вид закрывала новая соломенная крыша прямоугольной формы. Эль Хаджи не терпелось узнать, что делалось там, за заборчиком. Он поймал себя на неприятной мысли, что он здесь чужак.

Вошла молодая женщина, опрятно одетая, со сверкающими белизной зубами, и подала им воды. Прежде чем поставить калебас [1] и обратиться к ним, она опустилась на колени. Вода была прозрачной, на поверхности ее плавали травинки сипа [2]. Когда женщина ушла, Моду протянул калебас Эль Хаджи.

— Это хорошая вода, чистая...

— Я не хочу пить,— ответил Эль Хаджи, сидя на циновке.

Моду, несколько пристыженный, утолил жажду, потом оперся спиной о стенку хижины. Вскоре он уснул, даже начал похрапывать. Эль Хаджи раздражали эти нелепые звуки. Он стал прислушиваться к тому, что было снаружи. Последний переезд его изнурил. Все вре-

[1] Сосуд из высушенной тыквы.

[2] Растение, которое бросают в питьевую воду для сохранения ее свежести.

мя косясь на своего шофера, он расшнуровал туфли, разулся, распустил узел галстука. Опираясь о стояк хижины, он размышлял. Он не верил всем этим шарлатанам. Они только тем и занимались, что выманивали у него деньги. Он уже и не знал, сколько истратил. Единственным, кто не разочаровал его, был тот сит-катт. Когда Моду заговорил с ним о серинь Маде, он даже вздрогнул от ужаса — так он боялся теперь этих лекарей. Но шофер привел солидные аргументы. Он поверил Моду, позволил ему привезти себя сюда, в эту лачугу. И вот теперь Моду дрыхнет как чурбан. Вскоре он заснул тоже.

Муэдзин уже позвал правоверных и на такусан, и на тимис, и даже геве[1] прошла. Тени сгущались. Высоко в небе одна за другой появлялись звезды. Когда Эль Хаджи внезапно проснулся, уже совсем стемнело.

— Моду! Моду! — нетерпеливо позвал он.— У тебя есть спички?

Он услышал шуршание ткани. Моду пошарил по карманам, вспыхнуло совсем крошечное, величиной с точку, пламя. Поначалу оно уменьшалось, упрямо, однако, расширяясь внизу, потом вдруг ожило, взвилось и грациозно затанцевало, украшенное синеватой короной. Эль Хаджи посмотрел на часы.

— Мы хорошо выспались, патрон.

Помещение снова погрузилось во тьму.

— Нужно достать лампу,— проворчал Эль Хаджи, уже нашедший туфли.

— Ас-салам алейкум! Вы проснулись? — раздался женский голос.

В руке женщина держала керосиновую лампу. Из-под пань[2] видны были только ее ноги, верхняя часть тела оставалась в темноте. Она поставила лампу у порога, где на полу уже стоял калебас с водой. Потом сказала:

— Мы не хотели вас будить. Вот вода, чтобы умыться, если хотите. Мы принесли вам еду.

Вошла девочка, неся еще один калебас с плетеной крышкой. Оставив лампу, они удалились.

— Не будем же мы так сидеть всю ночь,— сказал Эль Хаджи.

— Патрон, надо уметь ждать! Серинь Мада знает, что мы здесь.

Эль Хаджи стало стыдно, и он соврал:

— У меня в Дакаре дела.

Вокруг стекла лампы роем вились насекомые. Моду вышел по нужде. Оставшись один, Эль Хаджи почувствовал, что тишина давит на него. Вернувшись, Моду поставил между ними калебас, снял крышку: это был кускус из баранины. Есть Эль Хаджи отказался:

— Я не голоден! Но если бы я знал, что так получится, я бы позаботился о еде заранее.

— Ты же весь день ничего не ел, патрон. Выпей хотя бы воды! Уверяю тебя, вода хорошая.

Эль Хаджи очень хотелось пить. Переносной холодильник с «эвианом» остался в «мерседесе». Моду, дитя этих мест, ел с отменным аппетитом. Кускус был очень хорошо приготовлен, зернышки совсем не липли друг к другу.

Тусклый свет грубо очерчивал их лица. От земли шел горячий дух. В двух дверях — одна напротив другой — было видно по куску усеянного звездами неба. Из-за изгороди послышалось шушуканье. За ними пришли. Их провели через три дворика, прежде чем они попали в хижину, где ждал, сидя прямо на циновке, серинь Мада. Керосиновая лампа, стоявшая позади него, освещала со спины его одежду. Лицо серинь Мады смешивалось с темнотой.

---

[1] Местные названия мусульманских молений второй половины суток.

[2] Отрез ткани, который африканки оборачивают вокруг пояса, в результате чего получается юбка. Иногда так ходят и мужчины. Пань используется также как покрывало.

— Слава аллаху.

Жестом он пригласил их садиться перед ним на циновку. Знавший порядки Моду разулся, почтительно, двумя руками взял протянутую ему ладонь и приложился к ней губами. Эль Хаджи старательно подражал ему. После длинного и замысловатого приветствия серинь Мада елейным голосом извинился. Его вызвали по срочному делу. Вернувшись, он зашел к ним. Они спали. Сон для здоровья — это самое святое. Жаль только, что во сне мы забываем об аллахе. Вот он больше не спит. Он обратился к Моду:

— Благочестивые ли намерения привели вас в этот обездоленный край?

— Самые благочестивые намерения, серинь! Человек, который сидит здесь перед тобой, это мой патрон. Но он не просто патрон, он мне больше чем друг. Вот уже недели, месяцы как у него хала. Эта хала и есть единственная причина нашего появления здесь, перед тобой. Мы пришли как смиренные твои почитатели умолять о твоей всемогущей помощи.

Моду, словно наперсник, поведал подробности жизни своего «больше чем друга». Эль Хаджи поддакивал, подтверждал слова шофера.

— Такие наговоры — штука мудреная. Очень мудреная. Такой наговор, как колодец. А ведь колодцы и глубины неодинаковой, и вода в каждом разного вкуса. Я эти наговоры хорошо знаю. Один аллах может тут что-нибудь сделать. Я попробую. Давайте помолимся вместе. Попросим аллаха протянуть нам свою милостивую руку помощи.

Сказав это, он позвал одного из своих учеников. Тот появился из темноты, оттуда, где была главная хижина. Учитель прошептал ему что-то на ухо. Парень удалился. Обратившись к пациенту, серинь Мада заявил, что нужно пожертвовать телку, и назвал сумму своего вознаграждения. Они подсчитали, сколько это будет вместе. Эль Хаджи не возражал. Наличных денег у него не было. Что такое чеки, серинь Мада знал. Эль Хаджи поднесли лампу, и он подписал чек. Другие состоятельные клиенты расплачивались так же. Ученик принес пань. Серинь Мада сказал, что добыл эту материю у одного святого человека, который живет далеко, очень далеко отсюда, в предгорьях Атласа. Он велел Эль Хаджи раздеться догола, отвязать даже гри-гри. После секундного колебания Эль Хаджи стал снимать одежду. «Хорошо, что сейчас ночь»,— подумал он. Знахарь уложил его на спину, укрыл до самой шеи покрывалом. Сев на корточки у головы лежащего, он перебирал четки.

Эль Хаджи прислушивался к шелесту мерно падавших зерен, широко открытыми глазами смотрел на вогнутый свод неба. Вдруг его передернуло. Его била дрожь давно забытого ощущения. Живительные струи пронизывали все фибры его тела. Ему казалось, будто он освобождается от собственной тяжести. Постепенно он расслаблялся, напряжение уходило от головы к ногам. То, что произошло потом, заставило его подскочить. Освященная в предгорьях Атласа пань шевелилась. Подняв голову, вытянув шею, он следил, как возрождалось под ней его поруганное достоинство.

— Моду!.. Моду! Смотри! — закричал он, ошеломленный.

— Слава аллаху! Слава аллаху! — повторял Моду в таком восторге, словно это было его собственное излечение.

Серинь Мада священнодействовал, его рука скользила по голове Эль Хаджи, по лицу. От этой вялой ладони шел сильный, густой запах мускуса.

— Протри уши,— приказал серинь Мада.

Эль Хаджи повиновался. Он был на седьмом небе. Жизнь в его теле била ключом.

— Все! Наговор снят,— произнес серинь Мада.

Эль Хаджи оделся. Он не знал, как благодарить своего исцелителя.

— У меня твой чек! То, что я снял, я могу так же быстро вернуть назад,— сказал серинь, садясь на прежнее место.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей обещал ему золотые горы. Он клялся, что его счет в банке хорошо обеспечен.

Ночь была на исходе. Эль Хаджи заторопился в Дакар. Теперь, вернув силу, он думал о третьей жене. Отправились будить возницу. Он пришел со своей клячей. На обратном пути счастливый Эль Хаджи беседовал с возницей. Кровь в нем играла.

Когда они вернулись в Дакар, уже было совсем светло. Моду, увидев двух жандармов, сбавил скорость. Он разделял веселье и детскую радость хозяина, который без всякого стыда рассказывал о том, как тянулись недели и месяцы его смертных мук. Смеющийся, жизнерадостный, он живописал свои злоключения.

— К которой тебя везти, патрон? Где ты сегодня остановишься? — спросил Моду с задорной улыбочкой.

Это «к которой» поразило Эль Хаджи, его разгоряченную от возбуждения голову будто окунули в холодную воду. В самом деле, три виллы, три жены, но где он был действительно «у себя дома»? У каждой он бывал только проездом. По три ночи! Нигде у него не было своего угла, чтобы закрыться от всех, побыть в одиночестве.

«К которой?» — повторял он про себя. К Адже Аве Асту? С этой женщиной было проще всего. Живущая догмами ислама, она покорно выполняла супружеские обязанности.

К Уми Ндой, ко второй? Вулкан! Она будет искать в этом неожиданном приходе выгоду для себя, решит, что это знак предпочтения, потребует, чтобы такие визиты были почаще.

К Нгоне, к третьей? Он должен смыть свой позор. Эта бадиен вела себя вызывающе. И вся их семейка живет на его иждивении, впились как клещи. Как вообще получился этот третий брак? Нгоне, конечно, прелестна! Но что ему эта девочка? Седина в бороду, бес в ребро? Неужели он такой бабник? Но теперь все позади. Пора в конце концов сорвать этот цветок, слишком дорого он ему стоил.

— К третьей.

— Наконец! — воскликнул Моду, давая газ.

Бадиен первая увидела его вылезающим из «мерседеса» в мятом костюме, с растрепанными волосами, грязным лицом, в таких же, как и машина, запыленных туфлях. Окинув его своим пронзительным взглядом, она поняла, что мужчина вновь обрел силу.

— Слава аллаху,— произнесла она с приличествующей случаю миной.— Я знала, что ты избавишься от этой напасти. Как было дело? Которая из жен виновата?

— Слава аллаху, спасибо,— ответил он и быстрым шагом прошел на веранду.

Яй Бинета семенила за ним.

— Эль Хаджи, послушай меня! Нгоне стирала за собой прошлой ночью,— говорила бадиен, заходя за ним в комнату.

Она остановилась на пороге, оставив дверь полуоткрытой. Яркий луч солнца осветил комнату и улегся у ног манекена со свадебным платьем. Все здесь было на прежнем месте. Проснулась Нгоне.

— Что ты сказала?— спросил мужчина, в упор глядя на бадиен.

— Я повторяю тебе, что Нгоне сейчас нечистая.

Эль Хаджи будто и не слышал этих слов. Выпрямившись во весь рост, он сверлил глазами бадиен. Тайное отвращение, которое он питал к этой женщине, которое он всегда прятал, выявилось теперь со всей силой. Неприязнь безжалостно сквозила в его взгляде. Она подстроила этот брак, она помешала овладеть Нгоне до свадьбы. Нгоне все время

удавалось выскальзывать из его рук только потому, что эта женщина, притаившись в тени, была ее советчицей. Эль Хаджи проклинал себя за безволие.

— Ты хочешь, чтобы я показала тебе белье?— сказала бадиен, заранее зная, что мужчина до этого не опустится и не будет требовать, чтобы ему предъявили тряпку.

Глаза Эль Хаджи со злостью бегали от одной женщины к другой. «Это кто-то из твоего окружения»,— вспомнил он слова «провидца» и быстрым шагом вышел из комнаты.

Яй Бинета побежала за ним:

— Эль Хаджи, поверь нам! Это правда!.. Слушай, мне нужно тебе что-то сказать.

В машине он приказал шоферу:

— К Уми Ндой.

Он уже не слышал того, что кричала бадиен.

Вторую жену его появление, казалось, не удивило. Уми Ндой увлекла его в спальню, и они провели там весь день и ночь, к великой радости женщины.

На следующее утро выбритый, в клетчатом костюме из тонкой шерсти, в черных, хорошо вычищенных туфлях Эль Хаджи с аппетитом завтракал: сок двух апельсинов, яичница с ветчиной, кофе с молоком, хлеб с маслом. Служанка поставила на стол бутылку «эвиана» и вышла. Дети были в школе. Уми Ндой любовалась, глядя, как Эль Хаджи орудует вилкой. Она была наверху блаженства — заполучить мужа вне очереди на целые сутки!

— Хочешь, я тебе кое-что скажу, Эль Хаджи?— сказала она, опираясь локтем о стол и грациозно подперев ладонью подбородок.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей горделиво посмотрел на женщину. Он тщательно вытер губы салфеткой и потом произнес:

— Я тебя слушаю.

— Я слышала разговоры о том, что у тебя хала.

Эль Хаджи не стал отвечать сразу. Глядя на женщину, он твердой рукой налил себе «эвиана».

— От кого ты слышала о хале?

— От людей.

— Где?

— В квартале.

— Что же ты думаешь об этом, жена?

— О!— воскликнула она, рот у нее округлился, ресницы опустились — сама стыдливость. Потом, подняв голову, она сказала:— У людей злые языки. Почему бы тебе не остаться отдохнуть и сегодня? Ты слишком много работаешь. Твои волосы белеют.

— Я еду в контору,— сказал он вставая.

— Ты вернешься сегодня вечером? Ненадолго...

— Уми, сейчас не твой айе.

С этими словами он ушел.

Преданный Моду сидел за рулем. «Мерседес» был немыт.

— Я прошу прощения, патрон, за машину...

— В контору! Потом ты сделаешь все, что нужно!

Удобно усевшись в правом углу на заднем сиденье, Эль Хаджи смотрел в будущее с оптимизмом и уверенностью. По поводу третьей жены у него была только одна мысль — развод. Человек он был злопамятный и твердо решил отомстить. А учитывая из ряда вон выходящие расходы на свадьбу, он не видел другого выхода, как обрюхатить ее и прогнать. Теперь он не сомневался в том, что халу ему подстроила бадиен. Эта семейка замарала его мужское достоинство. Весь город уже знал о его несчастье. Слава аллаху, он снова обрел форму.

Мальчишка-мойщик с ведром воды у ног смотрел, как Моду маневрирует «мерседесом», стараясь поставить его впритирку к тротуа-

ру. Впереди остановила свой «фиат» старшая дочь Аджи Авы Асту— Рама. Она тоже следила за действиями Моду. Отец и дочь вошли в помещение.

— Клянусь поясом моего отца, Моду, ты мне должен сегодня заплатить пятьсот франков,— сказал мойщик, обойдя вокруг машины.

— Двести франков! Ни сантима больше.

— Ты шофер большого патрона, Моду. Не будь жмотом.

— Оставь, другой вымоет!— бросил ему Моду, заходя в дом.

Он вернулся с табуретом в руке.

— Моду, побойся аллаха! Я тебе ее мою каждый день за сто франков. Но сегодня ты мне должен дать самое маленькое тысячу франков. Посмотри на эту грязь! У тубабов ты заплатил бы больше двух тысяч.

Подросток провел пальцем по крылу, и на нем осталась длинная полоска. Он показал след Моду.

— Ладно! Даю тебе триста франков,— согласился шофер, устраиваясь недалеко от нищего.

— Это ты, Моду?

— Да.

— Вот уже два дня, как тебя не было видно.

— Я ездил с патроном в провинцию.

— Надеюсь, все в порядке?

— Да.

— Слава аллаху,— произнес нищий.

Во время разговора он ни разу не повернулся к Моду. Моду видел только его покатую спину, оттопыренные уши, тощий затылок. Нищий задал еще один вопрос:

— Эль Хаджи здесь?

— Ага!

— Тогда я буду петь потише.

И он снова затянул свою нескончаемую жалобу несчастного праведника, только теперь голос его звучал не так пронзительно. Моду вытянул ноги, закурил. Он сидел на своем табурете, прислонившись головой к стене дома, и мечтал.

Рама старалась не потерять контроля над собой. Она была очень взволнована. Девушка чувствовала себя неспособной остановить поток слов отца, в котором было столько явной лжи, что она просто не могла это слушать. Пока отец говорил, она сидела потупившись. Эль Хаджи видел только узкий, слегка выпуклый лоб, напоминавший ему его первую жену, и глянцевые проборы на голове между короткими косичками. Голос у отца был нерешительный, слова он находил с трудом.

— Я понимаю! Это мать тебя послала,— повторял он, будто собираясь обвинить мать и дочь в сообщничестве.

— Еще раз говорю тебе, что нет. Мать ничего не знает. Я пришла сама. Я вижу, как она переживает. Ее гложут какие-то угрызения совести. Ты должен понять, я уже достаточно взрослая, чтобы разбираться в некоторых вещах.

— В каких вещах? — спросил отец, думая про свою халу.

Рама не стала отвечать, подумав, что матери от этого будет только хуже. Ей очень хотелось высказать ему в лицо все, в чем она его обвиняла,— третий брак, халу. Она смотрела в сторону, следила за тем, как таракан ползет по шкафу к ящикам.

— Я знаю, что мать ужасно страдает,— сказала она, сознавая все лицемерие, всю фальшь своих слов, сознавая, что она сама себе лжет.

— Твоя мать больна?

— Физически? Нет.

— Я заеду. Ты скажи ей.

Глаза их встретились.

— Я ничего не буду ей говорить, мать не знает, что я поехала к тебе. Я пойду.

— Тебе ничего не нужно?

Она была уже у двери. Повернулась к нему. Таракан прошмыгнул между картонками и исчез.

— Спасибо, отец, нет! А вот матери нужен ты.



За несколько дней до этого Рама вместе с Патэ ездила на Горэ проведать дедушку. Обычно она бывала там через воскресенье, иногда оставалась на ночь. Присутствие внучки оживляло старое, колониальных времен строение с деревянным балконом.

Папа Жан принимал их по своему обычаю в саду, подальше от шума заполонивших остров туристов. Там было прохладнее.

— Дедушка, я привезла тебе привет от дочери,— сказала как всегда Рама.

— Ты каждый раз говоришь одно и то же. Рене...

— Почему, дедушка, ты вот уже двадцать лет не хочешь признать, что твоя дочь переменила религию? Она больше не отвечает на имя Рене. К тому же она побывала в Мекке — ее зовут Аджа Ава Асту.

— Это ради того, чтобы твой отец взял себе сначала вторую жену, а теперь и третью! А ты принимаешь полигамию?

— Я — нет. И он это знает.

— Однако ты мусульманка.

— Да. Я современная мусульманка. Но дело не в этом, дедушка. Ведь это твоя дочь. Ты даже не видел трех своих последних внуков.

— Когда Африка была Африкой, младшие навещали старших. Вот уже больше двух лет, как я не был на континенте.

— Значит, ты даже в День всех святых больше не ездишь на могилу бабушки. На Горэ нет кладбища.

— Мой последний переезд будет ногами вперед. Рене сможет выйти мне навстречу и проводить меня.

— Увы, нет! Мусульманки не провожают усопших.

— Тогда мы увидимся перед богом,— сказал старик и обратился к Патэ:— Я ничем не угостил вас, доктор.

— Ты переходишь границы, нельзя так разговаривать,— сказал Патэ Раме, когда дед скрылся в доме.

Рама показала ему язык и крикнула:

— Дедушка, я помогу тебе!

Патэ остался один, закурил. Рама вернулась с подносом, Папа Жан — с ведерком для льда. Дед и внучка сделали себе пастис [1], Патэ налили пива.

— Ваше здоровье,— сказал старик, и, пока он нес стакан ко рту, несколько капель упало на землю.

Беседа была очень спокойной. Папа Жан говорил о жизни острова. Он вспоминал былые времена, праздник святого Шарля. Он надеялся, что Рама приедет, чтобы пойти с ним в церковь. Увы, в этом году о празднике забыли. То воскресенье ничем не отличалось от других. Приехали отдыхающие — много европейцев — и разлеглись на горячем песке пляжа. Папа Жан совершенно ничего не понимал: европейцы забросили «дом бога» ради ничегонеделания. Разве не они сами принесли сюда католическую религию?

Старик с тоской в голосе рассказывал о том, как пышно проходил когда-то праздник святого Шарля. Толпа людей, мужчин, женщин, молодых, старых, приезжавших со всех концов страны, спешила занять места в маленькой церкви. На улицах было полно народа, на весь остров звучали фанфары. После мессы начиналось гуляние. Дамы г

[1] Анисовая настойка, разбавленная водой.

длинных платьях, в перчатках до локтей, в английских шляпах, мужчины в рединготах, во фраках, в цилиндрах, в руках трости с золотыми набалдашниками отправлялись в мэрию на аперитив. Прекрасное было время! Папа Жан как бы заново видел все эти сцены, печальные глаза его были полны слез. Теперь семьи коренных жителей уехали, бросили свои дома. Поселившиеся на острове европейцы, работники службы Технической помощи, директора, администраторы разных компаний в церковь не ходили.

Когда Папа Жан пошел проводить их до катера, Рама решила убедить его навестить мать. Она была уверена, что только нелепая гордыня мешает им уступить друг другу.

— А как дела у твоего отца?— спросил Папа Жан.

Рама растерялась, она не знала, что сказать. Не был ли этот вопрос ловушкой? Местью пожилого, озлобленного человека? Или это просто дань вежливости? Дошел ли до деда слух о хале Эль Хаджи? Напряженный, высоко подняв голову, Папа Жан ждал ответа.

— С тех пор как отец женился в третий раз, я его не видела.

— Ты больше не живешь с родителями?

— Нет, живу. Но я больше не вижу отца.

— Значит, ты ничего не знаешь о его хале?

— Я знаю, что матери сейчас очень тяжело. Если бы ты приехал сейчас ее навестить, она была бы счастлива.

— Почему бы Рене не переехать сюда жить?..

Папа Жан остановился и замолчал. Молодые люди тоже остановились.

— Этот дом — ее дом! Она может вернуться сюда когда захочет. А мой последний переезд будет ногами вперед,— повторил он и двинулся дальше.

Больше они до пристани не обменялись и словом. Катер отошел. Одинокий, замкнувшийся в своей гордыне старик отправился назад. Рама грустно молчала. Патэ разделял ее настроение.

«Рама стала взрослой женщиной, ее можно выдавать замуж,— размышлял Эль Хаджи Абду Кадер Бей после ухода дочери.— Чего ждет доктор, почему не просит ее руки?» Эль Хаджи представлял себя в роли великодушного тестя. Он отдаст ему руку дочери без каких бы то ни было условий, он сам не допустит больших расходов. На свадьбу они пригласят только самых близких людей... «Невинна ли еще Рама?» — пришло ему вдруг в голову. Он тут же прогнал эту мысль. Лучше и не думать. Прошло уже больше трех месяцев с того свадебного вечера, когда он дал Раме пощечину. Только сегодня они впервые говорили друг с другом. Рама единственная осмелилась осудить этот брак. Жалко, что она девушка. Будь она парнем, он сделал бы из нее человека. Эль Хаджи верил в судьбу, и ему показалось странным совпадение двух встреч с дочерью: тот раз это было накануне его халы, сегодня — на следующий день после излечения.

Надо навестить Аджу Аву Асту. Он уже давно не спал с ней. Эта женщина была такой молчальницей, такой безразличной к жизни, что ее, наверное, можно было бы закопать живой и не услышать даже стона.

После всех этих размышлений он позвал мадам Дьюф для доклада. Пора было вплотную заняться делами. Мадам Дьюф раскрыла ему глаза — всюду зияли прорехи. Надо было немедленно завезти в магазин товары — все запасы кончились. Не лучше обстояли дела с заработной платой служащих. Она, мадам Дьюф, не получала ее уже больше двух месяцев. Как, почему же ему не напомнили? Он велел позвать шофера — то же самое. Они перешли к домашним расходам: неоплаченные талоны на бензин, долги лавочникам (у каждой жены был свой), жалованье прислуге, счета за воду и электричество. Воду и электричество не отключили только благодаря вмешательству кузена мадам

Дьюф. Расплатиться надо было срочно. Что касается магазина, то он был пуст. Розничные торговцы закупали товары в других местах. Местные фабрики, заводы, поставщики импорта отказывались его снабжать. Картина была мрачной. И наконец, последнее — срочный вызов сегодня вечером в Палату на собрание «Союза». Если верить слухам, речь на собрании будет идти о нем. Больше она ничего не знала. Лицо Эль Хаджи исказилось от гнева. Он решил немедленно пробиться к президенту. «Мерседес» был еще в руках мальчишки-мойщика. Моду остановил такси. Эль Хаджи вскочил в машину.

В просторной приемной «Союза деловых людей» сидели в очереди две толстые матроны и трое мужчин. Зная секретаршу президента, он со всей присущей ему галантностью убедил ее в неотложности разговора чрезвычайной важности. Как только путь освободился, Эль Хаджи проскочил в кабинет, не обращая внимания на недовольство очереди. Он окунулся в приятную свежесть охлажденного кондиционером огромного помещения с развешанными по стенам безделушками, с лакированной мебелью из красного дерева.

— Ты мог бы предупредить меня по телефону,— упрекнул его хозяин кабинета, человек с холеным, очень темным лицом.— Сегодня приемный день.

— Тем лучше!— решительно произнес Эль Хаджи.— Скажи мне, что происходит? Почему из-за меня созывают собрание?

— Скажи сначала, что с твоей халой?

— Все. Прошла.

— Очень рад за тебя. Что касается собрания, тут ничего особенного. Твои коллеги решили обезопасить себя от того ущерба, который ты им наносишь. Ущерба весьма серьезного.

— Какого ущерба?

— Успокойся. В делах нужно иметь выдержку англичанина, нюх американца и вежливость француза. Мы свои люди. Ты меня хорошо знаешь. Но для вас, предпринимателей, я ведь только арбитр. Так вот, твои колеги столкнулись с определенными трудностями. И обвиняют они в них тебя: это, во-первых, необеспеченные чеки, а во-вторых...

— Что?

— Дай мне договорить! Я ведь только тебя информирую. Сегодня вечером у тебя будет возможность отвести эти обвинения. Национальная продовольственная компания лично через меня известила «Союз», что за две недели до свадьбы ты получил ордер на тридцать тонн риса. Ты его перепродал. Это нормально. Но где деньги? Ты не выплатил их в положенный срок Компании. Тогда Компания, зная о твоих огромных расходах, навела справки о положении твоих дел и обрезала «Союзу» кредит. Последствия не заставили себя долго ждать. Мы теряем те привилегии, которые у нас были. Из-за тебя. До общего расчета ни один из твоих коллег не может взять свою долю. Национальная продовольственная компания ждет, чтобы с ней рассчитались за тридцать тонн риса, или же она подаст в суд.

Президент говорил спокойным голосом, словно преподаватель-педант, дающий урок алгебры немым. Эль Хаджи благоразумно слушал. Поначалу не очень внимательно, перед глазами у него мелькала ладонь президента, подкреплявшего свои слова жестами. Но чем дальше говорил президент, тем тяжелее становился взгляд Эль Хаджи. На его озадаченном лице, как в зеркале, было видно то, что творилось у него в душе.

— Президент, ты знаешь мое положение! Эту халу! К счастью, теперь я вылечился! Я прошу тебя, отложи собрание на неделю. За это время я выкручусь,— произнес Эль Хаджи с вкрадчивой, просительной интонацией.

— Мы ждем тебя сегодня вечером! Твое присутствие крайне желательно!— повелительным тоном сказал президент, давая понять, что разговор окончен.

Эль Хаджи вышел в глубоком раздумье. То, что он услышал, наверняка было результатом встреч президента с его коллегами. Он понимал, какие все это таило угрозы. Он сам вел себя точно так же по отношению к одному из тех, кого они в свое время решили уничтожить. Тєперь он и сам оказался в подобном положении. Утреннее довольство собой растаяло, как каритэ[1] на солнце. Он был настолько расстроен, что даже не замечал прохожих. В «контору» он вернулся пешком. Предстоял визит в «их» банк. Нужен был заем, чтобы заткнуть эту дыру. Тридцать тонн риса...

Возникновение «Союза деловых людей» принято было считать заслугой заместителя директора банка. Он позвонил ему и тут же договорился об аудиенции в начале второй половины рабочего дня. Легкость, с которой он добился этого рандеву, обнадеживала. У него был еще шанс.

Мадам Дьюф заполнила чеки на оплату служащих, воды, электричества, бензина и помещений. Эль Хаджи украсил их своей прекрасной подписью, плодом долгих и упорных упражнений.

В полдень, чтобы отдохнуть от столь бурной ночи у второй жены и быть в форме перед визитом в банк, он заявился к Адже Аве Асту. Первая жена не ждала его. Она не выказала ни особого энтузиазма по поводу появления мужа, ни тем более недовольства. Аджа Ава Асту похудела, у нее резко выступили скулы, глаза на тонком лице стали еще больше. Разговор у них не клеился. Отец дважды спрашивал, где Рама. Она теперь не приходила домой обедать. Но по вечерам она возвращалась рано. Эль Хаджи Абду Кадер Бей считал, что старшей дочери дали слишком много свободы. Он корил мать отеческим тоном заботливого главы семейства. После сиесты он вышел с «дипломатом» в руке, и Моду отвез его в банк.

Заместитель директора, человек не очень молодой, но и не старый, с темным, очень гладким лицом, в очках от солнца в золотой оправе, тщательно причесанный, в белой рубашке с короткими рукавами и в темном галстуке, принял его очень приветливо, усадил в кресло около низкого столика, на котором лежали пачка сигарет и зажигалка из позолоченного металла.

Этот чиновник принадлежал уже к новому поколению. Он получил образование в известном французском учебном заведении, затем стажировался в африканских филиалах парижского банка. Способствовать укреплению в Африке предпринимателей средней руки руководство вменило ему в обязанность.

Он постарался создать непринужденную обстановку, уважительно и в то же время по-домашнему называл Эль Хаджи «мой старший» вместо «мой старший брат». Эль Хаджи Абду Кадер Бей заговорил с ним в подчеркнуто интимных тонах, подкупающе дружеским голосом. Ни на секунду не умолкая, участливо справился о семье, через два слова на третье ласково величал его «куз», будто они на самом деле были кузенами. Заместитель директора пытался говорить на волоф. Но из-за недостатка практики речь его так пестрила словечками-паразитами, что в конце концов он перешел на французский.

— Я знаю, мой старший, я не вхожу в круг твоих близких друзей! Ты не пригласил меня, когда праздновал свой третий брак. Весь Дакар говорил об этой свадьбе...

— Куз, ты же знаешь, какие у нас в Африке секретарши. Твое имя в моей книжке стоит на одном из первых, почетных мест.

Заместитель директора сунул в мундштук сигарету и закурил. Разговор затягивался. Они переходили с одной темы на другую, выжидали, никак не могли приступить к главному.

— Я тебя слушаю, мой старший,— сказал банкир.

[1] Масло из семян масляного дерева.

Он поправил пальцем очки. Намеренно он так сказал или нет, но Эль Хаджи от неожиданности сразу смешался.

— Да, да, да...— бормотал он, раздумывая, как лучше начать. Мгновение спустя он решился.— Куз, мне нужен оборотный капитал. Пятьсот тысяч франков. Я проанализировал ситуацию в туземных кварталах, и у меня есть план расширить свой рынок.

— Зачем тебе этот капитал?

— Зачем? Для дела. Поинтересуйся номенклатурой розничной торговли по городу.

— Вот здесь у меня собрано на тебя объемистое досье. Ты уже дважды брал по полмиллиона в кредит. Ты перешел границы дозволенного. Что ты сделал с тридцатью тоннами риса Национальной продовольственной компании? Продал. А где деньги? Твой образ жизни превышает твои возможности: три виллы, машины в рассрочку. После твоего третьего брака у нас тут вальс твоих ничем не обеспеченных чеков.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей ничего не нашел сказать себе в оправдание. Растерявшийся, сникший, он дымил сигаретой.

— Так что же, мой старший,— произнес после некоторой паузы чиновник с улыбкой превосходства. Потом голос его смягчился: — Что думаешь делать? Ты ведь знаешь, банк — это не благотворительное общество.

— В самом деле, банкиры не меценаты,— подтвердил Эль Хаджи с горьким вызовом.

При необходимости он умел, как актер, пользоваться своим голосом. «Деньги в этой стране дают только тем, у кого и так карманы набиты»,— подумал он. А вслух сказал:

— Ну, куз, что ты собираешься со мной делать?

— Мы помогаем предпринимателям становиться на ноги. Мы единственный в стране банк, который сотрудничает с вами, доверяет вам. Но согласись, есть пределы.

— Куз, я все это знаю. Это правда, вы единственный банк, который нам помогает. Но что мы, предприниматели, со всего этого имеем? Ошмётки?! Мы — уроженцы этой страны, а в делах мы посторонние, в настоящих делах, тех, что приносят прибыль.

— Может быть, ты и прав, мой старший. Но разве это дает право проматывать взятые взаймы деньги? У банка есть правила. Мы можем давать ссуды только тем, у кого есть гарантии.

— Это означает, что у меня их больше нет?

— Мой старший, я этого не говорил.

— Я говорю с вами открыто. Я знаю, что вы не альтруисты. Но, куз, надо все-таки что-нибудь для меня сделать.

— Мой старший, я ничего не обещаю. Мне надо проконсультироваться с шефом, ты должен это понять. Сколько, говоришь, тебе нужно?

— Полмиллиона.

Банкир взял у него досье:

— Позвони мне завтра перед двенадцатью, мой старший.

— Куз, я на тебя надеюсь. До завтра.

— До завтра, мой старший.

«Я еще могу кусаться,— подумал Эль Хаджи.— Так просто вы меня не возьмете». Визит в банк дал ему как бы отсрочку. А за чеки он не беспокоился. За выдачу необеспеченных чеков еще никого не посадили. Однако теперь он уже был настороже, везде видел подвох и потому позвонил приятелю, который работал в суде. Никакого дела на него не было. В коммерческий суд — ничего. Он связался с судебным исполнителем. Там все тоже было спокойно.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей облегченно вздохнул.

Фонари на площади и два шаровых светильника с каждой стороны монументальной лестницы отражались на машинах, выстроившихся в линию перед Палатой; водители болтали, собравшись группками. Эль Хаджи понял, что его уже ждут. Едва «мерседес» остановился, он устремился по ступенькам наверх. При его появлении разговоры в зале заседаний смолкли. Он пожал несколько рук. Все здесь хорошо знали друг друга; эти же люди были у него на свадьбе. Низко висевшая люстра бросала свет на большой зеленый стол и дюжину голов над ним.

— Я думаю, все в сборе, кворум по крайней мере есть,— сказал президент, открывая заседание.

Несколько минут прошли в пустяковых спорах по поводу того, кто будет вести протокол; по кругу ходил листок, где каждый расписался в своем присутствии; проверялись полномочия собравшихся для заключительного голосования. Наконец, началось заседание. Все выступления вертелись вокруг Эль Хаджи.

Безалаберность. Нечистоплотность. Моральный ущерб. Они требовали наказания, дабы реабилитировать свои опороченные добрые имена. Прошло совсем немного времени с тех пор, как один из них взял на себя тяжкие функции президента Палаты. Упрямые неоколониалисты только и мечтают снова прибрать Палату к рукам.

Кебе, тип с вытянутым лицом цвета спелого банана, выпалил все это невнятной скороговоркой. Закончил он речь медленно:

— ...Во имя нравственной чистоты — нашей нравственной чистоты — Эль Хаджи Абду Кадер Бей должен быть изгнан из нашей семьи. На нашем пути и так слишком много препятствий. Банки бросают нам в лицо оскорбления, издеваются над нами за феодальный образ жизни, за нерадивость, за неумение вести дела. Почему? Да вот, пожалуйста,— Эль Хаджи своим непристойным поведением втаптывает нас в грязь, позорит наш «Союз». По-моему, следует его исключить.

Кебе умолк. В тишине было слышно чирканье спички о коробок.

— Согласен,— раздался гулкий, гортанный голос Дьяня, человека с квадратными челюстями. Он выпятил грудь и продолжил: — Мы знаем, что Эль Хаджи продал тридцать тонн риса. Что он сделал с деньгами? Взял себе третью жену. По его вине, исключительно по его вине никто из нас вот уже несколько недель не может ничего взять в кредит! Ни кредита! Ни оборотного капитала! Ничего! Наше ремесло требует честности. Его же бессовестное обращение с чеками отмечают и банки, и те, с кем он этими чеками расплачивается. Нам остается единственное — отмежеваться от него.

— Ты говоришь слишком быстро,— сделал ему замечание секретарь.

Дьянь перевел дыхание, его жирный затылок дрожал и морщился складками. Эль Хаджи казалось, что он на скамье подсудимых. Он был ошеломлен. Коллеги вели себя так, будто он был совершенно посторонним им человеком.

— Я слушаю,— поднял голову секретарь. На лбу у него было смешное пятно света.

— Что я говорил? — спросил Дьянь, глядя на Эль Хаджи.

— Отмежеваться... Отмежеваться от него...

— Спасибо, секретарь. Отмежеваться от него! Написать в банк, сообщить им, что Эль Хаджи больше не является членом нашей группы. Что касается Национальной продовольственной компании, мы будем требовать, чтобы она возбудила судебное дело. Наш «Союз» должен смыть с себя это черное пятно.

Поносил его и следующий оратор. Как и все остальные, заботился о «благе народа». Эль Хаджи чувствовал себя нарывом на теле здорового организма, который надо немедленно вскрыть. Но и он имел право слова.

— Слушаем тебя.

Он был в полной растерянности. Первые несколько секунд он с трудом выговаривал слова, судорожно соображая, какую ему избрать тактику. Начал он почти шепотом, в голове у него все мешалось.

— Кто меня обвиняет? И в чем меня обвиняют?

Такого не ждали! Никто не ответил. Это мгновение общего удивления придало ему смелости. Уже уверенный в себе, он окинул всех вопросительным взглядом:

— ...Кто мы такие? Жалкие посредники, даже не настоящие подрядчики. Мы занимаемся всего-навсего перепродажей. Перепродаем те остатки, которые пожелают нам уступить заправилы. Какие мы деловые люди?! Навозные жуки, вот кто мы...

— Я протестую, президент,— вмешался Лай.— Он нас оскорбляет. Ты копаешься в том же дерьме, что и мы. Прибереги свои поучения для других!

Начался шум, каждый хотел говорить. Эль Хаджи держал себя в руках. Его охватила сладостная истома, в нем ожили воспоминания далеких лет, когда он был «народным трибуном». Конечно, боевой дух тех времен притупился с появлением машин, вилл, счета в банке, минеральной воды «эвиан», но он знал, что затронул чувствительное, уязвимое место своих коллег. Игра была опасной, но рискнуть стоило.

— Спокойствие! Спокойствие, господа! — закричал президент, стуча по столу молоточком.— Спокойствие... Слушайте, господа! Не надо возмущаться.

— Эль Хаджи воображает, что до сих пор продолжается колониальная эпоха. Те времена, когда он будоражил народ своими мошенническими речами, навсегда ушли в прошлое. Мы независимы. Мы теперь сами правим страной. И ты сотрудничаешь с нынешним режимом. А потому прекрати эти пустые, глупые, выдуманные за границей лозунги.

— Президент, я могу кончить? — спросил Эль Хаджи. Он прекрасно владел собой.

— Да, Эль Хаджи.

— Действительно можно, Лай?

— Не отвлекайся! Давай к делу! — прогремел Лай.

— Так вот! Мы навозные жуки! В чьих руках банки? Страховые компании? Заводы? Городское хозяйство? Оптовая торговля? Кинозалы? Книжные магазины? Отели? И так далее, и так далее. И это, и все остальное принадлежит не нам. Мы барахтаемся, как крабы в корзине! Мы хотели занять место бывших хозяев? Хорошо, заняли! Эта Палата тому свидетельство. Что-нибудь изменилось? Ничего! Колониалисты спрятались за нас и стали еще сильнее, еще могущественнее. Они обещают нам объедки со своего стола, если мы будем паиньками. Но берегись тот, кто захочет испортить им аппетит, захочет взять больше. Так кто же мы? Мы самодовольно называем себя деловыми людьми. Да какие мы деловые люди?! Мы навозные жуки, жалкие перекупщики, мелкие спекулянты, жулики, у которых за душой ничего нет...

— Твоя речь затянулась, Эль Хаджи,— прервал его Диоп, лысый человек с шишковатым, лосняшимся черепом.— Мы не в театре. Сам сидит по уши в дерьме, а нам читает революционные проповеди. Об этом надо было думать раньше. Давайте кончать! Предлагаю голосовать за его исключение.

Шум нарастал, все говорили разом. После наскока Диопа Эль Хаджи сбился. Мысли его спутались. Он вглядывался в лица, стараясь разыскать союзников. Он увидел, что Шейк Ба что-то пишет. Шейк был не тот человек, чтобы просто так рисовать каракули. Поговаривали, что он к самым высоким людям вхож. Шейк Ба кончил писать. Эль Хаджи, не отрываясь, следил за тем, как клочок бумаги передавался из рук в руки. Президент взял бумагу, развернул. Эль Хаджи задрожал от волнения. Он внимательно смотрел на президента, пытаясь по глазам его угадать, что было в записке. Бесполезно. Эль Хаджи навер-

няка знал, что, будь у него поддержка Шейка Ба, вся эта история прошла бы для него безнаказанно.

— Эль Хаджи, ты закончил? — спросил президент.

— Нет.

— Мы тебя слушаем.

— В общем, я буду краток,— произнес он глухим, невыразительным, словно потерявшим эхо голосом, совершенно не похожим на свой. Перед тем как продолжать, он кинул взгляд в сторону Шейка Ба.— Все мы, все, кто здесь присутствует, подписывали необеспеченные чеки, спекулировали ордерами на продажу товаров.

— Довольно оскорблений! Президент, скажи, на чьей ты стороне?

«Не скрывалась ли в возгласе Лая угроза?— подумал президент.— Не слишком ли много воли дал он Эль Хаджи, разрешив ему рассуждать о таких вещах, о которых осмеливаются говорить лишь дома, за закрытой дверью?»

— Так! Перед тем как принять решение, я хочу сказать вам о предложении нашего друга Шейка Ба,— заявил президент, идя на попятную.

— Я извиняюсь, президент, что перебиваю тебя! Это на самом деле предложение! Я привлеку ваше внимание к нескольким моментам.

Когда Шейк Ба говорил в их кругу о каких-либо моментах, все понимали, что это и есть главное.

— Мы вправе потребовать, ввиду известных нам причин, лишить его лицензии на импорт и экспорт, но мы также... в общем, Эль Хаджи уже очень давно не платил налогов. Изгнание его из нашего «Союза» зависит от нас. Наиболее деликатным вопросом станут, несомненно, наши будущие отношения с Национальной продовольственной компанией. Если мы покажем свою твердость в тех решениях, которые мы сейчас примем, то, я думаю, Национальная продовольственная компания не будет иметь к нам претензий. Таким образом, мы восстановим наше прежнее положение. Что же касается необеспеченных чеков, это не наше дело. Однако у меня есть сведения — это уже из области слухов,— что там, где надо, на него лежит весьма солидное досье. Это и были, президент, те несколько моментов, о которых я хотел вам сообщить.

Выступление Шейка Ба завершило дебаты. Эль Хаджи смолчал. Они единогласно проголосовали за его исключение из «Союза».

Заседание закончилось. Вокруг Эль Хаджи сразу образовалась пустота. Он в гордом одиночестве спустился по лестнице.

— К Адже,— приказал он Моду.

В машине он почувствовал себя нехорошо. От этого головокружительного падения заныл живот. Он не мог точно припомнить причины своего давнего спора с Рамой, но одна ее фраза всплыла в памяти: «Наше государство — это государство плутократии».

В гостиной «Виллы Аджа Ава Асту» сидели мать и дочь. По радио передавали конголезскую музыку.

— Добрый вечер,— сказал он.

— Добрый вечер,— ответили они.

Эль Хаджи подошел к дочери.

— Что это?

— Волоф.

— Ты пишешь на волоф?

— Да. У нас есть журнал на волоф — «Кадду», и мы преподаем этот язык всем желающим.

— Ты полагаешь, что этим языком будут пользоваться?

— Им пользуется восемьдесят пять процентов народа. Надо только научить людей писать.

— А французский?

— Историческая случайность. Волоф — это наш национальный язык.

Эль Хаджи улыбнулся и подошел к жене.

— Как ты себя чувствуешь?
— Слава аллаху, спасибо.
— Дай мне, пожалуйста, попить.
Аджа Ава Асту встала и вышла на кухню.
— Я пришел,— сказал Эль Хаджи, обращаясь к дочери.
— Я вижу, отец.
Аджа Ава Асту вернулась с бутылкой «эвиана» и стаканом. Потом сообщила:
— К тебе приходила Яй Бинета.
— Что она хотела?
— Она хотела тебя видеть.
— Завтра заеду.
— Она мне сказала, что «они», если нужно, будут ждать всю ночь.
Рама собрала свои книги и тетради:
— Спокойной ночи.
— Тебе тоже спокойной ночи,— ответила ей мать.
— Завтра я к ним заеду,— громко, так чтобы его слышала дочь, повторил Эль Хаджи.
Аджа Ава Асту промолчала. Она первой ушла спать, оставив мужа в одиночестве.



Проснулся Эль Хаджи Абду Кадер Бей раньше обычного, присутствовал при отправке детей в школу. Шофер семейного фургона Алассан помогал ребятам залезть в машину.
— Папа,— окликнула его Мариэм, дочь Уми Ндой.
Отец подошел, каждый из детей второй жены поздоровался с ним за руку.
— Как себя чувствует ваша мать?
— Хорошо,— ответила Мариэм.
— Папа, ты не забыл о машине для мамы? — спросил его мальчик.
В этот момент «фиат» Рамы нервно сорвался с места.
— Не забыл! Я обещал вашей матери.
— А когда?
— Когда?.. Скоро,— неуверенно ответил Эль Хаджи и вернулся в дом.
— Отец нас все время обманывает,— прокомментировала брату этот разговор Мариэм, когда машина отъехала.
Моду отвез Эль Хаджи в «контору». Они прибыли одновременно с секретаршей-продавщицей. Войдя к себе, Эль Хаджи сразу позвонил в банк. Он не мог утерпеть до условленного часа. Ему сообщили, что заместитель директора банка очень занят, и посоветовали позвонить на следующей неделе, чтобы договориться о встрече. Да, они знали, с кем говорят. Очень вежливый женский голос внушал спокойствие. Он настаивал, но безуспешно. Минут через пятнадцать после телефонного разговора до него дошло, что принимать его не желают.
Мадам Дьюф вошла сказать, что к нему посетитель.
— Кто?
— Какой-то тубаб из «Автомобильного кредита».
Он велел звать. Европеец был в хлопчатобумажной рубашке, в брюках цвета хаки, с набитым портфелем из змеиной кожи.
— Вы меня узнаете? — спросил он, сев напротив Эль Хаджи.
— Конечно.
— Прошу прощения, что сваливаюсь вам на голову так рано. Но я ненадолго и не отниму у вас много времени. Я вот по какому делу...
Открыв портфель, он вытащил оттуда бумажную папку и положил ее себе на колени. Рукой он отгонял мух.
— ...Месье Эль Хаджи Абду Кадер Бей, вот уже больше трех месяцев вы не платите взносов за купленные вами в кредит машины. Я пришел выяснить, в чем дело.

— Действительно! — воскликнул Эль Хаджи, рассчитывая взять его нахрапом.— Действительно, вы правы. Эти месяцы у меня было столько дел, я прошу извинить меня за задержку. Я получил ваше уведомление. Я знаю, что пени в таких случаях составляют пять процентов.

Сказав это, Эль Хаджи достал чековую книжку.

— Я прошу вас, месье Эль Хаджи Абду Кадер Бей,— произнес белый, поднимая ладонь вверх. В этом легком движении руки, в тоне его голоса было скрыто достаточно силы, чтобы остановить Эль Хаджи.— Прошу вас, месье,— повторил он с незаметной улыбкой у кончиков рта.— Я не хочу ничего от вас скрывать, нас известили о вашем финансовом положении.

Они так и замерли. Каждый думал о своем. Эль Хаджи читал на лице белого желание согнуть его, поставить на колени. Когда с лица представителя фирмы сошла насмешливая улыбочка, Эль Хаджи стало совсем не по себе. Он напряженно вглядывался в сидящего перед ним человека. С улицы было слышно жалобное пение нищего.

— Вы можете сказать, кто вам это сообщил? — спросил Эль Хаджи.

— Вы же понимаете, по телефону лица не видно.

— А какой голос? Какой акцент?

Эль Хаджи был убежден, что ему намеренно ставят подножку. Он скептически улыбнулся, уголки губ его опустились, рот сделался дряблым. Белый пристально посмотрел на него и уклонился от ответа.

— Я просто хотел предупредить вас. Чем скорее вы расплатитесь с нами, месье, тем будет лучше.

— Что значит: чем скорее?

— Три дня.

— Можете вы мне дать больше времени?

— Я понимаю вас! К сожалению, я только исполнитель. Я выполняю приказ.

Агент «Автомобильного кредита» ушел. Эль Хаджи сидел неподвижный, злой. Он перебрал свои связи: вмешательство какого-нибудь высокопоставленного, влиятельного лица было просто необходимо. Он искал выход, как мышь, попавшая в западню. Сейчас он не думал уже ни о хале, ни о третьем браке. В памяти его, словно разматывая с катушки непрочную, то и дело рвущуюся нитку, мелькали эпизоды его карьеры. Он жульничал, он ожесточенно боролся за то, чтобы иметь свой дом, чтобы выбиться в люди. И вот теперь все это шаталось, рушилось.

Робко постучав, неуверенным шагом вошла мадам Дьюф:

— Патрон!

Эль Хаджи поднял на нее усталый взгляд:

— Да?

— Патрон! В банке мне вернули чек,— смущенно, опустив голову, сказала она и положила чек на край стола.

Он смотрел на нее потухшими глазами.

— Вы знаете, как мне нужны деньги. Вот уже больше двух месяцев я со своей семьей живу только в долг. Я должна платить за квартиру. Если я не заплачу на этой неделе, то всю нашу...— Голос ее осекся.

— Дайте мне два дня, мадам Дьюф. Сейчас у меня очень трудный момент. Хорошо?

Она утвердительно кивнула головой.

— Войдите,— крикнул Эль Хаджи.

Это был Моду в сопровождении человека в старом, поношенном голубом халате и черном шерстяном колпаке с кисточкой, болтавшейся из стороны в сторону. Глаза у незнакомца были красноватые и очень живые.

— Меня прислал серинь Мада,— заявил он, держась в некотором отдалении от стола. В его манере держаться сквозило высокомерие.

Мадам Дьюф вышла.

— Серинь Мада? — повторил Эль Хаджи, разглядывая вторгшегося к нему типа. Имя ему ничего не говорило.— Кто такой серинь Мада?

Человек в шерстяном колпаке вздрогнул, широко открыл глаза и обернулся к Моду. Тот опустил голову, словно провинившийся пес перед хозяином.

— Тот, кто тебя вылечил, кто избавил тебя от халы...

— А!

Это «А» вырвалось из самой груди Эль Хаджи. Он вскочил, приглашая гостя садиться.

— Я надеюсь, что он здоров! Мне как раз нужно, ох, как нужно с ним повидаться. Как у него дела?

— Слава аллаху.

Радость и надежда затеплились в душе Эль Хаджи. Он верил в могущество серинь Мады. Вот кто мог спасти его от беды. Как он раньше о нем не подумал?

— Садись, друг мой, брат мой. Прости мою рассеянность. Ты, наверное, знаешь, какая страшная жизнь в Н'Дакарру. Как хорошо, что ты приехал. Мне очень нужен серинь Мада. Мы поедем вместе к нему в деревню. А пока ты в Н'Дакарру, я прошу тебя быть моим гостем. Моду сейчас отвезет тебя к моей второй жене... Нет... Нет, Моду, отвези его к Адже Аве Асту. Это моя первая. Она очень благочестива. Хорошая женщина! Садись и расскажи мне, что хочет серинь Мада?

— Вернуть тебе вот это,— сказал пришедший, протягивая ему чек.— Я только что из банка. Припомни, серинь Мада тогда тебе сказал: то, что он снял, он может вернуть назад.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей заходил кругами по «кабинету», путаясь в туманных объяснениях. Гость круглыми глазами, равнодушный ко всем мольбам, посмотрел на него и удалился, оставив чек на столе мадам Дьюф.

— Патрон, ты не узнал серинь Маду? Это был он,— сказал Моду, когда тот вышел.

— Кто? Серинь Мада?

— Да. Перед тем как войти, он запретил мне представлять его.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей бросился на улицу. Серинь Маду он уже не увидел. Он будто оцепенел. Он не слышал шума грузовиков, ручных тележек, криков людей. Потрясенный тем, что произошло, разбитый, он, волоча ноги, вернулся в свою «контору».

В такси серинь Мада вытащил из кармана четки. Длинные четки с зернышками из черного дерева, инкрустированного серебряной нитью. Он яростно перебирал их. Глаза его были закрыты, губы шевелились.

Моду снова занял свое место на табурете.

— Что случилось, Моду? — спросил нищий.

— Только что здесь был серинь Мада.

— Просто так, зашел в гости?

— Да вроде того,— ответил шофер. Он вытянул ноги, оперся затылком о стену.

— Говори толком, Моду.

Моду встал с табурета, присел около нищего на корточки и зашептал ему на ухо:

— Ты что, ничего не знаешь? У Эль Хаджи после его третьей женитьбы была хала. Серинь Мада его вылечил. А теперь у Эль Хаджи нет ни гроша, чтобы с ним расплатиться. Я уверен, что не позже сегодняшнего вечера серинь Мада снова прицепит ему халу.

— Я слышал о славе серинь Мады. Говорят, что он человек слова. А хала — это пустяк. Я могу ее снять.

Моду скептически улыбнулся и посмотрел на сгорбленную спину нищего. Тот, чувствуя на себе пристальный взгляд, выпрямился.

— Ты мне не веришь, а, Моду?

— Не в том дело,— ответил шофер.— У Эль Хаджи больше нет денег, чтобы тебе заплатить.

— Я ничего не возьму с него.

— Ты снимешь с него халу за так? Просто за красивые глаза?

— Этого я не говорил. Я не возьму с него денег, это верно. Но я потребую, чтобы он сделал то, что я захочу.

— Ты меня пугаешь...

— Если Эль Хаджи сделает то, что я потребую, он вылечится. Станет таким же мужчиной, как ты и я.

Заинтригованный, Моду уставился нищему в затылок. Тот с независимым, гордым видом затянул свою жалобную песнь.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей снова был при своей хале. Растерявшийся от стольких несчастий, он укрылся у первой жены. В этой семье он чувствовал себя спокойно, в безопасности. Как и раньше, Аджа Ава Асту его ни о чем не спрашивала. Она встретила его так, будто ожидала его возвращения. Детям она сказала, что отец болен и нуждается в покое. Ребята послушно передвигались по дому на цыпочках. Целыми днями Эль Хаджи сидел на диване, опустив руки, бессмысленно глядя перед собой.

На него навалились кредиторы. Национальная продовольственная компания передала дело в суд. «Автомобильный кредит» отобрал машины — свадебный подарок, семейный фургон, «мерседес». Не тронули только «фиат», который был записан на Раму. Компания недвижимости поручила судебным исполнителям конфисковать виллы. Мадам Дьюф тоже подала в суд. Эль Хаджи не явился на оба предварительных заседания. Его осудили заочно, и дело передали судебному исполнителю. Тот был неумолим и не дал никакой отсрочки. Чтобы заткнуть эту дыру, Аджа Ава Асту продала свои драгоценности. Рядом с осаждаемым со всех сторон, всеми покинутым Эль Хаджи остался один Моду. Шофер оказался человеком душевным и не хотел его бросать, не хотел бежать с корабля, который день ото дня все глубже погружался в воду.

Бадиен Яй Бинета пришла, как она заявила, «узнать новости». Аджа Ава Асту после традиционного обмена приветствиями удалилась, сославшись на дела. Бадиен, оставшись с Эль Хаджи наедине, обрушила на него поток слов с весьма прозрачными намеками. Она в красках расписывала ее и Нгоне возмущение: вот уже сколько ночей молодая женщина мерзнет в постели одна. Разве он не муж? Каковы его действительные намерения?

Украдкой бадиен изучала Эль Хаджи. Она точно принюхивалась к сидящему рядом мужчине. Хитрющие морщинки прорезали кожу у нее на переносице.

— Нам сказали, что за неуплату отключат воду и электричество. Это правда? Виллу приходил смотреть законник. Брак, совместная жизнь — это ведь не только постель... Отсрочка, которую тебе давали из-за твоих неурядиц, давным-давно прошла. Что ты думаешь делать?

Эль Хаджи молчал. Он вспоминал слова сит-катта: «Это кто-то из твоего окружения».

В тот же день, вернувшись от Эль Хаджи, Яй Бинета с третьей женой съехали. Женщины наняли грузовое такси, набили его мебелью, посудой. Ворота виллы остались широко распахнутыми. Все

произошло по поговорке: жена ушла с пустым животом, так хоть не с пустыми руками.

Не предупредив мужа, переехала со своими чадами в квартал простонародья к родителям и вторая жена, Уми Ндой. Агенты, которым была поручена конфискация имущества, явились к ней однажды утром и сказали, что завтра придут делать опись. После такого предупреждения женщина ночью, под покровом темноты с помощью своих братьев, сестер, племянников, так же как Яй Бинета, опустошила виллу. Она вывезла все, вплоть до занавесок, холодильников, ковров. Маленький родительский дом не мог вместить ни ее мебели, ни ее побрякушек. Для детей, привыкших к удобствам, халупа дедушки и бабушки, теснота комнат, пыльный двор, вместо стола циновка, каждый день — утром и вечером — рис, который надо было есть вместе со всеми из одного калебаса, были причиной стычек с их двоюродными братьями и сестрами. Мариэм в лицо, среди бела дня, ругала мать за то, что приходится ездить в школу на автобусе, за еду, за то, что нет возможности спокойно делать уроки, за блох и клопов. Былая спаянность семьи, когда они жили на «Вилле Уми Ндой», мало-помалу рушилась. Старший сын собирался бросить школу и поступить в полицию или армию.

Уми Ндой домогалась от мужа, чтобы тот задумался о будущем ее детей. Эль Хаджи, не имевший теперь ничего, не знал, что делать.

— Взять их с собой к Адже Аве Асту,— предложила Уми Ндой.

Когда Эль Хаджи завел разговор на эту тему со своей первой женой в присутствии дочери, Рама яростно воспротивилась:

— У нас нет средств. Этот дом принадлежит нашей матери. Не может быть даже и речи о том, чтобы поселить здесь сводных братьев и сестер.

Аджа Ава Асту расстроилась из-за резких слов дочери, но в глубине души она понимала, что Рама права. Их теперешнее существование не давало никакой уверенности в завтрашнем дне. Потерявший право голоса Эль Хаджи больше не ходил ко второй жене.

Утратившая былое положение, Уми Ндой, желая показать себя женщиной современной, стала ходить из конторы в контору, с предприятия на предприятие и искать работу. Поворот в судьбе познакомил ее и с другими мужчинами, которые любили легкую жизнь. И эта компания галантных кавалеров увлекла Уми Ндой на путь ночных похождений.

Луна с солнцем играли в прятки, ткали дорожку жизни. И вот в один прекрасный день Эль Хаджи Абду Кадер Бей был приглашен на разговор к родителям своей третьей супруги. Нгоне хотела, как говорят в народе, «вернуть себе свободу». Моду на правах друга сопровождал своего бывшего патрона. На «фиате» Рамы они поехали к тестю, старому Бабакару.

В комнате сидели три почитаемых в квартале старца, мать девушки и Яй Бинета. Это были те самые старики, которые принимали участие в брачном обряде в мечети. В углу возвышался манекен со свадебным платьем.

— Эль Хаджи, ты, наверно, понимаешь или догадываешься о теме нашего разговора. Нгоне желает получить назад свободу,— начал один из стариков, имам.

— Нечего тут долго разглагольствовать,— резко и зычно прервала его Яй Бинета. Глаза ее сверкали непоколебимой решимостью.— Мы выдали замуж нашу дочь, юную невинную девушку, за Эль Хаджи Абду Кадер Бея. И вот прошло уже больше четырех месяцев, а Эль Хаджи не способен доказать, что он мужчина. С самого дня свадьбы Эль Хаджи нас избегает, прячется от нас день и ночь. Он оставил нас без воды и света. Но мы в конце концов ничего от него не хотим. Нам настолько стыдно, что ни один человек из нашей

семьи не смеет днем показаться на улице. Мы требуем у него нашу свободу.

Моду зло смотрел на бадиен, заставляя себя молчать. С языка у него рвались очень нехорошие слова. Эта женщина напоминала ему самку термита, которая выедает у людей внутренности, оставляя одну шкуру своей жертвы. Он сдержанно сказал:

— Яй Бинета, так мы ни до чего не договоримся. Аллах любит только правду! Эль Хаджи не прогонял Нгоне. Если же со времени свадьбы с вашей дочерью Эль Хаджи...

— Скажи честно, что он не мужчина,— перебила его Яй Бинета.

— Это может случиться с каждым человеком. Печальные обстоятельства этого дела таковы, что халу Эль Хаджи подцепил как раз с вашей дочерью.

— Ты что, намекаешь, что это мы виноваты?

— Нас ты не трогай,— вопила мать, махая рукой перед носом Моду.— Если вы не мужчины... Да и были ли вы мужчинами раньше? Девушку не хранят в сундуке, как золотую монету. Даже золотую монету пускают в оборот.

Моду замолчал. Он кипел от гнева, но держал себя в руках. Будучи родом из тех мест, где слова жгут, как горящая головня, он безо всяких обиняков заявил:

— Вы, значит, хотите во что бы то ни стало взять назад свою свободу. Так вот, когда вы бежали с виллы, вы там ничего не оставили. Вы утащили с собой все.

— А-а! Я ждала этого! Сколько бы бревно ни пролежало в реке, никогда ему не стать крокодилом. Что мы взяли? Машину? Вы за нее не заплатили. Идите полюбуйтесь на нее в «Автомобильном кредите». Вещи? Вон они,— бадиен пальцем показала на манекен.

— Бинета, ты переходишь границы приличий,— властно вмешался имам.— Я обращаюсь к Эль Хаджи. Эль Хаджи Абду Кадер Бей твоя жена Нгоне требует у тебя свободу. Ты знаешь почему.

Эль Хаджи съежился. Он смотрел на свои пальцы. Тишина длилась долго.

— Эль Хаджи, мы слушаем тебя,— сказал другой старик в феске с красным помпоном.— Согласно мусульманским законам о браке, эта женщина имеет полное право требовать отделения. Никто не может принудить твою жену жить с тобой, если уж ты сам не можешь сделать ее своей женой.

— В нашем деле,— начал Моду, вставая на защиту Эль Хаджи,— нечего спорить ни о правах, ни даже о законах. Я только хочу заметить, что уже до нашего прихода в этом доме вынесли решение: развод.

— Что вы хотите? Чтобы вам возместили расходы?

— Яй Бинета, вам нечем возместить нам расходы. Где это видано, чтобы термит оказывал гостеприимство черепахе?

— Ты только слуга, Моду. Тебе, если уж на то пошло, нечего здесь делать.

Моду сочувственно смотрел на Эль Хаджи. Для того эти споры были лишены всякого смысла. Он пропускал их мимо ушей. Он смотрел на всех этих людей и не видел их. Ему ничего уже не говорили ни манекен со свадебным платьем, ни белоснежная шапочка. Он открыл рот, хотел что-то сказать, но слова застряли у него в горле.

— Эль Хаджи, скажи нам, что ты намерен делать? Ты согласен на развод? — спросил имам.

Эль Хаджи медленным взглядом обвел присутствующих. Все ждали.. Он поднялся и направился к двери. Моду пошел за ним следом. Они уже садились в «фиат», когда их догнала бадиен Яй Бинета и бросила Эль Хаджи на колени манекен.

— Забирайте свое добро,— крикнула она.

Мужчины молчали. К дому подходила Нгоне, держа за руку молодого человека в сетчатой рубашке и брюках в обтяжку. Они вошли в калитку. Машина тронулась с места, манекен так и остался лежать у Эль Хаджи на коленях.

Они подъехали к «конторе». Она была закрыта и опечатана по причине банкротства. На углу, как всегда, сидел нищий и пел. Моду остановил машину прямо перед ним. Шофер объяснил Эль Хаджи, что этот бедолага берется вылечить его от халы. Между ними произошел короткий разговор. Потом Моду вылез из машины, подсел к нищему. Через несколько минут Моду снова сел в машину, и они уехали.

Нищий пронзительным крещендо затянул свою песню.

Прошло два дня.

Мусорная машина останавливалась перед каждой виллой, собирая утренние отбросы. Спокойно прохаживались двое полицейских. Лавочник подавал клиенту батон хлеба. За цветущими изгородями порхали фонтанчики садовников, занимавшихся своей утренней работой; то там, то тут брызги попадали на тротуар; слуги уносили в дома пустые баки для мусора. Квартал дышал благополучием и покоем.

Бонна с семенящей впереди маленькой девочкой подошла к перекрестку. Девочка, завернувшая за угол первой, вдруг испуганно закричала и вцепилась в бонну. Следом за ней завопила и бонна. Их пронзительные крики всполошили округу: стали открываться и тут же снова закрываться двери и окна. Когда оцепенение страха прошло, женщина с девочкой бросились бежать, призывая на помощь. Забегали и залаяли бездомные собаки.

Полицейские устремились к перекрестку и остановились как вкопанные. Пятясь маленькими шагами, они инстинктивно тянули руки к кобуре.

— Быстро вызывай пост! Быстро! Это бунт,— сказал один, который, похоже, был старшим.

Второй полицейский побежал выполнять приказание. Бакалейщик, вытолкнув клиента, быстро закрыл лавочку. Клиент, сунув в карман бумажник, поспешил прочь.

Занимая всю ширину тротуара, оставляя за собой зловонный запах лохмотьев, приближалась целая процессия калек: слепых, прокаженных, безногих, одноногих, мужчин, женщин, детей. Во главе процессии шел нищий певец. От жужжания мух дрожал воздух. Зрелище было омерзительное.

Полицейский, прижавшись к изгороди, держа руку на кобуре, пропустил их мимо себя. От гадливости и отвращения его даже передернуло.

Дойдя до «Виллы Аджа Ава Асту», нищий позвонил. Раз, другой. Прошло время... Открывшая калитку служанка вздрогнула, отпрянула и чуть не упала навзничь. Нищий, как предводитель, толкнул калитку. За ним ринулась его свита. Они вошли на веранду, некоторые взбирались туда ползком, с веранды проследовали в гостиную и расположились там, как хозяева. Безногий, вымазавший в саду ладони и колени землей, как гигантский слизняк оставлял за собой черноватую полосу. Он подтянулся сильными руками и плюхнулся с дурацким видом победителя, отвесив нижнюю губу и улыбаясь всеми своими выщербленными зубами, в красное велюровое кресло; другой, с гниющим лицом, с провалившимся, деформированным носом, с видневшимся под лохмотьями изрубцованным телом, схватил белую рубашку, натянул ее на себя и стал перед зеркалом корчить самому себе рожи. Женщина с близнецами, подбадриваемая товарищами, разодрала диванную подушку и завернула в лоскут одного

из своих детей. На вторую подушку она положила ногу с потрескавшейся пяткой, со скрюченными пальцами. Вокруг манекена, примериваясь к нему, крутился горбун. В конце концов он снял с него платье, водрузил шапочку новобрачной на свою плоскую рахитичную голову. Вне себя от восторга он кричал:

— Посмотрите на меня, посмотрите на меня!

Хромой с черепом дегенерата и слезящимися глазами складывал в висевшую у него через плечо сумку посуду. Напротив него еще один калека единственной своей рукой расставлял перед собой все попадавшиеся ему на глаза блестящие предметы. В комнату вошли и остолбенели от этого дикого зрелища Аджа Ава Асту и Эль Хаджи Абду Кадер Бей.

— Это я со своими друзьями,— представился нищий.

Вид этих тел будто пригвоздил хозяев к месту. Аджа Ава Асту стояла окаменевшая, не в силах сказать ни слова. Перед ней, прикасаясь к ее ногам, уселся безногий. Она была в ужасе, всю ее, вплоть до кончиков волос, охватила дрожь омерзения, к горлу подступала тошнота. К ней подскочила хромоножка, сорвала с нее шарф и накинула себе на голову, чем вызвала взрыв общего веселья. Аджа Ава Асту инстинктивно подняла руку, чтобы защититься, но Эль Хаджи ее удержал. Сам он, ошеломленный такой наглостью и бесстыдством, молча, как парализованный, смотрел в глаза нищему.

— Терпи!.. Все терпи, если хочешь стать здоровым,— повторял нищий таким тоном, словно ему постоянно доводится руководить подобными церемониями.

Одноногий обнаружил еду. Подпрыгивая с победоносным видом, он нашел себе стул. Усевшись, он запустил обе руки с пальцами, изъеденными проказой, в тарелку. Мать близнецов стала клянчить:

— Дай малышам.

Ей передали несколько кусков, и она поделила их между детьми. Человек, у которого не было даже обрубков ног — одно туловище, закрыв глаза, припал к банке с молоком. Рядом с ним мальчишка связывал кастрюли. Прокаженный, подозрительно осмотрев бутылки с «эвианом», выливал из них жидкость и складывал пустые бутылки в корзину.

— Я знаю, где принимают такие бутылки,— сказал он гнусавым голосом соседу.

— А что в них? — спросил его сосед.

— А ты знаешь?

— Я мусульманин. Я не пью.

— Эти люди — нечестивцы! Алкоголики,— убежденно заявил прокаженный.

Подросток, передвигавшийся на четырех конечностях, как краб, вытащил из большого раскрытого холодильника баночку с простоквашей, сорвал крышку. Сначала он засунул туда палец, попробовал, потом, убедившись, что это съедобно, перевернулся на спину, правая нога его повисла в воздухе, открыл рот и с жадностью вылил туда содержимое баночки. Потом он знаком позвал другого мальчишку последовать его примеру. Тот волочил ногу, ниже колена у него была рана, прикрытая привязанным тесемочкой кусочком бинта с цинковой мазью. Оттуда шел запах гнили. Мальчишка схватил хлеб и масло и быстро заковылял от холодильника.

— Помогите мне!.. Помогите мне!..

Это кричал все тот же неугомонный человек-туловище. Ему во что бы то ни стало захотелось влезть на кровать. Его подняли, кинули туда, и он исчез в простынях, как утопающий в воде. Потом высунул голову и попробовал перекувырнуться. Радостный, несвязно крича, он подпрыгивал и снова исчезал в простынях.

К вышедшей в ночной рубашке из своей комнаты Раме сразу подскочили, бросая похотливые взгляды на ее формы, два уродливых

ухажера. Она подошла к матери. Обе с недоумением смотрели друг на друга.

Эль Хаджи Абду Кадер Бей запротестовал:

— Это грабеж.

— Нет! Это мое вознаграждение,— ответил предводитель, стоявший все на том же месте.

— За что? — спросил его Эль Хаджи.

— Как за что? А хала? Я беру плату вперед.

— Вы воры! Я сейчас вызову полицию,— сказал Эль Хаджи.

На лице его появился страх. Этот человек ему кого-то напоминал, а кого — он не знал.

При слове «полиция» началась суматоха. По лицам пробежал ветерок ужаса. Парень с большим бельмом на глазу, который что-то мешал в тарелке, испуганно замер. Он косил глазами во все стороны, как козленок, ищущий выхода из загона.

— Если ты хочешь опять стать нормальным человеком, ты будешь слушаться. У тебя ничего больше нет. Ничего-ничего, кроме твоей халы. Узнаешь ты меня? Ну, конечно, нет!..

Он вышел на середину комнаты. Слова его падали в полной тишине:

— Нашей с тобой истории уже много лет. Она началась незадолго до твоей свадьбы вот с этой женщиной. Ты уже ничего не помнишь? Я был в этом уверен. В том, что я стал нищим, виноват ты... Ты припоминаешь, как продал большой участок земли в Жеко, который принадлежал нашему роду? Ты подделал с ведома важных господ родовые имена и выгнал нас. Как мы ни жаловались, как ни доказывали, что это наша земля, суд нам отказал. Но тебе было мало того, что ты присвоил нашу собственность, ты приказал арестовать меня и бросить в тюрьму. За что?..

Эль Хаджи молчал. Нищий отошел к столу. Крупные капли пота блестели у него на лбу, скатывались по морщинистой шее. Он закашлялся. Кашель был густой, с хрипом. Он собрался отхаркаться, оглянулся кругом, ища, куда бы сплюнуть, потом проглотил мокроту. Какое-то время он стоял молча, с опущенной головой, потом поднял ее.

— За что? Только за то, что ты же нас обобрал! Обобрал вроде бы на законных основаниях. Твой отец был старостой рода, земля носила его имя. Но ведь ты-то знал, что эта земля принадлежит не только твоему отцу, твоей семье. Когда меня освободили, я снова пришел к тебе. Мы с тобой снова схватились. На этот раз твои дружки меня просто-напросто избили. На их стороне была власть. Такие люди, как ты, живут только тем, что воруют.

— И обирают простой народ,— раздался зычный голос.

— Вся твоя былая счастливая жизнь — теперь-то у тебя ничего нет — была построена на мошенничестве. Ты и твои собратья наживаются исключительно на несчастьях честных обездоленных людей. Для очистки совести вы учреждаете благотворительные общества, подаете на улице милостыню людям, доведенным до нищеты. Когда же нас становится чересчур много, вы вызываете полицию, чтобы...

— Чтобы выбросить нас, как дерьмо,— угрожающе подняв кулак, закончил за него парень с бельмом на глазу.

— Посмотри на меня! Посмотри! Кто я? — закричала мать близнецов, подойдя к Адже Аве Асту. И сама же ответила: — Ты скажешь, женщина? Нет. Я рожальная машина. А эти младенцы? Что с ними станет, когда они вырастут? Взгляни на них! — Правой рукой она схватила Аджу Аву Асту за подбородок.

— А я?.. Я никогда не буду мужчиной. Такой же тип, как ты, раздавил меня своей машиной. Он пустился наутек, а меня оставил околевать на дороге.

Наступившую тишину разорвал мерзкий хохот. Стоя на канапе, прокаженный гнусавым голосом провозгласил:

— У меня проказа! Но плохо от этого мне одному. А ты, ты зараза для всех. Ты источник общей проказы.

Аджа Ава Асту в отчаянии перебирала четки. Рама поддерживала ее. Она чувствовала, что готова взорваться. Против кого? Собственного отца? Этих несчастных? Голова ее была забита такими словами, как «революция», «новый социальный порядок», но сейчас в груди у нее застряло что-то тяжелое, словно огромный камень, и давило на сердце. Она не сводила глаз с отца.

— Чтобы тебе выздороветь, ты сейчас разденешься, Эль Хаджи, разденешься догола. Будешь стоять голый перед нами. И каждый из нас трижды плюнет тебе в лицо. Вот тебе ключ к твоему выздоровлению. Решайся. Теперь я могу сказать: это я наслал на тебя порчу.

Минуты две протекли в полной тишине. Эль Хаджи внимательно слушал. Он думал о сит-катте, который ему сказал: «Это кто-то из твоего окружения».

Потом послышался вой полицейской сирены. Тишину прорезали грубый звук тормозов, за ним топот, пронзительные свистки. Раздались мягкие переливы гонга.

Отбросы общества сбились в кучу. На лицах их был страх. Мать близнецов одним движением, почти механически, плавно забросила одного младенца себе на спину, другого взяла на руки; прокаженный подбежал к окну, взялся за ручку; человек-туловище на своей тележке искал проход через лес кривых ног.

— Что будем делать? — произнес другой прокаженный. Он стаскивал с себя одежду Эль Хаджи.

— Сейчас нас заберут в тюрьму.

— Не двигаться,— приказал нищий.— Мы гости Эль Хаджи. Он хочет вылечиться...

Полицейский офицер распахнул дверь. За ним в дверном проеме были видны заглядывавшие в комнату головы в беретах.

— Здравствуй, Эль Хаджи,— сказал офицер по-французски.— Что у тебя происходит?

Лица будто окаменели.

— Ничего, шеф,— ответила Рама.

— Как ничего?..

Рама подошла к полицейскому.

— Это папины гости. Раз в месяц отец раздает беднякам милостыню.

Офицера это не убедило:

— Соседи звонили нам по телефону, будто здесь бунт.

— Это неправда! Вы сами видите — я их угощаю,— подтвердил Эль Хаджи.

— Ладно! Частное жилище для нас неприкосновенно. Мы останемся на улице,— сказал полицейский, выходя со своей командой.

Они окружили виллу.

— Я хочу уйти,— произнес подросток с незаживающей раной.

— Вы сами видели что мы ничего не сказали полиции Вы сейчас же уйдете. Вы ни в кого не будете плевать. Иначе я верну полицию,— сказала Рама, обращаясь к нищему.

— Девушка ты разве не знаешь, что в этой стране заключенному живется лучше, чем рабочему или крестьянину? Налогов платить не надо, да еще тебя кормят, дают ночлег, лечат. Эль Хаджи, мы ведь ждем тебя...

Наступила пауза Потом Эль Хаджи Абду Кадер Бей решился посмотреть на жену и дочь. Все ждали. Кто-то подтолкнул к ногам его стул.

— Поднимайся! Поднимайся!

Взгляды были направлены на него. Никто будто не дышал. Медленно, сначала одной ногой, потом другой, Эль Хаджи встал на стул. Возвышаясь над всеми, он смотрел по сторонам.

— Если ты хочешь снова стать мужчиной, ты должен делать то, что я сказал.

— А если это неправда? — спросила Рама.

— Я не запросил и гроша. Хочешь верь, хочешь нет! Тебе решать, Эль Хаджи...

Пуговица за пуговицей Эль Хаджи расстегивал пижамную куртку. Первый плевок попал ему в лицо.

— Не вытирай...

Аджа Ава Асту опустила глаза. Ее подтолкнула хромоножка и грубо сказала:

— Плюй. если хочешь, чтобы он не был в постели бревном!

Рама сильно толкнула ее, и та рухнула около человека-туловища. Две руки с культяпками вместо пальцев отгородили Раму от матери. Прокаженный, раздув щеки, плюнул Эль Хаджи прямо в лицо. Хромая поднялась и влепила Раме звонкую пощечину. Потом она набрала полный рот слюны, подошла поближе к Эль Хаджи, плюнула.

— А теперь давай ты, дочка, доставь матери удовольствие,— сказала она.

Эль Хаджи был весь оплеван, с него капало. Он снял штаны. Они, как трофей, переходили из рук в руки. Тот, кому так понравилась шапочка новобрачной, надел ее Эль Хаджи на голову. Возбуждение нарастало.

Вокруг виллы стояли полицейские с оружием наизготовку.

■

---

**КАРЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ** (род. в 1939 г.).

Советский журналист, переводчик с французского.
В «Иностранной литературе» в его переводе опубликованы повесть Франсиса Бебея (Камерун) «Три маленьких чистильщика», поэма Максима Ндебеки (Конго) «Девятьсот восемьдесят тысяч», рассказы Бернара Клавеля и Андре Стиля (Франция).

# Критика

# США И АНГЛИЯ — ДРАМА В 70-х ГОДАХ

*Наш журнал неоднократно выступал с критическими обзорами, проблемными статьями, рецензиями на произведения современной зарубежной драматургии, и не в последнюю очередь — английской и американской. Две статьи, помещенные в этом номере, познакомят читателей с некоторыми характерными моментами развития драмы в Англии и США. Относящиеся примерно к одному периоду, обе статьи, каждая по-своему, освещают явления, в чем-то близкие между собой, в чем-то основательно расходящиеся. Различия эти, естественно, отражают не только индивидуальные художественные поиски того или иного драматурга, особенности его личности но и противоречивые тенденции общественной жизни, идеологический климат в стране, ее актуальные проблемы.*

*Так, Н. Соловьева, автор статьи о пьесах и спектаклях, виденных ею во время пребывания в Англии, считает возможным говорить о своеобразной «третьей волне» послевоенной социально-психологической драмы, в то время как М. Кореневой представляется ключевой вынесенная в заголовок ее статьи фраза о кризисе американского духа. Вместе с тем некоторые явления — например, возрождение популярности агитационного театра малых форм — авторы статей наблюдают и в США и в Англии; сходным образом прослеживаются в обеих странах неоднозначно проявляющиеся, но органичные связи между драмой в 60-х и 70-х годах. Параллели можно было бы продолжить, и мы предоставляем сделать это самому читателю.*

М. КОРЕНЕВА

## ПЬЕСЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ И КРИЗИС АМЕРИКАНСКОГО ДУХА

70-е годы принесли немало неожиданностей, опрокинувших прогнозы которые казалось, должны вот-вот осуществиться. В Соединенных Штатах такой неожиданностью был явный спад общественной активности, грозившей на рубеже 60-х и 70-х годов разразиться социальной бурей. Но ожидаемого взрыва не произошло. Волна протеста неудержимо поползла назад. Временами движение это замедлялось прерываясь местными бурными вспышками, возрождавшими надежды на выход к новым рубежам, но общее направление — к затуханию, свертыванию — оставалось неизменным. К концу десятилетия обозначился явный сдвиг вправо.

Перемены в общественном климате страны вызывали множество вопросов, сеяли недоумение и растерянность.

В полной мере проявилось это и в развитии американской драматургии в 70-е годы. Она долго нащупывала подходы к изменившейся действительности, делала

**КОРЕНЕВА МАЙЯ МИХАЙЛОВНА**

Советский литературовед и переводчик с английского. Автор работ по американской литературе. В ее переводе выходили роман У. Фолкнера «Непобежденные» (1976), «Избранная лирика Дилана Томаса» (1980) и др.

своеобразные прооные замеры, избегая и даже словно опасаясь окончательных суждений. Вся первая половина десятилетия прошла с оглядкой на минувшее. Вопросы, поставленные в центр общественного внимания политическим и социальным движением 60-х годов,— а они нередко затрагивали коренные устои американской цивилизации, выдвигая в новой форме по существу старые проблемы, родившиеся вместе с американским обществом,— не получили решения.

Более того, сами эти годы стали своего рода вопросом, загадкой, над которой билось фактически все следующее десятилетие. Размышления о путях социального прогресса, судьбах человека и общества неуклонно упирались в не находивший достаточно вразумительного объяснения опыт 60-х годов. Что он значил в истории нации, что обещал впереди?

В известном смысле ситуация, сложившаяся в начале 70-х годов в американском театре, перекликалась с действием пьесы Роберта Пэтрика «Дети Кеннеди» (1975). Подобно ее персонажам, американская драма напряженно всматривалась в ушедшее десятилетие, пытаясь сквозь призму прошлого уловить характер происшедших перемен. Конечно, автор не ставил перед собой задачи обрисовать положение театра в США, лицом к лицу столкнувшегося с изменившейся действительностью. Предмет его забот — умонастроения молодежи, делавшей «революцию» 60-х годов

Непроясненность общественной ситуации сказалась и на судьбе самой пьесы. Произведение начинающего драматурга было отвергнуто нью-йоркскими театрами, и лишь после успеха в Лондоне эта сугубо американская по духу, обращенная к сугубо американским проблемам пьеса была принята к постановке на родине. Явление характерное: достаточно хотя бы напомнить о начале творческой деятельности такого крупного драматурга, как Эдвард Олби, чей путь на американскую сцену после многих отказов проходил через Западный Берлин.

Один за другим выходили на сцену герои Пэтрика, не ведая, да и ничуть не заботясь о существовании друг друга. Они спешили — надо выговориться, доказать свое. Говорили, захлебываясь словами, перебивая своих невидимых партнеров. Каждый слышал только свой голос, вел свою лишь партию, нес свою лишь боль. Каждый задавал свой, рвущийся из глубины сердца вопрос.

Их звали Рона, Карла, Марк, Ванда. В свои двадцать пять — тридцать лет они уже совершили все, что могли, и теперь погрузились в пугающее однообразием и бессмысленностью прозябание. Но не только: в дымке все дальше уходящих в прошлое шестидесятых неудержимо растворяются — увы! так и не сбывшиеся — мечты и надежды, оставляя по себе боль, разочарование, тоску. Духовно надломленные, опустошенные и обессиленные, с сознанием полной безнадежности будущего, они устремляют взор назад, словно желая «остановить мгновение» — удержать драгоценные, безвозвратно ускользающие минуты полнокровной жизни и вместе с тем найти ответ на мучительный вопрос.

Чего ждали эти молодые люди от своего времени, в чем оно обмануло их ожидания?

Стоит начать, пожалуй с Роны, активистки молодежного движения. Подобно многим тысячам сверстников, еще подростком жадно следила она за выступлениями президента Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, читала стихи Аллена Гинзберга, радовалась победе кубинской революции. Став постарше, вступила в студенческую организацию. Марши протеста, демонстрации, помощь уклоняющимся от воинской повинности, от участия в войне во Вьетнаме. Окрыляющее сознание принадлежности к человеческому братству, причастности к зреющим в недрах общества великим переменам. Роне посчастливилось не только обрести себя в борьбе, но и найти любимого человека. Ее муж Робби — тоже участник молодежного движения. Их объединяли и любовь, и общее дело. Жизнь, казалось, неуклонно шла по восходящей, радующая полнотой отдачи, пьянящая грядущими преобразованиями, пока в один прекрасный день они не обнаружили, что очутились в тупике.

«Мы были великим шансом Америки все изменить — шансом для каждого» [1],— с гордостью и с горечью восклицает Рона.

Но если бы кто-то полюбопытствовал, о каких именно переменах мечтала она и ее товарищи, во имя чего терпели они лишения и невзгоды, сносили полицейские дубинки и ненависть расистов, тюремные застенки и пули оголтелых мракобесов, вряд ли смогла бы Рона сказать что-либо вразумительное. Вероятно, все ограничилось бы сакраментальным: «свобода», «свободны», «свободнее»... Оттого, быть может, в рассуждениях героини, как ранее в ее жизни, роковым образом сосуществуют борьба за гражданские права и уличная торговля наркотиками. По самым низким ценам — поспешно добавляет она. Несомненно, последнее делается с целью утверждения еще одной формы «свободы», против которой, кстати сказать, сама же Рона ведет борьбу в составе группы социального содействия... Мысль о несовместимости подобных действий друг с другом и, главное, с позицией борца за подлинное духовное раскрепощение личности даже не приходит ей в голову.

Аналогичным образом, отдавая в сложной ситуации предпочтение тактике ненасильственных действий, Рона с обезоруживающим простодушием обосновывает свой выбор тем, что насилия не признают... Битлы, Донован, Боб Дилан. Что говорить — предпринимая массовые политические акции, стремясь к решению кардинальных вопросов национальной жизни, естественнее было бы искать опоры у более серьезных теоретиков.

Но упрек этот следовало бы адресовать не столько героине или автору пьесы, сколько американскому молодежному дви-

[1] R. Patrick. Kennedy's children. N. Y., Samuel French, 1976, p. 16.

жению 60-х годов. Его слабости и просчеты во многом способствовали возникновению той атмосферы разочарования и безысходности, которую воссоздает в своей пьесе Р. Пэтрик.

Пройдя через опыт многолетней борьбы, требовавшей длительного упорства, стойкости и самоотдачи, поколение Роны не вышло из нее возмужавшим, готовым к новым схваткам. Пессимистические настроения распространялись среди американской молодежи в 70-е годы почти с той же стремительностью, с какой в свое время недовольство и готовность к сопротивлению.

Немалую роль в этом нарастании пессимизма играл и скепсис в отношении достигнутого. Хотелось бросающихся в глаза успехов, звучных газетных заголовков — сокрушительных результатов, и немедленно! На деле достижения оказались скромнее, условия жестче. И вот нигилизм в отношении будущего уже начинает распространяться на прошлое. Подавленному собственным бессилием человеку завоевания, которыми он еще так недавно гордился, начинают представляться чем-то эфемерным, гротескными фантазиями: безжалостно высмеиваются задним числом наивная вера и простодушные порывы молодежи 60-х годов.

«Мы участвовали в маршах чуть не с младенческих лет, а все чего добились,— сделали знаменитостью Джейн Фонду» [1],— так рассуждает разочаровавшаяся в движении Рона.

Джейн Фонда тут, конечно, ни при чем. Слава пришла к ней благодаря подлинному актерскому таланту и гражданскому мужеству. Но и успехи движения были далеко не фикцией.

Однако истинное положение уже не интересует вчерашних активистов, Рону и Робби, оставшихся «без» движения, словно раковины на песке во время отлива.

Анализ драматурга здесь объективен и верен фактам действительности. Можно посетовать на то, что он ограничился передачей взглядов и позиций героев, недостаточно ясно выразив собственное отношение. Однако во многом это объясняется структурой пьесы, построенной как исповедь персонажей, а значит, предполагающей максимально точную передачу психологического состояния каждого из них. Попытки расширения контекста за счет собственно авторского комментария, усилив публицистическое звучание спектакля, безусловно, могли бы нарушить единство атмосферы этой по существу лирической драмы.

Сказались на таком выборе и традиции национальной драматургии. Подобно своим предшественникам в 30-е, 40-е и 50-е годы — вспомним К. Одетса и А. Миллера,— Р. Пэтрик избрал средством воплощения острейшей социально-политической проблематики жанр, побуждающий автора к максимальной бережности в обращении с материалом.

Несколько особняком по отношению к другим персонажам пьесы стоит Марк, американский солдат, участник войны во Вьетнаме. В отличие от остальных он не пережил разочарования, он и прежде не питал особо радужных надежд. Но когда Марк отправлялся на вьетнамский фронт, у него были какие-то убеждения — мы бы их назвали скорее заблуждениями,— было стремление разобраться в невероятно сложной для не слишком развитого американского парня обстановке. Как знать, быть может, в иных обстоятельствах и нашлись бы люди, которые подтолкнули бы его к правильному выбору.

Страх — дурной советчик и поводырь. После возвращения из ада грязной и жестокой войны Марк превратился в бездушный автомат, навсегда утратив способность к размышлению. И это уже не человек, а живой мертвец.

В пьесе возникает довольно широкий спектр явлений, характерных для Америки начала 70-х годов. Некоторые мы назвали: спад политической активности масс, усиление пессимизма, особенно в молодежной среде. К этому следует добавить приобретший в 60-е годы новые очертания феномен массового сознания и стандартизации личности.

Рассматривая содержание пьесы как в связи с событиями современной истории, так и в широком контексте американской социальной действительности, мы обнаруживаем в ней и какой-то аспект не меркнущей в своем значении темы «американской мечты». Неисчислимы в истории страны примеры, когда развенчанная действительностью «мечта» вновь возрождалась, словно феникс из пепла, увлекая за собой миллионы. Только ухабы на пути исторического прогресса способны отрезвить их, но и то лишь на время. Приняв новый облик, «мечта» вновь находит отклик в сердцах, суля каждому равные шансы на победу. В пьесе Р. Пэтрика эпохой «мечты» предстает «эпоха Кеннеди». Да и сам президент обрисован как фигура чисто мифологическая. «Для меня он (день убийства Джона Кеннеди.— М. К.) точка отсчета: все случилось до или после этого»,— говорит в пьесе Ванда. Как показывает драматург, по логике американской действительности взлет «мечты» должен неизбежно сопровождаться крушением. Взятый в пьесе ракурс включает столь существенный момент сопоставления эпохи «мечты» с современностью. Правда, подан он как часть авторской характеристики персонажей: золотое время надежд для них миновало. Однако из мира пьесы перекинут мост в действительность — ее герои призваны говорить от лица поколения, которое, оставшись за рампой, все же может уловить любую натяжку и фальшь.

Та неопределенность общественной ситуации, которой вызвана душевная растерянность героев пьесы Р. Пэтрика, повлияла, как уже сказано, на весь ход развития американской драмы 70-х годов. Особенно наглядно это проявилось в творчестве Э Олби, признанного лидера литературного движения 60-х годов.

Он открыл новое десятилетие мрачным пророчеством пьесы «Все кончено» (1971). Действие развертывается в мире, знакомом по другим произведениям драматурга,— в мире достатка и социального комфорта, в

[1] R. Patrick. Kennedy's children, p. 45.

котором властвует крайнее духовное запустение, порождающее разобщенность героев. Исчерпанность возможностей как общества в целом, так и личности, связанной с этим обществом кровными узами, безнадежная усталость американской цивилизации воплощаются в пьесе в страшном образе смерти. При этом драматург уже не довольствуется метафорическим решением темы, сознательно избирая такой драматургический ход, который исключает множественность толкований — смерть воцаряется прямо на сцене.

Но уже следующая пьеса Олби, «Морской пейзаж» (1975), вносит в его трактовку действительности иные ноты. Продолжая линию, намеченную пьесой «Не боюсь Вирджинии Вулф» (1962) [1], он изображает людей, на закате жизни обнаруживших, что прожили они ее без цели и смысла. Личность, воплощенная в них, оказывается наиболее «усредненной», допуская сближение героев с современным Эврименом [2].

Развитие фантастического сюжета приводит персонажей к столкновению с представителями иного мира — из моря появляются хвостатые чудища. Ситуация эта — вторжение незнакомцев, грозящее нарушить привычный уклад,— встречалась у Олби неоднократно: и в «Что случилось в зоопарке» (1959), и в «Неустойчивом равновесии» (1966). Больше чем где бы то ни было в «Морском пейзаже» можно было ждать кровавой развязки. Но на этот раз драматург отдает предпочтение иному финалу. Проведя героев черными тропами их душ, погрузив в бездны, где кроются темные, разрушительные силы, он открывает перед человеком возможность избежать кровопролития, взаимоуничтожения, опустошения земли. Олби утверждает: будущее не безнадежно, спасение человечества от грядущего самоистребления — в его собственных руках.

Но, представив спасительный выход как одну из возможных альтернатив, драматург видел при этом, сколь затруднены его поиски в реальной действительности. Последовавшая за «Морским пейзажем» дилогия «Слушая» (1976) вновь, в обостренной форме, с болезненным надрывом заговорила о явлениях, катастрофически приближавших крах привычного мира. Заговорила, не доискиваясь до их социальных или политических корней — сосредоточившись на передаче ощущения неотвратимости надвигающейся гибели. Предчувствие беды, с первых мгновений отягощающее действие пьесы, оказывается оправданным в самом финале: безумная девушка твердившая бессмысленную как будто фразу: «Вы не слушаете», вскрывает себе вены на глазах у тех, кто в силу профессионального и человеческого долга призван предотвратить роковой шаг. Девушка оказалась права: они не слушали, воспринимая не внутреннюю суть происходящего, а лишь его внешние покровы. Глядя — были слепы, слушая — глухи. Важно отметить и другое: возникая как некий сугубо частный случай, события пьесы разрастаются до всеобъемлющей метафоры, определяющей реальное содержание существующих общественных норм и отношений. Повседневность обнажила присущую ей внутреннюю жестокость, хотя насилие представлено в пьесе Олби как акт самоубийства.

Очень остро стояла проблема насилия как одна из важнейших примет американской жизни в произведениях, связанных с разработкой военной темы, которая естественно перешагнула из 60-х в 70-е годы. Взгляд в прошлое обеспечил непосредственную преемственность тематики. Прежде всего это касается войны во Вьетнаме. Освещение и осмысление ее страшного опыта на американской сцене связано в первую очередь с творчеством Дэвида Рейба. Были и другие американские драматурги, писавшие об этой войне, но именно Рейб, особенно в обошедшей крупнейшие театры мира пьесе «Палки и кости» (она с успехом шла и в нашей стране), раскрыл тему с наибольшей остротой. Убедительно и серьезно драматург говорил о бесконечной жестокости войны, о неоплатной бессмысленности жертв, о неизгладимых ранах, которые наносит «психология войны» как отдельному человеку, так и сознанию целой нации, ослепленной собственным превосходством (действительным или мнимым — вопрос иной).

И вот спустя пять-шесть лет Рейб вновь обращается к прошлому. Действие пьесы «Парашюты» (1975, название ей дала шуточная армейская песенка) развертывается в казармах, где американские солдаты дожидаются отправки во Вьетнам. Линия фронта проходит за океаном. Но и по эту ее сторону нет недостатка в жертвах. Пущенная в ход военная машина не знает сострадания ни к чужим, ни к своим. Словно ненасытное чудовище, рожденное фантазией древних, она и вдали от линии огня требует все новых жертв.

«...В пьесе безраздельно доминирует логика неотвратимой жестокости» [1],— справедливо писал критик Т. Э. Кейдем.

Военный психоз проникает во все сферы армейской лагерной жизни, нагнетая ощущение опасности, которое только и ждет возможности вырваться наружу. Неизбежность кровавой развязки заявлена драматургом изначально: первое, что встает перед глазами зрителя при поднятии занавеса,— вскрывший себе вены окровавленный солдат. Этот побочный по отношению к основной сюжетной линии эпизод с первого же мгновения определяет общий настрой действия. Начавшись с пронзительной ноты, оно устремляется к финалу, числом кровавых жертв сближающему пьесу с постелизаветинской драмой.

«Парашюты» получили высокую оценку и у публики, и у театральной критики, были признаны лучшей пьесой в сезоне 1975/76 года, выдвигались на Пулицеровскую премию и, по мнению ряда критиков,

[1] Эдвард Олби. Смерть Бесси Смит и другие пьесы. М., «Прогресс», 1976.

[2] От англ. everyman — обыкновенный человек. Центральный персонаж одноименной средневековой английской пьесы, где изображалась судьба человека, искушаемого всеми семью грехами.

[1] "Time", 1976, May, p. 54.

не удостоились ее только в силу косности жюри.

И все же в самом обсуждении пьесы отчетливо проявилось нежелание критики касаться важнейших затронутых в ней проблем американской жизни, в первую очередь вьетнамской войны и расизма. По существу дискуссия уклонилась от них в рассмотрение психологии характера.

Что же нового внесло это произведение в позицию автора, как он ответил движению времени? Если, с одной стороны, можно отметить окрепшее драматургическое мастерство Рейба (особенно в построении сюжета, передаче атмосферы действия), то с другой — приходится говорить о серьезных просчетах, прежде всего идейного порядка.

Это относится и к трактовке центральной ситуации, приводящей к кровавой развязке. Солдат-негр Карляйль, обвинив своего сотоварища Билли в расизме, набрасывается на него с ножом. Затем от руки того же Карляйля погибает случайно заглянувший в комнату сержант. Карляйлю суждено кончить жизнь на электрическом стуле. Ряд американских критиков тоже расценил вспышку Билли как расистскую — Карляйль, спровоцированный, по их мнению, расистскими выпадами, оказывается жертвой. Но суть их столкновения заключена в отказе Билли признать нормой гомосексуальные отношения. Как будто бы очевидно, что, оценивая поведение героев, содержание их поступков, необходимо определить мотивы, стоящие за тем или иным действием, и соотнести сами действия с тем, что может быть представлено в качестве нормы.

Если только, конечно, подобно Роне из «Детей Кеннеди», которая ставила знак равенства между свободой и торговлей наркотиками, не считать одно неотделимым от другого.

Похоже, что в американской критике сложилась именно такая ситуация: о нравственно-этической подоплеке столкновения Билли и Карляйля предпочли умолчать, по видимости сосредоточив внимание на осуждении расизма. Но это была именно видимость. Тема расизма и расовых отношений и поныне остается одной из самых важных для всего американского искусства, но подобный подход к ней, на наш взгляд, способен лишь ее дискредитировать. В пьесе не прояснено также, насколько поступок Карляйля продиктован патологической страстью, насколько — чувством одиночества, усугубленного расовой изоляцией. И это, в свою очередь, мешает выявлению центрального конфликта.

Кроме того, протест против грубых армейских порядков, автоматически порождающих насилие и жестокость, никак не соотнесен автором с политической оценкой войны во Вьетнаме и той позорной ролью, которую добровольно взяли в ней на себя Соединенные Штаты. Быть может, предугадав снижение непосредственного интереса к теме в связи с наметившимися позитивными решениями и выводом американских войск из Вьетнама, Рейб решил высветить другую сюжетную линию. Но это не пошло на пользу ни пьесе, ни затронутым в ней проблемам. В американской драме о войне, несмотря на ощутимую связь с предыдущим десятилетием, в 70-е годы явно наметилось отступление от прежних рубежей.

Острейшая, не решенная и поныне американским обществом проблема расовых отношений также перешла в годы 70-е. Здесь, как и следовало ожидать, ведущая роль принадлежала драматургам-неграм, таким, как выдвинувшийся еще в 60-е годы Имаму Амири Барака (Лерой Джонс), Адриенн Кеннеди, Алиса Чайлдресс. Но успехи «Черного театра», подчиненного в первую очередь задачам пропаганды, были связаны в истекшем десятилетии преимущественно с распространением его влияния вширь, включением новых театральных коллективов в борьбу за гражданское равенство и не принесли особых открытий в области драмы.

Активнее других работал в эти годы, пожалуй, Эд Буллинс. Из-под пера этого зрелого, сложившегося мастера вышло немало пьес. Рассматривая их в целом, можно сказать, что, если в 60-е годы у него доминировал жанр психологической драмы, в 70-е наметились новые тенденции, связанные с пропагандистскими задачами «Черного театра». Теперь чаще всего Буллинс выступает с небольшими скетчами четко выраженного пропагандистского характера, в которых сильно чувствуется влияние негритянского сепаратизма. Отчетливо проявилось это во введении, предпосланном одному из последних сборников пьес. Идя вслед за Лероем Джонсом, Буллинс отрицает возможность решения расового конфликта путем совместной борьбы и солидарности рас. Распространяет он свои выводы и на сферу культуры и искусства, выступая противником духовной интеграции, в которой усматривает лишь наследие рабского прошлого в сознании черных. Их духовное освобождение он связывает с обращением к древним корням африканской культуры, вплоть до мистических учений и культовых ритуалов.

Спору нет. Восстановление исторического прошлого народа, его духовной эволюции, вживание в самобытный мир его культуры требуют всестороннего знания пройденного пути. В реликтах искусства ушедших веков навсегда запечатлелись этапы развития национального самосознания, накопленный народом духовный опыт. Внимание к этому долго остававшемуся втуне, презираемому господствующей расой наследию объяснимо и оправдано. Однако в пылу полемики с неприемлемой для него «западной» идеологией Эд Буллинс, к сожалению, оказывается на позиции национального герметизма. И это, разумеется, ограничивает, сужает рамки его театра, а в конечном счете и его воздействие на аудиторию, его участие в решении конфликта, жизненно важного как для негритянского народа Америки, так и для всей страны.

В известной мере связано с проблематикой, которой живет «Черный театр», одно из наиболее значительных произведений, появившихся в американском театре в 70-е годы,— «Техасская трилогия» (1973—1974) Престона Джонса, хотя она и не касается непосредственно ни судеб негритянского

народа, ни взаимоотношений рас. Речь в ней идет о жизни глубокого Юга, а правдиво говорить о нем, не обращаясь (прямо или косвенно) к живучему наследию рабства, невозможно.

Еще до Бродвея «Техасская трилогия» была поставлена в далласском театре, где ее автор выступал в качестве актера и режиссера, а затем — в Вашингтоне. Успех постановок позволял надеяться и на достаточно хороший прием в Нью-Йорке. Однако вопреки ожиданиям и высокой оценке критики «Техасскую трилогию» пришлось вскоре снять, что показало, сколь трудна на Бродвее судьба драматургии, затрагивающей вопросы общественного бытия.

Действие всех трех пьес происходит в крошечном южном городке Бредливилле. В центре первой части, «Лу Энн Хэмптон Лэверти Оберлендер»,— история постепенного увядания женщины, чьи духовные силы остаются нераскрытыми в удушливой и застойной атмосфере захолустья. В начале пьесы эта полная надежд и энергии девушка стоит на пороге взрослой жизни. Она кончает школу, ее манят неограниченные возможности — очередной раз возникают все новые варианты национального мифа о «возможностях». Но обещания, которыми манило ее будущее, остались пустыми посулами. Ее жизнь в провинциальном городишке пуста, лишена всякого интереса. И сама Лу Энн поблекла, растеряла энергию и веру в счастье. Она еще молода, но у нее нет будущего и даже нет прошлого.

Параллельно с историей героини развернута другая линия — судьба молодого человека, который вернулся в родной город после войны в Корее. Ему, как и Лу Энн, абсолютно нечем занять себя. Пережитое на войне подорвало его душевные силы. Его постоянным пристанищем становится местный клуб. Там он проводит время в невеселом пьянстве и карточной игре, пока, наскучив и этим, не перерезает себе горло.

Для драматургического почерка Престона Джонса характерно замедленное, внешне ровное развитие действия, в котором значительная роль отводится повествовательному элементу. Это усиливает впечатление достоверности происходящего, сближая его пьесы с чеховской традицией, столь явственной во всей американской драме XX века. Верность этому принципу П. Джонс неизменно сохраняет в художественной структуре своих пьес, отказываясь, в частности, от комического заострения образов,— такая акцентировка свидетельствовала бы о желании автора осмеять заскорузлую отсталость норм, все еще сохранивших власть над Югом, что, однако, не совпадало с основной эстетической установкой трилогии.

Сказанное имеет непосредственное отношение и ко второй части трилогии — «Последнее заседание рыцарей Белой Магнолии». Все в ней, от центральной ситуации до персонажей, в буквальном смысле слова просится в комедию. Тем не менее драматург отдает предпочтение иному, более объективному по средствам художественной выразительности решению. Анализ, исходящий изнутри явления, позволил острее выявить внутреннюю несостоятельность цепляющейся за прошлое системы, выморочность ее идеологии и идеологов.

Клуб рыцарей Белой Магнолии — духовный центр маленького городка. Одновременно он и символ южного уклада, прямое порождение расистской идеологии, венчавшей покоившуюся на рабском труде систему. То, что происходит в нем и с ним, отражает перемены в жизни американского Юга. Члены клуба объединились некогда, вдохновленные идеей превосходства белой расы. В те времена их господство было безраздельным, но как бы безгранична и незыблема ни казалась их власть, времена изменились. Под влиянием общественных потрясений, которые как будто впрямую и не коснулись Бредливилля, былое могущество уплывало из их рук. Нет, время не могло исправить оголтелых поборников расизма, но даже их оно вынудило отказаться от некоторых крайностей. На собрании клуба мы видим жалкое отребье, гротескное в своей ничтожности, хотя по-прежнему претендующее на духовное и политическое лидерство.

Абсурдность притязаний «рыцарей» расизма выявляется в пьесе не столько в идеологическом споре — автор не вводит в действие их идейных оппонентов,— сколько в изображении их несостоятельности. Последнее подчеркнуто полной изоляцией и даже возрастом персонажей; клуб превратился в своего рода пристанище для людей, ставших развалинами, утративших всякую связь с реальной жизнью. Ритуальные забавы, вынос флага, принесение присяги, игры с шапочками, мантиями, ключами, книгами и т. п. производят впечатление маразматических безумств. Их еще не чураются, как чумной заразы, но клуб уже лишился притока новых сил.

В центре действия последней части трилогии «Старейший из ныне здравствующих выпускников» — образ полковника Кинкейда. Фигура эта сложна и многозначна: полковника отличает и верность южной идеологии, и то, что он перенес страшный опыт XX столетия. Тяжелые испытания первой мировой войны полковник выдержал с честью. Образ полковника вызывает двойственное отношение: возмущение его ретроградными взглядами и в то же время уважение к его боевым заслугам и сочувствие к его страданиям. Кинкейд сознает близость собственного конца, и вместе с этим ощущением приходит чувство страха и одиночества. Но с его смертью завершается не только его личная судьба — она внушает мысль о близящемся конце того мира, к которому принадлежит полковник.

Драматург создает впечатляющую картину жизни американского захолустья, коснеющего в отсталости и неподвижности. Но значение трилогии не исчерпывается точностью изображения быта и нравов. Красноречиво говорил об этом в рецензии Г. Клермен. «Бредливилль,— пишет критик,— не просто далекий захолустный городишко,— это микрокосм... Нарисованные в пьесе картины — достояние не только Те-

хаса или всего Юга. Бредливилль — это духовная пустота. Его жизненные импульсы по большей части или истощились, или испарились, а их проявлением служат главным образом конвульсивные подергивания» [1].

Неожиданная смерть осенью 1979 года оборвала недолгий путь Престона Джонса-драматурга, который начался так многообещающе. Успех его драматической трилогии был вполне заслужен. Вместе с тем судьба «Техасской трилогии» на Бродвее подтвердила, что и поныне американский театр, испытывающий острую нехватку пьес социального звучания, не может принять и тех отдельных произведений, которые вопреки всему продолжают появляться. Общественный климат столь враждебен им, что произведения эти вынуждены покидать его подмостки.

Основательно была рассмотрена эта проблема Г. Клерменом. Критик отмечал «почти полное отсутствие прямого отражения на нашей сцене современных социальных и политических проблем. Возможно, их отсутствие объясняется смущением, безразличием, замешательством, усталостью, страхом или невежеством нашей публики. Или же в нашей крови все еще жив вирус маккартизма и других подобных болезней, так что любое прямое высказывание по социально-политическим вопросам вызывает уход в себя, приводит к удобному цинизму? У нас существует упорная, почти истерическая жажда безопасности прежде и превыше всего» [2].

Несколько особое положение занимают в американском театре пьесы, написанные на местном материале, адресованные местному зрителю, посвященные кругу местных проблем. Уровень мастерства этих произведений обыкновенно не высок, и критика уделяет им мало внимания. Это естественно, если основным критерием оценки будет одно лишь художественное совершенство.

И все же американские критики проявляют здесь несомненную предубежденность. Серьезность и значительность поставленных в «региональных» пьесах и спектаклях вопросов выводит эти подчас грубо сколоченные вещи за рамки узколокального материала.

Примером может служить сборник «Партизанский театр» (1973), представляющий довольно редкую возможность познакомиться с пьесами, по большей части так и остающимися неизвестными вне среды, в которой они возникли и к которой обращены.

Составитель сборника Джон Вайсман противопоставляет во введении этот «партизанский театр» основному течению американской драмы. Так, по его утверждению, «даже в тридцатые годы — годы социального брожения, которые современные театральные либералы часто тычут нам в лицо, театр был главным образом средством эмоционального эскепизма». Ведущий же свое летосчисление с 50-х годов «партизанский театр», как считает Вайсман, «...стремится добиться перемен в Америке, приобщая своего зрителя к целому ряду новых ценностей и принципов, ценностей, которые часто не имеют совершенно ничего общего ни с одним ранее установленным социальным строем или системой» [1].

Программный радикализм трупп, представляющих «партизанский театр» (одна из них заявила, что ставит целью «свержение капитализма» [2]), сочетается с явно нигилистическим отношением к сложившимся культурным традициям. Они откровенно декларируют отказ от наследия прошлого, которое объявляется не просто устаревшим — в эту категорию попадают как «Дядя Ваня», «Смерть коммивояжера», так и «Тетка Чарлея»,— но и реакционным. При этом произведения получают весьма произвольное, тенденциозное истолкование. Еще одна из этих трупп заявила, что ее не устраивают «расистские произведения О'Нила и Теннесси Уильямса» [3]. Явление весьма не новое в истории культуры XX века.

Как правило, пьесы, включенные в сборник, представляют собой и результат коллективного творчества, и коллективное достояние театральной труппы. Ориентированы они также на строго определенную аудиторию, с которой данный коллектив ощущает наибольшую связь, обычно это люди, находящиеся на самом низу общественной лестницы: негры, мексиканцы и другие национальные меньшинства, сельскохозяйственные рабочие, мелкие фермеры, городские низы. Пьесы, причисляемые Дж. Вайсманом к «партизанскому театру», выделяются откровенно «лобовой» социальной направленностью. В духе непримиримости к социальному злу обрисованы в них такие явления, как притеснение сельскохозяйственных рабочих и фермеров монополиями («Пятое время года»), расовое и национальное неравенство, жертвами которого, наряду с неграми и индейцами, становятся мексиканцы (чиканос), пуэрториканцы, японцы, принадлежащие обычно к беднейшим слоям населения («Дядя Том», «Головорез Джо», «Распродажа»), чудовищное обогащение фирм и монополий за счет откровенного грабежа среднего американца («Телефон»).

Пьесы обычно не ограничиваются объективным воссозданием картины действительности. Не желая мириться с существующим положением, авторы открыто призывают к действию, к сопротивлению, к борьбе. Призыв — одна из главных задач такой драмы. «Пятое время года» (театр «Эль Кампесино») убеждает рабочих фруктовых плантаций Калифорнии в необходимости выступить против монополий, наживающих на их труде колоссальные прибыли: нужно объединиться в профсоюз и сообща объявить забастовку. В пьесе «Дядя Том» (негритянская труппа «Боудешиас Баггерилья») герой, сохраняя имя, ставшее в период «негритянской революции» нарицательным,— оно символизировало раболепие перед белыми,— на деле гораздо эффективнее помогает освобождению своих черных брать-

[1] "Nation", 1976, Oct. 9, p. 349.
[2] "Nation", 1976, Dec. 4, p. 603.

[1] Guerrilla Theater. Scenarios for Revolution. Ed. by John Weismann, Garden City. N. Y., Anchor Press-Doubleday, 1973. p. 1, 2.
[2] Ibid., p. 117.
[3] Ibid., p. 56.

ев, чем выведенный в ней праздно разглагольствующий «революционер» Наглядность урока предполагает легкость его усвоения. Последнее не может подчас не настораживать — ведь понятия о целях и тактике революционного действия у многих авторов весьма примитивны: в «Дяде Томе», к примеру, они явно окрашены негритянским сепаратизмом.

Урок социального действия преподносит зрителю и пьеса «Распродажа» («Эль Кампесино»). События разворачиваются в салоне, напоминающем лавку подержанных вещей, где выставлены «образцы» чиканос: революционер, фермер, налетчик. Несмотря на отменную рекламу, куклы не находят сбыта. Белая клиентка отвергает все предложения одно за другим Ее внимание привлекает новейшая модель мексиканца, излучающего, подобно «дяде Тому», подобострастие и безграничную покорность. Но после заключения сделки все оборачивается самым неожиданным образом: его приниженность — маска, скрывающая от белых истинное лицо активного борца за гражданские права мексиканцев. Остальные «модели» — тоже не заводные куклы: единственной куклой оказывается «продавец», которого по окончании розыгрыша относят «в смазку».

Разъяснительная, просветительная задача ставится в большинстве произведений, включенных в антологию «Партизанский театр» Драматические приемы служат средством разработки исходной ситуации в наиболее живых формах воспроизводящих типичные моменты социального опыта постоянной аудитории такого театра Но подводить итоги им не доверяется. Во-первых,— так, видимо, считают авторы — для большинства зрителей это представляет известную сложность, во-вторых допускает многозначность истолкования Последнее же в корне противоречит откровенно дидактическим установкам этой драматургии. Во имя недвусмысленной однозначности социального заказа драматургические формы в финале уступают место публицистическим. Этим же целям подчинена и обрисовка персонажей, в которых акцентируется не индивидуальное, единичное, частное, но социально-типическое (в пьесах, посвященных расовому конфликту,— расово-социальное).

Есть основания полагать, что в произведениях подобного рода в новых исторических условиях происходит возрождение традиций народного площадного театра Именно так понимает, в частности, свою деятельность руководитель «Эль Кампесино» Луис Вальдес. Связь с эстетикой народной драмы заметна во многих произведениях, созданных труппами «партизанского театра» Одно из ее проявлений — отказ от психологизации образов: народный театр с его тяготением к условности, выступающей в нем в качестве основного средства типизации, не знает психологического письма Зрителю предлагается тот или иной набор готовых формул и масок. Отличительный признак такой условности — ее неизменная социальная значимость. Она высвечивает определенную социальную функцию персонажа, эпизода, отношений, складывающихся между людьми. Действующие лица обычно лишены имени и обозначаются либо по своему положению на общественной лестнице, либо по занятому ими месту в социальном конфликте. Фигуры персонажей очерчены с графической точностью плаката, где нет места полутонам и нюансам, необходимым для передачи сложного пересечения неповторимой индивидуальности и социального типа Человеку искушенному такое решение художественных задач несомненно покажется примитивным. Но для многих зрителей подобных спектаклей это — первое приобщение к театру, которое вовсе не исключает последующего развития.

Барьер «художественного совершенства» нередко воздвигается буржуазной критикой не ради соблюдения чистоты художественного вкуса, а для того, чтобы воспрепятствовать распространению неприемлемых для обывательского сознания демократических идей. Но такое отлучение от идей не проходит для театра бесследно. Изолированный от социальных вопросов, которыми живет общество, он неизбежно начинает терять и свой художественный уровень.

Развитие американской драматургии в последнее десятилетие служит тому неопровержимым доказательством. Не очень щедрые творческие удачи, выпавшие на ее долю в эти годы, связаны в первую очередь с тем, насколько живо она откликалась на запросы времени, предназначившего политическому действию роль главного рычага общественных преобразований.

Однако социально-политическое развитие Америки в 70-е годы пошло таким образом, что все более и более подрывало основу такого действия.

Если, подводя итоги 60-м годам, Э. Олби назвал их в свое время «десятилетием причастности», то минувшее десятилетие вызвало у американского президента Картера слова о «кризисе американского духа».

Как метафорическое выражение болезни американского духа можно рассматривать и пьесу Артура Копита «Крылья» (1978) Один из зачинателей бунта и драматургического бума 60-х годов, он так и не нашел своего места в переломные 70-е. Лишь уже на самом их исходе Копит предложил пьесу о женщине, которая в результате катастрофы потеряла память и речь. Вся пьеса — это рассказ о тяжком пути героини от душевного хаоса и невнятицы мыслей «безъязыкого» человека к просветленному разуму, к освобождению сознания, мучимого подавившим его сумбуром, через вновь открытое слово.

Продвижение вперед шло медленно и болезненно, сопровождаясь неоднократно возвращениями к первоначальной сумятице и бессвязности И все же человек победил. Вырвался из хаоса, обрекавшего его на духовную смерть. Преодолел власть враждебной стихии.

В известном смысле и вся Америка 70-х годов шла тем же путем: через хаос и смятение, остановившие решительную поступь 60-х, к осознанию масштабов постигшей ее катастрофы. Лишь будущее покажет, насколько глубоко удалось ей проникнуть в

суть поразившей ее болезни духа, сколь горячо ее желание вырваться из объятий недуга, равносильного смерти. Когда настоящее кажется беспросветным, нередко возникает желание обернуться назад, заглянуть в прошлое [1]. Можно искать в нем забвения, утоления сегодняшней боли. А можно искать опоры для решения мучительно сложных вопросов современности.

Американская драма может помочь стране осознать свое прошлое, проложить дорогу в будущее. Она выполнит эту задачу, если не станет искать укрытия в тихих гаванях бесконфликтно-развлекательных жанров, но смело ринется навстречу тем вопросам, вокруг которых разворачивается не имеющая конца драма жизни.

[1] Кстати, к своей прежней проблематике — 30-м годам — обратился А. Миллер в последней пьесе «Американские часы».

Н. СОЛОВЬЕВА

# РАЗДУМЬЯ И НАДЕЖДЫ АНГЛИЙСКИХ ДРАМАТУРГОВ

«Новая волна» в английской драматургии — начало ее принято связывать с постановкой в 1956 году пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе» [1] — и вторая, последовавшая за ней в 60-е годы «волна», открывшая зрителю имена Дэвида Мерсера, Эдварда Бонда, Дэвида Стори и других, сыграли значительную роль в развитии драмы, которая обрела острую социальную направленность, обнаружила озабоченность актуальными вопросами современности. Резко демократизировались как проблематика, так и герои пьес, существенно изменился сценический язык, и все это отразилось на самой технике театрального искусства.

Серьезные перемены, происходившие в послевоенной драме, были отмечены не только завоеваниями, успешными поисками и открытиями, но и заблуждениями, утратами, неудачными экспериментами, бесперспективным «новаторством».

Обе «волны» были явлениями неоднородными: внутри каждого из них создавались и сосуществовали разные по художественному методу направления, противостояли реалистические и антиреалистические тенденции. Так, например, практически исчерпал себя «театр абсурда», просуществовавший около десятилетия (конец 50-х — середина 60-х годов), представленный на английской почве именами Гарольда Пинтера, Нормана Фредерика Симпсона, Джеймса Сондерса. Стал историей и так называемый «театр жестокости» (в Англии его возглавляли поначалу Дэвид Мерсер, Джон Ортон, Эдвард Бонд) — драма, ориентированная на модернистскую концепцию личности, которой якобы изначально присуща ничем не истребимая жестокость, проявляющаяся в различных модификациях и лишь разрастающаяся в ходе развития цивилизации.

Знакомясь с театральными постановками 70-х годов, перелистывая страницы театральных журналов, вряд ли можно дать одно общее определение состоянию современной английской драмы, увидеть в ней лишь взлет или кризис.

Диапазон жанров, предложенный «новой волной», расширился не только за счет воскрешения елизаветинских драм «мести» или фарсов и сатиры в духе Бернарда Шоу, но и за счет обновления традиционных жанров психологической пьесы, бытовой комедии, социальной драмы, заново «прочитанных» режиссерами-постановщиками.

Включение документального материала, философское осмысление места человека в обществе, его ответственности, оценка роли искусства в современном мире — черты, объединяющие театр 50-х и 70-х годов. В 70-е годы в английской драматургии отчетливо выступают черты, продолжающие традиции предшествующих десятилетий, и вместе с тем заметно то новое, что характерно для данного периода.

Обращение к мировой классике (большое число постановок пьес Чехова, Тургенева, Горького, Л. Толстого), к таким редко ставящимся драмам, как «Схватка» Голсуорси, «Прекрасная ссора» Т. Мидлтона и У. Роули, трилогии Ю. О'Нила «Долгое путешествие домой», и другим, разрушение театральной условности и, напротив, нарочитое ее акцентирование, поиски новых форм контакта со зрителем, смешение стилей и жанров — вот некоторые из харак-

[1] См. статью И. Левидовой «В театр приходит новый герой». «ИЛ», 1962, № 1.

**СОЛОВЬЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА**

Советский критик, кандидат филологических наук. Автор статей по современной английской литературе.

терных особенностей драматургии последнего десятилетия.

Поиски в разных направлениях, в разных стилях свидетельствуют о неослабевающем интересе англичан к театру, о желании самих драматургов и деятелей театра обогатить функциональность драмы как таковой, предельно актуализировать ее, увеличить социальную значимость. Немалую роль в этом отношении сыграли драматурги Хауард Брентон, Питер Барнз, Уильям Корлет, Хауард Баркер, выступившие в конце 60-х годов, в период заметного оживления активности молодежного движения, и отразившие в своем творчестве те новые проблемы и идеи, которые возникли в ходе бурных событий весны 1968 года.

Возрождение традиций комедийного жанра в конце 70-х тоже не случайно. На английской сцене ставятся комедии всех эпох и народов, ряд современных английских комедиографов выдвинулся в число ведущих драматургов. И это не просто дань моде, не просто антитеза серьезной проблемной пьесе. В период особенно острого обнажения противоречий внутри английского общества, углубления общего кризиса капитализма, ухудшения международного климата, усиления антисоветской пропаганды, поддержанной правительством тори, «хорошо сделанная пьеса», часто поверхностная и комедийная по своему характеру, может служить психологическим фактором воздействия на зрителя, отвлекая его от насущных забот и проблем, внушая иллюзию, что все это временно, преходяще и не заслуживает серьезного размышления.

Порой развлекательность может обернуться и весьма не безобидной стороной. Еще со времен «холодной войны» довольно устойчивы тенденции к изображению советского образа жизни, каким он представляется рядовому жителю Британских островов, отравленному ядом антисоциалистической пропаганды и массовой дезинформации. Некоторые драматурги, совсем не искушенные в большой политике, уступив коммерциализации искусства, пытаются завоевать сомнительное признание обращением к нарочито тенденциозной пьесе, рассчитанной на самые невзыскательные вкусы обывателей. К сожалению, такие фигуры в английском театре имеются. Но не о них пойдет речь в данной статье.

Англичанам присуще чувство юмора, и они его хорошо воспринимают и ценят. Комедии У. Конгрива «Двойная игра», Т. Мидлтона и У. Роули «Прекрасная ссора», Б. Шоу «Волокита», поставленные изящно и выразительно на сцене Национального театра, оставляют впечатление красочного театрального зрелища.

И все же театр комедии не вытесняет из сознания насущные проблемы, которые существуют за пределами театрального зала. Такие явления реальной действительности, как безработица, расовая дискриминация, обострение борьбы рабочего класса в условиях все возрастающего кризиса, произвол полицейских властей в Ольстере, рост преступности, ни в коей мере не остаются вне поля зрения художников сцены. Хотя именно эти явления, вероятно, и требуют иных форм театрального воплощения, чем те, что возникли в конце 60-х — начале 70-х в «агитпропном» искусстве[1]. Именно с этим искусством театра малых форм связана деятельность многочисленных профессиональных и полупрофессиональных, любительских трупп, кочующих с места на место и ставящих политические скетчи, памфлеты, сочиняющих импровизации на злободневные темы, нередко заданные самими зрителями.

В творчестве хорошо известных и нашему читателю драматургов Дж. Осборна, Д. Ардена, Д. Стори, Р. Болта, Э. Бонда произошли значительные перемены, вызванные, видимо, не только объективными, но и глубоко личными причинами. В многообразии тенденций можно выделить наиболее характерные, объединяющие творчество и этих и других, столь непохожих друг на друга авторов,— как Г. Пинтер, Х. Брентон, Х. Баркер, П. Барнз, У. Корлет. Это — углубление и развитие социальной проблематики, сочетающееся с усложнившимися психологическими конфликтами (в основе которых — несбывшиеся надежды на радикальные изменения), явная политизация драмы, стремление столкнуть «век нынешний и век минувший», дать нравственную и социальную оценку исторических событий и крупных деятелей прошлого и современности, интерес к проблемам молодежи и ее будущего, размышления о перспективах исторического развития страны. Творчество этих драматургов свидетельствует также о победе реалистической традиции, прокладывающей себе дорогу в сложных условиях борьбы с массовой культурой и остаточными явлениями «театра абсурда» и «театра жестокости».

Хотя Пинтер выступил в 1956 году вместе с Осборном, разделяя его взгляды, изложенные в манифесте «Они называют это честной игрой», но его первая пьеса «Комната» существенно отличалась от осборновских драм, так же как и от произведений других драматургов «новой волны». Пьесы Пинтера получили в английской критике наименование «комедий угрозы», поскольку в них всегда присутствовала одна и та же сюжетная схема: герою, нашедшему себе прибежище в замкнутом жизненном пространстве, всегда угрожало нечто, пришедшее извне, из большого мира, враждебного и страшного. Пинтера стали волновать теперь вопросы возможности контактов с другими, столь же одинокими, охваченными страхом людьми, проблема так называемой коллективной отчужденности. Эти контакты, по убеждению драматурга, могут способствовать противостоянию одиночек враждебным обстоятельствам. Пьеса Пинтера «Измена» (1979) появилась после четырехлетнего перерыва — в 1975 году он напи-

[1] См. статью И. Ковалева «Английский фриндж раздвигает границы», «Театр», 1973, № 5.

сал драму «Нейтральная полоса», которую можно рассматривать как поворот в творческой судьбе писателя, когда он попытался наметить новые тенденции в искусстве драмы. Постановка «Измены» в театре Литлтон (Национальный театр представляет собой комплекс из трех, находящихся в одном здании сцен — Оливье, Литлтон и Коттслоу) вызвала живой интерес. Литлтон меньше Оливье и имеет обычную сцену с занавесом. В Оливье — открытая сцена, и публика сидит вокруг театрального помоста, как бы наскоро сооруженного плотниками. В этой нарочитой небрежности есть известный расчет на реакцию зрителей, возникающую в процессе общения с актерами. Несомненно, сцена Оливье требует от актера предельной концентрации внимания на самом себе, на своем мастерстве, умения вовлечь публику в игру, в спектакль. В Литлтоне же актеров и зрителей разделяет занавес, актерам помогают декорации, реквизит, способствующий естественности поведения на сцене. Пьесу поставил известный режиссер Питер Холл, не увлекающийся броскими экспериментами, но решающий сложные психологические задачи вполне современными средствами.

Итак, «Измена» Пинтера. Перед нами трое персонажей — вполне конкретные личности, с определенными профессиями, делами, привычками, заботами. Это — Джерри, Эмма и Роберт. Действие пьесы развертывается в ретроспекции с 1977 по 1968 год. Роберт и Джерри — издатели, Эмма работает в картинной галерее, а жена Джерри, Джудит,— врач в одной из лондонских больниц. У каждой пары — по двое детей. Нас знакомят с их повседневным бытом, развлечениями: мужчины поочередно приглашают друг друга на ленч, женщины иногда подолгу беседуют с подругами или родственниками. Конкретны время и место действия: Лондон — квартира Эммы и Роберта, паб, квартира, которую Эмма и Джерри снимают, чтобы встречаться друг с другом, Венеция — отель и ресторан. Встретив после долгого перерыва Джерри, Эмма расспрашивает его о детях, о семье, о делах, между прочим сообщает о своем намерении развестись с мужем, ибо он ей изменил. (Здесь необходимо разъяснить синонимию: по-английски «betrayal» — измена и предательство. Пинтер использует и то и другое значение слова.) Джерри несколько удивлен такой мотивировкой развода — ведь сама Эмма в течение семи лет изменяла с ним мужу. Но в данном случае герои говорят о разных вещах: Эмма — о предательстве, Джерри — о супружеской измене. От прежнего стиля Пинтера остались многозначительность толкования текста, ограниченная здесь рамками лексики, а также обилие пауз, несущих важную смысловую нагрузку. Это скорее фигуры умолчания, которые создают напряженную и драматическую атмосферу, компенсируя недостаток внешнего динамизма действия.

Далее, после вежливого, ничем не примечательного, типично английского диалога о предметах, близких и тому и другому, скрывающего, однако, тайный ход их мыслей и чувств, следует ретроспектива событий, происходивших в течение десяти лет. События эти развертываются хронологически последовательно, как при перематывании кинопленки в обратном порядке: 1977, 1975, 1973, 1968 годы. Монотонность временной последовательности нарушается каждый раз иной комбинацией действующих лиц, ведущих диалог: Эмма и Роберт, Эмма и Джерри, Роберт и Джерри. Каждую сцену предваряет музыкальная фраза, исполняемая на рояле и настраивающая зрителей на определенный лад: мелодия словно подчеркивает обыденность и вместе с тем трагическую тривиальность происходящего. Кульминация спектакля — сцена в Венеции, где проводят свой отпуск Эмма и Роберт. Эмма получает письмо от Джерри. Впервые Роберт узнает от жены, что она — любовница его лучшего и давнего друга Джерри, который был свидетелем на их свадьбе. Сцена выдержана в очень спокойной тональности и сопровождается столь же спокойной мелодией. Эта внешняя бесстрастность и холодность скрывает эмоции, позволяющие говорить о кульминации. Мизансцена построена на противопоставлении душевного состояния героев, она подчеркивает и различие их натур и темпераментов. Реакция Роберта, его невеселые шутки относительно средиземноморского образа жизни обнажают логику невысказанных рассуждений, приведших Эмму к фразе, оброненной в начале пьесы: «Он предал меня», фразе, понятой ее любовником иначе: «Он изменил мне». В финале пьесы, где зритель присутствует на свадьбе Эммы и Роберта в 1968 году, дается окончательное объяснение этих слов героини. Роберт застает Джерри в момент бурного признания в любви к Эмме, только что ставшей его женой, и... спокойно уходит, оставляя их наедине.

Пьеса Пинтера «Измена» интересна психологической тонкостью и глубиной. Перед зрителем мастерски сконструированная тривиальная житейская ситуация: муж, жена и любовник, в которой нет обычного в пьесах Пинтера культа любования взаимоотчужденностью близких людей. Пьеса воспринимается легко и порой может показаться развлекательной и тем не менее по сути глубоко драматична, хотя угроза приходит на этот раз не извне. Острая коллизия возникает не случайно, не как отработанная схема комедии «адюльтера». Муж оказывается низким человеком, предавшим свою жену легко, бездумно, «уступив» ее в день свадьбы своему ближайшему другу. Вероятно, он не испытывал к ней никаких чувств, а вступил в брак потому, что это было удобно и выгодно. За видимой респектабельностью этой семьи — глубокая неудовлетворенность друг другом, отчаяние Эммы, пораженной бездушием и черствостью мужа. Роберт признается Джерри, что разлад с женой его мало интересует. «Правда, я ударил Эмму раз-другой. Но не для того, чтобы защитить какие-то принципы. Мне просто хотелось ей как следует наподдать». Эмма уходит от мужа, но Джерри не может бросить свою жену, потому что она любит его, как он считает. И хотя об-

они изменяют друг другу, он не хочет разрушать семью. Роберт спокойно и как всегда рационально воспринимает решение Эммы развестись с ним и пытается при этом сыграть роль благородного и порядочного человека, заботясь о будущем детей.

Как уже отмечалось, Пинтер создает психологическую драму в контурах знакомых повседневных явлений в жизни английской интеллигенции. Его героев связывают искусственные отношения, они существуют как бы напоказ. Их любовь — иллюзия счастья. Это связь по инерции, точнее, в силу необходимости заполнить образовавшуюся в душе пустоту, жажду тепла, заботы, участия. Но и она оборвалась, остались лишь внешне корректные отношения людей, сталкивающихся в общественных местах и справляющихся о здоровье ближайших родственников. Именно поэтому производит столь сильное впечатление сюжетно банальный драматический конфликт — он раскрывает духовную опустошенность, жестокое безразличие героев друг к другу. В пьесе отчетливо проступает наметившаяся в драме 70-х годов тенденция: усложнять драматическими средствами психологические конфликты, лежащие как бы на поверхности повседневного жизненного опыта, но имеющие большое значение для раскрытия проблемы отчуждения в современном буржуазном обществе.

Эта тенденция объединяет двух других драматургов различных поколений — Э. Бонда и У. Корлета. Бонд известен нашему читателю [1]. Среди пьес Бонда — «Спасенные», «Узкая дорожка на дальний Север», «Раннее утро», «Лир», «Море», «Бинго» (о последних годах жизни Шекспира). Драматурга занимают не просто проявления человеческой жестокости, но сами источники ее возникновения. Хотя Бонд обращается главным образом к психологическим и этическим категориям, социальные проблемы выступают в его пьесах с достаточной очевидностью.

В 1975 году в Роял-корте были поставлены две его пьесы «Шут» и «Камень». Первая имеет подзаголовок «Сцены о любви и хлебе». В ней рассказывается о судьбе талантливого английского поэта XIX века Джона Клэра. Рано познав славу, обласканный аристократическим обществом, Клэр создает пасторальные произведения. Но истинным поэтом, наделенным чудесным даром видеть сложность, противоречивость, трагизм жизни простого человека, ощущать ответственность за свое творчество Клэр становится, лишь отрешившись от пасторали. Он чувствует в себе достаточно сил и таланта, чтобы вступить в единоборство с жестоким и мстительным миром. Клэр расстается с привычной средой, переселяется в Лондон. Отныне смыслом его жизни становится уже независимая от «заказов» богатых меценатов поэзия реальности. Теперь он — опасный человек; от него отворачиваются те, которые недавно так восхищались его талантом. Не понятый враждебным обществом, замкнувшийся в себе, осужденный на голодное, одинокое существование, Клэр по милости тех же меценатов попадает в сумасшедший дом, где проводит двадцать три года. Он окончательно сломлен. Единственная оставшаяся связь с миром, из которого он изгнан,— призраки прошлого, преследующие его все время. И Пинтер, и Бонд ставят своего героя в сложные ситуации, испытывая его как личность, способную на борьбу против внешних обстоятельств. Но в творчестве Бонда гораздо отчетливее стремление к обобщению, к символическому изображению социальных по своей сути конфликтов, желание дать в развернутой театральной метафоре модель современного мира.

В одноактной пьесе «Камень» фигурируют рядом абстрактные и конкретные понятия, живые и неживые объекты. По существу, это тоже трагедия индивида, преданного обществом, осужденного на гибель, но уже по другим причинам. Пилигрим, несущий семь золотых монет, символизирующих осторожность, мужество, честность, любовь, справедливость, надежду, олицетворяет собой человечество, блуждающее в поисках добра и справедливости. Встреченный на пути каменщик дает пилигриму камень, который по мере его странствий превращается в огромную, гнетущую глыбу, одновременно уничтожая и золотые монеты — духовное достояние человека. Все эти аллегорические образы и ситуации носят подчеркнуто антибуржуазный характер. Как ни борется пилигрим со своими врагами, он добивается лишь мелких уступок — он может на время забыть о тяжести камня, но избавиться от него не в состоянии. «Никакие уступки не изменят источник угнетения, они только переместят центр тяжести»,— замечает Бонд. Пилигрим, отказавшись от компромисса с угнетателями, отстаивает свои убеждения. Бунт обречен на поражение, но он не бессмыслен, утверждает драматург своей пьесой. Как и Пинтер, Бонд дает лишь внешний контур конфликта. В этой контурности заключается уязвимость творчества многих английских драматургов 70-х годов, обращавшихся к сложным социальным и психологическим категориям при попытке объяснить несовершенство окружающего их мира и найти способы, помогающие личности противостоять злу и насилию.

Мысли Бонда оказываются близкими другому английскому драматургу, принадлежащему к поколению писателей, выступивших в конце 60-х годов,— Корлету. Самым значительным его произведением является «Невидимая земля» (1974) — драма, в которой предпринята попытка сконструировать модель творческого сознания. «Невидимая земля» — это и своеобразная анатомия творческого процесса, и эстетическое кредо писателя-реалиста, утверждающего неразрывную связь искусства с действительностью. По форме это коллаж, образованный из фрагментов

[1] См. статью Ю. Фридштейна «Поиски и разочарования», «ИЛ», 1979, № 8.

дневника героя-писателя, пьесы, которую он постоянно перекраивает и переделывает, сцен реальной жизни, рисующих истинные взаимоотношения героев с окружающим миром.

Герой пишет пьесу, в основе сюжета которой история собственной любви к женщине, его обманувшей. Радости, пережитые им с возлюбленной во время недолгого совместного путешествия на Восток, запечатлелись в глубине его сознания, а безотрадное и пустое существование лишь усиливает мучительность и остроту этих воспоминаний.

Доминирует в «Невидимой земле» мысль о том, что, хотя подлинная красота вечна, как звезды, как смена дня и ночи, ее необходимо оберегать и сохранять, а главное — уметь видеть. Внутренний монолог героя прерывается поэтичнейшими описаниями южной природы, подчеркивающими неразрывную связь человека со вселенной, с людьми — не временную, преходящую связь, а вечное единение людей, вовлеченных в круговорот жизни, где существуют категории добра, любви, красоты, взаимопонимания, надежды.

Суть гуманистической мысли драмы заключается не столько в признании самоценности человека, сколько в протесте против абсолютизации будничного, повседневного. Трагедия бездуховности возникла в обществе, где перестали реагировать на несправедливость, фальшь, лицемерие. Люди не должны быть чужды благоговейного отношения к красоте, к истинному, вечному, доброму.

В коллаже Корлета преобладают элементы драматического и романного жанров. Причем повествовательное, романное начало проходит сквозь всю драматическую структуру, но цельность повествования то и дело разрушается приемом «стоп-кадра», в котором параллельно идущее драматическое действие переосмысливается и корректируется героем, создающим спектакль. Таким образом, развертывающийся сюжет не просто драматизируется, а заключается в органически связанный с ним повествовательный контекст.

Подобный эксперимент был предпринят и драматургом близкого Корлету направления Кристофером Хэмптоном, который в политической пьесе «Дикари» (1974) создал монтаж драматического действия и документального очерка.

Несомненно, заслуживает внимания тот факт, что ярко выраженные политические, философские мотивы гуманистического звучания близки поколению драматургов, выступивших на английской сцене в конце 60-х годов; эта новая творческая общность стала приметой 70-х годов. Если к середине 60-х годов в драматургии Англии наметилось известное размежевание сил, возникло противостояние реалистического и условного направлений, то в 70-х картина приобретает иной характер: все более значительное место занимает реалистическая драма с явственным оттенком натурализма. П. Барнз, К. Хэмптон, Х. Брентон, У. Корлет, Х. Баркер — имена, ставшие не менее известными современным любителям английского театра, чем имена их старших собратьев по перу — Дж. Осборна, Р. Болта, Д. Мерсера, Э. Бонда. И причина не только в том, что, быстро вынесенные наверх волной молодежного протеста, они продолжают сохранять энергию и строптивость «новых левых». Они сумели чутко уловить наметившиеся перемены в настроениях молодежи, откликнуться на задачи и требования английской драмы. Весьма показателен и тот факт, что Барнз, постепенно отступающий от поэтики «черной комедии», все-таки поддается влиянию драмы идей, в которой натурализм является не самодовлеющим элементом, а стилистическим приемом, придающим действию бо́льшую убедительность и документальность. Натурализм Хэмптона связан с тяготением к театральной достоверности, с разрушением условности на театре.

Пьеса П. Барнза «Одержимый» (1975) свидетельствовала о трансформации «черной комедии», наметила определенную гротескно-фарсовую тенденцию в драматургии 70-х годов. В «Одержимом» раскрыта трагедия разочарования, утраты иллюзий, краха политики «общества всеобщего благосостояния». Вся вселенная абсурдна, и все обман. Слепой рок правит миром — повторяют герои Барнза, образуя мрачный, пессимистический хор. Испанской монархией в пьесе правит эпилептический, слабоумный король Карлос, и это воспринимается как намек на современную Британию, в которой продолжают жить нелепые предрассудки, омертвевшие традиции, давно исчерпанные иллюзии и надежды. Одержимость отжившим — вот где, по мнению Барнза, таятся причины зла. Именно она повергает людей в летаргический сон, нарушает поступательный ход истории. Один из ведущих театральных критиков Великобритании Р. Брайден так охарактеризовал эту метафору: «Сон Испании, как показал П. Барнз,— это наш собственный кошмарный сон, только еще более явный и отчетливый. Хорошо, если его зловещий, ехидный смех все-таки нас разбудит».

Неизлечимое безумие Карлоса — его личная беда, беда непоправимая. Безумие современного английского общества опаснее, ибо оно повергает человека в состояние умственного паралича. Устами Карлоса Барнз характеризует духовную атмосферу буржуазного общества наших дней: «Бог правит иррационально, и мы обречены на мнимую удачу. Вселенная глуха к нашим просьбам, безразлична к нашим надеждам, преступлениям, страданиям. В ней нет ни разума, ни смысла, ни объяснений».

Драматурги, о которых шла речь, объединены духовной и эстетической близостью с поколением конца 60-х и в то же время продолжают в чем-то поиски представителей «второй волны». Ощутима, например, некоторая связь драмы Барнза с пьесами Бонда, но здесь наблюдается характерный процесс: вневременная, многозначная символика Бонда переходит в конкретную гротескно-сатирическую метафоричность, вообще присущую молодым драматургам. Жестокость, как свойство индивида, сменяется одержимостью, которая приводит к злу — и единичному и об-

щественному. Однако и в пьесах Бонда, и у Барнза, обрушивающегося на правящие классы, на самую идею монархии, социально-политические антагонизмы оказываются как бы итогом драматического действия, а не содержанием его. Поэтому политическая пьеса Барнза, Брентона, Баркера, обращенная, казалось бы, к актуальнейшим проблемам современности и не уступающая по остроте критицизма политической пьесе Осборна и других представителей «новой волны», порой вызывает значительно меньший общественный резонанс.

«Пьеса о Черчилле» Хауарда Брентона, поставленная в 1974 году в Ноттингеме, переносит нас в XXI век. Группа каких-то арестантов показывает парламентской делегации, посетившей лагерь, пьесу о Черчилле. Фигура старого Уинни связывает различные по своей проблематике и стилистическому оформлению сцены и проецируется на всю историю Англии XX века. Действие драмы развертывается на двух языковых «уровнях»: во время репетиции представления звучит разговорный жаргон, сама же пьеса, сыгранная перед парламентской делегацией, написана на чистом литературном языке.

Политическая пьеса Брентона развивает тему, начатую им в предыдущих драмах: утрата демократии, ожесточение и дегуманизация английского общества, в котором царит полный хаос, обман, преступления. Автор пытается представить на суд читателя или зрителя подлинные документы, заимствованные из дневников Черчилля, его речей, сопоставив их с истинным ходом событий,— они запечатлены на слайдах, воспроизводящих историю Британии с 1898 года. Так, Брентон устами одного из героев утверждает, что войну выиграл народ (people), а не один герой, сколь бы великим он ни был.

Пьеса о Черчилле, спасшем «свободу от варварства», превращается в фарс, перед зрителями — страна, скатившаяся до положения полицейского государства, где всякий желающий увидеть правду оказывается в «лагере для исправления» как опасный преступник. Сталкивая миф и реальность, драматург не претендует на немедленное решение проблемы ответственности за созременное положение державы, утратившей свое былое могущество и переживающей период кризиса. Встающий из гроба Черчилль снова хочет занять пост премьер министра. Этот эпизод — не просто один из расхожих приемов современной английской драматургии, широко оперирующей средствами аллегории, он служит целям разоблачения деяний Черчилля. Государственный деятель попадает на суд истории. Моряк Майк говорит: «Черчилль, вы нам не оставили ничего, кроме нескольких памятников самому себе. А вообще-то вы — авантюрист времен проигранной колониальной войны». Характеристику Майка дополняют другие герои. Черчилль пытается убедить Майка, что ему следует вновь стать премьер-министром. В ответ он слышит: «Но вы мертвы!»

«Черчилль: Это не мешает другим...
Майк: Британия, управляемая трупом?
Черчилль: А я — живой труп».

Переоценка ценностей связана у Брентона не только с осмыслением роли личности в истории, но и рассмотрением нравственно-этических категорий, имеющих социальный смысл.

Попытки — сами по себе не новые — представить отдельные этапы развития английского общества и разные степени дегуманизации личности свидетельствуют о жизненности реалистических и гражданских тенденций в современной английской драме. Ощутимы и заметны они и в произведениях Хауарда Баркера, сочетающего в своем творчестве политическую драму с публицистикой.

Х. Баркер дебютировал в конце 60-х годов вместе с Брентоном и Барнзом, Корлетом и Хэмптоном. Сейчас он автор шести пьес для театра и семи телевизионных драм. «Стрипуэлл» (1975) и «Кло» (1975) — две последние из написанных и поставленных в 1975 году драм — поднимают актуальнейшую для современной Англии проблему преступности.

Судья Стрипуэлл приговаривает некоего Каргилла к двенадцатимесячному тюремному заключению. Преступник грозит ему расправой, которую и осуществляет как раз в тот момент, когда Стрипуэлл совершил самый справедливый в своей профессиональной жизни поступок: донес на собственного сына Тима, тайно торгующего наркотиками, в полицию. Делает он это сознательно, с полной уверенностью в том, что честно выполнил свой долг, служебный и общественный. Объясняя свое поведение жене, Стрипуэлл говорит: «Ты никогда меня не поймешь. Но не может быть общественной морали, если каждый человек не обладает своей собственной. Я не лезу в святые, но и не хочу быть жалким лицемером. Я был им всю мою жизнь. Англия ими переполнена». Судья Стрипуэлл прозревает, познав простую истину, что закон существует для всех, что подчас надо уметь жертвовать личным во имя высоких моральных принципов и нравственных устоев. Поступок судьи служит для Баркера предлогом для разоблачения лицемерия буржуазного общества, его мнимой благопристойности. Как это ни парадоксально, но обвинителем выступает в этой пьесе и преступник Каргилл, с иронией характеризующий «разумное общество», которое не требует невозможного. «Мы,— говорит он,— сокращаем наши жалобы и обиды до устрашающего всех размера...».

Во второй пьесе Баркера также затрагиваются социальные проблемы, волнующие современную Англию. Главное действующее лицо — Ноэль Байлдью, он же Кло,— тоже из поколения тех, кто полон разочарования и не питает никаких иллюзий относительно грядущих перемен. Гнетущая атмосфера жестокости, насилия цинизма и несправедливости, воссозданная в драме, социально обусловлена. Отец героя завещает сыну сохранить ненависть к людям, стоящим у власти, которые постоянно лишали его заработка, не считали за человека, к обществу, которое воспитало

в нем ожесточение. Ноэль решает мстить этому обществу, добившись любыми средствами материального благополучия, а следовательно, и твердого положения. Однако Ноэль не сумел до конца оправдать своего прозвища «коготь», хотя и вцепился мертвой хваткой в свое жалкое благосостояние, приобретенное торговлей проститутками.

В пространном обвинительном монологе, являющемся ключевым для понимания произведения, Ноэль заявляет, что его преступление ничтожно по сравнению с тем, что совершают власть имущие, доводя бедняков до сумасшествия своей жестокостью и лицемерием, и «никакие полицейские не защитят несчастных от когтей собственников». Слово «коготь» в применении к Ноэлю имеет иронический смысл. Являясь жертвой жестокого и несправедливого общества, он пытается самыми неблаговидными способами добиться успеха, чтобы «загребать деньги» (второе значение слова «claw»). Но деньги, добытые грязным способом человеком, который видит масштабы окружающих его коррупции и разврата, оказываются для него роковыми. Он, так же как и герой предыдущей пьесы, прозрел и увидел истинного виновника всех бед и несчастий. «Новые мысли», появившиеся у Кло, делают его опасным членом общества, которое и избавляется от него, упрятав в дом для душевнобольных, где с ним расправляются два дюжих санитара.

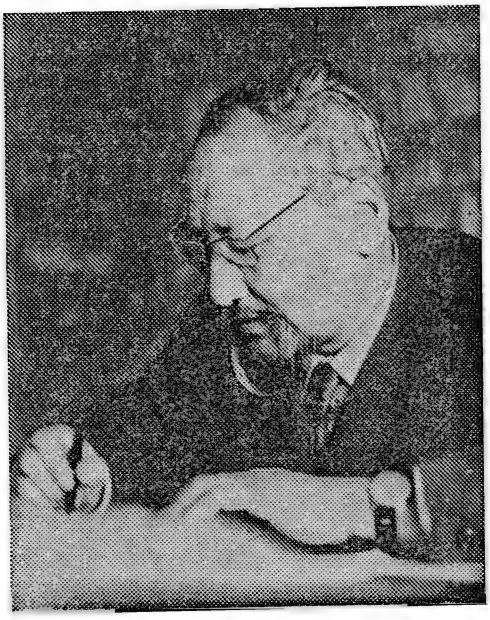
Баркер последовательно разрешает проблему лицемерия, введя в заключительную сцену персонаж, воспринимаемый читателем или зрителем явно сатирически: член парламентской комиссии заверяет парламент, что смерть Ноэля случайна.

Герои обеих пьес Баркера погибают в момент важного духовного перелома, когда они вплотную подошли к раскрытию источников несправедливости и беззакония, царящих в окружающем их мире.

Закон и преступность, опасные последствия вседозволенности; молодежь, разочарованная, не находящая себя, бессмысленно тратящая силы и энергию; бездуховность, жестокость, насилие и равнодушие общественности — вот темы, волнующие сейчас многих драматургов. Но Баркеру удалось интерпретировать эти явления несколько иначе, нежели его современникам. Баркер не просто констатирует опасное состояние общества, порождающего преступления. Он обращает внимание соотечественников на то, что болезнь, как проказа, в первую очередь поразила молодежь, которая остро ощущает причину своей трагедии. В начале XIX века романтики мучительно переживали кризис индивидуализма. Теперь, в 70-е годы XX века, в еще более трагическом ключе звучит мысль об одиночестве индивида. Кло называет себя королем тротуаров, бездомным и несчастным обитателем звериного царства. Общество жестоко по отношению к тем, кто унижен, оскорблен или вынужден идти на преступление. Ноэль говорит, что правящий класс — огромный коготь, который не просто царапает, причиняет жестокую боль, но и разрушает сплоченность людей, мешает им сопротивляться жизненным обстоятельствам. В своем осуждении буржуазного общества и его законов Баркер идет дальше Брентона и Барнза. Баркер показывает, как социальная несправедливость делает человека преступником. Драматург использует старинные приемы (вводит имена со значением: Стрипуэлл в дословном переводе — «хорошо раздевается», Стрипуэлл в пьесе обнажает свою душу), страстные обличительные монологи, в которых звучат не только риторические исповеднические ноты, но и немалая доля пропаганды, публицистической остроты. Герои Баркера не случайно вызывают в памяти читателя или зрителя полные гражданственного пафоса персонажи Уильяма Годвина, особенно его Калеба Вильямса, настойчиво добивавшегося справедливости в обществе, где существуют разные законы для богатых и для бедных. Сатира и злая ирония имеют вполне определенный адрес: они направлены против буржуазного мира, который создает классовые перегородки, делит людей на антагонистические группы, занимающие разные ступеньки сословной лестницы. Поведение героев Баркера целиком обусловлено законами этого мира. Пытаясь завоевать этот мир, заставить других поверить в свою значимость, герои «Стрипуэлла» и «Кло» терпят неудачу, ибо, воспользовавшись оружием общества, с которым они хотят сражаться, они не могут изменить себе, своим принципам, своей морали, своей философии жизни.

Пьесы Хауарда Баркера лишены особой занимательности, в них нет сложной, запутанной интриги, сцен насилия и жестокости, секса, «черного юмора». Язык его пьес довольно прост, литературен. Главная особенность этих драм — их социальная насыщенность, обращенность к важным проблемам. Герои Баркера стремятся пробудить чувство ответственности за деяния и поступки ближних, воззвать к гражданскому долгу и мужеству тех, кто лицемерно закрывает глаза на происходящее. В этом — значительная заслуга Баркера, Брентона, Хэмптона и всех других писателей, чьи творческие поиски идут в русле реалистической традиции, всех, кто последовательно отстаивает гуманистические принципы в искусстве, в чьих пьесах — не только мрачные раздумья о настоящем своей страны, но и надежды на возможность перемен.

◆



К. ЯЦКОВСКАЯ

# ЦЭНДИЙН ДАМДИНСУРЭН — ПИСАТЕЛЬ И УЧЕНЫЙ

На разгар лета — середину июля — исстари приходится традиционный праздник монголов — наадам, когда мужчины демонстрируют силу и ловкость, состязаясь в борьбе, меткости, стреляя из лука, испытывают в скачках верного друга-коня. В пору наадама, 60 лет тому назад, 11 июля 1921 года в Монголии свершилась народная революция. Вихрь коренных перемен охватил всю страну. Одним из детищ революции стала новая литература, добровольно и естественно принявшая на себя роль помощницы в революционном строительстве Боевой песней, образным набатным словом звала она людей вперед — в будущее.

С первых лет революции и поныне над Книгой современной монгольской литературы и над Книгой ее истории трудится академик Цэндийн Дамдинсурэн. Имя этого монгольского писателя, поэта, ученого давно известно в нашей стране. В 1958 году издательство «Художественная литература» выпустило том избранных произведений Ц. Дамдинсурэна, в послесловии к которому его очень точно представил советским читателям востоковед Б. И. Панкратов: «Первые страницы истории современной монгольской литературы открываются двумя именами: Дашдоржийном Нацагдоржем и Цэндийном Дамдинсурэном. Эти писатели, бывшие непосредственными участниками

**ЯЦКОВСКАЯ КЛАРА НИКОЛАЕВНА**

Советский литературовед, переводчик, кандидат филологических наук. Автор книг и статей о монгольской литературе.

революционных событий двадцатых годов, являются основоположниками современной монгольской литературы и активными строителями культуры нового общества...»[1]

Почти тридцать лет тому назад мне посчастливилось познакомиться с Дамдинсурэном-гуаем[2]. Это было в студии Московского радио, где он выступил перед микрофоном как член Всемирного Совета Мира. Потом в разные годы мы виделись в Монголии, в Ленинграде, в Москве и снова в Монголии. И каждая встреча памятна.

Рассказать о человеке, которого долго знаешь и о котором много пишут (о творчестве Ц. Дамдинсурэна написаны статьи, эссе, защищена диссертация), оказывается, очень трудно. Поэтому я постараюсь просто поделиться тем, что вынесла из встреч, бесед с этим выдающимся деятелем литературы и науки, необыкновенно скромным, деликатным человеком.

Дамдинсурэн-гуай в роли хозяина дома подкупает доброжелательностью, умением расположить к себе гостя так, что уже на пороге забываешь обо всех неотложных делах и погружаешься в удивительную, насыщенную высокой духовностью атмосферу этого жилища. Если бы дверь не отворил сам хозяин, то можно было бы подумать, что ошибся адресом и попал в филиал какого-то книгохранилища: во всю длину коридора и сверху донизу — книги, книги, книги... На полках, в шкафах и на шкафах. В продолговатых ящиках и просто в виде длинных прямоугольных свертков, обернутых в материю (баринтаг, своего рода суперобложку),— манускрипты, ксилографы. В баринтаг были завернуты и бумаги, оставшиеся после отца, человека образованного. Драгоценные реликвии. Дамдинсурэн-гуай бережно разворачивает сверток, и на его письменный стол поверх исписанных строками стихов карточек появляется большой лист плотной, потемневшей от времени белой бумаги, заметно потертой на сгибах. На листе изображено нечто похожее на своеобразный кружевной узор или большую асимметричную снежинку — так причудливо переплелись прямые линии с вязью старомонгольского письма.

«Самодельная карта уртонных (почтовых) дорог дореволюционной Монголии с обозначением названий всех уртонных станций,— поясняет Дамдинсурэн-гуай.— Вот здесь,— рука хозяина ложится на правый верхний угол листа,— родной Матад сомон. Отсюда по этой карте можно было мысленно путешествовать из наших восточных степей к горам Алтая на западе или отправиться на север. Минуя множество перевалов, оказаться у границы, за которой — жизнь другого народа, незнакомые земли...»

Отцовские реликвии напоминают о детстве, об остром ощущении какой-то тайны, скрытой в архивах, документах, в листах книг, о которых толковали взрослые. В доме читались увлекательные повествования из книги «Море притч». Когда наведывался дедушка, бывало, звучала и тибетская речь. Ребенку не положено спрашивать, о чем говорят старшие, но память цепко удерживает непривычные звучания, а любознательность придает смелости, и маленький Дамдинсурэн просит, чтобы ему показали, как пишутся тибетские буквы. Монгольским отец уже научил его... Кто мог тогда предположить, что много лет спустя Ц. Дамдинсурэн в занятиях историей монгольской литературы придет к древним тибетским текстам? Но все это далеко впереди. А пока что грамотный мальчик открывает свой послужной список должностью писаря. Детство завершилось рано. Дамдинсурэну было тринадцать лет, когда произошла народная революция, а в шестнадцать он вступил в ряды Монгольской народно-революционной партии.

«Слывя грамотным, в начале 1925 года я был призван на работу в Тамцакский пограничный отряд,— рассказывает Ц. Дамдинсурэн.— Там нужен был писарь. Месяца через два-три вместе с отрядом прибыл в столицу и оказался в составе I-й кавалерийской бригады. Только писарем пробыл недолго. Выяснилось, что я знаю арифметику, и меня быстро перевели в счетоводы полка. Нужно было решать задачки: сколько должно приходиться на одного солдата мяса, проса и соли при получении полкового довольствия. Все это вычислялось легко, но не каждому было доступно — в ту пору четырьмя действиями арифметики владели немногие... Однако вскоре я понял, что военная служба не по мне. Начальство с пониманием отнеслось к просьбе об увольнении, и в конце года я снова был в родных местах. Вернувшись, убедился, что в глазах земляков стал значительным человеком. Как же, в армии служил, столицу повидал, следовательно, более сведущ, чем обыкновенный провинциал. Меня выбрали секретарем партийной ячейки — единственной на большую округу боевой организации. Послали на партийный семинар в аймачный центр. Потом на месте сам проводил занятия. Подошла пора аймачных партийных конференций — послали делегатом. На конференции избрали председателем. Наверное, запомнили, что на семинаре усердно занимался,— лицо Дамдинсурэна-гуая освещается легкой улыбкой.— Не забывайте, я умел быстро и грамотно писать. После конференции оставили работать в аймачном центре. Вскоре должен был состояться V съезд партии. Из аймачного комитета на съезд делегировали и меня, а перед этим целую неделю писали отчетный доклад. Кстати,— замечает Дамдинсурэн-гуай, — он был опубликован в материалах съезда. Как представитель аймачной организации я был избран в Президиум съезда. После съезда взяли на работу в Президиум ЦК ревсомола. От молодежной организации стал редактором газеты «Унэн» — в то время в газете было два редактора, один от партии, другой — от ревсомола».

Кажется, будто в рассказе Ц. Дамдинсурэна звучит голос самой истории. Партия переживала трудные годы. Правый, левый уклоны. Нужно во всем самому разобраться. Дамдинсурэн поступает на вечерние курсы марксистов. После VII съезда партии ему поручается возглавить профсоюзы. Он принимает участие в коллективизации. Наконец становится (вместе с С. Буяннэ-

[1] Дамдинсурэн Ц. Избранное. М., ГИХЛ, 1958, с. 213.

[2] Уважаемый *(монг.)*.

мэхом, М. Ядамсурэном, Я. Цэвэлем) одним из членов первого литературного кружка, созданного по постановлению ЦК МНРП в 1929 году. Вскоре появились две книги: литературный альманах «Свод изящных слов» и повесть Ц. Дамдинсурэна «Отвергнутая девушка». Повесть стала первым крупным достижением новой монгольской прозы; произведение новаторское, оно в корне ломало прежние представления о героях национальной литературы. О знакомстве с этой повестью так вспоминает Д. Сурье, впоследствии сам ставший писателем: «Когда я читал матери и односельчанам эту книгу, моя мать плакала... Да как же было ей не плакать, слушая повесть о народе и для народа, повесть о простой девушке Цэрэн, которой революция помогла найти свою дорогу в жизни. Ведь судьба Цэрэн была так похожа на ее собственную».

В самом деле, после стольких веков господства летописных традиций в письменной литературе диковинным казалось, что простые люди могут быть главными героями книги. В процессе развития новой литературы ощутимо менялось и само мышление читателей. Об этом интересно свидетельствует Ц. Дамдинсурэн: «В первые годы после революции часто можно было слышать восторги о тех, кто умеет красиво и быстро писать,— речь шла именно о письме. Своим каллиграфическим почерком поражал сотрудник Ученого Комитета Дашням, а скоростью письма — работник ЦК партии Наваан-намжил; о них шла молва повсюду. Сейчас эти проблемы никого не волнуют. Читатели спорят о том, кто пишет хорошие произведения... Когда в 1933 году Д. Нацагдорж написал свое знаменитое в наши дни стихотворение «Моя Родина», писательская организация выдала ему премию в 500 тугриков, однако напечатать его удалось не сразу. Это теперь у писателей есть и литературный еженедельник, и «толстый» журнал, не говоря уже о тысячных тиражах разных книг...»

Вся жизнь Ц. Дамдинсурэна связана с творчеством — художественным и научным,— с филологией в широком спектре направлений этой науки. В начале 30-х годов он становится студентом Института национальных меньшинств в Ленинграде, слушает лекции крупнейших востоковедов и русистов, преподававших тогда в Ленинградском университете. В студенческие годы зародилась и на всю жизнь сохранилась у монгольского поэта любовь к Пушкину, который

Владел неповторимым чудным даром
Слагать неповторимые стихи.

(Ц. Дамдинсурэн. «А. С. Пушкин»
Перевод А. Корсуна)

В Ленинграде Дамдинсурэн написал поэму «Моя седая мама» (1934), вошедшую в золотой фонд современной монгольской литературы. В этом произведении поэт призывал всех матерей Монголии не препятствовать своим детям получать образование, отпускать их учиться в чужие края. Сейчас, когда сотни монгольских юношей и девушек каждую осень едут учиться в высшие учебные заведения многих стран мира, не верится, что была необходимость посвящать этому целую поэму, доказывая, как важно человеку быть грамотным, всесторонне образованным. Более того, в 30-е годы нашлись в Монголии и критики, не сумевшие понять замысел поэмы, вульгаризаторски истолковавшие отдельные места. Здесь сразу хотелось бы заметить, что сложные ситуации, возникавшие подчас в литературно-художественной критике Монголии в 30-е годы, получили должное освещение в работах современных монгольских критиков и литературоведов; насыщенная убедительными аргументами статья поэта, прозаика и литературоведа, ныне председателя Союза монгольских писателей Д. Цэдэва «Новая жизнь и творческая мысль» (в его книге «Мастерство писателя», 1978) касается, в частности, и судьбы этой поэмы.

Творчество Ц. Дамдинсурэна не раз служило поводом для бурных споров. Первопроходец и новатор по самой своей сути, он, как говорится, не боится «вызвать огонь на себя». Так было с некоторыми рассказами — откликами, раздумьями над проблемами современности. Вызывали горячую полемику в свое время и поэтические переводы, отмеченные неустанным поиском, а порой — смелым экспериментом.

Летом прошлого года на Международном симпозиуме в Улан-Баторе, посвященном ряду проблем литератур народов стран некапиталистического развития, академик Ц. Дамдинсурэн выступил с сообщением о своем почти полувековом опыте переводческой работы.

Одно в переводческой деятельности несомненно, отметил Ц. Дамдинсурэн,— благотворное влияние на становление современной монгольской литературы переводов лучших произведений европейской, и в особенности русской, советской литературы. Вот почему огромную значимость приобретает изучение мастерства художественного перевода. Ц. Дамдинсурэн рассказывал, как он работал над переводом «Песни о вещем Олеге», «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, о поисках верных принципов переложения русского стиха на монгольский язык. Что важнее — точно передать содержание или стремиться сохранить богатство, музыкальность пушкинского стиха? Перебрав несколько вариантов, Ц. Дамдинсурэн пришел к вольному переводу пушкинской сказки, в чем-то приближающему ее к стихии монгольского народного творчества.

Уже после симпозиума, уехав из Улан-Батора на запад Монголии в фольклорную экспедицию, совершенно неожиданно я столкнулась с тем, как воспринимается перевод «Сказки о рыбаке и рыбке» современным монгольским читателем. Моим собеседником был монгольский студент Бас-Оргил приехавший из Донецка на летние каникулы домой в Улангом, центр Убсунурского аймака. Разговор зашел о переводах на монгольский язык экономических текстов. Юноша прекрасно говорил по-русски, его рассуждения были интересны. И вдруг, оставив в стороне сложности

---

К. ЯЦКОВСКАЯ
ЦЭНДИЙН ДАМДИНСУРЭН —
ПИСАТЕЛЬ И УЧЕНЫЙ

перевода специальных терминов, он начал рассказывать, с каким наслаждением в детские годы читал «Сказку о рыбаке и рыбке», не веря, что сначала ее написал русский поэт, такой она была «подлинно монгольской». Выучив русский язык, Бас-Оргил прочитал ее в оригинале. Но первое знакомство — на монгольском языке — оставило глубокое впечатление. От «Сказки» зародилась любовь к Пушкину и осталось благодарное чувство к Дамдинсурэну за совершенство переложения на родной язык.

Конечно, такое решение проблемы не бесспорно. Собственно, своим докладом на симпозиуме Ц. Дамдинсурэн снова поставил вопрос, мучающий не только переводчика монгольского: что есть настоящий художественный перевод?

Два года тому назад, к 180-й годовщине А. С. Пушкина, в Монголии вышел двухтомник его прозы и поэзии. Том прозы включает переводы монгольских знатоков творчества Пушкина, таких крупнейших литераторов, как Ч. Лодойдамба, Э. Оюун, Ч. Чимид; переизданы в нем и переводы, выполненные в тридцатые годы Д. Нацагдоржем. В томе поэзии — «Евгений Онегин», поэмы «Кавказский пленник», «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», «Полтава», «Медный всадник». Ц. Дамдинсурэн вновь представлен в этом издании как переводчик — он работал над «Полтавой» и «Медным всадником». Выступает он и как литературовед — ему принадлежат предисловие к тому пушкинской поэзии и комментарии к отдельным произведениям.

Представление о переводческой деятельности Ц. Дамдинсурэна будет неполным, если не упомянуть о его переводах из Ш. Петефи, Я. Райниса, Ф. Шиллера. Произведения самого Дамдинсурэна истинно народны, его стих прозрачен и прост, подобно бессмертным творениям монгольского фольклора. И потому стихи разных поэтов, переведенные монгольским поэтом Дамдинсурэном,— это всегда высокая поэзия.

Среди книг, где стоит имя Ц. Дамдинсурэна-переводчика, есть издание совершенно особенное, если не уникальное. Это — «Сокровенное сказание монголов», переведенное Дамдинсурэном с древнемонгольского на современный язык. У этого литературного памятника, созданного в XIII веке, необычная судьба. Он был открыт в середине прошлого века одним из крупнейших русских востоковедов Палладием Кафаровым. Долгие годы оригинальный монгольский текст «Сокровенного сказания», записанный китайской иероглифической азбукой, оставался неизвестным. Для его издания потребовались усилия многих ученых, прежде чем этот памятник явил свою основу. «Сокровенное сказание», в котором проза чередуется со стихами, где переплелись факт и легенда, где зафиксированы образцы монгольского фольклора, сложившегося к XIII веку, долго служило, видимо, своего рода художественным эталоном в летописных традициях, отличавшихся стойкостью на протяжении всего периода монгольского средневековья. Это обстоятельство позволило при переводе памятника сделать и некоторую литературную реконструкцию — ввести в него отдельные художественные фрагменты более поздней летописи «Золотое сказание» XVII века, в которой представлены все жанры монгольской средневековой поэзии. Работа над изданием «Сокровенного сказания» на современном монгольском языке была удостоена Государственной премии в 1947 году — второй для Ц. Дамдинсурэна. Первая была присуждена годом раньше за ёрол «Здравица советскому народу» (в переводе на русский язык С. Ботвинника известный как «Послание советскому народу»); третья — в 1951 году за текст гимна МНР.

«Послание» было написано в тяжкое для Советской страны время — в 1942 году. Как и в стихотворении «Полярная звезда», Ц. Дамдинсурэн выразил в нем глубокую веру в то, что советский народ выстоит, одолеет фашистских захватчиков. В каждой строке этих произведений ощущается стремление быть рядом, разделить горе, помочь в борьбе, чтобы вечно сияла «Звезда Полярная земная — / Прекрасный город Ленинград» (перев. Л. Гумилева). Это — стихи подлинного друга советского народа. И Советская страна, помня об этом, наградила в 1979 году Ц. Дамдинсурэна наряду с такими известными писателями современной Монголии, как С. Удвал и Л. Тудэв, орденом Дружбы народов в связи с 50-летием монгольской писательской организации.

Любовь Дамдинсурэна к Ленинграду — чувство особое, надо думать. В ней заключена не только память о юных студенческих годах с присущими им душевными порывами. Ленинград — это и творческие озарения, и вдохновенный при всей своей кропотливости труд ученого. «Ленинград. 1950» — проставлено на обложке автореферата кандидатской диссертации Дамдинсурэна «Исторические корни Гэсэриады». Поэт и ученый объединились в исследователе, когда он, изучая различные версии центральноазиатского эпоса Гэсэриады, отстаивал их народность. Поэтому так необычно патетически начинался автореферат: «Грандиозная поэма о Гэсэре распространена от тропической реки Ганг до холодного Амура, от солнечной Хуанхэ до золотоносной Лены. Эту поэму поют сказители Центральной Азии с древнейших времен до наших дней... Простой народ проводил долгие зимние вечера за слушанием поэмы о славном герое Гэсэре, о его прекрасной супруге Рогмо, о его сподвижниках 30 богатырях, о подлом изменнике Цотоне. Гэсэриада существует в многотомных рукописях на тибетском, монгольском, бурят-монгольском языках. Кроме того, этот эпос живет в устах народных певцов».

Богатый фонд монгольских и тибетских рукописей и ксилографов в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР, в Ленинградском университете постоянно притягивает академика Ц. Дамдинсурэна. «В 1968 году, изучая монгольские и тибетские рукописи в собраниях Ленинграда, я обнаружил среди них несколько рассказов о Рамане[2].— так пишет он о начале новой работы, вылившейся в фундаментальный труд «Рамаяна» в Монголии» (1979).— Вернувшись в Монголию, я разы-

[1] Традиционный монгольский поэтический жанр благопожеланий.

[2] Имя героя эпоса «Рамаяна» в монгольской версии.

скал еще ряд рукописей и книг, в которых содержались различные рассказы о Рамане на тибетском и монгольском языках. Я понял, что рассказы о Рамане не были редкостью в Монголии. По всей вероятности, помимо тех, которые попали мне в руки, существуют и другие рукописи, о которых мы не знаем»

Академик Дамдинсурэн с увлечением работает над проблемами связей монгольской литературы с литературами Индии, Тибета. Живой огонек светится в его глазах, когда он говорит о том, что в буддийской литературе, получившей в свое время распространение в Монголии, кроме легенд, связанных с «Рамаяной», сохранилось большое количество разнообразных индийских мифов, преданий... И новые горизонты открываются в занятиях монгольского литературоведа.

Когда редакция советского журнала «Вопросы литературы» готовила номер, посвященный литературе Монгольской Народной Республики, в ответе на один из вопросов анкеты Ц. Дамдинсурэн откровенно признался, что филологические исследования древнемонгольской письменной литературы поглощают столько времени, что порой его как будто бы не остается даже на регулярное чтение, но тут же добавил: «Странное дело, казалось бы, я, как только что сказал, поглощен литературоведческими исследованиями, с головой ушел в филологию, но уже теперь твердо знаю, что вот-вот положу перед собой лист бумаги и начну цикл рассказов, посвященных сегодняшнему дню... По замыслу они должны быть остропроблемными. А как иначе выполнить свой долг литератора?»

Среди моих монгольских реликвий есть лист бумаги с десятью стихотворными строками, написанными рукой Дамдинсурэна-гуая. Он подарил мне этот лист на память — из монгольского дома гостя редко отпускают без подарка. Я вчитываюсь в строки выдержанного в классической форме стихотворения «Золотая иволга» и пытаюсь сделать подстрочный перевод:

Знают люди предание про золотую иволгу.
Заманили ее дальние дали.
Стала иволга серебряной.
Превратилась иволга в лед.

Пусть бы предание послужило назиданием.
Ты же, иволга серебряная, возвращайся домой!
Дома сказка есть волшебная,
Превращает она серебро в золото,
Дома солнце есть горячее — жар его растопит лед,
Дома есть любовь — зажжет она радость в твоем сердце.

Вчитываюсь в эти строки, и почему-то видится мне в них зачин, как это по традиции бывало в монгольской прозе — стихотворный зачин какого-нибудь нового рассказа...

Академик Дамдинсурэн много лет отдал не одной лишь творческой, научной, общественной работе. Он всю жизнь ведет неутомимо поиск сокровищ культурного наследия монгольского народа. Он и сейчас редко пропускает полевой сезон, чтобы не отправиться в экспедицию, ежегодно снаряжаемую Институтом языка и литературы АН МНР, в котором, кстати сказать, трудится вот уже полвека. Ц. Дамдинсурэн со своими учениками собирает сохранившиеся у аратов старые книги, манускрипты. Номы — книги — издавна в Монголии считаются редкими сокровищами, их ценят пуще золота. Как фамильные драгоценности передаются они от одного поколения другому. Не все понимают, что сберечь их в степных условиях, как говорил выдающийся советский монголовед Б. Я. Владимирцов, «неблагоприятных для хранения», почти невозможно. Сознавая опасность порчи и утраты этих ценностей, монгольские ученые стремятся собрать в академические хранилища редкие книги и рукописи, остающиеся еще на руках у населения. Каждая находка, согласие владельца расстаться со своими коллекциями приносят несравнимую радость Дамдинсурэнгуаю. Помню, с каким жаром он рассказывал, что ждет в гости почтенного Лувсанняма из недалекого от Улан-Батора селения Дзамар. «Человек он примечательный,— говорил Ц. Дамдинсурэн.— Сохранил целый амбар книг. Среди них немало уникальных. Есть и переводные XV, XVI веков... Очень надеюсь, что передаст их в наше академическое собрание».

Ц. Дамдинсурэн не просто собирает редкие книги. Он спешит сделать их достоянием народа. С огромной увлеченностью, постоянно и плодотворно он работает над проблемами истории старой монгольской литературы. Ц. Дамдинсурэном написано — им одним и в соавторстве — три тома «Обозрения монгольской литературы от древности и средневековья до начала XX века» (1957—1977), издана антология «Сто образцов художественной литературы» (1959), и каждый образец снабжен комментарием. Монгольская литература для академика Дамдинсурэна не существует как замкнутое национальное явление, он различает подчас едва заметные нити ее связей с культурой других народов и счастлив, когда может добавить еще один аргумент в защиту идеи о древних истоках общечеловеческой культуры.

Дамдинсурэн-гуай не только много ездит по родной Монголии, он легко, с ходу собирается в дальнюю дорогу — на международный конгресс, симпозиум, встречу и всегда своей эрудицией и человеческим обаянием оставляет неизгладимый след в душе у каждого, кому довелось общаться с ним. Покидает он свой рабочий кабинет и на сроки в год-два, проводя их за рубежом в научной командировке. В итоге поездки — путевые заметки, литературные записи, традиционная потребность поделиться с людьми тем, что сам узнал нового и любопытного...

...Многим помнятся беседы с академиком Дамдинсурэном в его квартире. Кабинет хозяина смотрит своим окном на Монгольский государственный университет. От яркого полуденного солнца пронзительно голубого неба, каким оно бывает в Монголии, здание сияет белизной, и на его фоне особенно хороши нежно-пушистые изумрудные лиственницы. И весной их тонкий аромат, кажется, доносится в кабинет ученого вместе с молодыми голосами.

◆

# Заметки писателя

## ЛАСЛО НАДЬ

# ПОСЫЛАЮ ВАМ ВЕТВЬ ЗОЛОТУЮ...

*Вступительное слово и перевод с венгерского ЕЛЕНЫ МАЛЫХИНОЙ*

«...и каждая моя клеточка знает,
что я и слово тождественны».

Ласло Надь

Далекий деревенский мальчик с большими и длинными — к вискам — светлыми глазами, Ласло Надь ощутил себя художником с детства. Не в смысле выбора профессии, а в каком-то более широком смысле, по мироощущению вообще. Он видел мир ярким, красочно-сочным, звучащим и подсознательно, инстинктивно тянулся всю эту синтезированную симфонию бытия отобразить, воссоздать, пропустив сквозь собственную душу. Он рисовал то, что видел вокруг, а получалось, что рисует «мечты», и уже почти надумал было стать художником, да, собственно говоря, и стал им, через всю жизнь пронеся потребность запечатлевать зримые формы мгновений. В нем всегда жил какой-то жадный интерес к мастерству ума и рук человеческих, ко всякому умению: в любой добротной, с чувством ответственности и собственного достоинства выполненной работе он с самой юной своей поры явственно различал присущий человеку дух творчества, созидания. И потому ко всякому умению его влекло жарко-сочувственное любопытство. «Именно любопытство заставляло меня осваивать самые разные ремесла,— рассказывал он о себе в интервью 1975 года,— я научился и плотничать и слесарить, бондарным делом овладел, сапожником стал заправским... в сорок пятом башмаки стачал для младшего братишки. Сам и головки выкроил... Он целую зиму в них пробегал. Или вот духовка у нас часто выходила из строя, железо оказалось никудышное. И я такую прочную духовку матери склепал, что и плита уж давно прогорела, но духовка осталась целехонька... А поэтом я быть не хотел, поэты — это ведь как Петефи им судьба на войне сгинуть...»

Как поразительно и значительно это естественное для него сопряжение поэзии с иными ремеслами, без которых не живет человек (однажды он скажет: без поэзии человечество все равно что однокрылая птица...) И другим еще обращает на себя внимание этот по-детски наивный и по-детски же прозорливый ход мысли. Поэт для него — это герой, неизменно готовый на подвиг и смерть во имя своих идеалов. Ребенок

Публикация сопровождается рисунками Ласло Надя.

---

**ЛАСЛО НАДЬ — NAGY LÁSZLÓ** (1925—1977).

Венгерский поэт, лауреат премии имени Аттилы Йожефа. Печататься начал в конце сороковых годов. Основные сборники стихов Ласло Надя: «Исчезни, боль» («Tünj el fájás», 1949), «Прелесть воскресенья» («A vasárnap gyönyöre», 1956), «Лицом к морю» («Arccal a tengernek», стихи 1944—1966). «Гимн в любое время» («Himnusz minden időben», 1965). «Стихи и стихотворные переводы в трех томах» («Versek és versfordítások» — первое издание 1976, второе — 1978).

В русском переводе стихи Л. Надя печатались в антологиях венгерской поэзии и в периодической печати, в том числе в «ИЛ» (№ 6, 1962; № 6, 1971). Мы публикуем фрагменты книги «Посылаю вам ветвь золотую...» («Adok nektek aranyvesszőt», 1980).

ЛАСЛО НАДЬ

Лаци Надь со страхом предстоял этой истинно мужской судьбе — Ласло Надь, взрослея, шагал ей навстречу семимильными шагами.

Чтоб человечьим сыном стать,
звезды с лица своего смету,
а на своих гнилых зубах
золота не потерплю нищету.

Мед, ты мне горло жжешь, как рак!
Выплюну, не пожалею слюны.
Мне наплевать на спасенье свое,
если другие погибнуть должны.

Чтоб сохранить и веру и злость,
пыточных камер приму я боль,
спину мне жарит пожар лесной,
море мне сыплет в губы соль.

*(Перевод Б. Слуцкого)*

Как понимал Ласло Надь место поэта в мире, среди людей — в своей обновленной стране, которую страстно любил («мне даже в голову никогда не приходило, что я могу быть поэтом где-нибудь еще!»), достижениями которой гордился и болел ее бедами? Он думал об этом много, глубоко — и в стихах своих, и в прозаических зарисовках, набросках, думал, оставаясь наедине с собой и выходя на люди. Одно можно сказать с определенностью: его представление о месте поэта насквозь пронизано чувством ответственности. Долг поэтов — идти впереди, протягивая руки друг другу, искать мосты между людьми, народами, их культурами, нащупывать, угадывать, провидеть пути к миру и любви. Долг поэтов — возжигать надежду. «Нам нельзя отказываться от надежды, ведь только надежда поможет нам справиться с величайшими трагедиями, грозно нависшими над человечеством катастрофами. И при этом — да не утеряет поэт права на сомнение — сомнение это тоже мотор в нашей созидательной работе. Ведь должны же мы уметь критически смотреть на собственный труд. Чтобы выполнять свое дело все лучше. В этом и есть наша цель».

Смерти легко было безвременно унести его хрупкое, израненное болезнями тело — но какая душевная мощь, сколько замыслов и таланта кануло в эту черную дыру, какой запас действенной доброты, находившей себе естественное выражение в горячем и самоотверженном стремлении соединять людей, вливая в них свою огромную веру в возможность и насущнейшую для всего человечества необходимость проникнуться чувством подлинного уважения людей, народов друг к другу.

И сегодня мы делаем попытку приоткрыть окошко в сокровищницу дум и чаяний большого венгерского поэта Ласло Надя — знакомясь на этот раз не со стихами его, которые журнал «Иностранная литература» публиковал не однажды, но с не менее драгоценными крупицами его поэтической прозы. Прозаическое наследие Ласло Надя невелико по объему, но столь насыщено мыслью, глубокими неотступными раздумьями о творчестве, сокровенной сути его и цели, о роли и месте Поэзии, Слова в жизни человека, даже в становлении, формировании человечества, что удельный вес его необычайно высок. Проза Ласло Надя собрана и издана посмертно («Посылаю вам ветвь золотую...», 1980), она по природе своей эссеистична, ибо рождалась каждый раз импульсивно, однако вбирая при этом в себя всю многосложность творческого мировосприятия.

Часть собранных в книге материалов разновременно появлялась ранее в венгерской печати — это выступления на поэтических вечерах, предисловия к собственным книгам, интервью и этюды-воспоминания, поистине ясновидческие эссе о многих современных венгерских художниках, чьи выставки он часто открывал чутким своим словом; другая часть была найдена в рукописях — это тонкие и прозорливые раздумья о поэзии, о великой тайне и смысле поэтического перевода, о святая святых других поэтов — любимого Гарсиа Лорки, Дилана Томаса, например,— доверчиво открывавшей перед ним свои тайны, когда перевод становился откровением, постижением...

Предлагаемые ниже избранные заметки столь же вольно следуют одна за другой, как вольно ложились они на бумагу под пером поэта — здесь нашли отражение его заботы, тревоги, мечты, из числа тех, что сопутствовали ему всегда.

## О ПОЭЗИИ. О СЕБЕ.

### МОИ ВЁСНЫ

Такова уж природа человека: во всех временах года он находит для себя что-то милое и прекрасное — однако зимой, по той же природе своей, скоро начинает томиться, ведь в наших краях зиму никак не назовешь гуманной, она драматична чернотою своей и белизной, она безжалостно выматывает человека — потому-то, должно быть, весна у нас всегда была символом избавления и революции. Да и на личное обновление мы надеемся больше, когда видим колыхание трав, зелень всходов и все волшебное многоцветье бабочек, птиц среди одобрительно плещущей листвы. Весна — пора страсти и созидания, сладостно даже бремя ее.

Самые счастливые мои вёсны были в детстве. Стоит взметнуться перед глазами нескольким краскам — зеленой, желтой, красной,— и я уже вижу золотистую суету гусят в зеленой траве, вижу босоногую ораву, бегущую наперегонки, и жеребенка с красной лентой в гриве, до смертной устали скачущего на приволье,— ему пока еще страшно опуститься на непривычную мураву, и я помогаю ему: подгибаю ему колени и сам ложусь рядом и мы сопим с ним на пару, как братья.

В школьные, в Папе пролетевшие, годы я уходил за город, рисовать. Сяду где-нибудь и рисую башни, тополя, клубящиеся белые облака — мечты. Потом навзничь бросаюсь на зеленую луговую тропу — отдыхаю — и гляжу не нагляжусь на бесплатное представление — игру облаков... а тем временем через меня переступает девочка-цыганка в желтой юбчонке. И поныне не знаю, наяву это видел или во сне.

Самой первой моей будапештской весной была весна тысяча девятьсот сорок седьмого года. Мы учились тогда в народной коллегии. Жили в полуразрушенном здании против Городского парка. Зима очень нас измотала. Плохо закрывающиеся двери, окна без стекол, заклеенные бумагой, в стенах трещины, топлива нет... «Ничего, вот придет весна!» — ободряли мы друг друга, и она пришла как символ нашей воли к спасению родины и всего мира. Мы были сильны духом, но телом куда как слабы. Помните ли, друзья мои, наши витамины? Завязав глаза, мы самозабвенно грызли большие горькие луковицы, словно то были райские яблоки. Прекрасна была та весна, и мы тоже хотели быть красивыми, ей под стать. Девочки помогали нам, гладили-латали скромную нашу одежду, пришивали пуговицы к рубашкам. Помните ли, как были мы счастливы, готовясь к Празднику и к любви?..

### ПОЭТ ОШИБАТЬСЯ НЕ ВПРАВЕ [1]

...Для нашей поэзии от самых истоков ее характерно чувство ответственности поэта перед отечеством, народом. Упомяну хотя бы Яна Паннониуса, Балашши, Зрини, далее Чоконаи, Петефи, Араня, Эндре Ади, Аттилу Йожефа — всех ее назовешь. К ним-то и прибегал я в трудную пору. Они поддерживали меня. Так я и написал в одном стихотворении: «Поэты, волшебноязыкие барды, скорбный стих ваш в потомков силы вливал». Я всегда придерживался этой градиции, памятуя, что хороших политиков-то у нас почти что и не было. А я сознавал себя поэтом и, значит, чувствовал свою

[1] Из интервью, данного в 1975 году телевидению.

ответственность: поэту бежать некуда, то, что однажды им сработано дурно, не есть его личное дело, он не может сказать: я ошибся. Поэт ошибаться не вправе...

## ПРИЗВАНИЕ [1]

Я представляю себе однокрылую птицу, и тотчас открывается мне ее трагедия: она не в состоянии исполнить предназначение, какое с божественной суровостью вложила в нее природа. И я представляю себе поэзию без аудитории — та же трагедия. Величайшее стихотворение, если некому его слушать,— всего-навсего однокрылая птица:

[1] Речь, произнесенная на открытии Дня поэзии в 1970 году.

оно не может выполнить предназначения своего.

Поэзия по самой своей природе, то есть изначально, несет в себе призвание, у нее есть идеал, к коему она стремится. Нам же иной раз усердно твердят о задачах поэзии и охотно пригвоздили бы наши головы к щиту, на котором эти задачи обозначены. Поэзия — власть изъясняющая и творящая суд, но не исполнительная.

Призвание поэзии — а лучше сказать, пожалуй, призвание поэта — всего отчетливее ощущается в стихотворениях типа «ars poetica» [1]. Вспомним поэтические кредо Петефи, Ади, Аттилы Йожефа. Впрочем, предназначение это присутствует, вибрирует, просвечивает в каждом истинном стихотворении. Оно будоражит, оно подстрекает во имя добра, вступает в спор со злом, оно всегда пристрастно. И исполнено тревожной неудовлетворенности — за других, за себя. Мрачное или озорное, оно неизменно выражает то, что человеку присуще. И, указывая на бесчеловечное, подготовляет тем место подлинно человечному.

Все ли понимают стихи? К сожалению, нет. Писать ли поэту азбучные стихи? Писать, но только для младенцев.

Поэзия — однокрылая птица, если нет у нее аудитории. Я говорю это со смирением, но утверждаю также убежденно и с вызовом, что без поэзии не достичь человеку того идеального будущего, о котором мечтают не только поэты. Без поэзии человечество, увы, оказалось бы однокрылым.

## ВПИТЫВАЛ ВОЛШЕБСТВО...[2]

Не было на рождественской витрине книги желаннее, чем эта,— на темно-зеленом переплете золотыми прописными буквами: Аттила Йожеф. Каждый день она звала, влекла меня к себе из коллегии, и чем чаще я навещал ее, тем больше по ней томился. Декабрь сорок первого в городке Папа прошел для меня под знаком Аттилы Йожефа. Он снился мне по ночам, я трудился для него. Я знал всего пять его стихотворений, написанных свободным размером,— наткнулся на них в «Хиде», что издавал Зилахи [3]. Истинно святое дело сотворила односельчанка наша — пештская служаночка, стащив у своего хозяина этот журнал и привезя его в родную деревню. В то лето девушки-молотильщицы — и те, что обмолачивали снопы, и те, что таскали полову,— по вечерам так говорили между собой, вздыхая: «Нет, совсем не устала я, только вдруг морская волна к моему подкатила порогу». Потому что я разговаривал с ними стихами. Я улыбаюсь сейчас этому воспоминанию, но не стыжусь его: мне тогда шел шестнадцатый год. Близилось рождество. моя страстно желанная книга тоже украсилась еловой веточкой, и ангелоподобная эта эмблема, словно протягивавшая ко мне руки. все нетерпеливей меня подзывала. Я продал двух моих лошадей — имеются в виду, разумеется, рисунки — и каждый божий день ходил к гончару расписывать рождественские фигурки. Множество бровей Марии, уйма розовых младенцев Иисусов и серых осликов вышло из-под моей кисти, пока не набралось денег на книгу. И вот я купил ее. Открыл на стихотворении «Мыльная пена» и от разочарования побледнел: передо мной были рифмованные стихи — а я так готовился, так мечтал упиться свободным стихом, читать и читать без конца! Оказалось, однако, строгие размеры завораживали тоже, они мигом покорили меня. Дома на каникулах я то и дело открывал своего Аттилу Йожефа. Я читал сидя, стоя, лежа в постели на животе, а мой трехлетний братишка тем временем гарцевал у меня на спине и, к ужасу родителей, вопил: «У меня ни отца, ни матери нет, ни бога нет, ни отечества нет!» [1] Днем я особенно любил читать в хлеву, там как-то полнее удавалось погрузиться в стихи. Для этого приходилось взбираться на ясли, с них я доставал до подоконника — моей конторки, как говаривал отец. И пока я, облокотясь, под морозными узорами впитывал в себя волшебство, внизу теленок жевал мои штанины. Ничто не мешало, настроение было самое мирное, вифлеемское, и лишь изредка вздыхалось: отчего нельзя, чтобы этот поэт, обделенный счастьем, был и взаправду здесь, рядом со мной?!

И, размышляя о незадачливой его судьбе, я молчаливо, но сурово осуждал эпоху его, а вместе с ней и литературное общественное мнение. Я поклялся, что никогда не предам того, кто в несчастье. Вскоре я подклеил в книжку две его фотографии: на одной он молодой, двадцатилетний, а другая — последняя, где он такой сломленный, с лицом поденщика. А вокруг фотографий я нарисовал золотых извивающихся, перелетающихся змей...

## МОИ ЗАБОТЫ [2]

Это лучшие мои стихотворения. Некоторым из них от роду несколько недель, другие родились только что, в последние дни. Есть среди них и такие, над которыми я начал было работать давно, а вот сейчас они опять запросились в руки, требуя завершения. Словом, стихи новые, так что еще не надоели мне. а некоторые просто дороги. Потому я и включил их в эту программу.

Не в моем обычае пугать себя сомнением: не окажутся ли мои стихи слишком чужими, слишком личными для аудитории? Нет, ведь и мои заботы самые человеческие. Понимаю, есть люди, которым поэзия чужда, какой бы она ни была — простой или сложной. Это — глухие к стихам души. Однако в той или иной форме и им знакома жажда прекрасного. Кое-кто, например, все свободное время наводит глянец на свою машину. Я приметил одного человека, который каждое воскресенье священнодействует — кипятит в бачке сцепление мотоцикла, смывая отработанное масло.

---

[1] «Поэтическое искусство» *(лат.)*.

[2] Из ответов на анкету журнала «Уй ираш» — «Пятьсот лет венгерской книге».

[3] Еженедельник «Хид» («Мост») под редакцией Лайоша Зилахи и Миклоша Каллаи, выходил с 1940 по 1944 год. Объединял писателей разных направлений.

[1] Начальные строки стихотворения А. Йожефа 1925 года.

[2] Выступление на авторском вечере.

Поэтический образ, метафора изначально присущи стиху, они родились вместе со стихом в глубокой древности. Поэтический образ есть сгущенная энергия, высокая степень наглядности, почти осязаемая пластика. Вот в стихотворении о зиме есть у меня такие строки:

Ой, весь в инее мир,
Мир-алтарь, мир-хрусталь,
на свечах-тополях
черный огнь воронья.

Ради чего понадобился мне здесь такой дважды сдвоенный образ? Ради максимальной выразительности, ради емкой краткости.

Со временем выразительные средства в поэзии также затаскиваются. Поэты теребят друг друга, подталкивают, чтобы не повторять ни классиков, ни самих себя. В этом смысле девальвация и обновление — процесс постоянный. И к эпитетам это относится. Я могу представить себе произведение вовсе без эпитетов — скажем, в стихотворении «Заторы» их у меня почти и нет. Так что очень важно, по-моему, признать право на существование самых различных направлений и стилей: пусть себе борются друг с другом — их спор пойдет на пользу мировой поэзии.

## О ФОЛЬКЛОРЕ. О ПЕРЕВОДЕ.

### НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ НАШИХ СОСЕДЕЙ

Столько нареканий и поношений обрушивалось вдоль Дуная на самую мысль о взаимоузнавании, понимании, взаимоуважении народов друг к другу, что и нынче впору испытывать стыд. Правда, в этих краях преступники не имели обыкновения краснеть, даже в потомках своих. Злобные страсти XX века впервые обрушились как раз на Эндре Ади, ославив его предателем отечества, не венгром — за то, что он отважился провозгласить общность судеб всех наших народов. И Бартока тоже ставили к позорному столбу, причем не только разъяренные его соотечественники, за то, что посмел, помимо венгерской народной музыки, знакомиться и знакомить с народной музыкой наших соседей... Еще и сейчас его собрание румынских колядок — самый полный из всех, самый взыскательный труд, однако издавать его Бартоку пришлось все же в Вене на собственные средства.

Дух Бартока энергично вдохновляет нас и на перевод народной поэзии наших соседей. Так что ныне это узнавание и сравнение благодаря усилиям знатоков стало достоянием миллионов, источником духовного и художественного наслаждения.

Народная поэзия являет собой достоверную историю духовной жизни народа. Она как бы из глубины веков рассказывает о ее создателе — народе, который возделывал землю и пас скот. И даже, можно сказать, тысячелетий: ведь самые древние ее образцы носят отпечаток языческих времен. Именно в те поры родились здравицы в честь нового дня, солнца, нового года, весны. Столь же древняя и поэзия наговоров, заклинаний. Верования, опиравшиеся на магию слова, для каждого жизнью природы жившего народа были способом противостоять беде и порче.

В средние века османское владычество

словно молнией выжгло цветущие балканские культуры. И тогда фольклор, поддерживаемый устной традицией, стал единственным духовным проявлением народа. Песню нельзя было заковать в кандалы. В этом смысле народная поэзия есть самая сокровенная форма сопротивления там, где распоряжается чужеземная власть. Поэзия эта есть сила, сберегающая родной язык, а значит — помогающая народу выжить.

Коль скоро народная поэзия есть история эмоциональной жизни народа — история его верований, обычаев, страхов, страстей и надежд,— то собрание народной поэзии мира можно назвать самой человечной исторической книгой.

И когда мы, сравнивая народную поэзию соседей с нашей, отечественной, узнаем в них родственные или схожие черты, тогда-то и поймем вполне: любить и уважать себя можно и через другие народы.

### О МОИХ СТИХОТВОРНЫХ ПЕРЕВОДАХ[1]

Эта книга делится на циклы — по языкам, по народам. Такой принцип заставил меня не включать в нее переводы с некоторых языков, если по количеству своему они недостаточно обеспечивали соразмерность циклов. Зато подобная структура по-

[1] Вступление к тому переводов, вышедшему в издательстве «Магветё». 1975.

ЛАСЛО НАДЬ
ПОСЫЛАЮ ВАМ ВЕТВЬ ЗОЛОТУЮ...

зволит читателю судить о том, что́ именно привлекало меня в мировой поэзии.

Конечно, переводишь чаще всего по заказу, но это отнюдь не помеха: я, во всяком случае, брался переводить только те вещи, которые мне нравились, поражали воображение. Но, хотя работал я много (принимая во внимание ограниченность моих сил и времени), все же эта книга не может служить отражением той огромной картины мировой поэзии, какая постепенно складывалась у меня, она — лишь крохотная деталь этой картины. В мире несть числа прекрасным стихам, они влекут к себе, кричат: «Переведи!» — однако, чтобы они достойно прозвучали по-венгерски, одной жизни мало. Эту работу выполняют наши превосходные переводчики совместными усилиями.

В основу этого тома лег сборник «Король-шмель» — книга моих переводов, изданная в 1968 году. Циклы, составившие книгу [1], мною с тех пор расширены, появились и новые — из шведской, немецкой, югославской и польской поэзии. Название «Король-шмель» символично, я хотел подчеркнуть им сущность работы переводчика: как шмель, совершая налеты, отовсюду приносит мед, так переводчик отовсюду тащит в свой дом чужие духовные лакомства. Такие захватнические налеты никого не обездоливают, такую агрессию приветствуют все народы, особенно малые.

Помимо того что художественный перевод умножает отечественную культуру, он дает также возможности для сравнения. Помогает признать, например, что те или иные поэтические ценности существуют не только у нас, но и где-то еще — да к тому же подчас найдя более совершенное воплощение. И тогда становится ясно, что самодовольство наше совершенно беспочвенно, так что было бы куда лучше, если бы мы требовали от себя все больших усилий. Словом, хотя перевод иногда и лишает отечественных поэтов приоритета, оспаривает выданные нами себе патенты, но зато он дает возможность увидеть воочию: поэты мира поистине родственны друг другу служением своим человечеству.

Музыка, танец, изобразительное искусство не привязаны к языку, их не нужно переводить, а тем более переводить заново. В сущности, только стихи приходится расчленять, выдирая все жилы, терзать, умерщвлять, чтобы затем попытаться возродить их к жизни — по-венгерски. Ибо единый загон и единый

[1] В книге «Король-шмель» две части; в первой переводы испанской, английской североамериканской, кубинской, французской, болгарской, румынской, русской и древнекитайской поэзии, во второй — фольклор балканских народов.

язык [1] — всего лишь пустая мечта. Язык, изменяющийся вместе со временем, и меняющееся отношение к переводческому делу постоянно ставят под вопрос ценность каждого данного перевода. Следовательно, и над моими трудами время также может однажды расставить знаки вопроса. И напрасно я стал бы доказывать, ссылаясь хотя бы и на эту мою книгу, что всей душой стремился сохранить верность оригиналу, его форме и содержанию и в напряженные ночные часы старался слагать добротные, истинно венгерские стихи.

Я и сам, пожалуй, дивлюсь тому, сколько же накопилось у меня переводов — ведь я поэт и быть переводчиком никогда не собирался. Не могу сослаться и на пример великих предков: мол, и передо мной маячила святая цель, какую ставили перед собою они — неизменно и, разумеется, совершенно справедливо: благородным жестом возложить на стол нации сокровища мира, заставив их зазвучать по-венгерски.

Первое обращение к переводу было продиктовано любопытством — оно же подталкивало меня не раз и к овладению другими ремеслами. И вот передо мной высвечивается вдруг наивно-милое воспоминание: мне десять лет, я слышу, как двоюродный брат напевает по-румынски песенку (он бежал к нам из Румынии, не захотел в солдаты идти). Но песенка-то венгерская, я знаю ее слова: «Я твоим слугою стану, с неба звездочку достану...» Ну и ну! Экие чудеса бывают на свете! И тогда я, надеясь разгадать тайну, переписываю рядышком оба текста. Считаю буквы, ясно же: их число должно быть одинаково, здесь-то и зарыта собака — к тому же еще поющая! Но количество букв не сходится, тайна остается тайной, ведь я еще понятия не имею о слогах, о великой силе слога, а тем паче о просодии! Позднее, уже в школе, я сделал еще попытку, взявшись за стихотворение Гейне: «Du bist wie eine Blume» [2] — это был уже почти художественный перевод.

В 1953 году моя поэтическая судьба заставила меня заняться Рембо, затем обратился я к Лорке — тогда, разумеется, еще не по собственному хотению, по заказу. И вскоре убедился, что перевод для меня не есть что-то чужеродное — он приносит мне радость. С тех пор я уже с ним не расставался.

Словом, переводчик я довольно опытный и сделал немало, но перед каждой новой задачей чувствую себя до смешного сиротливым и неприкаянным — беспомощным. Ибо мастерства, знания механизма стиха недостаточно для того, чтобы родился хороший перевод. Столько всего еще необходимо для этой цели, столько чутья и уменья, что впору впасть в отчаяние. Мои усилия приносят больший успех, когда я смотрю на иноязычное стихотворение как на братский вызов, который затрагивает мое поэтическое самолюбие, а в сущности вызывает на испытание венгерский язык. И если окажутся в моей книге переводы, достойные уважения, то хвала за это ему — родному нашему языку.

[1] Ироническая перифраза латинского выражения «Et fiat unum ovile et unus pastor» (И станет единый загон и единый пастырь).

[2] «Ты как цветок...» *(нем.)*.

## ГАРСИА ЛОРКА. ДИЛАН ТОМАС.
### МАЛАЯ ХРОНИКА О ПЕРЕВОДЕ [1]

С давних пор я ощущаю Гарсиа Лорку своим родичем. Хотя очень долго из всей полноты его поэтического облика мне было известно лишь несколько его привлекательных черт. Наконец, в издании 1957 года он предстал перед нами, великий поэт и гениальный драматург. В прошлом году по просьбе Габора Толнаи [2] я перевел поэму Лорки «Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу». И тем стал к нему еще ближе. Я оплакивал его, переводя. Сколько же поэтов-мучеников в XX веке! Чего ты заслуживаешь, мир, если казнишь даже поэтов своих! Добросердечие, красота, неслыханная поэтическая отвага, огонь, сверканье — вот что есть он, вот как я определил бы его сразу и кратко. Его страсть, его голос я нахожу и в стихах Ади, Чоконаи, Балашши.

Я хотел бы перевести «Цыганское романсеро». Лорка говорит, что лишь несколько первых романсов — цыганские, в остальных цыганский лишь основной их фон. Он желал отобразить через них залитую кровью Андалусию. Больше мне не встречалось среди его высказываний ничего, что относилось бы к «Романсеро». Зато сколько он говорит о цыганском фольклоре! Посвящает блистательное исследование cante jondo. Канте хондо — простейшая короткая цыганская песня, а поскольку цыгане больше нигде не поют ее, то можно назвать ее также испанской. Канте хондо — это ночь страсти, в ней нет панорамы, есть только луна, ветер, вопль. Один из наиважнейших корней, питавших поэзию Гарсиа Лорки,— вот что такое канте хондо.

Почему он писал романсы? Восемнадцать романсов! Есть среди них и предлинный, на сто двадцать строк. Собственно говоря, он писал эпическую поэму, оборотясь спиной к искусительному свечению молниеподобного канте хондо. Во что он веровал — веровал так, что не страшился оказаться скучным? В силу священной страсти и в народ свой. В 1930 году он прочитал в Гаване лекцию, названную им «Дуэнде». И в скобках: «Игра и теория». Я высоко ценю ее и вспоминаю сейчас затем, чтобы сказать, что же называл Лорка искусством, что считал сущностью искусства. Дуэнде не муза, не ангел, не дьявол. Лорка вспоминает и определение Гёте: «Таинственная сила, кою ощущает каждый, но определить не может ни один философ». В формулировке Лорки дуэнде поэтичнее, пластичней. Дуэнде «...опаляет кровь, словно толченое стекло... дуэнде выжидает, пока кровь не

[1] Напечатано в № 8 журнала «Уй ираш» за 1962 год.

[2] Современный венгерский литературовед, много занимался испанской литературой, творчеством Лорки.

ЛАСЛО НАДЬ
ПОСЫЛАЮ ВАМ ВЕТВЬ ЗОЛОТУЮ...

закипит в самых потаенных уголках-закоулках ее... прогоним ангела, пинком отшвырнем музу... дуэнде вообще не приходит, если не видит поблизости смерти.... он играет телом танцовщицы, как ветер играет песком... он ищет новые края и неведомые звуки, он навевает запахи детской слюны, скошенной травы и студенистых медуз». Он не боялся, что будет скучен. Дуэнде— заклятый враг скуки. Лорка верил в своего дуэнде. Я верю в моего. Я переведу его.

Немного побаиваюсь постоянной ассонансной рифмы. В испанском романсе это традиция. С единственной парой таких рифм испанцы способны нанизывать строки до бесконечности. В «Сан-Рафаэле» Лорка однажды ее меняет, и я это понимаю: ведь он повествует о двуликой Кордове. Но так же поступает он и в «Сан-Габриэле», а причину я уловить не могу. В «Романсе об испанской жандармерии» — а это самое длинное стихотворение — у него до самого конца одна рифма. Его «Рыцарь дон Педро» — чисто музыкальная композиция, ассонансная рифма меняется трижды, и это логично. Для испанцев единая рифма — это как бой барабанов для африканцев, для азиатов, самое множество их создает, в конце концов, волнующую, огромную напряженность. Я люблю точный перевод, меня влечет рифмовка оригинала, часто даже само испанское звучание рифм. Это моя личная забота, особое пристрастие, к проблемам перевода отношения не имеющее. Костолани сказал где-то: перевод — все равно что бег в мешке. Верно. Но он может стать и подвигом и наслаждением, если бегущий в мешке не слишком отстал от свободного бегуна. Впрочем, сравнение все-таки комичное, оно относится скорее к ремесленному переводу.

Страх понемногу оставляет меня, я верю, что само содержание романсов, последовательная смена волнующих картин спасут и меня от опасности оказаться скучным, как спасли Лорку.

«Сердце, которое полыхало». Я прочитал это у одного нашего поэта поколения «Нюгата» [1]. Даже самые великие непринужденно пользовались «которым». Проза, к сожалению, без него жить не может. Но и наисложное стихотворение может обойтись без него. Стихотворению это только на пользу. У себя на родине, в родных краях, я слова «который» не слышал вообще. Впервые встретился с ним только в школе. Оно навсегда осталось мне чужим. Я стыжусь, что в ранних моих стихотворениях изредка им пользовался. В переводах я постоянно натыкаюсь на это злосчастное словцо — «который». В стихах оно способно причинить множество неудобств, оно ослабляет, искажает свободное течение. Я сержусь на тех, кто им пользуется. Не жалую и видоизменений его. На тысячу строк «Романсеро» у меня, если не ошибаюсь, этакий близнец «которого» встречается дважды...

Мне хотелось бы заняться подробнее образами «Цыганского романсеро», в связи с ними — сюрреализмом, влиянием кубистов. Тем, как Лорка, музыкант и художник, использовал в своих романсах искания и перевороты в искусстве. Я хочу поговорить обо всем этом подробнее. Но и о самом Лорке мне еще многое нужно сказать. Что же до романсов его, то пока могу предложить для ознакомления лишь несколько — на пробу.

## НЕТ ПРОЩЕНИЯ [1]

Нет прощения смерти, она безвременно отняла у нас Лорку. Мы не простим иберийским барышникам и мясникам смерти— это они толкнули Лорку в кухню тлена, погибели. Палачи свободы, единственного смысла нашего существования, то есть «извечные враги поэтов» — это они убили Лорку. Преступление совершено тиранией, позор ложится на человечество. «Эй, Федерико Гарсиа!»— вскрикнул дорогой мой Радноти [2], узнав, что поэта убили в Гранаде. Какое эхо у этого вскрика: варварская смерть уже тогда сжимала свои кольца и вокруг Радноти тоже! И еще потрясающе то, что Лорку сделала для нас видимым его смерть, эта скорбная сенсация. Но величие Лорки явственно-зримо и по тем произведениям его, что переведены на венгерский. Нет, не мученическая смерть сделала его великим, а творчество его — объективная эстетическая данность, да примут сие к сведению бешено набычившиеся враги, хотя бы в той мере, в какой принимают во внимание шпагу тореадора.

Можно бы сделать опись, и взвесить, и разобрать по отдельности его стихи и драмы, полные великого огня, его исследования, достойные доктора поэзии, его сюрреалистические, в кровавой бахроме, рисунки — ибо они тоже принадлежат его творческому наследию. Но я вдруг подумал: а что я сказал бы о нем, вот так, сразу, будь у меня времени в обрез? Что уважаю я в нем, что считаю самою сутью его? Высокого накала страстность, огонь, очень родственный тому, что пылал в нашем Ади. Ту божественную отвагу, что швырнула в мир мальчишку Рембо. Спонтанность (тщательно разработанную), которая столь чужда средневековой рассудочности. Лорка — поэт пяти органов чувств. Среди его стихотворений, правда, мы напрасно стали бы искать его «ars poetica», но в прозе его можно прочитать следующее: «Мы, латиняне, жаждем точных абрисов и зримой тайны. Формы и осязаемой действительности». Его творческое беспокойство вызывает почтение и вместе с тем говорит о многом: «Все что угодно, только

[1] Литературно-критический журнал «Нюгат» («Запад») буржуазно-либерального направления выходил с 1901 по 1941 год.

[1] Опубликовано в газете «Элет иш ирода лом» в 1964 году.

[2] Венгерский поэт Миклош Радноти (1909—1944), также погибший от руки фашистов, написал в 1937 году короткое трагическое стихотворение на смерть Лорки оканчивавшееся словами:

Ты был поэтом, и тебя убили.
Эй, Федерико Гарсиа!

*(Перевод Л. Мартынова)*

не глядеть постоянно на один и тот же пейзаж». Гармония, заключенная в творчестве Лорки, ничем не напоминает кресла-качалки. Он парит где-то там, между красной пылью и черным небом, словно жаворонок, отравленный любовью. Ученость же его по природе своей такова, что ему оказалось под силу расшифровать Гонгору, этого кудесника барочной метафоры, считавшегося непостижимым на протяжении четырех столетий. А Лорка, распознав законы его, не только, завораживая, нас обучает, но и сам извлекает урок для себя. Ибо без Гонгоры его романсы были бы иными. Не теми, какими мы их видим: сюжет — лишь костяк, Лорка сознательно прячет его, вся потрясающая сила романса — в его образности. Поэт навешивает на рождественское деревце украшения — но не конфеты, не сахарные агницы на нем, а зеркала, множество зеркал, от которых кружится голова, и клыки вепрей, и наотмашь раскроенные жандармским клинком дуновения, женские косы, кроваво-красный шейный платок, полная луна — истекающая кровью Андалусия. А потом он относит все это под окна диктатора Риверы.

Мануэль де Фалья, музыка и теория музыки были нужны Лорке лишь для того, чтобы открыть для себя подлинную цыганскую песню, канте хондо, осмыслить ее как ночь страсти, когда половинчатость невозможна,— дабы эта песня стала в его поэзии символом.

Ай, далекая дорога!
Мчится конь, не зная страха.
Я со смертью встречусь прежде,
чем увижу башни Кордовы!

Кордова.
Одна на свете.

*(Перевод Я. Серпина)*

Испанцы сказали бы, вероятно, про это стихотворение Лорки: в нем присутствует дуэнде. Дуэнде — что-то вроде пылкого кобольда, а не муза, не ангел. И муза, и ангел, по Лорке, являются извне. Ангел ниспосылает благодать — и творение рождается как бы само, без крайнего напряжения сил. Муза диктует, иногда вдохновляет, пробуждает и разум, но разум зачастую — враг поэзии, ибо он слишком склонен к подражанию, он возводит поэта на шаткий трон и заставляет забыть о том, что в любую минуту на него могут наброситься голодные муравьи, свалиться прямо на голову ядовитая нечисть. Где обретается дуэнде? В крови, в самых потаенных ее лабиринтах, и подлинную битву поэт должен

---

ЛАСЛО НАДЬ
ПОСЫЛАЮ ВАМ ВЕТВЬ ЗОЛОТУЮ...

Поэтесса Маргит Сечи. Жена Ласло Надя

выиграть у него. И вот poeta doctus [1] с этой своей теорией, которая одновременно и игра и душевное потрясение, достигает истоков искусства где ученому надлежит уже умолкнуть. Теперь он — одержимый дуэнде, с помощью своих отважных сюрреалистических ассоциаций он укладывает в стихи даже апокалипсический Нью-Йорк. И сегодня поэт-битник Гинзберг оттого способен исторгать столь переворачивающие душу вопли, что постаментом ему послужили два великана — Уитмен и Гарсиа Лорка. И хотя этот неугомонный испанец постоянно рвался навстречу новым ударам, его выручала не только одержимость его, но и редкий дар синтеза. Ведь и самое большое его стихотворное произведение — «Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу» — это грандиозный сплав его поэтических достижений. Лорка не признавал границ, и тем не менее он всем своим нутром испанец. С каким накалом, с какой силой передает он всю драму испанцев в одних только этих двух строчках:

О белая стена Испания!
О черные быки страдания!

Когда уводили его жандармы, на глазах у него, говорят, были слезы Боялся ли он смерти? Не верю. Не мужчина страшился ее — поэт. Ненаписанные песни, рассеявшиеся дымом надежды и планы отуманили слезою эти черные глаза. Нет прощения смерти.

## ДИЛАН ТОМАС

Дилан Томас — уэльский певец, его влияние в двадцатом веке огромно Он был учеником витавшего среди своих видений Уильяма Блейка, символиста Йитса. Уже первые его стихи, появившиеся, когда поэту было двадцать лет, позволяют разглядеть черты поэта-архангела, исполненного огня. Он относился к числу тех немногих, кто желал каждый миг свой прожить поэтом. Так жизнь Дилана Томаса стала серией необыкновенных легенд, а, поскольку чувства самосохранения он не ведал, конец его был ранним и трагичным. Его великолепный организм алкоголь унизил, обратил в руины. Он умер от белой горячки в 1953 году, во время турне по Америке, но, говорят, еще до того ослеп, налетев на розовый куст. Было ему тогда тридцать девять лет, и напрасны теперь наши раздумья о том, сколько еще ненаписанных шедевров унес он с собою в могилу.

Однако наследие его и так полно. Это большое органическое единство, как будто в нем аккумулировались все виды энергии, какие только есть во вселенной. Но Дилан Томас вступает в единоборство с космосом, скручивает его в стихи во имя единственной и святой цели: всем, что ни есть, послужить человеку. Его темы — те же вечные темы поэтов: любовь, рождение, смерть, они и в космических его масштабах не теряют истинно человеческих черт. В самую позорную эпоху века, в годы развязанной фашизмом второй мировой войны, да и позднее, уже в начале атомной истерии, он сохранил веру свою в человека — и страстно провозглашал ее, подымаясь на все возможные подмостки и трибуны. В то время когда многие поэты устремили свои взоры в nihil [1], он возвещал: «Мир никогда не останется таким же, как был, если в нем хотя бы на одно хорошее стихотворение стало больше. Хорошее стихотворение — верный помощник в переделке формы и сути вселенной». Стихи Дилана Томаса не просты, они даже очень сложны неординарной чередой образов, поворотов мысли, но все они — неустанная, отважная и самоотверженная борьба за овладение миром, пример поведения для человека современной эпохи.

## О ДОЛГЕ И ЧЕСТИ ПОЭТА.

### ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАЗВУЧАТ СТИХИ [2]

Дамы и господа, братья мои поэты, уважаемая публика!

Прежде чем зазвучат здесь стихи, позвольте мне в прозе вас приветствовать. Хочу верить, что на этом большом фестивале поэзии моя речь в конечном итоге останется единственной прозой.

Город Струга, мост над чистыми водами Дрины стали уже для поэтов мира понятием символическим. Самое слово «Струга» происходит от слова «строгать», то есть формировать, обтачивать, и я не упущу столь прекрасного случая, чтобы этим словом указать на наше призвание: мы все полагаем себя теми, кто формирует человеческое сознание. Но даже если бы и нашелся кто-то, сомневающийся в гуманистической роли поэзии, ее коллективном воздействии, даже он не откажется от самоформирования видианожами — заботы,

[1] Ученый поэт (*лат.*).

[1] Ничто (*лат.*).

[2] Речь на открытии традиционного праздника поэзии в г. Струге (Югославия), произнесенная 25 августа 1969 года.

мысли, самопознания. Тем, даже против воли своей, даруя миру образцы человеческой ценности.

Мост над Дриной по праву именуют поэты, которые здесь побывали, Мостом человечности. Несмотря на все наши широковещательные заклятья, мы не можем, как видно, отказаться от символов. Тем более, говоря о мосте над Дриной, мы не хотим от них отказываться. Ведь это и о нем будут звучать здесь стихи, откровения прибывших издалека, отовсюду поэтов, хотя все они — о человеке, страданиях человека, о его жажде счастья и полноты, о тревогах его и о величайшей антитезе, не ставшей анахронизмом даже в эпоху полетов на Луну: о деспотизме и о свободе. Пусть же и впредь останется символом Мост, всеми силами укрепим этот символ — да соединит он, по крайней мере, нас, поэтов, и я верю: точно так же соединит он меж собою народы.

Поэты понимают, способны понимать друг друга. Это не иллюзия, не избитая фраза, склепанная ради праздника. У нас есть тому доказательства — исторические факты. Нынешний же наш опыт еще больше убеждает нас в том, что в мире существует явный или тайный союз поэтов. Против чего? Во имя чего? Против жестокости — во имя благословенных плодов духа. Ибо опасность нависла теперь над всем миром. К новейшим открытиям, например, имеют доступ и фигуры анахронистические. Тут согласны мы все: реалисты, сюрреалисты, структуралисты, битлы и прочие и прочие. И хотя в остальном мы иной раз враждебно косимся друг на друга из наших поэтических бункеров, наша борьба меж собой — лишь невинная метафора в сравнении с кровопролитными сражениями.

Дамы и господа, братья мои поэты, вы находитесь на земле поэзии! Я убежден, что за дни фестиваля это наше ощущение еще укрепится. Я уверен, что все вы, разъехавшись по домам, с чувством ностальгии будете вспоминать этот чудесный город, повторяя, быть может, слова Константина Миладинова, сказанные сто лет назад, которыми я и закончу свое выступление:

Если б мне крылья! Я помню то поле...
Там побродить бы еще на приволье,
Охрид увидеть и, ног не жалея,
До Струги, до Струги дойти поскорее.

Итак, да прозвучат стихи.

## ПОЗНАНИЕ, ЯЗЫК И СТИХИ [1]

Не будем к себе беспощадны: не станем обрекать человека на бесконечность. Ибо полное познание и есть сама бесконечность. О, я молил бы о нем синеющими губами, если бы не понимал, что возвышаю свой голос против деяния, больше того — предаю хуле ту борьбу, которая есть суть человека от начала начал, с тех самых пор, как облек он в форму первое слово, и, существо деятельное, уже тогда, на том своем уровне, стал поэтом и ученым одновременно. Тем и прекрасно Гейзенбергово [1] равновесие мира, что я вижу за ним свечение всех тех, кто высекал огонь, лил бронзу, бороздил моря, наблюдал звезды,— но вижу также икаров с окровавленными крылами, еретиков с обуглившимися ртами, изгоняемых зуботычинами бардов...

Вот говорят об описании, об изображении мира. Не думаю, будто конечная цель всего есть счастье. Естественные науки опередили человеческое слово в познании. Но и поэты не вчера лишь спустились с деревьев. Стол Эддингтона [2], иллюзорный и реальный, сводит воедино поэт. А женщина из «Оды» Аттилы Йожефа — не только чудо биологического знания в поэзии. Ничто не могло совершаться без слова. Говорят ведь, и мысль — вся образная и отвлеченная деятельность нашего мозга — имеет языковое происхождение.

Опорочивание слова — не новое изобретение, но в наше время оно явственнее и мучительнее, чем когда-либо. Мы свидетели того, как используют язык для словоблудия, для лжи. Удивительно ли, что многие отворачиваются от жизненно важных вопросов, и хорошо еще, если уходят в игру, но как больно, если — в молчание. Философия молчания также родилась не сегодня. Ее жало вонзалось и в Чоконаи, правда тщетно, ее мрак захватил и Рембо, но уж навеки. Тишина представляется мне уютной — это покой мертвых. Уютно и геройство на словах — но оно безнравственно. Я жажду быть истинным героем слова. И если Невозможное безнадежно, то даже самое поражение наше есть торжество.

Я вырос, и уже каждая моя клеточка знает, что я и слово тождественны. Знаю: о любом поэте свидетельствует язык его. (Как вообще о любом человеке говорит его работа — и еще то, как он ест.)

Если существует беспристрастный суд для поэта, то это его стихи. Верую в слово — и эта определенность приносит покой. Мой долг — блюсти слово, трудиться над ним, преданно и ответственно. И еще верую — слово поведет меня туда, где за семью печатями именно меня поджидают тайны. Оно поведет меня к тому, чего еще не бывало на свете. Проведет над пропастями, и лежит этот путь неизменно над самою пастью смерти.

[1] Из книги «Стихотворения и переводы».

[1] Гейзенберг Вернер (1901—1976) — немецкий физик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии 1932 года.

[2] Эддингтон, сэр Артур Стэнли (1882—1944) — английский астроном, автор многих основополагающих открытий в современной астрономии, к концу жизни стал на позиции субъективного идеализма в философии.

# Культура и современность

Заметки на полях

## ОТ ХЕЛЬСИНКИ ДО МАДРИДА

Тема культурных связей между социалистическими и капиталистическими странами в последние годы заняла прочное место на страницах европейской и мировой печати и в эфире, ей посвящаются многие исследования, книги. Причем, если средства массовой информации Советского Союза, других социалистических стран освещают эту тему в контексте борьбы за улучшение взаимопонимания между народами, то органы империалистической пропаганды нередко вкривь и вкось трактуют позицию социалистических государств в вопросах международного культурного обмена, пытаются «обвинять» их в нарушениях соответствующих договоренностей Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, доказывать, будто «Восток находится в долгу у Запада» в этой области. В последние месяцы такие перепевы звучали, в частности, в выступлениях американских и некоторых западноевропейских делегатов на проходившей в Мадриде встрече представителей 35 государств, подписавших хельсинкский Заключительный акт.

Место и значение духовной сферы в современной международной жизни, непрекращающиеся идейно-пропагандистские дискуссии вокруг этих вопросов требуют к ним постоянного внимания, вызывают необходимость отстаивать нашу, марксистско-ленинскую оценку данной сферы международных отношений, показывать истинное положение дел,— в частности, в том, что касается претворения в жизнь договоренностей общеевропейского совещания. С этой точки зрения представляет большой интерес появление коллективного труда авторов из братских социалистических стран «Проблемы международного культурного сотрудничества (от Хельсинки до Мадрида)», изданного в столице Болгарии. Эта книга является сборником статей известных специалистов в области культуры, идеологии, международных культурных связей, в том числе председателя Комитета культуры НРБ Людмилы Живковой, Марка Митина, Арнольда Арнольдова, Владимира Баскакова (СССР), Александра Неинского, Эмила Александрова, Лилии Тодоровой (НРБ), Дьердя Фукаса (ВНР), Эрхарда Хаксельшнайдера (ГДР), Ладислава Гавлика (ЧССР), Анджея Лавровского (ПНР). Она состоит из трех частей: политика социалистических стран в области культурного обмена после Хельсинки; обмен художественными ценностями между Востоком и Западом; некоторые проблемы «третьей корзины» и политика капиталистических стран в области культуры.

Разговор о сборнике целесообразно начать с вопроса о том, каков принципиальный подход социалистических стран к международному культурному сотрудничеству. Еще Маркс и Энгельс писали в «Манифесте Коммунистической партии», что на смену старой замкнутости приходит всесторонняя связь наций; и это в равной мере относится как к материальному, так и духовному производству. «Плоды духовной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными» [1].

Эти слова, пророчески сказанные в прошлом веке, стали еще более справедливыми в наши дни в силу ряда объективных факторов, присущих XX веку. Первый из них — пробуждение многомиллионных масс к культурной жизни в результате победы социалистических революций сначала в нашей стране, а затем в ряде государств Европы, Азии и Латинской Америки. «За время жизни одного поколения,— говорил в одном из своих выступлений Леонид Ильич Брежнев,— Советская страна полностью и навсегда избавилась от тяжкого ярма безграмотности. Трудящиеся стали активными участниками культурной жизни, творцами духовных ценностей. Из глубин народа вышла новая, социалистическая интеллигенция, которая прославила Родину выдающимися достижениями науки и техники, литературы и искусства».

Активизации духовной жизни человечества, международных культурных связей в огромной степени способствует еще один важный процесс современности — развал колониальной системы, образование молодых независимых государств, которые прилагают большие усилия к национальному возрождению, развитию культурных связей

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 428.

с зарубежными странами. Особенно впечатляет на этом пути прогресс стран социалистической ориентации. Не случайно столь широкое признание, премии международных организаций получают в последние годы такие страны, как Эфиопия, Ангола, Никарагуа, добившиеся больших успехов в ликвидации неграмотности, подъеме культуры.

Колоссальное воздействие на уровень духовной жизни человечества, на размах культурных связей оказывает научно-технический прогресс. Всего несколько десятилетий назад телевизор был диковинкой даже в развитых странах, а сегодня в мире насчитывается 420 миллионов телевизоров. В 250 тысячах кинотеатров могут одновременно разместиться 80 миллионов зрителей, каждые сутки на Земле выходит 1800 названий книг. Благодаря этому «информационному взрыву» сотни миллионов людей на разных широтах смогли приобщиться к обмену культурными ценностями.

Расширение международного культурного обмена благоприятно для материального и духовного прогресса народов. Братские социалистические государства приветствуют и поощряют этот процесс. Он является нашим постоянным принципиальным курсом, проистекающим из гуманистических идеалов и миролюбия коммунизма как идеологии и как общественного строя, из известного положения Ленина о том, что «только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру»[1].

В одной из статей сборника, написанной профессором Арнольдом Арнольдовым, напоминается о том, какое большое внимание уделял делу культурных связей с заграницей лично Ленин. Владимир Ильич выкраивал время для переписки и бесед с зарубежными деятелями литературы и искусства, следил за книжными новинками (в отдельном шкафу в ленинском кабинете в Кремле было собрано около тысячи произведений иностранной литературы на 19 языках), написал статью «О задачах публичной библиотеки в Петрограде», где поставил задачу срочно организовать обмен книгами с библиотеками зарубежных стран, помог Максиму Горькому создать издательство «Всемирная литература».

Даже в те нелегкие времена участие молодой Советской республики в культурной жизни Европы (гастроли МХАТа и других коллективов, выставки, зарубежные выступления Максима Горького, поездки Владимира Маяковского, Сергея Есенина) было настолько велико, что французский ученый Поль Ланжевен заявил, «что с точки зрения духовной культуры без России Европа перестает быть Европой». В последующие годы мир восхищался творениями таких корифеев новой социалистической культуры, как Эйзенштейн, Прокофьев, Шостакович, Шолохов, Уланова и многих других.

Этап еще более активного участия социалистической культуры в духовной жизни Европы и всего мира начался с образованием после второй мировой войны содружества братских социалистических государств. В сборнике рассматривается три основных направления, по которым идет данный процесс. Это, во-первых, стремительное развитие национальных культур братских стран в условиях социализма, во-вторых, их беспрецедентное для истории взаимодействие, взаимообогащение, возникновение качественно нового типа духовных связей и, в-третьих, неуклонное наращивание совместного вклада социалистических стран в мировую культуру. Достижения братских социалистических народов в культурном строительстве действительно внушительны. Людмила Живкова приводит, в частности, такие данные по Болгарии: в настоящее время в стране — 56 оперных и драматических театров по сравнению с 13 в 1939 году, 95 тысяч студентов по сравнению с 10 169 в 1939 году, ежегодно выходит более 4000 названий книг общим тиражом более 52 миллионов экземпляров, или в среднем по 6 книг на душу населения (в 1939 году — одна книга).

В целом социалистическое содружество государств является сегодня самым высокоразвитым в культурном отношении регионом планеты. Обо всем этом нелишне напомнить и по той причине, что кое-кто за рубежом по сей день пытается представить дело таким образом, будто население социалистических стран находится на «голодном пайке» в смысле доступа к вершинам мировой культуры (сосредоточенным якобы исключительно на Западе) и испытывает «неистребимую тягу» к культуре буржуазной. Невиданный ранее новый тип международных культурных связей, основанный на идейной общности, принципах интернационализма, крепнущей дружбе братских народов, подробно анализируется в статье Дьердя Фукаса. Помимо отмеченных выше он называет такие характерные черты культурных обменов между социалистическими странами, как их высочайший профессиональный уровень, постоянный характер, планомерность.

Братские страны социализма, делают вывод авторы сборника, показывают прекрасный пример подлинно равноправного и взаимовыгодного гуманистического сотрудничества, способствующего дружбе и взаимопониманию народов, духовному обогащению человека. Как раз к такому сотрудничеству призывает Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный в 1975 году в Хельсинки руководителями 35 государств.

«Война для культуры — враг номер один. Мир — союзник культуры. Но для того, чтобы на земле царил мир, сама культура должна способствовать его сохранению и упрочению... Культура может служить могучим средством объединения людей для деятельности, соответствующей гуманистическим идеалам».

Так пишет в своей статье Арнольд Арнольдов. В этих словах — ключ к пониманию позиции коммунистов в отношении

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 304.

международного культурного обмена. Причем позиция эта уходит корнями в глубь истории, к идеалам великих деятелей культуры прошлого. Виктор Гюго мечтал о времени, когда «на смену битвам придут научные открытия... на смену убийцам придут созидатели». Спустя десятилетия Максим Горький своим историческим вопросом «С кем вы, мастера культуры?» призвал мировую интеллигенцию активно включиться в борьбу за мир и прогресс.

Трудно измерить по какой-нибудь шкале степень благотворного влияния культуры на происходящие в сегодняшнем мире политические процессы. Но особенно заметным стало это влияние в 70-е годы, в период интенсивного развития разрядки и международного сотрудничества. Если говорить о культурных связях между социалистическими и капиталистическими государствами, то в самой их сердцевине находилось сначала согласование, а затем реализация соответствующих положений хельсинкского Заключительного акта, знаменитой теперь «третьей корзины». Эта тема является центральной в книге «Проблемы международного культурного сотрудничества», ей посвящено большинство собранных в ней статей.

Какие общие закономерности отмечаются авторами книги в развитии культурных обменов в Европе после 1975 года?

Во-первых, процесс реализации договоренностей Хельсинки действительно привел, особенно в первые годы, к активизации таких обменов между социалистическими и капиталистическими странами, подписавшими Заключительный акт. Так, к примеру, в течение 1977 года творческие коллективы и солисты Польши дали в западных странах 2833 концерта, были проведены десятки выставок, экспортировано около двухсот кинофильмов; в 1975—1979 годах ЧССР приняла участие в проводившихся за рубежом 42 кинофестивалях, и на 30 из них чехословацкие фильмы получили награды и премии; в ФРГ впервые изданы книги Чингиза Айтматова, Василя Быкова, Юрия Трифонова, Валентина Распутина.

Особенно заметны перемены к лучшему в деле обмена художественными выставками. Если проиллюстрировать эту мысль на примере Советского Союза, то можно напомнить, что за последние годы у нас экспонировались великолепные коллекции живописи из нью-йоркского музея «Метрополитен», Британского музея, мадридского «Прадо», Венского художественного музея, выставка импрессионистов от «Ватто до Давида» из Франции и так далее. В свою очередь, за рубежом регулярно демонстрируются произведения из Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и других всемирно известных музеев СССР. В сборнике приводится много примеров обмена выставками между другими социалистическими и капиталистическими странами. Так, в Париже с огромным успехом прошла выставка «Десять столетий чешского и словацкого искусства», в США — выставка из ГДР «Шедевры Дрезденской художественной галереи за пять веков ее существования», живой интерес во многих странах Запада вызвали выставки древнего болгарского искусства.

Налицо, таким образом, факт благотворного влияния хельсинкских договоренностей на рост взаимного духовного обогащения народов. При этом следует заметить, что эти связи не просто играют роль какого-то «побочного продукта» процесса разрядки, а активно воздействуют на этот процесс. И здесь, видимо, самое время сделать одну весьма существенную оговорку. Речь идет о колоссальной диспропорции в пользу социалистических стран, которые прилагают несравненно большие усилия для ознакомления своих народов с зарубежной жизнью и культурой. Болгарин Костадин Попов так пишет об этом:

> «Социалистическая культура — культура открытая. Поэтому для нее характерно стремление познавать все действительно ценное, созданное и развивающееся в мировой культуре».

Многочисленные факты, приводимые практически во всех статьях сборника, убедительно разоблачают утверждения буржуазной пропаганды о том, что страны социализма якобы «боятся», «избегают» культурного обмена, находятся «в долгу у Запада» в деле реализации договоренностей хельсинкской «третьей корзины». Вот лишь некоторые из них.

В 1979 году в переводе на венгерский язык в ВНР было издано: из литературы США — 26 книг общим тиражом 1 400 000 экземпляров, из английской литературы — 39 книг общим тиражом 1 395 000; из французской литературы — 38 книг общим тиражом 2 128 000; 7 книг авторов ФРГ общим тиражом 256 000; 15 книг итальянских писателей общим тиражом 604 000. В то же время во всех перечисленных странах, вместе взятых, в 1979 году было издано лишь 10 книг венгерских авторов (из статьи Дьердя Фукаса «Культурный обмен между ВНР и социалистическими странами после Хельсинки»).

В 1978—1979 годах в ЧССР из США было импортировано 52 кинофильма, а в США демонстрировалось только 13 чехословацких фильмов; в ЧССР демонстрировался 31 французский фильм, а во Франции — 15 фильмов ЧССР (из статьи Ладислава Гавлика «Чехословацкая культура в международных отношениях»).

Особенно впечатляющими выглядят данные по Советскому Союзу. За последние пять лет издание произведений зарубежных авторов в СССР выросло в полтора раза, и их общий годовой тираж составляет ныне около 120 миллионов экземпляров. В 1977 году завершено издание уникальной 200-томной «Библиотеки всемирной литературы», 137 ее томов посвящены зарубежным литературам (представлено свыше 2600 писателей из большинства стран мира).

В статье «Процесс литературного общения» делается следующий вывод о причинах диспропорции в области культурного обмена:

> «В странах буржуазного Запада сегодня активизировались силы, стремящиеся

отгородиться ... барьерами от культуры Советского Союза и других стран социалистического содружества. Достойно сожаления, что усилия, предпринимаемые в целях расширения обмена духовными ценностями, встречают упорное сопротивление господствующих сил западных стран, явно предпочитающих держать мир на опасной грани «холодной войны».

К культурным связям близко примыкает международный обмен информацией. Статьи Вольфганга Клайнвехтера (ГДР), Анджея Лавровского (ПНР), Бориса Фирсова (СССР) посвящены анализу состояния дел на этом направлении. И здесь авторы констатируют большую диспропорцию не в пользу Запада. Цифры подтверждают, что социалистические государства транслируют гораздо больше материалов о Западе по телевидению и радио, создают лучшие условия для работы иностранных журналистов, последовательно придерживаются соответствующих положений Заключительного акта, как и документов ООН и ЮНЕСКО, касающихся порядка обмена информацией между государствами. На Западе же именно на область массовой информации приходится особенно много нарушений хельсинкских договоренностей, начиная с того, что там фактически скрыт от общественности полный текст Заключительного акта, и кончая постоянно раздуваемыми фальсификаторскими кампаниями против социалистических стран и подрывной деятельностью диверсионных радиостанций.

Социалистическим странам принадлежит инициатива проведения крупных международных мероприятий в области культуры, отвечающих духу и букве решений Хельсинки. В качестве примера можно назвать состоявшиеся в 1977, 1979 и 1980 годах в Софии международные встречи писателей, в которых принимали участие выдающиеся литераторы всего мира[1].

В братских странах социализма проведено множество международных встреч деятелей культуры и искусства, симпозиумов, «круглых столов», двусторонних и многосторонних дискуссий творческой интеллигенции. Большую популярность приобрели такие крупные традиционные мероприятия, как международные кинофестивали и книжные выставки-ярмарки в Москве, конкурсы балета в Варне, фестивали «Пражская весна». Решения Хельсинки были восприняты социалистическими странами как новый мощный импульс для развития общеевропейского культурного сотрудничества ради мира и взаимопонимания народов. Обо всем этом хорошо известно, конечно, тем деятелям на Западе, которые вопреки фактам поднимают пропагандистскую шумиху о «невыполнении» социалистическими государствами культурных договоренностей Заключительного акта.

Для чего, собственно, это делается? Отвечая на этот вопрос, авторы сборника называют несколько причин. Первая из них — стремление определенных кругов на Западе отвлечь внимание от реализации главных договоренностей Хельсинки, касающихся укрепления мира и безопасности, желание создать перекос в сторону «третьей корзины», то есть вопросов культурно-гуманитарного характера. Вторая причина — при помощи шумихи, рассчитанной на неосведомленность широкой общественности, перевернуть факты с ног на голову, создать впечатление, будто не социалистические, а капиталистические страны являются «поборниками» более широкого духовного общения народов. Наконец, третья причина (о ней, правда, вслух мало говорится) состоит в том, чтобы заставить социалистические страны шире распахнуть двери и окна для безграничного потока буржуазной «массовой культуры» с конечной целью, как писала однажды шпрингеровская газета «Ди вельт», добиться «изменения духовного потенциала Восточной Европы» и «изменения политических реальностей и союзов». Не секрет, что социализм и капитализм имеют разные и во многом противоположные концепции культуры, и эта область неизбежно является как сферой полезного сотрудничества, так и плацдармом острой идеологической борьбы. Предметом культурного обмена между социалистическими и капиталистическими странами могут быть только произведения, действительно способствующие лучшему взаимопониманию и уважению народов, духовному обогащению человеческой личности. Мы никогда не допускали и не допустим «свободного потока» в социалистическое общество антигуманных и аморальных «произведений», пропагандирующих войну, расизм, порнографию, всего того, что является сегодня неотъемлемым атрибутом буржуазной культуры, переживающей глубокий кризис. Такую «культуру» не приемлет население социалистических стран, ее распространение запрещается целым рядом законов наших стран.

На проходившей недавно общеевропейской встрече в Мадриде социалистические страны проводили именно эту линию. Подтверждая свою неизменную готовность развивать и дальше на основе взаимности культурные связи во имя мира и взаимопонимания, они решительно осудили попытки Вашингтона свернуть такие связи в рамках пресловутой кампании «антиразрядки» и потребовали выполнения западной стороной соответствующих договоренностей хельсинкского Заключительного акта. Для социалистических стран остаются аксиомой слова Леонида Ильича Брежнева:

«Мы открыты для всего правдивого и честного, и мы готовы всемерно умножать контакты, используя благоприятные условия, которые создает разрядка. Но наши двери всегда закрыты для изданий, пропагандирующих войну, насилие, человеконенавистничество».

Ю. КАШЛЕВ, В. ПЕТРОВСКИЙ

[1] Репортажи об этих встречах см. в «ИЛ» за 1977 г. № 10—12; 1979, № 10—12; 1981, № 1, 2.

# ЧЕРТОВА ДЮЖИНА ГИТЛЕРОВ, ИЛИ НАСКОЛЬКО ЗАБАВЕН ФАШИЗМ

На сцене Шиллеровского театра в Западном Берлине дюжина «Гитлеров» отплясывает нечто вроде уанстепа, вскидывая руки в нацистском приветствии. Вбегает тринадцатый Адольф, негр со светлыми усиками, кричит: «Фюрер — это я!» В это время раздаются выстрелы, спрятавшиеся заговорщики убивают всю компанию. После чего появляется «настоящий» Гитлер, меланхолично оглядывает заваленную трупами сцену и приказывает Герингу подобрать тринадцать новых двойников.

А на экранах кинотеатров ФРГ — роскошная парадная лестница, ведущая в имперскую канцелярию Гитлера. Фюрер пригласил на аудиенцию певицу Вилькию Бунтерберг, знаменитую исполнительницу песенки «Лили Марлен», любимого шлягера немецких солдат. Бравые охранники-эсэсовцы распахивают перед героиней двери, и она вступает в «море сияющего света».

Так описываются на страницах западногерманских газет и журналов эпизоды из «ревю» «Каждый умирает в одиночку», поставленного режиссером Петером Цадеком «по мотивам» известного романа Ганса Фаллады, и фильма кинорежиссера Вернера Райнера Фассбиндера «Лили Марлен». Обе постановки привлекли необычайное внимание в ФРГ, да и вне ее. И не столько потому, что Цадек и Фассбиндер — имена отнюдь не рядовые в западногерманской культурной жизни, не потому, что в спектакле знаменитого Шиллеровского театра были заняты многие крупнейшие актеры, а «Лили Марлен» стал, по словам еженедельника «Ди цайт», «самым дорогим немецким фильмом после 1945 года». Оговоримся сразу: интерес меньше всего вызвали художественные достоинства постановки. Тут пресса на редкость единодушна: «китч на гитлеровскую тему» (думается, уже нет надобности переводить приблизительными синонимами это немецкое слово, вошедшее во многие языки), «шоу роскошных нацистских ужасов» (журнал «Шпигель» и газета «АЦ» о постановке Цадека), «ставшая столь популярной за последнее время смесь из секса, пропотевших коричневых рубах, солдатских сапог и голых задниц» (тот же «Шпигель» о фильме Фассбиндера).

Речь идет о далеко не безобидной тенденции, характерной в последнее время не только для искусства ФРГ. «Насколько забавна тирания?», «Возможно ли критиковать нацизм, прибегая к эффектам нацистской культуры?» — показательны уже сами заголовки еженедельника «Ди цайт».

Вряд ли есть необходимость пересказывать читателям содержание знаменитого романа Фаллады, повествующего о самоотверженности двух пожилых супругов-рабочих, которые в одиночку бросили вызов всесильной системе. Что до фильма Фассбиндера, то он рассказывает о певице, сумевшей сделать в гитлеровской Германии карьеру исполнением «Лили Марлен», в то время как ее прежний возлюбленный, композитор Роберт Мендельсон, включается в антифашистскую борьбу. После войны он становится прославленным музыкантом, она пропадает в безвестности. Подлинные мемуары певицы Лалы Андерсон, легшие в основу этой мелодраматической истории, хоть и не обладали достоинствами романа Фаллады, но все же могли дать материал для серьезных размышлений о «блеске и нищете артистической карьеры в третьем рейхе», как писал журнал «Шпигель».

Однако ни в том, ни в другом случае серьезного разговора не вышло.

> «Как некогда Вена времен австро-венгерской монархии была низведена развлекательными постановками до уровня плоской оперетты с непременной отрыжкой от шампанского, а Париж конца века изображался этаким сплошным канканом с рюшами и подвязками, так, похоже, от двенадцати лет гитлеризма в настоящее время на сцене и киноэкране остается лишь сально-двусмысленное кабаре»,—

такими словами характеризовал «Шпигель» наметившуюся тенденцию. От романа Фаллады в Шиллеровском театре сохранилось несколько сцен, но и они оказываются заглушены вставными музыкальными номерами, которые эффектно поставил специально для этой цели приглашенный из Парижа Жером Савари.

> «Молодцы, одетые в кожанки современных «панк-роккеров», явно наслаждаются пытками, долженствующими напомнить о концлагерях»,—

так описывает один из подобных номеров швейцарская газета «Нойе цюрихер цайтунг» (в программе спектакля этот номер называется «Нацисты так сексуальны»).

> «На редкость пошлое впечатление производят эти садо-мазохистские сцены... дергающиеся полуголые тела со свастикой на деликатных местах»,—

подтверждает в «Ди цайт» критик Рольф Михаэлис.

Что же произошло? Чего добивались оба постановщика и почему так странно и двусмысленно оказались смещены акценты в изображении гитлеровских времен? Надо заметить, что и Цадек, и Фассбиндер числятся среди «левых» режиссеров, хотя политические взгляды обоих достаточно путаны и не раз давали повод для недоумения. Возможно, намерения у них были даже самые добросовестные — критики, в частности тот же Рольф Михаэлис, во всяком случае пытаются их понять.

> «Да,— слышу я голос Цадека,— этого мы и хотели: кричащего противоречия. Безумную историю Германии при Гитлере надо и показывать по-сумасшедшему... не в духе изящно выстроенной героической драмы, а в визгливых вывертах, в шоу... плюющем на «хороший вкус».

Сами по себе подобные теоретические рассуждения можно бы и принять; почему

же в данном, конкретном воплощении (если таковы действительно были намерения режиссера) они не только не сработали, но произвели впечатление, возмутившее многих? Пытаясь разобраться в этом, критики обращаются к истории театра и кино. Не впервые фашизм изображается как система безумия, не впервые Гитлер выводится на экране и сцене фигурой комической, сниженной. Достаточно вспомнить «Великого диктатора» Чарли Чаплина, «Быть или не быть» Эрнста Любича, «Карьеру Артуро Уи» Бертольта Брехта. Разница, однако, существенная. «Шпигель» пишет по этому поводу:

«Тогда Гитлер еще стоял у власти, и подобные разоблачения призваны были лишить его образ ореола демонизма, который он сам вокруг себя создал... Воинственная, лишенная юмора действительность нацизма изображалась в духе издевательской пародии и тем самым выставлялась на посмешище».

В спектакле же Шиллеровского театра от всего этого осталась, по словам «Ди цайт»,

«только пустяковая цитата, забавная выходка, опасное приукрашивание... Это не вызывает ни страха, ни мысли о сопротивлении, вообще никаких мыслей».

«Тут нет ни политической сатиры, ни отношения к реальности»,—

подтверждает в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Георг Хензель. Развлекательное «шоу» становится самоцелью, как и смакование сцен насилия. И говорить приходится отнюдь не о чаплинских или брехтовских традициях, а скорей о тенденции, получившей немалое распространение среди прочего в кинематографе 70-х годов, и не только западногерманском. Вспоминая, например, некоторые итальянские фильмы, критики отмечают в них склонность задним числом выявить в фашизме некую «садистскую привлекательность»... Получила распространение, по словам «Шпигеля», «какая-то противоречивая смесь из простонародного варварства и декадентских извращений».

Причем для изображения времен фашизма стало модно пользоваться средствами фашистской же киноэстетики. Вернер Райнер Фассбиндер в своем фильме делает это даже демонстративно. Своеобразной заявкой стали уже титры, на которых он значится «руководителем постановки» — так именовали режиссеров во времена третьего рейха, когда считалось зазорным для «чисто германской продукции» иностранное слово. Да и в помпезной роскоши специально выстроенных декораций, массовых шествий, излюбленных гитлеровцами эффектов чувствуется, как писала «Ди цайт», «сознательное желание воспользоваться тогдашними средствами, обратиться к патетике, эстетике роскоши и кинематографической лжи».

Это оказалось, однако, говоря словами той же «Ди цайт», «ходьбой по канату». Даже если режиссер полагал, что ставит «критический» фильм, модный стиль сыграл с ним злую шутку — форма оказалась не безразличной для содержания. Об этом же размышляет и «Шпигель»:

«Получилось, что эпоха нацизма как для Цадека с Савари, так и для Фассбиндера стала единственным в своем роде великогерманским костюмированным шоу с девицами. От гитлеризма остаются элементы ревю... хуже того: он превратился в развлечение, щекочущее нервы обывателя».

Задумываясь над причинами, почему так произошло, Михаэль Шварце в газете «Франкфуртер альгемайне» пишет:

«Фассбиндер принадлежит к поколению, которое на вопрос «как такое могло случиться» довольно часто получало в ответ лишь туманные рассуждения о «соблазненном народе», о том, как некий «демон», чуть ли не дьявол со сверхчеловеческими возможностями (и это о человеке, который сейчас в любой кинохронике производит впечатление просто комическое), совершенно необъяснимым образом захватил власть над душами людей».

Не отсюда ли неземное, «трансцендентное сияние» перед глазами исполнительницы шлягеров, вступающей в кабинет фюрера? Не отсюда ли поразительная — и далеко не безобидная — легковесность в обращении к событиям, которые до сих пор еще не утеряли для нас страшной злободневности?

«Самая кровавая эпоха немецкой истории оказывается лишь материалом для салонных эффектов, восхищение формой перевешивает ужас перед содержанием. Мучения преподносятся артистически. Боль становится номером варьете»,—

писала «Франкфуртер альгемайне», обсуждая обе постановки.

«Хуже того, жестокость на сцене становится не просто забавой для ночного клуба, она превращает нас в аплодирующих зевак, созерцающих пытки, и это делает безобидным их реальный ужас»,—

замечает «Ди цайт».

Георг Хензель во «Франкфуртер альгемайне» делает и другой, не менее важный вывод:

«Благодаря ревю Гитлер изымается из немецкого исторического сознания (насколько вообще уже можно говорить о таковом), он вытесняется и перемещается в бессознательно-сказочную страну инфантильных мифов. Становясь фантастическим чудовищем, он исчезает из реальности. В нашем прошлом его уже нет — у него ангажемент в городском театре. А как театральный дьявол он — всего лишь одна из многих характерных ролей. С чем, конечно, никак не могут согласиться те, кто пережил его преступления».

Спектакль Цадека, продолжает газета, «преподносит Гитлера как потребительский товар: «Адольф вас позабавит». Это всего лишь «коричневый гном с челкой, усиками и нарукавной повязкой: Гитлер для обще-

доступного пользования, Адольф для развлечения».

Он так ничтожен, что его можно расстреливать дюжинами. А раз так — стоит ли до сих пор принимать его всерьез, стоит ли вообще всерьез продолжать говорить о фашизме, который так роскошно и зрелищно преподносится нам и с подмостков, и с киноэкрана?..

Вопрос этот далеко не праздный, он приобретает в последнее время все более злободневный смысл, и писавшие на эту тему достаточно четко его уловили.

«Кто перед лицом такой легковесности захочет позориться, указывая на опасность неофашизма?» —

замечает, подводя итог, «Шпигель». И почти буквально в тех же словах развивает тему «Ди цайт»:

«Кто станет после этого задаваться вопросом об усилившемся по всей Европе терроре неофашистов, от вокзала в Болонье и от Парижа до октябрьского праздника в Мюнхене и швейцарской границы?»

Фашизм — далеко еще не ушедшая в прошлое история. Именно это прежде всего убедительно подтвердило бурное, заинтересованное обсуждение двух недавних постановок на тему о временах третьего рейха. И дело не только в том, что еще живы люди, по своему страшному опыту слишком помнящие, каков был «настоящий» германский нацизм. Идеология насилия, террористической диктатуры, «сильной личности» может проявляться в разных конкретных формах. Для современного искусства это одна из насущных тем. В обращении к ней нет запрета на жанры. Однако опасна какая бы то ни было «эстетизация» преступления: подавать ли его как фривольно-легкомысленное зрелище, смаковать ли его мрачные патологические соблазны, окружать ли его мистическим ореолом — значит волей или неволей играть ему на руку. Об этом никогда не надо забывать.

М. С.

◆

---

# Советская литература за рубежом

## БОЛГАРИЯ

Повесть Василия БЫКОВА «Пойти и не вернуться» вышла в издательстве «Воениздат».

В издательстве Хр. Г. Данов опубликована повесть Расула ГАМЗАТОВА «Мой Дагестан».

Рассказы Владимира ЛИДИНА под названием «Отражения звезд» выпустило издательство «Профиздат».

Книга Николая ФЕДОРЕНКО «Краски Созополя» вышла в издательстве «Народна младеж».

## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В издательстве Оксфордского университета вышла книга стихов Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО под названием «Ностальгия по настоящему».

В издательстве «Макмиллан» опубликована книга Михаила ПРИШВИНА «Женьшень — корень жизни».

## ВЕНГРИЯ

Роман Федора АБРАМОВА «Братья и сестры» вышел в издательстве «Европа».

Роман Юрия БОНДАРЕВА «Берег» опубликован в издательстве «Сепиродалми киадь».

«Рассказы для детей» Михаила ЗОЩЕНКО выпустило издательство «Мора».

«Белеет парус одинокий» Валентина КАТАЕВА вышел в издательстве «Мора».

Роман Юрия ТРИФОНОВА «Старик» выпустило издательство «Магветё».

Повесть Гавриила ТРОЕПОЛЬСКОГО «Белый Бим, черное ухо» опубликована в издательстве «Мора».

«Блокада» Александра ЧАКОВСКОГО издана издательством «Зрини».

## ГДР

В издательстве «Фольк унд вельт» опубликован роман Федора АБРАМОВА «Дом».

«Пять рассказов о любви» Чингиза АЙТМАТОВА, роман Сергея ЗАЛЫГИНА «Южноамериканский вариант», роман Александра КРОНА «Бессонница» выпущены тем же издательством.

В издательстве «Нойес лебен» вышел роман Анатолия РЫБАКОВА «Тяжелый песок».

## ИСПАНИЯ

Поэмы Владимира МАЯКОВСКОГО вышли в издательстве «Эдисьонез 29».

Повесть Валентина РАСПУТИНА «Деньги для Марии» выпущена издательством «Сиркуло де лекторес».

# Публицистика

## НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

# МОРСКИЕ ЗАПИСИ

Морские пути, неизведанные дали, маршруты людских контактов... От века моря омывают и соединяют собою большие и малые острова — обитель человечества. Первоисточником самой жизни, «биопоэзом» называл Бертран Рассел мировой океан, в котором некогда сгустилась живая материя, загадка мироздания, тысячелетиями бьющаяся над собственной разгадкой...

Месяц благосклонно взирал на одесский порт со своей немыслимой высоты, когда наш теплоход «Белоруссия», степенно покидая родные причалы, выходил в открытое море, ложился на курс. Медленно таяли россыпи береговых огней, не оставляя ничего, кроме тьмы, бездонности водной стихии под нами и необозримости миров над нами.

Непреходяще колдовское обаяние морской стихии... Дыхание, аромат морских странствий всю жизнь не отпускают нас от себя. Мы ездим, летаем, торопимся, мчимся, устаем от вечного движения, планета стремительно сокращается в размерах... Но вот под ногами упруго и мерно покачивается палуба — и все отступает куда-то перед упоением новой встречи с неизбывно влекущими океанскими далями...

И вновь разматывает воображение нескончаемую ленту морской экзотики: бородатые викинги на кораблях-драккарах; паруса каравелл Колумба; узкие лодки из папируса, пробирающиеся с континента на континент, трюмы судов, груженные диковинными раковинами, пряностями, причудливыми фигурками, ритуальными масками...

Шторм, бегущие к горизонту вспененные валы, пираты, морские чудовища, сладкоголосые коварные сирены — какие только опасности не подстерегают морехода, но кто стремится жемчуг отыскать, тот моря не страшится... Неутолима высочайшая из страстей человеческих — страсть к преодолению, к познанию, вечен зов к соприкосновению с неизведанным.

Издревле и до наших дней мореплаватели привозят из далеких стран и бесценные грузы, которым не нужны трюмы,— память об увиденном, рассказы о жизни других людей, непривычные напевы, вкус и запах незнакомой пищи... Морская стихия, разъединяя, соединяет, ибо одна на нашей планете вода и единым воздухом мы дышим...

Марко Поло, Афанасий Никитин, Васко да Гама, Магеллан, Миклухо-Маклай, капитан Кук... «Изгнанники, бродяги и поэты», кому тесны были их пределы, кого обстоятельства и воля гнали в незнаемое, волнующее, новое. Но разве неведомо и нам сжигавшее их души стремление к странствиям?

Своеволие морской стихии словно само располагает автора к свободному течению мысли, свежие впечатления сплетающей с воспоминаниями, смещающей границы времен, далекое сближая с нынешним, собственное, свое позволяя увидеть в его единстве со всем, что существует на земле...

Следы бывших цивилизаций, руины некогда величественных городов — кого не заставляют они размышлять над судьбами народов, их породивших, испытывать волнение перед ликом Истории?!

Путешествие по чужой земле и чужому времени — это всегда и путешествие в биографию своей страны, в ее минувшее и в современность. Кажется, другая земля — и все та же, одна Земля. Родной край — понятие не только естественно-географическое, но и философское...

XX век дал нам возможность кочевать по миру с ошеломляющими скоростями, неслыханно увеличил вместимость наших жизней. Так отчего же, открыв «Песни мотора» Николы Вапцарова, вздрагиваешь от радостного узнавания его томительной тяги к морю, дальним странам и народам?

Ты помнишь ли то море,
и машины, и трюмы,
что наполнил липкий мрак?

И дикую тоску по Филиппинам,
по звездам, что горят над Фамагустой?
...А там высоко в небе, в час заката
опять дрожали крылья белых чаек,
и небо было светом вновь объято,
и голубела даль морская...

Стозвездность неба, и необъятность моря, и человек, готовый соразмерить себя со стихиями...

Теплоход «Белоруссия» следовал графику средиземноморского маршрута, а мысль текла своим путем, пренебрегая ограничениями и времени, и пространства.

Весь мир в моем представлении делится на места, в которых случалось побывать, и на те, о которых только мечтал и мыслями стремился облететь. Земля Эллады, не знаю почему, издавна привлекала меня, и я с особенным волнением ожидал с ней встречи.

Воды Эгейского моря несут на себе наш корабль — воды, издревле взбороженные греческими мореплавателями. Как возникала тяга человека к морю, как привязало его море к себе и как постепенно постигал человек смысл своего влечения к водным просторам? Вначале простой источник существования, из которого человек мог извлекать моллюсков, добывать рыбу, потом первые, робкие попытки прибрежного, каботажного плавания, торговый обмен, позднее — дальние плавания, открытие новых берегов, островов, континентов, контакт с иными цивилизациями... Так пролагались в далекие от нас времена морские дороги между островами людей, так сопрягало море народы в единое человечество.

Все проходит, и все остается.
но наша судьба— пройти.
Пройти, пути пролагая,
пролагая по морю пути.—

*(Перевод О. Савича)*

— так писал испанский поэт Антонио Мачадо...

Древние греки были в числе первых, кто торил дорогу к новым землям по необозримым морским просторам, кто устанавливал связи с другими народами, заимствуя их достижения, отдавая им свои, расширяя горизонты своего мира. Вся летопись Эллады — достоверное тому свидетельство.

И далекое прошлое, и современность предлагают неоспоримые доказательства того, что даже высокоразвитые цивилизации несли урон от долгой обособленности, когда они не имели или не стремились иметь постоянных взаимосвязей с внешним миром, когда море переставало служить естественным связующим элементом, соединяющим народы и их культуры.

В древности китайские суда доплывали до африканских берегов. Китай обогатил человечество многими великими открытиями. И разве не прискорбно, что бессмертные песни китайского народа, собранные в «Книге поэзии», оказались отгороженными от остального мира Великой китайской стеной, возведенной владыками Китая, замкнувшимися в герметической, «совершенной», «срединной империи», как они величали страну? Разве не прискорбно, что бессмертное это творение поэтического гения стало известным в Европе лишь спустя две с лишним тысячи лет после его рождения на китайских берегах? И не только «Книга поэзии», и не только в минувшие тысячелетия, но и в последующие, более близкие нам времена самоизоляция великоханьских богдыханов пагубно сказывалась на развитии духовного общения китайцев с культурами других народов. Между тем общение Китая с индийской культурой и цивилизациями Средней Азии было обоюдно полезным.

Иной выглядит картина, когда обращаемся мы к тем древним цивилизациям, которые не замыкались в себе и не только делились человеческими ценностями с другими, но и, в свою очередь, постигали образ жизни и культуры иных народов во благо усовершенствования своего существования, обогащения своего духовного мира.

На бесчисленных примерах истории Запада и Востока можно проследить связи между ними, особенно наглядные в таких давно обжитых человеком районах, как Средиземноморье. Морские пути содействовали распространению греческой культуры и в Малой Азии, и в странах восточного Средиземноморья, и в Крыму; повсюду эллинское влияние вступало в сложные реакции взаимодействия с местными культурами; всеизвестна, например, роль, которую сыграла Милетская школа философов и эстетиков — древнейшая материалистическая философская школа Греции — и ее влияние на дальнейшее развитие материалистического мировосприятия.

Эллинизм стал первым в известной нам истории проявлением синтеза культур Запада и Востока. Эсхил символически рисовал Европу и Азию в виде родных сестер, которые хоть и ссорятся подчас, но никогда не могут забыть о своем единокровии.

Уровень цивилизованности, помимо всего, можно определить способностью и умением обращаться с другими людьми, согражданами и иноземцами, ощутить далекое как близкое, как непривычную форму общечеловеческих ценностей. Не потому ли путешествия принадлежат к числу самых увлекательных и плодотворных путей познания? Путешествия — несравненный университет.

Примечательно, что древние культуры развивались в прибрежных, приморских регионах ранее и быстрее по сравнению с глубинными землями. Соприкосновение с иноземными цивилизациями ускоряло расцвет национальных культур. Разумеется, обитатели прибрежных районов не ставили перед собой осознанную цель: распространять свою культуру. Они прежде всего боролись за средства существования, утверждали себя на родных берегах, расширяя вместе с тем связи с другими.

Вспомним, что первоначально именно

вдоль побережья Средиземного моря, в которое из Черного моря вошло наше судно, возникла узкая культурная полоса, ответвлявшаяся во внутреннюю часть материка — до Атлантического побережья Испании, Франции и Англии. Впоследствии именно эта полоса превратилась в огромный культурный регион Западной Европы.

Людские поселения, подобно человеку, приобретают с годами свой лик, своеобычность, характер. Встречаются города, чье прошлое словно олицетворяет поступь веков — историю племен, народов, государств. Знаменует пути, проложенные бесчисленными поколениями, чередой шествующими в будущее. Таков Пирей, одно из древнейших поселений, расположенное на северо-восточном побережье Саронического залива Эгейского моря.

Когда судно наше причалило к пристани крупного греческого порта Пирей, невозможно было одолеть волнение: миг встречи с берегами античной Эллады, прославленной в истории человеческой мысли! На этой земле, в далекие от нас дни, развивались события беспримерной исторической значимости для судеб греческого народа, о которых поведали нам «Илиада» и «Одиссея».

Море образует здесь как бы три гавани, самой природой расчлененные так, что их удобно запереть от врага и охранить Афины. Фемистокл, который начал строительство укреплений, делал расчет на фортификационные возможности Пирейской гавани. После его изгнания защитные сооружения Пирея были соединены с Афинами знаменитыми «длинными стенами», упоминания о которых мы находим у многих античных авторов. «Длинные стены» простояли до 404 года. Историки любят писать: «Грозный завоеватель пришел и разорил...» и т. д. Не чересчур ли просто? Глядя на Пирей, я думал о долгой и трудной судьбе города, который в иные периоды истории казался вечным и непобедимым, в другие — уничтоженным навек... Но Пирей раз за разом возрождался, сказочным Фениксом восставая из пепла и руин.

...Во второй половине XV века этот город постигла нелегкая участь многих греческих городов — он пришел в запустение и обнищал под турецким игом. Но снова, когда в прошлом веке Греция добилась свободы от османского порабощения, возродился, обстроился, стал крупным морским портом и индустриальным центром.

Есть города, куда и в первый раз являешься, будто они давным-давно тебе знакомы, идешь по их улицам, ожидая увидеть хорошо известные дворцы или парки, и, заглянув за угол, понимаешь, что не обманулся. Таков и Пирей. Фантазия на каждом шагу здесь оживляет минувшее, а жизнь причудливо соединяет его с нынешним. Театр, выстроенный Периклом, служивший в его времена и местом собраний для жителей Пирея... Судилище, воздвигнутое тоже Периклом,— память подсказывает: не было кары в Элладе страшней, чем изгнание, чем отторжение преступника от земли, на которой родился он. Осужденный, он уже не имел права ступить на землю отцов и должен был выслушать приговор, стоя в лодке...

А вот длинные ряды лавок менял заставляют предположить, что шум и гомон вокруг них продолжаются со дней Фемистокла, да так и не затихли!

Если взглянуть на Пирей с афинского Акрополя, вокруг которого сегодня, как и две с половиной тысячи лет назад, блещут красотой Афины, то порт видится каменной громадой, врубающейся в движение волн. Пестрая мозаика домов обнимает возвышенность, и замысловатый лабиринт улочек и улиц опускается до самых морских причалов. Кажется, будто века истории Пирея уложены в гигантские ступени, ведущие от моря к вершине холма.

Есть совершенно особое очарование в городах, которые стихийно застраивались на протяжении тысячелетий и где несочетаемые, казалось бы, элементы образуют неожиданную гармонию.

Сегодня набережная Пирея — нескончаемый ряд вывесок судовладельческих компаний, банков, туристических агентств. И бесконечных магазинов, торгующих греческими сувенирами, разными безделушками. А совсем рядом в тихой бухте лениво покачиваются белоснежные яхты и скоростные катера, стиль и комфортабельность которых не вызывают сомнений в элитарной их принадлежности. Похоже, что хозяева их пользуются всеми благами земного бытия...

Судьбе оказалось угодно, чтобы в пору, когда наша «Белоруссия» приближалась к Пирейскому порту, из Греции был отправлен эстафетой в Москву олимпийский огонь. Поистине символический момент для пребывания на берегах Эллады, в городе, связанном с именем и деятельностью Перикла! Мысль невольно обращается к древности — удивительной эпохе человеческой истории, эпохе расцвета античной демократии, гуманистические идеалы которой воплотились в Олимпийских играх.

Человек как «мера всех вещей», человек, прекрасный и душой, и телом,— есть ли что-либо выше этого идеала? Вспомним, как говорили о невежде эллины: ни читать, ни плавать не умеет. Вспомним, что к участию в Олимпийских играх допускались лишь те атлеты, чья жизнь считалась безупречной. По Олимпийским играм велось летосчисление, войны прекращались, чтобы могла торжествовать красота молодости, силы и ловкости. Правда, с упадком античной демократии Игры стали вырождаться в жестокое зрелище, а в 394 году н. э. император Феодосий, в соответствии с христианским догматом о несовер-

шенстве человека и грешности его плоти, объявил Игры «варварскими» и до основания разрушил великолепные спортивные сооружения и храмы, где освящались олимпийские состязания. Долгими столетиями потом река Алфей и поток Времени размывали благословенную землю, где некогда венками из лавра, изобильно растущего по склонам гор, увенчивали победы прекраснейших и сильнейших...

Прошли века, и гуманистические идеи Олимпийских игр возродились как символ необходимости международного сотрудничества, как средство нравственного, умственного, физического, эстетического совершенствования человека XX века. На наших глазах спорт обретает значение символа объединения народов, обещая стать в грядущем единственной — добавлю: и прекраснейшей — формой соперничества между ними. Позволю себе привести весьма красноречивые данные: по подсчетам социологов, зрителями крупных спортивных соревнований оказываются одновременно около двух миллиардов человек, иными словами, чуть ли не половина человечества, отождествляя себя с атлетами, охвачена единым порывом сопереживания с теми, кто проверяет на себе пределы человеческих возможностей.

И вот теперь, в наши дни, когда история, казалось бы, давно погребла под своими обломками память о бесславных гонителях Олимпийских игр, новоявленный Феодосий возникает в облике президента Соединенных Штатов, вознамерившегося погасить олимпийский огонь в Москве. Поистине, кто не знает прошлого, рискует повторить его ошибки!

Уместно напомнить и слова древнегреческого поэта Пиндара: «Даже глупцам легко потрясти государство, но трудно восстановить его без помощи богов».

Остается надеяться, что настанет час, когда боги — или История — восполнят урон, наносимый народам иными правительствами!

Сейчас, когда ложатся на бумагу эти строки, уже все знают, каким оглушительным провалом окончились все тщания бойкотировать Московскую Олимпиаду, все попытки повернуть вспять течение реки времени, подорвать идеи международного олимпизма.

Первая Олимпиада, проведенная в социалистической стране воплотившей на деле мечты Пьера де Кубертена о массовом спорте, стала ярчайшим праздником Человека, важной вехой в превращении олимпийского движения в подлинно глобальный феномен, о чем так убедительно свидетельствуют хотя бы блестящие достижения атлетов Черной Африки. А ведь в совсем недавнем прошлом африканские спортсмены были вынуждены добавлять свои рекорды к славе чуждых знамен!

Как прекрасен мог бы быть этот мир, не будь в нем сил, стремящихся свернуть контакты, уничтожить само стремление людей к сотрудничеству и взаимопониманию...

...На улицах Пирея множество газетных киосков, буквально заваленных журналами, книгами карманного формата, газетами на разных языках. Они привлекают яркостью красок, глянцем обложек, броскостью заглавий, обнаженностью женских тел.

— Нет ли у вас советских изданий? — поинтересовался я у пожилого человека, дремавшего за прилавком.

— Советских? — переспросил киоскер.

— Да, на русском языке...

— Нет, не бывает.

— А может быть, в других киосках, поблизости?

— Ни поблизости, ни во всем нашем районе, насколько я знаю.

— А в книжных магазинах?

— Там можно встретить кое-что на русском... только это не ваши издания,— уточнил собеседник.

— Не московские?

— Нет, нет... это, кажется, эмигрантская литература.

Трудно, конечно, обобщать. Возможно, случай этот, хотя и симптоматичный, но не самый показательный. Многое еще впереди. Отнесемся к перспективе с надеждой, пусть и без особых иллюзий.

В Пирее, как и в Афинах, на улицах и в кафе непрерывно разливается музыка, особенно запоминается характерное звучание струн базуки, древнего народного инструмента. Музыка сопровождает вас повсюду во всем огромном приморском регионе, охватывающем Грецию, Италию, Болгарию, Испанию. Полагают вообще, что жители прибрежных земель особо одарены музыкально.

Вспоминаю Новый Орлеан, раскинувшийся на берегу Миссисипи. Концертный зал «Презервейшн холл» в центре старого города, где сохраняются традиции негритянской народной музыки. Здесь все как было в старину, много лет назад. Никаких украшений. Никаких новшеств. Одна старина — все, как было в период зарождения нью-орлеанских мелодий. Нет здесь обычных для американских концертных залов буфетов с закусками и напитками. В «Презервейшн холл» угощают только музыкой...

Но вот приходит час отплытия от берегов Эллады. «Белоруссия» держит курс на Неаполь, мы плывем к гаваням другой античной цивилизации Средиземноморья. А в памяти возникают строки чеканных гекзаметров — их ритм словно вобрал в себя биение морских волн:

Феб златокудрый забросил свой щит
златокованый за море,
И растекалась на мраморе алым
румянцем заря...

В строго размеренные ритмы укладывалась и жизнь в нашем временном плавучем доме.

НТР освободила человека для странствий, и человечество, тронувшись в путь, придало некую карнавальность облику транспортных средств, равно как и портам, аэропортам, вокзалам.

В самом деле, разве не празднично, не карнавально выглядит стройная африканка в ярком и пышном головном уборе, оживленно болтающая с корректным японцем, одетым в самый наиевропейский костюм. И неподалеку: рослая пара, явно скандинавского происхождения, вздумала нарядиться в индейские пончо и подвязать светлые волосы кожаными ремешками. Француженка, с истинной грацией выступающая в расшитой украинской кофте, тоненькая индианка в линялых джинсах с кастовым знаком на лбу, итальянец в узбекской тюбетейке, разноплеменная группа студенческого вида в одинаковых спортивных куртках, с которых вопит призыв: поцелуй меня!

Наш корабль — не исключение, но вдобавок к карнавальному шествию пассажиров иной раз команда организует и специальные развлечения. Экипаж «Белоруссии» решил устроить театрализованное представление для пассажиров — пиратский бал. Ресторан заполнился совсем уж необычными посетителями — детьми Флинта, авантюристами, искателями приключений, мечтающими об островах сокровищ.

Словом, обстановка, когда в самую пору прислушаться — а не закричит ли вдруг попугай: пиастры, пиастры! Впрочем, если б и закричал попугай, боюсь, его едва ли кто услышал бы в грохоте музыки, во взрывах смеха, в общем веселье, от которого трудно было остаться в стороне.

Молодежь — и не только она — самозабвенно разыгрывала грозных морских волков, и мысль моя вновь обращалась к притягательной силе морской романтики, которая, с детства захватив наши сердца, более не покидает их... И о другом думалось среди непринужденного веселья и остроумных выдумок команды «Белоруссии», охотно подхватываемых пассажирами,— о настоящем пиратстве, отнюдь не овеянном исторической дымкой, о пиратстве сегодняшнем, разнузданном и кровавом, где выкрик «пиастры!» отчетливо слышен в велеречивых рассуждениях самозваных вершителей высшей справедливости, взрывающих бомбы на переполненных вокзалах, угоняющих самолеты, очищающих банковские сейфы. Но тема эта, пожалуй, слишком серьезна, чтобы обсуждать ее на карнавале. Тем более что повод вернуться к ней в контексте более подобающем, увы, представится: волею судеб беззаботный наш маскарад на борту «Белоруссии» оказался прелюдией доподлинного зрелища пиратства, с настоящим грабежом, которое ожидало нас в Неаполе,— пока остается разве что поблагодарить экипаж «Белоруссии», столь предусмотрительно подготовивший нас психологически ко встрече с пиратами на суше.

...Завораживающая красота Неаполитанского залива. Недаром влек к себе иноземных путников этот город, вызывал такой большой интерес и к минувшим дням, и к современности. Думаю, заблуждаются те, кто находит некую слащавость в итальянских прибрежных ландшафтах. Лично меня встречи с этими берегами неизменно склоняют к мыслям о претворении в искусство гармонии природных линий, красок, звуков. Не музыка ли Средиземного моря воплотилась в прославленную неаполитанскую оперную школу, не она ли вызвала к жизни упоительные мелодии Скарлатти, не она ли сделала Неаполь «поющим городом»? Да и вообще, не зря же явилась на свет пословица: «Увидеть Неаполь, потом умереть».

За долгие века существования, от скромного греческого поселения Неаполис и до наших дней, Неаполь накопил немало сокровищ, которые неодолимо влекут к себе толпы туристов. Национальный музей заслуженно гордится экспонатами, добытыми из-под пепла Геркуланума и Помпеи, строгие своды церкви Санта-Мария Инкороната укрывают чудесные фрески школы великого Джотто. Сколь контрастен переход из церковной приглушенности цветов и звуков в ослепительный солнечный свет людной улицы, в визг автомобильных тормозов, в темпераментную жизнь современного южного города под италийскими небесами...

Новая встреча с Италией, страной, где чуть не ко всему хочется добавить эпитет «классический»... Правда, позволительно при этом задать вопрос: «классический» в сопоставлении с чем? Средиземное море, срединное море культурных взаимовлияний, с наглядностью убеждает нас: в историко-культурном процессе главенствует не момент зарождения новых цивилизаций за счет гибели предшествующих, а преемственность, которая сохраняется, пусть даже иной раз не в очевидной форме. Уместно напомнить слова из письма А. Эйнштейна М. Борну: «Наверное, самое прекрасное, что есть в жизни, это раскрывать для всеобщего обозрения невидимые связи».

Связь между Западом и Востоком... Одним из первых блистательных воплощений ее была эллинская культура, Византия, объединившая в себе западно-восточную духовность; эллинизированные народы Сирии, Палестины и Египта и их соприкосновение с арабами, с миром ислама, которому суждено было впоследствии стать хранителем античности для лучших умов эпохи Ренессанса...

Ранее других европейских стран Италия установила оживленную морскую связь с Левантом, и с того великого часа, когда, по определению Ф. Энгельса, там взошла заря современного мира, земля эта выдвинула на мировую арену людей поистине грандиозных. Я продолжаю цитировать Ф. Энгельса:

«Эпоха Ренессанса, начавшаяся со второй половины XV столетия, явилась величайшим прогрессивным переворотом из всех, пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нужда-

лась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености».

И первой среди гигантов Ренессанса высится колоссальная фигура Данте, «последнего поэта средневековья и в то же время первого поэта нового времени».

Рассказывают, что как-то на улице его узнали в лицо две дамы.

— Это Данте Алигьери? — спросила одна.— Тот, кто спускается в ад, а потом возвращается и описывает, кого он там видел?

— Это он,— подтвердила вторая.— Поэтому его волосы закурчавились от адского огня, а кожа потемнела от копоти.

Данте был первым из своих современников, кто не боялся проникать в суть самых крайних проявлений человеческой души, спускаясь в ад страстей — на самом дне его пытали предателей — и воспаряя к раю любви и нежности.

Ренессанс — это проявление индивидуальности, утверждение неповторимости и самоценности человека, протест против порабощения личности догматами религии.

Катерина Сиенская говорила: «Бог противоположен миру и мир противоположен богу». Но творцы эпохи Ренессанса пером, резцом и кистью, жизнями своими доказывали: Человек — венец творения и его возможности грандиозны. Художники и мыслители Ренессанса брали в учителя природу и античное искусство; ими владело неистовство страсти к познанию, и ни одна другая эпоха не видела столь разносторонне и щедро одаренных людей.

Познать глубину и суть предметов и явлений, не довольствуясь простым их наблюдением,— таков был девиз людей Ренессанса. Леонардо да Винчи писал в «Трактате о живописи»: «Живописец, бессмысленно срисовывающий, руководствуясь практикой и суждением глаза, подобен зеркалу, которое подражает в себе всем противопоставленным ему предметам, не обладая знанием их».

Мадонны Леонардо становились прекрасными земными женщинами, озаренными счастьем материнства. Он был математиком, механиком, строителем и мыслителем. Скульптором, художником, мыслителем, поэтом был бессмертный Микеланджело. Никколо Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом и первым военным писателем нового времени. А. С. Пушкин называл Макиавелли великим знатоком природы человеческой.

Один из самых высоких взлетов человеческого гения ознаменовал собой великий Микеланджело. С его именем связано создание Флорентийской Академии искусств — одной из самых древних в мире.

Не так уж много на свете академий, которые, просуществовав века, сохранили бы живой дух своих создателей. Полагаю, что к их числу можно отнести и Флорентийскую — не случайно же сегодня ее членами состоят такие выдающиеся современные художники и скульпторы, как Ренато Гуттузо и Джакомо Манцу. И не случайно в академии находится шедевр Микеланджело — вечно юный Давид.

По сей день сохранилась эмблема Академии искусств, созданная Микеланджело,— три взаимно соединенных кольца: скульптура, живопись, поэзия. Именно то, что выражало гений самого Микеланджело, для которого три этих вида искусства были нерасторжимым единством.

Глубина поэтической мысли, внутренний трагизм, вера в высокое предназначение человека и осознание одиночества художника в обществе своекорыстия и зла — таковы отличительные черты могучего искусства великого гуманиста. Недаром Микеланджело сказал о себе: не родился еще человек, который, подобно мне, был бы столь склонен любить людей.

Человек для Микеланджело — центр вселенной. Человеческая бренность — и вечность вселенной... Вечность времени... Человек — и таинство движения времени... В человеке, в развитии его духа он видел высшее и наиболее совершенное воплощение природы. Творения и взгляды Микеланджело явились выражением гуманистического мировосприятия, восторжествовавшего в эпоху Возрождения, открывшего новую эру в истории культуры...

И в наши дни, когда научно-технический прогресс, все убыстряя развитие коммуникаций, приближает народы друг к другу, морские пути общения продолжают сохранять свою особую привлекательность.

И вот перед глазами снова — какой уже раз на моем веку — распахнулась неповторимая панорама чужого города, избравшего своей эмблемой изящную красную лилию и оставляющего в сердце неизлечимые впечатления... Флоренция живет собственной жизнью, казалось, лишь она одна живет извечными законами, удивительной своей судьбой.

...Жемчужина Тосканы — прекрасная Флоренция, город драматической и яркой судьбы. Город великого духа, раскрытия человеческих дарований, обитель художественных дерзаний. Город великих традиций, которые не просто уважались гражданами страны, но служили предметом их гордости и восхищения. Город, в котором многое можно узнать о человеческом благородстве, хотя, увы, не меньше и о человеческом коварстве.

Когда своими глазами видишь краски, свет и тени Тосканы, по-новому воспринимаешь неумирающее искусство Возрождения, особенно живопись и скульптуру. Флоренция, ее памятники архитектуры и искусства буквально обрушивают на вас шквал образов невиданной силы, укрепляющих веру в жизнь, в вечную благость света и воздуха, в безмерность возможностей человека.

Не об этом ли думал Байрон, когда писал свои горькие и вдохновенные строки:

В обители священной Санта Кроче
Есть прах: бессмертье в нем воплощено.
И все святое им освящено,
Хотя он сам — частица славы бренной,
Что впала в хаос. Там лежат давно
Альфьери и Анджело; дивной цели
Достигший Галилей, кому дано
Страдание в удел; Макиавелли
Вернулся в землю там, где встал
из колыбели.
Подобные стихиям четырем
Здесь новый мир — Италию создали
Те гении.

*(Перевод О. Чюминой)*

Человек, которого теперь возвысили не античные боги, а титаны Ренессанса, снова взошел на пьедестал почета в этом новом мире. Подобно тому как Коперник поставил Солнце в центр нашей системы мироздания, так гуманисты провозгласили Человека центром всего сущего.

Эпоха великих морских открытий, философски-художественные открытия Ренессанса раздвинули горизонт культурной ойкумены, послужили могучим стимулом для развития связей между Западом и Востоком.

Как никогда дотоле стали необходимы человечеству морские пути, все более обретавшие качества кровеносных артерий, питающих человеческий разум, обнаруженное одним помогающих сделать достоянием многих.

Как никогда прежде стало человечество сознавать единство материального и духовного прогресса и ценить многообразие его форм.

По слову В. И. Ленина: «Разные нации идут одинаковой исторической дорогой, но в высшей степени разнообразными зигзагами и тропинками...»

...С Флоренцией мы расстались после вечерней трапезы в маленькой траттории, насладившись знаменитым итальянским прошьюто, оливами, прославленными сырами, гарганзолой, и пармиджано, и, конечно же, классическим кьянти — вином, веселящим душу и молодящим тело, божественным даром неиссякаемо щедрой Тосканы.

Из Флоренции вновь к побережью. К подножию Везувия.

В живописность неаполитанских уголок, которые нет-нет да и заставят путешественника почувствовать себя героем неореалистического итальянского фильма.

У входа одной из меняльных контор, в которую мне пришлось зайти, на мотоцикле сидел молодой, крепкого сложения парень, очень зорко наблюдавший за каждым посетителем.

Я поинтересовался у менялы, не гангстер ли этот мотоциклетный всадник.

— Нет, нет,— ответил хозяин.— Это мой компаньон — служба безопасности...

— У вас собственная служба безопасности? — спросил я.

— Приходится, знаете ли, самим себя оберегать... Город у нас своеобразный, несколько неспокойный...

Трудно было понять что-либо из его ответа.

— Неаполь? — вырвалось у меня недоуменно.

— Да, Неаполь, как и Милан, вслед за Нью-Йорком, Чикаго — это все города, где сегодня правят гангстеры, кланы и роды мафии...

Мало доброго обещала эта характеристика.

Подтверждение она получила и в пору нашего пребывания в Неаполе. Пока мы в солнечный июльский день предавались эстетическим радостям, осматривая древний собор, где, казалось, воздух застоялся с незапамятных времен, вполне современный неаполитанский вор, выследив жертву, сорвал с шеи какой-то иностранки золотую цепочку и на глазах у целой толпы итальянцев побежал в ближайший переулок. Женщина закричала, ее муж бросился догонять грабителя. Никто, увы, не поспешил на помощь— никто не попытался задержать вора, ни один человек не проявил участия к жертве грабежа. Не шевельнулись и полицейские, стоявшие неподалеку и как бы не заметившие происшествия...

Вскоре муж возвратился ни с чем и стал рассказывать, что преступник не один, что в переулке его поджидали сообщники, так что преследовать вора дальше было небезопасно. Обратились к полицейским, которые по-прежнему стояли как изваяния. Блюстители порядка довольно холодно заявили, что за всем не уследишь и что их главная обязанность — «поддержание общественного порядка»...

— А разве грабеж средь бела дня — не нарушение этого порядка? — возмущенно спрашивали пострадавшие.

— А что, собственно, с вами стряслось: вас ранили, избили, нанесли телесные увечья? — Участие полицейских ограничилось этими ответными вопросами.

Тем временем толпа очевидцев оживилась. Заспорили между собой, очень темпераментно, во всех подробностях стали изображать в лицах ограбление. Выразительно показывали друг другу, как преступник срывал цепочку, как это не удавалось ему сделать с первого раза, как он толкнул женщину и со всей силой рванул цепочку, как побежал...

Все это было похоже на дурной сон после чтения романа ужасов.

— Телесные травмы, следы насилия имеются? — допрашивал пострадавших полицейский.

Не скрою, мы все растерялись от непредвиденного поворота событий, и эта наша растерянность явно укрепляла в блюстителях порядка ощущение собственной правоты. Я бы добавил — и безнаказанности.

— Не понимаю, чего вы требуете,—

негодовал полицейский.— Вещественные доказательства можете предъявить? Нет?

— Вещественные доказательства? — громко прозвучал возмущенный голос из толпы.— Они в руках преступника, которого вы должны были задержать, а не делать вид, будто ничего не замечаете.

Как это нередко бывает в подобных ситуациях, голос разума отрезвил толпу, которая сгрудилась вокруг полицейских и требовала от них действия. Она была столь экспрессивна, что казалось, будто кое-кто из мужчин готов с кулаками наброситься на стражей закона.

— Паспорт, удостоверение, документы не похищены, остались при вас? — Полицейский обнаружил почти суеверное почтение к бумаге. В противном случае пришлось бы составлять акт или протокол...

Возмущение толпы нарастало.

— Да что же это такое: кражи, ограбления без конца — чуть ли не каждую секунду. Угоняют автомобили, грабят магазины и квартиры, похищают детей... Пишешь заявление в полицию, а вам показывают целый фолиант протоколов тяжелых преступлений, ваш случай оказывается просто заурядным.

Ни намека на возмущение или сочувствие в голосе полицейского. Внутри у него было пусто. Чудес в мире не бывает. Из ничего и получается ничто. Глядя на этих блюстителей законности, убеждаешься, что нечистая сила действительно существует, потому что у нее есть ангелы-хранители. Подтвердилась правдивость слов менялы: перед нами возник еще один лик нынешнего западного уклада жизни.

Я возвращался на корабль под тягостным впечатлением разыгравшейся перед глазами уличной сцены

На борту «Белоруссии», просматривая свежие газеты и журналы, не мог не обратить внимание на крикливые заголовки статей, с энтузиазмом расписывавших демократические порядки, свободу, права человека: неограниченные возможности личности и прочие красоты западного образа жизни. И тут же — потоки «высоконравственного» гнева по поводу «нарушений свободы» и «прав человека» — в коммунистическом мире, конечно. Что и говорить — «свободная» пресса, где информация за деньги продается и покупается целыми тоннами. На страницах журналов демонстрировались изысканные наряды, просторно располагалась скандальная светская хроника, расписывались пикантные приключения кинозвезд, завистливо смаковались всевозможные истории, героям которых удалось разбогатеть и стать миллионерами — неважно, каким способом. Пресловутый «вещизм», размалеванный и глянцевый. Потребительство — одновременно сытое и ненасытное. Агрессивное потребительство.

Должно быть, неприятный осадок от дневного происшествия заставил с особым вниманием прочитать заметку во французском «Пуэн», тем более что касалась она неаполитанских дел.

Вот что в ней содержалось:

«— Я уборщик, скорей откройте дверь!

С этими словами постучались в дверь номера 22 неаполитанской гостиницы «Рекс». Было два часа тридцать минут ночи. Проживавший в номере Пабло Талиавини, 62 лет, отпер дверь, и в комнату ворвались двое неизвестных в масках, с автоматическими пистолетами в руках.

— Ни звука! — предупредили они.— Деньги, часы, кольца — на стол. Вывернуть карманы!

Напуганный Талиавини безмолвно повиновался. Забрав ценности, преступники связали его, заткнули кляпом рот и заперли за собой дверь.

Не нарушая ночного покоя, неаполитанские бандиты грабили обитателей гостиницы. Их сообщники тем временем караулили в холле связанного портье.

Систематическое ограбление гостиниц — новейшее изобретение богатого воображения неаполитанского ворья. Воры опробовали свой метод в одной из гостиниц Санта-Лючии, центрального района города, где нашли идеальные условия для ночной работы».

Может быть, нравы неаполитанских грабителей и не заслуживали бы столь подробного воспроизведения, если бы взаимоотношения «полицейских и воров» не становились частью все более сложных и тяжелых проблем Италии сегодняшнего дня.

Инфляция и обгоняющая ее безработица; свертывание промышленного производства, закрытие все большего числа предприятий и широкое применение «лаворо негро» — труда, не ограниченного никакими законодательными нормами; вопиющая диспропорция в развитии индустриального Севера и аграрного Юга; деградация государственного аппарата — перечень язв современной капиталистической Италии можно продолжить.

И все же наибольшее внимание обращает на себя новейший феномен политической жизни — эскалация деятельности террористов, которая и в нынешнем историческом контексте предстает как экстремальное выражение левацкого оппортунизма, точно охарактеризованного ленинским определением — «мелкобуржуазный революционаризм».

Молодежь не желает мириться ни с эксплуатацией, ни с кровавыми авантюрами империализма, первейшей жертвой которых она неизбежно становится. Но если рабочая и пролетарская часть ее избирает путь организованных действий, вливается в передовые профсоюзы, тяготеет к коммунистическим и рабочим партиям, то мелкобуржуазные группировки, состоящие, как правило, из образованной и обеспеченной молодежи, обращаются к опасным, жестоким играм в революцию, возводимую в некий абсолют.

Май 1968 года во Франции наглядно показал, какого накала достигло недовольство буржуазным образом жизни, накопившееся в молодежной среде. Но события того времени показали и другое — теоретическую неподготовленность и политическую незрелость части молодежи, которую, при умелом использовании, можно превратить в орудие борьбы против демократических социальных преобразований в мире.

Выступая на XIII съезде ИКП, ее Генеральный секретарь Энрике Берлингуер говорил:

«...по сравнению с 1968-м и 1969 годами обстановка резко изменилась. Политика и деятельность левацких групп уже не являются выражением протеста и бунта молодежи, пусть даже искаженным, инфантильным и авантюристическим. Напротив, мы наблюдаем перерождение, которое должно вызывать беспокойство не только у нас. С одной стороны, руководители этих групп открыто противопоставляют себя организованному рабочему движению, профсоюзам, ИКП с единственной целью — расколоть их. С другой стороны, ныне совершенно ясно, что, независимо от их воли и искренности, деятельность этих групп может быть использована консервативными и реакционными силами как элемент их темных планов и провокаций, направленных против самих основ итальянской демократии и в первую очередь против рабочего класса» [1].

У террористической организации под названием «Бригата росса» — БР, получившей столь зловещую известность, не было, как известно, недостатка в советчиках, да и в помощниках, как тайных, так и явных. Вначале террористам необходимо было подвести «теоретическую», с позволения сказать, основу под то, что они цинично именуют «вооруженной пропагандой». Особенно, как мы знаем, им пригодился пресловутый тезис Мао Цзэдуна: «Наше коренное средство — насилие и война...» Недаром пекинский журнал «Хунци» услужливо растолковывает террористам: «Бунт — дело правое... Чтобы перевернуть старый мир вверх тормашками, разнести его в клочья, нужно создать хаос и сплошную неразбериху. И чем больше неразберихи — тем лучше». И вот уже изнывает от нетерпения Джерри Рубин, основавший в Америке Партию молодежи мира. Он требует: «Действуйте, действуйте! Потом будете думать. Великие скачки обеспечивает импульс, а не теория. Теории появляются, когда люди обсуждают сделанное, но сначала нужно сделать...» Из США пачками доставляют бандероли с печатными руководствами: «Тактика партизанской войны в больших городах».

Заигрывают с молодыми террористами и стареющие интеллектуалы, которые больше всего боятся отстать от политической моды и прослыть ретроградами.

Один из известных итальянских кинорежиссеров преподносит террористам размашистую выкладку — индульгенцию, заключенную лозунгом «Плевать на этику!».

Террористы действуют. Мыслят за них другие умы, весьма искушенные и многоопытные. БР заявляет, что бригадисты принимают на вооружение метод систематического распространения паники, а «от паники — через хаос, к разрушению». Разрабатываются и конкретизируются методики:

«Стрелять надо по ногам — чтобы люди хромали, как власть».

«Убивая одного, воспитывай сотню».

«Полицейский — просто мишень для стрельбы».

«Смерть — поистине пикантная приправа к жизни».

Если бы не последующие сообщения средств информации, могло бы почудиться, будто читаешь скверный роман ужасов. Но это — страшная правда, это просто выдержки из инструкций «городских партизан» — «экспериментаторов революции», как они кощунственно себя провозглашают.

И один из результатов — в политической истории Италии последних лет вряд ли произошло событие, которое наглядней убедило бы мир в прямой связи левацкого терроризма со стратегией чернейшей реакции, чем похищение и убийство Альдо Моро.

Подробности этого чудовищного гиньоля достаточно хорошо известны, и нет нужды останавливаться на них.

Дело в ином. Альдо Моро был убит БР как раз тогда, когда, благодаря твердости позиции Моро, руководство ХДП, ослушавшись предупреждений из-за океана о нежелательности участия ИКП в управлении Италией, впервые за три десятка лет все-таки согласилось на образование парламентского большинства с участием коммунистов.

Альдо Моро писал своей семье:

«Меня скоро убьют... Повторяю, я никогда никого не оправдаю и не прощу... Пусть не думает ХДП, что она решила свои проблемы, уничтожив Моро. Я всегда буду жить в ней, напоминая о необходимости сопоставления мнений и поиска альтернативы...»

В Италии гремят выстрелы. Стреляют и левые и правые экстремисты, стреляют и специально подготовленные полицейские командос. Да не покажется это никому парадоксом: все выстрелы направлены в одну цель — в силы, борющиеся за прогресс, за демократические социальные преобразования.

Гремят выстрелы и рвутся бомбы отнюдь не в одной Италии. Политические причины терроризма могут окрашиваться в национальные цвета. Преступления экстремистов в ФРГ, в Испании, «охота на людей» во Франции, угоны самолетов, вооруженный шантаж

---

[1] Цит. по книге А. А. Веселицкого «Кому это выгодно», М., Политиздат, 1980.

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
МОРСКИЕ ЗАПИСИ

всех видов — я уж не говорю о совершённой недавно очередной «антипрезидентской акции» на американской земле — а сколько их известно истории! — все это, вместе взятое, все более походит на необъявленную войну, со значительными жертвами среди мирного населения.

Очевиден и главный прицел — против демократии, против реальных сил, отстаивающих истинные права человека.

Не случайно все громче слышны требования обратиться к первопричинам брожения молодежи капиталистических стран, в силу которых она делается столь соблазнительным объектом для манипуляторов сознанием — к самой системе капитализма. Все чаще стали задаваться вопросом о том, кто снабжает террористов оружием, деньгами, информацией, фальшивыми документами, как удается им совершать невероятные по дерзости побеги из тюрем, известных строгостью режима.

Когда стало долее невозможно прятать от глаз мировой общественности существование «мозгового центра» международного терроризма, Вашингтон швырнул мировой общественности версию, перед невероятностью которой дрогнули даже видавшие виды антикоммунисты — «рука Москвы»! Ну что тут остается прибавить? Кому неведомо, позволительно спросить, возвращаясь к сегодняшней яви, что Советский Союз не только последовательно выступает против террористической деятельности, как одной из вредоноснейших форм политического авантюризма, но и добивается принятия мер, ей препятствующих,— упомяну хотя бы меры, направленные против воздушного пиратства. Другими словами, не назвать ли обвинения Вашингтона тем, что они воистину собой являют,— достаточно примитивной попыткой свалить вину с больной головы на здоровую? Вашингтону нужно любой ценой принизить роль и значение движения народов за свободу, приклеивая ему ярлык «международного терроризма» да еще ставя под сомнение его подлинность;— разве не «рука Москвы» подталкивает народы на сопротивление, на борьбу? И разве мысль о том, что «международным терроризмом» руководят из Москвы,— не прекрасный способ запугать обывателя и заставить его терпеливей нести тяготы эскалации военных бюджетов?

Уместно напомнить в этой связи слова Эндрю Джексона, одного из былых президентов США: «Когда вспоминаю, что бог справедлив, я содрогаюсь за судьбу Америки!»

...Каждый заход нашего судна в порт сулил нечто новое, неизведанное. Предощущение встречи с неизвестным миром заставляло подниматься на палубу едва ли не всех пассажиров — людей различных наций, культур, традиций. Все они, кажется, испытывали одинаковый интерес к тому, с чем суждено им было встретиться. Не только зрительно, но и с помощью кино- и фотографических аппаратов они стремились сохранить память о виденном, постигнутом ими в пути, остановить мгновение прекрасного — величие природы и величие человеческого творчества.

Однако не всякий раз и далеко не всюду нас ждали счастливые мгновения соприкосновения с чужой реальностью и образом жизни. Не все сущее приемлет человек. Над многим он задумывается. Многое подвергает сомнению. Иные же явления вовсе отвергает. Нельзя не согласиться с бессмертным Саади: «Не всякая раковина беременна жемчужиной». Верно, конечно, и то, что на возникающие перед нашими глазами картины мы смотрели по-разному, по-разному видели и судили. Различия в наших критериях и оценках, разумеется, объясняются социальными причинами, мировосприятием, симпатиями и антипатиями. Но это не мешало нам вести живой разговор и дружески спорить, стремиться лучше познать других и самих себя. Главное ведь — оставаться собой. Как говорил Эпикур: «Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто присоединится к мнению толпы о богах».

За время морского плавания на нашем судне возникло некое содружество пассажиров. Удивительная человеческая способность к освоению и обживанию новых миров получала свое воплощение и в случае нашего маленького плавучего мирка под названием теплоход «Белоруссия».

Путешественники объединялись в группы в зависимости от склонностей и предпочитаемых занятий, в зависимости от возраста, иной раз от знания — или незнания — других языков помимо родного.

Одни, уютно устроившись в палубных шезлонгах, на целые часы погружались в чтение, стремясь сочетать увиденное своими глазами с прочитанным в книгах. Другие, среди которых было несколько, в начале нашего путешествия выделявшихся своим академически-кабинетным видом, просто блаженствовали под ласковым солнцем и солоноватым ветерком Средиземноморья, будто в подтверждение слов Спинозы, что блаженство есть не награда за добродетель, а сама добродетель. Они были вознаграждены, ибо к концу круиза их кожа прокалилась поистине до антрацитового оттенка. Иные вели неспешные беседы, делясь впечатлениями от городов и весей или увлекались нескончаемыми дискуссиями о мире и войне на тревожной нашей планете. Пусть неизвестно, насколько беседы помогли им проникнуть в суть вещей, насколько приблизились они к постижению истины; можно ли сомневаться в благотворности общения и обмена мнениями, которые ценны уже тем, что позволяют людям лучше узнавать друг друга и учат, твердо стоя на своей позиции, уважительно относиться к чужому мнению.

Представительницы прекрасного пола быстро составили собственный кружок

и общались столь оживленно, что наводили остальных пассажиров на мысль, будто языковые препоны существуют для одних мужчин.

Нашлись на борту «Белоруссии» и шахматные воители. На глазах у посвященных разыгрывались безмолвные баталии, велись упорные осады крепостей, совершались молниеносные атаки... О, если бы на земле велись только шахматные войны!

Сразу же находила общий язык и молодежь, превосходно обходившаяся древнейшим языком мимики и жестов, уж если недоставало слов. Живительный воздух Средиземного моря просто заряжал юношей и девушек энергией. С утра до вечера они шумно и весело носились по палубам, затевали спортивные состязания, а вечерами танцевали, танцевали, танцевали. Судорожные ритмы и оглушительные звуки сменялись распевностью танго, опять вошедшего в моду, и тогда партнеры обрывали бешеный темп резких движений и с нежной медлительностью приникали друг к дружке.

Юноши находили себе подруг, парочки разгуливали, полуобнявшись или держась за руки, прямо-таки излучая влюбленность... Длилась она подчас... до захода в очередной порт, а когда «Белоруссия» отплывала от берегов, все начиналось сызнова с новыми участниками, которые действовали по тому же сценарию...

Но была среди многочисленных пассажиров нашего судна пара, которая старалась держаться незаметно, а привлекала к себе все возраставшее внимание: седеющий высокий мужчина, весьма стройный для своих лет — он выглядел заметно старше своей спутницы,— и она, спутница, воплощение женственности и редкостной красоты. Длинные темные волосы и огромные карие глаза на смугловатом лице с тонкими, точеными чертами, свободная грациозность каждого движения и жеста. Кто они? Откуда? И почему так грустны ее глаза? Что-то неизбывно печальное и таинственное чудилось во всем ее облике.

Эти двое были всегда вместе и всегда держались чуть особняком. Они не заходили в бар с его хмельными завсегдатаями, явно избегали ночного клуба, где до утра сокрушительно грохотала диско-музыка.

Чаще всего их можно было увидеть на верхней палубе, под капитанским мостиком, откуда открывался широкий обзор — морской горизонт, силуэт прибрежных гор... Здесь они проводили долгие часы за разговорами о чем-то, явно глубоко их обоих волновавшем. Иной раз он доставал записную книжку и что-то быстро заносил в нее, она следила за его рукой, лицо ее становилось еще одухотвореннее и прекраснее.

Случалось, что вечерами задувал холодный ветер и соленые брызги осыпали корабль. Пассажиры обыкновенно покидали палубу в эти часы, но двое не уходили. Она собирала волосы в высокий узел на затылке и подставляла лицо ветру, он — бережным движением набрасывал на ее плечи свою спортивную куртку. Нет, они не ходили, взявшись за руки, не демонстрировали свои чувства — напротив, их поведение отличалось какой-то особой деликатностью, сдержанностью. Нет, то был не корабельный флирт, не роман на время круиза. Что бы ни соединяло этих двух людей, какие бы жизненные преграды ни оседали глубокой грустью в глазах женщины — судя по всему, нам выпал на сей раз жребий стать свидетелями большого, настоящего чувства. Сам облик этой пары каким-то непостижимым образом перекликался с представлением об идеалах возвышенной любви, запечатленной в памятниках высокого искусства, которыми столь богаты страны Средиземноморья.

Когда «Белоруссия» входила в новый порт, пассажиры, сойдя на берег, пестрой толпой устремлялись в город. Наша пара и тут держалась чуть поодаль. Казалось, для них бесценен каждый миг вместе, свободный от суеты и жажды новых зрелищ, неизбежно возникающей на туристических маршрутах. Да простится мне некоторая зависть, возникшая в душе при виде этой отрешенности.

На судно пассажиры обычно возвращались с покупками, свертками, картонками. Все торопились быстрее погрузить на пароход заморские свои приобретения и сувениры. Но я никогда не замечал, чтобы эти двое обременяли себя закупками. Обычно они возвращались на теплоход с пачкой свежих журналов и плетенной из соломки корзинкой с фруктами и зеленью.

Однажды, еще в Пирее, проходя мимо книжного киоска на набережной, я заметил уже знакомых мне мужчину и его спутницу, внимательно рассматривавших книги и журналы. Когда они отошли от киоска, я подошел за газетами и пожилой киоскер-грек стал рассказывать, что вот эти американцы выясняли, есть ли у него книги о Греции, ее культуре и философии.

— Как ни стыдно, а пришлось сказать им, что таких книг здесь нету: видите, сказал я, киоск забит вашими же американскими и прочими заморскими изданиями, а вот книг о нашей Греции нет... Теперь не то, что было прежде. Я сказал им еще, что книги о греческой культуре, должно быть, издаются в Америке, там их и купите...

Но реплика его осталась без ответа: американская пара, добавил мой греческий собеседник, молча удалилась... Не стал разубеждать киоскера, что не американцы они — проходя мимо них, я очень ясно расслышал славянскую речь.

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
МОРСКИЕ ЗАПИСИ

...«Белоруссия» приближалась к берегам Испании. Пассажиры сгрудились у палубных перил, любуясь огнями ночной Барселоны. Я стоял неподалеку от пары, занимавшей общее внимание, и, увидев книгу в руках мужчины, не устоял перед соблазном взглянуть на название. Ожидая встречи с Испанией, мои знакомые незнакомцы, видимо, рассматривали репродукции великого Теотокопули, прославившего свою вторую родину именем первой — Эль Греко.

Совпадение. Я размышлял как раз над тем, что испанская культура являет собой ярчайшее свидетельство плодотворности синтеза влияний Востока и Запада, сколь бы ни были причудливы, а порой и бурны его пути.

Испания... Удлиненность фигур на картинах Эль Греко и воздушность мусульманских арок Альгамбры. Мухаммед Ибн-Рошд, названный европейцами Аверроэсом, без которого трудно представить себе философию Ренессанса. «Великий толкователь Аверроэс»,— писал Данте. Утонченность андалузской поэтики и связь ее с песнями провансальских трубадуров. Как убеждает Испания в беспочвенности домыслов о том, что якобы могут существовать на земле народы, чье культурное совершенствование происходило абсолютно вне соприкосновений с влияниями иных традиций!

В начале XII века П. Альфонс впервые перевел на латынь собрание восточных сказок индийского и арабского происхождения и назвал свой труд «Наставления клирику». Этот перевод повлиял затем на творчество и Боккаччо, и Чосера, обозначивших целую эпоху в европейской литературе.

А музыка, испанская музыка, а огненные танцы с сухим потрескиванием кастаньет, а цыганские мотивы в поэзии Лорки...

Пронзительные строки посвящает Лорка морю у испанских берегов:

Море, ты — Люцифер
Лазоревых высот.
За желанье стать светом
Свергнутый небосвод.
...Страстны твои печали,
Море сладостных всхлипов.
Но ты полно не звезд,
А цветущих полипов.

*(Перевод В. Парнаха)*

Средиземное море, соединяющее собой берега, народы, страны, принявшее на свою волну корабли Васко да Гамы, Колумба, Магеллана, которые, выйдя на океанский простор, проложили дорогу к далеким Америкам... Но по пятам великих путешественников шли колонизаторы — захватывать, грабить, нести дикарям «христианское милосердие».

Испанские путешественники и завоеватели, которые на грозных своих фрегатах бороздили моря и океаны, открывали новые земли, мечом и огнем покоряли народы. Морские авантюристы не только побеждали. Нередко приходилось им терпеть и поражения. Море служило им средством захватов, обращения покоренных в рабство. Море оказалось театром разбойничьих войн и кровопролития. Провозглашалось «царствие свободы», чтобы убить свободу действительную. Это было жестокой расправой конкистадоров с целыми народами, их культурой, духовными традициями.

Чуть не на другом конце света Филиппины — само название страны было призвано славить могущество испанского короля Филиппа.

На Филиппинах есть памятник Лапу-Лапу, вождю, который убил Магеллана, воздвигнутый во славу «первого борца против колонизаторов».

Но Филиппины — лишь одна из ряда стран, которые, едва сбросив иго испанского колониализма, оказались жертвой колониальной экспансии США.

Незадолго до нападения США на испанские колонии в Западном полушарии появилось на свет четырехтомное сочинение будущего президента США Т. Рузвельта «Завоевание Запада» (1889—1891), возводящее кулачное право на уровень государственной политики, разумеется «демократической» в интерпретации автора. В более поздних выступлениях об испано-американской войне и об аннексии Филиппин Т. Рузвельт еще более определенно сформулировал концепцию американского экспансионизма.

В статье «Экспансия и мир» он славословил американскую экспансию, гонку вооружений. Ирония и насмешки автора не знали пределов, когда он говорил о мире между народами. В экспансии он видел «здоровье нации», состояние мира для него было «позорным», «бесславным», «жалким», «недостойным». Империалистическая активность США неуклонно возрастала с каждым годом XX века. Американский военно-морской флот и армия становились инструментом как подавления освободительных движений за пределами США, так и кровавых расправ с американскими рабочими и фермерами. Продолжалось порабощение государств Латинской Америки, начатое еще мексиканской войной 1848 года. Экспансионистские режимы могли держаться лишь на силе, грубой силе, ею утверждая себя на неправедно захваченной земле.

Характеризуя политику США в годы первой мировой войны и после нее, В. И. Ленин писал: «Идеализированная демократическая республика Вильсона *оказалась* на деле формой самого бешеного империализма, самого бесстыдного угнетения и удушения слабых и малых народов». Ленинские эти слова в равной степени применимы и к современности. За прошедшие полвека агрессивный потенциал США увеличился во много крат, а позорная история американского империализма стала еще более кровавой и омерзительной. Достаточно вспомнить об атомных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Гегемонистские вожделения США выросли непомерно, превратив страну в мирового жандарма. И под пеплом минувшей войны продолжают чадить угарные угли теперь уже термоядерных пожаров, раздуваемых США. В этом таится зловещая угроза всемирной беды.

Но американские стратеги, программирующие гибель человечества во всепланетном пожаре, недооценивают целый ряд существеннейших факторов, с которыми они будут вынуждены считаться. Отнюдь не последнее место занимает в этом ряду рост сознания народов мира, требующих, чтобы правители США умерили свой пыл.

В Барселоне, как и во многих других городах Испании, проходят митинги и демонстрации протеста против американских стараний втянуть испанский народ в опасные затеи НАТО. Бродя по тесным улочкам старой Барселоны, шагая мимо крохотных кофеен, под увитыми глициниями балконами, вслушиваясь в трели быстрой каталонской речи, я вспоминал и о других временах. На память приходили рассказы друзей, сражавшихся на каталонском фронте за республиканскую Испанию вместе с бойцами прославленных Интербригад. Может быть, на этих камнях звучали шаги неустрашимых сынов всей земли, готовых жизнь отдать в битве против фашизма. Та битва была лишь первой, и не нам забывать, что было потом, уже на других землях, в других странах, на нашей Родине.

Никогда я не мог согласиться с невеселым афоризмом, который гласит, что история — всего лишь наука о прошлых заблуждениях человечества. Нет, воистину никто не забыт, ничто не забыто, и сражение с фашизмом, начатое здесь, на горячей испанской земле, все-таки увенчалось красным знаменем над рейхстагом. Об этом следует помнить и сегодняшним неофашистам всех мастей.

...Прогулка по Барселоне привела меня к рыбацким верфям, где приютилось кафе, скромное на вид, но так соблазнительно пахнущее жареной рыбой, что я не устоял и перешагнул порог.

В кафе было сумеречно за спущенными жалюзи, пустовато и как-то удивительно спокойно и уютно. Мне подали свежевыловленную рыбу и креветок. Хозяин включил радио, зазвучала музыка. Отворилась дверь. В кафе вошла знакомая нам пара с теплохода «Белоруссия». Огляделись, выбрали столик в самом углу и прошли к нему.

Пел чудесный испанский певец Хулио Иглесиас. Пел негромко, сердечно, будто обращаясь к каждому из нас в отдельности, доверчиво и страстно поверяя тайны своей души. Гитарные аккорды то сплетались с голосом, то замолкали, давая ему высказаться одному, потом покорно и нежно соглашаясь с певцом. В непритязательном рыбацком кафе, приткнувшемся к самому морю, вершилось чудо искусства. Возник волшебный миг, тем более драгоценный в суетном нашем бытии, чем более он редок, когда вдруг восприятие невероятно обостряется, когда музыка завладевает всем твоим существом и поднимает к горним высотам, откуда все видится иным, прекрасным, чистым...

Не я один ощущал чудо — случайный взгляд, упавший на пару за угловым столиком, убедил меня в том, что музыка глубоко взволновала обоих. Я впервые видел их руки соединенными, но мне показалось, будто темные глаза женщины блестели непролитыми слезами. Хотя, быть может, то была игра воображения...

Нет, миру не оглохнуть и не ослепнуть от собственного грохота и вспышек, пока не порваны в душе человека струны, начинающие звучать от соприкосновения с красотой, с истиной, с гармонией. Лязг и скрежет современной жизни, который способны перекрыть лишь децибелы бездумной диско-продукции, побуждает нас устремляться к музыке иной, представляющей, по слову поэта, «союз волшебных звуков, чувств и дум», той, которая всегда есть изъяснение искренней человеческой страсти, приведенной к гармонии большим талантом.

Я не могу делить музыку на серьезную и легкую, призвание ее, позволю себе заметить,— служить преодолению немоты человеческой души, осуществлять связь между человеком и гармонией вселенной. Музыка, в строгих ли канонах классических форм или, напротив, в свободной импровизации классического джаза, не может не быть проявлением общечеловеческих эмоций, узнавание которых в этом их возвышенном выражении надолго остается радостью в душе. Все остальное — не более чем музыкально организованный шум.

Хотелось бы упомянуть здесь и о той громадной, с моей точки зрения, роли, которую играют современные средства грамзаписи в эмоциональном формировании человека. У меня уже был повод вспомнить на страницах этих записей о колыбели джаза — Новом Орлеане, где осуществлен был перенос вокальной африканской музыки и африканских ритмов в европейскую инструментальную сферу. Импровизационность — это ведь создание того, чему не дано повториться, и можно испытывать только чувство благодарности за то, что сегодня существуют технические возможности, позволяющие по желанию воспроизвести вдохновенный миг свободного парения музыки. Не стану оспаривать, впрочем, и наличия оборотной стороны медали: не средства ли массовой информации, тиражируя оглушительные музыкальные шумы, погружают нас в некую пучину псевдомузыки, терзающую и уши наши, и души?

Как счастливы должны были быть те, кому довелось услышать игру неистового Паганини, подозреваемого современниками в сделке с самим дьяволом, ибо не мог же — утверждали они — простой смертный исторгать звуки такой мощи из своей скрипки!

Перечитывая в своей каюте «Флорентинские ночи» Гейне, я встретил описание игры великого Паганини или, ско-

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
МОРСКИЕ ЗАПИСИ

рее, картины, вызванной его игрой в воображении слушателя:

«Багровые блики заката ложились на широкие морские волны, которые становились все краснее и в таинственном созвучии с мелодиями скрипки шумели все торжественнее. Но чем багрянее становилось море, тем бледнее делалось небо, и когда, наконец, бурные воды превратились в ярко-пурпурную кровь, тогда небо стало призрачно-светлым, мертвенно-бледным и угрожающе и величественно выступили на нем звезды — и звезды эти были черные-черные, как куски блестящего каменного угля».

Музыкант, как писал Лист, вдохновляется природой, но не копирует ее. Силой вдохновения он творит свой собственный мир, в котором живет, мыслит, чувствует, высказывает в звуках самое сокровенное из пережитого и прочувствованного. Но язык, каким он пользуется, менее конкретен, чем любой другой, и благодаря этому он вызывает у слушателя свободный поток сотворчества. Музыка не столько повествует, сколько побуждает слушателя чувствовать — или напоминает о былых чувствах,— зовет его к отождествлению собственного опыта с тем, который запечатлен в музыке. Подобно тому как закатное облако позволяет увидеть в себе сходство с любым предметом, занимающим мысли мечтательного путника.

...Когда судно приближается к причалам Марселя, силуэт города, видимый издали, высотностью и масштабностью зданий напоминает очертания Нью-Йорка, однако при более близком знакомстве с городом это впечатление рассеивается.

Если судьба приводит человека в места, о которых ему пришлось читать в юности, он упорно старается в реальном облике увиденного отыскать черты, которые возникли когда-то в его фантазии.

Образ Марселя жил во мне с юности, меняясь с возрастом. Все начиналось с зáмка на острове Иф, с сумрачно-романтического образа гордого и справедливого графа Монте-Кристо, за которым потом последовала целая череда героев пиратских романов: благополучная концовка непременно приводила их в марсельский порт, где они бражничали в портовых кабачках и хвастались невероятными приключениями.

Сегодня Марсель производит иное впечатление. Приступом взяли его не морские пираты, а банки и синдикаты, индустриальные концерны, опутавшие своими сетями город и страну, страховые компании, только тем, кажется, и озабоченные, чтобы ослепить глаза доверчивым своим клиентам.

Попав в Марсель, неискушенный путник буквально с первых же шагов чувствует себя потерянным: в бурных уличных потоках людей и автомобилей разобраться положительно невозможно, найти нужный адрес — истинная мука.

Марсель... Третий, после Парижа и Лиона, промышленный центр Франции, первый порт по грузообороту, соединяющий ее с Северной Африкой и другими странами Средиземноморского бассейна, с Ближним и Дальним Востоком, Азией и Австралией. Крупный культурный центр. Университетский город. Город искусств, где работает много художников, и сильная группа писателей и поэтов. Создана здесь и Академия наук, литературы и изящных искусств.

И все-таки прежде всего Марсель — портовый город, а точней — приморский город. Кого только не встретишь на его шумных улицах, какие только флаги не полощутся над кораблями! Возносятся в дымное небо современные небоскребы, кипит у их подножия разноликая, разноязыкая толпа, сквозь бензиновый угар все равно пробивается свежий соленый запах — во всем ощущается близость моря. Я иду по яркой улице, окруженный теми, чьи прадеды маршировали в рядах батальона Национальной гвардии под торжественные звуки революционного марша Руже де Лиля. Когда в 1792 году батальон вошел в Париж, парижане подхватили марш, так и назвав его Марсельским, «Марсельезой». А спустя столетия «Марсельезу» пели мы — она была одной из полюбившихся нам песен революции.

Из кварталов стандартной роскоши, так похожих друг на друга в любом большом западном городе, не без труда выбираешься в старую часть Марселя, карабкаешься по крутым, извилистым улочкам. Этот Марсель, амфитеатром раскинувшийся над бухтой, и сегодня чем-то неуловимо напоминает греческое поселение Массалия, которое потом перешло в руки Рима, волна за волной прокатывались через эти холмы армии завоевателей: вестготов и остготов, бургундов и франков. Было время, когда Марсель оставался самостоятельным, но уже в XV веке принял он вместе с Провансом власть французской короны, и с тех пор невозможно представить себе Францию без Марселя, без сочного марсельского юмора, без острой марсельской кухни...

Прошлое. Прошлое — не будущее, о нем можно рассказать...

И снова после сырого туманного берега раскинувшаяся до самого горизонта морская необозримая гладь. Загадочная стихия... Дано ли человеку понять ее тайны? Постигнуть секрет неостановимого движения волн? Вспоминаются слова созопольского мариниста Яни Христопулоса: недостаточно всей жизни человека, чтобы изобразить одну волну... Одну волну в целом океане...

С палубы судна виден огненный шар над морской поверхностью — с трудом верится, что это реальность. Снова всплывают в сознании полотна Христопулоса, на которых солнце словно бы тонет в золоте света. Вижу, как золото это проложило свои лучистые пути далеко в море. И чайки, реющие над нашим судном, купаются в волнах неправдоподобного светила.

...Каменная громада Мальты возникает перед глазами так внезапно, будто поднялась из морской пучины.

Порт Ла-Валлетта выглядит с моря иллюстрацией к волшебной сказке. История острова и действительно похожа была бы на сказку, не будь в ней столько крови, насилия, коварства. Название острова сразу заставляет вспомнить о Мальтийском ордене, о бесконечных войнах, в которых он участвовал. Столица острова по сей день носит имя Ла-Валлетты — одного из великих магистров ордена, провозгласивших, что не уступит Мальту превосходящим силам турецкого флота, осадившим ее в 1565 году.

Но не турки были первыми, кто посягал на Мальту, и не мальтийские рыцари — первыми ее защитниками. Живописные руины в мальтийской гавани — воплощенные в камень свидетельства былых сражений за остров, который с древнейших времен был центром сплетения морских путей, что всегда определяло его стратегическое значение: страны Востока и Запада веками соперничали за власть над Мальтой.

Здесь основали свою колонию первые средиземноморские мореплаватели — финикийцы. После них в борьбе за обладание Мальтой участвовали поочередно все государства, возникавшие на берегах Средиземного моря. Карфагеняне. Вандалы. Византийцы. Норманны. Позднее — арабы. Турки.

В 1530 году император Священной Римской империи Карл V вверил остров рыцарскому ордену иоаннитов, который с тех пор стал называться Мальтийским орденом. В 1798 году остров был захвачен Наполеоном Бонапартом, а с 1800-го Мальта оказалась под властью Великобритании, которая превратила ее в английскую колонию, а остров — в свою крупнейшую военно-морскую базу на Средиземном море. И все это время здесь жили и трудились крестьяне, рыбаки, чей язык впитал в себя и карфагенские, и латинские, и арабские корни. Они привозили на каменистую Мальту землю из Сицилии, они разводили коз и ловили рыбу, они выстроили чудо из золотистого камня — Ла-Валлетту, в архитектуре которой отразились национальные традиции.

Архитектура эта поразительна: массивные строения в несколько этажей, плотно примыкающие друг к другу. Все из камня и кирпича глиняно-песочного цвета, который доминирует здесь всюду. Веками отстоявшиеся краски и формы. Все здесь предстает в мягких желтоватых оттенках, в тончайше соблюденной природой тональности передается ощущение пронизанного солнцем воздуха.

Ла-Валлетта не похожа ни на один город, который приходилось мне ранее видеть. Не похожа она и на приютившийся на болгарском Черноморье город Созополь, который совсем недавно посчастливилось мне посетить и который произвел на меня огромное впечатление неповторимостью архитектуры — каменных фундаментов и деревянных надстроек с эркерными выступами, придающими особенную эмоциональную выразительность фасадам домов. Здесь, в Ла-Валлетте, в конструкции добавлены элементы декоративности. Сооружения выстроены целиком из камня, но это не просто функциональный камень. Форма, окрашенность, тональность материала придают городу неповторимый облик, ту самую сказочность, которая с самого начала бросается в глаза путешественнику.

Дома Ла-Валлетты будто вырублены из скальных образований песочного цвета. Они буквально спаяны друг с другом, между ними нет ни малейшего зазора. В жилых домах небольшие двери и узкие оконные проемы — чтобы не проникали знойные лучи солнца. У многих парадных входов — светильники под изображением мадонны или распятия на кресте. Миниатюрные иконостасы встречаются и в городских автобусах. Даже в районе гавани великое множество церквей и часовен, святилищ. Звон их колоколов слышен далеко в море.

Улицы Ла-Валлетты заканчиваются выжженными солнцем пустошами. Значительная часть острова бедна водой и почти лишена растительности.

Когда же попадаешь в центральную часть города с его узкими улочками, сплошь застроенными мелкими магазинчиками, лавочками, кафе и ресторанами, кажется, что Ла-Валлетта наводнена только одними туристами. Местное население в восприятии иностранца составляет ничтожное меньшинство, которое в основном занято сервисом. Город напоминает сплошные торговые ряды. Такое впечатление, что в Ла-Валлетте словно бы встретились рынки двух континентов, будто Запад и Восток перемешались здесь в общем базаре. Похоже, что здесь все торгуют кто чем может.

Торгуют и книгами. Преимущественно международным книжным ширпотребом. Все те же яркие обложки, все то же изобилие обнаженных женских тел на глянцевых журнальных страницах. Мимо снуют фигуры в черных сутанах, видимо, последние наследники былого могущества ордена. Покупателей что-то не видно, одни скучающие торговцы. Движимый чистейшим любопытством, подхожу к журнальному прилавку, чем вызываю широкую улыбку на лице хозяина.

— Сэр? Что угодно? — спрашивает он на звучном английском языке, хотя, судя по внешности, никак не может быть англосаксом.

— Нет ли у вас печатных изданий социалистических стран?

Лавочник превращается в вопросительный знак.

— Ну, скажем, чего-нибудь на русском?

— На Мальте никогда не было русских книг, сэр,— решительно заявляет лавочник, даже не стараясь сохранить приветливость тона.— Мы торгуем кни-

гами на всех языках, кроме русского. Он чужд нам.

Вот так. Еще один островок отчужденности в человеческом море. Еще одно проявление уверенности в чьем-то праве диктовать, основанном на незнании и, что гораздо хуже, на нежелании узнать.

Торговец напомнил мне человека из притчи, который был так образован, что мог позвать лошадь на девяти языках, но так невежествен, что под седло купил корову.

В психологии такого человека как в капле воды отражается опасная суть мещанства — сочетание самодовольства и трусливости, стремление к безмятежному потребительству, готовность идти на любые компромиссы ради сохранения своего спокойствия: маленький человек-де бессилен перед неумолимостью обстоятельств. Но разве мещанству определять собой облик человечества?

Одна волна человеческого моря сменяла на Мальте другую и, откатываясь, оставляла на острове свой след — языки, обычаи, одежду, жилища. Время — гениальнейший творец — из вынесенного на остров различными культурными потоками создало своеобразную и гармоничную мальтийскую культуру. Плод естественных движений народов.

Но эра великих географических открытий завершилась колониальными захватами, и понемногу простой грабеж покоренных народов заменялся продуманным высасыванием соков из их изобильных земель. Морские острова из украшения всякого рода державных корон превращались в источник немалых доходов для метрополий. И тогда морские волны понесли к островным берегам невольничьи корабли, которые везли в своих трюмах не только африканских рабов, но и их неповторимую культуру.

Так, в разное время, искусственно заселялись и Сейшельские острова, и острова Карибского бассейна, остров св. Маврикия и Сингапур. И так закладывались основы того, что потом стало называться «композитной культурой островов». Иногда ее называют и плантационной культурой, разумея под этим отнюдь не сахарный тростник, хотя именно он требовал рабочих рук. После отмены работорговли к тропическим островам поплыли новые корабли с завербованными плантационными рабочими, кули, из перенаселенных Индии и Китая, которые везли с собой на новую родину прочные традиции своих древних культур и свои языки.

Драка между колониальными державами за прибыльные острова, в которой Англия решительно теснила своих слабеющих колониальных соперниц, вела к тому, что к остальным языкам добавился еще и английский, хотя к тому времени на многих островах разговорным языком уже стал креольский, стихийно сложившийся на основе старофранцузского или испанского в процессе общения разноязыких плантационных рабочих.

Свобода от колониального угнетения и политическая самостоятельность, которых, один за другим, добиваются острова, поставили перед ними новые проблемы, и на первом месте — укрепление национального самосознания и упрочение экономической независимости.

Каждое островное государство решает эти проблемы в зависимости от реальной ситуации, но везде и всюду их решение связано со спецификой композитной культуры.

Об этом превосходно рассказано в повести уроженца Тринидада В. С. Найпола «Флаг над островом» («ИЛ», 1981, № 4). Над островом, носящим множество черт сходства с Тринидадом, развевается национальный флаг, остров активно посещают заокеанские меценаты в поисках сокровищ национальной культуры — но этой культуре еще предстоит сформироваться, и процесс этот не обещает быть простым.

Об одном из путей становления композитной островной культуры недавно рассказал на страницах «Правды» журналист А. Сербин в очерке о сегодняшнем дне Сейшельских островов. Там ведется подготовка к изданию словаря креольского языка, собирают фольклор, готовят учебные пособия, на которых молодые сейшельцы смогут научиться истории родной страны, а не колониальных войн за ее богатства.

Но как бы ни решались проблемы культур и экономики райских островов, остается необходимой одна общая предпосылка — мир на земле, свобода океана, океанских вод от атомных лодок и их баз. Разве кто-нибудь может забыть сегодня имя ранее никому не известного атолла Бикини?..

Но вот осталась за кормой и Мальта. Уверенно разрезая средиземноморскую волну, наша «Белоруссия» идет к Стамбулу.

Огромный город у самого Мраморного моря, раскинувшийся среди холмов и захвативший оба берега Босфора, Золотой Рог, естественная гавань, обрамленная высокими крутыми берегами, искони служила надежным пристанищем морским судам из далеких стран. Удивительно благоприятное географическое положение этого Царьграда — Царя городов (пользуюсь старинным русским его названием) не могло не оказать влияния на его единственную в своем роде историческую судьбу.

Сегодня Стамбул — энергичный современный город «на семи холмах» — важнейший торгово-промышленный и культурный центр Турции.

С древнейших времен здесь жили люди «на скрещении морских путей и караванных троп». Издревле было это место сплетением цивилизаций, культур, религий. Памятники архитектуры, литературы, исторические хроники красноречиво свидетельствуют о взаимопроникновении, о взаимовлиянии Востока и Запада. 11 мая 330 года на месте городка по имени Византий был заложен Константинополь. Константинополь, Новый Рим, Царьград, Стамбул...

Давно уже отзвучала на этих вечных берегах «божественная эллинская речь», но каменная летопись, архитектура города повествуют о его величественной истории каждому, кто умеет читать ее письмена. Каждый час, проведенный в Стамбуле, способен раскрыть новые и новые страницы летописи, заставить задуматься и над судьбами приходивших в упадок могучих империй, и над происходившими здесь кровавыми и трагическими событиями, и над причудливыми формами, какие принимает порой соединение Востока с Западом.

Город некогда горделиво называл себя средоточием вселенской учености, средоточием искусств, откуда веками брали начало философские и эстетические течения, каноны изобразительного искусства и изящной словесности. Их породило слияние культур Востока и Запада, они веками питали собой и Запад, и Восток. Великие творения византийской духовной поэзии, такие, как несравненный Акафист Богородице, и жемчужины византийской архитектуры, прекраснейшая из которых — собор св. Софии, нынешняя Айя-София, как проследить и вширь, и вглубь их влияние на художественную мысль человечества? Каменная громада с поразительной легкостью возносит над землей перед моим взглядом свой огромный купол. А по углам — четыре тонких минарета, копьями вонзающихся в небесную синь. Византийский собор, освященный в VI веке и обращенный впоследствии в мусульманскую мечеть, Айя-София веками служила источником вдохновения для турецких зодчих. Случайность ли, что великий Синан при возведении стамбульской мечети Сулеймание использовал формы, сотворенные его византийскими предшественниками?

Долго не мог я оторваться от созерцания этого нетленного памятника преемственности культур, повторяя про себя бунинские строки, пришедшие на память, как отклик тому, что чувствовал сам:

Светильники горели, непонятный
Звучал язык,— великий шейх читал
Святой Коран,— и купол необъятный
В угрюмом мраке пропадал.

...А утром храм был светел. Все молчало
В смиренной и священной тишине,
И солнце ярко купол озаряло
В непостижимой вышине.

И голуби в нем, рея, ворковали,
И с вышины, из каждого окна,
Простор небес и воздух сладко звали
К тебе, Любовь, к тебе, Весна!

С возвышением Константинополя и падением Рима завершилась эпоха античности.

Но в 1453 году пал и Константинополь.

К середине следующего столетия Османская империя растеклась по географической карте, затопляя всю Малую Азию, Балканский полуостров, Ирак, часть Кавказа, Сирию, Палестину, Египет, восточную и центральную части Венгрии. Пути, связующие Европу с Азией, теперь пролегали через Блистательную Порту, и она получила возможность сосредоточить у себя несметные богатства. Взаимодействие же собственно турецкого художественного опыта с творческим наследием покоренных народов привело к невиданному дотоле расцвету художественной культуры Османской империи.

И этот период тоже запечатлен в каменной летописи, и он внес свою лепту в ее нетленную красоту.

Постепенно менялся архитектурный облик Стамбула. Турецкие зодчие воздвигли прославленный дворцовый комплекс Топкапа, который до самого конца империи был резиденцией турецких султанов. Как мираж встала над городом мечеть Баязида, построенная учеником Синана Хайреддином. Рождалась необычная гармония Востока и Запада, включавшая в себя компоненты христианской и мусульманской эстетики. Мечети Сулеймание. Ахмедие, Ениджами с утонченным силуэтом их высоких минаретов, громада Айя-Софии, колонна Константина Багрянородного, перевитые змеи Змеиной колонны, остатки стен Феодосия вместе с крытыми рядами Чарши и тесно заселенными жилыми кварталами, где нависающие эркеры почти соприкасаются над узенькими переулками,— все это образовало единый архитектурный ансамбль.

Город на семи холмах, город на морской артерии, соединяющей Черное море со Средиземным, город на пути из Азии в Европу поистине обрел «лица необщье выраженье». Может быть, как раз с тех времен стали говорить, что муэдзины, на восходе и закате возглашающие с минаретов величие Аллаха, должны закрывать глаза, ибо чувственная земная красота Стамбула способна лишь отвлечь их помыслы от материй божественных.

Позднее Стамбул украсился еще одним сооружением, чудом инженерной мысли своего времени, Босфорским мостом, переброшенным из Европы в Азию. Босфор — кратчайший путь между Западом и Востоком. Об этом тут позаботилась сама природа, словно бы указывая человеку, как следует создавать каналы связей, пути мировых движений, средства культурного общения народов. И человек исполнил предначертание природы и добавил рукотворный мост к проливам, проложенным ею.

...На берегу Золотого Рога, к которому швартуются рыбацкие баркасы, жарят на железной решетке свежевыловленную рыбу, трепещущего луфаря. Жарят прямо на ваших глазах, по вашему выбору и вкусу. В любое время года, в любой сезон. Если поинтересуетесь, словоохотливые рыбаки с гордостью скажут вам, что нигде на свете нет рыбы вкуснее стамбульской. Еще они вам объяснят, что это не случайность,— рыба, мол, идет через Босфор в пору своей зрелости, когда бывает она неописуемо вкусна!

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
МОРСКИЕ ЗАПИСИ

Отличная рыба! А чуть поодаль толпятся дети, маленькие оборвыши, с помятыми жестянками в руках, с талисманами от сглаза на немытых шеях. Малолетние торговцы питьевой водой. Юные люди, уже познавшие нищенство.

Дети, которые еще не переступили школьного порога, выпрашивают у прохожих милостыню на знаменитом Галатском мосту, который пролегает через Золотой Рог и служит зрелищем для заморских туристов. Невольно приходят на память строки турецкого поэта Орхана Вели:

Целый день я торчу
На Галатском мосту
И на вас наглядеться
Никак не могу.
Кто на весла налег,
Кто сидит за рулем,
Кто ракушки сгружает с баркаса,
Кто швартует суда у причала...
Похоже, средь вас я один
Живу без заботы, брожу без работы.
Но, постойте, настанет мой день,
Я о вас напишу десятки поэм.
Может, десять курушей за них получу
И досыта тоже поем.

*(Перевод Р. Фиша)*

Должно быть, в облике любого людского поселения всегда есть свет и всегда есть тени. Где-то больше светлых сторон. Где-то доминируют теневые. Стамбул во всем резко контрастен. Его величественное прошлое и его шумное суетливое настоящее, которое обрушивает на путешественника сверкание огней и фар, гул, грохот, скрежет бешено мчащегося транспорта, закрывает полнебосклона сине-черной гаммой современных зданий. Так же разителен контраст между роскошью и нищетой Стамбула. Вот уж поистине сочетание Востока и Запада: в богатстве, выставляемом напоказ, и в бедности, которой нечем прикрыться. Разодетые дамы, выходящие из дорогих автомобилей, золотые украшения, горки жемчуга, россыпь бриллиантов в ювелирных магазинах на знаменитом стамбульском коверед-базаре, а рядом — изможденные нищие выпрашивают милостыню у прохожих.

Спекшийся от столетий быт восточного города обнаруживает глубокие трещины западного капитализма.

Трагедия детей — одна из самых чудовищных язв всего капиталистического мира, прямо связанная с пренебрежением к человеку.

Малолетние дети зарабатывают хлеб на улице... Отчего такая жестокая несправедливость? В мире насчитывается сейчас четыреста пятьдесят пять миллионов безработных или неполностью занятых, сообщил генеральный директор Международной организации труда Фрэнсис Бланшир в своем выступлении на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце августа 1980 года. Он отметил также, что для обеспечения полной занятости к концу этого века нужно создать около одного миллиарда новых рабочих мест, в том числе 800 миллионов в развивающихся странах. Характеризуя огромные трудности в этой области, переживаемые капиталистическим миром — развитыми и развивающимися странами, он отметил, что для очень многих из 850 миллионов молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет не существует в настоящее время никаких перспектив ни краткосрочной, ни долгосрочной занятости.

Вот из этой бесстрастной статистики вытекает то, что люди, не обладающие ничем, кроме рабочих рук, вынуждены делаться рабами других, тех, кто располагает возможностями для приобретения их труда. Таким образом, лишь с согласия сильных мира сего человек может реализовать свои способности, лишь с их соизволения он может жить. В этом сущность самой системы, частнособственнического социального устройства. Жестокая и бесчеловечная. Массовая безработица — одно из народных бедствий, национальных трагедий многих стран.

И если на улицах Стамбула нищенствующие дети продают прохожим воду, то в Лиссабоне торгуют детьми, и об этом пишут в газетах. В столице Португалии полиция арестовала некоего А. Морейру по обвинению в продаже португальских детей в США. Лиссабонский еженедельник «Тао и куал» посвятил этому несколько страниц, а также опубликовал рассказы женщин, ставших жертвами зловещего синдиката по сбыту «живого товара».

Потеряв надежду избавиться от нищеты, многие из женщин решились на продажу своих детей в расчете на то, что дети попадут в хорошие условия. Ана Мария продала трех дочерей, две уже находятся в США, а третья, четырехмесячная, в полиции, так как в момент ее продажи и был арестован А. Морейра. Женщина по имени Паула тоже продала двоих детей. Через четыре месяца она вновь должна статью матерью, но лишь на несколько часов: будущий ребенок уже запродан. За ребенка торговцы детьми дают от пяти до шестидесяти тысяч эскудо. Морейра и его сообщники искали свой «товар» в кварталах лиссабонской бедноты.

Торговля детьми — самое гнусное в обличии цивилизованного западного мира. До сих пор меня преследуют жалобные голоса на Галатском мосту, умоляющие прохожих купить у них за гроши кружку питьевой воды...

И тут время начать рассказ о встрече с человеком, который тоже не может равнодушно слышать голоса нищих детей. Переполненный противоречивыми стамбульскими впечатлениями, я готовился к этой встрече, собираясь задать множество вопросов,— даже магнитофон с собой захватил.

Но случилось так, что наша беседа оказалась подобной не каналу, воды которого текут в соответствии с замыслом строителей, а свободно струящемуся ручью. Давно истощился запас магнитных лент, давно прекратилось вращение головок, а разговор все тек и тек...

Мой собеседник невысок, круглолиц, смешлив. Его зовут Азиз Несин, и смею надеяться, что это имя само говорит за себя и советскому читателю не нужно

представлять его. Но мы рассуждаем не о литературе, не о новых переводах произведений Несина в нашей стране. Нет, Азиз Несин рассказывает о беспризорных детях Стамбула...

Есть восточная пословица, которая гласит: кто думает о будущем годе — сеет просо; кто думает о будущем десятилетии — разбивает фруктовый сад; кто заглядывает дальше в будущее — воспитывает детей.

Азиз Несин решил создать фонд для воспитания осиротевших детей.

В шести десятках километров от Стамбула на берегу реки он купил участок земли и приступил к осуществлению своих планов.

Когда мы с ним приехали на участок, я увидел дом, одетый в леса.

— Три этажа,— дает пояснение Азиз Несин.— Жилые помещения, зал для библиотеки, читальня, игровые комнаты, гостиная...

Потом я наблюдал его оживленный разговор с каменщиками. Замечания, советы его вполне профессиональны: Азиз Несин — строитель по образованию.

Беседа продолжается за чаем в комнатушке на втором этаже, в прорабской. Здесь стоит старенькая кушетка, этажерка с книгами, стол с чайным прибором, два стула.

— Самое любимое место! — объявляет Несин.

Рядом еще одна комнатушка, торжественно именуемая приемной. Этажерка с книгами, стол, несколько стульев. Ну и, разумеется, чайник с чашками.

— Разбогатеть бы! — мечтательно произносит Азиз Несин.— Были бы деньги, я бы выстроил еще один дом для детей, с бассейном, со спортивной площадкой, с фруктовым садом...

Участок, им купленный, был обыкновеннейшим пустырем, рассказывает он. Когда закладывали фундамент — он жил здесь в палатке. Первое, что он обнаружил в своем «поместье», была сброшенная при линьке кожа змеи, рассыпавшаяся в пыль, едва он до нее дотронулся. Зато удалось сохранить черепаший панцирь, тоже подобранный на участке.

— Панцирь лег в основу фонда,— с серьезной миной объявляет писатель.

Нелегкая биография досталась Несину — смутные времена, изобилующие драматическими событиями, кровавыми трагедиями, неустойчивыми союзами и ненаучными решениями трудных проблем. Но какие бы колебания ни сотрясали мир и страну, почву под ногами он не теряет.

Азиз Несин истово верует в то, что капля камень точит. Он отказывается признавать, что существуют безвыходные ситуации. И в литературе, и в жизни он требует действия.

— Нет, не верю в завершенность... Верю в продолжение, в неостановимость.— Более шестидесяти созданных писателем книг — свидетельство его творческого движения. Главные книги его жизни еще впереди, убежден Несин.

У Несина никогда не было своего автомобиля. Приобретя земельный участок для детского дома, он ездил туда из Стамбула автобусом, как ездят местные жители.

— Не всегда это, пожалуй, удобно, без машины,— вырвалось у меня.

— Верно, приходится тратить много времени на передвижения... Но полезно, всегда полезно — многое постигаешь, лучше познаешь реальность, людей, их нужды и настроения,— ответил Несин.

Нередко писателю в автобусе приходилось слышать разговоры иных зажиточных сельчан:

— «Что за проходимец этот Несин! Придумал же, окопаться в нашем крае!» Ну, они употребляли выражения и покрепче, да как-то неудобно цитировать,— с лукавой улыбкой добавляет Азиз Несин.— Узнав, для чего приобретен участок,— рассказывает Несин,— местные жители, мои соседи, изменили отношение ко мне, стараются всячески помочь мне, кто добрым советом, кто добрым делом... По природе своей, смею заверить, люди добропорядочны и щедры душой...

Просуществовать на писательские гонорары в Турции крайне трудно, редкий из турецких писателей рискует сделать литературу средством заработка. Здесь судьба благоволила Несину. У него много книг, пользующихся огромной популярностью, жить и кормить семью за свои гонорары он в состоянии. Все это пришло далеко не сразу, но, став профессиональным писателем и получив несколько международных литературных премий, материальный достаток он обрел.

Теперь можно было вздохнуть с облегчением, не нужно было больше носиться по редакциям, теперь можно было жить спокойно. Но он не был бы Азизом Несином, если бы не начал терзаться мыслью о том, что ему чересчур хорошо живется, а вокруг — такая нищета. В результате раздумий родилась идея построить дом для сирот. Сначала мало кто поверил в реальность замысла. Несина стали уверять, что детский дом — пустая затея, из которой ничего не получится. Несин стоял на своем и, проявив изрядную деловую сметку, энергичность и настойчивость, купил землю, договорился с подрядчиком и заложил фундамент дома. Подготовив устав фонда, Несин собрал всю свою семью: жену, трех сыновей и дочь — и в присутствии адвоката и нотариуса держал перед ними речь, которую я привожу со слов Азиза Несина в форме его очередного рассказа:

— Жена моя, Мераль, и дорогие дети! Я дал вам все, что необходимо для жизни, то есть все, чего никогда не имел сам. Сыновья мои — Али, Ахмет, Атеш, если вы повремените с женитьбой, вы сможете получить образование,

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
МОРСКИЕ ЗАПИСИ

которое даст вам возможность зарабатывать себе на жизнь. Мы живем в хорошем доме и ни в чем не нуждаемся. Поэтому я решил, что отныне все мои гонорары пойдут в детский фонд. Фонду я намерен завещать и все деньги, которые будут причитаться за мои книги после того, как я умру...

Несин хотел продолжать, но тут громко заревел его любимый сын Али:

— Папа, не умирай! Не хочу никакого образования, не нужен мне хороший дом!

За Али расплакался Ахмет, потом Атеш, потом, утешая их, заплакал сам Несин...

И все-таки в 1972 году завершились юридические процедуры, связанные с оформлением детского дома,— он даст кров и пищу семидесяти двум малышам, и будут они жить на полном обеспечении. пока не кончат школу и не обучатся профессии. Дети, которые проявят особую одаренность, получат и высшее образование.

По настойчивому требованию Азиза Несина в устав включено примечание: неспособность ребенка к умственному труду не может служить поводом для его исключения из детского дома.

Кроме гонораров Азиз Несин передает детскому дому всю библиотеку из двадцати тысяч томов и свое собрание картин. Несин собирает также все связанное с жизнью и творчеством Назыма Хикмета — рукописи, документы, фотографии, личные вещи, ибо он предполагает устроить при детском доме мемориальную комнату Хикмета.

Слушая Азиза Несина, я искренне восхищался благородством дела, которому он посвящает столько сил и средств. Какими величественными и простыми в то же время строками запечатлел в своем стихотворении Назым Хикмет строй души такого рода человека:

Ведь если я гореть не буду,
И если ты гореть не будешь,
И если мы гореть не будем,
Так кто же здесь рассеет тьму?

*(Перевод Л. Мартынова)*

Азиза Несина отличают не только целеустремленность, упорство в борьбе за справедливость, не только острый ум иронического склада, но еще и огромное личное обаяние.

Сатирик, юморист, он отнюдь не из породы острословов, без отдыха упражняющих свое остроумие на каждом, кто попадется. Юмор Азиза Несина естествен, за его шутками и забавными новеллами прячется глубокая мысль — далеко не всегда веселая. К тому же только человек сильный и смелый так легко и охотно способен смеяться над собой.

Помнится, во время одной из наших прогулок по стамбульским улицам Азиз Несин начал вслух размышлять о том, что человеку несвойственно испытывать какое-то одно чувство, что нет ни совершенного счастья, ни даже совершенного горя, ибо границы человеческих эмоций зыбки и неопределенны. Чувства, кажущиеся противоположными, смешиваются, окрашивают друг друга, мгновенно чередуются. Юмор, продолжал он, позволяет увидеть их относительность, но, что важно, добрый юмор зиждется на сострадательности.

Бродить с Азизом Несином по городу было и интересно, и поучительно. Азиз Несин был неутомим в желании поделиться со своим иноземным гостем всем, что для него слагалось в понятие «Турция». Что это было — щедрость ли его сердца или традиции восточного гостеприимства, не берусь судить, но лучшего спутника в скитаниях по этому городу невозможно себе и представить.

Поразительно было не только богатство его знаний: дело в том, что Азиза Несина знал весь огромный Стамбул. Несина узнавали тотчас, где бы мы ни появлялись: на улицах, в книжных лавках, в концертных залах, в ресторанах и кафе... Улыбались, подходили, дружески здоровались, вступали в разговор. И ни один человек не был обойден вниманием писателя; он задерживается, пожимает руку, что-то говорит — несколько учтивых слов, деловитая фраза, шутка на ходу. И так буквально на каждом шагу.

Хосе Агустин Гойтисоло писал в «Архитектурной мастерской»: «...потом выходи на улицу и смотри. Вот лучшая школа в твоей жизни».

Мы зашли в книжный магазин, где продают и книги Азиза Несина. Мальчик лет двенадцати, который встретил нас в магазине, оказался внуком писателя.

— Большой хитрец! — аттестовал его Несин.— Увидел, что покупатели просят, чтобы я надписал книгу, и решил, что дело пойдет бойчее, если в мое отсутствие автографы будет давать он... И тут же о карикатуристе из анекдота: тот стал спрашивать, почему так плохо покупают его рисунки, а издатель ему посоветовал посмешнее надписи придумать...

Запас такого рода историй у Азиза Несина практически неистощим.

— Мой знакомый художник пригласил приятеля на свою выставку. Тот ходит, смотрит, говорит гениально! грандиозно! потрясающе! Потом остановился перед картиной — слушай, друг! А ведь эта и вправду хороша!

Выйдя из книжного магазина, мы хотели пересечь улицу, но сплошной поток машин заставил нас ждать.

— Вот так же стоит турок и никак не может перейти улицу,— серьезно начал Азиз Несин.— Увидел человека на другой стороне и кричит: ты как дорогу перешел? А тот отвечает: не переходил я дорогу, я родился на этой стороне.

Увидев антикварную лавку, Несин объявил, что боится антикваров.

— Почему? — изумился я.

— Чуть не влюбился однажды,— ответил Несин.— Присмотрел бронзовую статуэтку. Спрашиваю — почем, торгуюсь. Вдруг подходит девица такой красоты, что куда там статуэтка. И говорит: я беру эту бронзу. Я мужчина или

нет? Плачу деньги, хотя цена, конечно, дикая, а сам глаз не могу оторвать от красавицы. Только рот раскрыл, чтобы сказать: примите статуэтку в дар, ибо ваша красота... или что-то в этом роде. Но тут появляется мой приятель, и что выясняется? Прекрасная незнакомка — родная сестра жулика-антиквара!

Случаев убедиться в отваге Азиза Несина жизнь предоставляла сколько угодно — даже день своего пятидесятилетия он провел в ожидании суда: писателя обвиняли в подрывной пропаганде в связи с его статьей о Гракхе Бабёфе, известном деятеле Великой французской революции.

— Впрочем,— с улыбкой заметил сатирик,— нет худа без добра, как нет добра без худа. Те, кто ищет легкой и сытой жизни, идут у нас не в литературу, а на биржу.

Смею заметить, что главный секрет популярности произведений Азиза Несина не только в его таланте, наблюдательности и остроумии, но в том, что все это обеспечено еще и золотым запасом поступков, активной жизненной позицией. А всегда ли бывает так? Всегда ли ясно, где кончается риторика и начинается правда жизни?

Мой добрый друг и друг Азиза Несина Фаиз Ахмад Фаиз, прекрасный пакистанский поэт, подчеркнул в одном из своих выступлений:

«Каким может быть — или должен быть — опыт художника в сегодняшней Азии или Африке? Прежде всего это осознание опыта прошлого... Затем — осознание настоящего, с его огромными надеждами и огромным отчаянием, с большими свершениями и большими разочарованиями, с большими ожиданиями, с его новой свободой и новой тиранией... Только тогда будет художник вознагражден, он выйдет за рамки времени, увидит мир в его цельности, познает истину нашего века».

Не сомневаюсь, что Азиз Несин мог бы подписаться под этими словами.

Ночной Стамбул... Я вглядываюсь в него снова с борта «Белоруссии». Стадо машин продолжает неугомонное движение по прилегающим к порту улицам, залитым множеством электрических огней. Распахнулись двери увеселительных заведений, которым здесь несть числа. Разноплеменные пассажиры нашего судна устремились на ночную прогулку по экзотическим кварталам города.

В морском путешествии грусть расставания с одним портом предвещает радость встречи с другим, и я уже не однажды разделял это чувство с пассажирами нашей «Белоруссии». Но на сей раз все было по-другому, оттого что Стамбул запечатлелся в моем сознании двояко: из увиденного собственными глазами и из подаренного мне щедрым сердцем Азиза Несина...

На палубе было пустынно, но, вглядевшись, я различил женскую фигуру у самой кормы. Длинные волосы и какая-то длинная накидка... Но где же всегдашний спутник этой женщины, почему она сейчас одна?

Быть может, расставание, ощущение еще одной перевернутой страницы жизни, понуждало меня искать общения, и я обратился по-английски к женщине:

— Вас, видимо, не привлекает ночная жизнь Стамбула? А многих пассажиров она тянет как магнит!

— Стамбул — необычный город, и каждому хочется получше узнать его,— ответила она на том же языке.

— Верно, и вашему спутнику тоже? — поинтересовался я.

Я чуть поколебался перед словом «спутник», не желая оказаться неделикатным, и она явно заметила паузу, но ответила ровным голосом:

— Он остался в Барселоне, чтобы принять участие в Мадридском совещании.— И добавила: — Нужно ведь что-то делать, иначе все погибнет.

А затем, словно поразмыслив, сказала:

— Не перейти ли нам на русский? Вы, кажется, неплохо его знаете?

По-русски она говорила хорошо, с едва заметным мягким болгарским акцентом.

— Вы из Болгарии? — решился спросить я.

— Мы? — переспросила женщина.— Нет, я — болгарка... Мой спутник — он журналист... Он из Чехословакии.

Я вспомнил случайную встречу в Барселоне, в кафе, где тосковал голос Хулио Иглесиаса. Уединение за столиком в углу, тихий разговор, легкие прикосновения рук. Так это было прощание! Надолго ли? Быть может, и жизнь у них — от разлуки до разлуки?..

Мне было интересно впечатление моей собеседницы о Стамбуле:

— Вы обратили внимание, как мало женщин на стамбульских улицах, и одеты они почему-то почти всегда в черное...

— На улицах мало женщин, зато много, слишком много американских солдат,— ответила моя собеседница, попросила извинить ее и скрылась в темноте.

Больше не представилось мне случая побеседовать с нею...

...Американских солдат действительно можно было встретить повсюду. Особенно охотно они прогуливались у Золотого Рога... Я узнал потом из газет, что как раз в то время американский Шестой флот проводил свои маневры в Средиземном море. В напряженности обстановки нетрудно было убедиться зрительно — студенческие демонстрации, плакаты на стенах Стамбульского университета: «Нет — военным расходам, нет — блоку НАТО!», «Турции нужно добрососедство!»

В трудные для Турции времена привела меня судьба в эту страну. Крупный проигрыш в Иране заставил Вашингтон торопливо тасовать стратегиче-

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
МОРСКИЕ ЗАПИСИ

ские карты и внимательно присматриваться к Турции — нельзя ли поставить на нее?

Стамбул и многие другие турецкие города были на военном положении, правительство понимало, что оно рискует потерять контроль над страной, захваченной девятым валом терроризма и насилия. На улицах постоянно встречались американские патрули, на площадях — броневики.

По данным газеты «Миллиет», за один год террористы убили 1058 человек, а всего за последние годы было убито около 20 000.

Мне рассказали в Стамбуле анекдот, достаточно горький. Турок спрашивает соседа: ты веришь в чудеса? А как же? — отвечает второй, утром пошли на работу, вечером вернулись домой, и оба живы. Разве не чудо?

Не берусь судить, кого здесь больше среди террористов — ультраправых или ультралевых, но пули их чаще попадают в представителей демократических сил. Жертвами актов террора стал бывший премьер страны Н. Эрим, бывший руководитель ДИСК — конфедерации революционных рабочих профсоюзов — К. Тюрклер, корреспондент газеты «Демократ» Р. Юнаи и многие, многие другие.

Кровавые деяния террористов — проявления страшной болезни, которой поражена страна. Мне уже довелось в этих записях касаться проблемы терроризма, когда я писал об Италии То же и в Турции — убийственный рост инфляции, недогрузка промышленных предприятий, безработица, которая усугубляется еще и тем, что Европа, задыхаясь в экономическом кризисе, отсылает обратно на родину турецких рабочих, которые еще вчера составляли такой выгодный источник рабочей силы. Внешний дефицит Турции превышает 18 млрд. долларов, не считая ее обязательств по НАТО.

Новое турецкое правительство, пришедшее после переворота, ведет борьбу с терроризмом, расследует связи правых экстремистов с неонацистским движением в ФРГ, принимает меры для обуздания всевозможных маоистских группировок. Прискорбно, что кое-кто в Турции пытается использовать ситуацию для сведения счетов с демократическими силами, возлагая на них ответственность за политические беспорядки, хотя именно демократы всегда решительно выступали против тактики террора, за уничтожение социальной базы терроризма, за преобразования, способные дать турецкому народу долгожданную стабильность.

Мои морские записи, начатые в каюте теплохода «Белоруссия», были продолжены не за московским рабочим столом, а в громадном портовом Амстердаме, завершались же они в милом моему сердцу Созополе, «городе спасения» на болгарском Черноморье, о котором мне уже довелось писать на страницах журнала. Иными словами, мои записи неизменно оставались в непосредственном соприкосновении со всевластной морской стихией, подчинявшей себе и бег моих мыслей.

Годы захлопывались за мной, как двери гостиничных номеров в самых разных городах и странах Запада и Востока. Тем летом судьбе оказалось угодным вновь привести меня в Амстердам — один из крупнейших и оживленнейших портов мира, в котором я бывал и прежде, много лет назад.

Амстердам торгует, торгует уже много веков, и амстердамцы находят в этом истинное удовольствие. Они даже утверждают, что жители Амстердама рождаются торговцами. Позволю себе предположить, что все-таки не все. Тем не менее путеводители горделиво именуют Амстердам «городом-рынком». Могу засвидетельствовать, что уличные рынки живописны, сочно-красочны и изобильны, как натюрморты старых голландских мастеров. Торговцы нахваливают товары, не сдерживая себя никаким чувством меры, а покупатели... Покупатели не проявляют поспешности и, насколько я мог заметить, охотнее разглядывают витрины и прилавки, чем делают покупки. Кризис мировой системы капитализма не обошел «город-рынок», напротив, больно ударил по нему. Пока что спад в торговле Голландия пытается компенсировать изобретательностью рекламы.

«Амстердам — город бриллиантов!» — уверяет реклама.

«Бриллиант — самый дорогой друг женщины!» — вторит ей другая.

«Не упускайте случай — покупайте бриллианты!» — торопит третья.

По облику уличной толпы мне показалось, что абсолютное большинство прекрасных голландок вынуждено обходиться «без самых дорогих друзей женщин». А также без многого другого, более необходимого, чем бриллианты.

Усиленно рекламируется «свободная ночная жизнь» Амстердама, это тоже торговля, купля-продажа «живого товара», и иной раз в газетах можно прочитать сообщения о преступлениях, совершенных под покровом ночи... Но городу некогда вчитываться, не хочется вдумываться — он торгует, моет стекла остроконечных крыших домиков над каналами, накрывает столы бесчисленных своих ресторанов.

Обращает на себя внимание число харчевен, где подается пряная индонезийская еда — веками растаскивая достояние далекой тропической Индонезии, заваливая голландские гавани дорогими «колониальными» товарами, колонизаторы обошли своим пренебрежением только один аспект «застойной» индонезийской культуры — изысканную восточную кухню.

Но сегодня Индонезия живет собственной жизнью, и богатства ее земли и моря уже не переполняют банковские сейфы Голландии... Да и о том, что именно колониальный грабеж стал некогда основой голландского процветания, нынче в Нидерландах говорить не принято...

Известен отработанный капитализмом метод манипуляции сознанием масс: «свободные» средства массовой информации многословно обсуждают, освещают, осведомляют, и ошеломленному потребителю всей этой «объективной» пропаганды начинает казаться, будто власть имущие только тем и озабочены, как бы решить трудности простого человека. Однако на деле ничего похожего не происходит, а средства массовой информации умело переключают внимание людей на очередную сенсационную проблему, и все повторяется снова...

Но сегодня и практика манипуляции сознанием переживает кризис, как бы подтверждая древнее восточное речение о том, что «и самому умудренному из лжецов не дано удачно соврать трижды кряду». Люди все настойчивей задают вопросы и требуют ответов, а не демагогических увертюк.

Сложность и серьезность проблем, стоящих перед человечеством и вызывающих неподдельную тревогу миллионов, нуждается не в словесной шелухе для своего разрешения, а в разумных действиях.

Об этом говорил голландский ученый Р. В. Смит при открытии тридцатой Пагуошской конференции, в работе которой мне довелось принять участие. Доктор Р. В. Смит в качестве председателя этой конференции заявил, в частности, что «положение дел в мире сейчас в более опасном состоянии, чем, пожалуй, когда-либо с начала существования цивилизованного человеческого общества».

В международном форуме ученых приняли участие сто двадцать пять видных деятелей науки из сорока трех стран, в том числе из Советского Союза, США, Японии, Индии, Англии, Франции.

Наши заседания проходили на территории старинного замка, величественные башни которого казались не подвластными действию времени. В огромном дворцовом парке — каналы и пруд с лебедями, «прячущими от печали голову под крыло», симметрично проложенные прямые аллеи, аккуратно подстриженные кусты и деревья. Чисто вымытое нидерландское небо с аккуратными белыми облаками отличалось от горячих испанских небес, но этот замок не менее высокомерно вздымал свои башни, чем виденный мною ранее замок испанских королей. Я помню полумрак дворцовых залов, в которых словно оживали лица на портретах, заключенных в массивные золоченые рамы. Лица с неизгладимыми отпечатками, оставляемыми властолюбием и коварством, жестокостью и самодурством. Иные были отмечены явными признаками вырождения. Великие художники написали психологически точные портреты тех, кто правил миром в минувшие века. На миг мне почудилось, будто я вижу съежившиеся души венценосных особ, прячущиеся в вычурных одеяниях.

Может быть, мне почудилось это потому, что многие лица на портретах знакомы нам по книгам, по истории, донесшей до нас память об их деяниях, дворцовых интригах, кровавых переворотах, династических браках, склоках из-за наследства, жесточайших расправах с соперниками. Это они вершили судьбы мира, не выходя из-за толстых дворцовых или же монастырских стен; это они принимали здесь решения — казнить или миловать, быть или не быть, свято веруя, что все зависит от их воли. А вокруг, как и теперь, красовались слащавые купидончики, посылающие друг другу бессмысленные улыбки.

И этому пришел конец. В 1917 году в руки народа перешел другой дворец — Зимний, и человечество вступило в новую эпоху, народы во многих странах сами стали вершителями своих судеб.

Народы мира скажут свое решающее слово и сейчас, когда они поставлены перед дилеммой — быть или не быть человечеству. Этот выбор сделает человечество, а не горстка «сильных мира сего», обезумевших от иллюзии своего всевластия и забывших, что река времени не течет вспять.

Я думал об этом, слушая выступление лауреата Нобелевской премии лорда Ф. Ноэль-Бэйкера, который заявил:

— Я помню, в каких условиях началась первая мировая война и что она принесла человечеству. У большинства собравшихся здесь ученых на памяти ужасы второй мировой войны, но ядерный конфликт, который угрожает нашей планете, не сравнимый ни с одной из прежних войн, будет означать конец цивилизации. И именно поэтому мы, ученые разных стран и континентов, обязаны сделать все, чтобы способствовать разрядке, то есть прогрессу и гуманизму...

Большая часть заседаний Пагуошских конференций обыкновенно проходит за закрытыми дверьми, но на сей раз было не так: даже на церемонии открытия участники конференции откровенно говорили об угрозе миру и всему живому, исходящей от Вашингтона.

Американский медик Мартин Кэплан подчеркнул опасность того, что общественное мнение народов пытаются исподволь приучить к мысли, будто «ядерная война может быть локализованной и ограниченной».

«Предостережения... об опасной иллюзорности доктрины контролируемого ограниченного ядерного конфликта... оказали, по-видимому, ограниченное воздействие на правительственные инстанции, решающие вопросы стратегической политики...»

...Четверть века назад Альберт Эйнштейн, Бертран Рассел, Жолио-Кюри и восемь других известнейших в мире ученых подписали Манифест об угрозе ядерной войны. 25-летию этого события было посвящено специальное пленарное заседание, на котором председательст-

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
МОРСКИЕ ЗАПИСИ

вовал английский профессор Джозеф Ротблат, специалист по радиационной биологии, один из авторов Манифеста.

«Ситуацию сделало крайне опасной,— сказал он,— изменение отношения к ядерной войне... Эксперты в области военной стратегии в течение ряда лет защищали доктрину гибкого реагирования, и теперь она стала официальной политикой Соединенных Штатов. Страны НАТО тоже базируют свою стратегию на концепции ограниченной ядерной войны, проводимой при использовании тактического ядерного оружия, миниатюризированных ядерных средств и нейтронных бомб, рассчитанных на то, чтобы свести к минимуму ущерб если не людям, то собственности. Но те военные специалисты, которые предусматривают ограниченную по масштабам и в географическом отношении войну, либо не способны, либо не желают считаться с ужасными последствиями в случае срыва их игры ва-банк... И все же общественность систематически обрабатывают, чтобы добиться принятия доктрины ограниченной ядерной войны».

Спокойная тональность дискуссий, как нечто приличествующее высокому собранию ученых, давно уже сделалась традицией Пагуошских встреч, как традиционен стиль «научной объективности» и «политической беспристрастности» для документов, принимаемых пагуошцами.

Тем громче прозвучало предостережение участников XXX Пагуошской встречи:

«Никогда еще человечество не стояло перед столь серьезной опасностью. Мировая ядерная война означала бы конец цивилизации и могла бы привести к исчезновению рода человеческого... Под угрозой будет само сохранение человека как биологического вида. В этих условиях наш долг, как ученых, как представителей рода человеческого, ясен: мы должны бороться за сохранение жизни».

Участники Пагуошской встречи пришли к выводу, который они ясно изложили в своем Заявлении:

«Никакой альтернативы переговорам нет».

...А совсем рядом — нарядный, игрушечный голландский городок Брекелен, с опрятными домиками, ухоженными палисадниками, с тихой и мирной жизнью. И ужасающая по конкретности мысль — и этот городок тоже будет уничтожен? И тысячи тысяч разномастных людских поселений, разбросанных по голубой планете,— они тоже должны погибнуть?

Ни один мыслящий человек не мог не испытать тревоги, когда правительство США — позволю себе напомнить, что речь идет о правительстве государства, подписавшего соглашение с Советским Союзом о предотвращении ядерной войны! — сформулировало так называемую «новую ядерную стратегию». Вначале американская администрация заговорила «о пересмотре политики выбора объектов для ядерных ударов по Советскому Союзу». Затем тогдашний министр обороны США Г. Браун уточнил, что Америке необходимо «усилить гибкость своих планов в целях как можно более полного использования возможностей наших сил... в крайне неопределенных и хаотичных условиях ядерной войны». И так далее, все в том же ключе, все в том же тоне.

Ученые, писатели, общественные деятели Востока и Запада, с которыми меня сводила судьба и на Пагуошской конференции, и на Всемирном парламенте народов за мир в Софии, и на разного рода литературных встречах и «круглых столах», подчеркивали, что, по сути дела, американское правительство развязало психологическую войну против всего человечества, пытаясь внушить ему мысль о возможности, а в общем-то и неизбежности термоядерной войны. Да, действия администрации США безусловно направлены против всего человечества, а не только против некоей «враждебной» его части.

Бывший директор американского Агентства по разоружению и контролю над вооружением П. Уорнке заявил со страниц «Нью-Йорк таймс», что, принимая на вооружение новую ядерную доктрину, Вашингтон лишь увеличивает смертельную опасность, нависшую над самими Соединенными Штатами.

И уж крайне любопытно признание самого Г. Брауна: министр тоже не верит в «ограниченность» применения ядерного оружия. Он сказал: «Мы знаем, что контролируемый ограниченный удар вполне может перерасти в мировую ядерную войну, по моему мнению, это весьма вероятно».

Газета «Нью-Йорк таймс» высказалась не менее определенно:

«Концепция ограниченной ядерной войны, в которой, в каком-то смысле, можно победить, не просто сомнительна. Ее принятие может реально усилить риск ядерного самоубийства».

Позволю себе еще раз подчеркнуть страшную истину: самоубийства всепланетного.

Невзирая на зловещую суть ядерной концепции Вашингтона, некоторые круги на Западе все же были склонны предполагать, что она являлась частью предвыборной потасовки, маневром, пусть даже чрезвычайно опасным, но все-таки предназначенным Белым домом в основном для доказательства «твердости» Картера.

О Картере сейчас речи нет.

Оглядываясь на конец семидесятых, люди отчетливо видят, сколько вреда принесла политика сошедшей со сцены его администрации, каким недальновидным деятелем и ненадежным в международных отношениях партнером оказался он сам. Крепких выражений в его адрес сегодня не стесняются прежде всего те буржуазные наблюдатели, которые четыре года назад превозносили добродетели президента-демократа.

«Жалкое наследие». Иных слов не нашлось у маститого обозревателя Джозефа Крафта для оценки того, что оста-

вил Дж. Картер стране после четырехлетнего пребывания в Белом доме. Это наследие, сокрушается он, «представляет собой жалкое собрание разбитых иллюзий, принесенных в жертву идеалов, полумер и неразрешенных проблем».

Поистине прискорбно, что с первых же публичных заявлений новой администрации США стало ясно, что республиканцы не исправляют, а множат ошибки, суммарно вошедшие в «жалкое наследие», ведут курс не на ослабление, а на усиление международной напряженности, навязывают миру новый этап гонки вооружений, беспрецедентный по своему размаху.

Реальный выход из этой сложной и опасной международной ситуации с предельной ясностью указан во внешнеполитической программе XXVI съезда КПСС, выдвинутой в докладе товарища Л. И. Брежнева. Наша страна в своей внешней политике исходит из настоятельной необходимости активных усилий всех государств в целях оздоровления международной обстановки и укрепления мира, из того очевидного факта, что достижению этих целей послужили бы позитивное развитие отношений между СССР и США, их конструктивное взаимодействие в решении актуальных международных проблем.

И чем скорее это уяснит себе нынешнее правительство США, тем полезнее это будет для всех народов мира, включая, естественно, американский.

В это трудное для человечества время большую роль в борьбе против ядерной угрозы могут — и обязаны — сыграть и те, кто по роду своих занятий хорошо представляет себе губительные последствия ядерного безумия и способен рассказать об этом другим. Я имею в виду прежде всего ученых, деятелей литературы и искусства, врачей.

Врачи из одиннадцати стран, участники первой международной конференции «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», заявили в своем Обращении:

«Ядерная война неизбежно явилась бы катастрофой с медицинскими последствиями неимоверных масштабов и продолжительности как для воюющих, так и невоюющих государств.

С самого начала в этой катастрофе погибли бы десятки и сотни миллионов людей, а большая часть оставшихся в живых — раненые и обожженные, подвергшиеся атомной радиации, будучи лишенными эффективной медицинской помощи и даже пригодных к употреблению воды и пищи — останутся обреченными на медленное и мучительное умирание.

...Интересы нынешнего и всех грядущих поколений требуют, чтобы ядерная война была предотвращена. Веление нашего времени — сделать недопустимой саму мысль использования ядерного оружия в любой форме и любом масштабе...»

Участвуя в форумах демократических сил планеты, беседуя с коллегами, в споре с оппонентами я часто обращался мыслью к нашему морскому путешествию, к столь ярким впечатлениям от древних и вечно юных приморских городов: гавани, залитые солнцем, строгая тишина музейных залов, гомон детских голосов на спортплощадках, парочки на вечерних бульварах. Не забылись разговоры с рыбаками, таксистами, газетчиками, случайные и мимолетные знакомства, которые обыкновенно выпадают на долю любознательного путешественника. На что рассчитывают американские стратеги, пытаясь вовлечь в свои военные авантюры вот этих самых людей, поглощенных собственными проблемами, которые следовало бы решать сообща, всем вместе? Почему эти люди должны взвалить себе на плечи чудовищное бремя все возрастающих расходов по НАТО? Почему, во имя чего должны они ценой лишений приближать ужас коллективного убийства? Потому что НАТО закроет их грудью от несуществующей «угрозы советского экспансионизма»?

Демократическая общественность стран Средиземноморья все активней выступает против военных приготовлений НАТО, стремится объединить усилия в борьбе за превращение Средиземного моря в море мира, добрососедства и сотрудничества. Эту цель ставила перед собой и Международная конференция против империалистических баз, за безопасность и сотрудничество, созванная на Мальте, и Международная конференция за ликвидацию иностранных военных баз в Средиземноморском бассейне, и многие другие представительные собрания.

Наш век уже показал, что одно только совершенствование технических средств эксплуатации морских богатств, без разумного пополнения биологических ресурсов, способно вызвать немалые беды. Как бережет человек леса и поля, так должен он беречь и «голубую ниву», а не только собирать на ней урожай.

Карл Маркс писал:

«Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой... Воздействуя... на внешнюю среду и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу».

Между тем провокационные истерические вопли о том, что «советская угроза» понуждает НАТО обратить Средиземное море в «закрытый бассейн», уже сегодня привели к результатам почти катастрофическим: базирование американских атомных кораблей в портах Средиземного моря является, по данным исследований, одной из основных причин его загрязнения.

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
МОРСКИЕ ЗАПИСИ

Слишком много грязи накопилось на берегах земли. И теперь ее потоки устремились в море, которое засоряется и отравляется продуктами рук человеческих.

Прискорбные последствия загрязнения Средиземноморья, побережье которого столь плотно заселено и так давно обжито, не замедлили сказаться на общем нарушении экологического баланса этой части земного шара. Здесь оскудевают уловы рыбы, гибнут птицы, падает плодородие древних прекрасных земель. Невольно содрогаешься, сознавая, что это может быть лишь началом губительных изменений в природе.

Позволю себе сопоставить для сравнения миф о «советских агрессивных намерениях» с реальностью действий СССР. Именно Советский Союз, в полном соответствии с теорией и практикой марксистского подхода к жизни, впервые указал на непосредственную связь между проблемой сохранения окружающей среды и процессом разрядки международной напряженности. В 1980 году Советский Союз внес на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции, само название которой поистине знаменательно: «Об исторической ответственности государств за сохранение природы Земли для нынешнего и будущего поколений».

От того, сколь рачительно мы распорядимся запасами кладовой природы, будет зависеть не только решение таких огромных проблем, как обеспечение пищей быстро возрастающего населения нашей планеты, но и другое — каким будет завтрашний человек. Прискорбна мысль о том, что сегодня приходится вести бой за то, чтобы человечество не прекратило свое существование вообще, за то, чтобы суметь, как говорил товарищ Л. И. Брежнев, «сберечь нашу землю, передать ее молодому поколению во всем ее богатстве и красоте, не изуродованной пламенем ядерного пожара».

Полагаю, что неоспоримое преимущество Советского Союза зиждется на историзме его позиции, а оборонная мощь выступает как обеспечение действенности этой позиции

Жан Жорес сказал когда-то, что капитализм несет в себе войну, как туча — бурю. В противовес этому, мир есть органическая потребность социалистического общества, ибо он является предпосылкой достижения той цели, которая стоит перед социализмом как системой,— максимальное удовлетворение материальных и духовных запросов человека. Не растрата энергетических, сырьевых, природных ресурсов, созидательных творческих сил человечества на бешеную гонку вооружений, способную привести всех нас к гибели в ядерном пожаре, но бережное расходование и приумножение щедрот земли на благо человека — вот что вытекает из самой сущности социализма.

И потому весь мир с надеждой вслушивался в слова доклада Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС:

«Отстоять мир — нет сейчас более важной задачи в международном плане для нашей партии, нашего народа, да и для всех народов планеты.

Отстаивая мир, мы работаем не только для ныне живущих людей, не только для наших детей и внуков; мы работаем для счастья десятков будущих поколений.

Если будет мир, творческая энергия народов, опираясь на достижение науки и техники, наверняка решит те проблемы, которые сейчас волнуют людей».

Мир, созидательный труд под чистым небом на свободной земле. Не эта ли мечта вдохновляла издревле и до наших дней художников, мыслителей, ученых Запада и Востока? Бесконечное разнообразие форм и очертаний, в которые выливалась эта мечта, и глубинное сходство их сути...

Путешествие по берегам моря Средиземного, срединного, связующего, соединяющего эпохи и народы, посещение земель, где цивилизации и культуры Востока и Запада наслаивались, обогащали друг друга, смешивались, рождая новые культуры, влияния которых распространялись на далекие континенты и моря, а там они вливались в культуры других народов — все это будоражит мысль, зовет ее прослеживать прихотливые пути истории...

Я далек от желания идеализировать культурные связи прошлого. Увы, история войн не скуднее истории мирного развития народов. Легенды, летописи и хроники доносят до нас отзвуки давних сражений, пожаров и осад. Грустно размышлять о навсегда исчезнувших плодах человеческого труда и гения, о том, что было погублено слепой яростью, воинствующим невежеством или религиозным рвением. Римский легионер не пощадил чертежи Архимеда, но греческая наука завоевала Римскую империю. Арабские воины сожгли Александрийскую библиотеку, но арабы стали хранителями античного знания. Александр Македонский не сумел покорить Индию, но греческая культура, сочетавшись с индийской, дала миру прославленную гандхарскую школу ваяния.

Примеры можно умножить, но человек XX столетия с ужасом и болью осознает, что сейчас нет речи об аналогиях с войнами прошлого, ибо впервые в истории мы боремся против возможности всеуничтожающей войны, после которой не осталось бы следов жизни.

Последние страницы этих записей завершались уже в Созополе, на исполненной красоты и легенд земле болгарского Черноморья. Сам здешний воздух, ритм местной жизни побуждает к раздумьям, воспоминаниям, к поискам скрытых связей между событиями, и, хотя справедливо замечал Гераклит, что «скрытая гармония сильнее явленной», страсть явить ее — сильнее нас. Всякий пользуется средством выражения, ему доступным,— палитрой ли, мелодией и

танцем или словами на бумаге. Я жил с чувством радости от того, что дороги судьбы вновь привели меня на благословенный этот берег.

Вспоминался не без грусти морской путь, который был пройден в минувшие месяцы. И хотя неостановимый бег жизни, заполняя внимание все новыми событиями, теснит в глубь памяти вчерашний день, все же мысли постоянно возвращаются к изумительному этому путешествию и переживаниям, связанным с углублением в минувшую историю и обращением к современности.

То были встречи с культурами, традициями и национальным темпераментом приморских стран и народов Востока и Запада, представшими не столько в разнообразии форм, сколько в единстве общечеловеческой сути. Встречи и знакомства с людьми разных взглядов и суждений, но единых в помыслах о необходимости мира для дальнейшего существования Третьей планеты.

Мысли об этом приходили и во время плавания на теплоходе «Белоруссия», и вновь возникали в сознании в милом Созополе.

Как некий символ всечеловеческой тоски по обыкновенному человеческому счастью, снова и снова воскресали в памяти печальные черты темноволосой молодой женщины, горькая складка губ ее седеющего спутника — непрочитанная мной повесть о любви, которая отбросила свой отблеск на все морское путешествие... Я сожалел, что я не художник...

Невозможно не видеть объективного хода исторического развития: происходит все большая интернационализация культур, и взаимное их влияние друг на друга, которому способствует и НТР, на наших глазах рождает общемировую культуру, сохраняющую национальные формы, из которых она слагается. Нелепыми представляются всякие искусственные старания воспрепятствовать этому развитию, естественному общению культур и людей. Проявляется ли это в бойкоте Олимпийских игр, в разного рода эмбарго или отказе советским судам заходить в американские порты. Абсурдны старания разорвать связи, остановить обмен и людские коммуникации, которые вызваны к действию самой жизнью и отвечают духу нашего времени. Субъективные амбиции администраций, в том числе президентских, мягко говоря, далеко не всегда сообразуются с интересами народов. Они скорее идут вразрез с их волею и чаяниями.

Длинный день моего одиночества у письменного стола в старинном созопольском доме, перед окнами которого распахивается безбрежная панорама морской гавани, закончился встречей с давним моим другом — живописцем Яни Хрисопулосом. Мы не виделись целый год.

Безветренный знойный день клонился к вечеру. Деревья стояли неподвижно, не шевелился ни единый лист, как на живописном полотне.

Я вновь стоял у входа в студию удивительного этого человека и художника, олицетворяющего собой увлекательный мир маринистики. Яни Хрисопулоса я застал в привычной для него позе — прямая спина, не сгорбленная старостью, отрешенный от суетности взгляд, устремленный на мольберт. Казалось, он застыл, весь сосредоточился на картине. Почувствовав мое появление, он повернулся ко мне, но не узнал, как это бывало прежде. Он совсем не видел... Лишь услышав мой голос, художник приблизился ко мне и заключил меня в долгие объятия. То был трепетный миг, осененный восторгом и печалью.

Да, живописец слеп. Но есть зрение сердца.

Когда негритянского музыканта Рея Чарльза спросили: как удается ему, лишенному зрения, познать и выразить многокрасочность мира, он ответил, что не собственная слепота мешает ему, а другое: на свете столько зрячих, которые ничего не видят и не могут понять смысл увиденного мной, слепым, и выраженного в мелодиях...

И все же Рей Чарльз — музыкант, а Яни Хрисопулос — художник, и его инструмент познания мира — глаза!

Мастерская художника завешана, заставлена его картинами, показывающими нескончаемое разнообразие аспектов, в которых поэт болгарской природы запечатлел ее красоту.

Яни Хрисопулос доверяется запасу жизненных впечатлений, художническому опыту, которым его обогатила долгая жизнь, насыщенная непрестанным трудом, поиском и общением с живой природой.

— Удивительно устроен человек,— говорит Хрисопулос,— огорчается, теряя богатство, но равнодушен к тому, что безвозвратно уходят дни его жизни.

Древние эллины полагали, что семьдесят лет есть разумный предел человеческой жизни, и делили они ее на десять отрезков. Считалось, что до тридцати лет человек достигает полноты физических сил, затем следует ему вступить в брак и оставить потомство, к сорока расцветут его умственные возможности, и последующие десять лет— пора наивысшего подъема, а уж потом наступит время угасания...

Быть может, это верно статистически. Но Яни не оставляет мольберт, и в его картинах — неукротимое биение морских волн, огни рыбацких шхун в ночи, взвихренность валов студеного моря, неуемные голоса чаек над скалами. Эмоциональный строй полотен — остросовременен, даже когда художник обращается к первозданной природе, подчеркивая ее вечную девственность.

— Человеческая жизнь и силы человека ограничены, даже у моря есть прибрежные скалы. Вы столько дали миру, что вам могут многие позавидовать. Вы давно заслужили покой! — вырвалось у меня во время одной из наших бесед.

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
МОРСКИЕ ЗАПИСИ

— Неужто вы действительно верите, что можно отложить в сторону палитру и кисть, остановиться, прервать себя, укротить свою душу, отказаться от любви, прошедшей через всю жизнь? Разве это не означало бы конца и моей художнической страсти, и моего физического существования? — взволновался Хрисопулос.

Как океанский корабль вздымает большую волну, на которой покачиваются баркасы и лодки, так и душа художника приводит в движение человеческие чувства. Но проходит корабль и уимается волна, а искусство продолжает воздействовать на поколение за поколением, излучая творческую энергию, заложенную при создании произведения.

Говорят, нужно быть жестоким к себе, чтобы не были жестоки к тебе другие.

Помимо таланта, врожденного дара, есть еще трудолюбие — жестокий, непрестанный, изнурительный труд, одно из непременных измерений достоинств человека и творца художественных ценностей. Многолетний, повседневный труд без поблажек — в нем высокое мужество человека и высокая его простота. Такого человека ничто не может сломить...

И возникают на полотнах образы ясные, простые и точные. Кажется, что только такими они и могут быть. Будто хлеб, солнце, вода...

— Жизнь не ради разрушения, чем грозит наш век, не ради ухода в небытие. Жизнь для радости и созидательного труда, для счастья своего и других,— продолжает звучать во мне голос Яни Хрисопулоса.

Вновь останавливаюсь у одного из любимых полотен Яни Хрисопулоса, занимающего центральное место в его студии. Бушующее море под взбешенными штормовыми тучами. Так и ощущаешь яростный напор ветра и удары ливневых потоков. Яни рассказал, что написал эту картину после страшной бури, в которую попал сам.

В поздний час я вернулся в свой дом на улице под названием «Морские скалы». Над Созополем опустились густые облака. Погода резко изменилась, как это часто здесь случается. За окном бушевал сырой штормовой ветер. Он туго гудел в кронах смоковниц, темные шатры которых достигали черепичной кровли дома.

Не думал, что у этого дня, еще одного дня от восхода до заката солнца, будет такой финал, радость общения с искусством и природой... Не потому ли так хотелось прильнуть к плодоносящему инжирному дереву, к земле, которая вырастила его, к вечным скалам, омываемым морем?

Ночью разразился шторм. Море превратилось в водяные бугры, которые ходили взад и вперед, темно-синие и бурые около песчаного берега и черные в глубинной дали. Море билось, кипело, металось и неутешно стонало. Огромные волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него и снова откатываясь с шипением.

И перед моими глазами вновь предстали полотна Хрисопулоса, неотделимые от природы Созополя. Они — живые ее куски. От них словно исходят звуки моря, его неутихающая песня. И кажутся осязаемыми на полотнах Хрисопулоса влага и сырость мокрых скал и валунов, которые вижу я у причала перед моим жилищем.

А на следующее утро... раскинувшаяся вокруг вода казалась гладкой, светлой и неподвижной. Листопад... поздняя осень, осень года и человеческой жизни...

Созопольское побережье прекрасно во все времена года. Древние фракийцы и поселившиеся здесь поздние милетские колонисты сумели по достоинству оценить благодатный климат этого края, выбрать эту землю для счастливого своего поселения.

Старый рыбацкий поселок, прижатый к морю, со своими скрипучими причалами и неутешно рыдающими чайками. Небольшая моторная шхуна. Бывалые мореходы, опытные созопольские рыболовы... Капитан нашего судна Никола Георгиев Червенков вместе со своим помощником Димитром Николовым Хрусоновым, не мешкая, скомандовал рыбакам отдать концы и стать на вахту. Здесь рыбачили деды и прадеды этих сильных и смелых людей. Море и кормило людей, и взимало с них страшную дань. Шли века, совершенствовались суда и снасти, все меньше людских жизней получала пучина, и словно за это все менее охотно давала она человеку от щедрот своих.

Человек — часть природы и венец ее творения — постепенно приходил к пониманию того, что не может он только противоборствовать стихии моря, но должен и защищать и кормить море, некогда породившее саму жизнь.

...В тот день море благоволило рыбакам. Мы возвращались с щедрым и разнообразным уловом. Пеламида, луфарь, ставрида не часто попадаются вместе в созопольском заливе, говорили мне рыбаки и скромно объясняли добрый улов просто рыбацким везением.

Помнится, на обратном пути мы разговорились о проблемах морских, о способах поддержания изобилия в море. Я рассказывал рыбакам, и старым, и новым друзьям моим, о том, как в нашей стране серьезно изучаются разные способы поддержания «голубой нивы». О том, что для воспроизводства и акклиматизации рыб создаются инкубационные аппараты, бассейны и системы для подращивания молоди, различная техника для доставки и раздачи гранулированных кормов в рыбоводных хозяйствах, для транспортировки «живого серебра» на большие расстояния. Достаточно сказать, что только на Дальнем Востоке действуют двадцать три предприятия, ежегодно отправляющие на вольный выпас в море до девятисот

миллионов штук молоди. На Кольском полуострове размножают семгу и горбушу. В Южном Приморье в начале семидесятых годов созданы первые в СССР морские фермы и плантации по разведению гребешка, гигантской устрицы, водоросли-ламинарии. Сбор морской капусты на отдельных участках достигает здесь рекордной цифры — до десяти килограммов с квадратного метра площади.

На обратном пути сопровождавшие нас руководители созопольских коммунистов — Маринов и Бойчев, а также глава местных рыбаков Карабаджаков, которые оказались поклонниками искусства Яни Хрисопулоса, предложили пройти вдоль созопольского полуострова, чтобы полюбоваться со стороны моря панорамой города, отображенной на многочисленных полотнах художника. И мне подумалось, что здесь-то и наступил мой час — сейчас я сумею увидеть гавань такой, как она предстала перед милетскими переселенцами в давние-давние времена.

Глубоким покоем повеяло на нас от пейзажей старинного Созополя, который возник перед нами в гладком зеркале морской воды, омывающей оголенные темно-серые скалы. И радостью узнавания — Хрисопулос запечатлел едва ли не все виды родного своего города, изогнутых его улиц, узких переулков, кварталов, домов. Не осталось, кажется, ни единого уголка каменистого полуострова, который оказался бы вне поля зрения живописца.

— Искусство Яни Хрисопулоса — это труд не только мариниста, но и подлинного патриота. Его картины полны поэзии Созополя, болгарского Черноморья,— сказал капитан нашей шхуны.

— Хрисопулос — живописец из народа. Силой своего таланта он завоевал себе прочное место в мире реалистического искусства Болгарии,— добавил один из рыбаков.

— Картины Яни Хрисопулоса,— рассказывал Маринов, руководитель местных коммунистов,— можно встретить здесь в каждом доме. Некоторые семьи составили прямо-таки коллекции его полотен. Мы любим картины Хрисопулоса, потому что он нарисовал нас самих, наш город, нашу землю и море. И еще потому, конечно, что созданы эти картины талантливым нашим земляком.

Слушая слова моих спутников о художнике и его искусстве, я вспомнил экспозицию, которую видел в одном из крупнейших голландских музеев неподалеку от Амстердама. Она именовалась выставкой современного искусства. Выдалась на редкость хорошая погода. Солнечный свет над небольшими городками, встречавшимися на пути, поистине казался небесной благостью. Низкие облака и скользящие лучи создавали неповторимую освещенность, столь характерную для голландской живописи... Все располагало к предстоящему зрелищу. Я надеялся встретиться с произведениями, отражающими искания в творчестве, проблемы человека, современника и его духовно-этических ценностей. Хотелось увидеть жизнь через искусство — трудную, полную нравственных борений и моральных конфликтов с собой, с другими, с тенденциями потребительства в западном обществе, утверждающем нравственное уродство, господство денег и бездуховности...

И что же? Меня ждало горькое разочарование, одна из мрачных шуток жизни. Вместо картин предо мной предстали такие произведения искусства, как гора мешков, набитых чем-то и сваленных в углу пустой комнаты; простые серые камни в ящиках, поставленных рядком, как на строительной площадке; доски и брусья, сложенные, как на складе. В соседнем зале вообще не было экспонатов, если не считать красного шнура, протянутого от стены к стене и в центр зала из угла.

— Как вам понравилась выставка модернистского искусства в нашем музее? — спросила меня дама неопределенного возраста и столь же неопределенной внешности.

— Как? Я еще не утратил способности удивляться,— непроизвольно вырвалось у меня.

— Но ведь это современная концепция бытия и личности,— заспорила дама.

— А может быть, это — концепция подготовки помещения для ремонта?

— Вы извращенно мыслите! — вспыхнула собеседница.

— В чем несомненна заслуга претендентов на роль властителей умов... Уж больно они износились, духом износились... Но выставку необходимо было посмотреть, чтобы полнее оценить контраст прекрасного и безобразного, подлинной живописи и авангардистского уродства,— ответил я возмущенной даме.

— Вы, кажется, страдаете неизлечимой ностальгией по старозаветному искусству,— не унималась спорщица.

— Разное, видно, у нас понимание и отношение к высоким идеалам, к духовной и нравственной чистоте.

— Но эта выставка — подлинная сенсация! — воскликнула дама.

— Духовная возвышенность, увы, явление крайне редкое в современных произведениях западных художников. Относительно же сенсации — все знают, как интерпретируется термин «сенсация» в западном мире: если собака укусила человека — это не информация, сенсация — если человек укусит собаку...

Широко распространенное сейчас на Западе стремление — практически любой эксперимент, вне зависимости от результата, обязательно выдать за творческое развитие, за новацию, представить в виде плодотворного способа обогащения искусства. Во всем этом обнаружи-

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
МОРСКИЕ ЗАПИСИ

вается попытка оправдать дегуманизацию искусства, утвердить культ необузданной вседозволенности, духовной опустошенности, насилия, ужасов и абсурда.

К величайшему огорчению, вульгаризация и бездарность иногда бывают победительнее ума и здравого смысла. Они нередко одерживают верх над достоинством и честью. Еще в циньскую эпоху искусствовед Шэн Цзэчжоу утверждал, что в живописи вульгарность бывает пяти видов: вульгарный дух, вульгарный ритм, вульгарная кисть, вульгарный замысел, вульгарный человек.

Балки, опоры, деформированные фермы, кирпичная кладка, лоскуты разорванной материи... Что это? Искусство авангарда. Груда камней и битого кирпича — искусство?

В произведениях искусства, как и в творениях живой природы, рядом с красотой, близ прекрасного может быть несовершенство, какой-то изъян, ее подчеркивающий, усиливающий. Но что же это за картина, если не знаешь, как ее вешать?

Это, конечно, не обобщение, не обзор выставочных залов мира. Это — всего лишь один из залов, но, может быть, характерный, похожий на многие другие авангардистские экспозиции в странах Запада.

Авангардистское искусство стало частью официальной системы в западных странах. Оно признается там как высокая культура. Ему оказывается помощь и поддержка властей. Но авангард зашел в тупик, доказывая раз за разом, что создает «искусство ради искусства».

Так называемое искусство авангарда — это, помимо прочего, тактические ухищрения, которыми предприимчивые дельцы пользуются, чтобы навязать что-либо людям под видом оригинальности и модных веяний. Это не может не приводить — и приводит — к опустошенности, бездуховности, утрате нравственной и эстетической взыскательности. Многое здесь обусловливается частнособственнической психологией, порождающей страсть накопительства и стяжательства. Благодаря деньгам, на которые приобретается все «оригинальное» и «сенсационное», поборники западного образа жизни пытаются замаскировать потребительскую сущность самой системы, человеческую отчужденность, дегуманизированную мораль, самодовольный прагматизм обывателей.

...День в свой час склонился к закату. На фоне уходящего за горизонт солнца панорама кажется прозрачной, особенно прекрасны манящие вдаль морские суда, отходящие от берега и идущие в открытые воды. Мелкая рябь волн словно устремляется к туманным далям гор. Прохладный ветер треплет паруса плывущих рядом яхт. Скоро запламенеют светильники, появятся огни на море...

И мне внезапно пришли на память огни Ропотамо... Стояла тихая осень с теплыми ночами, с сероватым утренним туманом, неутешным плеском моря и прерывистыми криками чаек. Мы проплыли на лодке по реке Ропотамо. Был знойный вечер. Вокруг царила тишина ровной как зеркало реки, будто погрузившейся в сон в низких своих берегах, над которыми склонились и стоят неподвижно густые заросли. Это был час, когда природа будто готовилась ко сну: утихает волнение, замирают звуки, угасает свет. И человек словно ощущает в себе новую жизнь, делается частью природы и, вспоминая об этом сознательно, оценивает все очарование, всю поэтическую прелесть мгновения.

Ночью внезапно разразился сильнейший шторм. Временами казалось, что старый мой фракийский дом, оторвавшись от скального грунта, попал во власть морской стихии.

А наутро тусклый, будто дремлющий, солнечный свет стоял в моей комнате, подчеркивая покой и тишину у достославных берегов Созополя.

◆

# К нашим иллюстрациям

## СОВРЕМЕННАЯ МОНГОЛЬСКАЯ ЖИВОПИСЬ

В душе каждого народа живет вечное стремление к искусству, постоянная потребность в прекрасном. И в этой постоянной тяге к культуре, к творчеству проявляется его духовное здоровье, мечта о свободе и счастье. Монгольский народ издревле выражал себя в поэтических сказаниях и фольклоре, в звучных цветах и узорах национального орнамента, в виртуозных изделиях, выполненных из дерева, металла, камня, в постоянном желании украсить предметы быта и орудия труда.

Самобытная традиционная монгольская живопись корнями уходит в седую древность. Линия в ней выполняет несколько функций, в том числе символического обозначения пространства. Чем удаленнее предмет изображения от переднего плана, тем тоньше его контурные линии. В этой живописи использовали семь основных, естественных цветов, называемых «отцовскими», и белый цвет, именуемый «материнским». Для передачи того или иного цвета растирали золото, бирюзу, коралл, охру, доводили их до нужного тона и яркости.

Народная революция 1921 года коренным образом изменила жизнь монгольского народа, дала новые истоки для гармонического расцвета творчества, для расцвета национальной культуры. Новая жизнь, новые идеалы выявили необходимость активного включения в арсенал художественных средств наиболее ценного и духовно здорового из культурного наследия прошлого.

Очень много в этом направлении сделал один из выдающихся мастеров старой школы Балдугийн Шарав, прозванный в народе Марзан, то есть Насмешник. Произведения Шарава вызывают большой интерес во всем мире. Его называют монгольским Брейгелем. Шарав повествует в своем творчестве о жизни монгольского народа, показывает повседневные занятия скотоводов, передает поэзию коллективного труда. Картины Шарава графичны, изображения людей и животных обобщены и, несмотря на миниатюрные размеры, монументальны. Многочисленные ученики и последователи Б. Шарава, такие как народный художник МНР Н. Цултэм, народный художник МНР У. Ядамсурэн, заслуженные деятели искусств МНР А. Сэнгэцохио, Д. Дамдинсурэн, Б. Аварсад и другие, работают в традиционном национальном стиле.

Национальная живопись охватывает самые разные жанры, начиная от изображений животных и кончая многофигурными тематическими полотнами, отображающими крупные исторические и современные общественные события. Перспектива дальнейшего развития этого своеобразного рода живописи заключается не в механическом перенесении традиционных черт в станковую картину, не в сведении национальных особенностей к формальным приемам, к стилизаторству, а в углубленном изучении самой изначальной сути художественных принципов, в поисках и открытии новых изобразительных возможностей.

С европейской школой масляной живописи многие монгольские художники познакомились в 1939 году, когда в Улан-Баторе открылась первая выставка советских художников. Эта выставка оказала большое влияние на творчество художников нового поколения. В работах Б. Чогсома, С. Дондога, Д. Амгалана и других предстает правдиво и ярко изображенная Монголия нашего времени. Заметное место в современной монгольской живописи занимает историческая тематика. Тема народной революции 1921 года представлена на обложке этого номера картиной О. Мягмара «В Ханын тале». На полотне представлена сцена из истории основания монгольской народной армии Сухэ-Батором.

Современное поколение молодых художников, получивших профессиональное образование в СССР, Чехословакии, Германии, Польше, не имеет аналогов в прошлом, в старой национальной традиции. Не обращаются они ни к каким стилизаторским приемам во имя соблюдения «национальной специфики». И столь ярко выражена здесь новая жизнь Монголии, что мы имеем все основания видеть в этой живописи одно из замечательных проявлений современного социалистического искусства.

**Д. П.**

◆

# Антирубрика

# ФАНТАЗИИ НА АМЕРИКАНСКИЕ ТЕМЫ

■

*Перевод с английского АНАТОЛИЯ МЕЛЬНИКОВА*

## РЭЙ РАССЕЛ

### Комната

Крейн проснулся оттого, что мозг его, казалось, насквозь пронзил рекламный мотив «Пенящаяся зубная паста «Тингл». Он догадался, что фирма «Тингл», должно быть, перекупила у фирмы «Слипку» время ночных передач. Взглянув на репродуктор «Слипку», встроенный в стену рядом с его подушкой, Крейн нахмурился. Потом бросил взгляд на потолок: на нем пока ничего не было. Должно быть, еще довольно рано, объяснил он сам себе. Когда же, наконец, на потолке словно нехотя замерцала реклама фирмы «Коффиц», он опустил глаза и выбрался из постели. Он старался не глядеть на рекламу, напечатанную на простынях, наволочках, одеялах, на его халате и стельках его тапочек. Как только ноги Крейна коснулись пола — включился телевизор. Выключался он сам, автоматически, в десять вечера. Крейн мог по своему желанию свободно переключать программы, однако не видел в этом никакого смысла.

Он зажег свет в ванной — и телепередача мгновенно переместилась туда. Он погасил свет и совершил свой первый утренний ритуал в потемках. Но для того чтобы побриться, ему требовалось электричество, и, как только он включил свет, телепередача в ванной возобновилась. Едва он начал бриться, как зеркало принялось мерцать каждые три секунды. Это не могло помешать ему бриться, однако Крейн поймал себя на том, что размышляет о разрекламированных добродетелях фирмы «Титанг», с которой конкурировала «Коффиц». Несколько мгновений спустя он уже читал на листках туалетной бумаги «Объявления дня»: о безотказном слабительном, действующем исключительно мягко, а также о болеутоляющем средстве «Стоп», имевшем привкус кукурузного виски.

Крейн одевался, когда зазвонил телефон. Пусть себе звонит. Он знал, что стоит ему взять трубку, как он услышит: «Доброе утро! Вы уже ели «Краккеруни»? В них — множество протеина и...» Или, как вариант: «Зачем ждать, когда пришлют призывную повестку? Поступайте на службу сейчас же, по своему усмотрению, и воспользуйтесь следующими льготами для добровольцев...» Или: «Погода действует на ваше самочувствие? Болезни коронарных сосудов сердца убивают четырех человек из пяти! Ранние симптомы болезни следующие...»

И в то же время Крейну могли звонить по неотложному личному делу. Он поднял трубку и сказал «алло».

— Привет,— ответил вкрадчивый, с хрипотцой женский голос. — Боб?

— Да.

— Боб Крейн?

— Да. Кто говорит?

— Меня зовут Джуди. Я знаю вас, но вы меня не знаете. Появлялось ли у вас в последнее время ощущение какой-то тупости, словно вы не в своей тарелке?

Он положил трубку. Этот звонок заставил его принять решение. Он достал скомканную бумажку из ящика письменного стола. На узкой полоске был записан адрес. До сих пор Крейн колебался, следовало ли ему добиваться осуществления заду-

манного. Но теперь он почувствовал себя уверенно. Он вышел из дома и остановил такси.

В спинке переднего сиденья тотчас вспыхнул экран, и Крейн поймал себя на том, что смотрит передачу «Сок «О-Вессент» на завтрак». Он развернул газету, оставленную предыдущим пассажиром. Крейн не стал задерживать взгляд на напечатанной в четыре краски рекламе фирмы «Глиттеринк» с ее двусмысленными гомосексуалистскими, садистскими, мазохистскими, кровосмесительными и эротическими символами, но попытался сконцентрировать внимание на колонке новостей о начале новой правительственной программы жилищного строительства, однако его попытки игнорировать рекламу «Бриз-Деодоранта», напечатанную желтым шрифтом по белому фону, оказались безуспешными. Тем временем такси достигло места назначения. Крейн расплатился с шофером, сунув ему банкнот, на одной стороне которого был изображен Авраам Линкольн, а на другой — нагая купающаяся женщина с куском мыла «Смути».

Крейн вошел в каркасный дом, выглядевший довольно убого, отыскал нужную дверь и нажал на кнопку звонка. Было слышно, как в квартире задребезжал старомодный электрический звонок, а не модный колокольчик, отзванивающий мотивчики вроде «Иит-Миит», «Джетфлай» или «Криспи-кола». Крейн ощутил прилив надежды.

Дверь открыла неряшливого вида женщина, которая подозрительно оглядела посетителя и спросила:

— Ну?

— Я... хм... миссис Ферман? Ваш адрес дал мне мой друг Билл Сиверс. Насколько мне известно,— он понизил голос,— вы сдаете комнаты.

— Убирайтесь вон! Хотите, чтобы у меня были неприятности? Я — порядочная гражданка...

— Я заплачу, заплачу. У меня хорошая работа. Я...

— Сколько?

— Двести долларов. Это вдвое больше того, что я плачу за квартиру в новом доме.

— Входите.

Женщина закрыла за ним дверь на замок, потом на засов и цепочку.

— Сдается только комната,— сказала хозяйка.— Туалет и душ — в том конце прихожей, помимо вас ими будут пользоваться еще двое жильцов. Мусор выносите сами. Зимой обогревайтесь как знаете. Если нужна горячая вода, гоните еще полсотни. В комнатах готовить не разрешается. Никаких гостей. Плата за три месяца вперед, наличными.

— Я согласен,—торопливо сказал Крейн, потом спросил:— Телевизор выключается?

— Здесь нет телевизоров. И телефона тоже.

— И нет репродуктора фирмы «Слипку», встроенного в стену, который всю ночь мешает спать? Зеркала не мерцают? И проекторы не укрыты в потолке и стенах?

— Ничего такого здесь нет.

Крейн заулыбался. Он отсчитал квартплату прямо в грязную ладонь женщины.

— Когда я могу въехать?

Она пожала плечами.

— В любой момент. Вот ваш ключ. Четвертый этаж, фасад. Лифта нет.

Крейн ушел, продолжая улыбаться, с зажатым в руке ключом.

Миссис Ферман сняла трубку и набрала номер.

— Алло?— сказала она.— Докладывает Ферман. У нас новый жилец, мужчина лет тридцати.

— Прекрасно, благодарю,— ответил голос.—Начинайте лечение немедленно, доктор Ферман.

## МЭГГИ НЭДЛЕР

# Последнее новшество

В тот самый момент, когда эта женщина переступила порог нашего магазина, я сразу понял, к какому именно типу она принадлежит: живущая в пригороде пресыщенная супруга богатого бизнесмена, который часто отлучается из дома, а ей некуда девать свободное время. Старше пятидесяти, дебелая, с излишком косметики на лице, имевшем раздраженное выражение, как следствие злоупотребления коктейлями. Покрой платья и старательно уложенные, подцвеченные волосы выдавали ее — от них исходило ощущение довольства.

Я подошел к посетительнице.

— Чем могу служить, мадам?

— Мне хотелось бы купить телевизор,— отвечала мадам голосом, привыкшим повелевать.— Называется «Супра». Последняя модель.

«Супра Икс»: добрый знак. Я старался, чтобы выражение лица не выдало моей заинтересованности. Мы не должны были упоминать об этой особой новинке в присутствии клиентов, если, разумеется, сами они о ней не заговаривали.

— Хорошо. Пройдите, пожалуйста, сюда.

Мы вступили с ней в райский уголок, заставленный разнообразными изделиями современной техники, которые предлагались вниманию покупателя; миновав его, мы очутились в секции телевизоров.

— Вот мы и пришли. Вы имеете представление об интересующей вас модели?

— Никакого.

Голос ее звучал вызывающе: так покажите мне эту модель!

Слегка нервничая, я снял телевизор с верхней полки стеллажа и поставил перед ней.

— Будьте любезны,— я пустил в ход

свою наиболее обворожительную улыбку.— Перед вами — «Супра Икс». Самая последняя и, без сомнения, лучшая модель. Ни одна другая фирма не способна выпустить ничего подобного. Прежде всего соблаговолите обратить внимание на исключительную легкость этого аппарата. Всего десять фунтов. Его можно повесить на стену, на крючок либо установить на ножки (вот я их выдвигаю) и очень легко переставить с места на место. Он так же удобен, как и портативный телевизор. Обеспечивает высококачественный прием изображений вне дома...

— В самом деле?

Тон ее был по-прежнему властным, но видно было, что она заинтересовалась. Тем временем я готовился пустить в ход все свое искусство.

— Но это далеко не главные достоинства «Супра Икс».

Я включил телевизор. Экран вспыхнул яркими красками. Показывали какое-то празднество: мимо проплывали огромные плоты, увитые гирляндами цветов, на которых восседали миловидные девушки.

— Цвет воспроизводится очень точно,— втолковывал я ей.— А вот устройство, которым вы, вероятно, вряд ли будете слишком часто пользоваться.

Я повернул переключатель, и изображение тотчас померкло, превратилось в черно-белое.

— Тем не менее,— продолжал я,— бывают случаи, когда им стоит воспользоваться. Оно обеспечивает улучшенный прием программ, которые все еще передаются в черно-белом изображении, например, старые фильмы.

Я снова переключил изображение на цвет, повертел другой регулятор.

— Вот наше третье новшество.

Она кивнула, явно находясь под впечатлением, потом вдруг отпрянула, когда одна из девушек швырнула в зрителей букет желтых роз: казалось, цветы буквально вылетели из экрана. Я принялся вращать переключатель каналов, пока не разыскал оркестровую программу.

— Абсолютное стереофоническое воспроизведение звука. Эффект может быть усилен, если добавить второй динамик за номинальную стоимость.

Покупательница вновь кивнула, и я почувствовал прилив оптимизма. Я прошелся по всей гамме оставшихся достоинств аппарата, упомянув напоследок, что гарантия дается на все время, пока аппарат существует, и стал ждать реакции. Последовала пауза.

Потом, тщательно подбирая слова, дама сказала:

— Насколько мне известно, в этой модели имеется еще одно, особое новшество о котором вы пока ничего не рассказали

Итак, наступил желанный миг.

— Да,— подтвердил я.— В некоторых из наших моделей «Супра Икс-14 Делюкс» имеется дополнительное новшество, о котором вы изволили упомянуть. Но не в этом аппарате, который мы только что смотрели, а в специальной модели, находящейся в нашей демонстрационной комнате. Желаете на нее взглянуть?

Она пожелала, невнятно пробормотав что-то, и я провел ее в крохотную, завешенную тяжелыми портьерами кабину. Новейшая модель «Супра» находилась там, настроенная на уже виденное нами празднество. Я нажал на кнопку сбоку, обозначенную одной буквой «С». На экране заплясали абстрактные фигуры помех. Я повращал диск настройки — появилось новое изображение: двое мальчиков за шахматной доской, склонивших курчавые головы в блаженном сосредоточении.

— Тимми!— раздался вдруг резкий голос.— Пришел мистер Клейн. Время начинать урок музыки. Пусть Джоди идет домой.

— Ох, мамочка...

Раздраженная дама бросила на меня нетерпеливый взгляд.

— Вы не могли бы поймать что-нибудь другое?— требовательным тоном сказала она.

Я поколдовал над диском. Опять помехи. Неожиданно возникла новая сцена. На сей раз это была спальня. Миловидная молодая полуодетая брюнетка сидела перед ночным столиком, нервно теребя пальцами изумрудное ожерелье; она старалась избегать взгляда стоявшего перед ней разъяренного мужчины средних лет.

— Я не делал тебе такого подарка!—бесновался мужчина.— Откуда у тебя ожерелье? Отвечай, потаскуха!

На женщину обрушился поток таких выражений, что даже в нынешний просвещенный век и то их редко услышишь по американскому телевидению в дневное время. В этом месте я благоразумно выключил телевизор.

— Как видите,— улыбнулся я,—вас ожидают часы приятного созерцания. Это мы вам гарантируем.

Глаза моей покупательницы заблестели от возбуждения.

— Скажите,—настойчиво допытывалась она,— всегда ли я смогу выбрать программу по вкусу? Или...

— Модель «Супра» работает в некотором роде как любительский радиоприемник,— пояснил я.— Не обходится без определенного элемента случайности. Но именно это больше всего и привлекает. А когда вы попрактикуетесь, то убедитесь, что сумеете без труда настраиваться на специальные передачи, которые вас более всего интересуют.

— Сколько всего выпущено таких приемников?— захотелось ей знать.

— Количество их очень невелико, в настоящее время — лишь несколько сотен, сконцентрированных главным образом здесь, в районе Нью-Йорка. Как вы догадываетесь, мы поставляем их весьма избранной клиентуре. Иметь такой телевизор означает задавать тон другим. Однако популярность их растет.

— Могу поклясться, что это так.

Глаза ее снова возбужденно заблестели.

— Скажите мне, как это вам удается?

Я бросил на нее взгляд, исполненный достоинства.

— Думаю, это так очевидно, мадам: некоторые объекты находятся, что называется, «под наблюдением».

— Да, но как вам удается этого добиться?

— Вот это, осмелюсь сказать,— секрет фирмы.— Я весь внутренне напрягся.— Итак, вы решились?

И без того было ясно, что она уже решилась.

— Сколько стоит этот телевизор?

Я взглянул ей прямо в глаза.

— Пятьдесят тысяч долларов.

Она даже глазом не моргнула.

— Беру. Я выпишу чек на счет вашей фирмы. Можете позвонить в мой банк, они его подтвердят.

— Прекрасно. Желаете, чтобы вам доставили телевизор на дом? Или вы предпочитаете...

— Думаю, я просто захвачу его с собой,— сказала она.— Ведь в конце концов он такой легкий...

— Как вам будет угодно. Одну минуту, я достану вам другой аппарат. Этот мы демонстрируем клиентам.

Я порылся среди груды картонных коробок на полу.

— Ах, да, вот еще что. Если когда-либо возникнет необходимость в осмотре или ремонте — что вряд ли может случаться часто,— но если это все же произойдет, пригласите представителя нашей фирмы. Не позволяйте никому даже пытаться наладить телевизор, каким бы высококвалифицированным специалист ни казался. «Супра» — аппарат очень сложный. Стоит лишь неправильно открыть заднюю стенку, и он уже будет поврежден.

— Понимаю.

Мы побеседовали еще немного, и сделка завершилась. Затем дама вышла на улицу, с торжествующим видом унося свою покупку.

Едва за ней закрылась дверь, ко мне подошел мой новый босс Дж. Т.

— Ну,— сказал он, отеческим жестом опуская руку на мое плечо.— Неплохое ты провернул дельце, а ведь всего второй день на работе. Думаю, Джордж, дело у тебя пойдет.

— От меня тут вряд ли что зависит,— возразил я.— Вы верно подметили, что эта модель сама себя продает.

— О, нельзя недооценивать важности умелой игры при обработке клиента, любого клиента. Хотел бы я знать, как прореагирует ее муженек, когда узнает, сколько она выложила. Придется посмотреть нынче вечером.

— Улыбнитесь, леди, на вас нацелена скрытая камера,— хихикнул я.— Вы хотите сказать, сэр, что об этом никто пока еще не догадывался?

Он пожал плечами.

— Возможно, один или двое. Никто мне в этом не сознавался. Люди, покупающие подобные вещи, как правило, не имеют инженерного образования. Их помыслы направлены по иному руслу. В конце концов передающая камера работает лишь тогда, когда телевизор выключен, а что может выглядеть более безобидно, чем выключенный телевизор? Но если, предположим, кто-то и догадается? Что он станет делать, кроме как держать язык за зубами? Это невинное развлечение действует как наркотик, сами знаете.

— Но Федеральная комиссия связи, возможно...

— Возможно. Но к тому времени мы все разъедемся по белу свету. Мне, например, всегда хотелось побывать в Южной Америке.

Он снова включил телевизор, и снова на экране появилась роскошная спальня. Теперь женщина была одна; она рыдала, лежа на постели, и прижимала ладонь к багровому кровоподтеку на щеке. Дж. Т. сказал мне что-то, но я не разобрал; все мое внимание было сосредоточено на экране и на моих думах о причитающихся мне комиссионных.

Ведь если дело пойдет так споро, мне недолго придется ждать, прежде чем я смогу купить себе такой же телевизор.

## ДЭННИ ПЛАКТА

# Оживили...

Грэхем Кракен лежал на смертном одре. Сквозь туман, застилавший глаза, он обшаривал взглядом ставший вдруг необычайно высоким потолок и вслушивался в слова утешения.

— Все шансы на вашей стороне,— говорил врач.

Кровать, казалось, напряглась под Кракеном. Пружины матраца стали вдруг жесткими.

— Придет день,— голос врача доносился до него словно приглушенный металлический звон,— придет день, когда медицинская наука настолько уйдет вперед, что вас смогут оживить. Тем временем ваше замороженное тело будет в целости сохранено.— Металлический звон становился все глуше.— Придет день, когда наука восстановит ваше тело, и вы будете жить снова.

Грэхем Кракен умер легко, и труп его был заморожен.

Кракену пригрезилось, будто находится он в Майами-Бич, и глаза его открылись. В полутьме комнаты, в которой очнулся Грэхем Кракен, он, поморгав немного, разглядел посетителя, сидевшего подле его кровати.

— Доброе утро,— сказал незнакомец.

Кракен отметил про себя, что посетитель был лысым. пожилым джентльменом с приятным лицом.

— Доброе утро,— дружески отвечал Кракен.— У вас в ушах красивые серьги.

— Благодарю вас,— сказал посетитель.— Это антенны.

---

АНТИРУБРИКА

— Что?

— Это антенны транзисторных приемников, встроенных в мочки моих ушей.

— Неужто?

— Стерео.

— Великолепно,— сказал Кракен.— Как вы их выключаете?

— Не выключаю совсем,— отозвался посетитель.— Говорите чуточку громче, пожалуйста.

— Виноват,— сказал Кракен.—Не знал.

— Чудесная сегодня погода.

— По правде сказать, я не успел заметить. Кстати, что-нибудь сделано в этом направлении?

— Ну, кое-чего добились на короткое время,— сказал пожилой джентльмен.— Однако от этого пришлось отказаться.

— Вероятно, слишком много противоречивых желаний?

— Боюсь, что так.

— Жаль.

Кракен бросил взгляд на окно, завешенное тяжелой шторой. В этот самый момент стекло за шторой разлетелось вдребезги.

— Что это?— спросил Кракен.— Беспорядки?

— Нет,— ответил посетитель.— Сверхзвуковой транспорт.

Запасной лист стекла автоматически вдвинулся на место разбитого.

— Догадываюсь, что у вас множество таких новинок.

— Все как бы само собой происходит.

— Между прочим,— полюбопытствовал Грэхем Кракен,— который теперь год?

— 2088,— ответил посетитель.

— Да,— заметил Кракен,— бежит времечко.

— Год от года почти ничем не отличается,— пожаловался незнакомец.

— Как насчет денег?— поинтересовался Кракен.— Мое имущество сохранилось?

— Боюсь, что нет,—сказал посетитель.— Мне пришлось заплатить за ваше оживление.

— Очень любезно с вашей стороны,— поблагодарил Кракен. Он заметил, что сквозь штору пробились солнечные блики.

Кракен приподнялся на локте. От этого движения у него закружилась голова.

— Постарайтесь, пожалуйста, не двигаться,— сказал посетитель.—Вам необходимо набраться сил перед пересадкой сердца.

— Как?— Кракен откинулся на подушки.— Разве с моим сердцем что-нибудь не в порядке?

Посетитель неторопливо поднялся.

— С вашим все в порядке,— ответил он,— но мое что-то пошаливает.

## АЙЗЕК АЗИМОВ

# Буква закона

Ни у кого не возникало сомнения в том, что Монти Стайн с помощью хитроумного обмана действительно прикарманил более ста тысяч долларов. Никто не сомневался также, что в один прекрасный день его задержат, несмотря на то что срок давности уже истек.

Процесс «Штат Нью-Йорк против Монтгомери Харлоу Стайна» наделал шума и стал прямо-таки эпохальным ввиду способа, с помощью которого Стайн избежал ареста до истечения срока давности. Ведь решение судьи распространило действие закона о сроках давности на четвертое измерение.

Дело, видите ли, в том, что после совершения мошенничества, в результате которого Стайн положил в карман сто с лишним тысяч, он преспокойно вошел в машину времени, которой владел незаконно, и перевел рычаги управления на семь лет и один день вперед.

Адвокат Стайна рассуждал так: исчезновение во времени принципиально не отличается от исчезновения в пространстве. Коль скоро представители закона не сумели обнаружить Стайна на протяжении семи лет, значит, им не повезло.

Окружной прокурор в свою очередь указал, что закон о сроке давности при всем желании не может быть применен к данному преступлению. Это была гуманная мера, направленная на то, чтобы избавить обвиняемого от неопределенно долгого периода боязни быть арестованным. Испытываемый в течение определенного времени страх быть задержанным сам по себе считается достаточным, так сказать, наказанием. Однако, настаивал окружной прокурор, Стайн вовсе не пережил какого-либо периода страха.

Адвокат Стайна стоял на своем. В законе не были определены размеры наказания в виде страха и страданий преступника. Закон просто устанавливал срок давности.

Окружной прокурор сказал, что Стайн фактически не жил в течение срока давности.

Защита утверждала, что по сравнению с моментом совершения преступления Стайн состарился на семь лет и потому реально жил в течение срока давности.

Окружной прокурор опротестовал это заявление, так что защите пришлось представить свидетельство о рождении Стайна. Он родился в 2973 году. В момент совершения преступления, а именно в 3004 году, ему было тридцать один год. Сейчас, в 3011 году, Стайну было тридцать восемь лет.

Окружной прокурор просто вышел из себя и завопил, что с точки зрения физиологии Стайну не тридцать восемь лет, а тридцать один год.

Защита ледяным тоном указала на то, что когда индивидуум считается умствен-

но дееспособным, закон признает единственный хронологический возраст, который может быть установлен лишь путем вычитания даты рождения из нынешней даты.

Окружной прокурор, теряя терпение, заявил, что если Стайн выйдет из этого процесса безнаказанным, то половина законов в различных кодексах потеряет свою силу.

В таком случае измените законы, посоветовала защита, чтобы они учитывали возможность перемещения во времени, но пока законы не изменены, пусть применяются в том виде, в каком существуют.

Судье Невиллу Престону понадобилась целая неделя, чтобы разобраться в этом деле, а затем он объявил о своем решении. Это был поворотный пункт в истории юриспруденции, поэтому немного жаль, что некоторые подозревают, будто на ход рассуждений судьи Престона повлияло то обстоятельство, что у него было непреодолимое желание сформулировать свое решение именно так, как он это сделал.

Ибо решение в полном виде звучало так: «Стайн затаился, во времени укрылся — и это его спасло».

ГЕНРИ СЛЕЗАР

# День экзамена

В семье Джорданов никогда не заговаривали об экзамене не до того самого дня, когда их сыну Дики исполнилось двенадцать лет. Именно в день его рождения миссис Джордан впервые упомянула об экзамене в присутствии сына, и ее тревожный тон вызвал раздражение отца семейства.

— Забудь об этом!— резко сказал он жене.— Дики выдержит этот экзамен.

Они сидели за завтраком, и мальчик с любопытством поднял голову от тарелки. Дики был подростком с настороженным взглядом, прямыми светлыми волосами и быстрыми, нервными движениями. Он не разобрался, чем была вызвана неожиданная размолвка, но точно знал, что сегодня — день его рождения, и ему прежде всего хотелось согласия в доме. Где-то там, в небольшом чулане, лежали перевязанные лентами пакеты с подарками, которые только того и ждали, чтобы их распаковали, а в крохотной кухне, в подвешенной на стене печи с автоматическим управлением в этот момент готовилось что-то сладкое. Ему хотелось, чтобы день рождения был счастливым, а потому влага в глазах матери и хмурый отцовский взгляд не соответствовали настроению трепетного ожидания, с которым он приветствовал утро.

— О каком экзамене вы говорите?— спросил он.

Мать опустила глаза.

— Это просто проверка умственных способностей, которую правительство устраивает детям, достигшим двенадцатилетнего возраста. Тебе такая проверка предстоит на будущей неделе. Но из-за нее не следует беспокоиться.

— Ты хочешь сказать, что это вроде экзамена в школе?

— Что-то вроде этого,— подтвердил отец, вставая из-за стола.— Отправляйся лучше читать свои комиксы, Дики.

Мальчик медленно побрел в ту часть гостиной, которая еще с младенчества считалась «его» уголком. Он взял со стеллажа самый верхний комикс, но, видимо, разноцветные залихватские картинки не увлекли его. Тогда он поплелся к окну и принялся уныло вглядываться в непроницаемую завесу тумана.

— Почему дождь идет именно сегодня?— спросил он.— Разве он не мог бы пойти завтра?

Отец, развалившийся в кресле, раздраженно зашелестел страницами правительственной газеты.

— Идет, значит, нужно, вот и все. После дождя хорошо растет трава.

— Почему, отец?

— Потому что растет, вот и все.

Дики наморщил лоб.

— Между прочим, отчего она зеленая, трава?

— Никто не знает,— отрезал отец, но тут же пожалел о своей резкости.

После полудня они отмечали день рождения Дики. Сияющая мать вручила сыну пестрые свертки, и даже отец изобразил на лице улыбку и потрепал сына по голове. Дики поцеловал мать и с серьезным видом обменялся рукопожатием с отцом.

Потом был принесен торт с дюжиной свечей, и на этом празднество завершилось.

Час спустя Дики сидел у окна и наблюдал за тем, как лучи солнца безуспешно пытались пробиться сквозь облака.

— Отец,— спросил он,— до солнца далеко?

— Пять тысяч миль,— отвечал отец.

За завтраком Дики снова заметил влагу в глазах матери. Он не ассоциировал ее слезы с предстоящим ему экзаменом, пока отец вдруг не заговорил на эту тему.

— Послушай, Дики,— начал он, как-то уж слишком сурово нахмурившись,— тебе сегодня предстоит одно дело.

— Знаю, папа. Надеюсь..

— В общем-то беспокоиться не о чем. Каждый день эту проверку проходят тысячи детей. Правительство хочет знать, какие у тебя способности, Дики. Только и всего.

— В школе я получаю хорошие отметки,— как-то неуверенно сказал Дики.

— Здесь — другое дело. Это — особая проверка. Понимаешь, тебе дадут выпить жидкость, а потом ты пойдешь в комнату, где установлена специальная машина...

— А что это за жидкость?— спросил Дики.

АНТИРУБРИКА

— Да так, ерунда. На вкус вроде мятной лепешки. Они хотят быть уверенными, что ты говоришь правду. Не то чтобы правительство сомневалось в твоей честности, но прием жидкости гарантирует такую уверенность.

На лице Дики отразились замешательство и страх. Он взглянул на мать, но та успела изобразить на своем лице нечто отдаленно напоминающее улыбку.

— Все будет хорошо,— заверила она сына.

— Конечно!— подхватил отец.— Ты — славный мальчик, Дики; проверку ты пройдешь. А потом мы вернемся домой и отпразднуем это событие. Хорошо?

— Да,— согласился Дики.

Они вступили в здание Правительственной Службы Просвещения за пятнадцать минут до назначенного часа. Ступая по мраморным плитам, пересекли огромный вестибюль с колоннами, миновали арку и вошли в автоматический лифт, который поднял их на четвертый этаж.

Там, напротив комнаты № 404, за полированным столом сидел молодой человек в мундире без знаков различия. В руках у него был блокнот со списком назначенных на этот час; молодой человек проверил Джорданов по списку на букву «Д» и после этого позволил им войти.

Комната № 404 напоминала помещение суда: она была унылая, холодная и казенная, ряды металлических столов перемежались в ней рядами длинных скамей. Там уже ждали своей очереди несколько отцов с сыновьями; черноволосая женщина с тонкими губами раздавала анкеты.

Мистер Джордан заполнил анкету и вернул ее женщине. Потом сказал, обращаясь к Дики:

— Теперь уже недолго ждать. Когда тебя выкликнут по имени, ступай прямо в ту дверь, что в конце комнаты.

Он указал пальцем, где именно была та дверь.

Ожил укрытый где-то громкоговоритель — была названа первая фамилия. Дики видел, как один из мальчиков нехотя отошел от отца и медленно побрел к двери в конце комнаты.

Без пяти минут одиннадцать выкликнули фамилию «Джордан».

— Удачи тебе, сынок,— молвил отец, не глядя на Дики.— Я зайду за тобой, когда проверка закончится.

Дики подошел к двери и повернул круглую ручку. В комнате, где он очутился, был полумрак, так что мальчик едва мог различить лицо чиновника в сером мундире, который ответил на его приветствие.

— Садись,— ласково сказал чиновник. Он указал на высокий стул, находившийся рядом с его столом.— Тебя зовут Ричард Джордан?

— Да, сэр.

— Твой классификационный номер 600-115. Выпей вот это, Ричард.

Он взял со стола пластмассовый стакан и подал его мальчику. Жидкость в стакане была похожа на обезжиренное молоко и по вкусу лишь отдаленно напоминала обещанную мятную лепешку. Дики выпил содержимое до дна и вернул чиновнику пустой стакан.

Мальчиком овладела неодолимая сонливость; тем временем чиновник сосредоточенно писал что-то на листе бумаги. Затем он взглянул на часы и поднялся; лицо его оказалось на одном уровне с лицом Дики. Чиновник извлек из нагрудного кармана какой-то предмет, походивший на авторучку, и посветил в глаза мальчика.

— Прекрасно,— сказал он.— Идем-ка со мной, Ричард.

Он отвел Дики в угол комнаты, где напротив вычислительной машины стояло одно-единственное деревянное кресло с подлокотниками. На левом подлокотнике был укреплен микрофон, и, когда мальчик опустился в кресло, микрофон оказался как раз на уровне его рта.

— Теперь расслабься, Ричард. Тебе будут заданы разные вопросы, и ты хорошенько их обдумай. Потом отвечай в микрофон. Обо всем остальном позаботится машина.

— Хорошо, сэр.

— Теперь я оставлю тебя одного. Когда почувствуешь, что можешь начать, скажи в микрофон одно слово: готов.

— Слушаю, сэр.

Чиновник сжал его плечо и вышел.

Дики произнес:

— Готов.

В машине загорелся свет, послышалось жужжание механизма. Затем голос произнес:

— Дополни предлагаемый ряд цифр: один, четыре, семь, десять.

Супруги Джордан сидели в гостиной, не произнося ни слова; они боялись строить какие-либо предположения.

Телефон зазвонил около четырех часов пополудни. Женщина потянулась за трубкой, однако муж ее оказался проворнее.

— Мистер Джордан?

Трубка искажала голос; тон говорившего был резким, официальным.

— Да, слушаю

— Говорят из Правительственной Службы Просвещения. Ваш сын Ричард М. Джордан, классификационный номер 600-115, завершил прохождение правительственного экзамена. Мы вынуждены с прискорбием известить вас, что его интеллектуальное развитие превзошло установленный правительством уровень, предусмотренный статьей 84, раздел 5 «Нового кодекса»..

В противоположном углу комнаты послышался сдавленный крик женщины, которая ничего еще не знала, но обо всем догадалась по выражению лица своего мужа.

— Вы можете сообщить по телефону,— продолжал бубнить голос в трубке,— желаете ли вы, чтобы тело его было погребено правительством, или вы предпочитаете захоронить его в отдельной могиле. В случае если похоронами занимается правительство, их стоимость составляет десять долларов.

## ДЖЕЙН ОСТИН (Англия)

# Три сестры

*Перевод с английского ЕВГЕНИИ ШВАРЦ*

**Миссис... от мисс Стенхоуп.**

*Дорогая Фанни,*
я самая счастливая в мире — мне сделал предложение мистер Уоттс. Это первое предложение в моей жизни, и я даже не могу оценить его по достоинству. Какой триумф над девицами Даттонс! Я не собираюсь принимать его предложения, по крайней мере надеюсь, что не приму, но так как я еще ничего не решила, я дала ему уклончивый ответ и удалилась. А теперь, дорогая Фанни, мне нужен твой совет: выходить мне за него замуж или не стоит, но чтобы ты могла судить о достоинствах мистера Уоттса и положении дел вообще, я посвящу тебя во все подробности. Он совсем старик, ему около тридцати двух, очень невзрачен — настолько, что противно на него смотреть. У этого человека отвратительный характер, я ненавижу его больше всех на свете. У него огромное состояние, и он распорядится им в мою пользу, но ведь у него отменное здоровье. Короче, я не знаю, как поступить. Если я ему откажу, он обещал, что сделает предложение Софи, а если и она откажет, то Джорджиане; тогда одна из них выйдет замуж раньше меня, а я этого не перенесу. Если же я соглашусь, то уверена, что буду всю жизнь несчастна — ведь у него отвратительный характер, он брюзга, ужасно ревнив и такой скряга, что с ним просто невыносимо жить. Он хотел поговорить с мамой, но я потребовала, чтобы он этого не делал,— вполне возможно, она насильно заставит меня выйти за него, хотя, наверно он уже поговорил с ней — он ведь никогда не делает того, о чем его просят Вероятно, я все-таки приму его предложение Выйти замуж раньше Софи, Джорджианы и девиц Даттонс — настоящий триумф; и к тому же он обещал по случаю женитьбы купить новую карету, правда, мы чуть не поссорились из-за цвета — я настаивала на голубом с серебряными крапинками, а он заявил, что карета будет обычного шоколадного цвета, и, чтобы позлить меня добавил, что она будет не выше, чем его прежняя Все-таки я за него не выйду Мистер Уоттс сказал, что завтра снова придет за окончательным ответом, так что, наверное, я должна соглашаться, пока не поздно. Я знаю, девицы Даттонс будут мне завидовать, и к тому же я смогу сопровождать Софи и Джорджиану на все зимние балы Хотя навряд ли он меня отпустит — ведь он ненавидит танцы и вбил себе в голову, что женщина никогда не должна выходить из дома, ему и невдомек, что кому-то может нравиться то, чего он не выносит, твердит без конца: женщина должна сидеть дома — и всякий прочий вздор Наверно, я все-таки не выйду за него; я бы не задумываясь отказала ему, если б была уверена, что и сестры откажут и что в этом случае он не сделает предложение девицам Даттонс. Но я не могу так рисковать, поэтому, если он пообещает купить карету такую, как мне хочется, я выйду за него, если нет, то пусть ездит в ней сам. Надеюсь, ты одобряешь мою решительность, лучшего я ничего придумать не могу.

*Любящая тебя*
*Мэри Стенхоуп.*

**Той же самой от той же самой.**

*Дорогая Фанни,*
только я запечатала мое последнее письмо к тебе, как входит мама и говорит, что ей надо побеседовать со мной об очень важном деле.

— А! Знаю о чем,— говорю я.— Этот старый дурак мистер Уоттс все тебе рассказал, хотя я и просила его этого не делать. Только все равно ты меня не заставишь выйти за него.

— Я не собираюсь, дитя мое, заставлять тебя, я лишь хочу знать, принимаешь ты его предложение или нет, и поторопить тебя с ответом, потому что, если откажешь ты, может быть, согласится Софи.

— Право,— поспешно отвечаю я.— Софи не стоит утруждать себя, я, конечно, сама выйду за него.

— Если ты так решила,— говорит мама,— к чему тебе бояться, что я буду принуждать тебя?

— Потому, что я еще не решила, выйду за него или нет

— Мэри, ты самая странная девушка на свете Говоришь одно и тут же совсем другое. Скажи мне раз и навсегда: ты собираешься выходить за мистера Уоттса или нет?

— Драгоценная мамочка, как я могу сказать тебе то, чего сама не знаю?

— Тогда я требую, чтобы ты узнала это, и поскорее,— мистеру Уоттсу нужна определенность.

— Это зависит от меня.

— Не только; если завтра за чаем ты не дашь мистеру Уоттсу окончательный ответ, он начнет ухаживать за Софи.

— Тогда я расскажу всему свету, как он дурно обошелся со мной.

— Ну и какая от того польза? Его так долго поносят в свете, что теперь ему уже все равно.

— Вот если б у меня был отец или брат, они бы дрались с ним на дуэли

— Им бы это удалось только хитростью — мистер Уоттс наверняка бы сбежал; так что до завтрашнего вечера ты должна решить, принимаешь его предложение или нет.

---

АНТИРУБРИКА

— Но почему, если я откажу ему, он сделает предложение моим сестрам?

— Почему! Да потому, что он хочет породниться с нашей семьей, и к тому же твои сестры не менее хорошенькие, чем ты.

— А если он сделает предложение Софи, она согласится?

— Скорее всего, почему бы нет? Но если она откажет, за него выйдет Джорджиана — я не намерена упускать подобную возможность выгодно устроить свою дочь. Так что оставляю тебя одну, не теряй времени, решай дело сама.

И она ушла. Единственное, что я придумала, дорогая Фанни, это спросить Софи и Джорджиану, пойдут они за мистера Уоттса или нет, и, если нет, я тоже решила отказать, потому что ты не представляешь, как я его ненавижу. И пусть даже он женится на одной из девиц Даттонс, все равно триумф за мной — ведь я первая ему отказала.

Итак, adieu, мой дорогой друг...

*Навек твоя М. С.*

**Мисс XXX от мисс Джорджианы Стенхоуп.**

*Среда.*

*Дорогая Энн,*

мы с Софи испытали на нашей старшей сестре, с которой мы еще не совсем помирились, маленькую хитрость, но при таких обстоятельствах, что нам это можно простить. Наш сосед мистер Уоттс сделал Мэри предложение, а она не знает, как быть; и хотя Мэри испытывает к нему отвращение (в чем она не одинока), сестра скорее выйдет за него замуж, чем допустит, чтобы он сделал предложение мне или Софи, как он обещал в случае ее отказа; бедная девочка думает: нет хуже несчастья, чем если мы выйдем замуж раньше ее, и, чтоб этого не случилось, согласна даже на вечные муки с мистером Уоттсом. Час назад она к нам пришла выведать наши намерения, от которых будут зависеть ее собственные. Незадолго до прихода Мэри нам обо всем рассказала мама и предупредила, что не допустит, чтобы мистер Уоттс искал жену в другом месте.

— Так вот,— сказала мама.— Если Мэри ему откажет, должна согласиться Софи, а если и Софи не захочет, за него выйдет Джорджиана.

Бедная Джорджиана!.. Мы с сестрой и не пытались отговорить маму; как это ни печально, ее решения обычно отличаются твердостью, но не здравым смыслом. Как только мама ушла, я стала уверять Софи, что, если Мэри откажет мистеру Уоттсу, я вовсе не хочу, чтобы Софи жертвовала своим счастьем и выходила за него из великодушия, к которому ее может побудить сестринская любовь и благородная натура.

— Будем тешить себя надеждой,— ответила Софи,— что Мэри не откажет мистеру Уоттсу. Хотя как можно надеяться, что моя сестра согласится выйти за человека, который не может сделать ее счастливой.

— Он-то не может, но его состояние, имя, дом, карета могут, и я не сомневаюсь, Мэри выйдет за него; и в самом деле, почему бы ей не выйти? Ему не больше тридцати двух, очень подходящий возраст для женитьбы, он, правда, не красавец, спору нет, но что такое мужская красота: благородная осанка и умное лицо.

— Это, конечно, верно, Джорджиана, но, к сожалению, вид у мистера Уоттса просто вульгарный.

— Что же касается характера, то он слывет прескверным, но ведь свет может и обмануться в своих суждениях. В его характере есть прямота, которая так идет мужчине; говорят, он скряга — назовем это бережливостью. Говорят, он подозрительный, значит, у него горячее сердце — в молодости это простительно; короче, я не вижу причин, отчего ему не стать превосходным мужем, а Мэри не быть с ним счастливой.

Софи рассмеялась, я продолжала:

— Как бы то ни было, согласится Мэри или нет, я буду тверда. Мое решение принято. Никогда не выйду за мистера Уоттса, разве что придется просить подаяние. Он ведь сплошь несовершенство! Отвратительный тип, и ни единой положительной черты, чтобы можно было смириться с этим. Состояние у него приличное. Но не такое уж огромное! Три тысячи в год. Что такое три тысячи в год? Это всего в шесть раз больше, чем у нашей мамы. Меня этим не прельстишь.

— Но для Мэри партия превосходная.— Софи снова рассмеялась.

— Для Мэри! Да, мне будет очень приятно видеть ее такой богатой.

Я продолжала в том же духе развлекать сестру, но тут в комнату вошла Мэри, она была очень возбуждена. Мы потеснились у камина. Она села. Мэри не знала, как начать, и наконец смущенно сказала:

— Послушай, Софи, ты не собираешься замуж?

— Замуж?! И в мыслях не было. Но почему ты об этом спрашиваешь? Ты знаешь кого-нибудь, кто хочет на мне жениться?

— Я — нет, откуда? Но могу же я задать обычный вопрос?

— По-моему, Мэри, вопрос не очень-то обычный,— заметила я.

Она помолчала, потом продолжила:

— Софи, ты бы хотела выйти замуж за мистера Уоттса?

Я подмигнула Софи и ответила за нее:

— Ну разве не счастье выйти замуж за человека с тремя тысячами годового дохода, владельца пары лошадей в серебряной сбруе и кареты с отделением для багажа впереди и смотровым окошком сзади?

— Ты права,— ответила Мэри.— Ты совершенно права. Итак, ты бы, Джорджиана, вышла за него, если б он сделал тебе предложение; а ты, Софи?

Софи не хотелось лгать и обманывать сестру, и для успокоения совести она ответила уклончиво:

— Я поступила бы, как Джорджиана.

— Так вот! — провозгласила Мэри торжествующе.— Мистер Уоттс сделал мне предложение.

Мы, конечно, изумились.

— Откажи ему,— сказала я.— Может, тогда он сделает предложение мне.

Короче, моя затея удалась, и Мэри решилась на это, дабы помешать нашему возможному счастью, коего она бы никогда не допустила. И все же в моем сердце нет для меня оправдания, даже Софи поступила честнее. Успокой нашу совесть, дорогая

Энн, напиши, что не осуждаешь нас. Обдумай все хорошенько. Мэри получит истинное удовольствие, став замужней дамой, она сможет сопровождать нас в свет, от чего, разумеется, не откажется; а я чувствую себя обязанной сделать все возможное для ее счастья в том положении, которое я вынудила ее избрать. Возможно, скоро у них будет новая карета, ее мечта, а если еще мы уговорим мистера Уоттса раскошелиться на фаэтон, она будет просто счастлива. Конечно, это не утешит нас с Софи в нашем семейном горе. Еще раз подумай обо всем и не суди нас строго.

*Пятница.*

Вчера вечером мистер Уоттс был приглашен к нам на чай. Как только его карета остановилась у входа, Мэри подошла к окну.

— Представляешь, Софи,— говорит она.— Старый дурак собирается купить экипаж того же цвета, что и прежний, и такой же низкий. Но этому не бывать — я настою на своем. А если карета не будет голубой с серебряными крапинками и той же высоты, что у Даттонсов, я за мистера Уоттса не выйду. Да, я тоже откажусь. Вот он идет. Я знаю, он будет груб, несносен и не скажет мне ни одного ласкового слова. И совсем не будет похож на влюбленного.

Только Мэри села, вошел мистер Уоттс.

— Леди, нижайший всем поклон.

Мы поздоровались, он сел.

— Прекрасная погода, леди,— он повернулся к Мэри.— Ну, мисс Стенхоуп, надеюсь, вы наконец решили; будьте так добры, скажите, снизойдете вы стать моей женой или нет?

— Мне кажется, сэр,— ответила Мэри,— вы могли бы спросить об этом повежливей. Я не уверена, что выйду за вас, если вы будете вести себя в том же духе.

— Мэри! — вмешалась мама.

— Но, мама, если он будет так груб...

— Довольно, Мэри, довольно, не надо дерзить мистеру Уоттсу.

— Прошу вас, мадам, не принуждайте мисс Стенхоуп быть со мной любезной. Если она мне откажет, я сделаю предложение кому-нибудь еще — я вовсе не отдаю ей предпочтение перед ее сестрами, мне совершенно все равно, на ком из них жениться.

Каков негодяй! Софи покраснела от возмущения, а я почувствовала к нему безграничное презрение!

— Что ж, в таком случае,— сказала Мэри раздраженно,— я выйду за вас, раз я должна.

— По-моему, мисс Стенхоуп, чтобы принять такое состояние, как мое, особых уговоров не требуется.

Мэри в ответ что-то пробормотала, я сидела рядом и расслышала: «Какой толк в большом состоянии, если мужчины живут вечно?» И громко добавила:

— Не забудьте о деньгах на карманные расходы: двести фунтов в год.

— Сто семьдесят пять, мадам.

— Ровно двести, сэр,— твердо сказала мама.

— И помните, новая карета должна быть такая же высокая, как у Даттонсов, голубая с серебряными крапинками, и еще мне нужна верховая лошадь, дорогие кружева и много-много самых лучших украшений. Невиданные бриллианты, жемчуга, рубины, изумруды и бисер без числа. И еще вы должны купить фаэтон, кремовый с узором из серебряных цветов и четверку самых красивых в Англии гнедых — будете катать меня каждый день. Это еще не все; вы должны абсолютно заново по моему вкусу обставить свой дом, нанять для меня двух ливрейных лакеев и двух служанок, вы должны всегда позволять мне делать все, что я захочу, и быть примерным мужем.

Мэри остановилась, чтобы перевести дыхание.

— Моя дочь вправе всего этого ожидать, мистер Уоттс.

— И вправе, миссис Стенхоуп, остаться разочарованной.

Он хотел еще что-то добавить, но Мэри перебила его:

— Вы должны построить мне изящную оранжерею и посадить там разные растения. Каждую зиму я буду проводить в Бате, весну — в Лондоне, осень — на водах, летом я должна путешествовать, а остальное время (мы с Софи прыснули), когда будем жить дома, станем устраивать балы и маскарады, без конца. Для этого вы должны построить специальный зал и театр для представлений. В первую очередь мы поставим «Кто же тот мужчина?» [1], и я буду играть леди Белл Блюмер.

— Но позвольте, мисс Стенхоуп,— говорит мистер Уоттс.— Что я получу взамен?

— Взамен? Ну, наверно, я буду довольна вами.

— Еще бы вы были не довольны. Но я не в силах оправдать ваши надежды, мадам, так что вынужден обратиться к мисс Софи, возможно, она не столь требовательна.

— Если вы так полагаете, сэр, то ошибаетесь; и хотя мои требования совсем иного рода, они не менее высоки: у моего мужа должен быть хороший характер, мой муж должен быть веселым, во всех своих делах учитывать мои интересы и до конца жизни искренне любить меня.

Мистер Уоттс изумленно уставился на Софи.

— Очень странные идеи, мисс, ей-богу. Лучше откажитесь от них до замужества, иначе вам придется это сделать после него.

В это время мама наставляла нашу разумную Мэри, упрекая ее, что она зашла слишком далеко, и когда мистер Уоттс уже собирался обратиться ко мне, Мэри заговорила с ним полусмиренным, полуобиженным тоном:

— Вы ошибаетесь, мистер Уоттс, если думаете, будто я и вправду ожидаю от вас столь многого. Хотя новая карета мне просто необходима.

— Согласитесь, сэр, Мэри вправе на это рассчитывать.

— Миссис Стенхоуп, я собирался и собираюсь по случаю женитьбы купить новую карету. Но она будет того же цвета, что и моя теперешняя.

---

[1] Пьеса Ханны Каули.

— Мне кажется, мистер Уоттс, вам следует считаться с мнением моей дочери и советоваться с ней в подобных вопросах.

Мистер Уоттс с этим не согласился и продолжал отстаивать карету шоколадного цвета, а Мэри не менее горячо — голубую с серебряными крапинками. Наконец Софи предложила: пусть в угоду мистеру Уоттсу карету покрасят в темно-коричневый цвет, а в угоду Мэри сделают ее повыше и с серебряной каймой. На этом и порешили, хотя обе стороны остались недовольны — каждая рассчитывала одержать полную победу. Мы перешли к другим вопросам и решили, что мистер Уоттс и Мэри поженятся, как только будут подписаны все бумаги. Мэри хотела просить архиепископа Кентерберийского о разрешении венчаться без церковного оглашения, а мистер Уоттс настаивал на оглашении. Порешили на венчании просто без оглашения. К Мэри перейдут все фамильные драгоценности Уоттсов (по-моему, их не так уж много), и мистер Уоттс обещал купить ей верховую лошадь, но за это она не поедет в Лондон и вообще не будет никуда выезжать в ближайшие три года. И никаких оранжерей, театров и фаэтонов, одна служанка и никаких ливрейных лакеев. Все это мы решали целый вечер, мистер Уоттс поужинал с нами и ушел только в полночь. Стоило ему выйти за дверь, как Мэри воскликнула:

— Слава богу! Наконец-то он ушел, как я его ненавижу!

Напрасно мама убеждала ее: неприлично не любить будущего мужа, Мэри твердила свое: он ей отвратителен, и она надеется больше никогда его не увидеть. Ну и свадьба предстоит!

Прощай, дорогая Энн. С почтением,

*искренне твоя*
*Джорджиана Стенхоуп.*

*Суббота.*

*Дорогая Энн,*

Мэри жаждет, чтобы все узнали о предстоящей свадьбе, и, предвкушая, как она выражается, триумф над девицами Даттонс, сегодня утром попросила нас пойти вместе с ней в Стоунхем. Так как дел у нас особых не было, мы охотно согласились и чудесно прогулялись, насколько это было возможно,— Мэри всю дорогу бранила человека, за которого выходит замуж, и страдала из-за голубой кареты в серебряную крапинку. Когда мы пришли к Даттонсам, обе девицы были в гардеробной, а с ними красивый молодой человек, нам его, конечно, представили. Это — сын сэра Генри Брюднелла из Лестершира. Никогда не видела таких красивых мужчин; мистер Брюднелл нам всем очень понравился. С той самой минуты, как мы вошли в гардеробную, Мэри просто распирало от сознания собственной важности и от желания оповестить всех об этом; более она уже не могла молчать и только мы сели, обратилась к Китти:

— Как ты считаешь, надо вставить драгоценности в новую оправу или не надо?

— Надо для чего?

— Как для чего? Для моего выезда в свет.

— Прости, пожалуйста, но я ничего не понимаю. Какие драгоценности, какой выезд в свет?

— На первый бал после моей свадьбы, разумеется.

Можешь представить их изумление. Сначала они не поверили, но когда и мы подтвердили, им пришлось поверить. И конечно, первый вопрос был: «За кого?». Мэри изобразила застенчивость и, потупив глазки, ответила: «За мистера Уоттса». Тут снова потребовалось наше подтверждение — им казалось невероятным, что девушка с красотой и состоянием (хотя и небольшим, но все же приличным) по своей воле пойдет за мистера Уоттса. Лишь только все узнали новость, Мэри почувствовала себя центром внимания, перестала смущаться и разговорилась не на шутку:

— Странно, что вы до сих пор не слышали об этом, такого рода вести быстро разносятся по округе.

— Уверяю тебя,— сказала Джемайма,— я даже и не подозревала. И давно все это решилось?

— Да еще в среду.

Все улыбнулись, и мистер Брюднелл тоже.

— Знаете, мистер Уоттс страшно влюблен в меня, так что с его стороны это исключительно брак по любви.

— Я полагаю, не только с его стороны,— сказала Китти.

— О! Когда столько любви с одной стороны, с другой для нее уже нет места. Правда; я не очень-то его ненавижу, хотя он и донельзя уродлив.

Мистер Брюднелл опешил, девицы Даттонс расхохотались, а нам с Софи стало очень стыдно. Мэри не унималась:

— У нас будет новая карета и фаэтон, наверное.

Мы знали, что это неправда, но бедной девочке так хотелось убедить всех, будто это возможно, что мы не в силах были лишить ее этого невинного удовольствия. Сестра продолжала:

— Мистер Уоттс дарит мне все фамильные драгоценности, по-моему, их очень много.

Я не удержалась и прошептала Софи: «А по-моему, не очень».

— Эти драгоценности, перед тем как носить, следует вставить в новую оправу, я их не надену до первого бала после моей свадьбы. Если миссис Даттонс не пойдет на бал, я надеюсь, вы не против, чтобы я сопровождала вас; Софи и Джорджиану я, разумеется, возьму тоже.

— С твоей стороны весьма благородно взять на себя заботу о молодых леди,— сказала Китти.— Советую тебе, уговори миссис Эджкемб отпустить с тобой шесть ее дочерей, тогда вместе с нами и твоими сестрами у тебя получится необычайно представительный выезд.

Все рассмеялись, кроме Мэри, которая ничего не поняла и холодно заметила, что не собирается сопровождать стольких девиц сразу. Мы с Софи попытались сменить тему разговора, но удалось нам это лишь на миг — Мэри не терпелось вернуть себе общее внимание, себе и предстоящей свадьбе. Мистеру Брюднеллу, казалось, доставляло удовольствие слушать сестру, он даже поощрял ее вопросами и замечаниями, но

хотел он, несомненно, одного — посмеяться над Мэри, и мне стало очень обидно за нее. Боюсь, мистер Брюднелл счел ее просто глупой. Но держался он превосходно, хотя мы и видели, какого труда ему это стоило. Правда, скоро ее нелепые речи ему наскучили, и он повернулся к нам (к ней он уже почти не обращался), и мы с ним проговорили еще с полчаса перед уходом из Стоунхема. Выйдя на улицу, мы стали хвалить внешность и манеры мистера Брюднелла.

Дома нас ждал мистер Уоттс.

— Итак, мисс Стенхоуп,— сказал он.— Я пришел ухаживать за вами, как подобает настоящему влюбленному.

— К чему же говорить об этом? Я и так знаю, зачем вы пришли.

Мы с Софи тут же удалились, чтобы не мешать их ухаживаниям. И были поражены, когда почти следом за нами вышла и Мэри.

— Разве ухаживание уже кончилось? — удивилась Софи.

— Ухаживание! — возмутилась Мэри.— Мы ссорились. Этот Уоттс такой дурак! Надеюсь, больше я его не увижу.

— Боюсь, что увидишь,— сказала я.— Он сегодня обедает с нами. Но из-за чего вы поссорились?

— Я сказала, что сегодня утром видела мужчину гораздо красивей, чем он, мистер Уоттс разъярился и назвал меня мегерой. Что же мне оставалось? Я назвала его мерзавцем и удалилась.

— Коротко и мило,— заметила Софи.— Но послушай, Мэри, что же теперь будет?

— Он должен просить у меня прощения, но если попросит, я его не прощу.

— Но к чему тогда ему уступать?

Мы переоделись и спустились в гостиную, где мама и мистер Уоттс вели задушевную беседу. Похоже, он жаловался маме на Мэри, а та убеждала его обо всем забыть. Так что он встретил сестру со свойственной ему любезностью, и, если не считать упоминаний о фаэтоне и оранжерее, весь вечер царили гармония и сердечность. Итак, мистер Уоттс собирается в город — ускорить приготовления к свадьбе.

*Твой любящий друг*
*Джорджиана Стенхоуп.*

◆

## ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

# АФОРИЗМЫ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ШУТКИ

*Перевод с английского* ЛЮДМИЛЫ БИНДЕМАН

**К счастью, для правды есть одна-единственная отдушина — то, о чем запрещается говорить всерьез, можно сказать в шутку.**

**Репутацию врачу создают знаменитости, которые умирают под его наблюдением.**

**Лесть должна быть грубой: человеку льстит уж то, что его считают достойным лести.**

**Не похвалить достойного из опасения, что он зазнается, так же бесчестно, как не расплатиться со своим кредитором из опасения, что он потратит деньги впустую.**

**Тягчайший грех не ненависть к ближнему, а равнодушие. В нем суть бесчеловечности.**

**Искренним быть не опасно, если ты к тому же и глуп.**

**Жизнь уравнивает всех, смерть выявляет великих.**

**Mens sana in corpore sano. (В здоровом теле — здоровый дух.) Глупое изречение! Здоровье тела зависит от здоровья духа.**

**Старайся иметь то, что тебе любо, иначе заставят полюбить то, что имеешь.**
**«Мир — театр», и лишь немногим избранным дозволен вход за кулисы.**

**Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще — когда знает о нем все.**

**Берегись того, кто не отвечает ударом на удар: он и сам не прощает обиды и обидчику не позволяет себя простить.**

**Чтобы прожить жизнь счастливо, надо с головой уйти в любимое дело, тогда некогда будет думать, счастлив ты или нет.**

**Если вы достигли совершенства в каком-нибудь деле, займитесь новым: это вернет вас на землю.**

**Нет времени без героев. У каждой нации наименее бездарный генерал — ее Цезарь, наименее глупый государственный деятель — ее Соломон, наименее путаный мыслитель — ее Сократ, наименее заурядный поэт — ее Шекспир.**

**В ответ на упрек, что он спал, когда читали пьесу одного автора, Шоу ответил:**
**— Сон — тоже критика.**

**Позвякивая бубенцами на шутовском колпаке, я, как Гейне, заставляю себя слушать.**

**Любое подлинно интеллектуальное произведение насыщено юмором.**

◆

---

# Советская литература за рубежом

## ИТАЛИЯ

В издательстве «Мурсиа» вышла повесть Чингиза АЙТМАТОВА «Ранние журавли».

Роман Вениамина КАВЕРИНА «Два капитана» (под названием «Арктический пилот») выпущен издательством «Бомпиани».

В издательстве «Эдитори риюнити» опубликованы фельетоны Михаила БУЛГАКОВА, письма Марины ЦВЕТАЕВОЙ, роман Валентина РАСПУТИНА «Прощание с Матёрой».

## НИДЕРЛАНДЫ

В издательстве «Арбейдерперс» вышел роман Юрия ТРИФОНОВА «Другая жизнь».

## ПОЛЬША

Роман Юрия БОНДАРЕВА «Горячий снег» опубликован в издательстве «Выдавнитство МОН».

В издательстве «Чительник» вышел роман Михаила БУЛГАКОВА «Мастер и Маргарита».

Стихи Давида САМОЙЛОВА выпущены издательством «ЛСВ».

## ФРГ

Роман Сергея ЗАЛЫГИНА «Южноамериканский вариант» вышел в издательстве «Ровольт».

Собрание сочинений Владимира МАЯКОВСКОГО выпустило издательство «Зуркамп».

В издательстве «Дойче ферлагс-аншталь» вышел роман Василия ШУКШИНА «Я пришел дать вам волю...»

## ФРАНЦИЯ

Роман Бориса ВАСИЛЬЕВА «А зори здесь тихие...» опубликован в издательстве «Лаффонт».

«Освещенные окна» Вениамина КАВЕРИНА выпустило издательство «Сток».

В издательстве «Л'аж д'ом» вышла поэма Александра ТВАРДОВСКОГО «Тёркин на том свете».

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

В издательстве «Лидове накладателстви» опубликованы «Повести о женщинах» Сергея БАРУЗДИНА и повесть Валентина КАТАЕВА «Маленькая железная дверь в стене».

«Провинциальная история» Леонида ЛЕОНОВА вышла в издательстве «Мелантрих».

В издательстве «Обзор» опубликована повесть Владимира ТЕНДРЯКОВА «Затмение».

В издательстве «Визерад» вышла «Повесть о художнике Федотове» Виктора ШКЛОВСКОГО.

## ЯПОНИЯ

Сборник повестей Анатолия АЛЕКСИНА «Дверь в человеческую жизнь» опубликован в издательстве «Риронся».

В издательстве «Сюэйся» вышла книга Виталия БИАНКИ «Лесные домишки».

Повесть Александра ГРИНА «Золотая цепь» выпущена издательством «Хаякава себо».

# Из нашей почты

*Для редакции «Иностранной литературы» давно уже стало приятным обыкновением получать письма от своих читателей с оценкой не только отдельных произведений, опубликованных на страницах журнала, но и деятельности нашего издания в целом. В свою очередь читатели, насколько можно судить по получаемой нами корреспонденции, привыкли к тому, что время от времени, без всякого специального приглашения и оповещения мы собираем их за читательским «круглым столом». В разделе «Из нашей почты» мы имеем возможность объединить незнакомых друг другу людей в живом обмене читательских мнений о появившихся в журнале новинках, о достоинствах и недостатках публикуемых переводов, наконец о традициях и типе нашего издания. Вот и на этот раз в непринужденный диалог с редакцией, а иногда и в спор между собою вступают врач, инженер, работник театра.*

**ДМИТРИЕВА Галина, инженер. Москва**

Мне 25 лет, я инженер-строитель по образованию, работаю в проектном институте. Ваш журнал выписываю и читаю уже одиннадцать лет. Вы открыли мне прекрасный мир, в котором живут Маркес и Амаду, Чивер и Шоу, Мештерхази и Уайлдер, Воннегут и Апдайк. Все одиннадцать лет я переплетаю те вещи, которые мне особенно нравятся, и теперь мы с мужем — обладатели чудесной библиотеки в 35 томов, где собраны произведения, печатавшиеся в вашем журнале. Ваш журнал помог мне полюбить и «непонятных» японцев: сначала Кобо Абэ, потом Кавабата, Оэ. Да что говорить! Книги Ивлина Во, Хеллера, Отеро Сильвы и другие появились в нашем доме потому, что я успела познакомиться в «Иностранке» и с англоязычной литературой, и с творчеством писателей стран Латинской Америки. Все эти книги, надеемся, с наслаждением прочтет наша пятимесячная (пока!) дочка.

В этом году никому из наших родственников и тем более нам самим не удалось оформить подписку на 1981 год. Надеюсь, что с 1982 года подписка на журнал будет неограниченной, и тогда снова каждый месяц к нам будет приходить радость: свежий номер «Иностранной литературы». Снова мы с мужем будем бросать жребий: кому читать первым. Снова будут встречи с хорошо известными и совершенно незнакомыми авторами, снова будет праздник для души...

Извините, что не пишу о лучших, на мой взгляд, публикациях прошедшего года. Об этом напишут мои коллеги-читатели вашего журнала, и напишут лучше меня. Мне просто очень захотелось попрощаться с вами (молю бога, чтобы ненадолго!) и признаться вам в любви к вашему (и нашему!) журналу.

**РУКША И. А., врач. г. Красноярск**

Мне 26 лет, работаю врачом. Журнал «Иностранная литература» читаю давно, бережно собираю его, покупаю в букинистических отделах старые номера, особенно за 50—60-е годы, причем с каждым годом это становится все труднее. Хочу поделиться с вами некоторыми мыслями по поводу содержания журнала, а также высказать ряд предложений.

Скажу честно: в 1979—1980 годах уровень напечатанных произведений несколько отставал от уровня предыдущих лет. «Гвоздевых» вещей не было (я ориентируюсь на свой вкус — извините за излишнюю самоуверенность), таких публикаций, скажем, какими в свое время были «Метеор» Ф. Дюрренматта, «Шум и ярость» У. Фолкнера, «Начало пути» А. Силлитоу, «Назову себя Гантенбайн» М. Фриша, «Вечер в Византии» И. Шоу, «И объяли меня воды...» К. Оэ — ни одно из произведений, напечатанных в 1979—1980 годах не может сравниться с вышеперечисленными. Хорошие вещи были, это бесспорно. Интересны «Записки молодого варшавянина» Ежи Ставинского (давно с интересом слежу за его творчеством — начиная с «Пингвина»), «Давай поженимся» Дж. Апдайка (но, увы, это не «Кентавр» и не «Ферма»), очень необычна и тем интересна повесть Жозе Вейги «Тени бородатых королей». Это 1979 год. В 1980 году с удовольствием прочел роман Жоржи Амаду «Возвращение блудной дочери» (хорошо, что с творчеством этого автора «ИЛ» регулярно знакомит читателей), с большим интересом познакомился с творчеством Н. Льюиса. А вот публикация повести М. Спарк «Мисс Джин Броди в расцвете лет» не удовлетворила меня. Я очень люблю эту писательницу, ее «Баллада о предместье» и «На публику»— бесспорные шедевры, но скажите, зачем

печатать повесть почти двадцатилетней давности, причем повесть не самую удачную? Не лучше ли было поместить что-нибудь из последних произведений Спарк?

Роман И. Шоу «Богач, бедняк...» интересен, но, по-моему, это тоже шаг назад по сравнению с «Молодыми львами» и «Вечером в Византии».

В 1980 году почти не было интересных публикаций под рубриками «Литературные иллюстрации» и «Литературное наследие».

В рубрике «Публицистика» наибольшее впечатление произвела корреспонденция польского журналиста Р. Капусцинского «Канун» о крахе шахской династии в Иране. Много узнал нового, интересного.

«Антирубрика» была неровной. Запомнились Вуди Аллен и Ф. Скотт Фицджеральд.

В разделе поэзии я бы отметил стихи Арагона.

Как-то, года два назад, я написал вам письмо, в котором утверждал, что вполне возможно в вашем журнале печатать детективы, фантастику и прочее. Так вот, я отрекаюсь от своего предложения. Прочитав письмо одной из читательниц, я тоже решил, что не следует раздувать коммерческий ажиотаж вокруг вашего журнала. А в том, что такой ажиотаж возникнет, напечатай вы пару романов Чейза или Гарднера, я не сомневаюсь ни на минуту. Пусть журнал «ИЛ» будет для истинных читателей.

Больше всего мне хотелось бы видеть и читать на страницах вашего журнала новые (или не очень новые, но до сих пор не переведенные) произведения К. Воннегута, Кобо Абэ, Х. Кортасара, Э. Доктороу, У. Стайрона, П. Хандке. Кстати, последний автор — настоящее открытие для меня, я случайно прочел изданный у нас однотомник.

Хотелось бы, чтобы под рубрикой «Литературные иллюстрации» появилась подборка так называемой «конкретной» поэзии.

В разделе «Литературное наследие» хотелось бы увидеть не опубликованные у нас произведения писателей конца XIX— начала XX века — К. Гамсуна (кроме тех, что были в двухтомнике), Г. Гауптмана, Дж. Дос Пассоса, Г. Джеймса.

Желательно перевести на русский язык и напечатать романы Джека Керуака «На дороге» и «Бродят Дхармы», поэму А. Гинзберга «Вопль», произведения Э. Бёрджеса Желательно потому, что мы слишком много читаем и слышим об этих авторах, но, к сожалению, не можем иметь о них собственное суждение. Редакция «ИЛ» совершенно правильно поступила, опубликовав в разное время такие сложные и не всегда сразу понятные произведения, как «В ожидании Годо» Беккета, «Носорог» Ионеско, стихи Каммингса. Правда, отрывки из Керуака печатались в вашем журнале лет двадцать назад но согласитесь, отрывок мало что дает, разве что позволяет судить о форме.

Еще такое предложение. Несколько лет назад «ИЛ» опубликовала интересные переводы песен французских шансонье — Адамо. Бреля, Брассенса. Нельзя ли напечатать (разумеется в хорошем переводе) стихи-песни Боба Дилана, Джоан Баэз, ансамбля «Битлз» (не удивляйтесь — у них, то есть битлов, есть просто потрясающие стихи — «Вчера», «Элинор Ригби», «Желтая субмарина», «Земляничные поляны навсегда» и множество других. Эти песни уже стали своего рода классикой.

Хотелось бы, чтобы в «ИЛ» регулярно печатались киносценарии наиболее известных режиссеров — Антониони, Кубрика, Копполы, Феллини, Крамера.

Вот, пожалуй, и все. Извините за некоторые резкие суждения.

**АГРИЯНЦ Людмила, инженер. Московская область**

В первом номере журнала (1981) вы напечатали стихи Ариэля Кансани Д. Честно говоря, я впервые услышала это имя, но стихи его меня поразили.

Они похожи на тонкие кружева, невесомые, но осязаемые, прочные. Мне нравится, что в стихах Кансани, при всей их мечтательности и романтичности, нет слащавости и (не могу найти подходящее слово) «заумности». Наверное, потому, что поэт— моряк, человек мужественной, нелегкой профессии. Если можно, напечатайте в ближайших номерах журнала и другие стихи Ариэля Кансани.

Спасибо Владимиру Резниченко за прекрасный перевод.

**ГАЕВ Геннадий Ильич, старший инженер. Москва**

Спешу выразить вам свою признательность за публикацию повести И. Эркеня «Выставка роз», вещи смелой и поначалу немного эпатирующей. Впрочем, удивляешься смелости и автора и (не скрою) редакции «Иностранной литературы», опубликовавшей повесть, лишь поначалу. Чем больше читаешь, тем больше удивляешься, до чего же были легкомысленны мы, люди, что не имели в своем арсенале произведений подобного рода.

Я — глубокий атеист и все же иногда задумывался, чем удалось заменить нам религию и ее обряды в части приготовления к смерти — этапу, увы, неизбежному. Приходилось признать, что в этой части наша теория и практика беспомощны. В последнее время взяли на себя смелость говорить о светлой старости, вспоминая Гёте и Эйнштейна. И вот этой публикацией вы дали ответ на тревожившие меня вопросы. Литература — великий наставник человечества — пером Эркеня тонко и мудро показала нам простоту и безыскусность смерти.

Я относительно молод, мне 43 года, но у меня уже большие дети (18 и 10 лет), и я подчас задумывался, как будут протекать мои смертные часы на их глазах. Надеюсь, что у меня хватит силы воли умереть прилично, не усугубляя горя близких своим поведением. Если да, то в этом будет и заслуга Эркеня и переводчика этой книги, и редакции.

**ГОДОВА Наталия Ивановна, концертмейстер Театра оперетты. Москва**

Обращаюсь к вам от имени группы читателей с вопросом о непонятном составлении вашего журнала.

Разве можно одновременно читать три романа диаметрально противоположных

авторов, читать по небольшому кусочку, а потом месяц ждать продолжения?

Ведь интересно не только содержание произведения (а оно, кстати, тоже забывается, ведь люди за месяц получают такую большую информацию!), но очень важно ощутить тот особый стиль, атмосферу или «аромат», что ли, данного произведения.

Как приятно было прочитать от начала до конца «Извещение в газете» Гюнтера Гёрлиха, а вот тянуть из номера в номер «Богач, бедняк...» Шоу вперемешку с «Блудной дочерью» Амаду не доставляет никакого удовольствия. (Это все равно что положить в рот одновременно кусок селедки с шоколадом, хотя по отдельности и то и другое очень даже вкусно.)

Интересно было бы узнать: какую цель вы преследуете? Может быть, задача подписки на ваш журнал состоит в том, чтобы в течение года накапливать номера, а читать их в ночь под рождество?

**АГЕЕВ Юрий, 19 лет. г. Куйбышев**

Я думаю, что письма ваших читателей помогают в какой-то мере определить характер издания, наметить его основные линии. Думаю, что и мое письмо будет на пользу нашему(!) общему любимцу — журналу «ИЛ».

Мне, в общем, нравятся многие публикации журнала последних лет, и отрадно, что редакция не идет на поводу у любителей детективного жанра, пусть даже в своей области это будут талантливые произведения, очень талантливые.

Об этом уже много говорилось, так что незачем повторяться, скажу только категорически: «Я — против!»

За последние два-три года меня по-настоящему порадовали «Барьер» П. Вежинова, «Тени бородатых королей» Ж. Вейги («магический реализм»), роман с очаровательным стилем (браво!!!) «Тетушка Хулия и писака» Варгаса Льосы (за него вам и переводчику огромное спасибо!), прекрасная новелла В. Терлецкого «Дом», романы М. Спарк, И. Шоу, особенно запомнился роман Жоржи Амаду «Тиета из Агрести»[1], который читал не отрываясь (жалко только, что растянут он был на четыре номера),—вообще, по-моему, лучшим номером года 1980-го был № 7: «Дом», «Мисс Джин Броди в расцвете лет», начало романа Ж. Амаду.

Хорошее впечатление оставили «Побасенки» Т. Новака (№ 11, 1980). В этом году— «Софи делает выбор» У. Стайрона (прекрасная вещь, жалко, что вы не опубликовали ее полностью, пусть даже с сокращениями, где это необходимо, а дали всего лишь «главы из романа» — мне такая практика кажется в корне неверной — или давать все, или ничего). Если дело касается объема той или иной вещи, если вас это смущает, то спешу напомнить, что вот уже пять (5!) номеров подряд вы не используете мелкий шрифт (разве только для послесловий), которым в свое время были напечатаны романы Марио Варгаса Льосы и Ирвина Шоу. Считаю, что этот шрифт при публикации больших произведений просто необходим. Если редакция и макетчики журнала будут чаще, чем теперь, использовать этот самый мелкий шрифт, то количество опубликованного будет значительно больше. И еще. Этот шрифт очень удобно читать (я сужу по «Тетушке Хулии...», хотя здесь, быть может, сыграл какую-то роль сам стиль писателя), и глаза почти не чувствуют усталости, хотя он и достаточно мелкий. Но хватит о шрифте, я сильно увлекся и отошел от главного.

Потрясает своей ужасающей очевидностью (и это происходит в наше время, в наш XX век) роман американца П. Смита «Ангельский город». Это, несомненно, одна из лучших публикаций журнала последних лет. Считаю, что нужно больше уделять внимания социальной прозе, к которой относится роман П. Смита и опубликованная в № 3 повесть Г. Фукса «Мужчина на всю жизнь». Трагедия безработного — это новая тема в «ИЛ», и повесть «Мужчина на всю жизнь» читается с большим доверием к автору, хотя тема эта, тема безработицы, невероятно далека от советских читателей, от советских людей вообще, и многие вещи просто с трудом понимаешь. Из прозы социалистических стран необычайно теплые чувства остались после прочтения «Мастеров» В. Шикулы («Шикула» по-словацки означает «мастер», и к писателю это относится в полной мере, он действительно мастер своего дела!) и рассказов венгерского прозаика И. Шаркади, а вот подборка «Из молодой прозы ЧССР», на мой взгляд, неудачна.

Хороши стихи аргентинского поэта Ариэля Кансани Д. в № 1, по-прежнему на высоте Макс Фриш.

Года три-четыре назад на страницах вашего журнала шла заинтересованная дискуссия о приложении в виде 10—15 книг в год. Интересно было бы узнать, каково сейчас мнение и возможности редакции относительно приложения к «ИЛ». Собираетесь ли вы, журнал с более чем полумиллионным тиражом, выпустить наконец приложение, или этот вопрос отложен до лучших времен, когда дефицит с бумагой не будет таким острым?

Теперь, в заключение, о том, что мне лично хотелось бы прочитать в журнале. Таких вещей много, но, пожалуй, сегодня более другого меня интересует новый роман Итало Кальвино «Однажды зимней ночью путешественник».

**ШАМЕХИН Николай Алексеевич. г. Красноярск**

Я живу в рабочем общежитии, второй год выписываю журнал «Иностранная литература», как и многие работающие здесь.

Не хочу быть многословным, но поверьте, главы романа Уильяма Стайрона заставили нас как-то, не знаю, как правильно выразиться, несколько по-иному взглянуть на события, которые были в концлагерях во время войны. Тем более что события эти анализируются в романе человеком, который мог бы и не писать никогда о судьбах многих и многих славян, который мог бы и не интересоваться глубоко тем, что происходило в Европе с 1939 по 1945 год.

[1] Опубликован под названием «Возвращение блудной дочери».

С трудом верится, что этот роман написал американский писатель. Не беда, что Софи не совсем реальный персонаж, хотя и нельзя не признавать этого, так как тысячи ее современниц находились в одинаковом положении с ней.

Я не хочу, да и права на это не имею заниматься анализом прочитанного. Ярко и умело изобразил в своем послесловии тов. Злобин достоинства, а равно и недостатки романа.

Прочитанные главы вызвали в нашем кругу живейший интерес, массу рассуждений.

■

*Редакции всегда приятно услышать слова читательской поддержки и одобрения тому, как ведется журнал. Но и критические замечания, и выражения неудовлетворенности той или иной публикацией ценны для нас как барометр читательских суждений и живое воплощение необходимой «обратной связи» с теми, ради кого и существует наш ежемесячник. Целый ряд читательских советов и дружеских «подсказок» был учтен нами в текущей деятельности журнала. Наиболее содержательные читательские письма оглашаются и анализируются на редакционных собраниях и «летучках».*

*Конечно, обнародуя читательское предложение публиковать то или иное произведение зарубежного автора, редакция не берет на себя заранее обязательство последовать читательскому совету. Ведь нередко имя автора, о котором хлопочет в своем письме читатель, известно ему лишь понаслышке. Но в одном могут быть уверены наши корреспонденты: каждое из их предложений будет серьезно взвешено отделами прозы, поэзии или публицистики, и во всех случаях, когда это будет возможно, точка зрения читателя будет принята в расчет.*

*Иногда отзывы читателей через посредство редакции становятся известны и самим зарубежным авторам напечатанных в «ИЛ» произведений. С одним из публикуемых сегодня читательских откликов, письмом Н. А. Шамехина из Красноярска, мы предварительно познакомили автора романа «Софи делает выбор» Уильяма Стайрона. Известный американский прозаик так отозвался на это в своем письме в редакцию:*

*«...Я получил экземпляры журнала и, конечно, с радостью обнаружил там отрывок из «Софи делает выбор», причем очень хорошо поданный. Тронули меня и слова сибирского рабочего, которые вы привели в своем письме. Сама мысль, что мои произведения достигли такого далекого уголка земли и (во всяком случае для меня) экзотического, кажется мне невероятной и в то же время приносит глубокое удовлетворение.*

*Мои друзья, знающие русский язык, уверяют меня, что и перевод вполне удался, что, естественно, тоже мне очень приятно. Хочется думать, что со временем роман в целом увидит свет в виде книги... Возможно, Вам любопытно будет узнать, что я недавно был во Франции и «Софи делает выбор» имеет там невероятный успех — это бестселлер номер один».*

*Читательница Н. Годова поднимает вопрос о целесообразности печатания романов с продолжением из номера в номер. Разумеется, всякая крайность губительна, и, когда публикация даже самого интересного романа растягивается, скажем, на четыре номера, читатели вправе сетовать на редакцию. Однако в принципе печатание произведений больших форм — романов с продолжением — не только столетняя традиция русского «толстого» журнала, но и сознательно сохраняемая специфика этого типа издания. Роман под одной обложкой готовит для читателя издательство, выпускающее книги. Журнал же не вправе превращаться ни в серию книг, ни в альманах. У читателя «романа с продолжением» в ежемесячном журнале есть некоторые неудобства, но есть и привилегии: он раньше других, что называется «с пылу с жару», знакомится с произведением, еще жгущим своего издания в отдельном томе. К тому же журнал предлагает ему каждый месяц широкую в тематическом и географическом плане панораму событий, совершающихся в современном литературном мире.*

*Многие наши читатели, в том числе Ю. А. Агеев из Куйбышева, интересуются тем, как решен вопрос о приложении к журналу «Иностранная литература». Мы можем сообщить читателям, что сейчас начата практическая подготовка к изданию специальной книжной серии «Библиотека «Иностранной литературы», регулярные выпуски которой будут поступать в розничную продажу.*

*Редакция благодарит читателей, приславших нам свои отклики, и ждет новых ваших писем.*

◆

# Среди книг

## Издано в СССР

### ПИОНЕРЫ

**Россия и США: становление отношений. 1765—1815. Сборник документов. Составители: Н. Н. Башкина (СССР), Н. Н. Болховитинов (СССР). Дж. Х. Браун (США) и др. Подготовлено под руководством совместной советско-американской редколлегии. Москва, «Наука», 1980.**

Стройтесь, зданья, в частях Нова Света,
Росс стремится — Нутка его мета.
Дикие народы, варварской природы,
Сделались многие друзья нам теперь...

Нам не важны чины, ни богатство,
Только нужно согласное братство,
То, что сработали, как ни хлопотали,
Ум патриотов уважит потом...

Далеко по новообретенной земле разлетелась эта песня. Ее называли гимном Русской Америки. Но мало кто знал, еще меньше кто верил, что сочинил ее невысокий, кряжистый, в солидных летах, мрачный с виду, скупой на слова человек. Звали его Александр Андреевич Баранов. Он был первым правителем русских поселений на Северо-Западном побережье американского материка.

Жил правитель в лишениях, пекся о подчиненных, ни рубля не накопил сам, хотя дело, которым он руководил почти тридцать лет, приносило огромные доходы.

Превыше всего ценил Баранов человеческое согласие. Умел уладить любой конфликт, даже вооруженный. Находил пути к взаимопониманию с «бостонцами» — как называли иногда в то время американцев с восточного побережья. И пользовался у них большим уважением и авторитетом.

Особо заботился об отношениях с местным индейским населением. В песне помянул об этом. И дотошно обговорил сей предмет в специальной инструкции помощнику своему, Ивану Кускову: «...строго воспретить и взыскивать малейшие противу тутоземных обитателей... дерзости и обиды, а стараться всячески, как вам самим, так и всем подчиненным, снискать дружбу и любовь, и не страхом преимущества, во огнестрельных орудиях состоящего, какового те не имеют народы, но разными благосклонными от человеколюбия производными приманками вежливости...»

«От человеколюбия производными...» Вроде бы и дивиться нечему. Норма людского общения. Отнюдь... Кортес, приближаясь к столице ацтеков, учинил кровавую расправу в Чолуле — просто так, для устрашения индейцев, для доказательства, что ему, герою, белокожему вождю, все позволено... «Справедливейшей из войн» против «неполноценной расы» считал изничтожение индейцев в собственной стране Теодор Рузвельт, автор политики «большой дубинки», усердно гальванизируемой ныне за океаном.

В сборнике «Россия и США: становление отношений» с жизнью и деятельностью Баранова связано около двадцати материалов. Бóльшая их часть публикуется на русском языке впервые. В том числе и инструкция Кускову. О многом говорят, многому учат нынешнее поколение эти документы.

Воспроизводится в книге и портрет Баранова. Удивительный портрет. Художник не имел возможности узнать Александра Андреевича близко Виделся с ним, может быть, раз-другой. Тем не менее сразу понял его. На портрете мы видим человека с добрым, умным, живым лицом, прямо и далеко смотрящими глазами...

Писал портрет Михаил Тиханов, голицынский крепостной, блестяще окончивший петербургскую Академию художеств. В 1817—1819 годах по ходатайству президента Академии А. Н. Оленина он совершил кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка» — вместе с лицейским товарищем Пушкина Федором Матюшкиным. Американские работы Тиханова великолепны. Ими иллюстрируются многие современные издания, связанные с русско-американскими отношениями той поры. Например, недавно опубликованный «Журнал» Матюшкина. Как известно, он велся в соответствии с рекомендациями самого Пушкина.

Нынешний интерес к истории русско-американских отношений естествен и понятен. Взаимоотношения наших стран во многом определяют сегодня политический климат земли, само будущее планеты. А прошлое — наставник жизни, — говорили древние. Работ по истории русско-американских отношений появилось в последние годы немало. Отметим среди них фундаментальные исследования советского историка Н. Н. Болховитинова, переведенные в США. Можно вспомнить также известные книги советских писателей — дилогию Кратта «Великий океан», «Юконского ворона» Сергея Маркова, недавний роман А. Борщаговского «Где поселится кузнец».

Книга «Россия и США» — другого рода. Подготовлена она совместно советскими и американскими историками. И вышла одновременно — в Вашингтоне на английском, в Москве — на русском языке. Это сборник документов, отражающих отношения между нашими странами в последней трети XVIII — начале XIX века. Здесь и официальные документы, и записи бесед, и частные письма, и фрагменты из дневников. Всего материалов в книге 560. Каждый тщательно прокомментирован. За каждым — многолетний кропотливый труд ее составителей, советских и американских ученых. Многие материалы к тому же, подобно барановским, сопровождаются портретами «действующих лиц» — в книге более ста иллюстраций.

Привлекательны цветные репродукции на вклейках сборника. Это отличные акварели на американские сюжеты Павла Петровича Свиньина, выполненные с натуры в пору его дипломатической службы в США. Кроме репродукций, здесь впервые на русском языке публикуются многочисленные материалы, связанные с его пребыванием в Америке. Они позволяют глубже судить о противоречивой, увлекающейся натуре Свиньина, о широте его интересов к различным сторонам американской общественной жизни, науки и культуры, наконец, о значительности его вклада в развитие русско-американских связей.

В Америке Свиньин был раньше Тиханова. Он — пионер русской изобразительной американы. В 1815 и 1818 годах в Петербурге выходила книга Свиньина «Опыт живописного путешествия по Северной Америке», иллюстрированная автором. Два альбома его американских акварелей хранятся сейчас в ленинградском Русском музее. Картины, воспроизведенные в сборнике,— из фондов нью-йоркского музея искусств Метрополитен. Даже эта деталь убеждает, сколь плодотворно и необходимо подобное сотрудничество и как нелепы, алогичны, антиисторичны попытки некоторых нынешних политических деятелей США насадить атмосферу отчужденности и враждебности между нашими странами. «Дай бог, чтобы гармония между нациями нашла путь к сердцам правителей и стала их ближайшей целью и чтобы стремление к миру (в котором торговля и способность понимать друг друга занимают далеко не последнее место) с каждым днем усиливалось!» — завещал потомкам основатель американской республики Джордж Вашингтон. Этот материал также публикуется в книге.

Прошлое — наставник жизни... Начиная с 30-х годов XVI столетия, когда «о новом мире и новом собрании человеческом» первым в России упомянул Максим Грек, тысячи фактов могли бы послужить точкой отсчета в летописи многообразных взаимосвязей России и США. Думается, что составители сборника отдали предпочтение самым достойным из них...

За несколько дней до своей смерти Петр I посылает большую экспедицию для разведки американских берегов под командой Витуса Беринга. Когда в Петербург пришло известие о том, что русские мореходы достигли, наконец, берегов американского континента, Ломоносов тотчас написал:

спешат
Уже Американски волны
В Камчатский порт, веселья полны...

Это 1742 год. Не раз еще в своих стихах восславит Ломоносов подвиг «российских Колумбов». Обрадуют его и вести о развитии научной мысли в самой Америке. В июне 1752 года «С.-Петербургские ведомости» сообщили об опытах Франклина с атмосферным электричеством, о его громоотводе. В том же году в своей философской поэме «Письмо о пользе стекла» Ломоносов посвятит восторженные строки этому выдающемуся изобретению. В свою очередь Франклин следит за успехами ученых в России.

Таким образом, закономерно и справедливо, что сборник «Россия и США: становление отношений» открывается материалами, связанными с именами и деятельностью Ломоносова и Франклина, выдающихся ученых и мыслителей, поборников развития всесторонних контактов между нашими странами. Символично и то обстоятельство, что в основе этих материалов — понимание необходимости объединить усилия ученых для подлинного прогресса науки. Лучшего зачина для первого опыта сотрудничества советских и американских историков, пожалуй, и не представить.

Почти каждый из материалов сборника являет сложнейшее переплетение экономических, политических, культурных взаимосвязей наших стран. И переплетение человеческих судеб, хотя на дорогу от Петербурга до Нью-Йорка уходило в ту пору много недель, а до русских поселений на западном побережье — не менее года.

Вот самый лаконичный документ сборника. В нем всего одна фраза в полторы строки — приказ о зачислении американского моряка Сонтага на «российскую службу лейтенантом с определением в Черноморский флот». Документ тем не менее чрезвычайно интересный. Ведь Егор Васильевич Сонтаг (Зонтаг) вскоре станет участником войны 1812 года; он женится затем на племяннице Жуковского, детской писательнице Анне Петровне Юшковой (Зонтаг); в одесском доме Зонтагов (с богатой библиотекой американской литературы и коллекцией портретов выдающихся деятелей США) будет появляться Пушкин...

В совокупности материалы книги дают ощущение поразительного многообразия, глубины, обоюдной полезности отношений между нашими народами на рубеже XVIII

и XIX веков — в пору рождения и становления американского государства. И ощущение того, что за этими материалами лежит еще огромный неизведанный пласт, что книга лишь намечает контуры, общее направление будущих исследований, которым она, эта книга, безусловно, способствует и, более того, стимулирует их, даже к ним взывает. Богатейшая информация, заключенная в сборнике, очевидно, поможет ответить и на многие вопросы из области культурных взаимосвязей наших стран.

Вот одна из таких проблем — пьеса Крылова «Американцы», произведение малоизвестное и почти совсем неизученное. По виду — это либретто комической оперы на «индейскую» тему. Двенадцать лет добивался ее постановки чудодей конспирации Иван Крылов. И 8 февраля 1800 года в Петербурге состоялась, наконец, премьера «Американцев». В том же году пьеса печатается отдельным изданием.

В большинстве работ, посвященных Крылову, «Американцы» в лучшем случае лишь упоминаются. А вот П. Н. Беркову, крупнейшему специалисту по истории русской литературы XVIII века, эта пьеса до конца жизни не давала покоя: «Что означало настойчивое указание Крылова, что «Американцы» — «не комическая, но героическая опера»? Чей героизм и во имя чего этот героизм прославлялся? Чем следовало бы в подобном случае объяснить противодействие дирекции Придворного театра постановке «Американцев» на сцене?» Это вопросы из последней книги П. Н. Беркова «История русской комедии XVIII в.» (Л., 1977). Вопросы, оставшиеся без ответа...

Материалы сборника «Россия и США» дают возможность предположить ответы на каждый из этих вопросов. И прежде всего — правильнее понять заглавие пьесы. Судя по всему, оно является ключом к решению остальных вопросов.

Заглавие пьесы, имя одного из ведущих ее персонажей, некоторые сюжетные мотивы — все это подчеркнутая, бросающаяся в глаза перекличка с трагедией Вольтера «Альзира, или Американцы».

Пьеса Вольтера о гордых, справедливых, свободолюбивых индейцах и жестоких испанских колонизаторах была хорошо известна в России. В 1746 году ее показала в Петербурге французская труппа. Сумароков — в завершенной вскоре «Эпистоле о стихотворстве» — оценивал «Альзиру» как «Вольтерову корону». Еще в студенческие годы переводил «Альзиру» на русский язык Денис Фонвизин, сохранивший интерес к пьесе на всю жизнь. «В прошлый понедельник отворены были все театры,— писал он из Франции в апреле 1778 г.,— мы с женою предпочли видеть «Альзиру»...»

В 1786 году, то есть непосредственно перед началом работы Крылова над «Американцами», был опубликован русский перевод «Альзиры». Но не фонвизинский, а Петра Карабанова. Крылов тотчас откликнулся на него язвительной эпиграммой. Тяжеловесный карабановский перевод несколько раз переиздавался, в том числе и в 1798 году, видимо невольно способствовав судьбе крыловских «Американцев».

Вольтер в своей пьесе называет индейцев только «американцами» — даже выносит это слово в заглавие трагедии. Вероятно, не без полемического умысла. Ведь существовала уже прочная, с шовинистическим подтекстом тенденция, идущая непосредственно от конкистадоров, именовать коренных жителей нового континента «просто» дикарями. Передовая Россия поддержала вольтеровский, гуманистический принцип. Так, в 1759 году на сцене петербургского театра был поставлен драматический балет «Прибежище добродетели» по пьесе Сумарокова. В поисках своего «прибежища» Добродетель — после Европы, Азии и Африки — добиралась и до Америки. Американская сцена — самая короткая, но и лучшая в пьесе. В ней рассказывалось, как Американец — индейский вождь, ограбленный и выгнанный европейцами из своего города,— не выносит глумления над собой, кончает жизнь самоубийством. Вместе с ним погибает и его возлюбленная. Роль Американца в спектакле исполнял Федор Волков. Американку играла одна из первых русских актрис, невестка Федора Волкова, Мария Ананьина (Волкова). По предположениям специалистов, трагическую эту сцену Сумароков написал специально для Волкова.

В «Американцах» Крылова вроде бы тоже речь идет об индейцах, об их борьбе за независимость против испанских колонизаторов. И Вольтер, и Сумароков тому порукой. Но вот в чем дело. Пьесу свою Крылов написал в 1788 году, потом дорабатывал ее. Полвека прошло после создания «Альзиры», три десятилетия — после «Прибежища добродетели». А пятью годами раньше за океаном победоносно завершилась революционная Война за независимость, отстояла свою свободу новая республика, самодержавной Россией не признанная, но приветствуемая Россией передовой — Радищевым, Новиковым, Фонвизиным...

Термин «американец» значил теперь совсем иное. «Эзра Стайлс, американец из Новой Англии, шлет самые искренние приветствия прославленному г-ну Ломоносову...» — начинается одно из писем, открывающих сборник «Россия и США». Это 1765 год.

Еще сто тридцать документов относятся в сборнике к периоду по 1788 год. Половина из них русского происхождения, половина — американского. И во всех «американцами» именуются выходцы из Европы, поселившиеся в Северной Америке. Более того, в годы Войны за независимость у термина появился определенный политический подтекст. «Различия между виргинцами, пенсильванцами, нью-йоркцами и жителями Новой Англии более не существует,— заявил известный деятель американской революции Патрик Генри, выступая в 1774 г. на Первом континентальном конгрессе.— Я теперь не виргинец, а американец».

Крылов, безусловно, знал об эволюции термина. Вслед за пьесой он пишет сатирическую «Почту духов», вновь упоминает там индейцев, но «американцами» их не называет: «Я очень любопытно желал бы

услышать от вас о тамошних диких народах...»

Как ни парадоксально, но коренные жители страны и не могли теперь именоваться «американцами»—гражданских прав в новой республике они не получили.

Радищев, первым приветствовавший победу американской революции, с возмущением и глубоким сочувствием пишет в «Путешествии» о судьбе коренного населения Америки, а равно и завезенных туда чернокожих рабов. И еще один нюанс появляется у Радищева — впервые в русской литературе трагическое положение индейцев и негров открыто сопоставлялось с крепостным бесправием — «Вострепещите, о возлюбленные мои, да не скажут о вас: Премени имя, повесть о тебе вещает».

Названием «Американцы» Крылов не просто продолжил вольтеровскую традицию осуждения геноцида. Он утверждал тем самым право коренных жителей на гражданство в республике, на достойное, человеческое, равное с белыми существование. То существование, которое пытался устроить для них в районах русских поселений Александр Андреевич Баранов. Русские же все считались за океаном в о л ь н ы м и, хоть и разный люд прибивался к Баранову, а обстоятельства требовали поддержания дисциплины и почти военного порядка. «Только нужно согласное б р а т с т в о»,— провозглашал Баранов в своей песне, которая начиналась так:

Ум российский промыслы затеял,
Людей в о л ь н ы х по морям рассеял...

«Индейской» проблематикой пьеса Крылова не исчерпывается. Напротив, это лишь легкая ширма ее второго и третьего планов, видимо главных для автора.

Чей героизм прославляется в «Американцах»?

Героизм народа, добившегося победы в справедливой, революционной Войне за независимость. Как прославлялся он и в радищевской «Вольности».

Нашу вольность защитивши
И врагам их злость отмстивши...—

поет у Крылова хор американских женщин.

Солнце! Зри врагов гоненье...—

вторит им хор мужчин.

Вижу поле я сраженья,
Вижу я орудий блеск;
Слышу шум я пораженья...—

это слова из арии и с п а н к и Эльвиры. Кстати, если бы действительно имелась в виду схватка индейцев с испанскими конкистадорами, то ни о «поле сраженья», ни тем более о «блеске орудий» и речи бы не могло быть. И «пораженье» у Крылова терпят завоеватели, «испанцы». А вот 30-я строфа радишевской «Вольности», славящая победу армии Вашингтона, начинается почти так же:

Воззри на беспредельно поле,
Где стерта зверства рать стоит...

В истории прозаического текста «Американцев» много неясного. В 1800 году пьеса была опубликована вообще без имени автора. На обложке книги значилось: «А м е р и к а н ц ы. Опера комическая в двух действиях. Музыка г. Фомина». И все. Лишь в кратком предисловии А. И. Клушин, давний друг Крылова, ставший к тому времени театральным цензором, сообщал о пьесе, что «кроме стихов, в ней не осталось ни строки, принадлежащей перу г. Крылова». Клушин добавляет, что говорит это, дабы возможные претензии «не были отнесены на счет г. Крылова».

П. Н. Берков усомнился в истинности слов Клушина: «... Можно и в прозаическом тексте печатного издания 1800 г. предположительно установить принадлежащие самому Крылову отрывки».

Этого авторитетного мнения достаточно, чтобы сказать о третьем плане пьесы — об остром обличении в ней крепостничества российского.

Самый интересный персонаж в пьесе — безусловно Фолет. «Новопоселившийся гишпанец» — представляет его автор. Так вот, лексика «новопоселившегося» в его обращении с «дикарями» почти не отличается от манеры общения со своими холопами... фонвизинской госпожи Простаковой! Или подросшего лет на шесть-семь Митрофанушки (как раз временная разница в создании пьес). С чего начинается наше знакомство с Простаковой? С ее «объяснения» с Тришкой по поводу кафтана: «А ты, скот, подойди поближе. Не говорила ль я тебе, воровская харя...»; «Скажи, болван...»; «Говори, скот...»; «Выйди вон, скот...»

А вот словарь «гишпанца» Фолета: «харя», «скоты», «американская харя», «американская дрянь», «дикари»... Хотя сам он волочится при этом за сестрой туземного вождя, именуя ее то своей «кралечкой», то «смугленькой обезьяночкой».

Испанец-конкистадор, белый американец-расист, русский крепостник — одного поля ягоды. Такова, видимо, суть крыловской аналогии. И не исключено, что сцена предполагаемой казни «испанцев» восставшими «дикарями», послужившая основным поводом первоначального запрета на пьесу, навеяна реминисценциями пугачевского восстания, свидетелем которого Крылов был в детстве.

В этой же связи любопытна и метаморфоза Фолета. Внимательно присматривается он к жизни «диких американцев». Сопоставляет их равноправие с «палочной философией» испанцев. И — решает остаться с «дикарями», то есть перейти на сторону восставших, как и пятнадцать других его сослуживцев, которых Фолет поначалу считает людьми «бесчестными». Решение свое Фолет объясняет в арии, совершенно измененной по цензурным причинам для печати. Не осталось в ней и ключевой строки: «...Я всем буду здесь ровен».

Во имя чего же прославляется в пьесе героизм американского народа? В о и м я с в о б о д ы р у с с к о й. Как в радищевской «Вольности»:

Ликуешь ты! а мы здесь страждем!
Того ж, того ж и мы все жаждем...

Последний вопрос П. Н. Беркова — о причинах противодействия постановке «Американцев» — видимо, уже и не требует ответа.

Победило искусство крыловской аллегории. Хотя и в смягченном, приглушенном виде, но пьеса, которой автор очень доро-

жил, все-таки прозвучала со сцены императорского театра, была издана отдельной книгой. И мы можем называть Ивана Андреевича Крылова среди тех пионеров — выдающихся деятелей русской культуры, которые внимательно следили за событиями американской жизни, сумели донести их революционный, антимонархический смысл до русской общественности и, подобно Радищеву, использовали американскую тему в интересах освободительного движения в своей стране.

После крыловских «Американцев» индейская тема становится в России одной из форм «эзоповой речи». Примеров множество — «Сонет одного ирокойца, написанный на его природном языке» Александра Измайлова, антикрепостническое стихотворение Николая Гнедича «Перуанец к испанцу», «Песнь пленного ирокезца» Александра Полежаева. Замысел трагедии о колонизации Америки, о «диких, угнетенных испанцами», возникал у Лермонтова. Пьеса эта не была создана. А поэма «Индианка» на ту же тему, к сожалению, не сохранилась...

Сколько увлекательных проблем есть еще в истории русско-американских литературных связей, изучить которые помогут материалы сборника «Россия и США».

«Именно знание и понимание исторического прошлого, изучение давних связей между обеими странами и уважение к культурному наследию русского и американского народов,— говорит в связи с выходом книги «Россия и США» один из ее составителей, Н. Н. Болховитинов,— во многом могут помочь устранению взаимного недоверия и открыть новые возможности и перспективы для плодотворного сотрудничества».

Прекрасным примером подобного сотрудничества стал сам сборник «Россия и США». О таких деяниях Баранов говорил:

То, что сработали, как ни хлопотали,
Ум патриотов уважит потом...

**И. ПОПОВ**

## ТЫСЯЧА И ОДИН «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

**Фредерик Грандель. Бомарше. Перевод с французского Л. Зониной и Л. Лунгиной. Москва, «Искусство», 1979.**

Столь подробного рассказа о жизни Бомарше еще не было в литературе. Фредерик Грандель нигде не отступал сколько-нибудь существенно от подлинных документов, и тем не менее из-под его пера вышел, по его же словам, роман — приключенческий, с элементами плутовского, переходящий в конечном счете в роман исторический.

Ибо таков был Пьер-Огюстен Карон де Бомарше: его жизнь — настоящий калейдоскоп всевозможных событий, больших и малых приключений, фантастических взлетов и болезненных падений. На четырехстах пятидесяти страницах уместилась только часть того, что может быть о нем сказано. Чтобы всюду поспеть за своим героем, комически сетует Грандель, «перо должно нестись по бумаге, закусив удила». Коммерция, политика, литература, тайная дипломатия, финансы, придворная жизнь, воздухоплавание, театр — все это у Бомарше сплетается в один сложный клубок, причем никогда не ясно, что для него в данный момент важнее: на манер фокусника он привлекает внимание зрителя к правой руке, в то время как по-настоящему работает левой. Словом, его биография — это тысяча и одна ночь или, лучше сказать, тысяча и один «безумный день».

Сам Бомарше сказал о себе следующее: «Если время измеряется событиями, его наполняющими, я прожил двести лет».

Большую часть жизни ему пришлось вращаться (именно так) в аристократическом кругу, пропитанном предрассудками и условностями. Выходец из старинной парижской буржуазной семьи, потомственный часовщик, Бомарше делает карьеру при дворе, занимая различные мелкие декоративные должности. Здесь в первую очередь требуется умение изящно сгибаться и вообще хорошо разбираться в бесчисленных тонкостях придворного и административного церемониала. Одновременно он преуспевающий коммерсант и финансист. Он принадлежит к верхнему, раззолоченному слою парижской буржуазии, пользующемуся многими благодеяниями королевской власти и все-таки остающемуся по другую сторону сословного барьера.

Для нашего современника Бомарше — едва ли не автор одной пьесы: «Женитьбы Фигаро». Даже «Севильского цирюльника» сегодня, кажется, почти не ставят; как правило, все знакомятся с этой историей через Россини. Что касается такой его вещи, как «Четыре мемуара», то во Франции, например, по свидетельству Гранделя, их уже невозможно отыскать на книжных прилавках. Те, кто их читал, помнят, что «Мемуары» не выходят из рамок одного судебного дела, его, Бомарше, собственного дела. Изложенное во всех подробностях, оно показалось бы скучным... если могло бы быть скучным что-то, чего коснулось перо Бомарше.

Дело, ставшее сюжетом для «Мемуаров», должно было уничтожить Бомарше, ибо ему противостоял человек, «давший себе труд родиться» знатной персоной. И Бомарше нашел единственное средство спасения: он вынес конфликт на суд общественного мнения, набиравшего силу в предчувствии недалекой уже революции. Защищая себя, отстаивая свои права с позиции разума, он тем самым отстаивал новое представление о человеческом достоинстве. Со страниц «Мемуаров» заявил о себе блистательный и дерзкий полемист просветительского склада, достойный преемник в этом отношении самого Вольтера.

Отныне, обращаясь к министру, или герцогу, или даже к самому королю, Бомарше никогда уже больше не будет держаться прежнего подобострастного тона. Ощущая за собой некую растущую силу, он готов сражаться со всеми и вся, коль скоро он уверен, что его дело — правое.

«...Подобно татарину или древнему скифу, свирепому и дикому, атакующему всегда на равнине с легким мечом в руке, я сражаюсь один, обнаженный до пояса, с поднятым забралом...» — таким он сам себя представляет. (Удивительна эта перекличка, через полтора столетия, с Александром Блоком!)

Тут, однако, позволено и усомниться, даже улыбнуться: полноте, такой ли уж «скиф» г-н де Бомарше? Мы знаем, что, когда придут настоящие «скифы», санкюлоты, он перепугается сам. Трудно и представить Бомарше вне того ухоженного мира, с которым он столь тесно связан,— мира зеркальных паркетов и декоративных парков, бархатных камзолов, пудреных париков, галантных манер и салонных речевых привычек. Бомарше расшатывает этот мир, отнюдь, однако, не желая того, чтобы он рухнул целиком и полностью. Со своей стороны, верхушка старого общества, «пророческих очей не простирая вдаль», на многое готова была тогда смотреть сквозь пальцы, а потому и Бомарше сходили с рук многие его дерзости. Людовик XVI, как и его предшественник, в общем благоволил к Бомарше, хотя иногда пытался, как говорит Грандель, поставить его в угол. Более того, создателя Фигаро близко подпускали к государственным делам первостепенной важности: внешнеполитическим, финансовым и другим. Фактически в течение ряда лет он играл роль авторитетного советчика при французском посольстве по самым различным вопросам.

Грандель считает, например, что Бомарше сыграл решающую роль в отношениях Франции с Америкой и Англией в период Войны за независимость. Хотя это несколько преувеличено, именно Бомарше явился инициатором и самым пылким энтузиастом франко-американского союза. Еще до того как союз был заключен, Бомарше частным порядком (при поддержке и финансовом участии французского правительства) организовал в больших масштабах тайные поставки оружия восставшим колонистам. Тут он сыграл роль поистине историческую. Фактически лично он вооружил, а также одел и обул всю американскую армию! Если бы не Бомарше, неизвестно еще, как бы протекала Война за независимость,— снаряженные им конвои судов начали прибывать в Америку как раз тогда, когда войска Вашингтона находились в критическом положении. Добавим к этому, что флагман личного флота Бомарше, 66-пушечный линейный корабль «Гордый Родриго» принимал непосредственное участие в сражениях с англичанами. Согласимся с Гранделем: американские дела Бомарше — самые прекрасные из его приключений.

Однако объяснять американские инициативы Бомарше исключительно его идеализмом, как это делает Грандель, нет оснований. История с военными поставками Америке в целом довольно путаная, кое-что в ней остается неясным (что вызвано почти полным исчезновением соответствующих архивных материалов). Из переписки Бомарше, однако, следует, что он рассматривал свое американское предприятие как чрезвычайно прибыльное. Будучи самым искренним «ревнителем американской свободы», он в то же время ожидал, что военные поставки обернутся для него золотым дождем. Если в действительности дело оказалось убыточным, то это потому, что конгресс Соединенных Штатов попросту надул Бомарше.

Гранделя вообще явно смущает бурная предпринимательская активность его героя. А ведь от фактов не уйдешь: в канун революции Бомарше был одним из богатейших капиталистов Франции, судовладельцем, банкиром, владельцем лесопильных и прочих заводов. Но чтобы судить об этих фактах с точки зрения этики, нельзя не учитывать и того, что он был человеком своего времени. А в его время идея капитализма, щеголявшая, так сказать, в детских ботиночках, отнюдь не имела того отталкивающего вида, какой она обрела позднее. Вспомним об Адаме Смите, о физиократах: частнособственнический интерес, частная выгода выступают у них как необходимейший элемент общего блага, «гармонии целого».

Сам Бомарше видел «моральное задание» (его слова) века в том, чтобы облечь меркантильный интерес в привлекательные одежды. В литературе и искусстве шел трудный, как мы теперь понимаем, поиск образа «положительного» буржуа. В ранней пьесе «Два друга» Бомарше вывел двух сугубо «положительных» банкиров: трогательно-великодушных и слезно-чувствительных. Несмотря на продемонстрированное им уже здесь драматургическое мастерство, пьеса явилась полной неудачей. Можно было пойти по другому пути: взобраться на ходули. В канун 1789 года так и сделали: сцена заполнилась аллегорическими фигурами, выспренне-героическими, холодновато-условными. Бомарше, хотя ему не занимать было личной доблести, пафосная героика оставалась чужда — для нее он был слишком «старорежимен». Бомарше пошел по другому пути.

«Буржуазия,— писал Герцен,— явилась на сцене самым блестящим образом в лице хитрого, увертливого, шипучего, как шампанское, цирюльника и дворецкого — словом, в лице Фигаро». Напомним, что буржуазия тогда не отделяла себя от «третьего сословия», то есть массы народа. Задача была решена Бомарше в житейско-бытовом плане, в русле традиции плутовской комедии. Но какая разница между Фигаро и его недалекими — в обоих смыслах — предшественниками! В курточке испанского цирюльника на сцену вышло авторское «я», во всеоружии своего стремительного ума, своего богатого и вместе горького опыта, своего заразительного смеха. «Чудесным героем» назвал Фигаро Пушкин. А ведь Пушкин весьма неприязненно отнесся к «торгашескому веку», о наступлении которого, собственно, и возвестило появление Фигаро.

Постановка пьесы «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (за пять лет до штурма Бастилии) имела триумфальный успех, буквально не имеющий равных за всю историю французского театра. Много было сказано о том, какой громадный революционный заряд заключала в себе эта пьеса. Приведем наиболее известные оценки: «Фигаро покончил с аристократией» (Дан-

тон); «это (была) уже революция в действии» (Наполеон). Массы французов, никогда не читавшие, скажем, «Энциклопедии» или «Общественного договора», через посредство Фигаро усваивали урок, так сказать, диалектики отношений господина и слуги. Пьеса «выстрелила» много дальше, чем того хотелось бы самому автору.

В виде постскриптума Грандель приводит выразительную — хотя, на наш взгляд, и не вполне «сбалансированную» — оценку личности Бомарше, принадлежащую современному французскому писателю Ромену Гари: «...Это был божественный наглец и благородный выскочка, акула и угорь, целая эпоха, целая Европа. Это был человек гуттаперчевый, но несгибаемый, смесь Растиньяка, Манон Леско, Арагона, Казановы и Калиостро, он сам — одно из великих литературных творений жизни».

Но можно сказать иначе: это был автор «Женитьбы Фигаро». В чем неиссякаемое обаяние этой пьесы? Бомарше писал ее как будто между делом: листы рукописи лежали на его письменном столе вперемешку с банковскими счетами, рапортами капитанов кораблей, надушенными анонимными письмами. И вот в коловерти суматошных дней было создано нечто столь же принадлежащее своему времени, сколь изъятое из него, произведение, наделенное, как принято выражаться, вечной молодостью. Даже Моцарт, создавший на ее основе вещь сверхгениальную, не мог заслонить пьесы Бомарше. В чем секрет ее вечной молодости? Единственное, неповторимое сочетание: просветительский пафос, радостный смех, культура рококо, свежие ветры грядущих перемен... И что-то еще.

«Коль мысли черные к тебе придут...» Раздвигается занавес. Пробка бьет в потолок... Фигаро меряет спальню, предоставленную ему в канун свадьбы графом Альмавива. В миллионный раз начинается такой суетливо-деловитый и такой поэтический «Безумный день».

**Ю. КАГРАМАНОВ**

## ЖИЗНЬ В ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ

**Цянь Чжуншу. Осажденная крепость. Перевод с китайского В. Ф. Сорокина. Вступительная статья Л. З. Эйдлина. Москва, «Художественная литература», 1980.**

Давно уже замечено, что книги, как и люди, часто имеют неожиданные судьбы. Написанное давно и, казалось бы, забытое, вдруг оживает и становится актуальным в другой исторический период. Так получилось и с романом китайского писателя Цянь Чжуншу «Осажденная крепость». Написанный в 1946 году, этот роман выдержал не одно издание, но потом был забыт. И вот в 1980 году он одновременно вышел у нас, в США и в Пекине, готовится также и японский перевод книги.

«Осажденная крепость» — это не военный роман, как может показаться по названию. Это книга о жизни интеллигенции, и большое место в ней занимает проблема любви и брака. Название романа восходит к известному французскому изречению: «Брак подобен осажденной крепости: кто снаружи — хочет вступить, кто внутри — стремится выйти». «Осажденная крепость» Цянь Чжуншу едва ли была предана забвению случайно. Она была отодвинута на второй план целым потоком произведений более злободневных. Но вот сейчас, когда после бурных и трагических событий периода так называемой «культурной революции» судьбы интеллигенции в Китае вновь вышли на первый план, к роману вернулись как к произведению, помогающему понять некоторые сложные процессы современной китайской жизни.

Автор романа — известный литератор Цянь Чжуншу, знаток и исследователь не только родной словесности, но и западной литературы, окончивший в 1933 году знаменитый своими прогрессивными традициями университет Цинхуа в Пекине, а в 1935—1937 годах учившийся в Оксфорде и Сорбонне. Это двойное образование не могло не сказаться и на его романе. «Осажденная крепость» — китайский роман, но написанный в духе и стиле романа европейского. Этот синтез двух традиций — дальневосточной и западной — ощущается и в построении сюжета, и в художественной манере писателя. Это сочетание столь разных традиций весьма органично для Цянь Чжуншу. Достаточно заглянуть в созданную им в те же 40-е годы книгу «Записи бесед об искусстве» («Тань и лу») — собрание глубоких и оригинальных эссе о взглядах теоретиков поэзии средневекового Китая, чтобы понять, что основной пафос этих заметок — в поисках общих черт в традиционной китайской поэтической теории и европейской эстетике, в определении современных западных аналогов китайской поэтической терминологии.

В своем романе, как писал сам Цянь Чжуншу, он хотел показать определенную часть китайского общества и изобразить «некоторых персонажей, не забывая, что они — представители рода человеческого, то есть не покрыты шерстью и ходят на двух ногах». Эти иронические слова из предисловия 1946 года помогают нам понять основные особенности «Осажденной крепости». В ней описано сложное и трагическое для Китая время антияпонской войны 1937—1945 годов, увиденное глазами молодого интеллигента Фана, возвратившегося из Европы и прослушавшего курсы лекций в университетах Англии, Франции и Германии, с купленным по дешевке, за пятнадцать долларов, дипломом доктора таинственного Крейдонского университета в Нью-Йорке. Ни Фан, ни его друзья и знакомые не участвуют непосредственно в военных событиях, война проходит как-то стороной (это из газет герои узнают о разрушении древнего города Чанша). От войны можно спрятаться в иностранном сеттльменте Шанхая или уехать доста-

точно беспрепятственно, хотя и со многими дорожными передрягами, в глубинные районы страны, оставшиеся в руках гоминьдановского правительства. Весь этот путь и совершает Фан, получивший неожиданно телеграмму с приглашением занять должность профессора в создаваемом в глуши новом университете Саньлюй. (Как выясняется, этим приглашением он обязан Чжао Синьмэю, журналисту, влюбленному в барышню Су, вернувшуюся из Европы с докторским дипломом и любящую Фана. Таким неожиданным ходом Чжао рассчитывал избавиться от соперника.) Но жизнь распоряжается иначе. Чжао и сам едет с Фаном в этот неведомый университет и становится его лучшим другом. Судьбы героев в романе переплетаются, но если можно так сказать, судьбы эти «мелкие», как и весь замкнутый и скучный мир показанной в романе определенной части тогдашней интеллигенции, знающей не так уж много из богатейшего наследия родной культуры и усвоившей, да и то весьма поверхностно, какие-то отдельные элементы культуры европейской. Чего стоит, например, лекция Фана, прочитанная в родном уезде для учащихся своей школы. Более двухсот юношей и девушек с нетерпением ждут вместе с учителями выступления прибывшего из-за границы «доктора» Крейдонского университета. За отдельным столиком сидит стенографистка. А тот, забыв свои скудные записи, начинает разглагольствовать о европейском влиянии на китайскую цивилизацию, о курении опиума и о завезенной в Китай «испанской болезни» — ничего больше он вспомнить не может, хотя и уснащает свою торжественную речь ссылками на китайские исторические сочинения, а также на «Одиссею» Гомера и высказывания Шопенгауэра Можно представить себе, какую чушь несет он, читая потом в провинциальном университете лекции по логике, о которой имеет более чем дилетантское представление.

Роман Цянь Чжуншу нельзя назвать в полном смысле сатирическим, но в нем немало иронии (качество, не характерное для традиционной китайской литературы): иронично описывает автор и своих героев, и их суждения, и их поступки, далекие от идеала подлинной гражданственности; в суровое время войны они заняты своими делишками, подсиживанием друг друга, клеветой, доносами, а то и просто контрабандой, как дипломированная барышня, а потом мадам Су. или просто спекуляцией, как некто Ли Мэйтин, едущий из Шанхая в тот же провинциальный университет с тяжелейшим сундуком, полным европейских лекарств,— он мечтает сбыть их втридорога в местной клинике. Сундук этот — существенная деталь в повествовании, метко определяющая сквалыгу Ли и доставляющая немало хлопот его спутникам.

Не без иронии изображает автор и представителей старшего поколения, в частности отца Фана — старого китайского интеллигента, записывающего в дневник все события своей жизни в выспренней, старинной литературной манере так, что все оказывается освещенным розовым светом.

Язвительно описывает автор и некую шанхайскую барышню Ниту, которую неудачно прочили в невесты Фану, и ее домашних. Барышня, державшая на своей книжной полке специальное английское пособие «Как заполучить мужа и удержать его», вышла замуж за другого, подысканного родителями, молодого человека. А ее отец, заискивавший перед японцами и состоявший членом «Городской ассоциации борьбы против Англии и Америки», после падения Японии тут же помчался с дочкой в лагерь, где находились интернированные японцами английские и американские граждане, чтобы навестить своих бывших хозяев — владельцев американского банка. И в той же самой гостиной, где только что льстиво принимали японских жандармов, Чжаны устроили банкет для прибывших в Шанхай американских моряков. «Барышни и дамочки чувствовали себя наверху блаженства, когда их целовали представители союзной армии, и, кажется, готовы были сделать на щеках наколки в виде звездно-полосатого флага. С того дня муж Ниты всякий раз робел, целуя ее, словно бы проникал на американскую территорию без заграничного паспорта и визы госдепартамента». Жаль, что этот и некоторые другие саркастические эпизоды сняты автором в последнем китайском издании 1980 года.

В отличие от старинных китайских эпопей сюжет романа Цянь Чжуншу не столь уж сложен, гораздо больше внимания автор уделяет показу внутреннего мира своих персонажей. Именно этим и интересна для нас эта книга. Как справедливо подчеркнуто в обстоятельном предисловии Л. З. Эйдлина к русскому переводу «Осажденной крепости», где дается точный анализ событий романа, наш читатель уже знаком со многими произведениями китайской литературы, описывающими события антияпонской войны, но в большинстве своем это книги, созданные в освобожденных районах. «Осажденная крепость» рисует ту же эпоху в другом, особом ракурсе: читая роман, видишь далеко не героическую жизнь гоминьдановского Китая и оккупированного Шанхая. Это помогает нам представить всю пестроту и неоднородность эпохи, глубже понять разношерстность китайского общества, в котором рядом с истинными патриотами, боровшимися с врагом, всегда было немало людей, заботившихся лишь о собственном благополучии.

Роман Цянь Чжуншу написан непростым языком, в нем много намеков, стиль его украшен многочисленными сравнениями и метафорами, перевод такого текста требует не только отличного знания живого китайского языка, но и широкой образованности (даже общеизвестные античные или западные имена переводчик с китайского должен правильно угадать за их иероглифическим обликом). Известный исследователь классической и современной литературы Китая В. Ф. Сорокин счастливо сочетает в себе эти необходимые качества. Перевод сделан им точно и при этом читается по-русски легко и естественно. А это уже мастерство.

**Б. РИФТИН**

# *Издано за рубежом*

## КНИГА, УВЕНЧАВШАЯ ТРИЛОГИЮ

**Illyés Gyula. Beatrice apródjai. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979.**

**Дюла Ийеш. Пажи Беатриче. Роман. 1979.**

С художественного фотопортрета, открывающего новую книгу Дюлы Ийеша, на нас пристально смотрит приближающийся к своему восьмидесятилетию писатель. Он сидит в саду перед домиком, что расположен на пологом склоне глубоко врезавшегося в гладь Балатона полуострова Тихань; в пуловере поверх рубашки с расстегнутым воротничком, с неизменной мичманкой на голове — кажется, он присел на минутку, чтобы отдохнуть немного от хлопот по саду. Рядом с ним, на столе из мельничного жернова,— стакан бодрящего душу вина. По оконной раме взбегает виноградная лоза. В подвешенной на стене дома корзинке дозревают в лучах осеннего солнца фрукты. Наступила, как видно, пора подведения итогов. Ийеш смотрит на нас пытливо, пожалуй, даже вопрошающе, и читатель понимает, что теперь, когда книга прочтена, нужно не его, Ийеша, спрашивать, а самому держать трудный экзамен, отвечать на вопросы, сформулированные в этой книге. Предмет экзамена — история.

В книге рассказывается о духовном становлении юноши (самого писателя) и о непродолжительном периоде в истории Венгрии, ставшем поворотным в судьбе венгерской нации. Однако хроника событий, ограниченная в романе несколькими месяцами, что последовали за поражением Венгерской советской республики 1919 года,— лишь временные рамки всего того, о чем свидетельствует перед потомками Ийеш, очевидец и деятельный участник этих событий. Советские читатели достаточно хорошо знают Дюлу Ийеша [1], крупнейшего из ныне живущих мастеров венгерской литературы, поэтому нет необходимости подробно рассказывать о его долгом жизненном пути и обширном творчестве. Достаточно сказать, что после Аттилы Йожефа, великого венгерского пролетарского поэта, жизнь которого трагически оборвалась в 1937 году, именно Ийеш воплотил в себе черты художника, в чьих книгах нашли глубокое отражение проблемы, определяющие подчас само существование народа и нации. Его поэзия, проза, драматургия — правдивое зеркало жизни трудового венгерского народа, всех его слоев. Таким зеркалом являются и «Пажи Беатриче». Это самостоятельное, внутренне завершенное произведение и вместе с тем — органическое продолжение одной из линий всего творчества. Когда-то, много лет назад, в «Ранней весне» он подвел итог событиям буржуазно-демократической революции 1918 года («революции астр») и первых дней Венгерской Коммуны; затем, уже после Освобождения, вышел его автобиографический роман «Гунны в Париже», ярко запечатлевший полную борьбы и невзгод жизнь левой венгерской интеллигенции, эмигрировавшей в начале 20-х годов во Францию. Отсутствовала до сих пор лишь давно ожидаемая средняя часть трилогии — о периоде, последовавшем за поражением Венгерской советской республики. Запаздывало это произведение, очевидно, не случайно: чтобы отобразить с предельной художественной достоверностью основное содержание той эпохи, писателю потребовался опыт целой жизни. Оглядываясь сейчас на творчество Ийеша, можно, пожалуй, сказать, что многое из созданного им было своего рода прелюдией, подготовкой к тому главному, что хотел донести до нас Ийеш.

И все же «Пажи Беатриче» — не «роман à thèse» [1], а во всех смыслах подлинно реалистическое произведение с увлекательной сюжетной канвой. Однако роман ли это? Несомненно. Роман, написанный в современной манере, обозначающей новые пути в развитии этого жанра. То, о чем в нем повествуется,— не вымысел, не плод писательской фантазии. Читатель не найдет в этой книге становления характеров, в ней нет завязки и развязки. Это произведение кажется вызовом литературным канонам. Действие романа развивается по двум линиям: первая — это жизненный путь юноши (автора), включившегося после поражения революции в нелегальное рабочее движение, вторая — возникновение и осуществление замысла, цель которого — устроить побег из хортистской тюрьмы руководителя органов пропаганды Венгерской советской республики, которому грозит неминуемая смерть от рук палачей-контрреволюционеров. Но эти нити повествования постоянно обрываются автором, то и дело — чуть ли не в рамках одного абзаца — поворачивается писательская призма, и перед нами возникают новые лица и новые события, причем не в соответствии с обычной хронологической последовательностью, а совсем по иному принципу, по специфическим законам художественного вйдения, как требует того всестороннее освещение предмета или явления. Две эти линии беспрерывно пересекаются с двумя другими пластами повествования: сценами из широкого семейного окружения писателя — своеобразными картинами народной жизни и размышлениями Ийеша над событиями «большой истории», отечественной и мировой. Таким образом, в основе структуры романа — мастерское сочетание авторской рефлексии, построенной по методу ассоциативного монтажа, и эпически развивающейся сюжетной линии.

В иных произведениях современной лите-

[1] В нашем журнале печатались повесть «Обед в замке» — 1971, № 9, роман «В ладье Харона», 1977, № 5, 6.

[1] Роман, иллюстрирующий тезис.

ратуры подобные художественные построения становятся самоцелью, лишь средством создания «текста». Иначе у Ийеша! Избранная писателем форма выражения воплощает реальное содержание жизни, которая дерзко просвечивает сквозь конструкцию романа. Дюла Ийеш воссоздает в своем произведении судьбы и лица людей, несколькими штрихами умея передать своеобразие человеческих характеров. Он освещает причинную связь явлений, воспроизводит на страницах своей книги страстные дискуссии интеллектуалов, подводящие нас к решению сложных теоретических проблем. И в то же время перед нами встают яркие картины родных мест Ийеша, портреты обитателей задунайской пусты, колоритные фигуры многочисленных дядюшек, тетушек писателя, его родителей и друзей, а затем — уже в Будапеште — запоминающиеся лица руководителей и рядовых участников подпольного рабочего и молодежного движения, интеллигентов, рабочих Андялфелда, одного из типичных пролетарских районов венгерской столицы. Но не только это сумел запечатлеть Ийеш. Рембрандтовскими красками живописует он характерные фигуры и коллизии венгерской действительности послереволюционных лет: убогое существование сотен тысяч беженцев из оторгнутых у Венгрии территорий — голодных, обносившихся, бездомных людей, в суровую снежную зиму 1919—1920 годов искавших убежище в товарных вагонах и железнодорожных пакгаузах.

Всплывают на страницах романа и типичные обитатели пештского «дна»: уличные женщины, бродяги, разного рода ловкачи, наживающиеся на народной беде. И омерзительные лица карателей-контрреволюционеров. На фоне мрачной действительности снова и снова проступает, просвечивает Прекрасное — запечатлевшийся в душе писателя образ девушки, юной дочери железнодорожника,— его Беатриче. Она маняще улыбается, и тот, кто поклялся ей в верности, должен следовать за нею через всю жизнь...

В этом сложном, противоречивом мире живет, борется и действует подпольное движение. Его участники налаживают связи, оказывают помощь родным арестованных, мучительно анализируют уроки пролетарской революции и горький опыт поражения.

Создание в Венгрии в 1919 году Советской республики должно было, как верилось на протяжении четырех с половиной месяцев, коренным образом переменить судьбу рабочих и крестьян, всей венгерской нации. Взоры пролетарской республики были с надеждой обращены к востоку, где в рядах Красной Армии сражались сотни тысяч венгерских интернационалистов. Но они, так же как и конница Буденного, с боями продвигающаяся на запад, не успели тогда дойти до Венгрии. Советская Россия боролась против внутренней контрреволюции и иностранных интервентов, и войска ее не сумели прорваться к Венгрии, второй стране, поднявшей над миром красный стяг пролетарской революции. Страны Малой Антанты [1], поощряемые западными державами, окружили красную Венгрию карантинным поясом, отрезая от нее все большие территории, причем не только те, где в прежней Венгрии проживали национальные меньшинства, но и те, где жили миллионы венгерского населения.

Красная Армия Венгерской советской республики вела героическую борьбу против контрреволюционной интервенции. Солдаты Венгерской Коммуны сражались не за старые идеалы нации, не за восстановление прежнего национального статуса страны, а за освобождение венгерского пролетариата и пролетариата всех других стран. Верные своему интернациональному долгу, они способствовали провозглашению Словацкой советской республики.

В своем анализе исторических судеб венгерского народа Дюла Ийеш, с огромной симпатией изображая усилия, предпринимавшиеся венгерскими коммунистами во имя социального освобождения, не забывает и о тех фактах, которые в этот сложный период нарушали необходимое и возможное равновесие национальных и интернациональных интересов. Население городов и сел приветствовало вступающих в них бойцов Венгерской советской республики, вывешивая на домах красные и красно-бело-зеленые флаги. И что же? По приказу командиров национальные венгерские флаги приходилось убирать. А как могло случиться, что в роковые для Венгерской советской республики июльские дни на фронт против интервентов вместо рабочих полков посылали крестьян-новобранцев, часто не понимавших, зачем нужно им защищать землю, которую новая власть вопреки вековым чаяниям безземельного крестьянства сразу же национализировала. Эти и подобные ошибки привели к тому, что позднее контрреволюционный хортистский режим, выступая со своими реакционными и реваншистскими лозунгами, рядился в тогу защитника национальных интересов.

С горечью и суровой откровенностью пишет Ийеш о событиях, свидетельствовавших о противоречиях, характерных в то время для процесса социального и национального обновления. Потребовались годы, чтобы рабочее движение Венгрии теоретически обосновало и осуществило на практике подлинное единство двух этих начал. Ийеш повествует о собственной юности — юности коммуниста, о прошлом, о героической борьбе целого поколения за лучшее будущее. Его слова обращены к народам, сплотившимся в братском социалистическом содружестве,— ведь, говоря о прошлом, он имеет в виду и настоящее. Новый роман Дюлы Ийеша — живая история, воплощенная в художественном слове.

**ЛАСЛО ИЛЛЕШ**

г. Будапешт

[1] Блок буржуазных правительств Чехословакии, Румынии и Югославии, существовавший с 1920 по 1930 г.

## НА ВСЮ ЖИЗНЬ

**Giorgio Amendola. Un'isola. Milano, Rizzoli, 1980.**

**Джорджо Амендола. Остров. 1980.**

Восьмого июня 1980 года в Италии предстояли важные муниципальные выборы, и за несколько дней до этого один из лидеров Итальянской

коммунистической партии Джорджо Амендола, находившийся в клинике и знавший о том, что приближается его конец, принял сотрудника газеты «Унита» и продиктовал ему текст своего обращения к народу, короткого, энергичного, отчетливого. Амендола хотел во что бы то ни стало отправиться в свой избирательный участок, «чтобы не пропал ни один голос». Этот разговор произошел во вторник, а в пятницу ЦК ИКП с глубокой скорбью сообщил о кончине Амендолы, и вся демократическая печать писала о национальном трауре. И в эту же пятницу от разрыва сердца, словно по законам греческой трагедии, умерла Жермен, жена Амендолы. Их похоронили вместе, и это было трогательно и прекрасно.

Книга Джорджо Амендолы «Остров», которую, по точному замечанию одного итальянского критика, надо было бы назвать «Жермен», посвящена их совместной жизни — личной и политической. «Остров» — прямое продолжение первой автобиографической книги Амендолы «Жизненный выбор», опубликованной в 1976 году и ставшей литературным событием года. Сообщение ЦК о кончине Джорджо Амендолы «Унита» напечатала под заглавием «Жизненный выбор». Точнее сказать нельзя. Первый том автобиографии Джорджо заканчивается 1929 годом, когда старший сын философа и крупного государственного деятеля Джованни Амендолы, сражавшегося с режимом Муссолини почти что в одиночку, потому что он никогда не был связан с рабочим движением,— Джорджо — становится коммунистом.

Он навсегда сохранит громадное уважение к памяти отца, погибшего в результате избиений: чернорубашечники нападали на него несколько раз, и можно говорить о настоящем политическом убийстве. Но для самого себя сын делает другой выбор — на всю жизнь. Ему предстоит пережить подполье, аресты, ссылку, эмиграцию, он будет одним из руководителей движения Сопротивления. И всю жизнь он будет нежно и горячо любить Жермен, молодую француженку, с которой впервые встретится 14 июля 1931 года, во время традиционных празднеств в день взятия Бастилии, в одном из рабочих кварталов Парижа, и которая позднее приедет к нему в ссылку на остров Понца, чтобы навсегда связать с ним свою жизнь.

Джорджо Амендола был человеком острого ума и огромной воли. Все в Италии знали также, что он «очень хорошо пишет», но лишь после выхода в свет первого тома автобиографии стало очевидным, что этот крупный политик обладает также большим литературным талантом. Интересно сравнить первый и второй тома: они взаимосвязаны, но и в чем-то различны. Может быть, секрет различия надо искать именно в том, что вторая книга показывает нам уже не юношу, а возмужавшего и духовно сильного человека, исключительно цельного, словно созданного для большой политики и для большой любви. И если эти качества ума и сердца были заложены в нем природой, то, прочитав «Остров», можно уверенно сказать: они реализовались.

Поражает искренность Амендолы. Хорошо известно, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не отдавал дань ни моде, ни конъюнктурным соображениям, не боялся подвергнуться самой резкой критике, а такое в его жизни случалось много раз. Он был упрямым, убежденным, резким человеком, готовым на любые лишения и жертвы, на любые столкновения и споры, если был в чем-то глубоко убежден. В литературных произведениях Джорджо Амендолы именно эта бесстрашная искренность определяет его стиль. Идет ли речь о сложных общественно-политических проблемах, рассказывает ли автор непринужденно и просто о событиях своей личной жизни — он никогда не старается что-то затушевать, что-то приглушить, представить себя и свои поступки в наиболее привлекательном свете. Он пишет правду, и эта правда, в которой вы ни на секунду не можете усомниться, придает тексту убежденность, а также богатство тонов и оттенков.

«Он видит людей и города»,— писала о нем одна из итальянских газет. В книге «Остров» страницы, посвященные празднованию дня 14 июля рабочим Парижем, кажутся хрестоматийными, настолько ощущается атмосфера времени, настолько непосредственно, живо и просто воссоздана картина. Это лирические и радостные страницы, и кажется почти чудом, что через несколько десятилетий Амендола, уже обреченный и знавший о том, что он обречен, сумел духовно перенестись в Париж 1931 года и так ярко написать о нем.

Может быть, именно абсолютное отсутствие особых литературных ухищрений, психологизмов, «лирического монолога» как сознательно избранного изобразительного средства и создают стиль Джорджо Амендолы, такой насыщенный и своеобразный. Жизнь политического борца не может быть идиллией. Амендола был борцом, и его не миновали самые трудные испытания и невзгоды. Были большие сложности и трения также и в Париже, в общении с самыми близкими товарищами, а Амендола написал обо всем этом честно и сурово, не случайно его часто называли «моралистом». Работая над своей автобиографией, Амендола зачастую обращался к партийным архивам и находил там ценные документы, свои собственные доклады Центральному Комитету.

Особенно интересно описание визита Амендолы к Ромену Роллану, который жил тогда в Монтре и никого не принимал. Амендола написал Роллану, что он — сын Джованни Амендолы, и для него было сделано исключение. Он пишет, что очень боялся пережить то, что пережил Жан-Кристоф в прославленном романе Роллана: разочарование при встрече с почитаемым учителем. Этого не случилось: Роллан разговаривал с ним более трех часов с исключительной теплотой. Амендола попросил Роллана обратиться к итальянской интеллигенции с призывом активно бороться против фашизма. Роллан не отказался, но сказал, что ему надо поразмыслить. Амендола сообщил центру обо всем этом и просил послать к Роллану через некоторое время кого-нибудь другого, если с ним самим

что-либо произойдет: он направлялся в Италию.

Здесь произошло именно то, чего можно было опасаться: арест. Описание тюрьмы, а потом ссылки на остров Понца некоторым кажется слишком «натуралистическим»; думается, что это не литературный натурализм, а просто верность жестокой жизненной правде. Амендола ни в какой мере не идеализировал людей и их поведение, которое не всегда отвечало высоким этическим нормам. Но весь пафос его жизни и его книг — в борьбе за самые высокие идеи. Это не требует доказательств.

Когда в клинике за два дня до смерти Амендола говорил о том, что хочет, «чтобы не пропал ни один голос», он упомянул о том, что в здании избирательного участка ему придется «подняться на три ступеньки», и он попробовал сделать это в клинике — там ему это удалось. Образ «трех ступенек» приобретает эмблематический характер: всю жизнь Джорджо Амендола ничего не страшился и считал для себя категорическим моральным императивом завоевывать высоту. Этого требовали его убеждения и чувство собственного достоинства, которое не покидало его никогда. Он был физически, пока его не постигла роковая болезнь, «огромным», мощным человеком. Один из итальянских критиков в статье о книге «Остров» писал: порою казалось, что в Джорджо Амендоле всего «слишком много» — энергии, властности, полемического темперамента. Но любовь к Жермен и ее любовь к нему окрашивает эту книгу подлинной нежностью.

«Остров» хронологически доведен до момента, когда Амендоле удается опять уехать во Францию, куда после рождения их дочери отправилась Жермен. Многое еще предстояло пережить, и, кто знает, быть может, Джорджо Амендола продолжил бы свой автобиографический рассказ. Но будем благодарны за то, что увидели свет эти два тома, этот «роман воспитания» в лучшем смысле, какой можно вложить в слово «воспитание»: отсутствие всякой дидактики, правдивость, верность высшим идеалам.

**Ц. КИН**

## В ЛУЧАХ ВОЛЧЬЕГО СОЛНЦА

Когда в сентябре минувшего года скончался французский писатель Морис Женевуа, газета «Юманите» напечатала о нем прекрасную статью Андре Вюрмсера, начинавшуюся в центре первой и кончавшуюся на двенадцатой, последней странице. Этот невольный и вызванный чисто газетными необходимостями разрыв статьи, на мой взгляд, как-то по-своему подчеркивает, что не так просто уложить созданное Морисом Женевуа в заранее определенные рамки, всегда остается что-то такое, что будет вырываться за пределы места, ему отведенного. За год до этого с такими же трудностями «каталогизации» столкнулся ежемесячник «Лир», опубликовавший интервью с писателем. «Мы не имеем возможности привести названия всех пятидесяти книг, написанных Женевуа,— говорила редакция.— Мы ограничим свой выбор теми, которые необходимо прочесть в первую очередь и которые всегда на книжных прилавках». Этот перечень открывает роман «Раболио» [1], удостоенный Гонкуровской премии в 1925 году и выдержавший с тех пор бесчисленное количество переизданий, и завершает роман «Один день» [2], последняя книга Мориса Женевуа, написанная в 1976 году и после своего основного издания сразу же вошедшая в так называемые «карманные серии», самые широко читаемые во Франции. О чем эти книги, если остановиться только на двух упомянутых романах? Почему Андре Вюрмсер называет в своей статье Женевуа «...вечно живым, чьи произведения ставили проблемы, которые ставит перед нами и сегодняшний день, казалось бы, столь непохожий на прошлое?»

Морис Женевуа обладал замечательным талантом рассказчика, и хотя его романы своим моральным и философским содержанием выходят далеко за рамки подробно изложенных «случаев из жизни», составить себе представление о «Раболио», опустив или минуя сюжетную канву, невозможно.

Случай из жизни... Да, любители архивных изысканий могут перерыть газеты начала 20-х годов, выходившие в области Солонь, с надеждой найти упоминание о таком происшествии: скрывающийся в лесах от ареста браконьер, вернувшись в свой дом, убивает кованым острием кочерги жандарма, который явился, чтобы препроводить беглеца в тюрьму. Такой сценой заканчивается роман, с этого «документального» корня он мог начать расти. Думаю, однако, что хотя стычек между лесничими, жандармами и браконьерами в родных для писателя солонских лесах происходило немало, образ его Раболио — так зовут главного героя книги — пришел на страницы романа не из газетной хроники, а был выношен в глубинах души. Морис Женевуа, выносивший в своей душе убийцу? Не вступает ли это в кричащее противоречие с тем, что сказано у Вюрмсера: «Это был добрый человек... Быть добрым — это значит любить, быть полным любви, и всю свою долгую жизнь этот человек всеми силами любил жизнь, остававшимися как бы непочатыми до самого конца, что самое невероятное».

Но, может быть, Женевуа терпеть не мог жандармов? Да нет же. «Он любил лесников и жандармов»,— сказано несколькими строками ниже. Почему же так трагичен конец романа? Потому что этот роман — трагедия. В недавно вышедшей книге «Французская комедия» писатель Эрик Орсенна иронически восклицает: «Единственная возможность индивидуального приключения (авантюры), оставшаяся у европейцев,— это заболеть, не правда ли?»

Трагическая вина Раболио, вина, приводящая к трагедии, заключена в том, что в «непочатость» его сил вписан неистребимый поиск индивидуального приключения хотя бы в минимальной дозе, которая позволила бы уравновесить неизбежную будничность и запрограммированность существования.

[1] Maurice Genevoix. Raboliot.
[2] Maurice Genevoix. Un jour..

Герой Женеву́а — лесору́б, подрабатывающий также на полевых работах в поместье графа де Ремийере; заработки невелики, но все же их хватает, чтобы содержать семью, жену и троих ребятишек, тем более что и жена Раболио, кроткая и безответная Сандрин, служит приходящей домашней работницей в семье местного доктора.

Сандрин сводит концы с концами, но Раболио не удается этого сделать, в его душе есть что-то неукротимое, что гонит его иногда из дома туда, в ночной сумрак, на дышащие росой луга, на опушки леса, залитые «волчьим солнцем», поднявшейся над кронами дубов луною. Раболио браконьерствует во владениях графа, он сбывает свою ночную добычу владельцу таверны Трошю. Деньги, конечно, но не в них дело, охота — это страсть Раболио, есть в нем что-то от Калиныча, от Дерсу Узала, ибо герой книги не «охотится», он скорее играет с лесом в ту вечную игру, в которую играли и его предки. Но лес принадлежит графу.

Ночью преследующий Раболио жандарм Буррель врывается в таверну. Прошмыгнувший у него между ног и спрятавшийся на чердаке браконьер следит за сценой, разыгравшейся между жандармом и трактирщиком. Она врезается в его память: «Как он кричал: «Кто это? Я хочу знать. Ты будешь говорить, свинья, или я тебе разобью морду... Я жандарм, ты понимаешь! За мной суды, может быть, тюрьма, тюрьма, запор, засов, ты понимаешь, жаба несчастная!» Он чувствовал все это за собой: судей, законы, всю эту силу, которая одновременно поддерживала его и командовала им...»

В этой сцене мы ощущаем первое дыхание предстоящей трагедии. Жандарм, служитель закона, слуга правосудия. Древние греки изображали свою Фемиду с повязкой на глазах — как знак ее беспристрастности, когда же она изображалась без повязки, то взгляд у нее был строгим, но не свирепым, на лице у нее лежал отпечаток грусти и достоинства.

Дверь в таверну была открыта на приказ: «Именем Закона». Закон перешагнул порог в обличии разгневанного человека, чей гнев превратился в ярость от сознания, что «преступнику» удалось улизнуть. Трагедия развернется из столкновения двух «преступлений»: неспособности Раболио отказаться от совершаемых им правонарушений и неспособности Буррела быть представителем закона, а не выступать в его обличии, наделяя закон всеми страстями охотника, разгоряченного охотой за человеком. Коллизия, отнюдь не отошедшая в прошлое. Цитирую газетную вырезку, сделанную совсем недавно: «Последнее время порох в Жиронде начинает говорить слишком часто. Он говорит даже излишне много, если учесть, что в течение нескольких дней жандармы этого департамента убили душевнобольного, запершегося в своей хижине, стреляли по пьяному подростку и застрелили автомобилиста, единственным преступлением которого было превышение норм скорости».

Предощущение трагедии пронизывает нас на тех страницах романа, где перед героем еще не закрыт выбор: отдать себя в руки правосудия или продолжать играть роль этакого Робин Гуда, которым до поры до времени любуются все в окрестности. Затравленный и измученный, истосковавшийся по жене и детям, три месяца скрывающийся в лесах, без крова над головой, почти раздавленный взятой им на себя ролью «отверженного», Раболио готов «сдаться», и в этот момент в лесу ему передают письмо от Сандрин, в котором жена отрекается от него и просит Раболио навсегда ее покинуть, уйти из родных мест, где он покрыл себя и свою семью позором.

На заключительных страницах романа герой книги из уст торжествующего Буррела узнает, что это письмо было написано если не под диктовку, то по наущению жандарма. «Вот уже три месяца, как я это задумал, как я это готовил, час за часом... Твой дом, твоя жена, твои дети... О, я тебя хорошо знал. Пусть тебе скажут — «убирайся», и ты тотчас же явишься, и пусть тебе это скажет твоя жена, и ты помчишься напролом, не видя ничего перед собой, как слепой идиот. И вот ты здесь, и я тоже».

«О, я тебя хорошо знал!..» Нет, Буррель плохо знал Раболио, даже и в наручниках Раболио сумел бы своими оковами проломить жандарму череп за такое издевательство над повинной головой. Наручники наденут на героя минутой позже. Он протянет свои руки, когда в дом войдут два других полицейских. Буррель, которому не терпелось затянуть расставленный им силок и отпраздновать свою победу, опередил их, примчавшись на велосипеде, примчавшись, если повторить его же слова, «...напролом, не видя ничего перед собой, как слепой идиот».

Насыщенная страстями книга Женеву́а, подобно трагедиям Корнеля и Расина, обращена к разуму и, подобно этим же трагедиям, содержит в себе неисчерпаемое количество возможных прочтений.

«Никто не станет,— говорит Морис Женеву́а,— или, вернее, не останется поэтом, каков бы ни был избранный им способ выражения, если он не сумеет сохранить в себе некоторые дары своего детства».

Думая о Раболио, не надо забывать этих слов, ибо Раболио — поэт, влюбленный в лесные дебри, его браконьерство — это и собираемая и источаемая им поэзия, чтобы проникнуться ею, достаточно перечитать сцены его ночных вылазок... «Все его жесты были плавны, приподнимался ли он для того, чтобы лучше видеть, или нагибался, чтобы поставить силок, гибкая гармония, никогда не нарушаемая, вела его по лесу. Наверно, когда-нибудь Раболио учился расставлять силки, но он не помнил когда: он умел это делать, вот и все, он умел это делать от рожденья. Есть браконьеры трудолюбивые, кропотливые, обсуждающие между собой, как подвесить силок, какого диаметра должны быть петли, на какой высоте они должны висеть... Раболио не задает себе никаких вопросов, он идет по лесу, отрывает шерстяную нить от мотка, который становится все меньше и меньше, сгибает колено, что-то делает пальцами, наклоняется, разгибается и идет дальше». И хотя в наш экологический век мы все скорее на стороне кроликов и зайцев, которых

ловит охотник, мы прощаем ему все за этот артистизм, за эти слитность с тайнами леса, он в чем-то подобен ветру, который не нарушает гармонии сада тем, что под его порывами несколько яблок падают на землю. Конечно, мятежному лесорубу неведомы строки бодлеровского «Альбатроса», стихотворения, в котором моряки посмеиваются над птицей, с трудом ковыляющей по палубе, матросы как-то не замечают того, что... «размах гигантских крыл препятствует ходьбе». Герой романа не знает этих стихов, но они, так же как его «ночные искусства», как бы вписаны в его мятежную душу.

И когда думаешь обо всем этом, схватка «Раболио — Буррель» обретает другой характер, герои книги предстают в качестве олицетворения каких-то извечных начал в человеческой природе, а безмолвная песня леса на страницах романа ощущается как хор в древнегреческой трагедии, как символ немоты, на которую обрекает себя Раболио, зная, что никто не поймет терзающих его душу страстей.

В романе Мориса Женевуа разноплановые смыслы и значения переплетаются, как тропинки в лесной чаще, иногда хорошо протоптанные, иногда еле заметные, и когда пытаешься рассказать об этой книге, ощущаешь давящую на плечи емкость слов, сказанных французским литературоведом Андре Греаном: «О литературном произведении все произносится как бы за один прием тем, кто берет на себя миссию интерпретировать, и таким образом долгий процесс созидания мыслей вовсе не дает о себе знать, хотя только этот процесс позволил прийти к излагаемым выводам».

Прекрасно отдавая себе в этом отчет и понимая к тому же, что я веду речь о книге, неизвестной читателю, я стремился не делиться своими выводами о романе «Раболио», а, скорее, набросать какие-то вводы в этот роман.

На обложке книги, лежащей передо мной, под заглавием «Раболио» написано — Морис Женевуа, член Французской Академии. Это и верно и не верно, в том смысле, что членом Академии писатель стал много лет спустя после того, как было создано это произведение. Традиция повелевает, чтобы французский академик имел шпагу, покупаемую на деньги, собранные по подписке. Ее обычно с рукоятью, отделанной драгоценными камнями, преподносят друзья в день избрания в Академию. Я плохо себе представляю Мориса Женевуа в академической форме и при шпаге. Но я хорошо его вижу шагающим по солонскому лесу с удочками или ружьем. Он любил охоту и рыбную ловлю. Но по-своему. Свой главный улов — то, что попадалось на цепкий крючок памяти,— он выгружал на письменный стол и разбирался в «пойманном» с неторопливой легкостью, которая дается от рождения.

Лесные странствия писателя к концу его жизни не были, однако, проникнуты такими — порой даже несколько идиллическими — настроениями, как в его первых книгах. Последний роман Мориса Женевуа «Один день», вышедший в 1976 году, критика назвала «романом-событием и романом-предупреждением». О чем предупреждает автор своих соотечественников в этой книге? О том, что над лесами, полями и реками Франции встает иное, поистине беспощадное волчье солнце, лучи которого имеют отсвет доллара. В восторженный гимн французской природе — повествование ведется здесь от имени самого писателя — врезывается тревожная нота. Во время прогулки по лесу автор вместе со своим другом (лирическим героем книги, представляющей собой своеобразную исповедь) выходят на участок, где вырублена и уже почти выкорчевана большая сосновая роща. Выясняется, что это место продано и здесь западногерманская компания, являющаяся филиалом треста, центр которого находится в США,— собирается строить химический комбинат, используя протекающую рядом Луару для стока отбросов своего производства. «Ну что же,— иронически и сдержанным гневом говорит герой «Одного дня»,— разрешим заатлантическим и зарейнским капиталистам сбрасывать свои мерзости в Луару. Неплохо рассчитано, потребуется лишь провести сточные трубы, сам коллектор не будет им стоить ни сантима. Он только и ждал их прихода».

Луара — коллектор... Впервые, пожалуй, во французском романе прославленная река черточкой соединяется со столь техническим термином, и, может быть, также впервые сказано столь четко, волки какой породы начинают хозяйничать, прикрываясь «мультинациональным» обличием, на французской земле.

Книга завершается описанием поднявшейся через семнадцать лет в другом месте молодой сосновой рощи, посаженной как ответ и в знак протеста против действий «новоявленных браконьеров». Если бы писатель выбирал эпиграф для последней главы «Одного дня», он мог бы поставить пушкинские слова: «Здравствуй, племя младое, незнакомое...» подобно тому, как он и поставил ко всему роману эпиграфом цитату из «Подростка» Достоевского: «— А что же такое живая жизнь, по-вашему?..

— Тоже не знаю, князь; знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтоб оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая».

Эта мысль Достоевского, думается мне, прочно проникла в сознание писателя тогда, когда он еще сам был подростком. Не как формула, а как образ мышления она наполняет своим светом все его творчество — при этом лишь оттеняя, вернее сказать, высвечивая все своеобразные и неповторимые черты творческого облика автора «Раболио».

Книги Мориса Женевуа будут жить долго, ибо они помогают замечать и узнавать многое из того, что делает жизнь прекрасной.

**НИКИТА РАЗГОВОРОВ**

◆

# Из месяца в месяц

## БОЛГАРИЯ

Фильм «Иллюзия» режиссера Людмила Стайкова, созданный по сценарию Константина Павлова (см. «ИЛ», 1981, № 2), по мнению кинокритика Кристины Стояновой,— «безусловный шаг вперед, завоевание режиссером новой творческой аудитории». Фильм повествует о судьбе художника. «Драматургия Константина Павлова дала мне,— говорит Людмил Стайков,— возможность показать, что художник, как и всякий другой человек, должен сделать свой выбор. Нет художника, творца вообще, как нет вообще человека... Никто, а тем более художник, не может остаться в стороне от судьбы народа».
На снимке: Зузана Копурикова и Любен Чаталов в фильме «Иллюзия».

*(Еженедельник «Култура»)*

## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### СНОВА — ДЖЕЙН ОСТИН

**Несколько лет назад ценителей творчества Джейн Остин ожидал сюрприз: был обнаружен ранее неизвестный роман писательницы «Сэндитон». Казалось, что больше неожиданностей не будет. Однако, благодаря усилиям литературоведа Брайана Саутема, проделавшего огромную текстологическую работу, к наследию Джейн Остин прибавилось еще одно произведение — пьеса «Сэр Чарльз Грандисон».**

**Нельзя сказать, чтобы специалисты ничего не знали об этой пьесе до 1981 года. В семье Джейн Остин хранилось предание, по которому считалось, что эта вещь была написана Анной Лефрой, дочерью старшего брата Джейн Остин. Простое внимание к фактам дало возможность Брайану Саутему доказать, что вряд ли Анна Лефрой была автором этой пьесы. В 1800 году, когда было создано это произведение, ей было лишь восемь лет и она никак не могла похвастаться превосходным знанием огромного по размеру — семитомного романа С. Ричардсона «История сэра Грандисона», который весьма искусно пародируется в пьесе. Пристальный анализ тéкста, почерка, наконец, даже фактуры бумаги, на которой написана пьеса, — все это позволило Брайану Саутему оспаривать авторство Анны Лефрой.**

**Нельзя сказать, пишет рецензент литературного приложения к «Таймс» Пэт Роджерс, посвятившая обстоятельную статью этой литературной находке, чтобы это произведение отличали особые литературные достоинства. «Сэра Чарльза Грандисона», — замечает она,— даже не назовешь небольшим шедевром Джейн Остин». И все же пьеса в двадцать страниц стала поистине литературной сенсацией.**

**В предисловии к публикации Дэвид Сесил объясняет причины столь пристального внимания к наследию Джейн Остин. Хотя ее творческая карьера была недолгой, Дж. Остин в истории английской литературы оказала большое влияние на развитие английского классического романа. А искусство писательницы с каждым годом получает все новых и новых приверженцев, ценящих ее иронию, точность психологического рисунка, изящество стиля.**

## ВЕНГРИЯ

### ВСТРЕЧАЯ ЮБИЛЕЙ

Советским читателям хорошо известно творчество венгерского прозаика Булчу Берты, которому в этом году исполняется пятьдесят

лет. У нас в стране неоднократно издавались его произведения.

Недавно вышли две книги писателя: сборник избранной публицистики «Над могилой владыки» и сборник избранных новелл «Такова вся твоя жизнь» в издательстве «Сепиродалми».

Известный критик Пал Фехер пишет в газете: «Берта никогда не создает книг, которые могут оставить читателя равнодушным, об этом свидетельствует двадцатилетняя успешная работа писателя в литературе». Главное в его успехе, считает Фехер, — это активная жизненная позиция, его писательская страстность. «Булчу Берта — социалистический писатель, его перо служит делу социализма, это подтверждают и две последние книжки Берты», — подчеркивает Фехер.

Критик называет их отчетом, исповедью и одновременно панорамой жизни Венгрии последних двадцати пяти лет. Герои его новелл и очерков — люди действия, и автор как бы говорит, обращаясь к читателю: давайте вместе с ними будем делать все, чтобы жизнь наша шла вперед, чтобы мы были связаны неприятием пассивности, желанием поддерживать в каждом стремление быть полезным стране.

Он пишет о Задунайском крае, о проблемах городов и столицы, о природе (у него есть великолепные пейзажные зарисовки). Но о чем бы ни писал Берта, все его произведения — это, собственно говоря, диалог с читателем об ответственности.

Если статья Фехера была посвящена в основном сборнику избранной публицистики Булчу Берты «Над могилой владыки», то рецензия Э. Такснера-Тот на страницах газеты «Мадьяр немзет» — сборнику новелл «Такова вся твоя жизнь».

Отличительной особенностью рассказов Берты рецензент считает умение автора соединять действительность и романтический вымысел.

Но большая часть произведений Булчу Берты, отмечает рецензент, зиждется на описании повседневных событий. В этих рассказах Берта выступает мастером показа характерного, типического и одновременно в чем-то необыкновенного. Булчу Берту по праву называют поэтом в прозе, и именно это отличительное свойство его творчества является истоком популярности писателя.

Может ли телевизионный спектакль донести до зрителя все художественное своеобразие литературного произведения?— с таким вопросом обратился корреспондент журнала «Уй тюкор» к заведующему драматическим отделом венгерского телевидения Тамашу Лискаи.

Отвечая на вопрос корреспондента, Лискаи отметил, что в течение уже многих лет венгерские зрители регулярно знакомятся с драматургией мировой и венгерской классики, а также с пьесами современных авторов, воспроизводимыми на голубом экране.

«Сложнее,— говорит Тамаш Лискаи,— обстоит дело с прозаическими произведениями. Инсценировка их не всегда удается, тем не менее писатели идут нам навстречу и сами создают телевизионные варианты. Так удалось представить зрителям произведения Эржебет Галгоци, Эндре Веси, Иштвана Чурки.

На снимке: кадр из телевизионного фильма по роману Тибора Череша «Черная роза». Этот роман вышел несколько лет назад на русском языке в издательстве «Прогресс» в сборнике «Современный венгерский детектив».

*(Журнал «Уй тюкор»)*

---

ГДР

## КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ КРИТИКИ

В издательстве Академии Наук ГДР вышел совместный труд двух ученых — профессора Лейпцигского университета Э. Хексельшнайдера и старшего научного сотрудника ИМЛИ им. Горького В. Борщукова — «Советская литература в буржуазном освещении. Критика критики». Э. Хексельшнайдер и В. Борщуков оперируют новым материалом: предмет их исследования — изучение и оценка советской литературы в странах капиталистического Запада (преимущественно в ФРГ) в течение 70-х годов. Оба автора, основываясь на фактах, опровергают мифы и легенды, которые реакционное литературоведение (иногда при содействии ультралевой публицистики) создает вокруг ведущих советских писателей, вокруг советской литературы в целом.

Во введении к книге приводятся любопытные цифры. В США и Канаде за период с 1960 по 1972 год защищено 1800 диссертаций о России и Советском Союзе — в семь раз больше, чем за предшествующие три четверти столетия; причем из этого общего количества 40 процентов диссертаций написаны на темы литературы и языка. Уже эти данные свидетельствуют, насколько интенсивно работают заокеанские сове-

тологи именно в литературной области: «советская литература — важное поле идеологического противоборства». Это противоборство непосредственно сказывается — как демонстрируют, с привлечением большого материала, Э. Хексельшнайдер и В. Борщуков — и в славистике западноевропейских капиталистических стран. Авторы развертывают свою «критику критики», располагая материал по проблемно-тематическому принципу. Во вступительной главе «Несовместимость позиций» они дают общую характеристику процессов идейной борьбы вокруг советской литературы в условиях современного западного мира. Далее следуют главы «Революция и литература», «Партия и писатель», «Творческий метод советской литературы», «Идеализация «золотых двадцатых годов», «Война и литература», «Многонациональное единство», «Борьба вокруг Шолохова». По каждой из названных конкретных проблем авторы ведут — живо, темпераментно и на серьезном научном уровне — полемику с «концепциями» современных советологов.

Содержание книги вместе с тем не сводится к полемике. Авторы внимательно подмечают прогрессивные тенденции в западном литературоведении, противостоящие буржуазной советологии. Приводя суждения отдельных, наиболее добросовестных и прозорливых западных критиков, Э. Хексельшнайдер и В. Борщуков показывают, что даже и в сложных условиях современного капиталистического мира изучение и интерпретация советской литературы отнюдь не находятся в монопольном владении антисоветчиков.

### НА ЭКРАНЕ — РОМАН АЛЬФРЕДА ВЕЛЬМА

Новый фильм студии ДЕФА «Пуговица» создан по известному роману Альфреда Вельма «Пуговица, или Серебряные часы» (см. «ИЛ», 1975, № 9).

В своем романе Вельм рассказал историю Генриха Хабермана — мальчика, которого война лишила родителей. Генрих находит пристанище у старого рыбака Комарека, а после победы над фашистской Германией его опекают советские солдаты. В конце концов мальчика берут на воспитание в семью. В фильме, как и в книге, на примере судьбы мальчика показан трудный период истории — конец войны и начало послевоенной жизни. «Так же, как роман Вельма, фильм рассказывает о дружбе между людьми, о гуманизме и интернационализме», — пишет Хорст Кницш в газете «Нойес Дойчланд».

«Пуговица» — режиссерский дебют Юргена Брауэра, известного кинооператора. Рецензенты считают первую режиссерскую работу Брауэра весьма удачной. «Брауэр сумел сохранить поэтичность и некоторую сказочность, свойственную роману Вельма, — пишет Хорст Кницш. — Немало способствует общему настрою фильма и музыка Гюнтера Фишера. Настоящей находкой надо считать исполнение Акселем Гризау роли Генриха Хабермана».

На снимке: Аксель Гризау, Виола Швайцер и Йёрг Панкнин в фильме «Пуговица».

*(Газета «Нойес Дойчланд»)*

## ЕГИПЕТ

### ПРОТИВ «КУЛЬТУРНОЙ НОРМАЛИЗАЦИИ» ПО КЭМП-ДЭВИДСКОМУ ОБРАЗЦУ

После подписания кэмп-дэвидских соглашений египетское правительство активно проводит курс на «нормализацию» отношений с Израилем во всех областях, в том числе и в области культуры. Эта политика встречает, однако, все растущее противодействие со стороны интеллигенции и широких народных масс Египта.

Как сообщает бейрутский журнал «Аль-Хадаф», жители египетской столицы активно выступили против участия Израиля в Международной книжной ярмарке, которая проводилась недавно в Каире. Молодые египтяне в национальных палестинских головных уборах — куфиях и с палестинскими флажками в руках устроили демонстрацию около израильского павильона на ярмарке в присутствии посла Израиля в Египте генерала Бен Элиезера и заставили организаторов выставки снять израильский флаг. После этого власти были вынуждены перевести израильский павильон в другое, более «безопасное» место, окружив его большими нарядами полиции. Однако, несмотря на это, демонстрации египетской и палестинской молодежи не прекратились.

К демонстрантам присоединилась группа прогрессивных египетских писателей и журналистов. Они стали раздавать среди посетителей книжной ярмар-

Египетский фильм «Батынийя» (сценарий Исмаила Вали ад-Дина, режиссер Хусам ад-Дин Мустафа), демонстрировавшийся недавно на экранах Египта, Ливана и некоторых других арабских стран, стал рекордным по количеству зрителей.
Батынийя — это квартал в Каире, снискавший печальную славу процветающей там торговлей наркотиками, «белой смертью».
Как отмечает ливанский еженедельник «Аль-Хуррийя», хотя фильм и построен по рецептам коммерческого кинематографа с присущими ему мелодраматизмом и назидательностью, он тем не менее затрагивает острые проблемы современной действительности Египта.
На снимке: сцена из фильма «Батынийя», в которой заняты популярные египетские актеры Надия аль-Гинди и Фарид Шауки.

*(Еженедельник «Аль-Хуррийя»)*

ки палестинские флаги и листовки, призывающие бойкотировать израильский павильон. Не смущаясь присутствием многочисленной публики, агенты службы безопасности произвели аресты среди демонстрантов. Среди арестованных — левый египетский политический деятель и журналист, член национально-прогрессивной юнионистской партии Хильми Шаарави и видный писатель, главный редактор журнала «Ас-Сакафа альмисрийя» («Египетская культура») Салах Иса.

Как пишет журнал «Аль-Хадаф», выступления египетской интеллигенции «бросают вызов всеобщей атмосфере подавления и разоблачают истинный смысл так называемой «культурной нормализации». Они связаны с растущей общей оппозицией капитулянтской политике египетского режима и способствуют пробуждению сознания и мобилизации на борьбу народных масс Египта.

## ИНДИЯ

### ПОДВОДЯ ИТОГИ

Индийская пресса оживленно комментирует решение Сахитья Акадми (Литературной Академии Индии) о присуждении премий за лучшие произведения, вышедшие в свет за последние три года. Премии Академии удостоены 19 произведений различных жанров, которые были созданы почти на всех основных языках Индии. Премия, в частности, присуждена известному критику и литературоведу Ансари за исследование поэзии Икбала — корифея литературы урду. Основную же массу новых лауреатов Литературной Академии составляют те, что тяготеют к объемным жанрам — повести и роману. Среди лауреатов — тамильский романист Каннадасан, удостоенный премии за роман «Президент», и бенгальский прозаик Шомореш Бошу — автор романа «Самбха».

Наибольшее же внимание читающей публики привлекла эпопея «Сказ о жизни» известной писательницы хинди Кришны Собти, дебют которой в литературе относится к середине 50-х годов. Первая часть эпопеи, озаглавленная «Живое древо», удостоена премии Литературной Академии.

«Живое древо» повествует о жизни панджабской деревни в годы, предшествующие первой мировой войне. Неторопливо движется жизнь в деревне, но за этой неторопливостью уже ощущаются еле заметные толчки. «Красной нитью проходит через роман мысль о свободе, — пишет рецензент, — свободе как осознанной необходимости и зарождении первого, пусть робкого, призыва к ее достижению».

Писательница работает над второй частью эпопеи, которой она намерена дать название «Да здравствует революция!». Вторая часть охватит события с конца первой мировой войны и до завоевания Индией независимости.

### СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ МРИНАЛА СЕНА

Достижения современного индийского кино во многом связаны с именем выдающегося постановщика и режиссера Мринала Сена. Фильмы, поставленные им, составили целую эпоху в истории индийского кинематографа. Многие из них были удостоены высших наград на международных кинофестивалях, проходивших в Венеции, Канне, Берлине, Карловых Варах.

Как сообщает газета «Джан юг», в связи с двадцатипятилетним «серебряным юбилеем» деятельности Мринала Сена в Дели организован ретроспективный показ наиболее известных фильмов режиссера, созданных им как на своем родном — бенгали, так и на других индийских языках: хинди, ория, телугу.

В статье, озаглавленной «Реалистическое изображение жизни в фильмах Мринала Сена», рецензент га-

зеты «Джан юг» анализирует фильмы, которые увидит делийский зритель: «Мринал Сен принадлежит к числу тех выдающихся деятелей индийского кино, для которых реализм является основным принципом их искусства. В его фильмах нашли яркое и глубоко эмоциональное отражение невзгоды и страдания простого человека, его горе и радости, надежды и устремления». Причину выдающихся успехов режиссера рецензент видит не только в его творческих поисках, но и прежде всего в том, что он неизменно оставался верен принципам реалистического отображения жизни.

Особое место в статье отводится последнему фильму Мринала Сена — «В поисках голода», созданному в 1980 году и посвященному трагическим событиям 1943 года, когда страшный голод, охвативший Бенгалию, унес свыше пяти миллионов жизней.

«Как и многие предшествующие фильмы Мринала Сена,— пишет рецензент,— новая картина режиссера оставляет неизгладимое впечатление мастерством изображения и силой жизненной правды».

На снимке: Смита Патил в фильме «В поисках голода».

*(Газета «Джан юг»)*

## ИСПАНИЯ

### ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Крупнейшая литературная премия испаноязычного мира «Мигель Сервантес» за 1980 год присуждена живущему в Испании в эмиграции уругвайскому писателю Хуану Карлосу Онетти. Его произведения широко известны во многих странах мира, в том числе и у нас. В прошлом году после долгого молчания писатель опубликовал новый роман «Пусть говорит ветер» («ИЛ», 1980, № 9).

Национальную премию по литературе за 1980 год в области прозы получил Алонсо Самора Висенте, член Испанской королевской академии литературы и языка, и поэт Карлос Саагун за сборник «Первое и последнее ремесло».

Как всегда, особенно широко пресса комментирует очередную премию «Планета». На сей раз ею отмечен роман живущего в эмиграции уругвайского писателя Антонио Ларреты «Они взлетели». До сих пор автор был известен главным образом как драматург и театральный критик. Его перу принадлежит ряд пьес, одна из которых, «Хуан Палмьера», получила премию «Каса де лас Америкас» в 1972 г. Заглавием роману послужила подпись под одним из офортов Гойи из серии «Капричос». В центре романа — события, связанные со смертью герцогини Альбы в 1802 году. Она умерла после устроенного ею ужина, на котором среди гостей присутствовали королева Мария-Луиза, принц Фердинанд, всесильный вельможа Годой, его жена и Гойя. По наиболее распространенной версии (точную причину смерти установить не удалось), герцогиня покончила с собой, приняв яд. Однако в романе А. Ларреты рассматривается и версия политического убийства.

Рецензируя роман «Они взлетели», критик газеты «Эль паис» отмечает, что его автору «при реконструкции прошлого удалось сочетать игру воображения с документальной точностью, когда речь идет о фактах», он особо подчеркивает «блестящую технику и художественное чутье» уругвайского писателя. Журнал «Нуэва эстафета» отмечает как одно из основных достоинств романа Антонио Ларреты то, что писатель сумел возродить литературный стиль эпохи, о которой рассказано в произведении.

## ИТАЛИЯ

### КНИГА ГОДА

Газета «Паэзе сера» обратилась к ряду известных деятелей науки, культуры, к писателям, общественным деятелям с просьбой назвать лучшие книги, выпущенные итальянскими издательствами в 1980 году. Наибольшее число голосов собрали «Остров» Джорджо Амендолы и роман Франчески Санвитале «Мать и дочь», вышедший в издательстве «Эйнауди».

Это второй роман уже немолодой писательницы.

На снимке: Санвитале Франческа.

*(Газета «Паэзе сера»)*

Роман получил высокую оценку в прессе, удостоен литературной премии, «но суждения читателей, выступления в «Паэзе сера» по поводу моей книги, — говорит автор, — гораздо важнее литературной премии». «Книгу года» составили «простые, каждодневные факты на грани банальности» (по выражению журнала «Леттуре») из жизни двух женщин с нелегкой судьбой: Марианны и ее «незаконнорожденной» дочери Сони.

Рецензенты отмечают в романе Санвитале тонкое психологическое мастерство в изображении взаимоотношений двух героинь, в воссоздании их сложного внутреннего мира. Глубоко гуманистическое в своей основе, это произведение, по мнению критики, лишено слезливой сентиментальности. История двух женщин разворачивается на фоне драматических событий, она начинается в 30-е годы и доведена до наших дней. «За их плечами и в них самих, — заявила писательница в интервью корреспонденту газеты «Паэзе сера», — мелкобуржуазная Италия тех лет, которая во многом сохранилась и по сей день, с ее сомнительными моральными нормами, фальшивыми идеалами, фальшивыми принципами, ложью и невежеством».

В судьбе героинь слышатся отзвуки второй мировой войны, трудных послевоенных лет. Внутренняя тревога, вечный страх становятся чуть ли не главным в их существовании. Однако тревога эта, этот страх преодолеваются поступательным движением жизни. «Книгой непрерывных преодолений» называет свой роман Франческа Санвитале.

## КУБА

### СЕЛИИ САНЧЕС ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Звучит с экрана голос Селии Санчес, прерываемый паузами... С волнением вспоминает она о событиях, побудивших ее стать революционеркой. Всего несколько минут заняли эти кадры, однако Сантьяго Альварес («ИЛ», 1979, № 8) с присущим ему мастерством кинодокументалиста запечатлел в них главное — неповторимый образ этой удивительной женщины, чья жизнь вошла яркой страницей в историю кубинской революции», — писал кинокритик Карлос Галиано в опубликованной в газете «Гранма» рецензии на новый фильм Сантьяго Альвареса «Селия—дочь народа».

В основе сценария — ранее неизвестное интервью С. Санчес кинорежиссеру в связи с юбилейной датой высадки на Кубе в 1956 году отряда революционеров во главе с Фиделем Кастро. Селия, в то время член подпольной организации «Движение 26 июля» в провинции Ориенте, принимала активное участие в подготовке и осуществлении этой операции, ныне ставшей памятной исторической вехой.

Кинолента воскрешает разные периоды ее многогранной деятельности. Зритель видит ее в горах Сьерра-Маэстра: дочь врача, известного своим демократизмом, была первой женщиной в партизанском отряде Фиделя Кастро, затем она стала бойцом легендарной Повстанческой армии и секретарем Фиделя. После победы революции 1959 года Селия работала одним из руководителей кампании по ликвидации неграмотности в стране. Ее избрали членом ЦК Коммунистической партии, позже — депутатом Национальной ассамблеи народной власти. В последние годы жизни она занимала пост секретаря Государственного совета Кубы.

«Всего 20 минут экранного времени занял кинорасказ о Селии Санчес, но он,— отмечает К. Галиано, — оставляет неизгладимое впечатление от

На снимке: кадр из фильма «Селия — дочь народа».

*(Газета «Гранма»)*

встречи с прекрасным человеком, чья жизнь, прошедшая в самоотверженном служении делу революции, ныне является примером для кубинской молодежи».

## МОНГОЛИЯ

### В ЧЕСТЬ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

В честь празднования 60-летия народной революции в стране проводился фестиваль искусств, который широко освещался в печати. Так, например, газета «Утга зохиол урлаг» и газета «Унэн» посвятили целые полосы изобразительному искусству и театру Монголии. На страницах газет выступили ведущие деятели культуры и искусства страны—председатель правления Союза художников МНР Н. Цултэм, председатель Федерации работников искусств МНР Э. Оюун, известные художники, композиторы, писатели.

Рассказывая о деятельности Союза художников, Цултэм отмечает, что весомый вклад в развитие современного изобразительного искусства вложили такие мастера, как родоначальник новой живописи, автор первых плакатов и первого портрета Ленина Б. Шарав, портретист У. Ядамсурэн, мастер станковой живописи О. Цэвэгжав, основоположники целого направления в монгольском искусстве — создатели театральной графики и декораций Л. Гаваа и Л. Намхайцэрэн, скульптор С. Чоймбол и другие.

В обзорной статье об историческом развитии театра известный критик, драматург, переводчик Э. Оюун рассказала о становлении революционного монгольского театра в 30-е годы.

Некоторые факты из истории развития социалистической культуры Монголии за 60 лет привел в своей статье министр культуры МНР Д. Цэвэгмид. В частности, он отметил, что в последнее время достойное место в репертуарах монгольских театров заняли произведения мировой классики.

Сейчас в Монголии ежегодно выпускается около 600 наименований книг тиражом более 5 млн., в стране выходит более 70 газет и журналов тиражом более 1,5 млн.

В честь великой даты столичные театры подготовили 10 новых драматических и музыкальных спектаклей; цирк, концертные организации — 14 новых программ, студия «Монголкино» — 7 художественных и 70 документальных фильмов. Во дворце культуры каждого аймака шли спектакли и концертные представления.

## ПОЛЬША

### «ВСЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЭЗИЕЙ»

По сообщению газеты «Трибуна люду», в издательстве «Чительник» продолжают выходить очередные тома Полного собрания сочинений выдающегося польского классика Ярослава Ивашкевича. Читатели получили четвертый, пятый и шестой тома, включающие наряду с другими произведениями хорошо известные русскому читателю «Лето в Ноане», «Любовники из Мароны», «Свадьба господина Бальзака». В последующие тома, которые должны выйти в текущем году, войдут «Музыкальные письма», «Встреча с Шимановским», «Шимановский и литература», «Иоганн Себастьян Бах», «Шопен», а также «Путешествия», включающие в себя «Письма из поездки в Южную Америку», «Книга о Сицилии», «Гнездо лебедей», «Петербург».

«Все является поэзией, даже воспоминания», — сказал Ярослав Ивашкевич за два года до своей кончины. И, обращаясь к огромному наследию писателя, пишет рецензент, мы не можем не удивляться широте его творческого диапазона: «Все, что он написал, гармонически связано между собой, потому что было создано одной и той же рукой, одним сердцем, все является поэзией...»

Трилогия Ярослава Ивашкевича «Хвала и слава» занимает центральное место в прозе автора и пользуется неизменным успехом у читателей.

В театре города Быдгощ поставлен спектакль по этой трилогии.

На снимке: сцена из спектакля.

*(Журнал «Театр»)*

На снимке: сцена из спектакля «Мастер и Маргарита». В главных ролях — Штефан Иордаке и Валерия Сечу.

*(Еженедельник «Контемпоранул»)*

## РУМЫНИЯ

### «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

Бухарестским Малым театром поставлен спектакль по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», воссоздающий, как пишет рецензент еженедельника «Контемпоранул», «мощную полифонию булгаковского произведения в чередовании и пересечении трех основных планов действия; глубокий психологизм и тонкая ирония дают объемность плана реального, в который фантастическое врывается вихрем ярких, предельно выразительных сцен; реалистические и фантастические грани современности перекликаются с торжественным, как действо, древним мифом».

Особой заслугой режиссера рецензент считает цельность, гармоничность этого трагичного и комического, иронического и патетичного, реалистичного и метафоричного спектакля. Штефан Йордаке (Мастер, Иешуа) и Валерия Сечу (Маргарита), играя с удивительным тактом и чувством меры, создают художественно достоверные образы. Бесконечно многолики проявления «той силы, что вечно хочет зла и вечно сотворяет благо». Дан Кондураке создает Воланда при помощи богатейшего арсенала артистических средств.

Количество персонажей велико — в пьесе занят почти весь состав театра, многие актеры исполняют по две роли. Принцип многогранности сохранен во всех элементах постановки, вплоть до декораций и костюмов: «синкретическое» художественное оформление, в котором один и тот же предмет приобретает в разных ситуациях разную, порой принципиально новую выразительность, подчинено все той же основной цели — созданию единого в своей сложности, истинно живого спектакля.

## США

### МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ-СТАРШИЙ О СЕБЕ

В крупном нью-йоркском издательстве «Уильям Морроу» вышла книга воспоминаний широко известного в США борца за права черных американцев Мартина Лютера Кинга-старшего, отца лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга, павшего от руки убийцы в конце 60-х годов во время марша в защиту гражданских прав негров. «Папаша Кинг» (книга так и называется) родился в 1899 году в штате Джорджия. Пятнадцати лет от роду он стал проповедником, быстро завоевав популярность и авторитет среди негров южных штатов. Начиная с 1931 года «папаша Кинг» активно включился в борьбу за равноправие. Он стал одним из наиболее известных общественных деятелей американского Юга. Свои взгляды Кинг-старший постарался передать сыну, чьи общественно-политические воззрения сформировались под значительным влиянием идей отца.

Эта книга, пишет в заключение обозреватель, показывает, как шло духовное развитие «папаши Кинга», исповедовавшего вначале несколько наивный юношеский идеализм, а затем пришедшего к четкому осознанию насущных задач и реальных перипетий борьбы негритянского народа, что и позволило ему занять место в авангарде этой борьбы. Книга Кинга-старшего, подчеркивает обозреватель,— это еще и своего рода хроника движения за социальную справедливость в последние

полвека, свидетельство трудной истории этого движения, его поражений и побед.

### МАЛАЯ ПРОЗА ДЖ. К. ОУТС

В издательстве «Даттон» вышла новая книга известной американской писательницы, поэтессы и литературного критика Джойс Кэрол Оутс — «Воспитание чувств», куда включены пять новелл и короткая повесть. Как и сравнительно недавний сборник ее рассказов «Темная сторона» (1977), последняя книга Оутс приглашает читателя окунуться в причудливо-таинственный мир «темной стороны» человеческой психики, в мир иррациональных сил, тяготеющих над человеком и подчиняющих его своей непостижимой власти. Персонажи Оутс совершают поступки, которые никак не могут быть объяснены воздействием внешних обстоятельств. Глазный интерес для новеллистки представляет столкновение алогичных мотивов, побуждающих ее героев совершать эти из ряда вон выходящие поступки. Так, героиня одной новеллы совершенно неожиданно перерезает себе вены бритвой, сидя в ванне. Герой другой новеллы — школьный учитель, внезапно впавший в слепую ярость и жестоко избивший незнакомых людей, которые случайно вызвали его раздражение. Героиня еще одного произведения, немолодая уже женщина, покидает своего мужа, поддавшись необъяснимой страсти к двадцатилетнему юнцу, а тот, тоже испытывая к ней неодолимое влечение, создает в своем воображении таинственный образ «Королевы тьмы»...

По мнению рецензента еженедельника «Ньюсуик», Оутс создала «серию рассказов, которые доставили бы немалое удовольствие К. Г. Юнгу»: все ее персонажи не столько социальные, сколько психологические (даже — психопатологические) типы, чьи душевные драмы становятся не результатом внешних потрясений (о них читатель может лишь догадываться), но проявлением скрытых движений «темной стороны» их души. По словам рецензента, этот сборник новелл, как и последние вещи Оутс, показывает, что писательница все дальше отходит от актуальных социально-политических проблем современной Америки, обращаясь к той сфере человеческого бытия, где действуют только «глубинно-психологические» законы, определяющие, по мнению Оутс, весь комплекс человеческого поведения.

## ТУНИС

### «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ТУНИССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Журнал «ИБЛА» поместил рецензию на книгу известного критика Жана Фонтена «Двадцать лет тунисской литературы (1956—1975)», вышедшую в издательстве «Ад-Дар ат-тунисийя ли-н-нашр».

Автор рецензии — критик Мохаммед Салех Бен Амер. В сборник вошли пять статей и три библиографии, опубликованные Фонтеном в отечественных и зарубежных журналах в 70-е годы.

Сборник открывается большой обзорной статьей «Общая картина литературы на арабском языке после достижения независимости». В ней автор рассматривает более 130 произведений тунисских писателей, изданных с момента провозглашения независимости Туниса в 1956 году. Он выделяет пять основных направлений — «классическое, патриотическое, неоклассическое, реалистическое и формалистическое». Границы между этими направлениями, как видно из рецензии, весьма условны.

Остальные статьи, вошедшие в сборник, посвящены более частным вопросам, таким как «женская» литература, формалистическое направление, современная новелла и роман.

Композиция сборника, отмечает Бен Амар, не лишена логической стройности. Эта стройность нарушается, однако, тем, что статьи были написаны в разное время. К сожалению, в книге Фонтена недостает глав о поэзии и литературной критике. Тем не менее она в целом дает ключ к пониманию современной тунисской литературы.

## ФРАНЦИЯ

### НОВЫЙ РОМАН ЛЕКЛЕЗИО

Роман «Пустыня» Ж. М. Г. Леклезио — первая новая книга писателя после сборника «Мондо и другие истории». (Повесть «Мондо» была опубликована в журнале «Иностранная литература» в № 2 за 1980 год.)

Обратившись после длительного перерыва к жанру романа, Леклезио создал произведение, открывающее новые грани в его творчестве. В центре романа — разоблачение колониальной войны, бедствия иммиграции. В нем пересекаются две сюжетные линии, которые разделены разрывом во времени в 50 лет. Одна из них посвящена судьбе племени туарегов во время колониальной войны, которую вела Франция в Западной Африке в 1909—1912 годах, другая — судьбе девушки, принадлежавшей к этому же племени и живущей в наше время.

«Книга учит нас, что счастье состоит в даре любви к жизни», — пишет Бернар Шамбаз в «Революсьон», называя «Пустыню» книгой небывалой прозрачности, простой и бездонно богатой одновременно.

Восторженный отзыв о «Пустыне» дает Жаклин Пьятье в «Монд». «Поразительный писатель — Леклезио! — пишет критик. — Он воплотил страницу истории в эпической поэме, включил в нее наивную идиллию, голубую сказку, связав ее с одной из самых острых наших проблем — иммиграцией. Книга далека от обычного реализма, и тем не менее она вся насквозь состоит из

конкретных ощущений, каждодневных поступков, из глубокого внимания к истинной, первоначальной сути жизни...»

## МИЛЫЕ ЛЖЕЦЫ

С того момента как Джерому Килти посчастливилось обнаружить письма, которыми почти сорок лет обменивались драматург Джордж Бернард Шоу и актриса Патрик Кэмпбелл, и на основе писем создать пьесу, она не сходит со сцены.

История театра насчитывает уже немало актерских дуэтов, возрождавших ее на подмостках: Лоуренс Оливье и Бетт Дэвис, Степанова и Кторов, Орлова и Плятт.

Для французского театра пьесу Килти с блеском перевел Жан Кокто. В настоящее время она идет в театре «Атеней» в исполнении Эдвиж Фейер и Жана Марэ.

Пресса публикует восторженные отзывы на спектакль. Так, по мнению журнала «Экспресс», «тот факт, что в спектакле играют два актера, многие годы пользующиеся неизменной популярностью, возможно, еще больше способствует успеху спектакля».

Газета «Франс-суар», расценивая новую постановку как событие в театральной жизни, пишет: «В самом деле, можно ли, избегая монотонности, уместить целый спектакль в узкие рамки дуэта, рискуя превратить его в поэтический концерт, беседу в диалогах? Но Эдвиж Фейер и Жан Марэ с удивительной легкостью избежали этой опасности».

В связи с новой ролью в рецензиях воздают должное таланту Эдвиж Фейер, «первой леди» французского театра, другу и самой любимой исполнительнице французских драматургов — Клоделя, Кокто, Жироду, Ануя, о совместной работе с которыми рассказывает актриса в своей автобиографической книге «Огни памяти». Обширный репертуар Эдвиж Фейер помимо французской классики и современных французских драматургов включает также произведения русских авторов. Так, она сыграла Настасью Филипповну в «Идиоте», а в последние годы ей была обязана успехом у французских зрителей пьеса Арбузова «Старомодная комедия».

На снимке: Эдвиж Фейер и Жан Марэ.

## ПАНОРАМА ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вышли два последних тома «Литературной истории Франции», охватывающие периоды с 1914 по 1939 год (том 11) и с 1939 по 1970 год (том 12). Над этими томами, как и над всем изданием в целом, работал большой коллектив ученых, литераторов, художников-оформителей. Инициатором и первым руководителем «Литературной истории Франции» был известный писатель Пьер Абраам, ныне покойный. Подготовкой последних томов руководили литературоведы Андре Даспр и Мишель Декоден. Двенадцатый том открывается кратким обращением к читателям, в котором директор «Эдисьон сосиаль», член ЦК ФКП Люсьен Сэв дает общую характеристику многотомного издания, получившего широкое признание французской литературной и научной общественности. «Пятнадцать лет работы, двести двадцать авторов, около пяти тысяч страниц текста... тысячи иллюстраций». Проект этого издания, вспоминает Сэв, создавался в Центре марксистских исследований двадцать лет назад. Речь шла о том, чтобы показать французскую литературу в ее историческом развитии, в широком контексте общественной и культурной жизни страны. Редакция стремилась привлечь к работе крупнейших специалистов по каждой данной теме; очерки творчества отдельных писателей принадлежат, как правило, лучшим их знатокам; изложение свободно от академической сухости, в нем сказывается индивидуальная манера письма каждого из представленных авторов. Вместе с тем идейная позиция редакции отразилась решающим образом в самом замысле, самой структуре «Литературной истории Франции».

Раздел «Франция с 1914 года», открывающий 11-й том, содержит главы об основных событиях общественно-политической истории страны в XX веке, об успехах науки и борьбе идей, о социальных условиях, в которых развивалась и развивается литературная жизнь; за всем этим следуют разделы, непосредственно посвященные литературе, основным идейным и творческим течениям в поэзии, прозе, драматургии. Столь же широко представлен общественный, исторический контекст литературы и в 12-м томе, где с самого начала

раскрыты, в частности, позиции французских писателей в годы второй мировой войны, показано участие видных мастеров поэзии и прозы в антифашистском Сопротивлении. В больших обзорных главах проанализированы различные тенденции развития романа, поэзии, театра; много внимания уделено судьбам литературных журналов, поискам и спорам в области теории литературы, современной литературно-художественной критике. В заключительных главах даны обзоры франкоязычных литератур за пределами Франции (писатели стран Магриба, черной Африки, Квебека).

В конце каждого из томов помещена также обстоятельная библиография по каждой из затронутых в книге тем. Так осуществляется замысел редакции — представить, не замыкаясь в узколитературные рамки, панораму французской культуры, показать ее разнообразие и богатство. Важную и самостоятельную роль выполняют в «Литературной истории Франции» иллюстрации, черно-белые и цветные. На них представлены не только писатели и литературные издания, о которых идет речь в каждой главе, но и различные направления живописи, театр, кино, графика. Все это делает «Литературную историю Франции» не только необходимым пособием для специалистов, но и привлекательным чтением для широкого круга людей, любящих литературу.

## ФРГ

### ПЕРВЫЙ РОМАН Ф. К. ДЕЛИУСА

Западногерманский писатель Фридрих Кристиан Делиус приобрел широкую известность еще в конце 60-х — начале 70-х годов своими «документальными сатирами» на представителей высшей финансово-промышленной олигархии ФРГ. Особенную популярность снискала его книга «Мы, предприниматели», составленная на основе подлинных цитат близких к ХДС промышленников, и другая — «Наш сименсовский мир», написанная в форме «торжественного адреса к 125-летию дома Сименс» и пародийно излагающая историю деятельности этого крупнейшего западногерманского концерна. По поводу последней работы Сименс возбудил даже судебный иск против писателя, что, однако, лишь способствовало увеличению ее тиража.

Вышедший недавно в издательстве «Ровольт» первый роман Делиуса «Герой внутренней безопасности» тоже в какой-то мере связан с подлинными событиями. В «высокопоставленном работодателе» Альфреде Бюттингере, похищенном террористами, нетрудно увидеть сходство с известным промышленником Гансом Мартином Шлейером, похищенным и убитым в 1977 году. Однако сам Бюттингер на страницах книги по сути не появляется; главный герой романа не он, а его «референт по личным вопросам» Рональд Диль.

Этот «полуинтеллектуал на службе экономической власти», как его называет автор, сделал себе карьеру, составляя речи для своего шефа. Особенно он наловчился придумывать удобные формулировки, такие, например, как «фобия загрязнения» или «экопессимизм», когда нужно отвечать на упреки сторонников охраны окружающей среды, или «террор требования», когда ведутся переговоры с профсоюзами. Недоучившийся студент экономического факультета и бывший журналист, наловчившийся «со страстью отстаивать убеждения, которых у него никогда не было», Диль испытывает глубочайшую растерянность, оставшись внезапно без шефа. Выбитый из колеи, потерявший привычную ориентацию, он мучается кошмарами, боится коллег, обдумывает, не выйти ли ему вообще «из игры». В воображении он видит себя то освободителем Бюттингера, национальным героем, то сообщником террористов. «Разве ты уверен, что откажешься, если террористы предложат тебе делать карьеру вместе с ними?.. Это пришлось бы тебе по вкусу».

В конце концов страхи его оказываются необоснованными. Диль даже выигрывает на несчастье, постигшем его шефа, он становится начальником отдела, затем поднимается и выше. Его «внутренняя безопасность» оказывается восстановленной, карьера его продолжается.

Рецензент журнала «Шпигель» Рольф Беккер называет эту фигуру «трагикомическим образом, нарисованным с холодной насмешкой, но и с глубоким пониманием». Делиусу удалось создать, по его словам, «психограмму типа западногерманского карьериста».

## ШВЕЦИЯ

### ВЕРА В КРАСОТУ, ДОБРО И ПРАВДУ

Известный шведский писатель-сатирик Сандро Кей-Оберг уже дважды в текущем году сумел удивить и порадовать своих читателей, выступив в жанрах, к которым он обращается довольно редко.

Речь идет о двух книжных новинках — о сборнике рассказов писателя «Как будто ничего не случилось» и о сборнике лирических стихов под названием «Мерцающий свет».

Рецензент самого авторитетного в Швеции литературоведческого журнала «Бонъерс литтерера магазин», высоко оценивая книгу «Как будто ничего не случилось», характеризует ее следующим образом: «Кей-Оберг в своих, как он сам их определяет, рассказиках сравнивает жизнь человека с ровной, обкатанной лыжней, которая в самом неожиданном месте делает резкий скачок вниз».

Спокойная, упорядоченная жизнь обыкновенных людей — героев Кей-Оберга — вдруг коренным образом меняется, «в ней обнаруживается то, что лежало под спудом, — весь ужас, вся неприглядность, вся абсурдность нашего суще-

ствования, которое протекает по бесчеловечным законам». Например, законам, по которым общество избавляется от старых больных, отработавших свое людей, как в рассказе, давшем название всему сборнику.

В своих рассказах Кей-Оберг подверг резкой критике буржуазную мораль. Их ценность не только в этом: рассказы писателя — о стремлении человека сохранить свое достоинство в самых «экстремальных» условиях.

Те же мысли, но уже в другой, поэтической форме Кей-Оберг высказывает в сборнике своей лирики «Мерцающий свет». Интересна композиция этой книги: стихи в ней подобраны таким образом, что перед читателем как бы постепенно развертывается поэтический рассказ о судьбе человека от рождения до смерти.

В «Мерцающем свете», так же как и в сборнике «Как будто ничего не случилось», пессимистический взгляд писателя на хаос и суетность жизни отступает на второй план перед его непоколебимой верой в Человека с большой буквы, в стремление его к «красоте, добру и правде».

## ЮГОСЛАВИЯ

### ТРИЛОГИЯ ЗАВЕРШЕНА

В 1973 году старейший сербский писатель Александр Вучо романом «Соблазны», посвященным годам своего детства и юности, начал автобиографическую трилогию. Вслед за ним был опубликован второй роман трилогии — «Итак, снова соблазны», в котором автор повествует о событиях в жизни своей и жизни его поколения в годы до второй мировой войны. В конце 1980 года увидела свет и третья, последняя часть трилогии — «Конец соблазнов».

Рецензент газеты «Виесник» М. Маркович отмечает, что А. Вучо в своей трилогии отразил характер своего времени, рассказал о том, как он и окружавшие его люди воспринимали крупные исторические события, как изменялись облик и поведение этих людей в ходе социальных и политических преобразований.

Хотя основу трилогии А. Вучо в значительной мере составили факты собственной биографии писателя, это произведение представляет собой как бы исповедь представителя прогрессивной сербской интеллигенции, которому, как отмечает рецензент, довелось участвовать во многих значительных событиях нашего бурного столетия. Эти глубоко личные переживания, на основании которых рисуется общая картина судьбы целого поколения, присутствуют во всех частях трилогии, но наибольшей эмоциональности они достигают в последней ее части.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. Р. Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Р. А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛ**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Техн

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницка

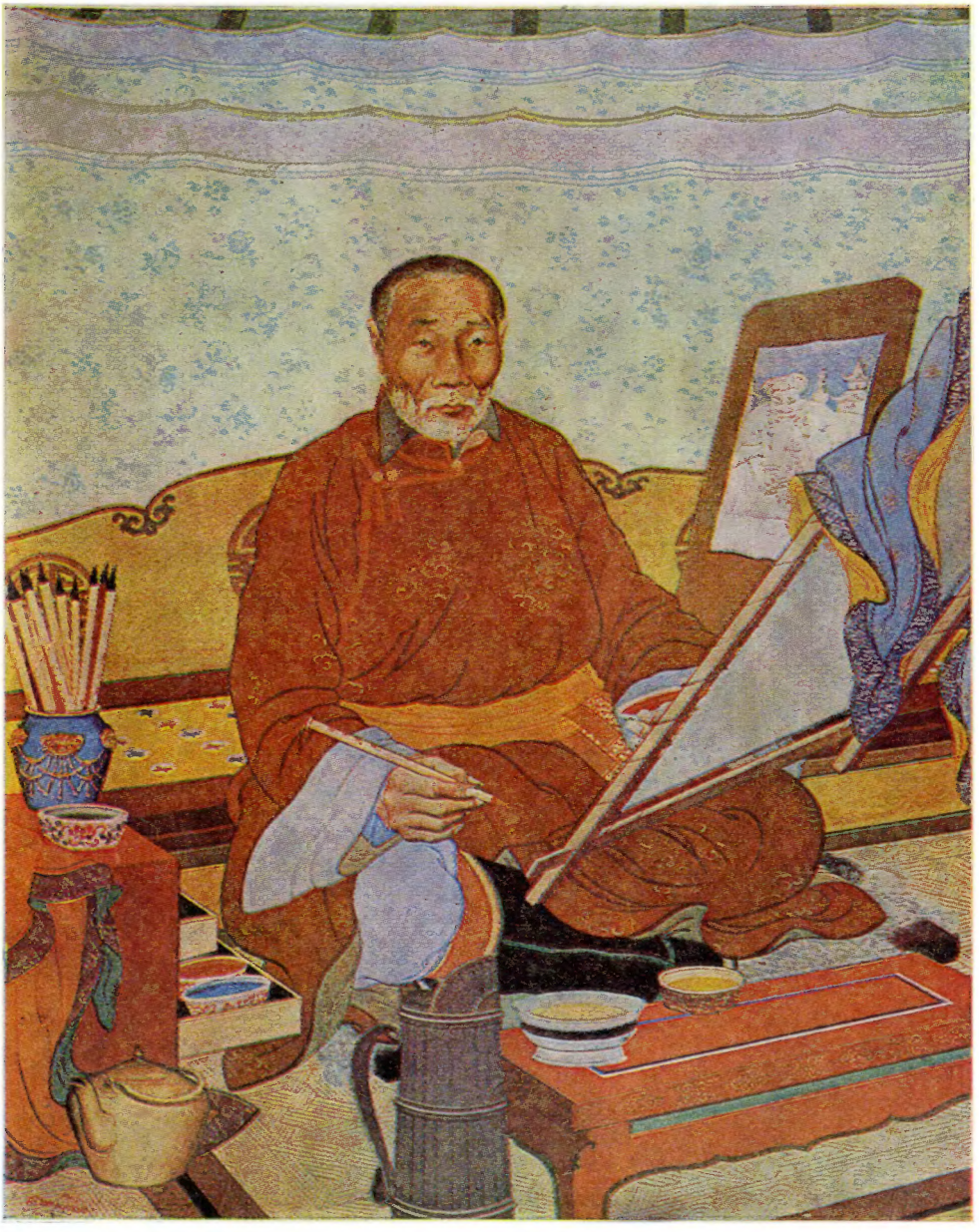
Издательство «Известия Советов народны
Москва, Пушкинская пл.,

Журнал выходит один раз в месяц.

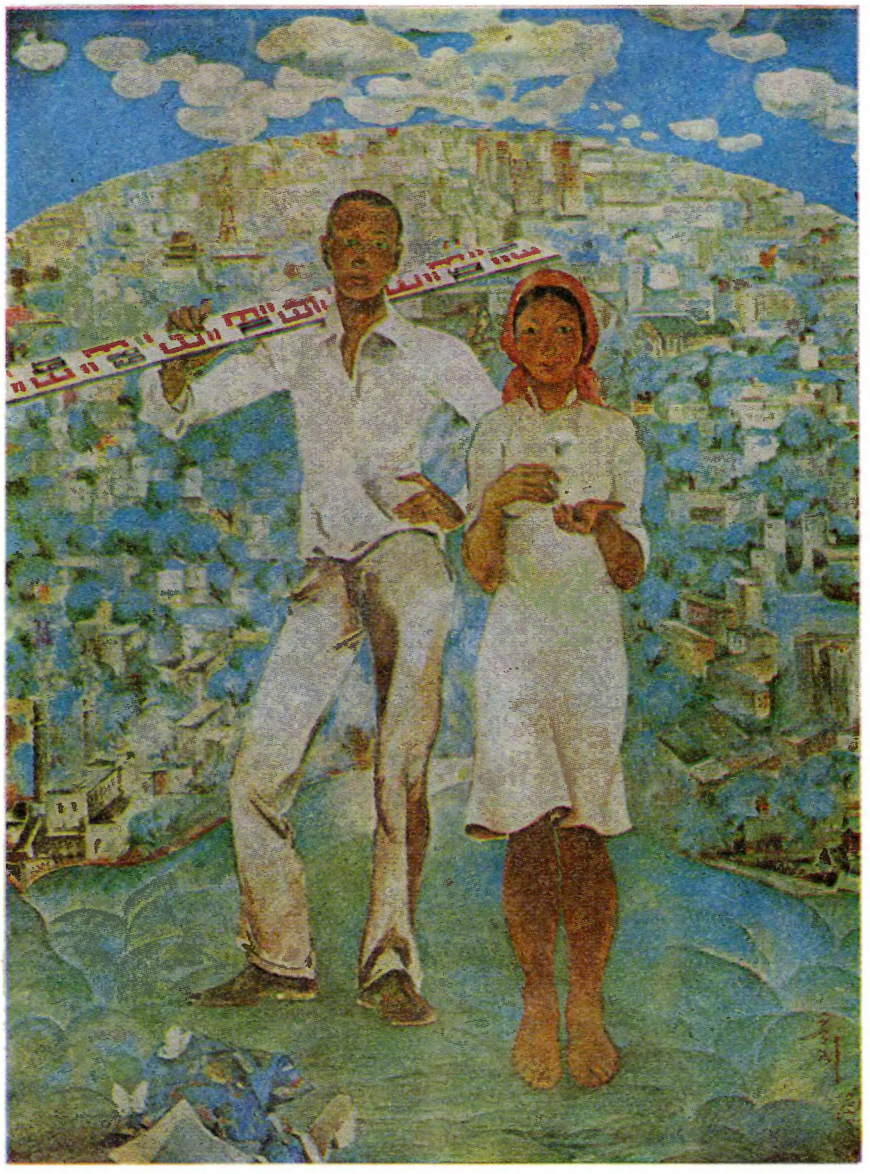
Сдано в набор 6.V.81 г. Подписано в печать 19.VI.81 г. А 04727, формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая, 17 п. л. (23,8) усл. п. л., уч.-изд. л. 29,41.

Тираж 525 000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 1533.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



**Б. АВАРСАД.** Портрет художника Марзан Шарава

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394